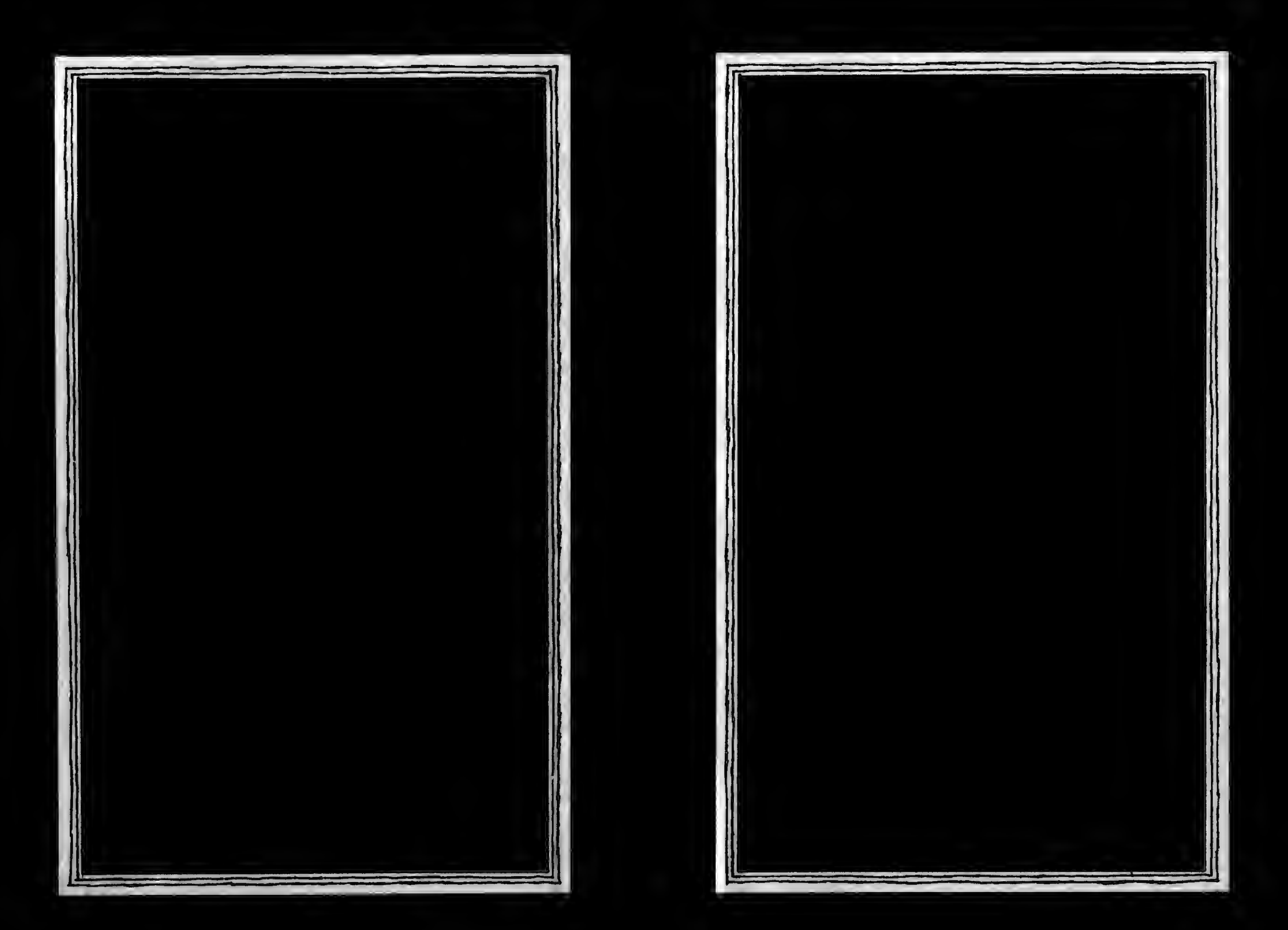
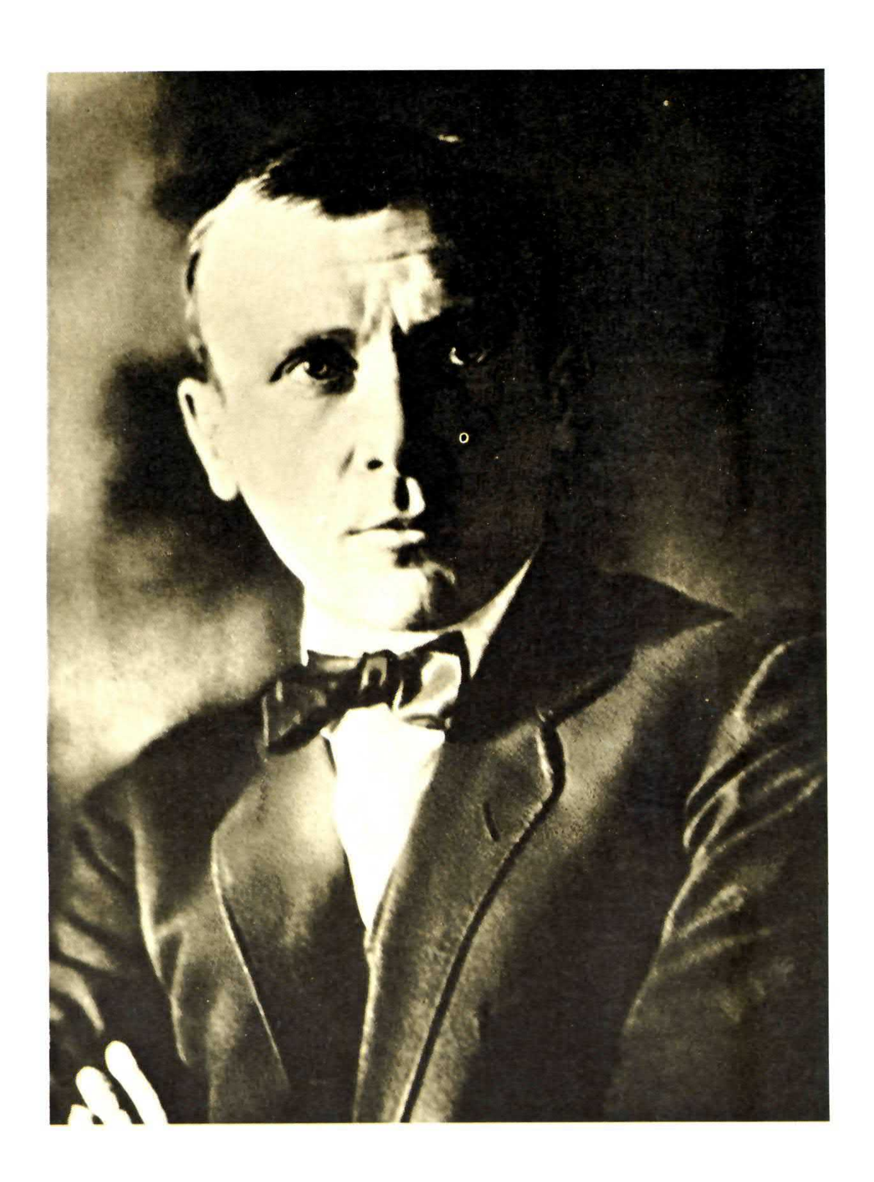
М.А.БУЛГАКОВ

2

Михаил Булгаков

2





Михаил Булгаков

Собрание сочинений
в пяти томах

М.А.БУЛГАКОВ

Собрание сочинений в пяти томах

■

■



Москва

«Художественная литература»

1989

М.А.БУЛГАКОВ

Собрание сочинений в пяти томах
Том второй

■

ДЬЯВОЛИАДА

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

РАССКАЗЫ

ФЕЛЬЕТОНЫ

■



Москва
«Художественная литература»
1989

ББК 84Р7
Б90

Подготовка текста и комментарии В. В. ГУДКОВОЙ («Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце») и Л. Л. ФИАЛКОВОЙ (Рассказы, фельетоны)

Оформление художника
Ю. КОПЫЛОВА

Б $\frac{4702010201\text{-}342}{028(01)\text{-}89}$ Подписное
ISBN 5-280-00761-7(Т. 2)
ISBN 5-280-00760-9

ДЬЯВОЛИАДА

ДЬЯВОЛИАДА

Повесть о том,
как близнецы погубили делопроизводителя

I

ПРОИСШЕСТВИЕ 20-ГО ЧИСЛА

В то время, как все люди скакали с одной службы на другую, товарищ Коротков прочно служил в Главцентрбазспимате (Главная Центральная База Спичечных Материалов) на штатной должности делопроизводителя и прослужил в ней целых 11 месяцев.

Пригревшись в Спимате, нежный, тихий блондин Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существуют на свете так называемые превратности судьбы, и привил взамен нее уверенность, что он — Коротков — будет служить в базе до окончания жизни на земном шаре. Но, увы, вышло совсем не так...

20 сентября 1921 года кассир Спимата накрылся своей противной ушастой шапкой, уложил в портфель полосатую ассигновку и уехал. Это было в 11 часов пополуночи.

Вернулся же кассир в 4 ½ часа пополудни, совершенно мокрый. Приехав, он стряхнул с шапки воду, положил шапку на стол, а на шапку — портфель и сказал:

— Не напирайте, господа.

Потом пошарил зачем-то в столе, вышел из комнаты и вернулся через четверть часа с большой мертвой курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на портфель, на курицу — свою правую руку и молвил:

— Денег не будет.

— Завтра? — хором закричали женщины.

—Нет,—кассир замотал головой,—и завтра не будет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы мне, товарищи, стол опрокинете.

— Как?—вскричали все, и в том числе наивный Коротков.

— Граждане!—плачущим голосом запел кассир и локтем отмахнулся от Короткова,—я же прошу!

— Да как же?—кричали все, и громче всех этот комик Коротков.

— Ну, пожалуйста,—сипло пробормотал кассир и, вытащив из портфеля ассигновку, показал ее Короткову.

Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, наискось было написано красными чернилами:

«Выдать. За т. Субботникова—Сенат».

Ниже фиолетовыми чернилами было написано:

«Денег нет. За т. Иванова—Смирнов».

— Как?—крикнул один Коротков, а остальные, пыхтя, навалились на кассира.

— Ах ты, господи!—растерянно заныл тот.—При чем я тут? боже ты мой!

Торопливо засунув ассигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул курицей, крикнул: «Пропустите, пожалуйста!»—и, проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.

За ним с писком побежала бледная регистраторша на высоких заостренных каблуках, левый каблук у самых дверей с хрустом отвалился, регистраторша качнулась, подняла ногу и сняла туфлю.

И в комнате осталась она,—босая на одну ногу, и все остальные, в том числе и Коротков.

II

ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДСТВА

Через три дня после описанного события дверь отдельной комнаты, где занимался товарищ Коротков, приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно сказала:

— Товарищ Коротков, идите жалованье получать.

— Как?—радостно воскликнул Коротков и, насвистывая увертюру из «Кармен», побежал в комнату с надписью: «Касса». У кассирского стола он остановился и

широко открыл рот. Две толстых колонны, состоящие из желтых пачек, возвышались до самого потолка. Чтобы не отвечать ни на какие вопросы, потный и взволнованный кассир кнопкой пришпилил к стене ассигновку, на которой теперь имелась третья надпись зелеными чернилами:

«Выдать продуктами производства.

За т. Богоявленского — Преображенский.

И я полагаю.— Кшесинский».

Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыбаясь. В руках у него было 4 больших желтых пачки, 5 маленьких зеленых, а в карманах 13 синих коробок спичек. У себя в комнате, прислушиваясь к гулу изумленных голосов в канцелярии, он упаковал спички в два огромных листа сегодняшней газеты и, не сказавшись никому, отбыл со службы домой. У подъезда Спимата он чуть не попал под автомобиль, в котором кто-то подъехал, но кто именно, Коротков не разглядел.

Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы и сказал самому себе:

— Ну-с, унывать тут долго нечего. Постараемся их продать.

Он постучался к соседке своей, Александре Федоровне, служащей в Губвинскладе.

— Войдите,— глухо отозвалось в комнате.

Коротков вошел и изумился. Преждевременно вернувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто и шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею стоял строй бутылок с пробками из газетной бумаги, наполненных жидкостью густого красного цвета. Лицо у Александры Федоровны было заплакано.

— 46,— сказала она и повернулась к Короткову.

— Это чернила?.. Здравствуйте, Александра Федоровна,— вымолвил пораженный Коротков.

— Церковное вино,— всхлипнув, ответила соседка.

— Как, и вам? — ахнул Коротков.

— И вам церковное? — изумилась Александра Федоровна.

— Нам — спички,— угасшим голосом ответил Коротков и закрутил пуговицу на пиджаке.

— Да ведь они же не горят! — вскричала Александра Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку.

— Как это так не горят? — испугался Коротков и бросился к себе в комнату. Там, не теряя ни минуты, он схватил коробку, с треском распечатал ее и чиркнул спичкой. Она с шипеньем вспыхнула зеленоватым огнем, переломилась и погасла. Коротков, задохнувшись от едкого серного запаха, болезненно закашлялся и зажег вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее. Первый попал в оконное стекло, а второй — в левый глаз товарища Короткова.

— А-ах! — крикнул Коротков и выронил коробку.

Несколько мгновений он перебирал ногами, как горячая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что лишился глаза. Но глаз оказался на месте. Правда, он был красен и источал слезы.

— Ах, боже мой! — расстроился Коротков, немедленно достал из комода американский индивидуальный пакет, вскрыл его, обвязал левую половину головы и стал похож на раненного в бою.

Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая спичками. Вычиркал он таким образом три коробки, причем ему удалось зажечь 63 спички.

— Врет, дура, — ворчал Коротков, — прекрасные спички.

Под утро комната наполнилась удушливым серным запахом. На рассвете Коротков уснул и увидал дурацкий, страшный сон: будто бы на зеленом лугу очутился перед ним огромный, живой биллиардный шар на ножках. Это было так скверно, что Коротков закричал и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серой. Но потом все это пропало; поворочавшись, Коротков заснул и уже не просыпался.

III

ЛЫСЫЙ ПОЯВИЛСЯ

На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, убедился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее повязку излишне осторожный Коротков решил пока не снимать.

Явившись на службу с крупным опозданием, хитрый Коротков, чтобы не возбуждать кривотолков среди низ-

ших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на столе нашел бумагу, в коей заведующий подотделом укомплектования запрашивал заведующего базой,— будет ли выдано машинисткам обмундирование. Прочитав бумагу правым глазом, Коротков взял ее и отправился по коридору к кабинету заведующего базой т. Чекушина.

И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнулся с неизвестным, поразившим его своим видом.

Этот неизвестный был настолько маленького роста, что достигал высокому Короткову только до талии. Недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч неизвестного. Квадратное туловище сидело на искривленных ногах, причем левая была хромая. Но примечательнее всего была голова. Она представляла собою точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею горизонтально и острым концом вперед. Лысой она была тоже как яйцо и настолько блестящей, что на темени у неизвестного, не угасая, горели электрические лампочки. Крохотное лицо неизвестного было выбрито до синевы, и зеленые маленькие, как булавочные головки, глаза сидели в глубоких впадинах. Тело неизвестного было облечено в расстегнутый сшитый из серого одеяла френч, из-под которого выглядывала малороссийская вышитая рубашка, ноги в штанах из такого же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара времен Александра I.

«Т-типик»,— подумал Коротков и устремился к двери Чекушина, стараясь миновать лысого. Но тот совершенно неожиданно загородил Короткову дорогу.

— Что вам надо? — спросил лысый Короткова таким голосом, что нервный делопроизводитель вздрогнул. Этот голос был совершенно похож на голос медного таза и отличался таким тембром, что у каждого, кто его слышал, при каждом слове происходило вдоль позвоночника ощущение шершавой проволоки. Кроме того, Короткову показалось, что слова неизвестного пахнут спичками. Несмотря на все это, недальновидный Коротков сделал то, чего делать ни в коем случае не следовало,— обиделся.

— Гм... довольно странно. Я иду с бумагой... А позвольте узнать, кто вы так...

— А вы видите, что на двери написано?

Коротков посмотрел на дверь и увидал давно знакомую надпись: «Без доклада не входить».

— Я и иду с докладом,— сглупил Коротков, указывая на свою бумагу.

Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки его вспыхнули желтоватыми искорками.

— Вы, товарищ,— сказал он, оглушая Короткова кастрюльными звуками,— настолько неразвиты, что не понимаете значения самых простых служебных надписей. Я положительно удивляюсь, как вы служили до сих пор. Вообще тут у вас много интересного, например, эти подбитые глаза на каждом шагу. Ну ничего, это мы все приведем в порядок. («А-а!» — ахнул про себя Коротков.) Дайте сюда!

И с последними словами неизвестный вырвал из рук Короткова бумагу, мгновенно прочел ее, вытащил из кармана штанов обгрызанный химический карандаш, приложил бумагу к стене и косо написал несколько слов.

— Ступайте! — рявкнул он и ткнул бумагу Короткову так, что чуть не выколол ему и последний глаз. Дверь в кабинет взвыла и проглотила неизвестного, а Коротков остался в оцепенении,— в кабинете Чекушина не было.

Пришел в себя сконфуженный Коротков через полминуты, когда вплотную налетел на Лидочку де Руни, личную секретаршу т. Чекушина.

— А-ах! — ахнул т. Коротков. Глаз у Лидочки был закутан точно таким же индивидуальным материалом с той разницей, что концы бинта были завязаны кокетливым бантом.

— Что это у вас?

— Спички! — раздраженно ответила Лидочка,— проклятые.

— Кто там такой? — шепотом спросил убитый Коротков.

— Разве вы не знаете? — зашептала Лидочка,— новый.

— Как? — пискнул Коротков,— а Чекушин?

— Выгнали вчера,— злобно сказала Лидочка и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета: — Ну и гу-усь. Вот это фрукт. Такого противного я в жизнь свою не видала. Орет! Уволить!.. Подштанники лысые! — добавила она неожиданно, так что Коротков выпучил на нее глаз.

— Как фа...

Коротков не успел спросить. За дверью кабинета грянул страшный голос: «Курьера!» Делопроизводитель и секретарша мгновенно разлетелись в разные стороны. Прилетев в свою комнату, Коротков сел за стол и произнес сам себе такую речь:

— Ай, яй, яй... Ну, Коротков, ты влопался. Нужно это дельце исправлять... «Неразвиты»... Хм... Нахал... Ладно! Вот ты увидишь, как это так Коротков неразвит.

И одним глазом делопроизводитель прочел писание лысого. На бумаге стояли кривые слова: «Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны».

— Вот это здорово! — восхищенно воскликнул Коротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку в солдатских кальсонах. Он немедля вытащил чистый лист бумаги и в три минуты сочинил:

«Телефонограмма.

Заведующему подотделом укомплектования точка В ответ на отношение ваше за № 0,15015 (б) от 19-го числа запятая Главспимат сообщает запятая что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны точка Заведывающий тире подпись Делопроизводитель тире Варфоломей Коротков точка».

Он позвонил и явившемуся курьеру Пантелеймону сказал:

— Заведующему на подпись.

Пантелеймон пожевал губами, взял бумагу и вышел.

Четыре часа после этого Коротков прислушивался, не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы новый заведывающий, если вздумает обходить помещение, непременно застал его погруженным в работу. Но никаких звуков из страшного кабинета не доносилось. Раз только долетел смутный чугунный голос, как будто угрожающий кого-то уволить, но кого именно, Коротков не расслышал, хоть и припадал ухом к замочной скважине. В $3^1/_2$ часа пополудни за стеной канцелярии раздался голос Пантелеймона:

— Уехали на машине.

Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже всех в одиночестве отбыл домой т. Коротков.

IV

ПАРАГРАФ ПЕРВЫЙ — КОРОТКОВ ВЫЛЕТЕЛ

На следующее утро Коротков с радостью убедился, что глаз его больше не нуждается в лечении повязкой, поэтому он с облегчением сбросил бинт и сразу похорошел и изменился. Напившись чаю на скорую руку,

Коротков потушил примус и побежал на службу, стараясь не опоздать, и опоздал на 50 минут из-за того, что трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным путем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с маленькими домиками и там сломался. Коротков пешком одолел три версты и, запыхавшись, вбежал в канцелярию, как раз когда кухонные часы «Альпийской розы» пробили одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало зрелище совершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Лидочка де Руни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, старший бухгалтер Дрозд, инструктор Гитис, Номерацкий, Иванов, Мушка, регистраторша, кассир — словом, вся канцелярия не сидела на своих местах за кухонными столами бывшего ресторана «Альпийской розы», а стояла, сбившись в тесную кучку у стены, на которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При входе Короткова наступило внезапное молчание и все потупились.

— Здравствуйте, господа, что это такое? — спросил удивленный Коротков.

Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к четвертушке.

Первые строчки глянули на него уверенно и ясно, последние сквозь слезливый ошеломляющий туман.

«ПРИКАЗ № 1

§ 1. За недопустимо халатное отношение к своим обязанностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных служебных бумагах, а равно и за появление на службе в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке лица, тов. Коротков увольняется с сего 26-го числа, с выдачей ему трамвайных денег по 25-е включительно».

Параграф первый был в то же время и последним, а под параграфом красовалась крупными буквами подпись:

«Заведующий Кальсонер».

Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале «Альпийской розы» царило идеальное молчание. При этом лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков. На двадцать первой секунде молчание лопнуло.

— Как? Как? — прозвенел два раза Коротков совершенно как разбитый о каблук альпийский бокал,— его фамилия Кальсо-нер?

При страшном слове канцелярские брызнули в разные

стороны и вмиг расселись по столам, как вороны на телеграфной проволоке. Лицо Короткова сменило гнилую зеленую плесень на пятнистый пурпур.

— Ай, яй, яй,— загудел в отдалении, выглядывая из гроссбуха, Скворец,— как же вы это так, батюшка, промахнулись? А?

— Я ду-думал, думал,— прохрустел осколками голоса Коротков,— прочитал вместо «Кальсонер» «Кальсоны». Он с маленькой буквы пишет фамилию!

— Подштанники я не одену, пусть он успокоится! — хрустально звякнула Лидочка.

— Тсс! — змеей зашипел Скворец,— что вы? — Он нырнул, спрятался в гроссбухе и прикрылся страницей.

— А насчет лица он не имеет права! — негромко выкрикнул Коротков, становясь из пурпурного белым, как горностай,— я нашими же сволочными спичками выжег глаз, как и товарищ де Руни!

— Тише! — пискнул побледневший Гитис,— что вы? Он вчера испытывал их и нашел превосходными.

Д-р-р-р-р-р-ррр,— неожиданно зазвенел электрический звонок над дверью... и тотчас тяжелое тело Пантелеймона упало с табурета и покатилось по коридору.

— Нет! Я объяснюсь. Я объяснюсь! — высоко и тонко спел Коротков, потом кинулся влево, кинулся вправо, пробежал шагов десять на месте, искаженно отражаясь в пыльных альпийских зеркалах, вынырнул в коридоре и побежал на свет тусклой лампочки, висящей над надписью «Отдельные кабинеты». Запыхавшись, он стал перед страшной дверью и очнулся в объятиях Пантелеймона.

— Товарищ Пантелеймон,— заговорил беспокойно Коротков.— Ты меня, пожалуйста, пусти. Мне нужно к заведующему сию минутку...

— Нельзя, нельзя, никого не велено пущать,— захрипел Пантелеймон и страшным запахом луку затушил решимость Короткова,— нельзя. Идите, идите, господин Коротков, а то мне через вас беда будет...

— Пантелеймон, мне же нужно,— угасая, попросил Коротков,— тут, видишь ли, дорогой Пантелеймон, случился приказ... Пусти меня, милый Пантелеймон.

— Ах ты ж, господи...— в ужасе обернувшись на дверь, забормотал Пантелеймон,— говорю вам, нельзя. Нельзя, товарищ!

В кабинете за дверью грянул телефонный звонок и ухнул в медь тяжкий голос:

— Еду! Сейчас!

Пантелеймон и Коротков расступились; дверь распахнулась, и по коридору понесся Кальсонер в фуражке и с портфелем под мышкой. Пантелеймон впритруску побежал за ним, а за Пантелеймоном, немного поколебавшись, кинулся Коротков. На повороте коридора Коротков, бледный и взволнованный, проскочил под руками Пантелеймона, обогнал Кальсонера и побежал перед ним задом.

— Товарищ Кальсонер,— забормотал он прерывающимся голосом,— позвольте одну минуточку сказать... Тут я по поводу приказа...

— Товарищ! — звякнул бешено стремящийся и озабоченный Кальсонер, сметая Короткова в беге,— вы же видите, я занят? Еду! Еду!..

— Так я насчет прика...

— Неужели вы не видите, что я занят? Товарищ! Обратитесь к делопроизводителю.

Кальсонер выбежал в вестибюль, где помещался на площадке огромный брошенный орган «Альпийской розы».

— Я ж делопроизводитель! — в ужасе облившись потом, визгнул Коротков,— выслушайте меня, товарищ Кальсонер!

— Товарищ! — заревел, как сирена, ничего не слушая, Кальсонер и, на ходу обернувшись к Пантелеймону, крикнул: — примите меры, чтоб меня не задерживали!

— Товарищ! — испугавшись, захрипел Пантелеймон,— что ж вы задерживаете?

И, не зная, какую меру нужно принять, принял такую — ухватил Короткова поперек туловища и легонько прижал к себе, как любимую женщину. Мера оказалась действительной,— Кальсонер ускользнул, словно на роликах скатился с лестницы и выскочил в парадную дверь.

— Пит! Питт! — закричала за стеклами мотоциклетка, выстрелила пять раз и, закрыв дымом окна, исчезла. Тут только Пантелеймон выпустил Короткова, вытер пот с лица и проревел:

— Бе-да!

— Пантелеймон...— трясущимся голосом спросил Коротков,— куда он поехал? Скорей скажи, он другого, понимаешь ли...

— Кажись, в Центроснаб.

Коротков вихрем сбежал с лестницы, ворвался в шинельную, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу.

V

ДЬЯВОЛЬСКИЙ ФОКУС

Короткову повезло. Трамвай в ту же минуту поравнялся с «Альпийской розой». Удачно прыгнув, Коротков понесся вперед, стукаясь то о тормозное колесо, то о мешки на спинах. Надежда обжигала его сердце. Мотоциклетка почему-то задержалась и теперь тарахтела впереди трамвая, и Коротков то терял из глаз, то вновь обретал квадратную спину в туче синего дыма. Минут пять Короткова колотило и мяло на площадке, наконец у серого здания Центроснаба мотоциклетка стала. Квадратное тело закрылось прохожими и исчезло. Коротков на ходу вырвался из трамвая, повернулся по оси, упал, ушиб колено, поднял кепку и, под носом автомобиля, поспешил в вестибюль.

Покрывая полы мокрыми пятнами, десятки людей шли навстречу Короткову или обгоняли его. Квадратная спина мелькнула на втором марше лестницы, и, задыхаясь, он поспешил за ней. Кальсонер поднимался со странной, неестественной скоростью, и у Короткова сжималось сердце при мысли, что он упустит его. Так и случилось. На 5-й площадке, когда делопроизводитель совершенно обессилел, спина растворилась в гуще физиономий, шапок и портфелей. Как молния Коротков взлетел на площадку и секунду колебался перед дверью, на которой было две надписи. Одна золотая по зеленому с твердым знаком «Дортуаръ пепиньерокъ», другая черным по белому без твердого «Начканцуправделснаб». Наудачу Коротков устремился в эти двери и увидал стеклянные огромные клетки и много белокурых женщин, бегавших между ними. Коротков открыл первую стеклянную перегородку и увидел за нею какого-то человека в синем костюме. Он лежал на столе и весело смеялся в телефон. Во втором отделении на столе было полное собрание сочинений Шеллера-Михайлова, а возле собрания неизвестная пожилая женщина в платке взвешивала на весах сушеную и дурно пахнущую рыбу. В третьем царил дробный непрерывный грохот и звоночки — там за шестью машинами писали и смеялись шесть светлых, мелкозубых женщин. За последней перегородкой открывалось большое пространство с пухлыми колоннами. Невыносимый треск машин стоял в воздухе, и виднелась масса голов,— женских и мужских, но Кальсонеровой среди них

не было. Запутавшись и завертевшись, Коротков остановил первую попавшуюся женщину, пробегавшую с зеркальцем в руках.

— Не видели ли вы Кальсонера?

Сердце в Короткове упало от радости, когда женщина ответила, сделав огромные глаза:

— Да, но он сейчас уезжает. Догоняйте его.

Коротков побежал через колонный зал туда, куда ему указывала маленькая белая рука с блестящими красными ногтями. Проскакав зал, он очутился на узкой и темноватой площадке и увидал открытую пасть освещенного лифта. Сердце ушло в ноги Короткову,—догнал... пасть принимала квадратную одеяльную спину и черный блестящий портфель.

— Товарищ Кальсонер,—прокричал Коротков и окоченел. Зеленые круги в большом количестве запрыгали по площадке. Сетка закрыла стеклянную дверь, лифт тронулся, и квадратная спина, повернувшись, превратилась в богатырскую грудь. Все, все узнал Коротков: и серый френч, и кепку, и портфель, и изюминки глаз. Это был Кальсонер, но Кальсонер с длинной ассирийско-гофрированной бородой, ниспадавшей на грудь. В мозгу Короткова немедленно родилась мысль: «Борода выросла, когда он ехал на мотоциклетке и поднимался по лестнице,—что же это такое?» И затем вторая: «Борода фальшивая—это что же такое?»

А Кальсонер тем временем начал погружаться в сетчатую бездну. Первыми скрылись ноги, затем живот, борода, последними глазки и рот, выкрикнувший нежные теноровые слова:

— Поздно, товарищ, в пятницу.

«Голос тоже привязной»,—стукнуло в коротковском черепе. Секунды три мучительно горела голова, но потом, вспомнив, что никакое колдовство не должно останавливать его, что остановка—гибель, Коротков двинулся к лифту. В сетке показалась поднимающаяся на канате кровля. Томная красавица с блестящими камнями в волосах вышла из-за трубы и, нежно коснувшись руки Короткова, спросила его:

— У вас, товарищ, порок сердца?

— Нет, ох нет, товарищ,—выговорил ошеломленный Коротков и шагнул к сетке,—не задерживайте меня.

— Тогда, товарищ, идите к Ивану Финогеновичу,—

сказала печально красавица, преграждая Короткову дорогу к лифту.

— Я не хочу! — плаксиво вскричал Коротков,— товарищ! Я спешу. Что вы?

Но женщина осталась непреклонной и печальной.

— Ничего не могу сделать, вы сами знаете,— сказала она и придержала за руку Короткова. Лифт остановился, выплюнул человека с портфелем, закрылся сеткой и опять ушел вниз.

— Пустите меня! — взвизгнул Коротков и, вырвав руку, с проклятием кинулся вниз по лестнице. Пролетев шесть мраморных маршей и чуть не убив высокую перекрестившуюся старуху в наколке, он оказался внизу возле огромной новой стеклянной стены, под надписью вверху серебром по синему «Дежурные классные дамы» и внизу пером по бумаге «Справочное». Темный ужас охватил Короткова. За стеной ясно мелькнул Кальсонер. Кальсонер иссиня бритый, прежний и страшный. Он прошел совсем близко от Короткова, отделенный от него лишь тоненьким слоем стекла. Стараясь ни о чем не думать, Коротков кинулся к блестящей медной ручке и потряс ее, но она не подалась.

Скрипнув зубами, он еще раз рванул сияющую медь и тут только в отчаянии разглядел крохотную надпись: «Кругом, через 6-й подъезд».

Кальсонер мелькнул и сгинул в черной нише за стеклом.

— Где шестой? Где шестой? — слабо крикнул он кому-то. Прохожие шарахнулись. Маленькая боковая дверь открылась, и из нее вышел люстриновый старичок в синих очках с огромным списком в руках. Глянув на Короткова поверх очков, он улыбнулся, пожевал губами.

— Что? Все ходите? — зашамкал он, — ей-богу, напрасно. Вы уж послушайте меня, старичка, бросьте. Все равно я вас уже вычеркнул. Хи-хи.

— Откуда вычеркнули? — остолбенел Коротков.

— Хи. Известно откуда, из списков. Карандашиком — чирк, и готово — хи-кхи,— старичок сладострастно засмеялся.

— Поз...вольте... Откуда же вы меня знаете?

— Хи. Шутник вы, Василий Павлович.

— Я — Варфоломей,— сказал Коротков и потрогал рукой свой холодный и скользкий лоб,— Петрович.

Улыбка на минуту покинула лицо страшного старичка. Он уставился в лист и сухим пальчиком с длинным когтем провел по строчкам.

— Что ж вы путаете меня? Вот он — Колобков, В. П.

— Я — Коротков,— нетерпеливо крикнул Коротков.

— Я и говорю: Колобков,— обиделся старичок.— А вот и Кальсонер. Оба вместе переведены, а на место Кальсонера — Чекушин.

— Что?..— не помня себя от радости, крикнул Коротков.— Кальсонера выкинули?

— Точно так-с. День всего успел поуправлять, и вышибли.

— Боже! — ликуя, воскликнул Коротков,— я спасен! Я спасен! — и, не помня себя, он сжал костлявую когтистую руку старичка. Тот улыбнулся. На миг радость Короткова померкла. Что-то странное, зловещее мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странна показалась и улыбка, обнажавшая сизые десны. Но тотчас же Коротков отогнал от себя неприятное чувство и засуетился.

— Стало быть, мне сейчас в Спимат нужно бежать?

— Обязательно,— подтвердил старичок,— тут и сказано — в Спимат. Только позвольте вашу книжечку, я пометочку в ней сделаю карандашиком.

Коротков тотчас полез в карман, побледнел, полез в другой, еще пуще побледнел, хлопнул себя по карманам брюк и с заглушенным воплем бросился обратно по лестнице, глядя себе под ноги. Сталкиваясь с людьми, отчаянный Коротков взлетел до самого верха, хотел увидеть красавицу с камнями, у нее что-то спросить, и увидал, что красавица превратилась в уродливого, сопливого мальчишку:

— Голубчик,— бросился к нему Коротков,— бумажник мой, желтый...

— Неправда это,— злобно ответил мальчишка,— не брал я, врут они.

— Да нет, милый, я не то... не ты... документы.

Мальчишка посмотрел исподлобья и вдруг заревел басом.

— Ах, боже мой! — в отчаянии вскричал Коротков и понесся вниз к старичку.

Но, когда он прибежал, старичка уже не было. Он исчез. Коротков кинулся к маленькой двери, рванул

ручку. Она оказалась запертой. В полутьме пахло чуть-чуть серой.

Мысли закрутились в голове Короткова метелью, и выпрыгнула одна новая: «Трамвай!» Он ясно вдруг вспомнил, как жали его на площадке двое молодых людей, один из них худенький с черными, словно приклеенными, усиками.

— Ах, беда-то, вот уж беда,— бормотал Коротков,— это уж всем бедам беда.

Он выбежал на улицу, пробежал ее до конца, свернул в переулок и очутился у подъезда небольшого здания неприятной архитектуры. Серый человек, косой и мрачный, глядя не на Короткова, а куда-то в сторону, спросил:

— Куда ты лезешь?

— Я, товарищ, Коротков, Вэ Пэ, у которого только что украли документы... Все до единого... Меня забрать могут...

— И очень просто,— подтвердил человек на крыльце.

— Так вот позвольте...

— Пущай Коротков самолично и придет.

— Так я же, товарищ, Коротков.

— Удостоверение дай.

— Украли у меня его только что,— застонал Коротков,— украли, товарищ, молодой человек с усиками.

— С усиками? Это, стало быть, Колобков. Беспременно он. Он в нашем районе специяльно работает. Ты его теперь по чайным ищи.

— Товарищ, я не могу,— заплакал Коротков,— мне в Спимат нужно к Кальсонеру. Пустите меня.

— Удостоверение дай, что украли.

— От кого?

— От домового.

Коротков покинул крыльцо и побежал по улице.

«В Спимат или к домовому? — подумал он,— у домового прием с утра; в Спимат, стало быть».

В это мгновение часы далеко пробили четыре раза на рыжей башне, и тотчас из всех дверей побежали люди с портфелями. Наступили сумерки, и редкий мокрый снег пошел с неба.

«Поздно,— подумал Коротков,— домой».

VI

ПЕРВАЯ НОЧЬ

В ушке замка торчала белая записка. В сумерках Коротков прочитал ее.

«Дорогой сосед!

Я уезжаю к маме в Звенигород. Оставляю вам в подарок вино. Пейте на здоровье — его никто не хочет покупать. Они в углу.

Ваша А. Пайкова».

Косо улыбнувшись, Коротков прогремел замком, в двадцать рейсов перетащил к себе в комнату все бутылки, стоящие в углу коридора, зажег лампу и, как был, в кепке и пальто, повалился на кровать. Как зачарованный, около получаса он смотрел на портрет Кромвеля, растворяющийся в густых сумерках, потом вскочил и внезапно впал в какой-то припадок буйного характера. Сорвав кепку, он швырнул ее в угол, одним взмахом сбросил на пол пачки со спичками и начал топтать их ногами.

— Вот! Вот! Вот! — провыл Коротков и с хрустом давил чертовы коробки, смутно мечтая, что он давит голову Кальсонера.

При воспоминании об яйцевидной голове появилась вдруг мысль о лице бритом и бородатом, и тут Коротков остановился.

— Позвольте... как же это так?.. — прошептал он и провел рукой по глазам, — это что же? Чего же это я стою и занимаюсь пустяками, когда все это ужасно. Ведь не двойной же он, в самом деле?

Страх пополз через черные окна в комнату, и Коротков, стараясь не глядеть в них, закрыл их шторами. Но от этого не полегчало. Двойное лицо, то обрастая бородой, то внезапно обриваясь, выплывало по временам из углов, сверкая зеленоватыми глазами. Наконец Коротков не выдержал и, чувствуя, что мозг его хочет треснуть от напряжения, тихонечко заплакал.

Наплакавшись и получив облегчение, он поел вчерашней скользкой картошки, потом опять, вернувшись к проклятой загадке, немного поплакал.

— Позвольте... — вдруг пробормотал он, — чего же это я плачу, когда у меня есть вино?

Он залпом выпил пол чайного стакана. Сладкая жидкость подействовала через пять минут,— мучительно заболел левый висок и жгуче и тошно захотелось пить. Выпив три стакана воды, Коротков от боли в виске совершенно забыл Кальсонера, со стоном содрал с себя верхнюю одежду и, томно закатывая глаза, повалился на постель. «Пирамидону бы...» — шептал он долго, пока мутный сон не сжалился над ним.

VII

ОРГАН И КОТ

В 10 часов утра следующего дня Коротков наскоро вскипятил чай, отпил без аппетита четверть стакана и, чувствуя, что предстоит трудный, хлопотливый день, покинул свою комнату и перебежал в тумане через мокрый асфальтовый двор. На двери флигеля было написано: «Домовой». Рука Короткова уже протянулась к кнопке, как глаза его прочитали: «По случаю смерти свидетельства не выдаются».

— Ах ты, господи,— досадливо воскликнул Коротков,— что же это за неудачи на каждом шагу.— И добавил: — Ну, тогда с документами потом, а сейчас в Спимат. Надо разузнать, как и что. Может, Чекушин уже вернулся.

Пешком, так как деньги все были украдены, Коротков добрался до Спимата и, пройдя вестибюль, прямо направил свои стопы в канцелярию. На пороге канцелярии он приостановился и приоткрыл рот. Ни одного знакомого лица в хрустальном зале не было. Ни Дрозда, ни Анны Евграфовны, словом — никого. За столами, напоминая уже не ворон на проволоке, а трех соколов Алексея Михайловича, сидели три совершенно одинаковых бритых блондина в светло-серых клетчатых костюмах и одна молодая женщина с мечтательными глазами и бриллиантовыми серьгами в ушах. Молодые люди не обратили на Короткова никакого внимания и продолжали скрипеть в гроссбухах, а женщина сделала Короткову глазки. Когда же он в ответ на это растерянно улыбнулся, та надменно улыбнулась и отвернулась. «Странно»,— подумал Коротков и, запнувшись о порог, вышел из канцелярии. У двери в свою комнату он поколебался, вздохнул, глядя на старую милую надпись: «Делопроизводитель», открыл

дверь и вошел. Свет немедленно померк в коротковских глазах, и пол легонечко качнулся под ногами. За коротковским столом, растопырив локти и бешено стуча пером, сидел своей собственной персоной Кальсонер. Гофрированные блестящие волосы закрывали его грудь. Дыхание перехватило у Короткова, пока он глядел на лакированную лысину над зеленым сукном. Кальсонер первый нарушил молчание.

— Что вам угодно, товарищ? — вежливо проворковал он фальцетом.

Коротков судорожно облизнул губы, набрал в узкую грудь большой куб воздуха и сказал чуть слышно:

— Кхм... я, товарищ, здешний делопроизводитель... То есть... Ну да, ежели помните приказ...

Изумление изменило резко верхнюю часть лица Кальсонера. Светлые его брови поднялись, и лоб превратился в гармонику.

— Извиняюсь,— вежливо ответил он,— здешний делопроизводитель — я.

Временная немота поразила Короткова. Когда же она прошла, он сказал такие слова:

— А как же? Вчера, то есть. Ах, ну да. Извините, пожалуйста. Впрочем, я спутал. Пожалуйста.

Он задом вышел из комнаты и в коридоре сказал себе хрипло:

— Коротков, припомни-ка, какое сегодня число?

И сам же себе ответил:

— Вторник, т. е. пятница. Тысяча девятьсот.

Он повернулся, и тотчас перед ним вспыхнули на человеческом шаре слоновой кости две коридорных лампочки и бритое лицо Кальсонера заслонило весь мир.

— Хорошо! — грохнул таз, и судорога свела Короткова,— я жду вас. Отлично. Рад познакомится.

С этими словами он пододвинулся к Короткову и так пожал ему руку, что тот встал на одну ногу, словно аист на крыше.

— Штат я разверстал,— быстро, отрывисто и веско заговорил Кальсонер.— Трое там,— он указал на дверь в канцелярию,— и, конечно, Манечка. Вы — мой помощник. Кальсонер — делопроизводитель. Прежних всех в шею. И идиота Пантелеймона также. У меня есть сведения, что он был лакеем в «Альпийской розе». Я сейчас сбегаю в отдел, а вы пока напишите с Кальсонером отношение насчет всех, и в особенности насчет этого, как его...

Короткова. Кстати, вы немного похожи на этого мерзавца. Только у того глаз подбитый.

— Я. Нет,— сказал Коротков, качаясь и с отвисшей челюстью,— я не мерзавец. У меня украли все документы. До единого.

— Все? — выкрикнул Кальсонер,— вздор. Тем лучше.

Он впился в руку тяжело дышавшего Короткова и, пробежав по коридору, втащил его в заветный кабинет и бросил на пухлый кожаный стул, а сам уселся за стол. Коротков, все еще чувствуя странное колебание пола под ногами, съежился и, закрыв глаза, забормотал: «Двадцатое было понедельник, значит, вторник, двадцать первое. Нет. Что я? Двадцать первый год. Исходящий номер 0,15, место для подписи тире Варфоломей Коротков. Это значит я. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. И понедельник на пэ, и пятница на пэ, и воскресенье... вскрссс.. на эс, как и среда...»

Кальсонер с треском расчеркнулся на бумаге, хлопнул по ней печатью и ткнул ему. В это мгновение яростно зазвонил телефон. Кальсонер ухватился за трубку и заорал в нее:

— Ага! Так. Так. Сию минуту приеду.

Он кинулся к вешалке, сорвал с нее фуражку, прикрыл ею лысину и исчез в дверях с прощальными словами:

— Ждите меня у Кальсонера.

Все решительно помутилось в глазах Короткова, когда он прочел написанное на бумажке со штампом:

«Предъявитель сего суть действительно мой помощник т. Василий Павлович Колобков, что действительно верно. Кальсонер».

— О-о! — простонал Коротков, роняя на пол бумагу и фуражку,— что же это такое делается?

В эту же минуту дверь спела визгливо, и Кальсонер вернулся в своей бороде.

— Кальсонер уже удрал? — тоненько и ласково спросил он у Короткова.

Свет кругом потух.

— А-а-а-а-а...— взвыл, не вытерпев пытки, Коротков и, не помня себя, подскочил к Кальсонеру, оскалив зубы. Ужас изобразился на лице Кальсонера до того, что оно сразу пожелтело. Задом навалившись на дверь, он с

грохотом отпер ее, провалился в коридор, не удержавшись, сел на корточки, но тотчас выпрямился и бросился бежать с криком:

— Курьер! Курьер! На помощь!

— Стойте. Стойте. Я вас прошу, товарищ...— опомнившись, выкрикнул Коротков и бросился вслед.

Что-то загремело в канцелярии, и соколы вскочили, как по команде. Мечтательные глаза женщины взметнулись у машины.

— Буду стрелять. Буду стрелять! — пронесся ее истерический крик.

Кальсонер выскочил в вестибюль на площадку с органом первым, секунду поколебался, куда бежать, рванулся и, круто срезав угол, исчез за органом. Коротков бросился за ним, поскользнулся и, наверно, разбил бы себе голову о перила, если бы не огромная кривая и черная ручка, торчащая из желтого бока. Она подхватила полу коротковского пальто, гнилой шевиот с тихим писком расползся, и Коротков мягко сел на холодный пол. Дверь бокового хода за органом со звоном захлопнулась за Кальсонером.

— Боже...— начал Коротков и не кончил.

В грандиозном ящике с запыленными медными трубами послышался странный звук, как будто лопнул стакан, затем пыльное, утробное ворчание, странный хроматический писк и удар колоколов. Потом звучный мажорный аккорд, бодрящая полнокровная струя, и весь желтый трехъярусный ящик заиграл, пересыпая внутри залежи застоявшегося звука:

Шумел, гремел пожар московский...

В черном квадрате двери внезапно появилось бледное лицо Пантелеймона. Миг, и с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском, он вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто перекинул невидимую салфетку, сорвался с места и боком, косо, как пристяжная, покатил по лестнице, округлив руки так, словно в них был поднос с чашками.

Ды-ым расстилался по реке-е.

— Что я наделал? — ужаснулся Коротков.

Машина, провернув первые застоявшиеся волны, по-

шла ровно, тысячеголовым львиным ревом и звоном наполняя пустынные залы Спимата.

А на стенах ворот кремлевских...

Сквозь вой и грохот и колокола прорвался сигнал автомобиля, и тотчас Кальсонер возвратился через главный вход,— Кальсонер бритый, мстительный и грозный. В зловещем синеватом сиянии он плавно стал подниматься по лестнице. Волосы зашевелились на Короткове, и, взвившись, он через боковые двери по кривой лестнице за органом выбежал на усеянный щебнем двор, а затем на улицу. Как на угонке, полетел он по улице, слушая, как вслед ему глухо рокотало здание «Альпийской розы»:

Стоял он в сером сюртуке...

На углу извозчик, взмахивая кнутом, бешено рвал клячу с места.

— Господи! господи!—бурно зарыдал Коротков,— опять он! Да что же это?

Кальсонер бородатый вырос из мостовой возле пролетки, вскочил в нее и начал лупить извозчика в спину, приговаривая тоненьким голосом:

— Гони! Гони, негодяй!

Кляча рванула, стала лягать ногами, затем под жгучими ударами кнута понеслась, наполнив экипажным грохотом улицу. Сквозь бурные слезы Коротков видел, как лакированная шляпа слетела у извозчика, а из-под нее разлетелись в разные стороны вьющиеся денежные бумажки. Мальчишки со свистом погнались за ними. Извозчик, обернувшись, в отчаянии натянул вожжи, но Кальсонер бешено начал тузить его в спину с воплем:

— Езжай! Езжай! Я заплачу.

Извозчик, выкрикнув отчаянно:

— Эх, ваше здоровье, погибать, что ли?—пустил клячу карьером, и все исчезло за углом.

Рыдая, Коротков глянул на серое небо, быстро несущееся над головой, пошатался и закричал болезненно:

— Довольно. Я так не оставлю! Я его разъясню.— Он прыгнул и прицепился к дуге трамвая. Дуга пошатала его минут пять и сбросила у девятиэтажного зеленого здания. Вбежав в вестибюль, Коротков просунул голову в четырехугольное отверстие в деревянной загородке и спросил у громадного синего чайника:

— Где бюро претензий, товарищ?

— 8-й этаж, 9-й коридор, квартира 41-я, комната 302,— ответил чайник женским голосом.

— 8-й, 9-й, 41-я, триста... триста... сколько бишь... 302,— бормотал Коротков, взбегая по широкой лестнице.— 8-й, 9-й, 8-й, стоп, 40... нет, 42... нет, 302,— мычал он,— ах, боже, забыл... да 40-я, сороковая...

В 8-м этаже он миновал три двери, увидал на четвертой черную цифру «40» и вошел в необъятный двухсветный зал с колоннами. В углах его лежали катушки рулонной бумаги, и весь пол был усеян исписанными бумажными обрывками. В отдалении маячил столик с машинкой, и золотистая женщина, тихо мурлыча песенку, подперев щеку кулаком, сидела за ним. Растерянно оглянувшись, Коротков увидел, как с эстрады за колоннами сошла, тяжело ступая, массивная фигура мужчины в белом кунтуше. Седоватые отвисшие усы виднелись на его мраморном лице. Мужчина, улыбаясь необыкновенно вежливой, безжизненной гипсовой улыбкой, подошел к Короткову, нежно пожал ему руку и молвил, щелкнув каблуками:

— Ян Собесский.

— Не может быть...— ответил пораженный Коротков.

Мужчина приятно улыбнулся.

— Представьте, многие изумляются,— заговорил он с неправильными ударениями,— но вы не подумайте, товарищ, что я имею что-либо общее с этим бандитом. О нет. Горькое совпадение, больше ничего. Я уже подал заявление об утверждении моей новой фамилии — Соцвосский. Это гораздо красивее и не так опасно. Впрочем, если вам неприятно,— мужчина обидчиво скривил рот,— я не навязываюсь. Мы всегда найдем людей. Нас ищут.

— Помилуйте, что вы,— болезненно выкрикнул Коротков, чувствуя, что и тут начинается что-то странное, как и везде. Он оглянулся травленым взором, боясь, что откуда-нибудь вынырнет бритый лик и лысина-скорлупа, а потом добавил суконным языком: — Я очень рад, да, очень...

Пестрый румянец чуть проступил на мраморном человеке; нежно поднимая руку Короткова, он повлек его к столику, приговаривая:

— И я очень рад. Но вот беда, вообразите: мне даже негде вас посадить. Нас держат в загоне, несмотря на все наше значение (мужчина махнул рукой на катушки

бумаги). Интриги... Но-о мы развернемся, не беспокойтесь... Гм... Чем же вы порадуете нас новеньким? — ласково спросил он у бледного Короткова.— Ах да, виноват, виноват, тысячу раз, позвольте вас познакомить,— он изящно махнул белой рукой в сторону машинки,— Генриетта Потаповна Персимфанс.

Женщина тотчас пожала холодной рукой руку Короткова и посмотрела на него томно.

— Итак,— сладко продолжал хозяин,— чем же вы нас порадуете? Фельетон? Очерки? — закатив белые глаза, протянул он,— вы не можете себе представить, до чего они нужны нам.

«Царица небесная... что это такое?» — туманно подумал Коротков, потом заговорил, судорожно переводя дух:

— У меня... э... произошло ужасное. Он... Я не понимаю. Вы не подумайте, ради бога, что это галлюцинации... Кхм... ха-кха... (Коротков попытался искусственно засмеяться, но это не вышло у него.) Он живой. Уверяю вас... но я ничего не пойму, то с бородой, а через минуту без бороды. Я прямо не понимаю... И голос меняет... кроме того, у меня украли все документы до единого, а домовой, как на грех, умер. Этот Кальсонер...

— Так я и знал,— вскричал хозяин,— это они?

— Ах, боже мой, ну конечно,— отозвалась женщина,— ах, эти ужасные Кальсонеры.

— Вы знаете,— перебил хозяин взволнованно,— я из-за него сижу на полу. Вот-с, полюбуйтесь. Ну что он понимает в журналистике?..— хозяин ухватил Короткова за пуговицу,— будьте добры, скажите, что он понимает? Два дня он пробыл здесь и совершенно меня замучил. Но, представьте, счастье. Я ездил к Федору Васильевичу, и тот наконец убрал его. Я поставил вопрос остро: я или он. Его перевели в какой-то Спимат или черт его знает еще куда. Пусть воняет там этими спичками! Но мебель, мебель он успел передать в это проклятое бюро. Всю. Не угодно ли? На чем я, позвольте узнать, буду писать? На чем будете писать вы? Ибо я не сомневаюсь, что вы будете наш, дорогой (хозяин обнял Короткова). Прекрасную атласную мебель Луи Каторз этот прохвост безответственным приемом спихнул в это дурацкое бюро, которое завтра все равно закроют, к чертовой матери.

— Какое бюро? — глухо спросил Коротков.

— Ах, да эти претензии или как их там,— с досадой сказал хозяин.

— Как? — крикнул Коротков, — как? Где оно?

— Там, — изумленно ответил хозяин и ткнул рукой в пол.

Коротков в последний раз окинул безумными глазами белый кунтуш и через минуту оказался в коридоре. Подумав немного, он полетел налево, ища лестницы вниз. Минут пять он бежал, следуя прихотливым изгибам коридора, и через пять минут оказался у того места, откуда выбежал. Дверь № 40.

— Ах, черт! — ахнул Коротков, потоптался и побежал вправо и через 5 минут опять был там же. № 40. Рванув дверь, Коротков вбежал в зал и убедился, что тот опустел. Лишь машинка безмолвно улыбалась белыми зубами на столе. Коротков подбежал к колоннаде и тут увидал хозяина. Тот стоял на пьедестале уже без улыбки, с обиженным лицом.

— Извините, что я не попрощался... — начал было Коротков и смолк. Хозяин стоял без уха и носа, и левая рука у него была отломана. Пятясь и холодея, Коротков выбежал опять в коридор. Незаметная потайная дверь напротив вдруг открылась, и из нее вышла сморщенная коричневая баба с пустыми ведрами на коромысле.

— Баба! Баба! — тревожно закричал Коротков, — где бюро?

— Не знаю, батюшка, не знаю, кормилец, — ответила баба, — да ты не бегай, миленький, все одно не найдешь. Разве мыслимо — десять этажов.

— У-у... д-дура, — стиснув зубы, рыкнул Коротков и бросился в дверь. Она захлопнулась за ним, и Коротков оказался в тупом полутемном пространстве без выхода. Бросаясь в стены и царапаясь, как засыпанный в шахте, он наконец навалился на белое пятно, и оно выпустило его на какую-то лестницу. Дробно стуча, он побежал вниз. Шаги послышались ему навстречу снизу. Тоскливое беспокойство сжало сердце Короткова, и он стал останавливаться. Еще миг — и показалась блестящая фуражка, мелькнуло серое одеяло и длинная борода. Коротков качнулся и вцепился в перила руками. Одновременно скрестились взоры, и оба завыли тонкими голосами страха и боли. Коротков задом стал отступать вверх, Кальсонер попятился вниз, полный неизбывного ужаса.

— Постойте, — прохрипел Коротков, — минутку... вы только объясните...

— Спасите! — заревел Кальсонер, меняя тонкий голос

на первый свой медный бас. Оступившись, он с громом упал вниз затылком; удар не прошел ему даром. Обернувшись в черного кота с фосфорными глазами, он вылетел обратно, стремительно и бархатно пересек площадку, сжался в комок и, прыгнув на подоконник, исчез в разбитом стекле и паутине. Белая пелена на миг заволокла коротковский мозг, но тотчас свалилась, и наступило необыкновенное прояснение.

— Теперь все понятно,— прошептал Коротков и тихонько рассмеялся,— ага, понял. Вот оно что. Коты! Все понятно. Коты.

Он начал смеяться все громче, громче, пока вся лестница не наполнилась гулкими раскатами.

VIII

ВТОРАЯ НОЧЬ

В сумерки товарищ Коротков, сидя на байковой кровати, выпил три бутылки вина, чтобы все забыть и успокоиться. Голова теперь у него болела вся: правый и левый висок, затылок и даже веки. Легкая муть поднималась со дна желудка, ходила внутри волнами, и два раза тов. Короткова рвало в таз.

— Я вот так сделаю,— слабо шептал Коротков, свесив вниз голову,— завтра я постараюсь не встречаться с ним. Но так как он вертится всюду, то я пережду. Пережду: в переулочке или в тупичке. Он себе мимо и пройдет. А если он погонится за мной, я убегу. Он и отстанет. Иди себе, мол, своей дорогой. И я уж больше не хочу в Спимат. Бог с тобой. Служи себе и заведующим и делопроизводителем, и трамвайных денег я не хочу. Обойдусь и без них. Только ты уж меня, пожалуйста, оставь в покое. Кот ты или не кот, с бородой или без бороды,— ты сам по себе, я сам по себе. Я себе другое местечко найду и буду служить тихо и мирно. Ни я никого не трогаю, ни меня никто. И претензий на тебя никаких подавать не буду. Завтра только выправлю себе документы — и шабаш...

В отдалении глухо начали бить часы. Бам... бам... «Это у Пеструхиных»,— подумал Коротков и стал считать. Десять... одиннадцать... полночь, 13, 14, 15... 40...

— Сорок раз пробили часики,— горько усмехнулся Коротков, а потом опять заплакал. Потом его судорожно и тяжко стошнило церковным вином.

— Крепкое, ох крепкое вино,— выговорил Коротков и со стоном откинулся на подушку. Прошло часа два, и непотушенная лампа освещала бледное лицо на подушке и растрепанные волосы.

IX

МАШИННАЯ ЖУТЬ

Осенний день встретил тов. Короткова расплывчато и странно. Боязливо озираясь на лестнице, он взобрался на 8-й этаж, повернул наобум направо и радостно вздрогнул. Нарисованная рука указывала ему на надпись «Комнаты 302—349». Следуя пальцу спасительной руки, он добрался до двери с надписью «302 — бюро претензий». Осторожно заглянув в нее, чтобы не столкнуться с кем не надо, Коротков вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он подошел к крайней — смуглой и матовой, поклонился и хотел что-то сказать, но брюнетка вдруг перебила его. Взоры всех женщин устремились на Короткова.

— Выйдем в коридор,— резко сказала матовая и судорожно поправила прическу.

«Боже мой, опять, опять что-то...» — тоскливо мелькнуло в голове Короткова. Тяжело вздохнув, он повиновался. Шесть оставшихся взволнованно зашушукали вслед.

Брюнетка вывела Короткова и в полутьме пустого коридора сказала:

— Вы ужасны... Из-за вас я не спала всю ночь и решилась. Будь по-вашему. Я отдамся вам.

Коротков посмотрел на смуглое с огромными глазами лицо, от которого пахло ландышем, издал какой-то гортанный звук и ничего не сказал. Брюнетка закинула голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки Короткова, притянула его к себе и зашептала:

— Что ж ты молчишь, соблазнитель? Ты покорил меня своею храбростью, мой змий. Целуй же меня, целуй скорее, пока нет никого из контрольной комиссии.

Опять странный звук вылетел изо рта Короткова. Он пошатнулся, ощутил на своих губах что-то сладкое и мягкое, и огромные зрачки оказались у самых глаз Короткова.

— Я отдамся тебе...— шепнуло у самого рта Короткова.

— Мне не надо,— сипло ответил он,— у меня украли документы.

— Тэк-с,— вдруг раздалось сзади.

Коротков обернулся и увидал люстринового старичка.

— А-ах! — вскрикнула брюнетка и, закрыв лицо руками, убежала в дверь.

— Хи,— сказал старичок,— здорово. Куда ни придешь, вы, господин Колобков. Ну и хват же вы. Да что там, целуй не целуй, не выцелуете командировку. Мне, старичку, дали, мне и ехать. Вот что-с.

С этими словами он показал Короткову сухенький маленький шиш.

— А заявленьице я на вас подам,— злобно продолжал люстрин,— да-с. Растлили трех в главном отделе, теперь, стало быть, до подотделов добираетесь? Что их ангелочки теперь плачут, это вам все равно? Горюют они теперь, бедные девочки, да ау, поздно-с. Не воротишь девичьей чести. Не воротишь.

Старичок вынул большой носовой платок с оранжевыми букетами, заплакал и засморкался.

— Из рук старичка подъемные крохи желаете выдрать, господин Колобков? Что ж...— старичок затрясся и зарыдал, уронил портфель,— берите, кушайте. Пущай беспартийный, сочувствующий старичок с голоду помирает... Пущай, мол. Туда ему и дорога, старой собаке. Ну, только попомните, господин Колобков,— голос старичка стал пророчески грозным и налился колоколами,— не пойдут они вам впрок, денежки эти сатанинские. Колом в горле они у вас станут,— и старичок разлился в буйных рыданиях.

Истерика овладела Коротковым; внезапно и неожиданно для самого себя он дробно затопал ногами.

— К чертовой матери! — тонко закричал он, и его больной голос разнесся по сводам,— я не Колобков. Отлезь от меня! Не Колобков. Не еду! Не еду!

Он начал рвать на себе воротничок.

Старичок мгновенно высох, от ужаса задрожал.

— Следующий! — крикнула дверь. Коротков смолк и кинулся в нее, свернул влево, миновав машинки, и очутился перед рослым, изящным блондином в синем костюме. Блондин кивнул Короткову головой и сказал:

— Покороче, товарищ. Разом. В два счета. Полтава или Иркутск?

— Документы украли,— дико озираясь, ответил растерзанный Коротков,— и кот появился. Не имеет права. Я никогда в жизни не дрался, это спички. Преследовать не имеет права. Я не посмотрю, что он Кальсонер. У меня украли до...

— Ну, это вздор,— ответил синий,— обмундирование дадим, и рубахи, и простыни. Если в Иркутск, так даже и полушубок подержанный. Короче.

Он музыкально звякнул ключом в замке, выдвинул ящик и, заглянув в него, приветливо сказал:

— Пожалте, Сергей Николаевич.

И тотчас из ясеневого ящика выглянула причесанная, светлая, как лен, голова и синие бегающие глаза. За ними изогнулась, как змеиная, шея, хрустнул крахмальный воротничок, показался пиджак, руки, брюки, и через секунду законченный секретарь, с писком «Доброе утро», вылез на красное сукно. Он встряхнулся, как выкупавшийся пес, соскочил, заправил поглубже манжеты, вынул из карманчика патентованное перо и в ту же минуту застрочил.

Коротков отшатнулся, протянул руку и жалобно сказал синему:

— Смотрите, смотрите, он вылез из стола. Что же это такое?..

— Естественно, вылез,— ответил синий,— не лежать же ему весь день. Пора. Время. Хронометраж.

— Но как? Как?— зазвенел Коротков.

— Ах ты, господи,— взволновался синий,— не задерживайте, товарищ.

Брюнеткина голова вынырнула из двери и крикнула возбужденно и радостно:

— Я уже заслала его документы в Полтаву. И я еду с ним. У меня тетка в Полтаве под 43 градусом широты и 5-м долготы.

— Ну и чудесно,— ответил блондин,— а то мне надоела эта волынка.

— Я не хочу!— вскричал Коротков, блуждая взором.— Она будет мне отдаваться, а я терпеть этого не могу. Не хочу! Верните документы. Священную мою фамилию. Восстановите!

— Товарищ, это в отделе брачующихся,— запищал секретарь,— мы ничего не можем сделать.

— О, дурашка!— воскликнула брюнетка, выглянув опять,— соглашайся! Соглашайся!— кричала она суфлер-

ским шепотом. Голова ее то скрывалась, то появлялась.

— Товарищ! — зарыдал Коротков, размазывая по лицу слезы.— Товарищ! Умоляю тебя, дай документы. Будь другом. Будь, прошу тебя всеми фибрами души, и я уйду в монастырь.

— Товарищ! Без истерики. Конкретно и абстрактно изложите письменно и устно, срочно и секретно — Полтава или Иркутск? Не отнимайте время у занятого человека! По коридорам не ходить! Не плевать! Не курить! Разменом денег не затруднять! — выйдя из себя, загремел блондин.

— Рукопожатия отменяются! — кукарекнул секретарь.

— Да здравствуют объятия! — страстно шепнула брюнетка и, как дуновение, пронеслась по комнате, обдав ландышем шею Короткова.

— Сказано в заповеди тринадцатой: не входи без доклада к ближнему твоему,— прошамкал люстриновый и пролетел по воздуху, взмахивая полами крылатки...— Я и не вхожу, не вхожу-с,— а бумажку все-таки подброшу, вот так, хлоп!.. подпишешь любую — и на скамье подсудимых.— Он выкинул из широкого черного рукава пачку белых листов, и они разлетелись и усеяли столы, как чайки скалы на берегу.

Муть заходила в комнате, и окна стали качаться.

— Товарищ блондин! — плакал истомленный Коротков,— застрели ты меня на месте, но выправь ты мне какой ни на есть документик. Руку я тебе поцелую.

В мути блондин стал пухнуть и вырастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковы листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчанием.

— Черт с ним! — загремел блондин,— черт с ним. Машинистки, гей!

Он махнул огромной рукой, стена перед глазами Короткова распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, заиграли фокстрот. Колыша бедрами, сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, парадом-алле двинулись тридцать женщин и пошли вокруг столов.

Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться, раскраиваться, сшиваться. Вылезли белые брюки с фиолетовыми лампасами: «Предъявитель сего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантрапа».

— Надевай! — грохнул блондин в тумане.

— И-и-и-и,— тоненько заскулил Коротков и стал биться головой об угол блондинова стола. Голове полегчало на минутку, и чье-то лицо в слезах метнулось перед Коротковым.

— Валерьянки! — крикнул кто-то на потолке.

Крылатка, как черная птица, закрыла свет, старичок зашептал тревожно:

— Теперь одно спасение — к Дыркину в пятое отделение. Ходу! Ходу!

Запахло эфиром, потом руки нежно вынесли Короткова в полутемный коридор. Крылатка обняла Короткова и повлекла, шепча и хихикая:

— Ну, я уж им удружил: такое подсыпал на столы, что каждому из них достанется не меньше пяти лет с поражением на поле сражения. Ходу! Ходу!

Крылатка порхнула в сторону, потянуло ветром и сыростью из сетки, уходящей в пропасть.

X

СТРАШНЫЙ ДЫРКИН

Зеркальная кабина стала падать вниз, и двое Коротковых упали вниз. Второго Короткова первый и главный забыл в зеркале кабины и вышел один в прохладный вестибюль. Очень толстый и розовый в цилиндре встретил Короткова словами:

— И чудесно. Вот я вас и арестую.

— Меня нельзя арестовать,— ответил Коротков и засмеялся сатанинским смехом,— потому что я неизвестно кто. Конечно. Ни арестовать, ни женить меня нельзя. А в Полтаву я не поеду.

Толстый человек задрожал в ужасе, поглядел в зрачки Короткову и стал оседать назад.

— Арестуй-ка,— пискнул Коротков и показал толстяку дрожащий бледный язык, пахнущий валерьянкой,— как ты арестуешь, ежели вместо документов — фига? Может быть, я Гогенцоллерн.

— Господи Исусе,— сказал толстяк, трясущейся рукой перекрестился и превратился из розового в желтого.

— Кальсонер не попадался? — отрывисто спросил Коротков и оглянулся.— Отвечай, толстун.

— Никак нет,— ответил толстяк, меняя розовую окраску на серенькую.

— Как же теперь быть? А?

— К Дыркину, не иначе,— пролепетал толстяк,— к нему самое лучшее. Только грозен. Ух грозен! И не подходи. Двое уж от него сверху вылетели. Телефон сломал нынче.

— Ладно,— ответил Коротков и залихватски сплюнул,— нам теперь все равно. Подымай!

— Ножку не ушибите, товарищ уполномоченный,— нежно сказал толстяк, подсаживая Короткова в лифт.

На верхней площадке попался маленький лет шестнадцати и страшно закричал:

— Куда ты? Стой!

— Не бей, дяденька,— сказал толстяк, съежившись и закрыв голову руками,— к самому Дыркину.

— Проходи,— крикнул маленький.

Толстяк зашептал:

— Вы уж идите, ваше сиятельство, а я здесь на скамеечке вас подожду. Больно жутко...

Коротков попал в темную переднюю, а из нее в пустынный зал, в котором был распростерт голубой вытертый ковер.

Перед дверью с надписью «Дыркин» Коротков немного поколебался, но потом вошел и оказался в уютно обставленном кабинете с огромным малиновым столом и часами на стене. Маленький пухлый Дыркин вскочил на пружине из-за стола и, вздыбив усы, рявкнул:

— М-молчать!..— хоть Коротков еще ровно ничего не сказал.

В ту же минуту в кабинете появился бледный юноша с портфелем. Лицо Дыркина мгновенно покрылось улыбковыми морщинами.

— А-а! — вскричал он сладко,— Артур Артурыч. Наше вам.

— Слушай, Дыркин,— заговорил юноша металлическим голосом,— ты написал Пузыреву, что будто бы я учредил в эмеритурной кассе свою единоличную диктатуру и попер эмеритурные майские деньги? Ты? Отвечай, паршивая сволочь.

— Я?..— забормотал Дыркин, колдовски превращаясь из грозного Дыркина в Дыркина-добряка,— я, Артур Диктатурыч... Я, конечно... Вы это напрасно...

— Ах ты, мерзавец, мерзавец,— раздельно сказал юно-

ша, покачал головой и, взмахнув портфелем, треснул им Дыркина по уху, словно блин выложил на тарелку.

Коротков машинально охнул и застыл.

— То же будет и тебе, и всякому негодяю, который позволит себе совать нос в мои дела,— внушительно сказал юноша и, погрозив на прощание Короткову красным кулаком, вышел.

Минуты две в кабинете стояло молчание и лишь подвески на канделябрах звякали от проехавшего где-то грузовика.

— Вот, молодой человек,— горько усмехнувшись, сказал добрый и униженный Дыркин,— вот и награда за усердие. Ночей недосыпаешь, недоедаешь, недопиваешь, а результат всегда один — по морде. Может быть, и вы с тем же пришли? Что ж... Бейте Дыркина, бейте. Морда у него, видно, казенная. Может быть, вам рукой больно? так вы канделябрик возьмите.

И Дыркин соблазнительно выставил пухлые щеки из-за письменного стола. Ничего не понимая, Коротков косо и застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с хрустом ударил Дыркина по голове свечами. Из носа у того закапала на сукно кровь, и он, крикнув «караул», убежал через внутреннюю дверь.

— Ку-ку! — радостно крикнула лесная кукушка и выскочила из нюренбергского разрисованного домика на стене.

— Ку-клукс-клан! — закричала она и превратилась в лысую голову,— запишем, как вы работников лупите!

Ярость овладела Коротковым. Он взмахнул канделябром и ударил им в часы. Они ответили громом и брызгами золотых стрелок. Кальсонер выскочил из часов, превратился в белого петушка с надписью «Исходящий» и юркнул в дверь. Тотчас за внутренними дверями разлился вопль Дыркина: «Лови его, разбойника!», и тяжкие шаги людей полетели со всех сторон. Коротков повернулся и бросился бежать.

XI

ПАРФОРСНОЕ КИНО И БЕЗДНА

С площадки толстяк скакнул в кабину, забросился сетками и ухнул вниз, а по огромной изгрызенной лестнице побежали в таком порядке: первым черный

цилиндр толстяка, за ним — белый исходящий петух, за петухом — канделябр, пролетевший в вершке над острой белой головкой, затем Коротков, шестнадцатилетний с револьвером в руке и еще какие-то люди, топочущие подкованными сапогами. Лестница застонала бронзовым звоном, и тревожно захлопали двери на площадках.

Кто-то свесился с верхнего этажа вниз и крикнул в рупор:

— Какая секция переезжает? Несгораемую кассу забыли!

Женский голос внизу ответил:

— Бандиты!!

В огромные двери на улицу Коротков, обогнав цилиндр и канделябр, выскочил первым и, заглотав огромную порцию раскаленного воздуха, полетел на улицу. Белый петушок провалился сквозь землю, оставив серный запах, черная крылатка соткалась из воздуха и поплелась рядом с Коротковым с криком тонким и протяжным:

— Артельщиков бьют, товарищи!

По пути Короткова прохожие сворачивали в стороны и вползали в подворотни, вспыхивали и гасли короткие свистки. Кто-то бешено порскал, улюлюкал, и загорались тревожные сиплые крики: «Держи». С дробным грохотом опускались железные шторы, и какой-то хромой, сидя на трамвайной линии, визжал:

— Началось!

Выстрелы летели теперь за Коротковым частые, веселые, как елочные хлопушки, и пули жикали то сбоку, то сверху. Рычащий, как кузнечный мех, Коротков стремился к гиганту — одиннадцатиэтажному зданию, выходящему боком на улицу и фасадом в тесный переулок. На самом углу — стеклянная вывеска с надписью «Restoran i pivo» треснула звездой, и пожилой извозчик пересел с козел на мостовую с томным выражением лица и словами:

— Здорово! Что ж вы, братцы, в кого попало, стало быть?..

Выбежавший из переулка человек сделал попытку ухватить Короткова за полу пиджака, и пола осталась у него в руках. Коротков завернул за угол, пролетел несколько саженей и вбежал в зеркальное пространство вестибюля. Мальчик в галунах и золоченых пуговках отскочил от лифта и заплакал.

— Садись, дядя. Садись! — проревел он,— только не бей сироту!

Коротков вонзился в коробку лифта, сел на зеленый диван напротив другого Короткова и задышал, как рыба на песке. Мальчишка, всхлипывая, влез за ним, закрыл дверь, ухватился за веревку, и лифт поехал вверх. И тотчас внизу, в вестибюле, загремели выстрелы и завертелись стеклянные двери.

Лифт мягко и тошно шел вверх, мальчишка, успокоившись, утирал нос одной рукой, а другой перебирал веревку.

— Деньги покрал, дяденька? — с любопытством спросил он, всматриваясь в растерзанного Короткова.

— Кальсонера... атакуем... — задыхаясь, отвечал Коротков, — да он в наступление перешел...

— Тебе, дяденька, лучше всего на самый верх, где бильярдные, — посоветовал мальчишка, — там на крыше отсидишься, если с маузером.

— Давай наверх... — согласился Коротков.

Через минуту лифт плавно остановился, мальчишка распахнул двери и, шмыгнув носом, сказал:

— Вылазь, дяденька, сыпь на крышу.

Коротков выпрыгнул, осмотрелся и прислушался. Снизу донесся нарастающий, поднимающийся гул, сбоку — стук костяных шаров через стеклянную перегородку, за которой мелькали встревоженные лица. Мальчишка шмыгнул в лифт, заперся и провалился вниз.

Орлиным взором окинув позицию, Коротков поколебался мгновение и с боевым кличем: «Вперед!» вбежал в бильярдную. Замелькали зеленые площади с лоснящимися белыми шарами и бледные лица. Снизу совсем близко бухнул в оглушительном эхо выстрел, и со звоном где-то посыпались стекла. Словно по сигналу, игроки побросали кии и гуськом, топоча, кинулись в боковые двери. Коротков, метнувшись, запер за ними дверь на крюк, с треском запер входную стеклянную дверь, ведущую с лестницы в бильярдную, и вмиг вооружился шарами. Прошло несколько секунд, и возле лифта выросла первая голова за стеклом. Шар вылетел из рук Короткова, со свистом прошел через стекло, и голова мгновенно исчезла. На ее месте сверкнул бледный огонь и выросла вторая голова, за ней — третья. Шары полетели один за другим, и стекла полопались в перегородке. Перекатывающийся стук покрыл лестницу, и в ответ ему, как оглушительная зингеровская швейка, завыл и затряс все здание пулемет. Стекла и рамы вырезало в верхней части, как ножом, и

тучей пудры понеслась штукатурка по всей бильярдной.

Коротков понял, что позицию удержать нельзя. Разбежавшись, закрыв голову руками, он ударил ногами в третью стеклянную стену, за которой начиналась плоская асфальтированная кровля громады. Стена треснула и высыпалась. Коротков под бушующим огнем успел выкинуть на крышу пять пирамид, и они разбежались по асфальту, как отрубленные головы. Вслед за ними выскочил Коротков, и очень вовремя, потому что пулемет взял ниже и вырезал всю нижнюю часть рамы.

— Сдавайся! — смутно донеслось до него.

Перед Коротковым сразу открылось худосочное солнце над самой головой, бледненькое небо, ветерок и промерзший асфальт. Снизу и снаружи город дал знать тревожным, смягченным гулом. Попрыгав на асфальте и оглянувшись, подхватив три шара, Коротков подскочил к парапету, влез на него и глянул вниз. Сердце его замерло. Открылись перед ним кровли домов, казавшихся приплюснутыми и маленькими, площадь, по которой ползали трамваи, и жучки-народ, и тотчас Коротков разглядел серенькие фигурки, проплясавшие к подъезду по щели переулка, а за ними тяжелую игрушку, усеянную золотыми сияющими головками.

— Окружили! — ахнул Коротков,— пожарные.

Перегнувшись через парапет, он прицелился и пустил один за другим три шара. Они взвились, затем, описав дугу, ухнули вниз. Коротков подхватил еще одну тройку, опять влез и, размахнувшись, выпустил и их. Шары сверкнули, как серебряные, потом, снизившись, превратились в черные, потом опять засверкали и исчезли. Короткову показалось, что жучки забегали встревоженно на залитой солнцем площади. Коротков наклонился, чтобы подхватить еще порцию снарядов, но не успел. С несмолкающим хрустом и треском стекол в проломе бильярдной показались люди. Они сыпались, как горох, выскакивая на крышу. Вылетели серые фуражки, серые шинели, а через верхнее стекло, не касаясь земли, вылетел люстриновый старичок. Затем стена совсем распалась, и грозно выкатился на роликах страшный бритый Кальсонер со старинным мушкетоном в руках.

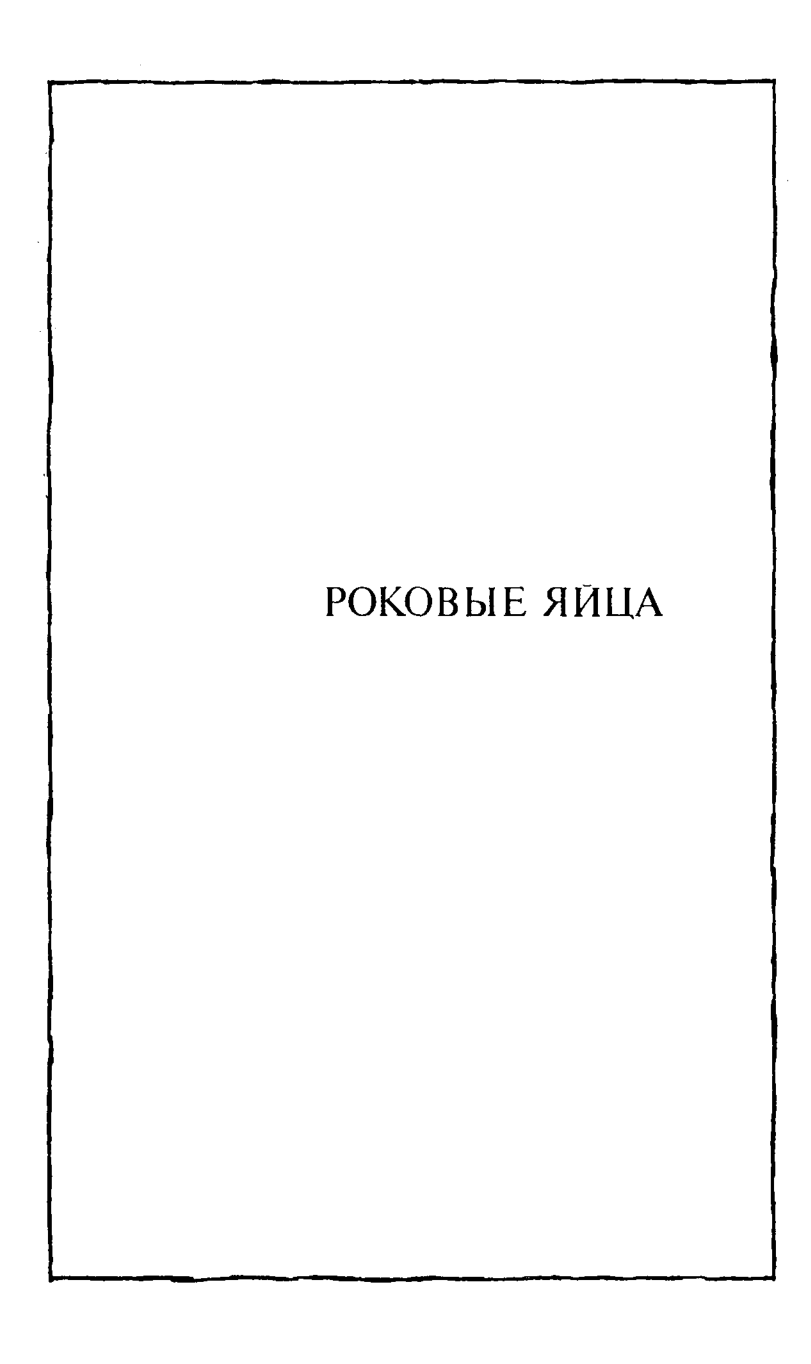
— Сдавайся! — завыло спереди, сзади и сверху, и все покрыл невыносимый оглушающий кастрюльный бас.

— Кончено,— слабо прокричал Коротков,— кончено. Бой проигран. Та-та-та! — запел он губами трубный отбой.

Отвага смерти хлынула ему в душу. Цепляясь и балансируя, Коротков взобрался на столб парапета, покачнулся на нем, вытянулся во весь рост и крикнул:

— Лучше смерть, чем позор!

Преследователи были в двух шагах. Уже Коротков видел протянутые руки, уже выскочило пламя изо рта Кальсонера. Солнечная бездна поманила Короткова так, что у него захватило дух. С пронзительным победным кликом он подпрыгнул и взлетел вверх. Вмиг перерезало ему дыхание. Неясно, очень неясно он видел, как серое с черными дырами, как от взрыва, взлетело мимо него вверх. Затем очень ясно увидел, что серое упало вниз, а сам он поднялся вверх к узкой щели переулка, которая оказалась над ним. Затем кровяное солнце со звоном лопнуло у него в голове, и больше он ровно ничего не видал.



РОКОВЫЕ ЯЙЦА

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

(Повесть)

Глава I

КУРРИКУЛЮМ ВИТЭ ПРОФЕССОРА ПЕРСИКОВА

16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV государственного университета и директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.

Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.

Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, т. е. зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти ничего не говорил.

Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания:

«Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них».

Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морошкой, жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухенькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором, как нянька.

В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне:

— Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу.

Нет сомнения, что, если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел за исключением профессоров Ульяма Веккля в Кембридже и Джиакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках кроме русского, а по-французски и немецки говорил как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на 11 с $^{1}/_{4}$, и, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской.

Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу:

— Бескормица!

Ученый был совершенно прав: Власа нужно было кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами, но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.

Действие смертей, и в особенности Суринамской жабы, на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения.

Стоя в шапке и калошах в коридоре выстывающего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой:

— Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А? Бесподобный самец, исключительный экземпляр Пипа американа, длиной в 13 сантиметров...

Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил 2 раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему «Пресмыкающиеся жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке на диване, в комнате, до потолка набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспоминал Суринамскую жабу.

Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых: на месте покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож, институт стали топить понемногу. А летом Персиков, при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь... В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю — 3 в институте и 5 в университете, в 24-м году 13 раз

в неделю и, кроме того, на рабфаках, а в 25-м, весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов, и всех на голых гадах:

— Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся?—спрашивал Персиков,—это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Тэк-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?

— Марксист,—угасая, отвечал зарезанный.

— Так вот, пожалуйста, осенью,—вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату:—давай следующего!

Подобно тому, как амфибии оживают после долгой засухи, при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы 15 пятнадцатиэтажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919—1925.

Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в 2 комнатах. Теперь профессор все 5 получил обратно, расширился, расположил $2^1/_2$ тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете.

Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли кремовою краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей.

Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра:

«Еще к вопросу о размножении бляшконосных или хитонов» 126 стр. «Известия IV университета».

А в 1927, осенью, капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе японский:

«Эмбриология пип, чесночниц и лягушек». Цена 3 рубля. Госиздат.

А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное...

Глава II

ЦВЕТНОЙ ЗАВИТОК

Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе...

Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Моховой трамвай 16, 22, 48 или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп.

Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник, и ассистент позвал:

— Владимир Ипатьич, я установил брыжейку, не хотите ли взглянуть?

Персиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру на полдороге, и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.

— Очень хорошо! — сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.

Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брыжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течение полутора часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученые перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами.

Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:

— Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.

Лягушка тяжко шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственны слова: «Сволочи вы, вот что...»

Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных бледных амеб, а посредине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Не бездарная посредственность, на горе республике, сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков! Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах — это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил — неизвестно.

— Что такое? Ничего не понимаю...

Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидал.

Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремовое крыльцо института, когда профессор поки-

нул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами:

— Но как же это так? Ведь это же чудовищно!.. Это чудовищно, господа,— повторил он, обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили.

Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови.

— Угу, угу,— пробурчал он,— пропал. Понимаю. По-о-нимаю,— протянул он, сумасшедше и вдохновенно глядя на погасший шар над головой,— это просто.

И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно осклабился.

— Я его поймаю,— торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху,— поймаю. Может быть, и от солнца.

Опять шторы взвились. Солнце теперь было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и наконец животом лег на подоконник.

Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел и дверь кабинета запер на английский замок.

Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец за дверью послышалось урчанье как бы цепного пса, харканье и мычанье, и Панкрат в полосатых подштанниках, с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна.

— Панкрат,— сказал профессор, глядя на него поверх очков,— извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой

кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?

— У-у-у, по-по-понял,— ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал.

— Нет, слушай, ты проснись, Панкрат,— молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах.— Кабинет я запер,— продолжал Персиков,— так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?

— Слушаю-с,— прохрипел Панкрат.

— Ну вот и прекрасно, ложись спать.

Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши и несколько секунд глядел на них, словно видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла.

— Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал,— сказал ученый,— иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит?.. Ведь это сулит черт знает что такое!..

Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел.

— Боже мой. Ведь даже нельзя представить себе всех последствий...— Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелою дверью. На крыльце он долго искал в карманах спичек, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту.

Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны.

— Как же раньше я не видал его, какая случайность?.. Тьфу, дурак,— профессор наклонился и задумался, глядя на разно обутые ноги,— гм... как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить ее, подлую, жалко. Придется в руках нести.— Он снял калошу и брезгливо понес ее.

На стареньком автомобиле с Пречистенки выехали трое. Двое пьяненьких и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах по моде 28-го года.

— Эх, папаша! — крикнула она низким сиповатым голосом,— что ж ты другую-то калошку пропил!

— Видно, в «Альказаре» набрался старичок,— завыл левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и прокричал:

— Отец, что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда!

Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.

Глава III

ПЕРСИКОВ ПОЙМАЛ

Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.

Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный глаз виртуоза.

В нем,— в луче, профессор разглядел то, что было в тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амебы пролежали полтора часа под действием этого луча, и получилось вот что: в то время как в диске вне луча зернистые амебы лежали вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амебы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным образом) оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову, как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течение 2 секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгнове-

ний достигали роста и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных валялись трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амеб, а во-вторых, отличались какою-то особенной злобой и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами.

Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амеб, а в третий день он перешел к первоисточнику, т. е. к красному лучу.

Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папиросою, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла.

— Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, не исследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это — получается ли он только от электричества или также и от солнца,— бормотал Персиков самому себе.

И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ничего не поймал и выразился так:

— Надо полагать, что в спектре солнца его нет... гм... ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света.— Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амеб.

Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно это чудовищно! Вы только посмотрите...

— Вы посмотрите, Владимир Ипатьич! — говорил Иванов, в ужасе прилипая глазом к окуляру,— что делается?!. Они растут на моих глазах... Гляньте, гляньте...

— Я их наблюдаю уже третий день,— вдохновенно ответил Персиков.

Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему: приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатьич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.

— Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами,— вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить.

— О, это не важно... Впрочем, конечно...

И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала. Помогал ему механик.

Из Германии, после запроса через Комиссариат просвещения, Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояковыпуклые, двояковогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И, надо отдать справедливость, уловил мастерски: луч вышел жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный.

1-го июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В течении 2-х суток из икринок вылупились тысячи головастиков. Но этого мало, в течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек, и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в 2 дня уже без всякого луча вывели новое поколение, и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что: головастики расползались из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова, как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство: мертвенный ужас. Через

неделю и сам ученый почувствовал, что он шалеет. Институт наполнился запахом эфира и цианистого кали, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся болотное поколение наконец удалось перебить ядами, кабинеты проветрить.

Иванову Персиков сказал так:

— Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно.

Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном:

— Владимир Ипатьич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное,— видимо, с большой потугой, но все же Иванов выдавил из себя слова: — профессор Персиков, вы открыли луч жизни!

Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова.

— Ну-ну-ну,— пробормотал он.

— Вы,— продолжал Иванов,— вы приобретете такое имя... У меня кружится голова. Вы понимаете,— продолжал он страстно,— Владимир Ипатьич, герои Уэльса по сравнению с вами просто вздор... А я-то думал, что это сказки... Вы помните его «Пищу богов»?

— Ах, это роман,— ответил Персиков.

— Ну да, господи, известный же!..

— Я забыл его,— ответил Персиков,— помню, читал, но забыл.

— Как же вы не помните, да вы гляньте,— Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение,— ведь это же чудовищно!

Глава IV

ПОПАДЬЯ ДРОЗДОВА

Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или потому, что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица, в светящейся столице, то исчезая, то вновь

взвиваясь, до половины июня, когда на 20-й странице газеты «Известия» под заголовком «Новости науки и техники» не появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что известный профессор IV университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была переврана, и напечатано: «Певсиков».

Иванов принес газету и показал Персикову заметку.

— «Певсиков»,— проворчал Персиков, возясь с камерой в кабинете,— и откуда эти свистуны все знают?

Увы, перевранная фамилия не спасла профессора от событий, и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова.

Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепнейшую атласную визитную карточку.

— Он тамотко,— робко прибавил Панкрат.

На карточке было напечатано изящным шрифтом:

«Альфред Аркадьевич
Бронский

Сотрудник московских журналов — «Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный прожектор» и газеты «Красная вечерняя Москва».

— Гони его к чертовой матери,— монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол.

Панкрат повернулся, вышел и через пять минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.

— Ты что же, смеешься? — проскрипел Персиков и стал страшен.

— Из Гепею, они говорять,— бледнея, ответил Панкрат.

Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком: «Очень прошу и извиняюсь, принять меня, многоуважаемый профессор на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала «Красный ворон», издания ГПУ».

— Позови-ка его сюда,— сказал Персиков и задохнулся.

Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой

человек с гладковыбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови и под ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот.

— Что вам надо?—спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь,—ведь вам же сказали, что я занят?

Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету, и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак.

— Я занят,—сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы.

— Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый профессор,—заговорил молодой человек тонким голосом,—что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений.

— Какие такие объяснения по всему миру?—заныл Персиков визгливо и пожелтев,—я не обязан вам давать объяснения и ничего такого... Я занят... страшно занят.

— Над чем же вы работаете?—сладко спросил молодой человек и поставил второй знак в блокноте.

— Да я... вы что? Хотите напечатать что-то?

— Да,—ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте.

— Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я не кончу работы... тем более в этих ваших газетах... Во-вторых, откуда вы все это знаете?..—И Персиков вдруг почувствовал, что теряется.

— Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?

— Какой такой новой жизни?—остервенился профессор,—что вы мелете чепуху! Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно! Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы...

— Во сколько раз? — торопливо спросил молодой человек.

Персиков окончательно потерялся... «Ну тип. Ведь это черт знает что такое!»

— Что за обывательские вопросы?.. Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!..

В глазках молодого человека мелькнула хищная радость.

— Получаются гигантские организмы?

— Да ничего подобного! Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных... Ну, имеют некоторые новые свойства... Но ведь тут же главное не величина, а невероятная скорость размножения,— сказал, на свое горе, Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.

— Вы же не пишите! — уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков,— что вы такое пишете?

— Правда ли, что в течение двух суток из икры можно получить 2 миллиона головастиков?

— Из какого количества икры? — вновь взбеленяясь, закричал Персиков,— вы видели когда-нибудь икринку... ну, скажем,— квакши?

— Из полуфунта? — не смущаясь, спросил молодой человек.

Персиков побагровел.

— Кто же так меряет? Тьфу! Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры... тогда, пожалуй... черт, ну, около этого количества, а может быть, и гораздо больше!

Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.

— Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?

— Что это за газетный вопрос,— завыл Персиков,— и вообще я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость!

— Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительнейше прошу,— молвил молодой человек и захлопнул блокнот.

— Что? Мою карточку? Это в ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете. Нет, нет, нет... И я занят... попрошу вас!..

— Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально.

— Панкрат! — закричал профессор в бешенстве.

— Честь имею кланяться,— сказал молодой человек и пропал.

Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипенье машины, кованое постукиванье в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его, механическая, нога щелкала и громыхала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.

— Господин профессор,— начал незнакомец приятным сиповатым голосом,— простите простого смертного, нарушившего ваше уединение.

— Вы репортер? — спросил Персиков,— Панкрат!!

— Никак нет, господин профессор,— ответил толстяк,— позвольте представиться — капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совете Народных Комиссаров.

— Панкрат!! — истерически закричал Персиков, и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон.— Панкрат! — повторил профессор,— я слушаю.

— Ферцайен зи битте, херр профессор,— захрипел телефон по-немецки,— дас их штёре. Их бин митарбейтер дес «Берлинер Тагеблатс»...[1]

— Панкрат! — закричал в трубку профессор,— бин моменталь зер бешефтигт унд кан зи десхальб етцт нихт емпфанген!..[2] Панкрат!!

А на парадном ходе института в это время начались звонки.

* * *

— Кошмарное убийство на Бронной улице!! — завывали неестественные сиплые голоса, вертясь в гуще огней между колесами и вспышками фонарей на нагретой

---

[1] Извините, пожалуйста, господин профессор, что я беспокою. Я сотрудник «Берлинской Tagesblatts»... (от *нем.*: Verzeihen Sie, bitte, Herr Professor, daß ich störe. Ich bin Mitarbeiter des «Berliner Tagesblatts»).

[2] Я сейчас очень занят и потому не могу вас принять (от *нем.*: Ich bin momental sehr beschäftigt und kann Sie deshalb jetzt nicht empfangen).

июньской мостовой,— кошмарное появление болезни кур у вдовы попадьи Дроздовой с ее портретом!.. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!!

Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Моховой и яростно ухватился за газету.

— 3 копейки, гражданин! — закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл: — «Красная вечерняя газета», открытие икс-луча!!

Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными и незрячими глазами и с повисшею нижнею челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского. «В. И. Персиков, открывший загадочный красный луч»,— гласила подпись под рисунком. Ниже, под заголовком «Мировая загадка», начиналась статья словами:

«Садитесь,— приветливо сказал нам маститый ученый Персиков...»

Под статьей красовалась подпись «Альфред Бронский (Алонзо)»:

Зеленоватый свет взлетел над крышей университета, на небе выскочили огненные слова «Говорящая газета», и тотчас толпа запрудила Моховую.

«Садитесь!!! — завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Бронского,— приветливо сказал нам маститый ученый Персиков! — Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия...»

Тихое механическое скрипение послышалось за спиною Персикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидал желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами и губы вздрагивали.

— Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомить с результатами вашего изумительного открытия,— сказал он печально и глубоко вздохнул.— Пропали мои полтора червячка.

Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка.

— Я,— пробормотал он, с ненавистью ловя слова с неба,— никакого садитесь ему не говорил! Это просто

наглец необыкновенного свойства! Вы меня простите, пожалуйста,— но, право же, когда работаешь и врываются... Я не про вас, конечно, говорю...

— Может быть, вы мне, господин профессор, хоть описание вашей камеры дадите? — заискивающе и скорбно говорил механический человек,— ведь вам теперь все равно...

— Из полуфунта икры в течение 3-х дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать,— ревел невидимка в рупоре.

— Ту-ту,— глухо кричали автомобили на Моховой.

— Го-го-го... Ишь ты, го-го-го,— шуршала толпа, задирая головы.

— Каков, мерзавец? А? — дрожа от негодования, зашипел Персиков механическому человеку,— как вам это нравится? Да я жаловаться на него буду!

— Возмутительно! — согласился толстяк.

Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза профессора, и все кругом вспыхнуло — фонарный столб, кусок торцовой мостовой, желтая стена, любопытные лица.

— Это вас, господин профессор,— восхищенно шепнул толстяк и повис на рукаве профессора, как гиря. В воздухе что-то застрекотало.

— А ну их всех к черту! — тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гирей из толпы.— Эй, таксомотор! На Пречистенку!

Облупленная старенькая машина, конструкции 24-го года, заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка.

— Вы мне мешаете,— шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света.

— Читали?! Чего оруть?.. Профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной!..— кричали кругом в толпе.

— Никаких у меня детишек нету, сукины дети,— заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль, с открытым ртом и яростными глазами.

— Крх... ту... крх... ту,— закричал таксомотор и врезался в гущу.

Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.

Глава V

КУРИНАЯ ИСТОРИЯ

В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске, Костромской губернии, Стекловского уезда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне Персональной улице вышла повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея бывшего собора Дроздова,рыдала так громко, что вскорости из домика через улицу в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула:

— Что ты, Степановна, али еще?

— Семнадцатая! — разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова.

— Ахти-х-ти-х,— заскулила и закачала головой баба в платке,— ведь это что ж такое? Прогневался господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла?

— Да ты глянь, глянь, Матрена,— бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжко,— ты глянь, что с ей!

Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи босые ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрену на свой птичий двор.

Надо сказать, что вдова отца протоиерея Савватия Дроздова, скончавшегося в 26 году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательнейшее куроводство. Лишь только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная прислуга ее Матрешка и вдовьина глухая племянница. Налог со вдовы сняли, и куроводство ее процвело настолько, что к 28-му году у вдовы, на пыльном дворике, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на стекловском рынке, вдовьими яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего «Сыр и масло Чичкина в Москве».

И вот семнадцатая по счету с утра брамапутра, любимая хохлатка, ходила по двору, и ее рвало.

«Эр...рр...урл...урл го-го-го»,— выделывала хохлатка и закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на корточках плясал член артели Матрешка с чашкой воды.

— Хохлаточка, миленькая... цып-цып-цып... испей водицы,— умоляла Матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху. Затем ее начинало рвать кровью.

— Господисусе! — вскричала гостья, хлопнув себя по бедрам,— это что ж такое делается? Одна резаная кровь. Никогда не видала, с места не сойти, не видала, чтобы курица, как человек, маялась животом.

Это и были последние напутственные слова бедной хохлатке. Она вдруг кувырнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала Матрешка, расплескав чашку, и сама попадья — председатель артели, а гостья наклонилась к ее уху и зашептала:

— Степановна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где ж это видано! Ведь таких и курьих болезней нет! Это твоих кур кто-то заколдовал.

— Враги жизни моей! — воскликнула попадья к небу,— что ж они, со свету меня сжить хочут?

Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджарый петух. Он зверски выкатил на них глаз, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился и его стошнило, потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, перевернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор. И в куриных домиках ему ответило беспокойное клохтанье, хлопанье и возня.

— Ну, не порча? — победоносно спросила гостья,— зови отца Сергия, пущай служит.

В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненною рожею между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергий, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к

кресту, густо смочила канареечный рваный рубль слезами и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что вот, мол, господь прогневался на нас. Вид при этом у отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался господь, но только не скажет.

Засим толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попадьи Дроздовой в курятнике издохло сразу трое кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух свалился с нашеста вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур вдовы, то они прикончились тотчас после молебна, и к вечеру в курятниках было мертво и тихо, лежала грудами закоченевшая птица.

Наутро город встал как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На Персональной улице к полудню осталось в живых только три курицы, в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и по нем катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный боец» в статье под заголовком: «Неужели куриная чума?», а оттуда пронеслось в Москву.

* * *

Жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку, а вечером, проезжая в трамвае по Охотному ряду, профессор увидал самого себя на крыше огромного дома с черною надписью «Рабочая газета». Он, профессор, дробясь, и зеленея, и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше, на белом экране, закрывался кулаками от фиолетового луча. Засим выскочила огненная надпись: «Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру капитану Степанову». И точно: мимо храма Христа, по Волхонке, проскочил зыбкий автомобиль, и в нем барах-

тался профессор, и физиономия у него была как у затравленного волка.

— Это какие-то черти, а не люди,— сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал.

Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки, Марьи Степановны, 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидал приписку: «Народный комиссар здравоохранения».

— Что такое? — искренно недоумевал ученый чудак,— что с ними такое сделалось?

В 10 $^{1}/_{4}$ того же вечера раздался звонок, и профессор вынужден был беседовать с некиим ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено (без имени и фамилии): «Полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов».

— Черт бы его взял,— прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степановне: — Позовите его сюда, в кабинет, этого самого уполномоченного.

— Чем могу служить? — спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями, и в правом глазу у него сидел монокль. «Какая гнусная рожа»,— почему-то подумал Персиков.

Начал гость издалека, именно попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большою неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел поздно: «Но... господина профессора невозможно днем никак пойма... хи-хи... пардон... застать» (гость, смеясь, всхлипывал, как гиена).

— Да, я занят! — так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю.

Тем не менее он позволил себе беспокоить знаменитого ученого — время — деньги, как говорится... сигара не мешает профессору?

— Мур-мур-мур,— ответил Персиков. Он позволил...

— Профессор ведь открыл луч жизни?

— Помилуйте, какой такой жизни?! Это выдумки газетчиков! — оживился Персиков.

— Ах нет, хи-хи-хэ...— он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых... о чем же говорить... Сегодня есть телеграммы... В мировых городах, как-то: Варшаве и Риге — уже все известно насчет луча. Имя профессора Персикова повторяет весь мир... весь мир следит за работами профессора Персикова, затаив дыхание... Но всем прекрасно известно, как тяжко положение ученых в Советской России. Антр ну суа ди...[1] Здесь никого нет посторонних?.. Увы, здесь не умеют ценить ученые труды, так вот, он хотел бы переговорить с профессором... Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову, совершенно бескорыстно, помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в Священном писании. Государству известно, как тяжко профессору пришлось в 19-м и 20-м году, во время этой, хи-хи... революции. Ну, конечно, строгая тайна... профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры...

И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек...

Какой-нибудь пустяк: 5000 рублей, например, задатку, профессор может получить сию же минуту... и расписки не надо... профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке.

— Вон!!! — вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах.

Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он, или это галлюцинация.

— Его калоши?! — выл через минуту Персиков в передней.

— Они забыли,— отвечала дрожащая Марья Степановна.

— Выкинуть их вон!

— Куда же я их выкину. Они придут за ними.

— Сдать их в домовый комитет. Под расписку. Чтоб

---

[1] Между нами (от *фр.* entre nous soit-dit).

не было духу этих калош! В комитет! Пусть примут шпионские калоши!..

Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные кожаные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку.

— Сдали? — бушевал Персиков.

— Сдала.

— Расписку мне.

— Да, Владимир Ипатьич. Да неграмотный же председатель!..

— Сию. Секунду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!

Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через $^1/_4$ часа с запиской:

«Получено в фонд от профе. Персикова 1 (одна) па. кало. Колесов».

— А это что?

— Жетон-с.

Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него: «Все ли благополучно?» Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое:

— Дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси... Кому тут из вас надо сказать... у меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят, да... Профессор IV университета Персиков...

Трубка вдруг резко оборвала разговор, Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.

— Чай будете пить, Владимир Ипатьич? — робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет.

— Не буду я пить никакого чаю... мур-мур-мур, и черт их всех возьми... как взбесились все равно.

Ровно через десять минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них, приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидело, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость повел себя

особенно, он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне.

Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о пяти тысячах и заставляя описывать наружность гостя.

— Да черт его знает,— бубнил Персиков,— ну, противная физиономия. Дегенерат.

— А глаз у него не стеклянный?—спросил маленький хрипло.

— А черт его знает. Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза.

— Рубинштейн?—вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому. Но тот хмуро и отрицательно покачал головой.

— Рубинштейн не даст без расписки, ни в коем случае,— забурчал он,— это не Рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее.

История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов: «Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова, с калошами»,— и Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках.

— Васенька!—негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и, словно развинченный, плелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза.

— Ну?—спросил он лаконически и сонно.

— Калоши.

Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол вбок, на одно мгновенье, сверкнули вовсе не сонные, а, наоборот, изумительно колючие глаза. Но они моментально угасли.

— Ну, Васенька?

Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом:

— Ну, что тут, ну. Пеленжковского калоши.

Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал жать руку

профессору, и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему: это делает честь профессору... Профессор может быть спокоен... больше его никто не потревожит, ни в институте, ни дома... меры будут приняты, камеры его в совершеннейшей безопасности...

— А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? — спросил Персиков, глядя поверх очков.

Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил.

— А что это за каналья у меня была?

Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания... тем не менее он убедительно просит гражданина профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера, и гости ушли.

Персиков вернулся в кабинет, к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл в трубку:

— Я вам советую лечиться у профессора Россолимо... — и получил второй звонок.

Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли Валкирий, — радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, что он уедет из Москвы к чертовой матери, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра.

Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце

неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института кроме растерянного Панкрата навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал:

— Здравствуйте, гражданин профессор.

— Что вам надо?—страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто. Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептав, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей... что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.

— Гм... однако у вас здорово поставлено дело,— промычал Персиков и прибавил наивно:—а что вы здесь будете есть?

На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять.

Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля, да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.

— Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией,—неслось из кабинета.

— Строг?—спрашивал котелок у Панкрата.

— У, не приведи бог,—отвечал Панкрат,—ежели какой-нибудь и выдержит, выходит, голубчик, из кабинета и шатается. Семь потов с него сойдет. И сейчас в пивную.

За всеми этими делишками профессор не заметил трех суток, но на четвертые его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этого был тонкий и визгливый голос с улицы.

— Владимир Ипатьич!—прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Голосу повезло: Персиков слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле.

Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любопытством он выглянул в окно и увидал на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну.

— Ах, это вы? — спросил профессор. У него не хватило сил рассердиться, и даже любопытно показалось, что такое будет дальше? Прикрытый окном, он чувствовал себя в безопасности от Альфреда. Бессменный котелок на улице немедленно повернул ухо к Бронскому. Умильнейшая улыбка расцвела у того на лице.

— Пару минуточек, дорогой профессор,— заговорил Бронский, напрягая голос с тротуара,— я только один вопросик, и чисто зоологический. Позволите предложить?

— Предложите,— лаконически и иронически ответил Персиков и подумал: «Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское».

— Что вы скажете за кур, дорогой профессор? — крикнул Бронский, сложив руки щитком.

Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно:

— Панкрат, впусти этого с тротуара.

Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рявкнул ему:

— Садитесь!

И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.

— Объясните мне, пожалуйста,— заговорил Персиков,— вы пишете там, в этих ваших газетах?

— Точно так,— почтительно ответил Альфред.

— И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за «пара минуточек» и «за кур»? Вы, вероятно, хотели спросить «насчет кур»?

Бронский жидко и почтительно рассмеялся:

— Валентин Петрович исправляет.

— Кто это такой Валентин Петрович?

— Заведующий литературной частью.

— Ну ладно. Я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчет кур?

— Вообще все, что вы скажете, профессор.

Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.

— Вы напрасно обратились ко мне, я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову, в I-м университете. Я лично знаю весьма мало...

Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка — мало!» — черкнул он в блокноте.

— Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры, или гребенчатые... род птиц из отряда куриных. Из семейства фазановых...— заговорил Персиков громким голосом и глядя не на Бронского, а куда-то вдаль, где перед ним подразумевалась тысяча человек...— из семейства фазановых... фазианидэ. Представляют собою птиц с мясистокожаным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью... гм... хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка... Ну, что ж еще. Крылья короткие и округленные... Хвост средней длины, несколько ступенчатый и даже, я бы сказал, крышеобразный, средние перья серпообразно изогнуты... Панкрат... принеси из модельного кабинета модель № 705, разрезной петух... впрочем, вам это не нужно?.. Панкрат, не приноси модели... Повторяю вам, я не специалист, идите к Португалову. Ну-с, мне лично известно 6 видов дико живущих кур... гм... Португалов знает больше... в Индии и на Малайском архипелаге. Например, Банкивский петух или Казинту, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Ассаме, в Бирме... Вилохвостый петух или Галлус Вариус на Ломбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яве имеется замечательный петух Галлюс Энеус, на юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого Зоннератова петуха... Я вам потом покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стенли, больше он нигде не водится.

Бронский сидел, вытаращив глаза, и строчил.

— Еще что-нибудь вам сообщить?

— Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней,— тихонечко шепнул Альфред.

— Гм, не специалист я... вы Португалова спросите... А впрочем... Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек... Пневмономикоз, тубер-

кулез, куриные парши... мало ли что может быть... (искры прыгали в глазах Персикова)... отравление, например, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Ахорион Шенляйни... очень интересная болезнь. При заболевании им на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень...

Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком.

— А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?

— Какой катастрофы?

— Как, разве вы не читали, профессор? — удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия».

— Я не читаю газет,— ответил Персиков и насупился.

— Но почему же, профессор? — нежно спросил Альфред.

— Потому что они чепуху какую-то пишут,— не задумываясь, ответил Персиков.

— Но как же, профессор,— мягко шепнул Бронский и развернул лист.

— Что такое? — спросил Персиков и даже поднялся с места. Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым лакированным пальцем невероятнейшей величины заголовок через всю страницу газеты «Куриный мор в республике».

— Как? — спросил Персиков, сдвигая на лоб очки...

Глава VI

МОСКВА В ИЮНЕ 1928 ГОДА

Она светилась, огни танцевали, гасли и вспыхивали. На Театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев; над бывшим Мюр и Мерилизом, над десятым надстроенным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова: «Рабочий кредит». В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толклась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал:

«Антикуриные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дали блестящие результаты. Количество...

куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое...»

Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала и угасала зеленая струя, и рупор жаловался басом:

«Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриною чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессоров Персикова и Португалова... и товарища Рабиновича!.. Новые попытки интервенции!..— хохотал и плакал, как шакал, рупор,— в связи с куриною чумой!»

Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами:

«Под угрозою тягчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытках продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные отделения милиции».

На крыше «Рабочей газеты» на экране грудой до самого неба лежали куры и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался клочьями, полз струей, выскакивала огненная надпись: «Сожжение куриных трупов на Ходынке».

Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя перерывами, на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками: «Яичная торговля. За качество гарантия». Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжелые автобусы, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью: «Мосздравотдел. Скорая помощь».

— Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами,— шуршали в толпе.

В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан «Ампир», и

в нем на столиках, у переносных телефонов, лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров: «По распоряжению Моссовета — омлета нет. Получены свежие устрицы».

В «Эрмитаже», где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой, задушенной зелени, на убивающей глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ардо и Аргуевым:

Ах, мама, что я буду делать
Без яиц?? —

и грохотали ногами в чечетке.

Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году, при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Куриный дох» в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в «Аквариуме», переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов, шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». А по Тверской, с фонариками по бокам морд, шли вереницею цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты: «В театре Корш возобновляется «Шантеклер» Ростана».

Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов:

— Кошмарная находка в подземелье! Польша готовится к кошмарной войне!! Кошмарные опыты профессора Персикова!!

В цирке бывшего Никитина, на приятно пахнущей навозом коричневой жирной арене мертвенно-бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму:

— Я знаю, отчего ты такой печальный!

— Отциво? — пискливо спрашивал Бим.

— Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла.

— Га-га-га-га,— смеялся цирк так, что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина.

— А-ап! — пронзительно кричали клоуны, и кормленая белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину, на стройных ногах, в малиновом трико.

Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на поталкивания и тихие и нежные зазывания проституток, пробирался по Моховой вдохновенный и одинокий, увенчанный неожиданною славой Персиков к огненным часам у Манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, пребольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у человека на поясе

— Ах, черт! — пискнул Персиков.— Извините.

— Извиняюсь,— ответил встречный неприятным голосом, и кое-как они расцепились в людской каше. И профессор, направляясь на Пречистенку, тотчас забыл о столкновении.

Глава VII

РОКК

Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные прививки, умелы ли заградительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле кур в Союзе Республик было совершенно чисто. Кое-где в двориках уездных городков валялись куриные сиротливые перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах поправлялись последние из жадных, доканчивая кровавый понос со рвотой. Людских смертей, к счастью, на всю республику было не более тысячи. Больших беспорядков тоже не последовало. Объявился было, правда, в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж на кур вызван не кем иным, как комиссарами, но особенного успеха не имел. На Волоколамском базаре побили нескольких милиционеров, отнимавших кур у баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопные волоколамские власти приняли меры, в

результате которых, во-первых, пророк прекратил свою деятельность, а во-вторых, стекла на телеграфе вставили.

Дойдя на Севере до Архангельска и Сюмкина Выселка, мор остановился сам собой по той причине, что идти ему дальше было некуда,— в Белом море куры, как известно, не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком Юге — пропал и затих где-то в выжженных пространствах Ордубата, Джульфы и Карабулака, а на Западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат, что ли, там был иной или сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами, но факт тот, что мор дальше не пошел. Заграничная пресса шумно, жадно обсуждала неслыханный в истории падеж, а правительство советских республик, не поднимая никакого шума, работало не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнившись новой чрезвычайной тройкой, в составе шестнадцати товарищей. Был основан Доброкур, почетными товарищами председателя в который вошли Персиков и Португалов. В газетах под их портретами появились заголовки: «Массовая закупка яиц за границей» и «Господин Юз хочет сорвать яичную кампанию». Прогремел на всю Москву ядовитый фельетон журналиста Колечкина, заканчивающийся словами: «Не зарьтесь, господин Юз, на наши яйца,— у вас есть свои!»

Профессор Персиков совершенно измучился и заработался в последние три недели. Куриные события выбили его из колеи и навалили на него двойную тяжесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в заседании куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы то с Альфредом Бронским, то с механическим толстяком. Пришлось вместе с профессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борнгартом анатомировать и микроскопировать кур в поисках бациллы чумы и даже в течение трех вечеров на скорую руку написать брошюру «Об изменениях печени у кур при чуме».

Работал Персиков без особого жара в куриной области, да оно и понятно,— вся его голова была полна другим — основным и важным — тем, от чего оторвала его куриная катастрофа, т. е. от красного луча. Расстраивая

свое и без того надломленное здоровье, урывая часы у сна и еды, порою не возвращаясь на Пречистенку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа.

К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами, в камере под лучом зрела со сказочной быстротою рыбья и лягушачья икра. Из Кенигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла, и в последних числах июля, под наблюдением Иванова, механики соорудили две новых больших камеры, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в раструбе — целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде всего он по телефону сговорился с народным комиссаром просвещения, и трубка наквакала ему самое любезное и всяческое содействие, а затем Персиков по телефону же вызвал товарища Птаху-Поросюка, заведующего отделом животноводства при верховной комиссии. Встретил Персиков со стороны Птахи самое теплое внимание. Дело шло о большом заказе за границей для профессора Персикова. Птаха сказал в телефон, что он тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк. После этого из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела, и важный и ласковый голос спросил, не нужно ли Персикову автомобиль?

— Нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в трамвае,— ответил Персиков.

— Но почему же? — спросил таинственный голос и снисходительно усмехнулся.

С Персиковым все вообще разговаривали или с почтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как маленькому, хоть и крупному, ребенку.

— Он быстрее ходит,— ответил Персиков, после чего звучный басок в телефон ответил:

— Ну, как хотите.

Прошла еще неделя, причем Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачна и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте. Один

раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале Цекубу на Пречистенке сделать доклад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков и шипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цекубистов и белые платья женщин. На эстраде, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжко дыша и серея, на блюде, влажная лягушка величиною с кошку. На эстраду бросали записки. В числе их было семь любовных, и их Персиков разорвал. Его силой вытаскивал на эстраду председатель Цекубу, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него были потные, мокрые и черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей, и вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но, уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру в вестибюле, и Персикову стало смутно, тошновато... Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее... И дрожащею рукой схватился профессор за перила.

— Вам нехорошо, Владимир Ипатьич? — набросились со всех сторон встревоженные голоса.

— Нет, нет,— ответил Персиков, оправляясь,— просто я переутомился... да... Позвольте мне стакан воды.

* * *

Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтящегося кресла, Персиков в изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами в приоткрытую дверь камеры, где, чуть-чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноп луча.

В дверь постучали.

— Ну? — спросил Персиков.

Дверь мягко скрипнула, и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнея от страха перед божеством, сказал так:

— Там до вас, господин профессор, Рокк пришел.

Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил:

— Это интересно. Только я занят.

— Они говорять, что с казенной бумагой с Кремля.

— Рок с бумагой? Редкое сочетание,— вымолвил Персиков и добавил: — Ну-ка, дай-ка его сюда!

— Слушаю-с,— ответил Панкрат и, как уж, исчез за дверью.

Через минуту она скрипнула опять, и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни — он ею не интересовался, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был странно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы, он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году он был странен. В то время как наиболее даже отставшая часть пролетариата — пекаря — ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч — старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет маузер в желтой битой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впечатление, что и на всех,— крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями. Лицо иссиня бритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно похрипел винтом и, глядя на вошедшего уже не поверх очков, а сквозь них, молвил:

— Вы с бумагой? Где же она?

Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что он увидал. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазкам, его поразил прежде всего шкаф в 12 полок, уходивший в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в аду, мерцал малиновый, разбухший в стеклах луч. И сам Персиков в полутьме у острой иглы луча, выпадавшего из

рефлектора, был достаточно странен и величественен в винтовом кресле. Пришелец вперил в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность, никакой бумаги не подал, а сказал:

— Я Александр Семенович Рокк!

— Ну-с? Так что?

— Я назначен заведующим показательным совхозом «Красный луч»,— пояснил пришлый.

— Ну-с?

— И вот к вам, товарищ, с секретным отношением.

— Интересно было бы узнать. Покороче, если можно.

Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову. А затем без приглашения сел на винтящийся табурет.

— Не толкните стол,— с ненавистью сказал Персиков.

Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сером темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло от них.

Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени раздражения:

— Простите... Я не могу понять... Как же так? Я... без моего согласья, совета... Да ведь он черт знает что наделает!!.

Тут незнакомец повернулся крайне обиженно на табурете.

— Извиняюсь,— начал он,— я завед...

Но Персиков махнул на него крючочком и продолжал:

— Извините, я не могу понять... Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яйцами... Пока я сам не попробую их...

Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали было понятно, что голос в трубке, снисходительный, говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что багровый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в стену сказал:

— Я умываю руки.

Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал ее раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх сквозь очки и вдруг взвыл:

— Панкрат!

Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по трапу в опере. Персиков глянул на него и рявкнул:

— Выйди вон, Панкрат!

И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего изумления, исчез.

Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил:

— Извольте-с... Пов-инуюсь. Не мое дело. Да мне и неинтересно.

Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил.

— Извиняюсь,— начал он,— вы же, товарищ?..

— Что вы все «товарищ» да «товарищ»...— хмуро пробубнил Персиков и смолк.

«Однако»,— написалось на лице у Рокка.

— Изви...

— Так вот-с, пожалуйста,— перебил Персиков.— Вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра,— Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат,— пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов, вот № 1... и зеркало № 2.— Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры,— а на полу в луче можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?

Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазками всматриваясь в камеру.

— Только предупреждаю,— продолжал Персиков,— руки не следует совать в луч, потому что, по моим наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия... а злокачественны они или нет, я, к сожалению, еще не мог установить.

Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз, и поглядел на руки профессора. Они были насквозь прожжены иодом, а правая у кисти забинтована.

— А как же вы, профессор?

— Можете купить резиновые перчатки у Швабе на Кузнецком,— раздраженно ответил профессор.— Я не обязан об этом заботиться.

Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу:

— Откуда вы взялись? Вообще... почему вы?..

Рокк наконец обиделся сильно.

— Извин...

— Ведь нужно же знать, в чем дело!.. Почему вы уцепились за этот луч?..

— Потому, что это величайшей важности дело...

— Ага. Величайшей? Тогда... Панкрат!

И когда Панкрат появился:

— Погоди, я подумаю.

И Панкрат покорно исчез.

— Я,— говорил Персиков,— не могу понять вот чего: почему нужна такая спешность и секрет?

— Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку,— ответил Рокк,— вы же знаете, что куры все издохли до единой.

— Ну так что из этого? — завопил Персиков,— что же, вы хотите их воскресить моментально, что ли? И почему при помощи еще не изученного луча?

— Товарищ профессор,— ответил Рокк,— вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости. Да.

— И пусть себе пишут...

— Ну, знаете,— загадочно ответил Рокк и покрутил головой.

— Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур из яиц...

— Мне,— ответил Рокк...

— Угу... Тэк-с... А почему, позвольте узнать? Откуда вы узнали о свойствах луча?

— Я, профессор, был на вашем докладе.

— Я с яйцами еще ничего не делал!.. Только собираюсь!

— Ей-богу, выйдет,— убедительно вдруг и задушевно сказал Рокк,— ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят.

— Знаете что,— молвил Персиков,— вы не зоолог? нет? жаль... из вас вышел бы очень смелый экспериментатор... Да... только вы рискуете... получить неудачу... и только у меня отнимаете время...

— Мы вам вернем камеры. Что значит?..

— Когда?

— Да вот я выведу первую партию.

— Как вы это уверенно говорите! Хорошо-с. Панкрат!

— У меня есть с собой люди,— сказал Рокк,— и охрана...

К вечеру кабинет Персикова осиротел... Опустели столы. Люди Рокка увезли три больших камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты.

Надвигались июльские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. В кабинете слышались монотонные шаги — это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям. Странное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и, когда он его поймал, вид у ужа был такой, словно тот собрался куда глаза глядят, лишь бы только уйти.

В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге. И увидал странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер.

— Вот, Панкрат,— сказал Персиков и указал на опустевший стол.

Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно, так страшно.

— Так точно,— плаксиво ответил Панкрат и подумал: «Лучше б ты уж наорал на меня!»

— Вот,— повторил Персиков, и губы у него дрогнули точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с того ни с сего любимую игрушку.

— Ты знаешь, дорогой Панкрат,— продолжал Персиков, отворачиваясь к окну,— жена-то моя, которая уехала пятнадцать лет назад, в оперетку она поступила, а теперь умерла, оказывается... Вот история, Панкрат милый... Мне письмо прислали...

Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора, вот она... ночь. Москва... где-то какие-то белые шары за окнами загорались... Панкрат, растерявшись, тосковал, держал от страху руки по швам...

— Иди, Панкрат,— тяжело вымолвил профессор и махнул рукой,— ложись спать, миленький, голубчик, Панкрат.

И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, прибежал в свою каморку, разрыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку русской горькой и разом выхлюпнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повеселели.

Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя босиком на скамье в скупо освещенном вестибюле, говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под ситцевой рубахой:

— Лучше б убил, ей-бо...

— Неужто плакал? — с любопытством спрашивал котелок.

— Ей... бо...— уверял Панкрат.

— Великий ученый,— согласился котелок,— известно, лягушка жены не заменит.

— Никак,— согласился Панкрат.

Потом он подумал и добавил:

— Я свою бабу подумываю выписать сюды... чего ей, в самом деле, в деревне сидеть... Только она гадов этих не выносит нипочем...

— Что говорить, пакость ужаснейшая,— согласился котелок.

Из кабинета ученого не слышно было ни звука. Да и света в нем не было. Не было полоски под дверью.

Глава VIII

ИСТОРИЯ В СОВХОЗЕ

Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем... Яблоки в бывшем имении Шереметевых зрели... леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля... Человек-то лучше становится на лоне природы. И не так уже неприятен показался бы Александр Семенович, как в городе. И куртки противной на нем не было. Лицо его медно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом, на ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подобрели.

Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звездой:

«СОВХОЗ «КРАСНЫЙ ЛУЧ»

и прямо к автомобилю-полугрузовичку, привезшему три черных камеры под охраной.

Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду — оранжерее Шереметевых... К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар, на кирпичах устанавливали камеры, и механик, приехавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч.

Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода.

На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному фону надписями:

VORSICHT EIER!!
ОСТОРОЖНО: ЯЙЦА!!

— Что же так мало прислали? — удивился Александр Семенович, однако тотчас захлопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее, и принимали в нем участие: сам Александр Семенович, его необыкновенной толщины жена Маня, кривой бывший садовник бывших Шереметевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа, охранитель, обреченный на житье в совхозе, и уборщица Дуня. Это не Москва, и все здесь носило более простой, семейный и дружественный характер. Александр Семенович распоряжался, любовно посматривая на ящики, выглядевшие таким солидным компактным подарком под нежным закатным светом верхних стекол оранжереи. Охранитель, винтовка которого мирно дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск... Сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалиями, суетился возле ящиков.

— Вы потише, пожалуйста,— говорил он охранителю.— Осторожнее. Что ж вы, не видите — яйца?..

— Ничего,— хрипел уездный воин, буравя,— сейчас...

Тр-р-р... и сыпалась пыль.

Яйца оказались упакованными превосходно: под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательной, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц.

— Заграничной упаковочки,— любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках,— это вам не то что у нас.— Маня, осторожнее, ты их побьешь.

— Ты, Александр Семенович, сдурел,— отвечала жена,— какое золото, подумаешь. Что я, никогда яиц не видала? Ой!.. какие большие!

— Заграница,— говорил Александр Семенович, выкладывая яйца на деревянный стол,— разве это наши мужицкие яйца... Все, вероятно, брамапутры, черт их возьми! немецкие...

— Известное дело,— подтверждал охранитель, любуясь яйцами.

— Только не понимаю, чего они грязные,— говорил задумчиво Александр Семенович... Маня, ты присматривай. Пускай дальше выгружают, а я иду на телефон.

И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор.

Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персиков взъерошил волосы и подошел к аппарату.

— Ну?— спросил он.

— С вами сейчас будет говорить провинция,— тихо с шипением отозвалась трубка женским голосом.

— Ну. Слушаю,— брезгливо спросил Персиков в черный рот телефона... В том что-то щелкало, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно.

— Мыть ли яйца, профессор?

— Что такое? Что? Что вы спрашиваете?— раздражился Персиков,— откуда говорят?

— Из Никольского, Смоленской губернии,— ответила трубка.

— Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это?

— Рокк,— сурово сказала трубка.

— Какой Рокк? Ах да... это вы... так вы что спрашиваете?

— Мыть ли их?.. прислали из-за границы мне партию курьих яиц...

— Ну?

— ...А они в грязюке в какой-то...

— Что-то вы путаете... Как они могут быть в «грязюке», как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть немного... помет присох... или что-нибудь еще...

— Так не мыть?

— Конечно, не нужно... Вы что, хотите уже заряжать яйцами камеры?

— Заряжаю. Да,— ответила трубка.

— Гм,— хмыкнул Персиков.

— Пока,— цокнула трубка и стихла.

— «Пока»,— с ненавистью повторил Персиков приват-доценту Иванову,— как вам нравится этот тип, Петр Степанович?

Иванов рассмеялся.

— Это он? Воображаю, что он там напечет из этих яиц.

— Д... д... д...— заговорил Персиков злобно,— вы вообразите, Петр Степанович... ну, прекрасно... очень возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся. Но ведь ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут... может быть, они ни к черту не годные куры. Может быть, они подохнут через два дня. Может быть, их есть нельзя! А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах. Может быть, у них кости ломкие.— Персиков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы.

— Совершенно верно,— согласился Иванов.

— Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур. Догонит их до величины собаки, а потомства от них жди потом до второго пришествия.

— Нельзя поручиться,— согласился Иванов.

— И какая развязность,— расстраивал сам себя Персиков,— бойкость какая-то! И ведь заметьте, что этого прохвоста мне же поручено инструктировать.— Персиков указал на бумагу, доставленную Рокком (она валялась на экспериментальном столе)... а как я его буду, этого невежду, инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу.

— А отказаться нельзя было? — спросил Иванов.

Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся.

— М-да...— сказал он многозначительно.

— И ведь заметьте... Я своего заказа жду два месяца, и о нем ни слуху ни духу. А этому моментально и яйца прислали, и вообще всяческое содействие...

— Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьич. И просто кончится тем, что вернут вам камеры.

— Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают.

— Да, вот это скверно. У меня все готово.

— Вы скафандры получили?

— Да, сегодня.

Персиков несколько успокоился и оживился.

— Угу... я думаю, мы так сделаем. Двери операционной можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем...

— Конечно,— согласился Иванов.

— Три шлема?

— Три. Да.

— Ну вот-с... Вы, стало быть, я, и кого-нибудь из студентов можно назвать. Дадим ему третий шлем.

— Гринмута можно.

— Это который у вас сейчас над саламандрами работает?.. гм... он ничего... хотя, позвольте, весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых,— злопамятно добавил Персиков.

— Нет, он ничего... Он хороший студент,— заступился Иванов.

— Придется уж не поспать одну ночь,— продолжал Персиков,— только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то черт их знает, эти Доброхимы ихние. Пришлют какую-нибудь гадость.

— Нет, нет,— и Иванов замахал руками,— вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатьич, превосходный газ.

— Вы на ком пробовали?

— На обыкновенных жабах. Пустишь струйку — мгновенно умирают. Да, Владимир Ипатьич, мы еще так сделаем. Вы напишите отношение в Гепеу, чтобы вам прислали электрический револьвер.

— Да я не умею с ним обращаться...

— Я на себя беру,— ответил Иванов,— мы на Клязьме из него стреляли, шутки ради... там один гепеур рядом со мной жил. Замечательная штука. И просто чрезвычайно...

Бьет бесшумно, шагов на сто и наповал. Мы в ворон стреляли... По-моему, даже и газа не нужно.

— Гм... это остроумная идея... Очень,— Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул...

— Дайте-ка мне эту, как ее... Лубянку...

* * *

Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями видно было ясно, как переливался прозрачный, жирный зной. А ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшее именье Шереметевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз, словно сахарный, светился, в парке тени дрожали, а пруды стали двуцветными пополам — косяком лунный столб, а половина бездонная тьма. В пятнах луны можно было свободно читать «Известия», за исключением шахматного отдела, набранного мелкой нонпарелью. Но в такие ночи никто «Известия», понятное дело, не читал... Дуня, уборщица, оказалась в роще за совхозом, и там же оказался, вследствие совпадения, рыжеусый шофер потрепанного совхозского полугрузовичка. Что они там делали — неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза, прямо на разостланном кожаном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника, а мадам Рокк в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу луну.

В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты. Выразить немыслимо, до чего они были уместны над рощами и бывшими колоннами шереметевского дворца. Хрупкая Лиза из «Пиковой дамы» смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого, до слез очаровывающего режима.

Угасают... Угасают...—

свистала, переливая и вздыхая, флейта.

Замерли рощи, и Дуня, гибельная, как лесная русалка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и мужественной щеке шофера.

— А хорошо дудит, сукин сын,— сказал шофер, обнимая Дуню за талию мужественной рукой.

Играл на флейте сам заведывающий совхозом Александр Семенович Рокк, и играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концертном ансамбле маэстро Петухова, ежевечерне оглашающем стройными звуками фойе уютного кинематографа «Волшебные грезы» в городе Екатеринославе. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он покинул «Волшебные грезы» и пыльный звездный сатин в фойе и бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик, и, конечно, не в фойе «Грез» ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний, 1927, и начало 28-го года застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную газету, а засим, как местный член высшей хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению туркестанского края. В 1928 году Рокк прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, оценила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы! Увы! На горе республике, кипучий мозг Александра Семеновича не потух, в Москве Рокк столкнулся с изобретением Персикова, и в номерах на Тверской «Красный Париж» родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Рокка выслушали в комиссии животноводства, согласились с ним, и Рокк пришел с плотной бумагой к чудаку зоологу.

Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно, в Концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительнейший вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на пру-

дах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновенье, будто померкла таинственная колдовская ночь.

Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду.

— Маня. Ты слышишь? Вот проклятые собаки... Чего они, как ты думаешь, разбесились?

— Откуда я знаю? — ответила Маня, глядя на луну.

— Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички,— предложил Александр Семенович.

— Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко!

— Нет, Манечка, пойдем.

В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блистающими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испещренные пятнами ярко-красные яйца, в камерах было беззвучно... а шар вверху в 15 000 свечей тихо шипел...

— Эх, выведу я цыпляток! — с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то с боку в контрольные прорезы, то сверху, через широкие вентиляционные отверстия,— вот увидите... Что? Не выведу?

— А вы знаете, Александр Семенович,— сказала Дуня, улыбаясь,— мужики в Концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машиной выводить. Убить вас хотели.

Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело.

— Ну, что вы скажете? Вот народ! Ну что вы сделаете с таким народом? А? Манечка, надо будет им собрание сделать... Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать... А то это медвежий какой-то угол...

— Темнота,— молвил охранитель, расположившийся на своей шинели у двери оранжереи.

Следующий день ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это было замечено,

решительно всеми. Словно перед грозой. Но никакой грозы и в помине не было. Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок, и в особенности потому, что со слов дяди, по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из Концовки, стало известно, что якобы все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметева вон, на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с городом Грачевкой. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня через два ораторов на две темы — международное положение и вопрос о Доброкуре.

Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно-неприятна тишина среди деревьев, если в полдень убрались куда-то воробьи с совхозовского двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметевке. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на сорок верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать, и толковать самым неприятным образом, т. е. за спиной Александра Семеновича.

— Действительно, это странно,— сказал за обедом Александр Семенович жене,— я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать?

— Откуда я знаю?— ответила Маня.— Может быть, от твоего луча?

— Ну, ты, Маня, обыкновеннейшая дура,— ответил Александр Семенович, бросив ложку,— ты — как мужики. При чем здесь луч?

— А я не знаю. Оставь меня в покое.

Вечером произошел третий сюрприз — опять взвыли собаки в Концовке, и ведь как! Над лунными полями стоял непрерывный стон, злобные тоскливые стенания.

Вознаградил себя несколько Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться беспрерывный стук в красных яйцах. Токи... токи... токи... токи...— стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце.

Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруде. Сошлись все в оранжерее: и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери.

— Ну, что? Что вы скажете?— победоносно спрашивал Александр Семенович. Все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры,— это они клювами стучат, цыплятки,— продолжал, сияя, Александр Семенович.— Не выведу цыпляток, скажете? Нет, дорогие мои.— И от избытка чувств он похлопал охранителя по плечу.— Выведу таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба смотреть,— строго добавил он.— Чуть только начнут вылупливаться, сейчас же мне дать знать.

— Хорошо,— хором ответили сторож, Дуня и охранитель.

Таки... таки... таки...— закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни в тонкой отсвечивающей кожуре была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых пустых ящиках, глядя, как в загадочном мерцающем свете созревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно, потому, что нарушал ее полное молчание то и дело начинающийся беспричинный тоскливейший и ноющий вой собак в Концовке. Чего бесились проклятые псы — совершенно неизвестно.

Наутро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил.

— Непонятное дело,— уверял охранитель,— я тут непричинен, товарищ Рокк.

— Спасибо вам, и от души благодарен,— распекал его Александр Семенович,— что вы, товарищ, думаете? Вас зачем приставили? Смотреть. Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь вылупились они? Значит, удрали. Значит, вы дверь оставили открытой да и ушли себе сами? Чтоб были мне цыплята!

— Некуда мне ходить. Что я, своего дела не знаю,— обиделся наконец воин,— что вы меня попрекаете даром, товарищ Рокк!

— Куды ж они подевались?

— Да я почем знаю,— взбесился наконец воин,— что я, их укараулю разве? Я зачем приставлен. Смотреть, чтобы камеры никто не упер, я и исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся, может, их на велосипеде не догонишь!

Александр Семенович несколько осекся, побурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными. И одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу, в луче.

— Черт их знает,— бормотал Александр Семенович,— окна заперты, не через крышу же они улетели!

Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр.

— Что вы, Александр Семенович,— крайне удивилась Дуня,— станут вам цыплята летать. Они тут где-нибудь... цып... цып... цып...— начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались.

Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем, и тому был дан строжайший приказ: каждые четверть часа заглядывать в окна камер и, чуть что, звать Александра Семеновича. Охранитель сидел, насупившись, у дверей, держа винтовку между колен. Александр Семенович совершенно захлопотался и только во втором часу дня пообедал. После обеда он поспал часок в прохладной тени на бывшей оттоманке Шереметева, напился совхозовского сухарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что теперь там все в полном порядке. Старик сторож лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное стекло первой камеры. Охранитель бодрствовал, не уходя от дверей.

Но были и новости: яйца в третьей камере, заряженные позже всех, начали как-то причмокивать и цокать, как будто внутри их кто-то всхлипывал.

— Ух, зреют,— сказал Александр Семенович,— вот это зреют, теперь вижу. Видал?— отнесся он к сторожу.

— Да, дело замечательное,— ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном.

Александр Семенович посидел немного у камер, но при нем никто не вылупился, он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пройдет на пруд выкупаться и чтобы его, в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец в спальню, где стояли две узких пружинных кровати со скомканным бельем и на полу была навалена груда зеленых яблоков и горы проса, приготовленного для будущих выводков, вооружился мохнатым полотенцем, а подумав, захватил с собой и флейту, с тем чтобы на досуге поиграть над водною гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой аллейке направился к пруду. Бодро шел Рокк, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На правой руке у Рокка началась заросль лопухов, в которую он, проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршанье, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купаленки. Несколько стрекоз мотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился и к нему присоединилось короткое сипение, как будто высочилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли.

— Александр Семенович,— прозвучал в этот момент голос жены Рокка, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась и опять мелькнула в малиннике.— Подожди, я тоже пойду купаться.

Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву. Затем верх бревна надломился, немного

склонился, и над Александром Семеновичем оказалось что-то напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в три толще столба и гораздо красивее его благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул на верх ужасного столба, и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь летние штаны.

На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, заострена и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула воздух, весь столб вобрался в лопухи, и только одни глаза остались и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом, произнес четыре слова, совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями.

— Что это за шутки...

Затем ему вспомнилось, что факиры... да... да... Индия... плетеная корзинка и картинка... Заклинают.

Голова вновь взвилась, и стало выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из «Евгения Онегина». Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримою ненавистью к этой опере.

— Что ты, одурел, что играешь на жаре? — послышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно.

Затем истошный визг пронизал весь совхоз, разросся и взлетел, а вальс запрыгал как с перебитою ногой. Голова из зелени рванулась вперед, глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги, и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была белая кофточка на дороге. Рокк видел совершенно отчетливо: Маня стала желто-белой, и ее длинные волосы, как проволочные, поднялись на пол-аршина над головой. Змея на

глазах Рокка, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню, оседающую в пыль, за плечо, так что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик. Змея извернулась пятисаженным винтом, хвост ее взмел смерч, и стала Маню давить. Та больше не издала ни одного звука, и только Рокк слышал, как лопались ее кости. Высоко над землей взметнулась голова Мани, нежно прижавшись к змеиной щеке. Изо рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука, и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала налезать на нее, как перчатка на палец. От змеи во все стороны било такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рокка, а хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной, как сапог, головы покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался наконец от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать...

Глава IX

ЖИВАЯ КАША

Агент Государственного политического управления на станции Дугино Щукин был очень храбрым человеком, он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Полайтису:

— Ну, что ж, поедем. А? Давай мотоцикл,— потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке: — флейту-то положите.

Но седой трясущийся человек на лавке, в помещении дугинского ГПУ, флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Щукин и Полайтис поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Щукин, отличавшийся огромной, почти цирковой силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол.

Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня.

— Вы поедете с нами,— сказал Щукин, обращаясь к Александру Семеновичу,— покажете нам, где и что.— Но

Рокк в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения.

— Нужно показать,— добавил сурово Полайтис.

— Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе.

— Отправьте меня в Москву,— плача, попросил Александр Семенович.

— Вы разве совсем не вернетесь в совхоз?

Но Рокк вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз.

— Ну, ладно,— решил Щукин,— вы действительно не в силах... Я вижу. Сейчас курьерский пройдет, с ним и поезжайте.

Затем у Щукина с Полайтисом, пока сторож станционный отпаивал Александра Семеновича водой и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание. Полайтис полагал, что вообще ничего этого не было, а просто-напросто Рокк душевнобольной и у него была страшная галлюцинация. Щукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролировал цирк, убежал удав-констриктор. Услыхав их сомневающийся шепот, Рокк привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк:

— Слушайте меня. Слушайте. Что же вы не верите? Она была. Где же моя жена?

Щукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент, по распоряжению Щукина, стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Щукин же с Полайтисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это уже была хорошенькая защита. Пятидесятизарядная модель 27-го года, гордость французской техники для близкого боя, била всего на сто шагов, но давала поле 2 метра в диаметре и в этом поле все живое убивала наповал. Промахнуться было очень трудно. Щукин надел блестящую электрическую игрушку, а Полайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик, взял обоймы, и на одном мотоциклете, по утренней росе и холодку, они по шоссе покатились к совхозу. Мотоцикл простучал 20 верст, отделявших станцию от совхоза, в четверть часа (Рокк шел всю ночь, то и дело прячась, в припадках смертного страха, в придорожную траву), и, когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым

вилась речка Топь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Полайтис затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто и нигде не отозвался, за исключением отдаленных остервенившихся собак в Концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты, в желтых гетрах, соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила.

— Эй, кто тут есть! — окликнул Щукин громко.

Но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Полайтис нахмурился. Щукин стал посматривать серьезно, все более хмуря светлые брови. Заглянули через закрытое окно в кухню и увидали, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды.

— Ты знаешь, что-то действительно у них случилось. Я теперь вижу. Катастрофа,— молвил Полайтис.

— Эй, кто там есть! Эй! — кричал Щукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни.

— Черт их знает! — ворчал Щукин.— Ведь не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Идем в дом.

Дверь во дворце с колонной верандой была открыта настежь, и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но ничего решительно не добились, и через вымершее крыльцо они вновь вышли во двор.

— Обойдем кругом. К оранжереям,— распорядился Щукин,— все обшарим, а там можно будет протелефонировать.

По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидали блещущие стекла оранжереи.

— Погоди-ка,— заметил шепотом Щукин и отстегнул с пояса револьвер. Полайтис насторожился и снял пулеметик. Странный и очень зычный звук тянулся в оранжерее и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. Зау-зау... зау-зау... с-с-с-с-с...— шипела оранжерея.

— А ну-ка осторожно,— шепнул Щукин, и, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею.

Тотчас Полайтис откинулся назад и лицо его стало бледно. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в руке.

Вся оранжерея жила как червивая каша. Свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползли огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромной силы электрический шар, и от этого вся внутренность оранжереи освещалась странным кинематографическим светом. На полу торчали три темных, словно фотографических, огромных ящика, два из них, сдвинутые и покосившиеся, потухли, а в третьем горело небольшое густо-малиновое световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия в крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно черная, пятнистая змея в несколько аршин, и голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то погремушки звякали в шипении, из оранжереи тянуло странным гнилостным, словно прудовым, запахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющиеся в пыльных углах, и странную гигантскую голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп в сером у двери, рядом с винтовкой.

— Назад,— крикнул Щукин и стал пятиться, левой рукою отдавливая Полайтиса и поднимая правою револьвер. Он успел выстрелить раз девять, прошипев и выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно усилился, и в ответ на стрельбу Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенах. Чах-чах-чах-тах.— стрелял Полайтис, отступая задом. Странный четырехлапый шорох послышался сзади, и Полайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, все похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось из-за угла сарая и, яростно перекусив ногу Полайтису, сбило его на землю.

— Помоги,— крикнул Полайтис, и тотчас левая рука

его попала в пасть и хрустнула, правой рукой он, тщетно пытаясь поднять ее, повез револьвером по земле. Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда среди небольших змеиных морд высунулась одна огромная, оливковая и туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил и опять, прыгая и вертясь возле Полайтиса, полумертвого уже в пасти крокодила, выбирал место, куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец это ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив вокруг все зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, окоченев, и выпустил Полайтиса. Кровь у того текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую, здоровую руку, тянул переломанную левую ногу. Глаза его угасали.

— Щукин... беги,— промычал он, всхлипывая.

Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескользнула двор, заняв его весь пятисаженным телом, и во мгновение обвила ноги Щукина. Его швырнуло вниз на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Щукин крикнул мощно, потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не послышалось ни одного выстрела. Все погасил шипящий, покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донесся из Концовки вой, но теперь уже нельзя было разобрать, чей это вой, собачий или человечий.

Глава X

КАТАСТРОФА

В ночной редакции газеты «Известия» ярко горели шары и толстый выпускающий редактор на свинцовом столе верстал вторую полосу с телеграммами «По Союзу Республик». Одна гранка попалась ему на глаза, он всмотрелся в нее через пенсне и захохотал, созвал вокруг

себя корректоров из корректорской и метранпажа и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой бумаги было напечатано:

«Грачевка, Смоленской губернии. В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается, как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья».

Наборщики страшно хохотали.

— В мое время,— заговорил выпускающий, хихикая жирно,— когда я работал у Вани Сытина в «Русском слове», допивались до слонов. Это верно. А теперь, стало быть, до страусов.

Наборщики хохотали.

— А ведь верно, страус,— заговорил метранпаж,— что же, ставить, Иван Вонифатьевич?

— Да что ты, сдурел,— ответил выпускающий,— я удивляюсь, как секретарь пропустил, просто пьяная телеграмма.

— Попраздновали, это верно,— согласились наборщики, и метранпаж убрал со стола сообщение о страусе.

Поэтому «Известия» и вышли на другой день, содержа, как обыкновенно, массу интересного материала, но без каких бы то ни было намеков на грачевского страуса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий «Известия», у себя в кабинете свернул лист «Известий», зевнув, молвил: «Ничего интересного» — и стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинете у него загорелись горелки и заквакали лягушки. В кабинете же профессора Персикова была кутерьма. Испуганный Панкрат стоял и держал руки по швам.

— Понял... слушаю-с,— говорил он.

Персиков запечатанный сургучом пакет вручил ему, говоря:

— Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь ему прямо, что он — свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал. И пакет ему отдай.

«Хорошенькое дело...» — подумал бледный Панкрат и убрался с пакетом.

Персиков бушевал.

— Это черт знает что такое,— скулил он, разгуливая по кабинету и потирая руки в перчатках,— это неслыханное издевательство надо мной и над зоологией. Эти

проклятые куриные яйца везут грудами, а я 2 месяца не могу добиться необходимого. Словно до Америки далеко! Вечная кутерьма, вечное безобразие,— он стал считать по пальцам: — ловля... ну, десять дней самое большое, ну, хорошо,— пятнадцать... ну, хорошо, двадцать, и перелет два дня, из Лондона в Берлин день... Из Берлина к нам шесть часов... какое-то неописуемое безобразие...

Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить.

В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов, лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих как ртуть, с этикеткою «Доброхим, не прикасаться» и рисунком черепа со скрещенными костями.

Понадобилось по меньшей мере три часа, чтоб профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до одиннадцати часов вечера, и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремовыми стенами. Ни нелепый слух, пролетевший по Москве о каких-то змеях, ни странная выкрикнутая телеграмма в вечерней газете ему остались неизвестны, потому что доцент Иванов был в Художественном театре на «Федоре Иоанновиче» и, стало быть, сообщить новость профессору было некому.

Персиков около полуночи приехал на Пречистенку и лег спать, почитав еще на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале «Зоологический вестник», полученном из Лондона. Он спал, да спала и вся вертящаяся до поздней ночи Москва, и не спал лишь громадный серый корпус на Тверской ул. во дворе, где страшно гудели, потрясая все здание, ротационные машины «Известий». В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он, совершенно бешеный с красными глазами, метался, не зная, что делать, и посылал всех к чертовой матери. Метранпаж ходил за ним и, дыша винным духом, говорил:

— Ну что же, Иван Вонифатьевич, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины же номер выдирать.

Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями, сбивались кучками и читали телеграммы, которые шли

теперь всю ночь напролет, через каждые четверть часа, становясь все чудовищнее и страннее. Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшем типографию, и механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно, и станция почти механически подавала в ответ в загадочные трубки «занято», «занято», и на станции, перед бессонными барышнями, пели и пели сигнальные рожки...

Наборщики облепили механического толстяка, и капитан дальнего плавания говорил им:

— Аэропланы с газом придется посылать.

— Не иначе,— отвечали наборщики,— ведь это что ж такое.— Затем страшная матерная ругань перекатывалась в воздухе и чей-то визгливый голос кричал:

— Этого Персикова расстрелять надо.

— При чем тут Персиков,— отвечали из гущи,— этого сукина сына в совхозе — вот кого расстрелять.

— Охрану надо было поставить,— выкрикивал кто-то.

— Да, может, это вовсе и не яйца.

Все здание тряслось и гудело от ротационных колес, и создавалось такое впечатление, что серый неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром.

Занявшийся день не остановил его. Напротив, только усилил, хоть и электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой вкатывались в асфальтированный двор, вперемежку с автомобилями. Вся Москва встала, и белые листы газеты одели ее, как птицы. Листы сыпались и шуршали у всех в руках, и у газетчиков к одиннадцати часам дня не хватило номеров, несмотря на то что «Известия» выходили в этом месяце с тиражом в полтора миллиона экземпляров. Профессор Персиков выехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики, в количестве трех штук, испещренные заграничными наклейками на немецком языке, и над ними царствовала одна русская меловая надпись: «Осторожно — яйца».

Бурная радость овладела профессором.

— Наконец-то,— вскричал он.— Панкрат, взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Ко мне в кабинет.

Панкрат немедленно исполнил приказание, и через четверть часа в кабинете профессора, усеянном опилками и обрывками бумаги, забушевал его голос.

— Да они что же, издеваются надо мною, что ли,— выл профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйца,— это какая-то скотина, а не Птаха. Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?

— Яйца-с,— отвечал Панкрат горестно.

— Куриные, понимаешь, куриные, черт бы их задрал! На какого дьявола они мне нужны. Пусть посылают их этому негодяю в его совхоз!

Персиков бросился в угол к телефону, но не успел позвонить.

— Владимир Ипатьич! Владимир Ипатьич! — загремел в коридоре института голос Иванова.

Персиков оторвался от телефона, и Панкрат стрельнул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал в кабинет, вопреки своему джентльменскому обычаю, не снимая серой шляпы, сидящей на затылке, и с газетным листом в руках.

— Вы знаете, Владимир Ипатьич, что случилось,— выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с надписью: «Экстренное приложение», посредине которого красовался яркий цветной рисунок.

— Нет, вы слушайте, что они сделали,— в ответ закричал, не слушая, Персиков,— они меня вздумали удивить куриными яйцами. Этот Птаха форменный идиот, посмотрите!

Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпрыгнули с лица.

— Так вот что,— задыхаясь, забормотал он,— теперь я понимаю... Нет, Владимир Ипатьич, вы только гляньте,— он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая в желтых пятнах змея, в странной смазанной зелени. Она была снята сверху, с легонькой летательной машины, осторожно скользнувшей над змеей,— кто это, по-вашему, Владимир Ипатьич?

Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении:

— Что за черт. Это... да это анаконда, водяной удав...

Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу:

— Владимир Ипатьич, эта анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур, и, вы поймите, они дали такую же самую феноменальную кладку, как лягушки!

— Что такое?—ответил Персиков, и лицо его сделалось бурым...—Вы шутите, Петр Степанович... Откуда?

Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал:

— Вот откуда.

— Что-о?!—завыл Персиков, начиная соображать.

Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал:

— Будьте покойны. Они ваш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке.

— Боже мой... боже мой,—повторил Персиков и, зеленея лицом, стал садиться на винтящийся табурет.

Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:

— Ну, теперь они будут иметь веселую историю!.. Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимир Ипатьич, вы гляньте,—и он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа...—«Змеи идут стаями в направлении Можайска... откладывая неимоверные количества яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде... Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения... и отряды Государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов...»

Персиков, разноцветный, иссиня-бледный, с сумасшедшими глазами, поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать:

— Анаконда... анаконда... водяной удав! Боже мой!— в таком состоянии его еще никогда не видали ни Иванов, ни Панкрат.

Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел страшным параличным цветом и, шатаясь, с совершенно тупыми стеклянными

глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института.

— Анаконда... анаконда...— загремело эхо.

— Лови профессора! — взвизгнул Иванов Панкрату, заплясавшему от ужаса на месте.— Воды ему... у него удар.

Глава XI

БОЙ И СМЕРТЬ

Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения, не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили как попало, в квартирах что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо, во всех направлениях изрезанное прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывали тающие бледные конусы на Москву и исчезали и гасли. Небо беспрерывно гудело очень низким аэропланным гулом. В особенности страшно было на Тверской-Ямской. На Александровский вокзал через каждые 10 минут приходили поезда, сбитые как попало из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми, и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы — это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелам железных дорог из Смоленской губернии на Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах и выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды Красной Армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В квартирах роняли и

били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы, в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на север и восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыша и бренча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ощетинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов Народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью: «Осторожно. Третьяковская галерея». Машины рявкали и бегали по всей Москве.

Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара, и слышались, колыша густую черноту августа, беспрерывные удары пушек.

Под утро по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие расплеснутое варево безумия шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою, выть.

— Да здравствует Конная армия! — кричали исступленные женские голоса.

— Да здравствует! — отзывались мужчины.

— Задавят!!. давят!..— выли где-то.

— Помогите! — кричали с тротуара.

Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуаров, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного строя, цепляясь за стремена и целуя их. В беспрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных:

— Короче повод.

Где-то пели весело и разухабисто, и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры в странных чадрах, с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними шли громадные цистерны-автомобили, с длиннейшими рукавами и шлан-

гами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных, и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью «Газ». «Доброхим».

— Выручайте, братцы,— завывали с тротуаров,— бейте гадов... Спасайте Москву!

— Мать... мать... мать...— перекатывалось по рядам. Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе, и белые зубы скалились на ошалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение:

...Ни туз, ни дама, ни валет,
Побьем мы гадов, без сомненья,
Четыре сбоку — ваших нет...

Гудящие раскаты «ура» выплывали над всей этой кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади, в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным 10 лет назад, постаревший и поседевший командир конной громады. Толпа завывала, и в небо улетал, немного успокаивая мятущиеся сердца, гул «ура... ура...».

* * *

Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ Манежа грохнул веером залп, это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улице здесь было мало, оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персиков сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас. В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне, под левым его локтем, лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщавший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстреливает можайский лес по квадратам, громя залежи крокодильих яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно,

залив газом почти весь уезд, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике металось разрозненными группами, на свой риск и страх, кидаясь куда глаза глядят. Сообщалось, что Отдельная Кавказская кавалерийская дивизия в можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода и что совет при главнокомандующем предпринимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести уличные бои с гадами на самых улицах столицы, в случае, если красным армиям и аэропланам и эскадрильям не удастся удержать нашествия пресмыкающихся.

Ничего этого профессор не читал, смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил. Кроме него только два человека были в институте — Панкрат и, то и дело заливающаяся слезами, экономка Марья Степановна, бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване, в тени в углу, и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенным для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно.

С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей, и отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо реагировал на этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал:

«Ишь, как беснуются... что ж я теперь поделаю». И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованые двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и высыпалось стекло в кабинете профессора, и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича: «Убегайте, Владимир Ипатьич, убегайте». Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крючочком, ответил, причем его глаза на миг приобрели прежний остренький блеск, напомнивший прежнего вдохновенного Персикова.

— Никуда я не пойду,— проговорил он,— это просто глупость, они мечутся, как сумасшедшие... Ну, а если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду. И, пожалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я. Панкрат! — позвал он и нажал кнопку.

Вероятно, он хотел, чтоб Панкрат прекратил всю суету, которой он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились и издалека донеслись хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт загрохотал бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то, он отбился от нее, вытянулся во весь рост и, как был, в белом халате, вышел в коридор.

— Ну? — спросил он. Двери распахнулись, и первое, что появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, спиной и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему:

— Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать.

Его словам ответил визг Марьи Степановны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетели из дверей, завывая:

— Бей его! Убивай...

— Мирового злодея!

— Ты распустил гадов!

Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе на полу на коленях стояла Марья Степановна, распростер руки, как распятый... он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении:

— Это форменное сумасшествие... вы совершенно дикие звери. Что вам нужно? — Завыл: — Вон отсюда! — и закончил фразу резким, всем знакомым выкриком: — Панкрат, гони их вон.

Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат, с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья, лежал недвижимо в вестибюле, и новые и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы.

Низкий человек, на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать набок, и последним его словом было слово:

— Панкрат... Панкрат...

Ни в чем не повинную Марью Степановну убили и растерзали в кабинете, камеру, где потух луч, разнесли в клочья, в клочья разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек, раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгою вооруженных электрическими револьверами, и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.

Глава XII

МОРОЗНЫЙ БОГ НА МАШИНЕ

В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу и те

безграничные пространства, которыми она владела и на которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движения мерзких пресмыкающихся, полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве.

Их задушил мороз. Двух суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи, и в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним невиданным рисунком, который безвестно пропавший Рокк принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них прикончены.

Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны, непрочные созданья гнилостных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной.

Были долгие эпидемии, были долго повальные болезни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже не снабженная газами, а саперными принадлежностями, керосинными цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года.

А весною 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкою храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и на месте сгоревшего в августе 28 года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец, и им заведовал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего квакающего голоса. О луче и катастрофе 28 года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый

им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен, и ныне ординарный профессор, Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в никольском совхозе «Красный луч», при первом бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как ни просто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное кроме знания, чем обладал в мире только один человек — покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков.

Москва, 1924 г., октябрь

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

Чудовищная история

1

У-у-у-у-у-у-гу-гу-гугу-уу! О, гляньте на меня, я погибаю! Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с нею. Пропал я, пропал! Негодяй в грязном колпаке, повар в столовой нормального питания служащих Центрального совета народного хозяйства, плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий! Господи боже мой, как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, вою, да разве воем поможешь?

Чем я ему помешал? Чем? Неужли же я обожру Совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире! Вор с медной мордой. Ах, люди, люди! В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо — грибы соус пикан по три рубля семьдесят пять копеек порция. Это дело на любителя — все равно что калошу лизать... У-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы, и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная очень хоро-

шая трава, и, кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не грымза какая-то, что поет на кругу при луне — «милая Аида»,— так что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда же пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбою своею мирюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода,потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело мое — изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что: как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадается разный. Например, покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас! Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании, уму собачьему непостижимо! Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают! Бегут, жрут, лакают!

Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести! Прибежит машинисточка, ведь за четыре с половиной червонца в «Бар» не пойдешь! Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает. Подумать только — сорок копеек из двух блюд, а они, оба эти блюда, и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать

пять копеек заведующий хозяйством уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовке накормили, вон она, вон она!! Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, так, кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй. Он и заорет:

— До чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду — все, все на женское тело, на раковые шейки, на «Абрау-Дюрсо»! Потому что наголодался в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль. Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому, что действительно мы в неравных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну, а мне, а мне! Куда пойду? Битый, обваренный, оплеванный, куда же я пойду? У-у-у-у!..

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик! Чего ты скулишь, бедняжка? А? Кто тебя обидел?.. Ух...

Ведьма — сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

— Боже мой... какая погода... ух... и живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась за ворота, и на улице ее начало вертеть, рвать, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и издохнет, в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезли из глаз и тут же засохли. Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна от вара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара! «Шарик» она назвала его! Какой он, к черту, Шарик? Шарик — это

значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо ей на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже вернее всего — господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж ни вблизи, ни издали не спутаешь! О, глаза — значительная вещь! Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай! Раз боишься, значит, сто́ишь... Р-р-р... гау-гау.

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет та-акой скандал, в газеты напишет — меня, Филиппа Филипповича, обкормили!

Вот он все ближе, ближе. Этот ест обильно и не ворует. Этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с культурной остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный,— больницей и сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое?! Кол-ба-су. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне!

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в

правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пес полз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей. А в сущности, зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы — величина мирового значения, благодаря мужским половым железам... У-у-у-у... Что ж это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние, и подлинно, грех? Руки ему лизать, больше ничего не остается.

Загадочный господин наклонился ко псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок! О, бескорыстная личность. У-у-у-у!

— Фить-фить,— посвистал господин и добавил строжайшим голосом: — бери! Шарик, Шарик!

Опять «Шарик»! Окрестили! Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок...

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

— Будет пока что,— господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

— Ага,— многозначительно молвил он,— ошейника нету, ну, вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной,— он пощелкал пальцами,— фить-фить!

За вами идти? Да на край света, пинайте меня вашими фетровыми ботиками в рыло, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одною мыслью, как бы не утратить в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении

Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик, у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный, кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Пес Шарик свету невзвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго, и этого вора прихватит с собой, и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, вздрался по трубе до второго этажа.

Фр-р-р... гау... вон! Не напасешься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке!

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окошка, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять. Эх, чудак. Это он меня подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете.

— Фить-фить-фить, сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

— Фить-фить!

Сюда? С удово... Э, нет! Позвольте. Нет! Тут швейцар. А уж хуже этого ничего нет на свете. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе!

— Да не бойся ты, иди!

— Здравия желаю, Филипп Филиппович.

— Здравствуйте, Федор.

Вот это личность! Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля? Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцара вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец ни звука, ни движения. Правда, в глазах у него пасмурно, но в общем он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз ты морду уродовал мне, а?

— Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу — почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович. (Интимно вполголоса вдогонку): А в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приложил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так. Целых четыре штуки.

— Бо-же мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну, и что же они?

— Да ничего-с!

— А Федор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Черт знает что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, постановление вынесли, новое товарищество. А прежних в шею.

— Что делается! Ай-яй-яй... Фить-фить...

Иду-с, поспешаю. Бок, изволите ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу, на мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот бельэтаж.

2

Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не умеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью «М. С. П. О. Мясная торговля». Повторяем, все это не к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там, у братьев, пес отведал изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре, тут же, Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной» и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки,— «М».

Далее пошло еще успешнее. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, а потом уже «б» (подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер).

Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «С-ы-р». Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного, зверей-приказчиков, ненавидящих собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн.

Если играли на гармонике, что было немногим лучше «милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «Неприли...», что означало: «Неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях,— псов же постоянно — салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины — гау-гау... га...строномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и — ви, нэ-а — вина... Елисеевы братья бывшие...

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещающейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розоватым стеклом двери. Три

первых буквы он сложил сразу: пэ-ер-о — «Про...». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая.

«Неужто пролетарий? — подумал Шарик с удивлением, — быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь пролетарием и не пахнет. Ученое слово, а бог его знает, что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколочке предстала перед псом и господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да. Это я понимаю», — подумал пес.

— Пожалуйте, господин Шарик, — иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого полу, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на черно-бурой лисе с синеватой искрой. — Батюшки, до чего паршивый!

— Вздор говоришь. Где же он паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм... Это не парши... да стой ты, черт... Гм... А-а! Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!

«Повар, каторжник. Повар!» — жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.

— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его сейчас же и мне халат!

Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем

попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной комнате, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э... нет...— мысленно взвыл пес,— извините, не дамся! Понимаю! О, черт бы взял их и с колбасой! Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»

— Э, нет! Куда?! — закричала та, которую называли Зиной.

Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым правым боком так, что хрястнуло по всей квартире. Потом, отлетев назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.

— Куда ты, черт лохматый?! — кричала отчаянно Зина,— вот окаянный!

«Где у них черная лестница?..» — соображал пес. Он размахнулся и комком ударился наобум в стекло в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

— Стой! С-скотина! — кричал господин, прыгая в халате, надетом в один рукав, и хватая пса за ноги,— Зина, держи его за шиворот, мерзавца!

— Ба... Батюшки!.. Вот так пес!

Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его, и всю комнату наполнило сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тяпнул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная мерзость неожиданно перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились и он поехал куда-то криво и вбок.

«Спасибо, кончено,— мечтательно думал он, валясь прямо на острые стекла,— прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы! Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы живодеры, за что ж вы меня?»

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

* * *

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто и не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидал, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети,— подумал он смутно,— но ловко, надо отдать им справедливость».

— «От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей»,— запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пес удивился, совсем открыл оба глаза, и в двух шагах увидал мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были подвернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и иодом.

«Угодники! — подумал пес,— это, стало быть, я его кусанул, моя работа. Ну, будут драть!»

— «Р-раздаются серенады, раздается стук мечей!..» Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?..

— У-у-у-у,— жалобно заскулил пес.

— Ну, ладно. Опомнился — и лежи, болван.

— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? — спросил приятный мужской голос, и триковые кальсоны откатились книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.

— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный или даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил:

— Кра-ковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

— Только попробуй! Я тебе съем! Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребенок, тащит в рот всякую гадость. Не сметь! Предупреждаю, ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит. «Всех, кто скажет, что другая здесь сравняется с тобой!..»

Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

— Фить, фить... ну, нечего, нечего! Идем принимать.

Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожал, но быстро оправился и пошел следом за развевающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидал, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего, он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громаднейшая сова, сидящая на стене на суку.

— Ложись,— приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошел тот тяпнутый, оказавшийся теперь, в ярком свете, очень красивым, молодым, с черной острой бородкой, подал лист, молвив:

— Прежний...— тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

«Нет, это не лечебница... куда-то в другое место я попал,— в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана,— а сову эту мы разъясним...»

Дверь мягко открылась, и вошел некто настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко.

— Молчать! Ба-ба-ба! Да вас узнать нельзя, голубчик!

Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу.

— Хи-хи... Вы — маг и чародей, профессор,— сконфуженно вымолвил он.

— Снимайте штаны, голубчик,— скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

«Господи Исусе! — подумал пес,— вот так фрукт!»

На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали ржавым табачным цветом. Морщины расползались по лицу у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского щелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

— Тяу, тяу...— он легонько потявкал.

— Молчать! Как сон, голубчик?

— Хе-хе... Мы одни, профессор? Это неописуемо,— конфузливо заговорил посетитель.— Пароль д'оннёр[1] двадцать пять лет ничего подобного! — субъект взялся за пуговицу брюк,— верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями... Я положительно очарован. Вы — кудесник!

— Хм,— озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладал наконец с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались не виданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками, и пахли духами.

Пес не вынес кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

— Ай!

— Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

«Я не кусаюсь?..» — удивился пес.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.

— Вы, однако, смотрите,— предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем,— вы все-таки смотрите не злоупотребляйте!

---

[1] Честное слово (от *фр.* parole d'honneur).

— Я не зло...— смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться,— я, дорогой профессор, только в виде опыта...

— Ну и что же, какие результаты? — строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

— Двадцать пять лет, клянусь богом, профессор, ничего подобного! Последний раз в 1899 году в Париже на Рю-де-ла-Пе.

— А почему вы позеленели?

Лицо пришельца затуманилось.

— Проклятая Жиркость! Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите,— бормотал субъект, ища глазами зеркало,— ведь это же ужасно! Им морду нужно бить,— свирепея, добавил он.— Что же мне теперь делать, профессор? — спросил он плаксиво.

— Хм... Обрейтесь наголо.

— Профессор! — жалобно восклицал посетитель,— да ведь они же опять седые вырастут! Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не езжу. Приходит машина, я ее отпускаю. Эх, профессор, если б вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

— Не сразу, не сразу, мой дорогой! — бормотал Филипп Филиппович. Наклоняясь, он блестящими глазками исследовал голый живот пациента.— Ну, что ж, прелестно, все в полном порядке... Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата... «Много крови, много песен!..» Одевайтесь, голубчик!

— «Я же той, кто всех прелестней!..» — дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

— Две недели можете не показываться,— сказал Филипп Филиппович,— но все-таки, прошу вас, будьте осторожны.

— Профессор,— из-за двери, в экстазе, воскликнул гость,— будьте совершенно спокойны,— он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпной звоночек пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

— Годы показаны неправильно. Вероятно, 54—55. Тоны сердца глуховаты.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеваной шее. Страшные черные мешки сидели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета.

Она очень сильно волновалась.

— Сударыня! Сколько вам лет? — очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.

Дама испугалась и даже побледнела под коркою румян.

— Я, профессор... Клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма...

— Лет вам сколько, сударыня? — еще суровее повторил Филипп Филиппович.

— Честное слово... ну, сорок пять.

— Сударыня! — возопил Филипп Филиппович,— меня ждут! Не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздымалась.

— Я вам одному, как светилу науки, но клянусь, это такой ужас...

— Сколько вам лет? — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули.

— Пятьдесят один,— корчась от страху, ответила дама.

— Снимайте штаны, сударыня,— облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.

— Клянусь, профессор,— бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе,— этот Мориц... я вам признаюсь, как на духу...

— «От Севильи до Гренады...» — рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.

— Богом клянусь! — говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные продирались на ее щеках,— я знаю, что это моя последняя страсть... Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод! — Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок.

Пес совершенно затуманился, и все в голове пошло у него кверху ногами.

«Ну вас к черту,— мутно подумал он, положил голову на лапы и задремал от стыда,— и стараться не буду понять, что это за штука, все равно не пойму».

Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.

Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.

— Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны,— объявил он и посмотрел строго.

— Ах, профессор, неужели обезьяны?

— Да,— непреклонно ответил Филипп Филиппович.

— Когда же операция? — бледнея, слабым голосом спрашивала дама.

— «От Севильи до Гренады...» угум... В понедельник. Ляжете в клинику с утра, мой ассистент приготовит вас.

— Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?

— Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого — пятьдесят червонцев.

— Я согласна, профессор!

Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась какая-то лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утихшим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидать кусочек приятного сна: будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста... Потом взволнованный голос тявкнул над головой:

— Я — известный общественный деятель, профессор! Что же теперь делать?

— Господа! — возмущенно кричал Филипп Филиппович,— нельзя же так! Нужно сдерживать себя! Сколько ей лет?

— Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить командировку в Лондон...

— Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.

— Женат я, профессор!

— Ах, господа, господа!..

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафу, и Филипп Филиппович работал не покладая рук.

«Похабная квартирка,— думал пес,— но до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужли же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта дрянь. Наглая».

Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновенье, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди, и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?» — неприязненно и удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на них, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие потоптались на ковре.

— Мы к вам, профессор,— заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся черных волос,— вот по какому делу...

— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду,— перебил его наставительно Филипп Филиппович,— во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прерывал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

— Во-первых, мы не господа,— молвил наконец самый юный из четверых — персикового вида.

— Во-первых,— перебил и его Филипп Филиппович,— вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первым тот, с копной.

— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.

— Я — женщина,— признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папахе.

— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной убор,— внушительно сказал Филипп Филиппович.

— Я не «милостивый государь»,— смущенно пробормотал блондин, снимая папаху.

— Мы пришли к вам,— вновь начал черный с копной.

— Прежде всего, кто это «мы»?

— Мы — новое домоуправление нашего дома,— в сдержанной ярости заговорил черный.— Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы...

— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?

— Нас,— ответил Швондер.

— Боже! пропал калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

— Что вы, профессор, смеетесь? — возмутился Швондер.

— Какое там смеюсь! Я в полном отчаянии! — крикнул Филипп Филиппович,— что ж теперь будет с паровым отоплением!

— Вы издеваетесь, профессор Преображенский!

— По какому делу вы пришли ко мне, говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

— Мы — управление дома,— с ненавистью заговорил Швондер,— пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.

— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович,— потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вопрос стоял об уплотнении...

— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от двенадцатого сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно,— ответил Швондер,— но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

— Я один живу и работаю в семи комнатах,— ответил Филипп Филиппович,— и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

— Восьмую? Э-хе-хе,— проговорил блондин, лишенный головного убора,— однако это здо-о-рово!

— Это неописуемо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

— У меня приемная, заметьте, она же библиотека, столовая, мой кабинет — три! Смотровая — четыре. Операционная — пять. Моя спальня — шесть, и комната прислуги — семь. В общем, не хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

— Извиняюсь,— сказал четвертый, похожий на крепкого жука.

— Извиняюсь,— перебил его Швондер,— вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли говорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых ни у кого нет в Москве.

— Даже у Айседоры Дункан! — звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, но он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

— И от смотровой также,— продолжал Швондер,— смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

— Угу,— молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом,— а где же я должен принимать пищу?

— В спальне,— хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

— В спальне принимать пищу,— заговорил он немного придушенным голосом,— в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать?! Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!! — вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой.— Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию, и покорнейше прошу вас вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия,— сказал взволнованный Швондер,— мы подаем на вас жалобу в высшие инстанции.

— Ага,— молвил Филипп Филиппович,— так? — Голос

его принял подозрительно вежливый оттенок,— одну минутку попрошу вас подождать.

«Вот это парень,— в восторге подумал пес,— весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет! Не знаю еще, каким способом, но так тяпнет!.. Бей их! Этого голенастого сейчас взять повыше сапога за подколенное сухожилие... р-р-р!..»

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так:

— Пожалуйста... да... благодарю вас. Виталия Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Виталий Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Виталий Александрович, ваша операция отменяется. Что? Нет, совсем отменяется, равно как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них — одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами и терроризовали меня в квартире, с целью отнять часть ее...

— Позвольте, профессор,— начал Швондер, меняясь в лице.

— Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили, я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключ могу передать Швондеру, пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

— Что же делать?.. Мне самому очень неприятно... Как? О нет, Виталий Александрович! О нет! Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя бы... Но только одно условие: кем угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличности которой ни Швондер, ни кто-либо иной не мог бы даже подойти к дверям моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага. Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны,—

змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру,— сейчас с вами будут говорить.

— Позвольте, профессор,— сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая,— вы извратили наши слова.

— Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

— Я слушаю. Да... председатель домкома... Мы же действовали по правилам... так у профессора и так совершенно исключительное положение... Мы знаем об его работах... целых пять комнат хотели оставить ему... ну, хорошо... раз так... хорошо...

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

«Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал пес,— что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить, как хотите, а отсюда я не уйду!»

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

— Это какой-то позор...— несмело вымолвил тот.

— Если бы сейчас была дискуссия,— начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем,— я бы доказала Виталию Александровичу...

— Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? — вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем... Только... Я, как заведующий культотделом дома...

— За-ве-дующая,— поправил ее Филипп Филиппович.

— ...хочу предложить вам,— тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов,— взять несколько журналов в пользу детей Франции. По полтиннику штука.

— Нет, не возьму,— кротко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.

— Почему же вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Франции?

— Нет, сочувствую.

— Жалеете по полтиннику?

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу.

Помолчали.

— Знаете ли, профессор,— заговорила девушка, тяжело вздохнув,— если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы еще разъясним, вас следовало бы арестовать!

— А за что?— с любопытством спросил Филипп Филиппович.

— Вы ненавистник пролетариата,— горячо сказала женщина.

— Да, я не люблю пролетариата,— печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

— Зина!— крикнул Филипп Филиппович,— подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча — переднюю, и за ними слышно было, как закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

3

На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске — кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенной снегом,— икра. Меж тарелками — несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоседившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки.

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды!» — подумал он и застучал, как палкой, по паркету хвостом.

— Сюда их!— хищно скомандовал Филипп Филиппович.— Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое! И, если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

Красавец тяпнутый (он был уже без халата, в приличном черном костюме) передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной водки.

— Новоблагословенная?— осведомился он.

— Бог с вами, голубчик,— отозвался хозяин.— Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.

— Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная. Тридцать градусов.

— А водка должна быть в сорок градусов, а не в тридцать,— это во-первых,— наставительно перебил Филипп Филиппович,— а во-вторых, бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?

— Все что угодно,— уверенно молвил тяпнутый.

— И я того же мнения,— добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло,— э... мм... доктор Борменталь, умоляю вас: мгновенно эту штучку, и, если вы скажете, что это... я ваш кровный враг на всю жизнь! «От Севильи до Гренады...»

Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились.

— Это плохо?— жуя, спрашивал Филипп Филиппович.— Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

— Это бесподобно,— искренно ответил тяпнутый.

— Еще бы... Заметьте, Иван Арнольдович: холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует с закусками горячими. А из горячих московских закусок это — первая. Когда-то их великолепно приготовляли в «Славянском базаре». На, получай!

— Пса в столовой прикармливаете,— раздался женский голос,— а потом его отсюда калачом не выманишь.

— Ничего... Он, бедняга, наголодался,— Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.

Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар, пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада, а Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:

— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, и представьте, большинство людей вовсе есть не умеет. Нужно не только знать, что́ съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой). И что при этом говорить, да-с! Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет!

— Гм... Да ведь других же нет.

— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел тридцать наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе!

— Гм?..— с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.

— Мало этого! Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.

— Вот черт!..

— Да-с. Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине. Будемте лучше есть.

Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим — ломоть окровавленного ростбифа. Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение,— думал он, захлопывая отяжелевшие веки,— глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда, это — глупость...»

Столовая наполнилась неприятным синим сигарным дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы.

— «Сен-Жюльен» — приличное вино,— сквозь сон слышал пес,— но только ведь теперь же его нету.

Глухой, смягченный потолками и коврами, хорал донесся откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.

— Зинуша, что это такое означает?

— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович,— ответила Зина.

— Опять!— горестно воскликнул Филипп Филиппович,— ну, теперь, стало быть, пошло! Пропал калабуховский дом! Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении, и так далее. Крышка Калабухову!

— Убивается Филипп Филиппович,— заметила, улыбаясь, Зина и унесла груду тарелок.

— Да ведь как же не убиваться?!— возопил Филипп Филиппович,— ведь это какой дом был! Вы поймите!

— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович,— возразил красавец тяпнутый,— они теперь резко изменились.

— Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я — человек фактов, человек наблюдения. Я — враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалки и калошная стойка в нашем доме.

— Это интересно...

«Ерунда — калоши, не в калошах счастье,— думал пес,— но личность выдающаяся».

— Не угодно ли — калошная стойка. С тысяча девятьсот третьего года я живу в этом доме. И вот в течение времени до апреля тысяча девятьсот семнадцатого года не было ни одного случая — подчеркиваю красным карандашом «ни одного»! — чтобы из нашего парадного внизу, при общей незапертой двери, пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь двенадцать квартир, у меня прием. В апреле семнадцатого года, в один прекрасный день, пропали все калоши, в том числе две пары моих, три палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении! Не говорю! Пусть. Раз социальная революция, не нужно топить! Хотя когда-нибудь, если будет свободное время, я займусь исследованием мозга и докажу, что вся эта социальная кутерьма — просто-напросто больной бред... Так я говорю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице! Почему калоши до сих пор нужно запирать под замок и еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестни-

цы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Угнетенным неграм? Или португальским рабочим? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

— Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош...— заикнулся было тяпнутый.

— Нич-чего похожего! — громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина.— Гм... Я не признаю ликеров после обеда, они тяжелят и скверно действуют на печень... Ничего подобного! На нем теперь есть калоши, и эти калоши... мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли тринадцатого апреля тысяча девятьсот семнадцатого года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть! Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок) — смешно даже предположить! Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок) — ни в коем случае! Это сделали вот эти самые певуны! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь.) На какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, потухало в течение двадцати лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь! Статистика — жестокая вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому!

— Разруха, Филипп Филиппович!

— Нет,— совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович,— нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это — мираж, дым, фикция! — Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали на скатерти.— Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует! Что вы подразумеваете под этим словом? — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее.— Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха! Если я, ходя в уборную,

начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха сидит не в клозетах, а в головах! Значит, когда эти баритоны кричат: «Бей разруху!», я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот когда он вылупит из себя мировую революцию, Энгельса и Николая Романова, угнетенных малайцев и тому подобные галлюцинации, а займется чисткой сараев — прямым своим делом,— разруха исчезнет сама собой. Двум богам нельзя служить! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся, доктор, и тем более людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны!

Филипп Филиппович вошел в азарт, ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он, подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром.

Его слова на сонного пса падали, точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа палача в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещенный резким электричеством из абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.

«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать,— мутно мечтал пес,— первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, куры не клюют...»

— Городовой! — кричал Филипп Филиппович.— Городовой!! — «Угу-гу-гу-гу!» — какие-то пузыри лопались в мозгу пса...— Городовой! Это, и только это! И совершенно не важно, будет ли он с бляхой или же в красном кэпи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите — разруха! Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирите этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само изменится к лучшему!

— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович,— шутливо заметил тяпнутый,— не дай бог, вас кто-нибудь услышит!

— Ничего опасного! — с жаром возразил Филипп Филиппович,— никакой контрреволюции! Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу! Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается! Черт его знает! Так я говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них лишь здравый смысл и жизненная опытность...

Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом красного вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: «Мерси».

— Минутку, доктор! — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: — Сегодня вам, Иван Арнольдович, сорок рублей причитается. Прошу!

Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.

— Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? — осведомился он.

— Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом «Аида». А я давно не слышал. Люблю... Помните дуэт... Тара... ра-рим...

— Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? — с уважением спросил врач.

— Успевает всюду тот, кто никуда не торопится,— назидательно объяснил хозяин.— Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел,— под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетир,— начало девятого... ко второму акту приеду... Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо — и никаких разрух... Вот что, Иван Арнольдович, вы же следите внимательно, как только подходящая смерть, тотчас со стола в питательную жидкость и ко мне!

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович,— патологоанатомы мне обещали.

— Отлично. А мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем, обмоем. Пусть бок у него заживет...

«Обо мне заботится,— подумал пес,— очень хороший человек. Я знаю, кто это! Он — добрый волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки... Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне? А вдруг сон! (Пес во сне дрогнул.) Вот проснусь, и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди... Столовка, снег... Боже, как тяжко это будет!..»

4

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разруха! Невзирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконниками наливались жаром и тепло волнами расходилось по всей квартире.

Совершенно ясно: пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день заливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной-приемной между шкафами отражали удачливого красавца пса.

«Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито,— размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях,— очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то, я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович — человек с большим вкусом, не возьмет он первого попавшегося пса-дворника».

В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Но, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на восемнадцать копеек,— достаточно упомянуть обеды в семь часов вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил зва-

ние божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак, пес изучил звонок Филиппа Филипповича — два полнозвучных отрывистых хозяйских удара — и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в черно-бурой лисе, сверкая миллионом снежных блесток, пахнущий мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу:

— Зачем же ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?

— Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз,— возмущенно говорила Зина,— а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал!

— Никого драть нельзя,— волновался Филипп Филиппович,— запомни это раз навсегда! На человека и на животное можно действовать только внушением! Мясо ему давали сегодня?

— Господи! Он весь дом обожрал! Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович? Я удивляюсь, как он не лопнет!

— Ну и пусть ест на здоровье!.. Чем тебе помешала сова, хулиган?!

— У-у! — скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.

Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на заду, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый портрет.

— Я нарочно не убирала, чтобы вы полюбовались,— расстроенно докладывала Зина,— ведь на стол вскочил, какой мерзавец! И за хвост ее — цап! Я опомниться не успела, как он ее всю истерзал! Мордой его потычьте, Филипп Филиппович, в сову, чтобы он знал, как вещи портить!

И начинался вой. Пса, прилипавшего к ковру, тащили тыкать в сову, причем пес заливался горькими слезами и думал: «Бейте, только из квартиры не выгоняйте!»

— Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе восемь рублей и шестнадцать копеек на

трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.

На следующий день на пса надели широкий блещущий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя, как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро он понял, что он просто — дурак. Зина повела его гулять на цепи. По Обухову переулку пес шел как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у Мертвого переулка какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестеркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер поглядел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Федор-швейцар собственноручно отпер переднюю дверь и впустил Шарика, Зине он при этом заметил:

— Ишь каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович! И удивительно жирный.

— Еще бы! За шестерых лопает! — пояснила румяная и красивая от морозу Зина.

«Ошейник все равно что портфель»,— сострил мысленно пес и, виляя задом, проследовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически воспрещен, именно — в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной сверху и облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечною огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке — светились двадцать два поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах...

— Вон! — завопила Дарья Петровна,— вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой...

«Чего ты? Ну чего лаешься?—умильно щурил глаза пес.—Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете?»—и он боком лез в дверь, просовывая в нее морду.

Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым и узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясною кашицей, заливала все это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты. В плите гудело, как на пожаре, а на сковороде ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад. Клокотало, лилось...

Вечером потухала пламенная пасть, в окне кухни, над белой половинной занавесочкой, стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на теплой плите, как лев на воротах, и, задрав от любопытства одно ухо вверх, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью, все, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете черноусого, и пасхальный розан свисал с него.

— Как демон пристал...—бормотала в полумраке Дарья Петровна,—отстань. Зина сейчас придет. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?

— Нам ни к чему,—плохо владея собою и хрипло отвечал черноусый.—До чего вы огненная...

Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами и, если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кресле. Огней под потолком не было, горела только одна зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки

божества, обнаженные по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало желтые упругие мозги.

— «К берегам священным Нила...» — тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра. Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, откуда расходилось по всей комнате, в песьей шубе оживала последняя, еще не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела выходная дверь.

«Зинка в кинематограф пошла,— думал пес,— а как придет, ужинать, стало быть, будем. На ужин, надо полагать, телячьи отбивные».

* * *

И вот в этот ужасный день, еще утром, Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал и утренний завтрак — полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку — съел без всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на свое собственное отражение. Но днем, после того как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошел как обычно. Приема сегодня не было, потому, как известно, во вторник приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на третье блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.

— Отлично,— послышался его голос,— сейчас же везите, сейчас же!

Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед. Обед! Обед! Обед! В столовой тотчас застучали тарелками. Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение.

«Не люблю кутерьмы в квартире»,— раздумывал он. И только что он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Борменталя. Тот привез с собою дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, и выбежал навстречу доктору Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.

— Когда умер? — закричал он.

— Три часа назад,— ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстегивая чемодан.

«Кто такое умер? — хмуро и недовольно подумал пес и сунулся под ноги,— терпеть не могу, когда мечутся».

— Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! — закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу.

Прибежала Зина.

— Зина! К телефону Дарью Петровну, записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас, скорей, скорей!

«Не нравится мне. Не нравится». Пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала летать из смотровой в кухню и обратно.

«Пойти, что ль, пожрать. Ну их в болото»,— решил пес и вдруг получил сюрприз.

— Шарику ничего не давать! — загремела команда из смотровой.

— Усмотришь за ним, как же!

— Запереть!

И Шарика заманили и заперли в ванной.

«Хамство,— подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате,— просто глупо...»

И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа — то в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно...

«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович,— думал он,— две пары уже пришлось прикупить, и еще одну купите. Чтобы вы псов не запирали».

Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности,

солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы-побродяги...

«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать,— тосковал пес, сопя носом,— привык. Я — барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...»

Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.

— У-у-у! — как в бочку, пролетело по квартире.

«Сову раздеру опять!» — бешено, но бессильно думал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза...

И в разгар муки дверь открыли. Пес вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался в кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошел у пса под сердцем.

«Зачем же я понадобился? — подумал он подозрительно.— Бок зажил. Ничего не понимаю».

И он поехал лапами по скользкому паркету, и так был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриаршую скуфейку. Жрец был весь в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки в черных перчатках.

В скуфейке оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге.

Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого — и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно и ушел в угол.

— Ошейник, Зина,— негромко молвил Филипп Филиппович,— только не волнуй его.

У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоскою и презрением поглядел на нее.

«Что же... вас трое. Возьмете, если захотите. Только стыдно вам... Хоть бы я знал, что будете делать со мной?»

Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутящий запах разлился от него.

«Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно?» — подумал пес и попятился от тяпнутого.

— Скорее, доктор,— нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.

Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. «Злодей...— мелькнуло в голове.— За что?» И еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые загробные небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.

— На стол! — веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью, секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся кверху дном и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом — ничего.

* * *

На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой, въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазками наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно:

— Иван Арнольдович, самый важный момент, когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток, и тут же шить! Если там у меня начнет кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так

никакого шанса нету.— Он помолчал, прищуря глаз, заглянул как бы насмешливо в полуприкрытый спящий глаз пса и добавил: — А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.

Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на черную резину.

Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комком обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и молвил, отдуваясь:

— Готово.

Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.

— Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спросила она, боязливо косясь на обритую голову пса.

— Можешь.

Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый песий череп и странная бородатая морда.

Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал:

— Ну, господи благослови. Нож!

Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облекся в такие же черные перчатки, как и жрец.

— Спит? — спросил Филипп Филиппович.

— Хорошо спит.

Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из нее брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными, щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у Борменталя пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой

росою ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул:

— Ножницы!

Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах. Семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал:

— Шейте, доктор, мгновенно кожу!

Затем оглянулся на круглые белые стенные часы.

— Четырнадцать минут делали,— сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу.

Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.

— Нож! — крикнул Филипп Филиппович.

Нож вскочил к нему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули, как скальп, обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:

— Трепан!

Борменталь подал ему блистающий коловорот. Кусая губу, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой, так что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвостик в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.

Тогда обнажился купол Шарикового мозга, серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их выкроил. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не

попал в глаза профессору и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталя полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук Филиппа Филипповича к тарелке на столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочки с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. И в это время Борменталь начал бледнеть, одною рукою охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:

— Пульс резко падает...

Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее в шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.

— Иду к турецкому седлу! — зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас сломал вторую ампулу с желтою жидкостью и вытянул ее в длинный шприц.

— В сердце? — робко спросил он.

— Что вы еще спрашиваете?! — злобно заревел профессор,— все равно он уже пять раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо! — Лицо у него при этом стало как у вдохновенного разбойника.

Доктор с размаху, легко всадил иглу в сердце пса.

— Живет, но еле-еле,— робко прошептал он.

— Некогда рассуждать тут — живет не живет,— засипел страшный Филипп Филиппович,— я в седле! Все равно помрет... ах ты, че... «К берегам священным...» придаток давайте!

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. «Не имеет равных в Европе, ей-богу...» — смутно подумал Борменталь. Одной рукой Филипп Филиппович выхватил болтающийся комочек, а другой — ножницами — выстриг такой же комочек в глубине где-то между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими, точно чудом, тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы Шарика какие-то распялки, пинцет,

мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:

— Умер, конечно?..

— Нитевидный пульс...—ответил Борменталь.

— Еще адреналину!

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил, как по мерке, скальп надвинул и взревел:

— Шейте!

Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы.

И вот на подушке появилось на окрашенном кровью фоне безжизненное потухшее лицо Шарика с кольцевой раной на голове. Тут уж Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика и кровь.

Жрец снял меловыми руками окровавленный клобук и крикнул:

— Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье и ванну!

Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:

— Вот, черт возьми! Не издох! Ну, все равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса! Ласковый был, но хитрый.

5

Тетрадь доктора Ивана Арнольдовича Борменталь. Тонкая, в писчий лист форматом. Исписана почерком Борменталя. На первых двух страницах он — аккуратен, уборист и четок, в дальнейшем — размашист, взволнован, с большим количеством клякс.

22-го декабря 1924 года. Понедельник.

История болезни

Лабораторная собака приблизительно 2-х лет от роду. Самец. Порода — дворняжка. Кличка — Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая с подпалинами, хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно

зажившего ожога. Питание до поступления к профессору плохое, после недельного пребывания — крайне упитанный. Вес — 8 килограммов *(знак восклицательный).*

Сердце, легкие, желудок, температура в норме.

23-го декабря. В $8^1/_2$ часов вечера произведена первая в Европе операция по профессору Преображенскому: под хлороформенным наркозом удалены яички Шарика и вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками, взятыми от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшимися в стерилизованной физиологической жидкости по профессору Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крыши придаток мозга — гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины.

Истрачено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфоры, 2 шприца адреналина в сердце.

Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем — о его влиянии на омоложение организма у людей.

Оперировал профессор Ф. Ф. Преображенский.

Ассистировал доктор И. А. Борменталь.

В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфоры по Преображенскому.

24-го декабря. Утром — улучшение. Дыхание вдвое учащено. Температура 42°. Камфора, кофеин под кожу.

25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается. Похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце и камфора по Преображенскому. Физиологический раствор в вену.

26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92. Температура 41°. Камфора, питание клизмами.

27-го декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39,8. Зрачки реагируют. Камфора под кожу.

28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот. Температура — 37,0. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка.

Появился аппетит. Питание жидкое.

29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызваны для консультации профессор по кафедре кожных болезней Василий Василь-

евич Бундарев и директор Московского ветеринарного показательного института. Ими случай признан не описанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура нормальна.

Запись карандашом:

Вечером появился первый лай (8 час. 15 мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и тона (понижение). Лай вместо слова «гау, гау» на слоги «а-о». По окраске отдаленно напоминает стон.

30-го декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат — вес 30 кило, за счет роста (удлинения) костей. Пес по-прежнему лежит.

31-го декабря. Колоссальный аппетит.

В тетради — клякса. После кляксы торопливым почерком:

В 12 часов 12 минут дня пес отчетливо пролаял слово — «А-б-ыр»!!

(В тетради перерыв, и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано):

1 декабря.

Перечеркнуто, поправлено:

1 января 1925 года. Фотографирован утром. Отчетливо лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня *(крупными буквами)* засмеялся (?), вызвав обморок горничной Зины.

Вечером произнес восемь раз подряд слово «Абыр-валг», «Абыр!».

Косыми буквами карандашом:

Профессор расшифровал слово «Абыр-валг». Оно означает «Главрыба»!!! Что-то чудовищ...

2 января. Фотографирован во время улыбки при магнии.

Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.

В тетради вкладной лист:

Русская наука чуть не понесла тяжкую утрату.

История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского.

В 1 час. 13 мин. — глубокий обморок с профессором Преображенским. При падении ударился головой о ножку стула. Тинктура валериана.

В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал профессора Преображенского по матери.

Перерыв в записях.

6-го января. (То карандашом, то фиолетовым чернилом.)

Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово «пив-ная». Работает фонограф. Черт знает что такое!!

Я теряюсь!

Прием у профессора прекращен. Начиная с 5 часов дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышится явственная вульгарная ругань и слова: «Еще парочку».

7-го января. Он произносит очень много слов: «Извощик», «Мест нету», «Вечерняя газета», «Лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе.

Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дрябловатой кожей. В области половых органов — формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно, лоб скошен и низок.

Ей-богу, я с ума сойду!

Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я (фонограф, фотографии).

По городу расплылся слух.

Последствия неисчислимые. Сегодня днем весь переулок был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка:

«Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чем не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». О каком, к черту, марсианине? Ведь это кошмар!!

Еще лучше в «Вечерней» — написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографическая карточка и под ней подпись: «Проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это что-то неописуемое!.. Новое слово — «милиционер».

Оказывается — Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Ф. Ф. После того, как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню, и так далее...

Что творится во время приема!! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут.

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем — сами не знают.

8-го января. Поздним вечером поставили диагноз. Ф. Ф., как истый ученый, признал свою ошибку — перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечение *(подчеркнуто три раза).* От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и моем, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних *(зачеркнуто)...* на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое, отчетливо произнесенное слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, беспрерывная и, повидимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, черт меня возьми!

На Филиппа Филипповича брань производит, почему-то, удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты,

когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:

— Перестать!

Это не произвело никакого эффекта.

После прогулки в кабинет общими усилиями Шарик был водворен в смотровую.

После этого мы имели совещание с Ф. Ф. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: «Москшвея, да... «От Севильи до Гренады...» Москшвея, дорогой доктор...» Я ничего не понял. Он пояснил: «Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак».

9-го января. Лексикон обогащается в каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «Не толкайся», «бей его», «подлец», «слезай с подножки», «я тебе покажу», «признание Америки» и «примус».

10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет. Носки ему велики.

В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую.

Удлиняется задняя половина скелета стопы (Tarsus). Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной.

Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад.

11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую фразу, потрогав брюки Филиппа Филипповича: «Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку».

Шерсть на голове слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня

облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ел селедку.

В пять часов дня событие: впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно, когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки на пол...» — неожиданно ответил: «Отлезь, гнида!»

Ф. Ф. был поражен. Потом поправился и сказал:

— Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья и довольно раздраженно, но стих.

Ура! Он понимает.

12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани.

Свистал «Ой, яблочко...».

Поддерживает разговор.

Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что! Другое, неизмеримо более важное: изумительный опыт профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга! Отныне загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъяснена! Он определяет человеческий облик! Его гормоны можно назвать важнейшими в организме — гормонами облика! Новая область открывается в науке: без всякой реторты Фауста создан гомункул! Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу! Профессор Преображенский, вы — творец!! *(Клякса.)*

Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению, дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоками. По-моему, перед нами — оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика!

Еще моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь,— уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах!

Шарик читал! Читал!!! *(Три восклицательных знака.)* Это я догадался! По «Главрыбе»! Именно с конца читал! И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перекресте зрительных нервов у собаки!

Что в Москве творится — уму непостижимо человеческому! Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже называла точно число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана,— земля налетит на небесную ось!! Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры! Я переехал к Преображенскому, по его просьбе, и ночую в приемной с Шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили.

С Филиппом что-то страшное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с этой историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

В тетради вкладной лист.

Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет. Холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился три раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз — происхождение спасло, в третий — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам.

Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь).

Причина смерти: удар ножом в сердце в пивной «Стоп-сигнал» у Преображенской заставы.

Старик, не отрываясь, сидит над климовской болезнью. Не понимаю, в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался осмотреть в патологоанатоми-

ческом весь труп Чугункина. В чем дело, не понимаю! Не все ли равно, чей гипофиз?

17-го января. Не записывал несколько дней. Болел инфлюэнцей.

За это время облик окончательно сложился.

а) Совершенный человек по строению тела;

б) вес около трех пудов,

в) рост маленький,

г) голова маленькая,

д) начал курить,

е) ест человеческую пищу,

ж) одевается самостоятельно,

з) гладко ведет разговор.

Вот так гипофиз! *(Клякса.)*

Этим я историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм, и наблюдать его нужно с начала.

Приложение: стенограммы речей, записи фонографа, фотографические снимки.

Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского

Доктор *Борменталь.*

6

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприемное время. На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем было написано рукою Филиппа Филипповича:

«Семечки есть в квартире запрещаю.

Ф. Преображенский» — и синим карандашом крупными, как пирожное, буквами рукою Борменталя:

«Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7-ми часов утра воспрещается».

Затем рукою Зины:

«Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю, куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером».

Рукою Преображенского:

«Я сто лет буду ждать стекольщика?»

Рукою Дарьи Петровны (печатно):

«Зина ушла в магазин, сказала, приведет».

В столовой было совершенно по-вечернему благодаря лампе под вишневым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам — зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые воркующие слова. Он читал заметку:

«Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красными лучами!

Шв...р».

Очень настойчиво, с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяца» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

— «Све-е-етит месяц... светит месяц... светит месяц...» Тьфу... прицепилось... вот окаянная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

— Скажи ему, что 5 часов. Чтобы прекратил. И позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице был небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человечка был повязан ядовито-небесного цвета галстук с

фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая глаза, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, швырялись в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами.

«Как в калошах»,— с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с заглохшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазками поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели 5. Внутри их еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

— Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатях в кухне, тем более днем?

Человек кашлянул сипло, точно подавился косточкой, и ответил:

— Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный, глуховатый, и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстухе.

Человек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстух.

— Что ж... «гадость»,— заговорил он,— шикарный галстух. Дарья Петровна подарила.

— Дарья Петровна вам мерзость подарила. Вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? откуда? Я что просил? Купить при-личные бо-тинки! А это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

— Я ему велел, чтоб лаковые. Что, я хуже людей? Пойдите на Кузнецкий, все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

— Спанье на полатях прекращается. Понятно? Что это за нахальство? Ведь вы мешаете! Там женщины.

Лицо человека потемнело и губы оттопырились.

— Ну уж и женщины! Подумаешь! Барыни какие! Обыкновенная прислуга, а форсу как у комиссарши! Это все Зинка ябедничает.

Филипп Филиппович глянул строго:

— Не сметь Зину называть Зинкой! Понятно?

Молчание.

— Понятно, я вас спрашиваю?

— Понятно.

— Убрать эту пакость с шеи. Вы... ты... вы посмотрите на себя в зеркало — на что вы похожи! Балаган какой-то! окурки на пол не бросать, в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире. Не плевать. Вон плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить! Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту: «Пес его знает»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете,— вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

— Кто это тут вам «папаша»? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слыхал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человечке.

— Да что вы все... то не плевать, то не кури... туда не ходи... Что же это, на самом деле, чисто как в трамвае? Что вы мне жить не даете? И насчет «папаши» это вы напрасно! Разве я вас просил мне операцию делать,— человек возмущенно лаял,— хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человечек возвел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить?

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип!» — пролетело у него в голове.

— Как-с,— прищуриваясь, спросил он,— вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал!..

— Да что вы все попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал! А ежели бы я у вас помер под ножиком? Вы что на это выразите, товарищ?

— «Филипп Филиппович»! — раздраженно воскликнул Филипп Филиппович,— я вам не товарищ! Это чудовищно! — «Кошмар... кошмар!» — подумалось ему.

— Уж конечно, как же...— иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу,— мы понимаем-с!

Какие уж мы вам товарищи! Где уж! Мы в университетах не обучались, в квартирах по пятнадцать комнат с ваннами не жили! Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право...

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурок в раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!» Затушив папироску, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку.

— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крикнул Филипп Филиппович,— и я не понимаю, откуда вы их берете?

— Да что ж, развожу я их, что ли? — обиделся человек,— видно, блоха меня любит,— тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил на воздух клок рыжей легкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носах, глаза прижмурил и заговорил:

— Какое дело еще вы мне хотели сообщить?

— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филиппа Филипповича несколько передернуло.

— Хм... Черт... Документ! Действительно... Кхм... Да, может быть, без этого как-нибудь можно? — голос его звучал неуверенно и тоскливо.

— Помилуйте,— уверенно ответил человек,— как же так без документа? Это уж извиняюсь. Сами знаете, человеку без документа строго воспрещается существовать. Во-первых, домком!

— При чем тут этот домком?

— Как это при чем? Встречают, спрашивают, когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

— Ах ты, господи,— уныло воскликнул Филипп Филиппович,— «встречаются, спрашивают»... Воображаю, что вы им говорите! Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам!

— Что я, каторжный? — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине.— Как это так «шляться»?! Довольно обидны ваши слова! Я хожу, как все люди.

При этом он посучил лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Надо все-таки сдерживать себя»,— подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.

— Отлично-с,— поспокойнее заговорил он,— дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

— Что ж ему говорить? Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

— Чьи интересы, позвольте осведомиться?

— Известно чьи. Трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

— Почему вы — труженик?

— Да уж известно, не нэпман.

— Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?

— Известно что: прописать меня. Они говорят, где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанным в Москве? Это раз. А самое главное — учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же союз, биржа...

— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По этой скатерти? Или по своему паспорту? Ведь нужно же все-таки считаться с положением! Не забывайте, что вы... э... гм... вы ведь, так сказать, неожиданно появившееся существо, лабораторное...— Филипп Филиппович говорил все менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

— Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома! Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии!

— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете — и шабаш!

— Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстух и ответил:

— Полиграф Полиграфович.

— Не валяйте дурака,— хмуро отозвался Филипп Филиппович,— я с вами серьезно говорю.

Язвительная усмешка искривила усишки человека.

— Чтой-то не пойму я,— заговорил он весело и ос-

мысленно,— мне по матушке — нельзя, плевать — нельзя, а от вас только и слышу: «дурак» да «дурак». Видно, только профессорам разрешается ругаться в Ресефесере.

Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан водой, разбил его. Напившись из другого, подумал: «Еще немного, он меня учить станет, и будет совершенно прав. В руках уже не могу держать себя».

Он преувеличенно вежливо склонил стан и с железною твердостью произнес:

— Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали такое?

— Домком посоветовал. По календарю искали, какое тебе, говорят, я и выбрал.

— Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

— Довольно удивительно,— человек усмехнулся,— когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович, не вставая, откинулся к кнопке на обоях, и на звонок явилась Зина.

— Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил:

— Где?

— 4-го марта празднуется.

— Покажите... Гм... черт... В печку его, Зина, сейчас же!

Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покрутил укоризненно головой.

— Фамилию позвольте узнать.

— Фамилию я согласен наследственную принять.

— Как-с? Наследственную? Именно?

— Шариков.

* * *

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича.

— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.

— Что же,— заговорил Швондер,— дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так,

мол, и так, предъявитель сего действительно гражданин Шариков Полиграф Полиграфович, гм... зародившийся в вашей, мол, квартире...

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле, Филипп Филиппович дернул усом.

— Гм... вот черт... Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... ну, одним словом...

— Это ваше дело,—со спокойным злорадством молвил Швондер,—зародился или нет... В общем и целом, ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова!

— И очень просто,—пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстух, отражавшийся в зеркальной бездне.

— Я бы очень просил вас,—огрызнулся Филипп Филиппович,—не вмешиваться в разговор! Вы напрасно говорите: «И очень просто»,—это очень непросто.

— Как же мне не вмешиваться,—обидчиво забубнил Шариков, а Швондер немедленно его поддержал:

— Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право—участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ—самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: «Да!», покраснел и закричал:

— Попрошу не отрывать меня по пустякам! Вам какое дело?—и хлестко всадил трубку в рога.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера.

Филипп Филиппович, багровея, прокричал:

— Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух:

— «Сим удостоверяю»... черт знает что такое... Гм... «предъявитель сего, человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах»... черт!.. Да я вообще против получения этих идиотских документов!.. Подпись: «профессор Преображенский».

— Довольно странно, профессор,—обиделся Швондер,—как так документы вы называете идиотскими! Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного

жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

— Я воевать не пойду никуда,— вдруг хмуро гавкнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться.

— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом,— неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский и злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли-с, мораль?» Борменталь многозначительно кивнул головой.

— Я тяжко раненный при операции,— хмуро подвывал Шариков,— меня вишь как отделали,— и он указал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.

— Вы — анархист-индивидуалист? — спросил Швондер, высоко поднимая брови.

— Мне белый билет полагается,— ответил Шариков на это.

— Ну-с, хорошо, не важно пока,— ответил удивленный Швондер.— Факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и вам выдадут документ.

— Вот что... э...— внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой.— Нет ли у вас в доме свободной комнаты, я согласен ее купить.

Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули.

«Изнервничался старик»,— подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем.

Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил:

— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние четырнадцать лет! Ведь тип, я вам доложу...

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнула и мгновенно пролетела обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.

— Боже мой! Еще что-то! — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.

— Кот,— сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

— Сколько раз я приказывал, котов чтобы не было! — в бешенстве закричал Филипп Филиппович.— Где он? Иван Арнольдович, успокойте, ради бога, пациентов в приемной!

— В ванной, в ванной проклятый черт сидит,— задыхаясь, закричала Зина.

Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддалась.

— Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:

— Убью на месте...

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком из ванной в кухню, треснуло червивой трещиной и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городового. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто бы в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и

кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазками окинула кухню и произнесла с любопытством:

— О, господи Исусе!

Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно:

— Что вам надо?

— Говорящую собачку любопытно поглядеть,— ответила старуха заискивающе и перекрестилась.

Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо:

— Сию секунду из кухни вон.

Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись:

— Чтой-то уж больно дерзко, господин профессор.

— Вон, я говорю,— повторил Филипп Филиппович, и глаза у него сделались круглые, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой,— Дарья Петровна, я уже просил вас?!

— Филипп Филиппович,— в отчаянье ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки,— что ж я поделаю?.. Народ целые дни ломится, хоть все бросай!

Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не слышалось. Вошел доктор Борменталь.

— Иван Арнольдович, убедительно прошу... гм... сколько там пациентов?

— Одиннадцать,— ответил Борменталь.

— Отпустите всех, сегодня принимать не буду!

Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:

— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?

— Гу-гу,— жалобно и тускло ответил голос Шарикова.

— Какого черта?.. Не слышу! Закройте воду!

— Гау... угу...

— Да закройте воду! Что он сделал, не понимаю?! — приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна, открыв рты, в отчаянии смотрели на дверь. К шуму воды прибавился подозрительный плеск. Филипп Филиппович еще раз погрохотал кулаками в дверь.

— Вон он! — выкрикнула Дарья Петровна из кухни.

Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитом окне под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина.

— Вы с ума спятили? — спросил Филипп Филиппович,— почему вы не выходите?

Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:

— Защелкнулся я!

— Откройте замок! Что же вы, никогда замка не видели?

— Да не открывается, окаянный,— испуганно ответил Полиграф.

— Батюшки! Он предохранитель защелкнул! — вскричала Зина и всплеснула руками.

— Там пуговка есть такая,— выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду,— нажмите ее книзу... Вниз нажмите! Вниз!

Шариков пропал, через минуту вновь появился в окошке.

— Ни пса не видно,— в ужасе пролаял он в окно.

— Да лампу зажгите! Он взбесился!

— Котяра проклятый лампу раскокал,— ответил Шариков,— а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад, в крупную серую клетку, мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

— Ду... гу-гу! — что-то кричал Шариков сквозь рев воды.

Из окошка под напором брызнуло несколько раз на потолок кухни, и вода стихла.

Послышался голос Федора:

— Филипп Филиппович, все равно, надо открывать, пусть разойдется, отсосем из кухни!

— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали,

и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока: прямо в противоположную уборную, направо в кухню и налево в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула дверь в переднюю. По щиколотку в воде, вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке — весь мокрый.

— Еле заткнул, напор большой,— пояснил он.

— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятьем поднял одну ногу.

— Боится выходить,— глупо усмехнувшись, объяснил Федор.

— Бить будете, папаша? — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной.

— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами, шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу, прямо в пролет лестницы, и падала в подвал.

Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже на паркете передней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.

— Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры, отойдите от двери, у нас труба лопнула.

— А когда же прием? — добивался голос за дверью.— Мне бы только на минуту...

— Не могу,— Борменталь переступал с носков на каблуки.— Профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу. Зина, милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.

— Тряпки не берут!

— Сейчас кружками вычерпаем! — отзывался Федор,— сейчас!

Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже всей подошвой стоял в воде.

— Когда же операция? — приставал голос и пытался просунуться в щель.

— Труба лопнула...

— Я бы в калошах прошел...

Синеватые силуэты появлялись за дверью.

— Нельзя, прошу завтра.

— А я записан...

— Завтра. Катастрофа с водопроводом.

Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной.

— Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? — сердилась Дарья Петровна,— выливай в раковину!

— Да что в раковину! — ловя руками мутную воду, отвечал Шариков,— она на парадное вылезет.

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки!

— В калоши станьте!

— Да ничего, все равно уж мокрые ноги...

— Ах, боже мой! — расстраивался Филипп Филиппович.

— До чего вредное животное,— отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, и очки вспыхнули.

— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с высоты.— Позвольте узнать?

— Про кота я говорю. Такая сволочь! — ответил Шариков, бегая глазами.

— Знаете, Шариков,— переведя дух, отозвался Филипп Филиппович,— я положительно не видел более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

— Вы,— продолжал Филипп Филиппович,— просто нахал! Как вы смеете это говорить! Вы все это учинили сами и еще позволяете... Да нет! Это черт знает что такое!

— Шариков, скажите мне, пожалуйста,— заговорил Борменталь,— сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь, ведь это же безобразие!

— Дикарь!

— Какой я дикарь? — хмуро отозвался Шариков,— ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет, как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппович. — Вы поглядите на свою физиономию в зеркало.

— Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвался Шариков, трогая глаз черной мокрой рукой.

Когда темный от влаги паркет несколько подсох и все зеркала покрылись банным налетом и звонки прекратились, Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

— Вот вам, Федор...

— Покорнейше благодарим...

— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

— Покорнейше благодарю, — Федор помялся, потом сказал: — Тут еще, Филипп Филиппович... Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только за стекло в седьмой квартире... Гражданин Шариков камнями швырял...

— В кота? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.

— То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать.

— Черт!..

— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал... Ну, повздорили...

— Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах. Сколько нужно?

— Полтора.

Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору.

— Еще за такого мерзавца полтора целковых платить, — послышался в дверях глухой голос, — да он сам...

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

— Не сметь! — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну уж это действительно, — многозначительно заметил Федор, — такого наглого я в жизнь свою не видел!

Борменталь как из-под земли вырос.

— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь!

Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос:

— Вы что? В кабаке, что ли?

— Это так! — добавил решительный Федор,— вот это так! Да по уху бы еще!..

— Ну что вы, Федор,— печально буркнул Филипп Филиппович.

— Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович!

7

— Нет, нет и нет,— настойчиво заговорил Борменталь,— извольте заложить!

— Ну что, ей-богу,— забурчал недовольный Шариков.

— Благодарю вас, доктор,— ласково сказал Филипп Филиппович,— а то мне уже надоело делать замечания.

— Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

— Как это так «примите»? — расстроился Шариков,— я сейчас заложу.

Левой рукой он заслонил тарелку от Зины, а правой запихнул салфетку за воротничок, и стал похож на клиента в парикмахерской.

— И вилкой, пожалуйста,— добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

— Я еще водочки выпью,— заявил он вопросительно.

— А не будет ли вам? — осведомился Борменталь,— вы в последнее время слишком налегаете на водку.

— Вам жалко? — осведомился Шариков и глянул исподлобья.

— Глупости говорите...— вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил:

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто это — вредно. Это раз, а второе — вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

— Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталя, налил рюмочку.

— И другим надо предложить,— сказал Борменталь,— и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение — себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

— Вот все у нас как на параде,— заговорил он,— салфетку туда, галстух — сюда, да «извините», да «пожалуйста», «мерси», а так, чтобы по-настоящему,— это нет. Мучаете себя, как при царском режиме.

— А как это «по-настоящему» — позвольте осведомиться?

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес:

— Ну, желаю, чтоб всё...

— И вам также,— с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул водку в глотку, сморщился, кусочек хлебца поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.

— Стаж,— вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивленно покосился:

— Виноват?..

— Стаж,— повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой,— тут уж ничего не поделаешь! Клим!..

Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича.

— Вы полагаете, Филипп Филиппович?

— Нечего и полагать. Уверен в этом.

— Неужели...— начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова. Тот подозрительно нахмурился.

— Später[1]...— негромко сказал Филипп Филиппович.

— Gut[2],— отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

— Я не хочу, я лучше водочки выпью.— Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане. Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

— Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? — осведомился он у Шарикова.

---

[1] Позже *(нем.)*.

[2] Хорошо *(нем.)*.

Тот поморгал глазами и ответил:

— В цирк пойдем, лучше всего.

— Каждый день в цирк? — довольно благодушно заметил Филипп Филиппович,— это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.

— В театр я не пойду,— неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот.

— Икание за столом отбивает у других аппетит,— машинально сообщил Борменталь.— Вы меня извините... Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

— Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна!

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головой.

— Вы бы почитали что-нибудь,— предложил он,— а то, знаете ли...

— Я уж и так читаю, читаю...— ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.

— Зина! — тревожно закричал Филипп Филиппович,— убирай, детка, водку, больше не нужна! Что же вы читаете? — В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма и человек в звериной шкуре, в колпаке. «Надо будет Робинзона...»

— Эту... как ее... переписку Энгельса с этим... как его, дьявола... с Каутским.

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?

Шариков пожал плечами.

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или с Каутским?

— С обоими,— ответил Шариков.

— Это замечательно, клянусь богом! «Всех, кто скажет, что другая!..» А что бы вы, со своей стороны, могли предложить?

— Да что тут предлагать... А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... голова пухнет! Взять все да и поделить...

— Так я и думал! — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти,— именно так и полагал!

— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.

— Да какой тут способ,— становясь словоохотливее после водки, объяснил Шариков,— дело нехитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселся, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

— Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович. Шариков съежился и промолчал.

— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?

— Тридцати девяти человекам,— тотчас ответил Борменталь.

— Гм... Триста девяносто рублей. Ну, грех на троих мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, сто тридцать рублей, потрудитесь внести.

— Хорошенькое дело,— ответил Шариков, испугавшись,— это за что такое?

— За кран и за кота! — рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

— Филипп Филиппович! — тревожно воскликнул Борменталь.

— Погодите! За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием! Это нестерпимо! Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны!.. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто...

— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице! — налетел Борменталь.

— Вы стойте!..— кричал Филипп Филиппович.

— Да она меня по морде хлопнула! — взвизгнул Шариков,— у меня не казенная морда!

— Потому что вы ее за грудь ущипнули! — закричал Борменталь, опрокинув бокал,— вы стойте!..

— Вы стойте на самой низшей ступени развития! — перекричал Филипп Филиппович,— вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы, в присутствии двух людей с университетским образованием, позволяете себе, с развязностью совершенно невыносимой, подавать

какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить, и вы в то же время наглотались зубного порошку!..

— Третьего дня,— подтвердил Борменталь.

— Ну, вот-с,— гремел Филипп Филиппович,— зарубите себе на носу... кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь?.. что вам надо молчать и слушать, что вам говорят! Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества! Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

— Все у вас негодяи,— испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.

— Я догадываюсь! — злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну что же... Ну, Швондер и дал. Он не негодяй. Чтоб я развивался.

— Я вижу, как вы развились после Каутского! — визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал кнопку в стене.— Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше! Зина!

— Зина! — кричал Борменталь.

— Зина! — орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

— Зина! Там в приемной... Она в приемной?

— В приемной,— покорно ответил Шариков,— зеленая, как купорос.

— Зеленая книжка...

— Ну, сейчас палить! — отчаянно воскликнул Шариков,— она казенная, из библиотеки!!

— Переписка называется... как его?.. Энгельса с этим чертом... В печку ее!

Зина повернулась и улетела.

— Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом же суку,— воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки,— сидит изумительная дрянь в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире»,— вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

— Я не буду ее есть,— сразу угрожающе и неприязненно заявил Шариков.

— Никто вас и не приглашает. Держите себя прилично! Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед. Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофе, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся, по своему обыкновению, на готическую спинку и потянулся к газетам на столике.

— Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога, посмотрите, в программе котов нету?

— И как такую сволочь в цирк допускают? — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

— Ну, мало ли кого туда допускают,— двусмысленно отозвался Филипп Филиппович,— что там у них?

— У Соломонского,— стал вычитывать Борменталь,— четыре каких-то... Юссемс и человек мертвой точки.

— Что это за Юссемс? — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

— Бог их знает, впервые это слово встречаю.

— Ну, тогда лучше смотрите у Никитина. Необходимо, чтобы все было ясно.

— У Никитина... У Никитина... гм... слоны и предел человеческой ловкости.

— Тэк-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова.

Тот обиделся.

— Что ж, я не понимаю, что ли? Кот — другое дело, а слоны — животные полезные,— ответил Шариков.

— Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте, поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете. Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через десять минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату.

Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк,

и тяжкая дума терзала его ученый с взлизами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «К берегам священным Нила...» и что-то бормотал.

Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжелой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр шариковского мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, в кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевал ее конец и, в полном одиночестве, зеленоокрашенный, как седой Фауст, воскликнул наконец:

— Ей-богу, я, кажется, решусь!

Никто ему ничего не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в одиннадцать часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздалого пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике. Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Борменталя и Шарикова из цирка.

8

Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал, и, может быть, вследствие его бездействия, квартирная жизнь переполнилась событиями.

Дней через шесть после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые

Шариков немедленно заложил в карман пиджака и немедленно же после этого позвал доктора Борменталя:

— Борменталь!

— Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте! — отозвался Борменталь, меняясь в лице.

Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился раз восемь поссориться со своим воспитанником, и атмосфера в обуховских комнатах была душная.

— Ну, и меня называйте по имени и отчеству,— совершенно основательно ответил Шариков.

— Нет! — загремел в дверях Филипп Филиппович,— по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно «Шариков»,— и я и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».

— Я не господин, господа все в Париже,— отлаял Шариков.

— Швондерова работа! — кричал Филипп Филиппович,— ну, ладно, посчитаюсь я с этим негодяем! Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае, или я, или вы уйдем отсюда, и вернее всего — вы! Сегодня я помещу в газетах объявление, и, поверьте, я вам найду комнату!

— Ну да, такой я дурак, чтоб я съехал отсюда,— очень четко ответил Шариков.

— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав.

— Вы, знаете, не нахальничайте, мсье Шариков,— Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги, зеленую, желтую и белую, и, тыча в них пальцами, заговорил:

— Вот. Член жилищного товарищества, и жилплощадь мне полагается определенно в квартире номер пять у ответственного съемщика Преображенского в шестнадцать квадратных аршин,— Шариков подумал и добавил слово, которое Борменталь машинально отметил в мозгу, как новое: — благоволите.

Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил:

— Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю.

Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам.

— Филипп Филиппович vorsichtig[1]...— предостерегающе начал Борменталь.

— Ну уж знаете... Если уж такую подлость!..— вскричал Филипп Филиппович по-русски.— Имейте в виду, Шариков, господин... что я, если вы позволите еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. Шестнадцать аршин, это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушачьей бумаге?

Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.

— Я без пропитания оставаться не могу,— забормотал он,— где ж я буду харчеваться?

— Тогда ведите себя прилично,— в один голос завыли оба эскулапа.

Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь небольшой отлучкой Борменталя, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и доктор Борменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.

Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный и привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Борменталь — в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе, рядом с пухлым альбомом, стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последние события: этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежащие под прессом, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало,— с ним явились две неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъявивших желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотою вязью было написано:

---

[1] Осторожно *(нем.)*.

«Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные ординаторы в день...», дальше шла римская цифра «XXV».

— Кто они такие?—наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки, на Шарикова.

Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет того, что личности эти ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а хорошие.

— Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные, как же они ухитрились?!—поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея.

— Специалисты,—пояснил Федор, удаляясь спать, с рублем в кармане.

От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неявственное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире.

— Ага! Быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы?—осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом.

Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение;

— А может быть, Зинка взяла...

— Что такое?!—закричала Зина, появившись в дверях, как привидение, закрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью,—да как он...

Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом.

— Спокойно, Зинуша,—молвил он, простирая к ней руку,—не волнуйся, мы все это устроим.

Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключице.

— Зина! Как вам не стыдно! Кто же может подумать? Фу, какой срам,—заговорил Борменталь растерянно.

— Ну, Зина, ты—дура, прости господи,—начал Филипп Филиппович.

Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук не то «и», не то «е», вроде «иэээ»! Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть.

— Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!

И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках

Борменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.

Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа три пополуночи, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь.

Доктор Борменталь приподнялся, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной тальей.

— Филипп Филиппович! — прочувственно воскликнул он,— я никогда не забуду, как я, полуголодным студентом, явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор-учитель... мое безмерное уважение к вам... Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович.

— Да, голубчик мой...— растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся ему навстречу. Борменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.

— Ей-богу, Филипп Фили...

— Так растрогали, так растрогали... спасибо вам,— говорил Филипп Филиппович,— голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок... «От Севильи до Гренады!..»

— Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?..— искренно воскликнул пламенный Борменталь,— если вы не хотите меня обидеть, не говорите мне больше таким образом.

— Ну, спасибо вам... «К берегам священным Нила!..» Спасибо. И я вас полюбил, как способного врача.

— Филипп Филиппович, я вам говорю...— страстно воскликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал шепотом: — ведь это единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь нельзя же больше работать!

— Абсолютно невозможно! — вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.

— Ну вот, это же немыслимо,— шептал Борменталь,— в прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если

бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но, по моему глубокому убеждению, другого выхода нет.

Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:

— И не соблазняйте, даже и не говорите,— профессор заходил по комнате, закачав дымные волны,— и слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами на «принимая во внимание происхождение» отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой?

— Какой там черт... Отец был судебным следователем в Вильно,— горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.

— Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее ее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси... «От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей...» Вот, черт ее возьми!

— Филипп Филиппович, вы — величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукиного сына... Да разве они могут вас тронуть, помилуйте!

— Тем более не пойду на это,— задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.

— Да почему?!

— Потому что вы-то ведь не величина мирового значения?

— Где уж...

— Ну вот-с. А бросить коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите... Я — московский студент, а не Шариков! — Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.

— Филипп Филиппович, эх!..— горестно воскликнул Борменталь,— значит, что же? Терпеть? Вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?

Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил:

— Иван Арнольдович, как по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии, ну, скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?

— Филипп Филиппович, что вы спрашиваете? — с большим чувством ответил Борменталь и развел руками.

— Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.

— А я полагаю, что вы — первый, и не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде! — яростно перебил его Борменталь.

— Ну, ладно, пусть будет так. Ну, так вот-с, будущий профессор Борменталь: это никому не удастся. Кончено. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня. Скажите, Преображенский сказал. Финита! Клим! — вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном,— Клим! — повторил он.— Вот что, Борменталь, вы — первый ученик моей школы и, кроме этого, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам, как другу, сообщу, по секрету, конечно, я знаю, вы не станете срамить меня — старый осел Преображенский нарвался на этой операции, как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете, какое,— тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая на Москву,— но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где,— здесь Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее,— будьте спокойны-с! Если бы кто-нибудь,— сладострастно продолжал Филипп Филиппович,— разложил меня здесь и выпорол, я бы, клянусь, заплатил червонцев пять... «От Севильи до Гренады...» Черт меня возьми... Ведь я пять лет сидел, выковыривая придатки из мозгов... Вы знаете, какую я работу проделал, уму непостижимо. И вот теперь спрашивается, зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают!

— Исключительное что-то...

— Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти ощупью и параллельно с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу! На, получай Шарикова и ешь его с кашей!

— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?

— Да! — рявкнул Филипп Филиппович.— Да! Если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом, а вы видели, какого сорта эта операция. Одним словом, я,

Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящее, но на какого дьявола, спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно!.. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и, в эволюционном порядке каждый год упорно выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории шариковской болезни. Мое открытие, черти бы его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош... Да не спорьте, Иван Арнольдович, я все ведь уже понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно, ну, ладно. Физиологи будут в восторге... Москва беснуется... Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? — Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков.

— Исключительный прохвост.

— Но кто он? Клим! Клим! — крикнул профессор,— Клим Чугункин! (Борменталь открыл рот.) Вот что-с: две судимости, алкоголизм, «все поделить», шапка и два червонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел), хам и свинья... Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! «От Севильи до Гренады...» — свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович,— а не общечеловеческое! Это в миниатюре сам мозг! И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям! Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался! Неужели вы думаете, что я из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый...

— Вы — великий ученый, вот что,— молвил Борменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью.

— Я хотел проделать маленький опыт, после того как два года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что ж получилось, боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о господи... Доктор, передо мной тупая безнадежность, я, клянусь, потерялся.

Борменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу:

— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам, на свой риск, покормлю его мышьяком. Черт с ним, что и папа — судебный следователь. Ведь, в конце концов, это ваше собственное экспериментальное существо.

Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:

— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне шестьдесят лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.

— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот Швондер, что ж из него получится? Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!

— Ага? Теперь поняли. А я понял через день после операции. Ну, так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него еще более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки!

— Еще бы, одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем!

— О нет, о нет,— протяжно ответил Филипп Филиппович,— вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради бога, не клевещите на пса. Коты — это временно... Это вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас. Еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.

— А почему же теперь?..

— Иван Арнольдович, это элементарно, что вы, на самом деле, спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он, все-таки, привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты — это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которое существует в природе.

До последней степени взвинченный Борменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами и твердо молвил:

— Кончено. Я его убью.

— Запрещаю это,— категорически ответил Филипп Филиппович.

— Да помилуйте...

Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.

— Погодите-ка... Мне шаги послышались.

Оба прислушались, но в квартире было тихо.

— Показалось,— молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина».

— Минуточку,— вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери. Шаги послышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Борменталь распахнул дверь и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в кресле.

В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощного и, как от страху показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это что-то, упираясь, садилось на зад, и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету. Что-то, конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке.

Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:

— Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.

Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнув, закрыла грудь руками и унеслась.

— Дарья Петровна, извините, ради бога! — опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.

Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович, заглянув ему в глаза, ужаснулся.

— Что вы, доктор! Я запрещаю...

Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно сзади на сорочке треснуло, а спереди с горла отскочила пуговка.

Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.

— Вы не имеете права биться,— полузадушенный, кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.

— Доктор! — вопил Филипп Филиппович.

Борменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.

— Ну, ладно,— прошипел Борменталь,— подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он отрезвится.

Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать. При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались.

Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил:

— Ну-ну...

9

Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:

— Воображаю, что будет твориться на улице... Воображаю. «От Севильи до Гренады...» боже мой...

— Он в домкоме еще может быть,— бесновался Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более что этот питомец Полиграф не далее как вчера оказался прохвостом, взяв в домкоме, якобы на покупку учебников в кооперативе, семь рублей.

Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно, что Полиграф отбыл на рассвете, в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой из буфета, перчатки доктора Бормен-

таля и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят.

— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками.

Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день, врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович оказался в передней. И профессор, и доктор вышли его встречать. Полиграф вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки на шнуровке до колен. Преображенский и Борменталь, точно по команде, скрестили руки на груди и стали у притолоки, ожидая первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Тот пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было — смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

— Я, Филипп Филиппович,— начал он наконец говорить,— на должность поступил.

Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

— Бумагу дайте.

Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и прочее) в отделе М. К. Х.».

— Так,— тяжело сказал Филипп Филиппович,— кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь...

— Ну да, Швондер,— ответил Шариков.

— Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?

Шариков понюхал куртку озабоченно.

— Ну, что же, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили.

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталя. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.

— Караул,— пискнул Шариков, бледнея.

— Доктор?!

— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, не беспокойтесь,— железным голосом отозвался Борменталь и завопил: — Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

— Ну, повторяйте,— сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе,— извините меня...

— Ну хорошо, повторяю,— сиплым голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуху, дернулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.

— Доктор, умоляю вас!

Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять.

— ...извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида...

— Прокофьевна,— шепнула испуганно Зина.

— Прокофьевна...— говорил, перехватывая воздуху, охрипший Шариков.

— ...что я позволил себе...

— ...позволил...

— ...себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения...

— ...опьянения...

— Никогда больше не буду...

— Не бу...

— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович,— взмолились одновременно обе женщины,— вы его задавите!

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

— Грузовик вас ждет?

— Нет,— почтительно ответил Полиграф,— он только меня привез.

— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?..

— Куда же мне еще? — робко ответил Шариков, блуждая глазами.

— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мной дело! Понятно?

— Понятно,— ответил Шариков.

Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил глухо и автоматически:

— Что ж вы делаете с этими... с убитыми котами?

— На польты пойдут,— ответил Шариков,— из них белок будут делать на рабочий кредит.

Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на гремящем грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталя. Несмотря на то что Борменталь и Шариков спали в одной комнате — приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая, с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В вытертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот оторопел, остановился, прищурился и спросил:

— Позвольте узнать?..

— Я с ней расписываюсь, это наша машинистка, жить со мной будет. Борменталя надо будет выселить из приемной, у него своя квартира есть,— крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее:

— Я вас попрошу на минутку ко мне в кабинет.

— И я с ней пойду,— быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул, как из-под земли, решительный Борменталь.

— Извините,— сказал он,— профессор побеседует с дамой, а уж мы с вами побудем здесь.

— Я не хочу,— злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от страху барышней и Филиппом Филипповичем.

— Нет, простите,— Борменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

— Он сказал, негодяй, что ранен в боях,— рыдала барышня.

— Лжет! — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал: — мне вас искренно жаль, но нельзя же так, с первым встречным, только из-за служебного положения... Детка, ведь это же безобразие... Вот что...

Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

— Я отравлюсь,— плакала барышня,— в столовке солонина каждый день... он угрожает, говорит, что он красный командир... со мной, говорит, будешь жить в роскошной квартире... каждый день ананасы... психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу... Он у меня кольцо на память взял...

— Ну, ну, ну, ну, психика добрая, «от Севильи до Гренады»,— бормотал Филипп Филиппович,— нужно перетерпеть, вы еще так молоды...

— Неужели в этой самой подворотне?

— Берите деньги, когда дают, взаймы,— рявкал Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь, по приглашению Филиппа Филипповича, ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка.

— Подлец! — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

— Отчего у вас шрам на лбу, потрудитесь объяснить этой даме,— вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл по банку.

— Я на колчаковских фронтах ранен,— пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

— Перестаньте! — крикнул ей вслед Филипп Филиппович,— погодите! Колечко позвольте,— сказал он, обращаясь к Шарикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

— Ну, ладно,— вдруг злобно сказал он,— попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов!

— Не бойтесь его! — крикнул вслед Борменталь,— я ему не позволю ничего сделать.— Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком об шкаф.

— Как ее фамилия? — спросил у него Борменталь.— Фамилия!! — заревел он вдруг и стал дик и страшен.

— Васнецова,— ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.

— Ежедневно,— взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Борменталь,— сам лично буду справляться в очистке, не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы... узнаю, что сократили, я вас собственными руками здесь же пристрелю! Берегитесь, Шариков, говорю русским языком!

Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский нос.

— У самих револьверы найдутся...— пробормотал Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.

— Берегитесь! — донесся ему вдогонку борменталевский крик.

Ночь и половина следующего дня в квартире висела туча, как перед грозой. Но все молчали. И вот на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уезжал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский, в совершенно неурочный час, принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками.

— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил его осунувшийся Филипп Филиппович,— садитесь, пожалуйста.

— Мерси. Нет, профессор,— ответил гость, ставя шлем на угол стола,— я вам очень признателен. Гм... Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... Питая большое уважение... Гм. Предупредить... Явная ерунда. Просто он — прохвост...

Пациент полез в портфель и вынул бумагу.

— Хорошо, что мне непосредственно доложили...

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков

и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду.

«...а также угрожал убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевой Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовым, который тайно не прописанный проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».

— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами,— или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

— Извините, профессор,— очень обиделся пациент и раздул ноздри,— вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я...— и тут он стал надуваться, как индейский петух.

— Ну, извините, извините, голубчик,— забормотал Филипп Филиппович,— простите, я, право, не хотел вас обидеть.

— Мы умеем читать бумаги, Филипп Филиппович!

— Голубчик, не сердитесь, меня он так задергал...

— Я думаю,— совершенно отошел пациент,— но какая все-таки дрянь! Любопытно было б взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают.

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто более поседел за последнее время.

* * *

Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дула на лице Борменталя, а затем и Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:

— Сейчас заберете вещи, брюки, пальто, все, что вам нужно, и вон из квартиры.

— Как это так? — искренно удивился Шариков.

— Вон из квартиры сегодня,— монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича, очевидно, гибель уже караулила его и рок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

— Да что такое, в самом деле? Что я, управы, что ли, не найду на вас? Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть!

— Убирайтесь из квартиры,— задушенно шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный, с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой, по адресу опасного Борменталя, из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталя упала падучей звездой, и через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростертый и хрипящий, лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его белой маленькой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь, не со своим лицом, прошел на парадный ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

«Сегодня приема по случаю болезни профессора нет. Просят не беспокоить звонками».

Блестящим перочинным ножиком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал:

— Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

— Хорошо,— робко ответили Зина и Дарья Петровна.

— Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ,— заговорил Борменталь, прячась за дверь

в тень и прикрывая ладонью лицо.— Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать, мы заняты.

— Хорошо,— ответили женщины и сейчас же стали бледными.

Борменталь запер черный ход, забрал ключ, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом — мрак.

Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора... Проверить это трудно. Правда, и Зина, когда уже все кончилось, болтала, что в кабинете, у камина, после того как Борменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов. Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое и все, ну все, вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще, что... Впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врет...

За одно можно ручаться. В квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.

Конец повести

ЭПИЛОГ

Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховом переулке, ударил резкий звонок. Зину смертельно напугали голоса за дверью:

— Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.

Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной с заново застекленными шкафами оказалась масса народа. Двое в милицейской форме,

один в черном пальто с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстуха.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.

— Не стесняйтесь, профессор,— очень смущенно отозвался человек в штатском. Затем он замялся и заговорил: — Очень неприятно... У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и...— человек покосился на усы Филиппа Филипповича и докончил: — и арест, в зависимости от результатов.

Филипп Филиппович прищурился и спросил:

— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?

Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля:

— По обвинению Преображенского, Борменталя, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки М. К. Х. Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.

— Ничего не понимаю,— ответил Филипп Филиппович, королевски вздергивая плечи,— какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса... которого я оперировал?

— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело.

— То есть он говорил? — спросил Филипп Филиппович,— это еще не значит быть человеком! Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

— Профессор,— очень удивленно заговорил черный человек и поднял брови,— тогда его придется предъявить. Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.

— Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шарика следователю,— приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.

Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел. Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес, с багровым шрамом на лбу, вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милицейский вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги.

Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:

— Как же, позвольте?.. Он же служил в очистке...

— Я его туда не назначал,— ответил Филипп Филиппович,— ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

— Я ничего не понимаю,— растерянно сказал черный и обратился к первому милицейскому: — это он?

— Он,— беззвучно ответил милицейский,— форменно он.

— Он самый,— послышался голос Федора,— только, сволочь, опять оброс.

— Он же говорил?.. Кхе... Кхе...

— И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.

— Но почему же? — тихо осведомился черный человек.

Филипп Филиппович пожал плечами.

— Наука еще не знает способа обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм!

— Неприличными словами не выражаться! — вдруг гаркнул пес с кресла и встал.

Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливее всего были слышны три фразы:

Филиппа Филипповича: «Валерьянки! Это обморок».

Доктора Борменталя: «Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского!»

И Швондера: «Прошу занести эти слова в протокол!»

* * *

Серые гармонии труб грели. Шторы скрыли густую пречистенскую ночь с ее одинокою звездою. Высшее существо, важный песий благотворитель, сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и теплые.

«Так свезло мне, так свезло,— думал он, задремывая,— просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Утвердился. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это заживет до свадьбы. Нам на это нечего смотреть».

В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

— «К берегам священным Нила...»

Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек настойчиво все чего-то добивался в них, резал, рассматривал, щурился и пел:

— «К берегам священным Нила...»

Январь—март 1925 года
Москва

РАССКАЗЫ

■

■

ФЕЛЬЕТОНЫ

НЕДЕЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Заходит к нам в роту вечером наш военком и говорит мне:

— Сидоров!

А я ему:

— Я!

Посмотрел он на меня пронзительно и спрашивает:

— Ты,— говорит,— что?

— Я,— говорю,— ничего...

— Ты,— говорит,— неграмотный?

Я ему, конечно:

— Так точно, товарищ военком, неграмотный.

Тут он на меня посмотрел еще раз и говорит:

— Ну, коли ты неграмотный, так я тебя сегодня вечером отправлю на «Травиату»!

— Помилуйте,— говорю,— за что же? Что я неграмотный, так мы этому не причинны. Не учили нас при старом режиме.

А он отвечает:

— Дурак! Чего испугался? Это тебе не в наказание, а для пользы. Там тебя просвещать будут, спектакль посмотришь, вот тебе и удовольствие.

А мы как раз с Пантелеевым из нашей роты нацелились в этот вечер в цирк пойти.

Я и говорю:

— А нельзя ли мне, товарищ военком, в цирк уволниться вместо театра?

А он прищурил глаз и спрашивает:

— В цирк?.. Это зачем же такое?

— Да,— говорю,— уж больно занятно... Ученого слона выводить будут, и опять же рыжие, французская борьба...

Помахал он пальцем.

— Я тебе,— говорит,— покажу слона! Несознательный элемент! Рыжие... рыжие! Сам ты рыжая деревенщина! Слоны-то ученые, а вот вы, горе мое, неученые! Какая тебе польза от цирка? А? А в театре тебя просвещать будут... Мило, хорошо... Ну, одним словом, некогда мне с тобой долго разговаривать... Получай билет, и марш!

Делать нечего — взял я билетик. Пантелеев, он тоже неграмотный, получил билет, и отправились мы. Купили три стакана семечек и приходим в «Первый советский театр».

Видим, у загородки, где впускают народ,— столпотворение вавилонское. Валом лезут в театр. И среди наших неграмотных есть и грамотные, и все больше барышни. Одна было и сунулась к контролеру, показывает билет, а тот ее и спрашивает:

— Позвольте,— говорит,— товарищ мадам, вы грамотная?

А та сдуру обиделась:

— Странный вопрос! Конечно, грамотная. Я в гимназии училась!

— А,— говорит контролер,— в гимназии. Очень приятно. В таком случае позвольте вам пожелать до свидания!

И забрал у нее билет.

— На каком основании,— кричит барышня,— как же так?

— А так,— говорит,— очень просто, потому пускаем только неграмотных.

— Но я тоже хочу послушать оперу или концерт.

— Ну, если вы,— говорит,— хотите, так пожалуйте в Кавсоюз. Туда всех ваших грамотных собрали — доктора там, фершала, профессора. Сидят и чай с патокою пьют, потому им сахару не дают, а товарищ Куликовский им романсы поет.

Так и ушла барышня.

Ну, а нас с Пантелеевым пропустили беспрепятственно и прямо провели в партер и посадили во второй ряд.

Сидим.

Представление еще не начиналось, и потому от скуки по стаканчику семечек сжевали. Посидели мы так часика полтора, наконец стемнело в театре.

Смотрю, лезет на главное место огороженное какой-то. В шапочке котиковой и в пальто. Усы, бородка с

проседью и из себя строгий такой. Влез, сел и первым делом на себя пенсне одел.

Я и спрашиваю Пантелеева (он хоть и неграмотный, но все знает):

— Это кто же такой будет?

А он отвечает:

— Это дери,— говорит,— жер. Он тут у них самый главный. Серьезный господин!

— Что ж,— спрашиваю,— почему ж это его напоказ сажают за загородку?

— А потому,— отвечает,— что он тут у них самый грамотный в опере. Вот его для примеру нам, значит, и выставляют.

— Так почему ж его задом к нам посадили?

— А,— говорит,— так ему удобнее оркестром хороводить!..

А дирижер этот самый развернул перед собой какую-то книгу, посмотрел в нее и махнул белым прутиком, и сейчас же под полом заиграли на скрипках. Жалобно, тоненько, ну прямо плакать хочется.

Ну, а дирижер этот действительно в грамоте оказался не последний человек, потому два дела сразу делает — и книжку читает, и прутом размахивает. А оркестр нажаривает. Дальше — больше! За скрипками на дудках, а за дудками на барабане. Гром пошел по всему театру. А потом как рявкнет с правой стороны... Я глянул в оркестр и кричу:

— Пантелеев, а ведь это, побей меня бог, Ломбард, который у нас на пайке в полку!

А он тоже заглянул и говорит:

— Он самый и есть! Окромя его, некому так здорово врезать на тромбоне!

Ну, я обрадовался и кричу:

— Браво, бис, Ломбард!

Но только, откуда ни возьмись, милиционер, и сейчас ко мне:

— Прошу вас, товарищ, тишины не нарушать!

Ну, замолчали мы.

А тем временем занавеска раздвинулась, и видим мы на сцене — дым коромыслом! Которые в пиджаках кавалеры, а которые дамы в платьях танцуют, поют. Ну, конечно, и выпивка тут же, и в девятку то же самое.

Одним словом, старый режим!

Ну, тут, значит, среди прочих Альфред. Тоже пьет, закусывает.

И оказывается, братец ты мой, влюблен он в эту самую Травиату. Но только на словах этого не объясняет, а все пением, все пением. Ну, и она ему тоже в ответ.

И выходит так, что не миновать ему жениться на ней, но только есть, оказывается, у этого самого Альфреда папаша, по фамилии Любченко. И вдруг, откуда ни возьмись, во втором действии он и шасть на сцену.

Роста небольшого, но представительный такой, волосы седые, и голос крепкий, густой — беривтон.

И сейчас же и запел Альфреду:

— Ты что ж, такой-сякой, забыл край милый свой?

Ну, пел, пел ему и расстроил всю эту Альфредову махинацию, к черту. Напился с горя Альфред пьяный в третьем действии, и устрой он, братцы вы мои, скандал здоровеннейший — этой Травиате своей.

Обругал ее на чем свет стоит, при всех.

Поет:

— Ты,— говорит,— и такая и этакая, и вообще,— говорит,— не желаю больше с тобой дела иметь.

Ну, та, конечно, в слезы, шум, скандал!

И заболей она с горя в четвертом действии чахоткой. Послали, конечно, за доктором.

Приходит доктор.

Ну, вижу я, хоть он и в сюртуке, а по всем признакам наш брат — пролетарий. Волосы длинные, и голос здоровый, как из бочки.

Подошел к Травиате и запел:

— Будьте,— говорит,— покойны, болезнь ваша опасная, и непременно вы помрете!

И даже рецепта никакого не прописал, а прямо попрощался и вышел.

Ну, видит Травиата, делать нечего — надо помирать.

Ну, тут пришли и Альфред и Любченко, просят ее не помирать. Любченко уж согласие свое на свадьбу дает. Но ничего не выходит!

— Извините,— говорит Травиата,— не могу, должна помереть.

И действительно, попели они еще втроем, и померла Травиата.

А дирижер книгу закрыл, пенсне снял и ушел. И все разошлись. Только и всего.

Ну, думаю, слава богу, просветились, и будет с нас! Скучная история!

И говорю Пантелееву:

— Ну, Пантелеев, айда завтра в цирк!

Лег спать, и все мне снится, что Травиата поет и Ломбард на своем тромбоне крякает.

Ну-с, прихожу я на другой день к военкому и говорю:

— Позвольте мне, товарищ военком, сегодня вечером в цирк увольниться...

А он как рыкнет:

— Все еще,— говорит,— у тебя слоны на уме! Никаких цирков! Нет, брат, пойдешь сегодня в Совпроф на концерт. Там вам,— говорит,— товарищ Блох со своим оркестром Вторую рапсодию играть будет!

Так я и сел, думаю: «Вот тебе и слоны!»

— Это что ж,— спрашиваю,— опять Ломбард на тромбоне нажаривать будет?

— Обязательно,— говорит.

Оказия, прости господи, куда я, туда и он со своим тромбоном!

Взглянул я и спрашиваю:

— Ну, а завтра можно?

— И завтра,— говорит,— нельзя. Завтра я вас всех в драму пошлю.

— Ну, а послезавтра?

— А послезавтра опять в оперу!

И вообще, говорит, довольно вам по циркам шляться. Настала неделя просвещения.

Осатанел я от его слов! Думаю: этак пропадешь совсем. И спрашиваю:

— Это что ж, всю нашу роту гонять так будут?

— Зачем,— говорит,— всех! Грамотных не будут. Грамотный и без Второй рапсодии хорош! Это только вас, чертей неграмотных. А грамотный пусть идет на все четыре стороны!

Ушел я от него и задумался. Вижу, дело табак! Раз ты неграмотный, выходит, должен ты лишиться всякого удовольствия...

Думал, думал и придумал.

Пошел к военкому и говорю:

— Позвольте заявить!

— Заявляй!

— Дозвольте мне,— говорю,— в школу грамоты.

Улыбнулся тут военком и говорит:

— Молодец! — и записал меня в школу.

Ну, походил я в нее, и что вы думаете, выучили-таки! И теперь мне черт не брат, потому я грамотный!

ТОРГОВЫЙ РЕНЕССАНС

Москва в начале 1922-го года

Для того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь она неузнаваема, настолько резко успела изменить ее новая экономическая политика (нэпо, по сокращению, уже получившему права гражданства у москвичей).

Началось это постепенно... понемногу... То тут, то там стали отваливаться деревянные щиты, и из-под них глянули на свет после долгого перерыва запыленные и тусклые магазинные витрины. В глубине запущенных помещений загорелись лампочки, и при свете их зашевелилась жизнь: стали приколачивать, прибивать, чинить, распаковывать ящики и коробки с товарами. Вымытые витрины засияли. Вспыхнули сильные круглые лампы над выставками или узкие ослепительные трубки по бокам окон.

Трудно понять, из каких таинственных недр обнищавшая Москва ухитрилась извлечь товар, но она достала его и щедрой рукой вытряхнула за зеркальные витрины и разложила на полках.

Зашевелились Кузнецкий, Петровка, Неглинный, Лубянка, Мясницкая, Тверская, Арбат. Магазины стали расти как грибы, окропленные живым дождем нэпо... Государственные, кооперативные, артельные, частные... За кондитерскими, которые первые повсюду загорелись огнями, пошли галантерейные, гастрономические, писчебумажные, шляпные, парикмахерские, книжные, технические и, наконец, огромные универсальные.

На оголенные стены цветной волной полезли вывески, с каждым днем новые, с каждым днем все больших размеров. Кое-где они сделаны на скорую руку, иногда просто написаны на полотне, но рядом с ними появились постоянные, по новому правописанию, с яркими аршинными буквами. И прибиты они огромными, прочными костылями.

Надолго, значит.

И старые погнувшиеся и облупленные железные листы среди них как будто подтягиваются и оживают, и хилые твердые знаки так странно режут глаз.

Дальше больше, шире...

Не узнать Москвы. Москва торгует...

На Кузнецком целый день кипит на обледеневших тротуарах толчея пешеходов, извозчики едут вереницей и автомобили летят, хрипят сигналы.

За сотенными цельными стеклами буйная гамма ярких красок: улыбаются раскрашенными ликами фигурки-игрушки артелей кустарей. Выше, в бывшем магазине Шанкса, из огромных витрин тучей глядят дамские шляпы, чулки, ботинки, меха. Это один из универсальных магазинов. Моск. потр. общ. Оно открыло восемь таких магазинов по всей Москве.

На Петровке в сумеречные часы дня из окон на черные от народа тротуары льется непрерывный электрический свет. Блестят окна конфексионов. Сотни флаконов с лучшими заграничными духами граненых, молочно-белых, желтых, разных причудливых форм и фасонов. Волны материй, груды галстухов, кружева, ряды коробок с пудрой. А вон безжизненно-томно сияют раскрашенные лица манекенов, и на плечи их наброшены бесценные по нынешним временам палантины.

Ожили пассажи.

Громада «Мюр и Мерилиза» еще безмолвно и пусто чернеет своими огромными стеклами, но уже в нижнем этаже исчезли из витрины гигантские раскрашенные карикатуры на Нуланса и По, а из дверей выметают сор. И Москва знает уже, что в феврале здесь откроют универсальный магазин Мосторга с 25 отделениями и прежние директора Мюра войдут в его правление.

Кондитерские на каждом шагу. И целые дни и до закрытия они полны народу. Полки завалены белым хлебом, калачами, французскими булками. Пирожные бесчисленными рядами устилают прилавки. Все это чудовищных цен. Но цены в Москве давно уже никого не пугают, и сказочные, астрономические цифры миллионов (этого слова уже давно нет в Москве, оно окончательно вытеснено словом «лимон») пропускают за день блестящие, неустанно щелкающие кассы.

В бывшей булочной Филиппова на Тверской, до потолка заваленной белым хлебом, тортами, пирожными, сухарями и баранками, стоят непрерывные хвосты.

Выставки гастрономических магазинов поражают своей роскошью. В них горы коробок с консервами, черная икра, семга, балык, копченая рыба, апельсины. И всегда у окон этих магазинов как зачарованные стоят прохожие и смотрят не отрываясь на деликатесы...

Все 34 гастрономических магазина М.П.О. и частные уже оповестили в объявлениях о том, что у них есть и русское и заграничное вино, и москвичи берут его нарасхват.

В конце ноября «Известия» в первый раз вышли с объявлениями, и теперь ими пестрят страницы всех газет и торговых бюллетеней. А самолеты авиационной группы «Воздушный флот» уже сделали первый опыт разброски объявлений над Москвой, и теперь открыт прием объявлений «С аэроплана». Строка такого объявления стоит 15 руб. на новые дензнаки.

Движение на улицах возрастает с каждым днем. Идут трамваи по маршрутам 3, 6, 7, 16, 17, А и Б, и извозчики во все стороны везут москвичей и бойко торгуются с ними:

— Пожалуйте, господин! Рублик без лишнего (100 тыс.)! Со мной ездили!

У «Метрополя», у Воскресенских ворот, у Страстного монастыря,— всюду на перекрестках воздух звенит от гомона бесчисленных торговцев газетами, папиросами, тянучками, булками.

У Ильинских ворот стоят женщины с пирожками в две шеренги. А на Ильинке с серого здания с колоннами исчезла надпись «Горный совет» и повисла другая, с огромными буквами: «Биржа», и в нем идут биржевые собрания и проходят через маклеров миллиардные сделки.

До позденей ночи движется, покупает, продает, толчется в магазинах московский люд. Но и поздним вечером, когда стрелки на освещенных уличных часах неуклонно ползут к полночи, когда уже закрыты все магазины, все еще живет неугомонная Тверская.

И режут воздух крики мальчишек:

— «Ира» рассыпная! «Ява»! «Мурсал»!

Окна бесчисленных кафе освещены, и из них глухо слышится взвизгивание скрипок.

До поздней ночи шевелится, покупает и продает, ест и пьет за столиками народ, живущий в не виданном еще никогда торгово-красном Китай-городе.

СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС

Рассказ

Не стоит вызывать его!
Не стоит вызывать его!

Речитатив Мефистофеля

I

Дура Ксюшка доложила:

— Там к тебе мужик пришел...

Madame Лузина вспыхнула:

— Во-первых, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты мне «ты» не говорила! Какой такой мужик?

И выплыла в переднюю.

В передней вешал фуражку на олений рог Ксаверий Антонович Лисиневич и кисло улыбался. Он слышал Ксюшкин доклад.

Madame Лузина вспыхнула вторично.

— Ах, боже! Извините, Ксаверий Антоныч! Эта деревенская дура!.. Она всех так... Здравствуйте!

— О, помилуйте!..— светски растопырил руки Лисиневич.— Добрый вечер, Зинаида Ивановна! — он свел ноги в третью позицию, склонил голову и поднес руку madame Лузиной к губам.

Но только что он собрался бросить на madame долгий и липкий взгляд, как из двери выполз муж Павел Петрович. И взгляд угас.

— Да-а...— немедленно начал волынку Павел Петрович,— «мужик»... хе-хе! Ди-ка-ри! Форменные дикари. Я вот думаю: свобода там... Коммунизм. Помилуйте! Как можно мечтать о коммунизме, когда кругом такие Ксюшки! Мужик... Хе-хе! Вы уж извините, ради бога! Муж...

«А дурак!» — подумала madame Лузина и перебила:

— Да что ж мы в передней?.. Пожалуйте в столовую...

— Да, милости просим в столовую,— скрепил Павел Петрович, — прошу!

Вся компания, согнувшись, пролезла под черной трубой и вышла в столовую.

— Я и говорю,— продолжал Павел Петрович, обнимая за талию гостя,— коммунизм... Спору нет: Ленин человек гениальный, но... да, вот не угодно ли пайковую... хе-хе! Сегодня получил... Но коммунизм — это такая вещь,

что она, так сказать, по своему существу... Ах, разорванная? Возьмите другую, вот с краю... По своей сути требует известного развития... Ах, подмоченная? Ну и папиросы! Вот, пожалуйста, эту... По своему содержанию... Погодите, разгорится... Ну и спички! Тоже пайковые... Известного сознания...

— Погоди, Поль! Ксаверий Антонович, чай до или после?

— Я думаю... э-э, до,— ответил Ксаверий Антонович.

— Ксюшка! Примус! Сейчас все придут! Все страшно заинтересованы! Страшно?! Я пригласила и Софью Ильиничну...

— А столик?

— Достали! Достали! Но только... Он с гвоздями. Но ведь, я думаю, ничего?

— Гм... Конечно, это нехорошо... Но как-нибудь обойдемся...

Ксаверий Антонович окинул взглядом трехногий столик с инкрустацией, и пальцы у него сами собой шевельнулись.

Павел Петрович заговорил:

— Я, признаться, не верю. Не верю, как хотите. Хотя, правда, в природе...

— Ах, что ты говоришь! Это безумно интересно! Но предупреждаю: я буду бояться!

Madame Лузина оживленно блестела глазами, затем выбежала в переднюю, поправила наскоро прическу у зеркала и впорхнула в кухню. Оттуда донесся рев примуса и хлопанье Ксюшкиных пяток.

— Я думаю,— начал Павел Петрович, но не кончил.

В передней постучали. Первая явилась Леночка, затем квартирант. Не заставила себя ждать и Софья Ильинична, учительница II-ой ступени. А тотчас же за ней явился и Боборицкий с невестой Ниночкой.

Столовая наполнилась хохотом и табачным дымом.

— Давно, давно нужно было устроить!

— Я, признаться...

— Ксаверий Антонович! Вы будете медиум! Ведь да? Да?

— Господа,— кокетничал Ксаверий Антонович,— я ведь, в сущности, такой же непосвященный... Хотя...

— Э-э, нет! У вас столик на воздух поднимался!

— Я, признаться...

— Уверяю тебя, Маня собственными глазами видела зеленоватый свет!..

— Какой ужас! Я не хочу!

— При свете! При свете! Иначе я не согласна! — кричала крепко сколоченная, материальная Софья Ильинична,— иначе я не поверю!

— Позвольте... Дадим честное слово...

— Нет! Нет! В темноте! Когда Юлий Цезор выстучал нам смерть...

— Ах, я не могу! О смерти не спрашивать! — кричала невеста Боборицкого, а Боборицкий томно шептал:

— В темноте! В темноте!

Ксюшка, с открытым от изумленья ртом, внесла чайник. Madame Лузина загремела чашками.

— Скорее, господа, не будем терять времени!..

И сели за чай...

...Шалью, по указанию Ксаверия Антоновича, наглухо закрыли окно. В передней потушили свет, и Ксюшке приказали сидеть на кухне и не топать пятками. Сели, и стала темь...

II

Ксюшка заскучала и встревожилась сразу. Какая-то чертовщина... Всюду темень. Заперлись. Сперва тишина, потом тихое, мерное постукивание. Услыхав его, Ксюшка застыла. Страшно стало. Опять тишина. Потом неясный голос...

— Господи?..

Ксюшка шевельнулась на замасленном табурете и стала прислушиваться...

Тук... Тук... Тук... Будто голос гостьи (чистая тунба, прости господи!) забубнил:

— А, га, га, га...

Тук... Тук...

Ксюшка на табурете, как маятник, качалась от страха к любопытству... То черт с рогами мерещился за черным окном, то тянуло в переднюю...

Наконец не выдержала. Прикрыла дверь в освещенную кухню и шмыгнула в переднюю. Тыча руками, наткнулась на сундуки. Протиснулась дальше, пошарила, разглядела дверь и приникла к скважине... Но в скважине была адова тьма, из которой доносились голоса...

III

— Ду-ух, кто ты?

— А, бе, ве, ге, де, е, же, зе, и...

Тук!

— И! — вздохнули голоса.

— А, бе, ве, ге...

— Им!

Тук... тук, тук...

— Им-пе-ра!.. О-о! Господа...

— Император На-по...

Тук... Тук...

— На-по-ле-он!!. Боже, как интересно!..

— Тише!.. Спросите! Спрашивайте!

— Что?.. Да, спрашивайте!.. Ну, кто хочет?..

— Дух императора,— прерывисто и взволнованно спросила Леночка,— скажи, стоит ли мне переходить из Главхима в Желеском? Или нет?..

Тук... Тук... Тук...

— Ду-у... Ду-ра! — отчетливо ответил император Наполеон.

— Ги-и! — гигикнул дерзкий квартирант.

Смешок пробежал по цепи.

Софья Ильинична сердито шепнула:

— Разве можно спрашивать ерунду!

Уши Леночки горели во тьме.

— Не сердись, добрый дух! — взмолилась она,— если не сердишься, стукни один раз!

Наполеон, повинуясь рукам Ксаверия Антоновича, ухитрившегося делать сразу два дела — щекотать губами шею madame Лузиной и вертеть стол, взмахнул ножкой и впился ею в мозоль Павла Петровича.

— Сс-с! — болезненно прошипел Павел Петрович.

— Тише!.. Спрашивайте!

— У вас никого посторонних нет в квартире? — спросил осторожный Боборицкий.

— Нет! Нет! Говорите смело!

— Дух императора, скажи, сколько времени еще будут у власти большевики?

— А-а!.. Это интересно! Тише!.. Считайте!..

Та-ак, та-ак,— застучал Наполеон, припадая на одну ножку.

— Те... эр... и... три... ме-ся-ца!

— А-а!!.

— Слава богу! — вскричала невеста.— Я их так ненавижу!

— Тсс! Что вы?!

— Да никого нет!

— Кто их свергнет? Дух, скажи!..

Дыхание затаили... Та-ак, та-ак...

...Ксюшку распирало от любопытства...

Наконец она не вытерпела. Отшатнувшись от собственного отражения, мелькнувшего во мгле зеркала, она протиснулась между сундуками обратно в кухню. Захватила платок, шмыгнула обратно в переднюю, поколебалась немного перед ключом. Потом решилась, тихонько прикрыла дверь и, дав волю пяткам, понеслась к Маше нижней.

IV

Маша нижняя нашлась на парадной лестнице у лифта внизу вместе с Дуськой из пятого этажа. В кармане у нижней Маши было на 100 тысяч семечек.

Ксюшка излилась.

— Заперлись они, девоньки... Записывают про императора и про большевиков... Темно в квартире, страсть!.. Жилец, барин, барыня, хахаль ейный, учительша...

— Ну!! — изумлялась нижняя и Дуська, а мозаичный пол покрывался липкой шелухой...

Дверь в квартире № 3 хлопнула, и по лестнице двинулся вниз бравый в необыкновенных штанах. Дуська, и Ксюшка, и нижняя Маша скосили глаза. Штаны до колен были как штаны из хорошей диагонали, но от колен расширялись, расширялись и становились как колокола.

Квадратная бронзовая грудь распирала фуфайку, а на бедре тускло и мрачно глядело из кожаной штуки востроносое дуло.

Бравый, лихо закинув голову с золотыми буквами на лбу, легко перебирая ногами, отчего колокола мотались, спустился к лифту и, обжегши мимолетным взглядом всех троих, двинулся к выходу...

— Лампы потушили, чтобы я, значит, не видела... Хи-хи!.. и записывают... большевикам, говорят, крышка... Инпиратор... Хи! Хи!

С бравым что-то произошло. Лакированные ботинки вдруг стали прилипать к полу. Шаг его замедлился. Бравый вдруг остановился, пошарил в кармане, как будто

что-то забыл, потом зевнул и вдруг, очевидно раздумав, вместо того чтобы выйти в парадное, повернулся и сел на скамью, скрывшись из Ксюшкиного поля зрения за стеклянным выступом с надписью «швейцар».

Заинтересовал его, по-видимому, рыжий потрескавшийся купидон на стене. В купидона он впился и стал его изучать...

...Облегчив душу, Ксюшка затопотала обратно. Бравый уныло зевнул, глянул на браслет-часы, пожал плечами и, видимо соскучившись ждать кого-то из квартиры № 3, поднялся и, развинченно помахивая колоколами, пошел на расстоянии одного марша за Ксюшкой...

Когда Ксюшка скрылась, стараясь не хлопнуть дверью, в квартире, в темноте на площадке вспыхнула спичка у белого номерка — «24». Бравый уже не прилипал и не позевывал.

— Двадцать четыре,— сосредоточенно сказал он самому себе и, бодрый и оживленный, стрелой понесся вниз через все шесть этажей.

V

В дымной тьме Сократ, сменивший Наполеона, творил чудеса. Он плясал, как сумасшедший, предрекая большевикам близкую гибель. Потная Софья Ильинична, не переставая, читала азбуку. Руки онемели у всех, кроме Ксаверия Антоновича. Мутные, беловатые силуэты мелькали во мгле. Когда же нервы напряглись до предела, стол с сидящим в нем мудрым греком колыхнулся и поплыл вверх.

— Ах!.. Довольно!.. Я боюсь!.. Нет! Пусть! Милый! Дух! Выше!.. Никто не трогает, ногами?.. Да нет же!.. Тсс!.. Дух! Если ты есть, возьми la на пианино! — Грек оборвался сверху и грянул всеми ножками в пол. Что-то с треском лопнуло в нем. Затем он забарахтался и, наступая на ноги взвизгивающим дамам, стал рваться к пианино... Спириты, сталкиваясь лбами, понеслись за ним...

Ксюшка вскочила как встрепанная с ситцевого одеяла в кухне. Ее писка: «Кто такой?» — очумевшие спириты не слыхали.

Какой-то новый, злобный и страшный, дух вселился в стол, выкинув покойного грека. Он страшно гремел ножками, как из пулемета, кидался из стороны в сторону и нес какую-то околесину:

— Дра-ту-ма... бы... ы... ы.

— Миленький! дух! — стонали спириты.

— Что ты хочешь?!

— Дверь! — наконец вырвалось у бешеного духа.

— А-а!.. Дверь! Слышите! В дверь хочет бежать!. Пустите его!

Трык, трак, тук,— заковылял стул к двери.

— Стойте! — крикнул вдруг Боборицкий,— вы видите, какая в нем сила! Пусть, не доходя, стукнет в дверь!

— Дух! Стукни!!

И дух превзошел ожидания. Снаружи в дверь он грянул как будто сразу тремя кулаками.

— Ай! — визгнули в комнате три голоса.

А дух действительно был полон силы. Он забарабанил так, что у спиритов волосы стали дыбом. Вмиг замерло дыхание, стала тишина...

Дрожащим голосом выкрикнул Павел Петрович:

— Дух! Кто ты?..

И из-за двери гробовой голос ответил:

— Чрезвычайная комиссия.

...Дух испарился из стола позорно — в одно мгновенье. Стол, припав на поврежденную ножку, стал неподвижно. Спириты окаменели. Затем madame Лузина простонала: «Бо-о-же!» — и тихо сникла в неподдельном обмороке на грудь Ксаверию Антоновичу, прошипевшему:

— О, черт бы взял идиотскую затею!

Трясущиеся руки Павла Петровича открыли дверь. Вмиг вспыхнули лампы, и дух предстал перед снежно-бледными спиритами. Он был кожаный. Весь кожаный, начиная с фуражки и кончая портфелем. Мало того, он был не один. Целая вереница подвластных духов виднелась в передней.

Мелькнула бронзовая грудь, граненый ствол, серая шинель, еще шинель...

Дух окинул глазами хаос спиритической комнаты и, зловеще ухмыльнувшись, сказал:

— Ваши документы, товарищи...

ЭПИЛОГ

Боборицкий сидел неделю, квартирант и Ксаверий Антонович — 13 дней, а Павел Петрович — полтора месяца.

МОСКВА КРАСНОКАМЕННАЯ

I

УЛИЦА

Жужжит «Аннушка», звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к храму Христа.

Хорошо у храма. Какой основательный кус воздуха навис над Москвой-рекой от белых стен до отвратительных бездымных четырех труб, торчащих из Замоскворечья.

За храмом, там, где некогда величественно восседал тяжелый Александр III в сапогах гармоникой, теперь только пустой постамент. Грузный комод, на котором ничего нет и ничего, по-видимому, не предвидится. И над постаментом воздушный столб до самого синего неба.

Гуляй — не хочу.

Зимой массивные ступени, ведущие от памятника, исчезали под снегом, обледеневали. Мальчишки — «Ява» рассыпная!» — скатывались со снежной горы на салазках и в пробегавшую «Аннушку» швыряли комьями. А летом плиты у храма, ступени у пьедестала пусты. Молчат две фигуры, спускаются к трамвайной линии. У одной за плечами зеленый горб на ремнях. В горбе — паек. Зимой пол-Москвы с горбами ходило. Горбы за собой на салазках таскали. А теперь — довольно. Пайков гражданских нет. Получай миллионы — вали в магазин.

У другой — нет горба. Одет хорошо. Белый крахмал, штаны в полоску. А на голове выгоревший в грозе и буре бархатный околыш. На околыше — золотой знак. Не то молот и лопата, не то серп и грабли — во всяком случае, не серп и молот. Красный спец. Служит не то в ХМУ, не то в ЦУСе. Удачно служит, не нуждается. Каждый день ходит на Тверскую в гигантский магазин Эм-пе-о (в легендарные времена назывался Елисеев) и тычет пальцем в стекло, за которым лежат сокровища:

— Э... э... два фунта...

Приказчик в белом фартуке:

— Слуш...с-с...

И чирк ножом, но не от того куска, в который спец тыкал, что посвежее, а от того, что рядом, где подозрительнее.

— В кассу прошу...

Чек. Барышня бумажку на свет. Не ходят без этого бумажки никак. Кто бы в руки ни взял, первым долгом через нее на солнце. А что на ней искать надо, никто в Москве не ведает. Касса хлопнула, прогремела и съела десять спецовых миллионов. Сдачи: две бумажки по сту.

Одна настоящая, с водяными знаками, другая, тоже с водяными знаками,— фальшивая.

В Эм-пе-о — елисеевских зеркальных стеклах — все новые покупатели. Три фунта. Пять фунтов. Икра черная лоснится в банках. Сиги копченые. Пирамиды яблок, апельсинов. К окну какой-то самоистязатель носом прилип, выкатил глаза на люстры-гроздья, на апельсины. Головой крутит. Проспал с 18 по 22 год!

А мимо, по избитым торцам,— велосипедист за велосипедистом. Мотоциклы. Авто. Свистят, каркают, как из пулеметов стреляют. На «автоконьяке» ездят. В автомобиль его нальешь, пустишь — за автомобилем сизо-голубой удушливый дым столбом.

Летят общипанные, ободранные, развинченные машины. То с портфелями едут, то в шлемах краснозвездных, а то вдруг подпрыгнет на кожаных подушках дама в палантине, в стомиллионной шляпе с Кузнецкого. А рядом, конечно, выгоревший околыш. Нувориш. Нэпман.

Иногда мелькнет бесшумная, сияющая лаком машина. В ней джентльмен иностранного фасона. АРА.

Извозчики то вереницей, то в одиночку. Дыхание бури их не коснулось. Они такие, как были в 1822 г., и такие, как будут в 2022, если к тому времени не вымрут лошади. С теми, кто торгуется, наглы, с «лимонными» людьми — угодливы:

— Вас возил, господин!

Обыкновенная совпублика — пестрая, многоликая масса, что носит у московских кондукторш название: граждане (ударение на втором слоге),— ездит в трамваях.

Бог их знает, откуда они берутся, кто их чинит, но их становится все больше и больше. На 14 маршрутах уже скрежещет в Москве. Большею частью — ни стать, ни сесть, ни лечь. Бывает, впрочем, и просторно. Вон «Аннушка» заворачивает под часы у Пречистенских ворот. Внутри кондуктор, кондукторша и трое пассажиров. Трое ожидающих сперва машинально становятся в хвост. Но вдруг хвост рассыпался. Лица становятся

озабоченными. Локтями начинают толкать друг друга. Один хватается за левую ручку, другой одновременно за правую. Не входят, а «лезут». Штурмуют пустой вагон. Зачем? Что такое? Явление это уже изучено. Атавизм. Память о тех временах, когда не стояли, а висели. Когда ездили мешки с людьми. Теперь подите повисните! Попробуйте с пятипудовым мешком у Ярославского вокзала сунуться в вагон.

— Гражда́не, нельзя с вещами.

— Да что вы... маленький узелочек...

— Гражданин! Нельзя!!! Как вы понятия не имеете!!

Звонок. Стоп. Выметайтесь.

И:

— Гражда́не, получайте билеты. Гражда́не, продвигайтесь вперед.

Граждане продвигаются, граждане получают. Во что попало одеты граждане. Блузы, рубахи, френчи, пиджаки. Больше всего френчей — омерзительного наряда, оставшегося на память о войне. Кепки, фуражки. Куртки кожаные. На ногах большей частью подозрительная стоптанная рвань с кривыми каблуками. Но попадается уже лак. Советские сокращенные барышни в белых туфлях.

Катит пестрый маскарад в трамвае.

На трамвайных остановках гвалт, гомон. Чревовещательные сиплые альты поют:

— Сиводнишняя «Известия-а»... Патриарха Тихххх-а-а-ана... Эсеры... «Накану-у-не»... Из Бирлина только што па-а-алучена...

Несется трамвай среди говора, гомона, гудков. В Центр.

Летит мимо Московской улицы. Вывеска на вывеске. В аршин. В сажень. Свежая краска бьет в глаза. И чего-чего на них нет. Все есть, кроме твердых знаков и ятей. Цупвоз. Цустран. Моссельпром. Отгадывание мыслей. Мосдревотдел. Виноторг. Старо-Рыковский трактир. Воскрес трактир, но твердый знак потерял. Трактир «Спорт». Театр трудящихся. Правильно. Кто трудится, тому надо отдохнуть в театре. Производство «сандаль». Вероятно, сандалий. Обувь дамская, детская и «мальчиковая». Врывсельпромгвиу. Униторг, Мосторг и Главлесторг. Центробумтрест.

И в пестром месиве слов, букв на черном фоне белая фигура — скелет руки к небу тянет. Помоги! Голод. В

терновом венце, в обрамлении косм, смертными тенями покрытое лицо девочки и выгоревшие в голодной пытке глаза. На фотографиях распухшие дети, скелеты взрослых, обтянутые кожей, валяются на земле. Всмотришься, представишь себе, и день в глазах посереет. Впрочем, кто все время ел, тому непонятно. Бегут нувориши мимо стен, не оглядываются...

До поздней ночи улица шумит. Мальчишки — красные купцы — торгуют. К двум ползут стрелки на огненных круглых часах, а Тверская все дышит, ворочается, выкрикивает. Взвизгивают скрипки в кафе «Куку». Но все тише, реже. Гаснут окна в переулках... Спит Москва после пестрого будня перед красным праздником...

...Ночью спец, укладываясь, Неизвестному Богу молится:

— Ну что тебе стоит? Пошли назавтра ливень. С градом. Ведь идет же где-то град в два фунта. Хоть в полтора.

И мечтает:

— Вот выйдут, вот плакатики вынесут, а сверху как ахнет...

И дождик идет, и порядочный. Из перержавевших водосточных труб хлещет. Но идет-то он в несуразное, никому не нужное время — ночью. А наутро на небе ни пылинки!

И баба бабе у ворот говорит:

— На небе-то, видно, за большевиков стоят...

— Видно, так, милая...

В десять по Тверской прокатывается оглушительный марш. Мимо ослепших витрин, мимо стен, покрытых вылинявшими пятнами красных флагов, в новых гимнастерках с красными, синими, оранжевыми клапанами на груди, с красными шевронами, в шлемах, один к одному, под лязг тарелок, под рев труб рота за ротой идет красная пехота.

С двухцветными эскадронными значками — разномастная кавалерия на рысях. Броневики лезут.

Вечером на бульварах толчея. Александр Сергеевич Пушкин, наклонив голову, внимательно смотрит на гудящий у его ног Тверской бульвар. О чем он думает — никому не известно... Ночью транспаранты горят. Звезды...

...И опять засыпает Москва. На огненных часах три. В тишине по всей Москве каждую четверть часа разносится

таинственный нежный перезвон со старой башни, у подножия которой, не угасая всю ночь, горит лампа и стоит бессонный часовой. Каждую четверть часа несется с кремлевских стен перезвон. И спит перед новым буднем улица в невиданном, неслыханном красноторговом Китай-городе.

ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА

Поэма в X пунктах с прологом и эпилогом

> — Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.
>
> — Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу, казенный экипаж.

ПРОЛОГ

Диковинный сон... Будто бы в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью «Мертвые души», шутник сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница.

Манилов в шубе на больших медведях, Ноздрев в чужом экипаже, Держиморда на пожарной трубе, Селифан, Петрушка, Фетинья...

А самым последним тронулся он — Павел Иванович Чичиков в знаменитой своей бричке.

И двинулась вся ватага на Советскую Русь, и произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие — тому следуют пункты...

I

Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя:

— Чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною! Испакостил,

изгадил репутацию так, что некуда носа показать. Ведь, ежели узнают, что я — Чичиков, натурально, в два счета выкинут, к чертовой матери! Да еще хорошо, как только выкинут, а то еще, храни бог, на Лубянке насидишься. А все Гоголь, чтоб ни ему, ни его родне...

И, размышляя таким образом, въехал в ворота той самой гостиницы, из которой сто лет тому назад выехал.

Все решительно в ней было по-прежнему: из щелей выглядывали тараканы, и даже их как будто больше сделалось, но были и некоторые измененьица. Так, например, вместо вывески «Гостиница» висел плакат с надписью: «Общежитие № такой-то», и, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятия не имел.

— Комнату!

— Ордер пожалте!

Ни одной секунды не смутился гениальный Павел Иванович.

— Управляющего!

— Трах! — управляющий старый знакомый: дядя Лысый Пимен, который некогда держал «Акульку», а теперь открыл на Тверской кафе на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, бальзамами и, конечно, с проститутками. Гость и управляющий облобызались, шушукнулись, и дело уладилось вмиг без всякого ордера. Закусил Павел Иванович, чем бог послал, и полетел устраиваться на службу.

II

Являлся всюду и всех очаровал поклонами несколько набок и колоссальной эрудицией, которой всегда отличался.

— Пишите анкету.

Дали Павлу Ивановичу анкетный лист в аршин длины, и на нем сто вопросов самых каверзных: откуда, да где был, да почему?..

Пяти минут не просидел Павел Иванович и исписал анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал ее.

«Ну, — подумал, — прочитают сейчас, что я за сокровище, и...»

И ничего ровно не случилось.

Во-первых, никто анкету не читал, во-вторых, попала она в руки к барышне-регистраторше, которая распорядилась ею по обычаю: провела вместо входящего по исходящему и затем немедленно ее куда-то засунула, так что анкета как в воду канула.

Ухмыльнулся Чичиков и начал служить.

III

А дальше пошло легче и легче. Прежде всего, оглянулся Чичиков и видит: куда ни плюнь, свой сидит. Полетел в учреждение, где пайки-де выдают, и слышит:

— Знаю я вас, скалдырников: возьмете живого кота, обдерете, да и даете на паек! А вы дайте мне бараний бок с кашей. Потому что лягушку вашу пайковую мне хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот и гнилой селедки тоже не возьму!

Глянул — Собакевич.

Тот, как приехал, первым долгом двинулся паек требовать. И ведь получил! Съел и надбавки попросил. Дали. Мало! Тогда ему второй отвалили; был простой — дали ударный. Мало! Дали какой-то бронированный. Слопал и еще потребовал. И со скандалом потребовал! Обругал всех христопродавцами, сказал, что мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет и что есть один только порядочный человек делопроизводитель, да и тот, если сказать правду, свинья!

Дали академический.

Чичиков, лишь увидел, как Собакевич пайками орудует, моментально и сам устроился. Но, конечно, превзошел и Собакевича. На себя получил, на несуществующую жену с ребенком, на Селифана, на Петрушку, на того самого дядю, о котором Бетрищеву рассказывал, на старуху мать, которой на свете не было. И всем академические. Так что продукты к нему стали возить на грузовике.

А наладивши таким образом вопрос с питанием, двинулся в другие учреждения, получать места.

Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому, встретил Ноздрева. Тот первым долгом сообщил, что он уже продал и цепочку, и часы. И точно, ни часов, ни цепочки на нем не было. Но Ноздрев не унывал.

Рассказал, как повезло ему на лотерее, когда он выиграл полфунта постного масла, ламповое стекло и подметки на детские ботинки, но как ему потом не повезло и он, канальство, еще своих шестьсот миллионов доложил. Рассказал, как предложил Внешторгу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов. И поставил. И заработал бы на этом тьму, если б не мерзавцы англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись «Мастер Савелий Сибиряков», и все их забраковали. Затащил Чичикова к себе в номер и напоил изумительным, якобы из Франции полученным, коньяком, в котором, однако, был слышен самогон во всей его силе. И наконец до того доврался, что стал уверять, что ему выдали восемьсот аршин мануфактуры, голубой автомобиль с золотом и ордер на помещение в здании с колоннами.

Когда же зять его Мижуев выразил сомнение, обругал его, но не Софроном, а просто сволочью.

Одним словом, надоел Чичикову до того, что тот не знал, как и ноги от него унести.

Но рассказы Ноздрева навели его на мысль и самому заняться внешней торговлей.

IV

Так он и сделал. И опять анкету написал и начал действовать — и показал себя во всем блеске. Баранов в двойных тулупах водил через границу, а под тулупами брабантские кружева; бриллианты возил в колесах, дышлах, в ушах и невесть в каких местах.

И в самом скором времени очутились у него около пятисот апельсинов капиталу.

Но он не унялся, а подал куда следует заявление, что желает снять в аренду некое предприятие, и расписал необыкновенными красками, какие от этого государству будут выгоды.

В учреждении только рты расстегнули — выгода действительно выходила колоссальная. Попросили указать предприятие. Извольте. На Тверском бульваре, как раз против Страстного монастыря, перейдя улицу, и называется — «Пампуш на Твербуле». Послали запрос куда следует: есть ли там такая штука. Ответили: есть и всей Москве известна. Прекрасно.

— Подайте техническую смету.

У Чичикова смета уже за пазухой.

Дали в аренду.

Тогда Чичиков, не теряя времени, полетел куда следует:

— Аванс пожалте.

— Представьте ведомость в трех экземплярах с надлежащими подписями и приложением печатей.

Двух часов не прошло, представил и ведомость. По всей форме. Печатей столько, как в небе звезд. И подписи налицо.

За заведующего — Неуважай-Корыто, за секретаря — Кувшинное Рыло, за председателя тарифно-расценочной комиссии — Елизавета Воробей.

— Верно. Получите ордер.

Кассир только крякнул, глянув на итог.

Расписался Чичиков и на трех извозчиках увез дензнаки.

А затем в другое учреждение:

— Пожалте подтоварную ссуду.

— Покажите товары.

— Сделайте одолжение. Агента позвольте.

— Дать агента!

Тьфу! и агент знакомый: Ротозей Емельян.

Забрал его Чичиков и повез. Привез в первый попавшийся подвал и показывает. Видит Емельян — лежит несметное количество продуктов.

— М-да... И все ваше?

— Все мое.

— Ну,— говорит Емельян,— поздравляю вас в таком случае. Вы даже не мильонщик, а трильонщик!

А Ноздрев, который тут же с ними увязался, еще подлил масла в огонь.

— Видишь,— говорит,— автомобиль в ворота с сапогами едет? Так это тоже его сапоги.

А потом вошел в азарт, потащил Емельяна на улицу и показывает:

— Видишь магазины? Так это все его магазины. Все, что по эту сторону улицы,— все его. А что по ту сторону — тоже его. Трамвай видишь? Его. Фонари?.. Его. Видишь? Видишь?

И вертит его во все стороны.

Так что Емельян взмолился:

— Верю! Вижу... только отпусти душу на покаяние.

Поехали обратно в учреждение.

Там спрашивают:

— Ну что?

Емельян только рукой махнул:

— Это,— говорит,— неописуемо!

— Ну, раз неописуемо — выдать ему n+1 миллиардов.

V

Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из дохлого мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве «все разрешено», пожелала недвижимость приобрести; он вошел в компанию с Замухрышкиным и Утешительным и продал ей Манеж, что против Университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого в три года никуда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку, а насчет денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняли банды капитана Копейкина. Словом, произвел чудеса.

И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков — триллионщик. Учреждения начали рвать его к себе нарасхват в спецы. Уже Чичиков снял за 5 миллиардов квартиру в пять комнат, уже Чичиков обедал и ужинал в «Ампире».

VI

Но вдруг произошел крах.

Погубил же Чичикова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрев, а прикончила Коробочка. Без всякого желания сделать ему пакость, а просто в пьяном виде, Ноздрев разболтал на бегах и про деревянные опилки, и о том, что Чичиков снял в аренду несуществующее предприятие, и все это заключил словами, что Чичиков жулик и что он бы его расстрелял.

Задумалась публика, и как искра побежала крылатая молва.

А тут еще дура Коробочка вперлась в учреждение расспрашивать, когда ей можно будет в Манеже булочную открыть. Тщетно уверяли ее, что Манеж казенное здание и что ни купить его, ни что-нибудь открывать в нем нельзя,— глупая баба ничего не понимала.

А слухи о Чичикове становились все хуже и хуже. Начали недоумевать, что такое за птица этот Чичиков и откуда он взялся. Появились сплетни, одна другой зловещее, одна другой чудовищней. Беспокойство вселилось в сердца. Зазвенели телефоны, начались совещания... Комиссия построения в комиссию наблюдения, комиссия наблюдения в жилотдел, жилотдел в Наркомздрав, Наркомздрав в Главкустпром, Главкустпром в Наркомпрос, Наркомпрос в Пролеткульт и т. д.

Кинулись к Ноздреву. Это, конечно, было глупо. Все знали, что Ноздрев лгун, что Ноздреву нельзя верить ни в одном слове. Но Ноздрева призвали, и он ответил по всем пунктам.

Объявил, что Чичиков действительно взял в аренду несуществующее предприятие и что он, Ноздрев, не видит причины, почему бы не взять, ежели все берут? На вопрос: уж не белогвардейский ли шпион Чичиков, ответил, что шпион и что его недавно хотели даже расстрелять, но почему-то не расстреляли. На вопрос: не делатель ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что делатель, и даже рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова: как, узнавши, что правительство хочет выпускать новые знаки, Чичиков снял квартиру в Марьиной роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на 18 миллиардов, и при этом на два дня раньше, чем вышли настоящие, а когда туда нагрянули и опечатали квартиру, Чичиков в одну ночь перемешал фальшивые знаки с настоящими, так что потом сам черт не мог разобраться, какие знаки фальшивые, а какие настоящие. На вопрос: точно ли Чичиков обменял свои миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за границу, Ноздрев ответил, что это правда и что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, а если бы не он, ничего бы и не вышло.

После рассказов Ноздрева полнейшее уныние овладело всеми. Видят, никакой возможности узнать, что такое Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не нашелся среди всей компании один. Правда,

Гоголя он тоже, как и все, в руки не брал, но обладал маленькой дозой здравого смысла.

Он и воскликнул:

— А знаете, кто такой Чичиков?

И когда все хором грянули:

— Кто?!.

Он произнес гробовым голосом:

— Мошенник.

VII

Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету. Нету. По входящему. Нету. В шкапу — нету. К регистраторше.

— Откуда я знаю? У Иван Григорьича.

К Иван Григорьичу:

— Где?

— Не мое дело. Спросите у секретаря, и т. д., и т. д.

И вдруг неожиданно в корзине для ненужных бумаг — она.

Стали читать — и обомлели.

Имя? Павел. Отчество? Иванович. Фамилия? Чичиков. Звание? Гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мертвых душ. Отношение к воинской повинности? Ни то, ни се, ни черт знает что. К какой партии принадлежит? Сочувствующий (а кому — неизвестно). Был ли под судом? Волнистый зигзаг. Адрес? Поворотя во двор, в третьем этаже направо, спросить в справочном бюро штаб-офицершу Подточину, а та знает.

Собственноручная подпись? Обмакни!!

Прочитали и окаменели.

Крикнули инструктора Бобчинского:

— Катись на Тверской бульвар в арендуемое им предприятие и во двор, где его товары, может, там что откроется!

Возвращается Бобчинский. Глаза круглые.

— Чрезвычайное происшествие!

— Ну!!

— Никакого предприятия там нету. Это он адрес памятника Пушкину указал. И запасы не его, а АРА.

Тут все взвыли:

— Святители угодники! Вот так гусь! А мы ему миллиарды!! Выходит, теперича ловить его надо!

И стали ловить.

VIII

Пальцем в кнопку ткнули:

— Кульера.

Отворилась дверь, и предстал Петрушка. Он от Чичикова уже давно отошел и поступил курьером в учреждение.

— Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь.

Петрушка сказал:

— Слушаю-с.

Немедленно взял пакет, немедленно отправился и немедленно его потерял.

Позвонили Селифану в гараж:

— Машину. Срочно.

— Чичас.

Селифан встрепенулся, закрыл мотор теплыми штанами, натянул на себя куртку, вскочил на сиденье, засвистел, загудел и полетел.

Какой же русский не любит быстрой езды?!

Любил ее и Селифан, и поэтому при самом въезде на Лубянку пришлось ему выбирать между трамваем и зеркальным окном магазина. Селифан в течение одной терции времени избрал второе, от трамвая увернулся и как вихрь с воплем: «Спасите!» въехал в магазин через окно.

Тут даже у Тентетникова, который заведовал всеми Селифанами и Петрушками, лопнуло терпение:

— Уволить обоих, к свиньям!

Уволили. Послали на биржу труда. Оттуда командировали: на место Петрушки — плюшкинского Прошку, на место Селифана — Григория Доезжай-не-Доедешь. А дело тем временем кипело дальше!

— Авансовую ведомость!

— Извольте.

— Попросить сюда Неуважая-Корыто.

Оказалось, попросить невозможно. Неуважая месяца два тому вычистили из партии, а уже из Москвы он и сам вычистился сейчас же после этого, так как делать ему в ней было больше решительно нечего.

— Кувшинное Рыло?

Уехал куда-то на куличку инструктировать губотдел.

Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого! Есть, правда, машинистка Елизавета, но не Воробей. Есть помощник заместителя младшего делопроизводителя замзавподотдел Воробей, но он не Елизавета!

Прицепились к машинистке:

— Вы?!

— Ничего подобного! Почему это я? Здесь Елизаветъ с твердым знаком, а разве я с твердым? Совсем наоборот...

И в слезы. Оставили в покое.

А тем временем, пока возились с Воробьем, правозаступник Самосвистов дал знать Чичикову стороной, что по делу началась возня, и, понятное дело, Чичикова и след простыл.

И напрасно гоняли машину по адресу: поворотя направо, никакого, конечно, справочного бюро не оказалось, а была там заброшенная и разрушенная столовая общественного питания. И вышла к приехавшим уборщица Фетинья и сказала, что никого нетути.

Рядом, правда, поворотя налево, нашли справочное бюро, но сидела там не штаб-офицерша, а какая-то Подстега Сидоровна и, само собой разумеется, не знала не только чичиковского адреса, но даже и своего собственного.

IX

Тогда напало на всех отчаяние. Дело запуталось до того, что и черт бы в нем никакого вкусу не отыскал. Несуществующая аренда перемешалась с опилками, брабантские кружева с электрификацией, Коробочкина покупка с бриллиантами. Влип в дело Ноздрев, оказались замешанными и сочувствующий Ротозей Емельян, и беспартийный Вор Антошка, открылась какая-то панама с пайками Собакевича. И пошла писать губерния!

Самосвистов работал не покладая рук и впутал в общую кашу и путешествия по сундукам, и дело о подложных счетах за разъезды (по одному ему оказалось замешано до 50 000 лиц), и проч., и проч. Словом, началось черт знает что. И те, у кого миллиарды из-под носа выписали, и те, кто их должны были отыскать, метались в ужасе, и перед глазами был только один непреложный факт:

Миллиарды были и исчезли.

Наконец встал какой-то Дядя Митяй и сказал:

— Вот что, братцы... Видно, не миновать нам следственную комиссию назначить.

X

И вот тут (чего во сне не увидишь!) вынырнул, как некий бог на машине, я и сказал:

— Поручите мне.

Изумились:

— А вы... того... сумеете?

А я:

— Будьте покойны.

Поколебались. Потом красным чернилом:

«Поручить».

Тут я и начал (в жизнь не видел приятнее сна!).

Полетели со всех сторон ко мне 35 тысяч мотоциклистов:

— Не угодно ли чего?

А я им:

— Ничего не угодно. Не отрывайтесь от ваших дел. Я сам справлюсь. Единолично.

Набрал воздуху и гаркнул так, что дрогнули стекла:

— Подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина! Срочно! По телефону подать!

— Так что подать невозможно... Телефон сломался.

— А-а! Сломался! Провод оборвался? Так чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает!!

Батюшки! Что тут началось!

— Помилуйте-с... что вы-с... Сию... хе-хе... минутку... Эй! Мастеров! Проволоки! Сейчас починят!

В два счета починили и подали.

И я рванул дальше:

— Тяпкин? М-мерзавец! Ляпкин? Взять его, прохвоста! Подать мне списки! Что? Не готовы? Приготовить в пять минут, или вы сами очутитесь в списках покойников! Э-э-то кто?! Жена Манилова — регистраторша? В шею! Улинька Бетрищева — машинистка? В шею! Собакевич? Взять его! У вас служит негодяй Мурзофейкин? Шулер Утешительный? Взять!! И того, кто их назначил, — тоже. Схватить его! И его! И этого! И того! Фетинью вон! Поэта Тряпичкина, Селифана и Петрушку в учетное

отделение! Ноздрева в подвал... В минуту! В секунду!! Кто подписал ведомость? Подать его, каналью!! Со дна моря достать!!

Гром пошел по пеклу...

— Вот черт налетел! И откуда такого достали?!

А я:

— Чичикова мне сюда!!

— Н...н...невозможно сыскать. Они скрымшись...

— Ах, скрымшись? Чудесно! Так вы сядете на его место.

— Помил...

— Молчать!!

— Сию минуточку... Сию... Повремените секундочку. Ищут-с.

И через два мгновения нашли!

И напрасно Чичиков валялся у меня в ногах и рвал на себе волосы и френч и уверял, что у него нетрудоспособная мать.

— Мать?! — гремел я,— мать?.. Где миллиарды? Где народные деньги?! Вор!! Взрезать его, мерзавца! У него бриллианты в животе!

Вскрыли его. Тут они.

— Все?

— Все-с.

— Камень на шею и в прорубь!

И стало тихо и чисто.

И я по телефону:

— Чисто.

А мне в ответ:

— Спасибо. Просите чего хотите.

Так я и взметнулся около телефона. И чуть было не выложил в трубку все сметные предположения, которые давно уже терзали меня:

«Брюки... фунт сахару... лампу в 25 свечей...»

Но вдруг вспомнил, что порядочный литератор должен быть бескорыстен, увял и пробормотал в трубку:

— Ничего, кроме сочинений Гоголя в переплете, каковые сочинения мной недавно проданы на толчке.

И... бац! У меня на столе золотообрезный Гоголь!

Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые бессонные ночи, до того, что рявкнул:

— Ура!

И...

ЭПИЛОГ

...конечно, проснулся. И ничего: ни Чичикова, ни Ноздрева и, главное, ни Гоголя...

«Э-хе-хе»,—подумал я себе и стал одеваться, и вновь пошла передо мной по-будничному щеголять жизнь.

№ 13.—ДОМ ЭЛЬПИТ-РАБКОММУНА

Рассказ

Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась ста семьюдесятью окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече все лето гляделась томно в кругло-бездонное зеркало. Зимой же снежный венец ложился на взбитые каменные волосы. На гигантском гладком полукруге у подъездов ежевечерно клокотали и содрогались машины, на кончиках оглоблей лихачей сияли фонарики-сударики. Ах, до чего был известный дом. Шикарный дом Эльпит...

Однажды, например, в десять вечера стосильная машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили из земли и метнулись в тень, а один прошмыгнул в черные ворота, а там по скользким ступеням в дворницкий подвал. Открылась дверца лакированной каретки, и, закутанный в шубу, высадился дорогой гость.

В квартире № 3 генерала от кавалерии Де-Баррейн он до трех гостил.

До трех, припав к подножию серой кариатиды, истомленный волчьей жизнью, бодрствовал шпион. Другой до трех на полутемном марше лестницы курил, слушая приглушенный коврами то звон Венгерской рапсодии, capriccioso,—то цыганские буйные взрывы:

Сегодня пьем! Завтра пьем!
Пьем мы всю неде-е-лю—эх!
Раз... еще раз...

До трех сидел третий на ситцево-лоскутной дряни в конуре старшего дворника. И конусы резкого белого света до трех горели на полукруге. И из этажа в этаж по невидимому телефону бежал шепчущий горделивый слух:

Распутин здесь. Распутин. Смуглый обладатель сейфа, торговец живым товаром, Борис Самойлович Христи, гениальнейший из всех московских управляющих, после ночи у Де-Баррейн стал как будто еще загадочнее, еще надменнее.

Искры стальной гордости появились у него в черных глазах, и на квартиры жестоко набавили.

А в № 2 Христи, да что Христи... Сам Эльпит снимал, в бурю ли, в снег ли, каракулевую шапку, сталкиваясь с выходящей из зеркальной каретки женщиной в шиншиллях. И улыбался. Счета женщины гасил человек столь вознесенный, что у него не было фамилии. Подписывался именем с хитрым росчерком... Да что говорить. Был дом... Большие люди — большая жизнь.

В зимние вечера, когда бес, прикинувшись вьюгой, кувыркался и выл под железными желобами крыш, проворные дворники гнали перед собой щитами сугробы, до асфальта расчищали двор. Четыре лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы... В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов... Ковры... В кабинетах беззвучно торжественно. Массивные кожаные кресла. И до самых верхних площадок жили крупные массивные люди. Директор банка, умница, государственный человек с лицом Сен-Бри из «Гугенотов», лишь чуть испорченным какими-то странноватыми, не то больными, не то уголовными, глазами, фабрикант (афинские ночи со съемками при магнии), золотистые выкормленные женщины, всемирный феноменальный бас — солист, еще генерал, еще... И мелочь: присяжные поверенные в визитках, доктора по абортам...

Большое было время...

И ничего не стало. Sic transit gloria mundi![1]

Страшно жить, когда падают царства. И самая память стала угасать. Да было ли это, господи?.. Генерал от кавалерии!.. Слово какое!

Да... А вещи остались. Вывезти никому не дали.

Эльпит сам ушел в чем был.

Вот тогда у ворот рядом с фонарем (огненный «№ 13») прилипла белая таблица и странная надпись на

---

[1] Все проходит *(лат.)*.

ней: «Рабкоммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. Пианино умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье. Примусы шипели по-змеиному, и днем и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерне мрак. В нем спотыкались тени с узлом и тоскливо вскрикивали:

— Мань, а Ма-ань! Где ж ты? Черт те возьми!

В квартире 50 в двух комнатах вытопили паркет. Лифты... Да, впрочем, что тут рассказывать...

Но было чудо: Эльпит-Рабкоммуну топили.

Дело в том, что в полуподвальной квартире, в двух комнатах, остался... Христи.

Те три человека, которым досталась львиная доля эльпитовских ковров и которые вывесили на двери Де-Баррейна в бельэтаже лоскуток: «Правление», поняли, что без Христи дом Рабкоммуны не простоит и месяца. Рассыплется. И матово-черного дельца в фуражке с лакированным козырьком оставили за зелеными занавесками в полуподвале. Чудовищное соединение: с одной стороны, шумное, заскорузлое правление, с другой — «смотритель»! Это Христи-то! Но это было прочнейшее в мире соединение. Христи был именно тот человек, который не менее правления желал, чтобы Рабкоммуна стояла бы невредимо мышастой громадой, а не упала бы в прах.

И вот Христи не только не обидели, но положили ему жалованье. Ну, правда, ничтожное. Около $^1/_{10}$ того, что платил ему Эльпит, без всяких признаков жизни сидящий в двух комнатушках на другом конце Москвы.

— Черт с ними, с унитазами, черт с проводами! — страстно говорил Эльпит, сжимая кулаки. — Но лишь бы топить. Сохранить главное. Борис Самойлович, сберегите мне дом, пока все это кончится, и я сумею вас отблагодарить! Что? Верьте мне!

Христи верил, кивал стриженой седеющей головой и уезжал после доклада хмурый и озабоченный. Подъезжая, видел в воротах правление и закрывал глаза от ненависти, бледнел. Но это только миг. А потом улыбался. Он умел терпеть.

А главное — топить. И вот добывали ордера, нефть возили. Трубы нагревались. 12°, 12°! Если там, откуда

получали нефть, что-то заедало, крупно платился Эльпит. У него горели глаза.

— Ну, хорошо... Я заплачу. Дайте обоим и секретарю, Что? Перестать? О, нет, нет! Ни на минуту...

Христи был гениален. В среднем корпусе, в пятом этаже, на квартиру, в которой когда-то студия была, табу наложил.

— Нилушкина Егора туда вселить...

— Нет уж, товарищи, будьте добры. Мне без хозяйственного склада нельзя. Для дома ведь, для вас же.

В сущности, был хлам. Какие-то глупые декорации, арматура. Но... Но были и тридцать бидонов с бензином эльпитовским и еще что-то в свертках, что хранил Христи до лучших дней.

И жила серая Рабкоммуна № 13 под недреманным оком. Правда, в левом крыле то и дело угасал свет... Монтер, начавший пить с января 18-го года, вытертый, как войлок, озверевший монтер, бабам кричал:

— А, чтоб вы издохли! Дверью больше хлопайте у щита! Что я вам, каторжный? Сверхурочные.

И бабы злобно-тоскливо вопили во мраке:

— Мань! А Ма-ань! Где ты?

Опять к монтеру ходили:

— Сво-о-лочь ты! Пяндрыга. Христи пожалуемся.

И от одного имени Христи свет волшебно загорался.

Да-с, Христи был человек.

Мучил он правление до тех пор, пока оно не выделило из своей среды Нилушкина Егора с титулом «санитарный наблюдающий». Нилушкин Егор два раза в неделю обходил все 75 квартир. Грохотал кулаками в запертые двери, а в незапертые входил без церемонии, хоть будь тут голые бабы, пролезал под сырыми подштанниками и кричал сипло и страшно:

— Которые тут гадют, всех в 24 часа!

И с уличенных брал дань.

И вот жили, жили, ан в феврале, в самый мороз, заело вновь с нефтью. И Эльпит ничего не мог сделать. Взятку взяли, но сказали:

— Дадим через неделю.

Христи на докладе у Эльпита промолвил тяжко:

— Ой... Я так устал! Если бы вы знали, Адольф Иосифович, как я устал. Когда же все это кончится?

И тут действительно можно было видеть, что у Христи тоскливые стали замученные глаза. У стального Христи.

Эльпит страстно ответил:

— Борис Самойлович! Вы верите мне? Ну, так вот вам: это последняя зима. И так же легко, как я эту папироску выкурю, я их вышвырну будущим летом, к чертовой матери. Что? Верьте мне. Но только я вас прошу, очень прошу, уж эту неделю вы сами, сами посмотрите. Боже сохрани — печки! Эта вентиляция... Я так боюсь. Но и стекла чтобы не резали. Ведь не сдохнут же они за неделю? Ну, может, шесть дней. Я сам завтра съезжу к Иван Иванычу.

В Рабкоммуне вечером Христи, выдыхая беловатый пар, говорил:

— Ну, что ж... Ну, потерпим. Четыре-пять дней. Но без печек...

И правление соглашалось.

— Конешно. Мыслимо ли? Это не дымоходы. Долго ли до беды.

И Христи сам ходил, сам ходил каждый день, в особенности в пятый этаж. Зорко глядел, чтобы не наставили черных буржуек, не вывели бы труб в отверстия, что предательски приветливо глядели в углах комнат под самым потолком.

И Нилушкин Егор ходил:

— Ежели мне которые... Это вам не дымоходы. В двадцать четыре часа.

На шестой день пытка стала нестерпимой. Бич дома, Пыляева Аннушка, простоволосая кричала в пролет удаляющемуся Нилушкину Егору:

— Сволочи! Зажирели за нашими спинами! Только и знают — самогон лакают. А как обзаботиться топить — их нету! У-у, треклятые души! Да с места не сойти, затоплю седни. Права такого нету, не дозволять! Косой черт! (Это про Христи!) Ему одно: как бы дом не закоптить... Хозяина дожидается, нам все известно!.. По его, рабочий человек хоть издохни!..

И Нилушкин Егор, отступая со ступеньки на ступеньку, растерянно бормотал:

— Ах, зануда баба... Ну и зануда ж!

Но все же оборачивался и гулко отстреливался:

— Я те затоплю! В двадцать четыре...

Сверху:

— Сук-кин сын! Я до Карпова дойду! Что? Морозить рабочего человека!

Не осуждайте. Пытка—мороз. Озвереет всякий ....

....

........В два часа ночи, когда Христи спал, когда Нилушкин спал, когда во всех комнатах под тряпьем и шубами, свернувшись, как собачонки, спали люди, в квартире 50, комн. 5, стало как в раю. За черными окнами была бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал огненный маленький принц, сжигая паркетные квадратики.

— Ах, тяга хороша!—восхищалась Пыляева Аннушка, поглядывая то на чайничек, постукивающий крышкой, то на черное кольцо, уходившее в отверстие,— замечательная тяга! Вот псы, прости господи! Жалко им, что ли? Ну, да ладно. Шито и крыто.

И принц плясал, и искры неслись по черной трубе и улетали в загадочную пасть... А там в черные извивы узкого вентиляционного хода, обитого войлоком... Да на чердак.

....

Первыми блеснули дрожащие факелы Арбатской... Христи одной рукой рвал телефонную трубку с крючка, другой оборвал зеленую занавеску...

— Пречистенскую даешь! Царица небесная! Товарищи!!—Девятьсот тридцать человек проснулись одновременно. Увидели—змеиным дрожанием окровавились стекла. Угодники святители! Во-ой! Двери забили, как пулеметы, вперебой...—Барышня! Ох, барышня!! Один—ох—двадцать два... восемнадцать. 18... Краснопресненскую даешь!..

...Каскадами с пятого этажа по ступеням хлынуло. В пролетах, в лифтах Ниагара до подвала.

— По-мо-ги-те!.. Хамовническую даешь!!.

Эх, молодцы пожарные! Бесстрашные рыцари в золото-кровавых шлемах, в парусине. Развинчивали лестницы, серые шланги поползли, как удавы. В бога! В мать!! Рвали крюками железные листы. Топорами били страшно, как в бою. Свистели струи вправо, влево, в небо. Мать! Мать!! А гром, гром, гром. На двадцатой минуте Городская, с искрами, с огнями, с касками...

Но бензин, голубчики, бензин! Бензин! Пропали головушки горькие, бензин! Рядом с Пыляевой Аннушкой, с комнатой 5. Ударило: раз. Еще: р-раз!

...Еще много, много раз...

А там совсем уже грозно заиграл, да не маленький принц, а огненный король, рапсодию. Да не capprіccio, а страшно — brioso. Сретенская с переулка — да-е-ешь!! Качай, качай! А огонь Сретенской — салют! Ахнуло так, что в левом крыле во мгновение ока ни стекла. В среднем корпусе бездна огненная, а над бездной, как траурные плащи-бабочки, полетели железные листы.

Медные шлемы ударили штурмом на левое крыло, а в среднем бес раздул так, что в 4-м этаже в 49-м номере бабке Павловне, что тянучками торговала, ходу-то и нет! И, взвыв предсмертно, вылетела бабка из окна, сверкнув желтыми голыми ногами. Скорую помощь! 1-22-31!! Кровавую лепешку лечить! Угодники божии! Ванюшка сгорел. Ванюшка!! Где папанька? Ой! Ой! Машинку-то, машинку! Швейную, батюшки! Узлы из окон на асафальт бу-ух! Стой! Не кидай! Товарищи!.. А с пятого этажа, в правом крыле, в узле тарелок одиннадцать штук, фаянс буржуйской бывшей, как чвякнуло! И был Нилушкин Егор, и нет Нилушкина Егора. Вместо Нилушкиной головы месиво, вместо фаянса — черепки в простыне. Товарищи! Ой! Таньку забыли!.. Оцепить с переулка! Осади! Назад! В мать, в бога!

Током ударило одного из бесстрашных рыцарей в подвале. Славной смертью другой погиб в бензиновом ручье, летевшем в яростных легких огнях вниз. Балку оторвало, ударило и третьему перебило позвоночный столб.

С самоваром в одной руке, в другой — тихий белый старичок, Серафим Саровский, в серебряной ризе. В одних рубахах. Визг, визг. В визге топоры гремят, гремят. Осади!!. Потолок! Как саданет, как рухнет с третьего во второй, со второго в первый этаж.

И тут уже ад. Чистый ад. Из среднего хлещет так, что волосы дыбом встают. Стекла последние, самые отдаленные,— бенц! Бенц!

Трубники в дыму давятся, качаются, напором брандспойты из рук рвет. Резерв даешь!! Да что — резерв! Уже к среднему на десять саженей не подходи! Глаза лопнут...

....

В первый раз в жизни Христи плакал. Седеющий, стальной Христи. У сырого ствола в палисаднике в переулке, где было светло, хоть мелкое письмо читай. Шуба свисала с плеча, и голая грудь была видна у Христи. Да не было холодно. И стало у Христи такое лицо, словно он сам горел в огне, но был нем и ничего не мог выкрикнуть. Все смотрел, не отрываясь, туда, где сквозь метавшиеся черные тени виднелись пламеневшие неподвижные лица кариатид. Слезы медленно сползали по синеватым щекам. Он не смахивал их и все смотрел да смотрел.

Раз только он мотнул головой, когда Эльпит тронул за плечо и сказал хрипло:

— Ну, что уж больше... Едем, Борис Самойлович. Простудитесь. Едем.

Но Христи еще раз качнул головой.

— Поезжайте... Я сейчас.

Эльпит утонул среди теней, среди факелов, шлепая по распустившемуся снегу, пробираясь к извозчику. Христи остался, только перевел взгляд на бледневшее небо, на котором колыхался, распластавшись, жаркий оранжевый зверь...

...На зверя смотрела и Пыляева Аннушка. С заглушенными вздохами и стонами бежала она тихими снежными переулками, и лицо у нее от сажи и слез как у ведьмы было.

То шептала чепуху какую-то:

— Засудят... Засудят, головушка горькая...

То всхлипывала.

Уж давно, давно остались позади и вой, и крик, и голые люди, и страшные вспышки на шлемах. Тихо было в переулке, и чуть порошил снежок. Но звериное брюхо все висело на небе. Все дрожало и переливалось. И так исстрадалась, истомилась Пыляева Аннушка от черной мысли «беда», от этого огненного брюха-отсвета, что торжествующе разливалось по небу... так исстрадалась, что пришло к ней тупое успокоение, а главное, в голове в первый раз в жизни просветлело.

Остановившись, чтобы отдышаться, ткнулась она на ступеньку, села. И слезы высохли.

Подперла голову и отчетливо помыслила в первый раз в жизни так: «Люди мы темные. Темные люди. Учить нас надо, дураков...»

Отдышавшись, поднялась, пошла уже медленно, на

зверя не оглядывалась, только все по лицу размазывала сажу, носом шмыгала.

А зверь, как побледнело небо, и сам стал бледнеть, туманиться. Туманился, туманился, съежился, свился черным дымом и совсем исчез.

И на небе не осталось никакого знака, что сгорел знаменитый № 13 — дом Эльпит-Рабкоммуна.

СТОЛИЦА В БЛОКНОТЕ

I

БОГ РЕМОНТ

Каждый бог на свой фасон. Меркурий, например, с крылышками на ногах. Он — нэпман и жулик. А мой любимый бог — бог Ремонт, вселившийся в Москву в 1922 году, в переднике, вымазан известкой, от него пахнет махоркой. Он и меня зацепил своей кистью, и до сих пор я храню след божественного прикосновения на своем осеннем пальто, в котором я хожу и зимой. Почему? Ах да, за границей, вероятно, неизвестно, что в Москве существует целый класс, считающий модным ходить зимой в осеннем. К этому классу принадлежит так называемая мыслящая интеллигенция и интеллигенция будущая: рабфаки и проч. Эти последние, впрочем, даже и не в пальто, а в каких-то кургузых куртках. Холодно?..

Вздор. Очень легко можно привыкнуть.

Итак, это было золотой осенью, когда мы с приятелем моим — спецом выходили из гостиницы. Там зверски орудовал прекрасный бог. Стояли козлы, со стен бежали белые ручьи, вкусно пахло масляной краской.

Тут-то он меня и мазнул.

Спец жадно вдохнул запах краски и гордо сказал:

— Не угодно ли. Погодите, еще годик — не узнаете Москвы. Теперь «мы» (ударение на этом слове) покажем, на что мы способны!

К сожалению, ничего особенного спец показать не успел, так как через неделю после этого стал очередной жертвой «большевистского террора». Именно: его посадили в Бутырки.

За что совершенно неизвестно.

Жена его говорит по этому поводу что-то невнятное:

— Это безобразие! Ведь расписки нет? Нет? Пусть покажут расписку. Сидоров (или Иванов, не помню) — подлец! Говорит — двадцать миллиардов. Во-первых, пятнадцать!

Расписки действительно нету (не идиот же спец, в самом деле!), поэтому спеца скоро выпустят. Но тогда уж он действительно покажет. Набравшись сил в Бутырках.

Но спеца нет, бог Ремонт остался. Может быть, потому, что, сколько бы спецов ни сажали, остается все же неимоверное количество (точная моя статистика: в Москве — 1 000 000, не ме-не-е!), или потому, что можно обойтись и без спецов, но бог неугомонный, прекрасный — штукатур, маляр и каменщик — орудует. И даже теперь он не затих, хоть уже зима и валит мягкий снег.

На Лубянке, на углу Мясницкой было бог знает что: какая-то выгрызенная плешь, покрытая битым кирпичом и осколками бутылок. А теперь, правда, одноэтажное, но все же здание! З-д-а-н-и-е! Цельные стекла. Все как полагается. За стеклами, правда, ничего еще нет, но снаружи уже красуется надпись золотыми буквами: «Трикотаж».

Вообще на глазах происходят чудеса. Зияющие двери в нижних этажах вдруг застекляются. День... два, и за стеклами загораются лампы, и... или материи каскадами, или же красуется под зеленым абажуром какая-то голова, склонившаяся над бумагами. Не знаю, почему и какая голова, но что он делает, могу сказать, не заглядывая внутрь:

— Составляет ведомость на сверхурочные.

И откровенно скажу: материи — хорошо, а голова — это не нужно. Пишут, пишут... Но с этим, видно, ничего не поделаешь.

Я верю: материи и посуда, зонтики и калоши вытеснят в конце концов плешивые чиновничьи головы начисто. Пейзаж московский станет восхитительным. На мой вкус.

Я с чувством наслаждения прохожу теперь пассажи. Петровка и Кузнецкий в сумерки горят огнями. И буйные гаммы красок за стеклами — улыбаются лики игрушек кустарей.

Лифты пошли! Сам видел сегодня. Имею я право верить своим глазам?

Этот сезон подновляли, штукатурили, подклеивали. На будущий сезон, я верю, будут строить. Осенью, глядя на сверкающие адским пламенем котлы с асфальтом на улицах, я вздрагивал от радостного предчувствия. Будут строить, несмотря ни на что. Быть может, это фантазия правоверного москвича... А по-моему, воля ваша, вижу — Ренессанс.

Московская эпиталама:

Пою тебе, о бог Ремонта!

II

ГНИЛАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Расстался я с ним в июне месяце. Он пришел тогда ко мне, свернул махорочную козью ногу и сказал мрачно:

— Ну, вот и кончил университет.

— Поздравляю вас, доктор,— с чувством ответил я.

Перспективы у новоиспеченного доктора вырисовывались в таком виде: в здравотделе сказали: «Вы свободны», в общежитии студентов-медиков сказали: «Ну, теперь вы кончили, так выезжайте», в клиниках, больницах и т. под. учреждениях сказали: «Сокращение штатов».

Получался, в общем, полнейший мрак.

После этого он исчез и утонул в московской бездне.

— Значит, погиб,— спокойно констатировал я, занятый своими личными делами (т. наз. «борьба за существование»).

Я доборолся до самого ноября и собирался бороться дальше, как он появился неожиданно.

На плечах еще висела вытертая дрянь (бывшее студенческое пальто), но из-под нее выглядывали новенькие брюки.

По одной складке, аристократически заглаженной, я безошибочно определил: куплены на Сухаревке за 75 миллионов.

Он вынул футляр от шприца и угостил меня «Ирой» рассыпной».

Раздавленный изумлением, я ждал объяснений. Они последовали немедленно:

— Грузчиком работаю в артели. Знаешь, симпатичная такая артель — 6 студентов 5-го курса и я...

— Что же вы грузите?!

— Мебель в магазины. У нас уж и постоянные давальцы есть.

— Сколько ж ты зарабатываешь?

— Да вот за предыдущую неделю 275 лимончиков.

Я мгновенно сделал перемножение: 275×4=1 миллиард сто! В месяц.

— А медицина?!

— А медицина сама собой. Грузим мы раз-два в неделю. Остальное время я в клинике, рентгеном занимаюсь.

— А комната?

Он хихикнул.

— И комната есть... Оригинально, так, знаешь, вышло... Перевозили мы мебель в квартиру одной артистки. Она меня и спрашивает с удивлением: «А вы, позвольте узнать, кто на самом деле? У вас лицо такое интеллигентное. Я, говорю, доктор. Если б ты видел, что с ней сделалось! Чаем напоила, расспрашивала. А где вы, говорит, живете? А я говорю, нигде не живу. Такое участие приняла, дай ей бог здоровья. Через нее я и комнату получил, у ее знакомых. Только условие: чтобы я не женился!

— Это что ж, артистка условие такое поставила?

— Зачем артистка... Хозяева. Одному, говорят, сдадим, двоим ни в коем случае.

Очарованный сказочными успехами моего приятеля, я сказал после раздумья:

— Вот писали все: гнилая интеллигенция, гнилая... Ведь, пожалуй, она уже умерла. После революции народилась новая, железная интеллигенция. Она и мебель может грузить, и дрова колоть, и рентгеном заниматься.

— Я верю,— продолжал я, впадая в лирический тон,— она не пропадет! Выживет!

Он подтвердил, распространяя удушливые клубы «Иры-рассыпной»:

— Зачем пропадать. Пропадать мы не согласны.

III

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ МАЛЬЧИК

Вчера утром на Тверской я видел мальчика. За ним шла, раскрыв рты, группа ошеломленных граждан мужского и женского пола и тянулась вереница пустых извозчиков, как за покойником.

Со встречного трамвая № 6 свешивались пассажиры и указывали на мальчика пальцами. Утверждать не стану, но мне показалось, что торговка яблоками у дома № 73 зарыдала от счастья, а зазевавшийся шофер срезал угол и чуть не угодил в участок.

Лишь протерев глаза, я понял, в чем дело.

У мальчика на животе не было лотка с сахариновым ирисом, и мальчик не выл диким голосом:

— «Посольские»! «Ява»!! «Мурсал»!!! Газетатачкапрокатываетвсех!..

Мальчик не вырывал из рук у другого мальчика скомканных лимонов и не лягал его ногами. У мальчика не было во рту папиросы... Мальчик не ругался скверными словами.

Мальчик не входил в трамвай в живописных лохмотьях и, фальшиво бегая по сытым лицам спекулянтов, не гнусил:

— Пода-айте... Христа ради...

Нет, граждане. Этот единственный, впервые встретившийся мне мальчик шел, степенно покачиваясь и не спеша, в прекрасной уютной шапке с наушниками, и на лице у него были написаны все добродетели, какие только могут быть у мальчика 11—12 лет.

Нет, не мальчик это был. Это был чистой воды херувим в теплых перчатках и валенках. И на спине у херувима был р-а-н-е-ц, из которого торчал уголок измызганного задачника.

Мальчик шел в школу I-й ступени у-ч-и-т-ь-с-я.

Довольно. Точка.

IV

ТРИЛЛИОНЕР

Отправился я к знакомым нэпманам. Надоело мне бывать у писателей. Богема хороша только у Мюрже — красное вино, барышни... Московская же литературная богема угнетает.

Придешь, и — или попросят сесть на ящик, а в ящике — ржавые гвозди, или чаю нет, или чай есть, но сахару нет, или в соседней комнате хозяйка квартиры варит самогон и туда шмыгают какие-то люди с распухшими лицами, и сидишь как на иголках, потому что боишься, что придут — распухших арестовывать и тебя

захватят или (хуже всего) молодые поэты начнут свои стихи читать. Один, потом другой, потом третий... Словом — нестерпимая обстановка.

У нэпманов оказалось до чрезвычайности хорошо. Чай, лимон, печенье, горничная, всюду пахнет духами, серебряные ложки (примечание для испуганного иностранца: платоническое удовольствие), на пианино дочь играет «Молитву девы», диван, «не хотите ли со сливками», никто стихов не читает, и т. д.

Единственное неудобство: в зеркальных отражениях маленькая дырка на твоих штанах превращается в дырищу величиной с чайное блюдечко и приходится прикрывать ее ладонью, а чай мешать левой рукой. А хозяйка, очаровательно улыбаясь, говорит:

— Вы очень милый и интересный, но почему вы не купите себе новые брюки? А заодно и шапку...

После этого «заодно» я подавился чаем, и золотушная «Молитва девы» показалась мне данс-макабром[1].

Но прозвучал звонок и спас меня.

Вошел некто, перед которым все побледнело и даже серебряные ложки съежились и сделались похожими на подержанное фраже.

На пальце у вошедшего сидело что-то напоминающее крест на храме Христа Спасителя на закате.

— Каратов девяносто... Не иначе как он его с короны снял, шепнул мне мой сосед — поэт, человек, воспевавший в стихах драгоценные камни, но, по своей жестокой бедности, не имеющий понятия о том, что такое карат.

По камню, от которого сыпались во все стороны разноцветные лучи, по тому, как на плечах у толстой жены вошедшего сидел рыжий палантин, по тому, как у вошедшего юрко бегали глаза, я догадался, что передо мной всем нэпманам — нэпман, да еще, вероятно, из треста.

Хозяйка вспыхнула, заулыбалась золотыми коронками, кинулась навстречу, что-то восклицая, и прервалась «Молитва девы» на самом интересном месте.

Затем началось оживленное чаепитие, причем нэпман был в центре внимания.

Я почему-то обиделся (ну что ж из того, что он нэпман? Я разве не человек?) и решил завязать разговор. И завязал его удачно.

---

[1] пляской смерти (от *фр.* danse macabre).

— Сколько вы получаете жалования?—спросил я у обладателя сокровища.

Тут же с двух сторон под столом мне наступили на ноги. На правой ноге я ощутил сапог поэта (кривой стоптанный каблук), на левой—ногу хозяйки (французский острый каблук).

Но богач не обиделся. Напротив, мой вопрос ему польстил почему-то.

Он остановил на мне глаза на секунду, причем тут только я разглядел, что они похожи на две десятки одесской работы.

— М... м... как вам сказать... Э... пустяки. Два, три миллиарда,—ответил он, посылая мне с пальца снопы света.

— А сколько стоит ваше бри...—начал я и взвизгнул от боли...

— ...бритье?!—выкрикнул я, не помня себя, вместо «бриллиантовое кольцо».

— Бритье стоит 20 лимонов,—изумленно ответил нэпман, а хозяйка сделала ему глазами: «Не обращайте внимания. Он идиот».

И мгновенно меня сняли с репертуара. Защебетала хозяйка, но благодаря моему блестящему почину разговор так и увяз в лимонном болоте.

Во-первых, поэт всплеснул руками и простонал:

— 20 лимонов! Ай, яй, яй! (Он брился последний раз в июне.)

Во-вторых, сама хозяйка ляпнула что-то несуразно-малое насчет оборотов в тресте.

Нэпман понял, что он находится в компании денежных младенцев, и решил поставить нас на место.

— Приходит ко мне в трест неизвестный человек,— начал он, поблескивая черными глазами,—и говорит: возьму у вас товару на 200 миллиардов. Плачу векселями. Позвольте,—отвечаю я,—вы—лицо частное... э... какая же гарантия, что ваши уважаемые векселя... А, пожалуйста,—отвечает тот. И вынул книжку своего текущего счета. И как вы думаете,—нэпман победоносно обвел глазами сидящих за столом,—сколько у него оказалось на текущем счету?

— 300 миллиардов?—крикнул поэт (этот проклятый санкюлот не держал в руках больше 50 лимонов).

— 800,—сказала хозяйка.

— 940,—робко пискнул я, убрав ноги под стол.

Нэпман артистически выдержал паузу и сказал:

— Тридцать три триллиона.

Тут я упал в обморок и, что было дальше, не знаю.

Примечание для иностранцев: триллионом в московских трестах называют тысячу миллиардов. 33 триллиона пишут так:

33 000 000 000 000.

V

ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ

Опера Зимина. «Гугеноты». Совершенно такие же, как «Гугеноты» 1893 г., «Гугеноты» 1903 г., 1913, наконец, и 1923 г.!

Как раз с 1913 г. я и не видел этих «Гугенотов». Первое впечатление — ошалеваешь. Две витых зеленых колонны и бесконечное количество голубоватых ляжек в трико. Затем тенор начинает петь такое, что сразу мучительно хочется в буфет и:

— Гражданин услужающий, пива! («Человеков» в Москве еще нет.)

В ушах ляпает громовое «пиф-паф!!» Марселя, а в мозгу вопрос: «Должно быть, это действительно прекрасно, ежели последние бурные годы не вытерли этих гугенотов вон из театра, окрашенного в какие-то жабьи тона».

Куда там вытерли! В партере, в ложах, в ярусах ни клочка места. Взоры сосредоточены на желтых сапогах Марселя. И Марсель, посылая партеру сердитые взгляды, угрожает:

Пощады не ждите,
Она не прид-е-е-т...

Рокочущие низы.

Солисты, посинев под гримом, прорезывают гремящую массу хора и медных. Ползет занавес. Свет. Сразу хочется бутербродов и курить. Первое — невозможно, ибо для того, чтобы есть бутерброды, нужно зарабатывать миллиардов десять в месяц, второе — мыслимо.

У вешалок сквозняк, дымовая завеса. В фойе — шаркание, гул, пахнет дешевыми духами. Зеленейшая тоска после папиросы.

Все по-прежнему, как было пятьсот лет назад. За исключением, пожалуй, костюмов. Пиджачки сомнительные, френчи вытертые.

«Ишь ты,— подумал я, наблюдая,— публика та, да не та...»

И только что подумал, как увидал у входа в партер человека. Он был во фраке! Все, честь честью, было на месте. Ослепительный пластрон, давно заутюженные брюки, лакированные туфли и, наконец, сам фрак!

Он не посрамил бы французской комедии. Первоначально так и подумал: не иностранец ли? От тех всего жди. Но оказался свой.

Гораздо интереснее фрака было лицо его обладателя. Выражение унылой озабоченности портило расплывчатый лик москвича. В глазах его читалось совершенно явственно: «Да-с, фрак. Выкуси. Никто не имеет мне права слово сказать. Декрета насчет фраков нету».

И действительно, никто фрачника не трогал, и даже особенно острого любопытства он не возбуждал. И стоял он незыблемо, как скала, омываемая пиджачным и френчным потоком.

Фрак этот до того меня заинтриговал, что я даже оперы не дослушал.

В голове моей вопрос:

«Что должен означать фрак? Музейная ли это редкость в Москве среди френчей 1923 г., или фрачник представляет собой некий живой сигнал:

— Выкуси. Через полгода все оденемся во фраки».

Вы думаете, что, может быть, это праздный вопрос? Не скажите...

VI

БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ГЛАВА

...Зови меня вандалом
Я это имя заслужил.

Признаюсь, прежде чем написать эти строки, я долго колебался. Боялся. Потом решил рискнуть.

После того, как я убедился, что «Гугеноты» и «Риголетто» перестали меня развлекать, я резко кинулся на левый фронт. Причиной этого был И. Эренбург, написав-

ший книгу «А все-таки она вертится», и двое длинноволосых московских футуристов, которые, появляясь ко мне ежедневно в течение недели, за вечерним чаем ругали меня «мещанином».

Неприятно, когда это слово тычут в глаза, и я пошел, будь они прокляты! Пошел в театр Гитис на «Великодушного рогоносца» в постановке Мейерхольда.

Дело вот в чем: я — человек рабочий, каждый миллион дается мне путем ночных бессонниц и дневной зверской беготни. Мои денежки как раз те самые, что носят название кровных. Театр для меня — наслаждение, покой, развлечение, словом, все что угодно, кроме средства нажить новую хорошую неврастению, тем более что в Москве есть десятки возможностей нажить ее без затраты на театральные билеты.

Я не И. Эренбург и не театральный мудрый критик, но судите сами: в общипанном, ободранном, сквозняковом театре вместо сцены — дыра (занавеса, конечно, нету и следа). В глубине — голая кирпичная стена с двумя гробовыми окнами.

А перед стеной сооружение. По сравнению с ним проект Татлина может считаться образцом ясности и простоты. Какие-то клетки, наклонные плоскости, палки, дверки и колеса. И на колесах буквы кверху ногами «сч» и «те». Театральные плотники, как дома, ходят взад и вперед, и долго нельзя понять: началось уже действие или еще нет.

Когда же оно начинается (узнаешь об этом потому, что все-таки вспыхивает откуда-то сбоку свет на сцене), появляются синие люди (актеры и актрисы все в синем. Театральные критики называют это прозодеждой. Послал бы я их на завод, денька хоть на два! Узнали бы они, что такое прозодежда!).

Действие: женщина, подобрав синюю юбку, съезжает с наклонной плоскости на том, на чем женщины и мужчины сидят. Женщина мужчине чистит зад платяной щеткой. Женщина на плечах у мужчины ездит, прикрывая стыдливо ноги прозодеждной юбкой.

— Это биомеханика,— пояснил мне приятель. Биомеханика!! Беспомощность этих синих биомехаников, в свое время учившихся произносить слащавые монологи, вне конкуренции. И это, заметьте, в двух шагах от Никитинского цирка, где клоун Лазаренко ошеломляет чудовищными salto!

Кого-то вертящейся дверью колотят уныло и настойчиво опять по тому же самому месту. В зале настроение как на кладбище, у могилы любимой жены. Колеса вертятся и скрипят.

После первого акта капельдинер:

— Не понравилось у нас, господин?

Улыбка настолько нагла, что мучительно хотелось биомахнуть его по уху.

— Вы опоздали родиться,— сказал мне футурист.

Нет, это Мейерхольд поспешил родиться.

— Мейерхольд — гений!! — завывал футурист. Не спорю. Очень возможно. Пускай — гений. Мне все равно. Но не следует забывать, что гений одинок, а я — масса. Я — зритель. Театр для меня. Желаю ходить в понятный театр.

— Искусство будущего!! — налетели на меня с кулаками.

А если будущего, то пускай, пожалуйста, Мейерхольд умрет и воскреснет в XXI веке. От этого выиграют все, и прежде всего он сам. Его поймут. Публика будет довольна его колесами, он сам получит удовлетворение гения, а я буду в могиле, мне не будут сниться деревянные вертушки.

Вообще к черту эту механику. Я устал.

VII

ЯРОН

Спас меня от биомеханической тоски артист оперетки Ярон, и ему с горячей благодарностью посвящаю эти строки. После первого же его падения на колени к графу Люксембургу, стукнувшему его по плечу, я понял, что значит это проклятое слово «биомеханика», и когда оперетка карусельным галопом пошла вокруг Ярона, как вокруг стержня, я понял, что значит настоящая буффонада.

Грим! Жесты! В зале гул и гром! И нельзя не хохотать. Немыслимо. Бескорыстная реклама Ярону, верьте совести: исключительный талант.

VIII

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ КУРЕНИЕ

Из хаоса каким-то образом рождается порядок. Некоторые об этом узнают из газет со значительным опозданием, а некоторые по горькому опыту на месте и в процессе создания этого порядка.

Так, например, нэпман, о котором я расскажу, познакомился с новым порядком в коридоре плацкартного вагона на станции Николаевской железной дороги.

Он был в общем благодушный человек, и единственно что выводило его из себя — это большевики. О большевиках он не мог говорить спокойно. О золотой валюте — спокойно. О сале — спокойно. О театре — спокойно. О большевиках — слюна. Я думаю, что если бы маленькую порцию этой слюны вспрыснуть кролику — кролик издох бы во мгновение ока. 2-х граммов было бы достаточно, чтобы отравить эскадрон Буденного с лошадьми вместе.

Слюны же у нэпмана было много, потому что он курил.

И когда он залез в вагон со своим твердым чемоданом и огляделся, презрительная усмешка исказила его выразительное лицо.

— Гм... подумаешь,— заговорил он... или, вернее, не заговорил, а как-то заскрипел,— свинячили, свинячили четыре года, а теперь вздумали чистоту наводить! К чему, спрашивается, было все это разрушать? И вы думаете, что я верю в то, что у них что-нибудь выйдет? Держи карман. Русский народ — хам. И все им опять заплюет!

И в тоске и в отчаянии швырнул окурок на пол и растоптал. И немедленно (черт его знает, откуда он взялся,— словно из стены вырос) появился некто с квитанционной книжкой в руках и сказал, побивая рекорд лаконичности:

— Тридцать миллионов.

Не берусь описать лицо нэпмана. Я боялся, что его хватит удар.

* * *

Вон она какая история, товарищи берлинцы. А вы говорите «bolscheviki», «bolscheviki»! Люблю порядок.

* * *

Прихожу в театр. Давно не был. И всюду висят плакаты «Курить строго воспрещается». И думаю я, что за чудеса: никто под этими плакатами не курит. Чем это объясняется? Объяснилось это очень просто, так же, как и в вагоне. Лишь только некий с черной бородкой — прочитав плакат — сладко затянулся два раза, как вырос молодой человек симпатичной, но непреклонной наружности и:

— Двадцать миллионов.

Негодованию черной бородки не было предела.

Она не пожелала платить. Я ждал взрыва со стороны симпатичного молодого человека, игравшего благодушно квитанциями. Никакого взрыва не последовало, но за спиной молодого человека, без всякого сигнала с его стороны (большевистские фокусы!), из воздуха соткался милиционер. Положительно, это было гофманское нечто. Милиционер не произнес ни одного слова, не сделал ни одного жеста. Нет! Это было просто воплощение укоризны в серой шинели с револьвером и свистком. Черная бородка заплатила со сверхъестественной гофманской же быстротой.

И лишь тогда ангел-хранитель, у которого вместо крыльев за плечами помещалась небольшая, изящная винтовка, отошел в сторону и «добродушная пролетарская улыбка заиграла на его лице» (так пишут молодые барышни революционные романы).

Случай с черной бородкой так подействовал на мою впечатлительную душу (у меня есть подозрение, что и не только на мою), что теперь, куда бы я ни пришел, прежде чем взяться за портсигар, я тревожно осматриваю стены — нет ли на них какой-нибудь печатной каверзы. И ежели плакат «Строго воспрещается», подманивающий русского человека на курение и плевки, то я ни курить, ни плевать не стану ни за что.

IX

ЗОЛОТОЙ ВЕК

Фридрихштрасской уверенности, что Россия прикончилась, я не разделяю, и даже больше того: по мере того как я наблюдаю московский калейдоскоп, во мне рожда-

ется предчувствие, что «все образуется» и мы еще можем пожить довольно славно.

Однако я далек от мысли, что Золотой век уже наступил. Мне почему-то кажется, что наступит он не ранее, чем порядок, симптомы которого так ясно начали проступать в столь незначительных, казалось бы, явлениях, как все эти некурительные и неплевательные события, пустит окончательные корни.

ГУМ с тысячами огней и гладко выбритыми приказчиками, блестящие швейцары в государственных магазинах на Петровке и Кузнецком, «Верхнее платье снимать обязательно» и т. под.—это великолепные ступени на лестнице, ведущей в рай, но еще не самый рай.

Для меня означенный рай наступит в то самое мгновение, как в Москве исчезнут семечки. Весьма возможно, что я выродок, не понимающий великого значения этого чисто национального продукта, столь же свойственного нам, как табачная жвачка славным американским героям сногсшибательных фильмов, но весьма возможно, что просто-напросто семечки—мерзость, которая угрожает утопить нас в своей слюнявой шелухе.

Боюсь, что мысль моя покажется дикой и непонятной утонченным европейцам, а то я сказал бы, что с момента изгнания семечек для меня непреложной станет вера в электрификацию, поезда (150 километров в час), всеобщую грамотность и прочее, что уже несомненно означает рай.

И маленькая надежда у меня закопошилась в сердце после того, как на Тверской меня чуть не сшибла с ног туча баб и мальчишек с лотками, летевших куда-то с воплями:

— Дунька! Ходу! Он идет!!

«Он» оказался, как я и предполагал, воплощением в сером, но уже не укоризны, а ярости.

Граждане, это священная ярость. Я приветствую ее.

Их надо изгнать—семечки. Их надо изгнать. В противном случае быстроходный электрический поезд мы построим, а Дуньки наплюют шелухи в механизм, и поезд остановится, и все к черту.

X

КРАСНАЯ ПАЛОЧКА

Нет пагубнее заблуждения, как представить себе загадочную великую Москву 1923 года отпечатанной в одну краску.

Это спектр. Световые эффекты в ней поразительны. Контрасты — чудовищны. Дуньки и нищие (о, смерть моя — московские нищие! Родился нэп в лакированных ботинках, немедленно родился и тот страшный в дырах с гнусавым голосом и сел на всех перекрестках, заныл у подъездов, заковылял по переулкам), благой мат ископаемых извозчиков и бесшумное скольжение машин, сияющих лаком, афиши с мировыми именами... а в будке на Страстной площади торгует журналами, временно исполняя обязанности отлучившегося продавца, неграмотная баба!

Клянусь — неграмотная!

Я сам лично подошел к будке. Спросил «Россию», она мне подала «Корабль» (похож шрифт!). Не то. Бабка заметалась в будке. Подала другое. Не то.

— Да что вы, неграмотная?! (Это я иронически спросил.)

Но долой иронию, да здравствует отчаяние! Баба *действительно неграмотная.*

* * *

Москва — котел, — в нем варят новую жизнь. Это очень трудно. Самим приходится вариться. Среди Дунек и неграмотных рождается новый, пронизывающий все углы бытия, организационный скелет.

В отчаянии от бабы с «Кораблем» в руках, в отчаянии от зверских извозчиков, поминающих коллективную нашу мамашу, я кинулся в Столешников переулок и на скрещении его с Большой Дмитровской увидал этих самых извозчиков. На скрещении было, очевидно, какое-то препятствие. Вереница бородачей на козлах была неподвижна. Я был поражен. Почему же не гремит ругань? Почему не вырываются вперед пылкие извозчики?

Боже мой! Препятствие-то, препятствие... Только всего, что в руках у милиционера была красная палочка и он застыл, подняв ее вверх.

Но лица извозчиков! На них было сияние, как на Пасху.

И когда милиционер, пропустив трамвай и два автомобиля, махнул палочкой, прибавив уже несвойственное констэблям и шуцманам ласковое: «Давай!» — извозчики поехали так нежно и аккуратно, словно везли не здоровых москвичей, а тяжелораненых.

* * *

В порядке <...> дайте нам опоры точку, и мы сдвинем шар земной.

ЧАША ЖИЗНИ

(Веселый московский рассказ с печальным концом)

Истинно, как перед богом, скажу вам, гражданин, пропадаю через проклятого Пал Васильича... Соблазнил меня чашей жизни, а сам предал, подлец!..

Так дело было. Сижу я, знаете ли, тихо-мирно дома и калькуляцией занимаюсь. Ну, конечно, это только так говорится — калькуляцией, а на самом деле жалования — 210. Пятьдесят в кармане. Ну и считаешь: 10 дней до первого. Это сколько же? Выходит пятерка в день. Правильно. Можно дотянуть? Можно, ежели с калькуляцией. Превосходно. И вот открывается дверь, и входит Пал Васильич. Я вам доложу: доха на нем — не доха, шапка — не шапка! Вот сволочь, думаю! Лицо красное, и слышу я — портвейном от него пахнет. И ползет за ним какой-то, тоже одет хорошо.

Пал Васильич сейчас же знакомит:

— Познакомьтесь,— говорит,— наш, тоже трестовый.

И как шваркнет шапку эту об стол, и кричит:

— Переутомился я, друзья! Заела меня работа! Хочу я отдохнуть, провести вечер в вашем кругу! Молю я, друзья, давайте будем пить чашу жизни! Едем! Едем!

Ну, деньги у меня какие? Я ж докладываю: пятьдесят. А человек я деликатный, на дурничку не привык. А на пятьдесят-то что сделаешь? Да и последние!

Я и отвечаю:

— Денег у меня...

Он как глянет на меня.

— Свинья ты,— кричит,— обижаешь друга?!

Ну, думаю, раз так... И пошли мы.

И только вышли, начались у нас чудеса! Дворник тротуар скребет. А Пал Васильич подлетел к нему, хвать у него скребок из рук и начал сам скрести.

При этом кричит:

— Я интеллигентный пролетарий! Не гнушаюсь работой!

И прохожему товарищу по калоше — чик! И разрезал ее. Дворник к Пал Васильичу и скребок у него из рук выхватил. А Пал Васильич как заорет:

— Товарищи! Караул! Меня, ответственного работника, избивают!!

Конечно, скандал. Публика собралась. Вижу я — дело плохо. Подхватили мы с трестовым его под руки и в первую дверь. Ан на двери написано: «...и подача вин». Товарищ за нами, калоша в руках.

— Позвольте деньги за калошу.

И что ж вы думаете? Расстегнул Пал Васильич бумажник, и как заглянул я в него — ужаснулся! Одни сотенные. Пачка пальца в четыре толщиной. Боже ты мой, думаю. А Пал Васильич отслюнил две бумажки и презрительно товарищу:

— П-палучите, т-товарищ.

И при этом в нос засмеялся, как актер:

— А-ха-ха.

Тот, конечно, смылся. Калошам-то красная цена сегодня была полтинник. Ну, завтра, думаю, за шестьдесят купит.

Прекрасно. Уселись мы, и пошло. Портвейн московский, знаете? Человек от него не пьянеет, а так, лишается всякого понятия. Помню, раков мы ели и неожиданно оказались на Страстной площади. И на Страстной площади Пал Васильич какую-то даму обнял и троекратно поцеловал: в правую щеку, в левую и опять в правую. Помню, хохотали мы, а дама так осталась в оцепенении. Пушкин стоит, на даму смотрит, а дама на Пушкина.

И тут же налетели с букетами, и Пал Васильич купил букет и растоптал его ногами.

И слышу голос сдавленный из горла:

— Я вас? К-катаю?

Сели мы. Оборачивается к нам и спрашивает:

— Куда, ваше сиятельство, прикажете?

Это Пал Васильич! Сиятельство! Вот сволочь, думаю!

А Пал Васильич доху распахнул и отвечает:

— Куда хочешь!

Тот в момент рулем крутанул, и полетели мы как вихрь. И через пять минут — стоп на Неглинном. И тут этот рожком три раза хрюкнул, как свинья:

— Хрр... Хрю... Хрю.

И что же вы думаете! На это самое «хрю» — лакеи! Выскочили из двери и под руки нас. И метрдотель, как какой-нибудь граф:

— Сто-лик.

Скрипки:

Под знойным небом Аргентины...

И какой-то человек в шапке и в пальто и вся половина в снегу, между столиками танцует. Тут стал уже Пал Васильич не красный, а какой-то пятнистый и грянул:

— Долой портвейны эти! Желаю пить шампанское!

Лакеи врассыпную кинулись, а метрдотель наклонил пробор:

— Могу рекомендовать марку...

И залетали вокруг нас пробки, как бабочки.

Пал Васильич меня обнял и кричит:

— Люблю тебя! Довольно тебе киснуть в твоем Центросоюзе. Устраиваю тебя к нам в трест. У нас теперь сокращение штатов, стало быть, вакансии есть. А в тресте я царь и бог!

А трестовый его приятель гаркнул: «Верно!» — и от восторга бокал об пол и вдребезги.

Что тут с Пал Васильичем сделалось!

— Что,— кричит,— ширину души желаешь показать? Бокальчик разбил — и счастлив? А-ха-ха. Гляди!!

И с этими словами вазу на ножке об пол — раз! А трестовый приятель — бокал! А Пал Васильич — судок! А трестовый — бокал!

Очнулся я, только когда нам счет подали. И тут глянул я сквозь туман — *один миллиард* девятьсот двенадцать миллионов. Да-с.

Помню я, слюнил Пал Васильич бумажки и вдруг вытаскивает пять сотенных и мне:

— Друг! Бери взаймы! Прозябаешь ты в своем Центросоюзе! Бери пятьсот! Поступишь к нам в трест и сам будешь иметь!

Не выдержал я, гражданин. И взял я у этого подлеца пятьсот. Судите сами: ведь все равно пропьет, каналья. Деньги у них в трестах легкие. И вот, верите ли, как взял я эти проклятые пятьсот, так вдруг и сжало мне что-то сердце. И обернулся я машинально и вижу сквозь пелену — сидит в углу какой-то человек и стоит перед ним бутылка сельтерской. И смотрит он в потолок, а мне, знаете ли, почудилось, что смотрит он на меня. Словно, знаете ли, невидимые глаза у него — вторая пара на щеке.

И так мне стало как-то вдруг тошно, выразить вам не могу!

— Гоп, ца, дрица, гоп, ца, ца!!

И кэк воком к двери. А лакеи впереди понеслись и салфетками машут!

И тут пахнуло воздухом мне в лицо. Помню еще, захрюкал опять шофер и будто ехал я стоя. А куда — неизвестно. Начисто память отшибло...

И просыпаюсь я дома! Половина третьего.

И голова — боже ты мой! — поднять не могу! Кой-как припомнил, что это было вчера, и первым долгом за карман — хвать. Тут они — пятьсот! Ну, думаю, — здорово! И хоть голова у меня разваливается, лежу и мечтаю, как это я в тресте буду служить. Отлежался, чаю выпил, и полегчало немного в голове. И рано я вечером заснул.

И вот ночью звонок...

А, думаю, это, вероятно, тетка ко мне из Саратова.

И через дверь, босиком, спрашиваю:

— Тетя, вы?

И из-за двери голос незнакомый:

— Да. Откройте.

Открыл я — и оцепенел...

— Позвольте... — говорю, а голоса нету, — узнать, за что же?..

Ах, подлец!! Что ж оказывается? На допросе у следователя Пал Васильич (его еще утром взяли) и показал:

— А пятьсот из них я передал гражданину такому-то. — Это мне, стало быть!

Хотел было я крикнуть: ничего подобного!!

И, знаете ли, глянул этому, который с портфелем, в глаза... И вспомнил! Батюшки, сельтерская! Он! Глаза-то, что на щеке были, у него во лбу!

Замер я... не помню уж как, вынул пятьсот... Тот хладнокровно другому:

— Приобщите к делу.

И мне:

— Потрудитесь одеться.

Боже мой! Боже мой! И уж как подъезжали мы, вижу я сквозь слезы, лампочка горит над надписью «Комендатура». Тут и осмелился я спросить:

— Что ж такое он, подлец, сделал, что я должен из-за него свободы лишиться?..

А этот сквозь зубы и насмешливо:

— О, пустяки. Да и не касается это вас.

А что не касается! Потом узнаю: его чуть ли не по семи статьям... тут и дача взятки, и взятие, и небрежное хранение, а самое-то главное — растра-та! Вот оно какие пустяки, оказывается! Это он, негодяй, стало быть, последний вечер доживал тогда — чашу жизни пил! Ну-с, коротко говоря, выпустили меня через две недели. Кинулся я к себе в отдел. И чувствовало мое сердце: сидит за моим столом какой-то новый во френче, с пробором.

— Сокращение штатов. И кроме того, что было... Даже странно...

И задом повернулся и к телефону.

Помертвел я... получил ликвидационные... за две недели вперед 105 и вышел.

И вот с тех пор без перерыва хожу... и хожу. И ежели еще неделька так, думаю, что я на себя руки наложу!..

В ШКОЛЕ ГОРОДКА III ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Полдень. Перемена. В гулком пустынном зале звенят голоса.

— Вол-о-о-дя!

Круглоголовый стриженый малый, топая подшитыми валенками, погнался за другим. Нагнал, схватил.

— Сто-ой!

Две девочки, степенно сторонясь, прошли в коридор. Под мышкой ранец, у другой связка истрепанных книжек. Туго заплетены косички, и вздернуты носы. Прошел преподаватель, щурясь сквозь дешевенькие очки. На преподавателе студенческая тужурка, косоворотка, на ногах тоже неизбежные валенки.

— Володька! Володька!

И Володьку к стене спиной — хлоп!

Разъяренный Володька полетел за обидчиком. Засверкали Володькины пятки. Володька маленький, а ноги у Володьки как у слоненка, потому что валенки.

Сверлит в зале звон. Гулкие коридоры. Полдень. Перемена.

В музее тишина, и глухо доносится в светлую комнату Володькин победный вопль.

В музее тишина, и стены глядят бесчисленными цветными рисунками. «И-с-т-о-р-и-я р-е-в-о-л-ю-ц-и-и». Печатными крупными буквами. Ниже рядами ученические рисунки. 9 января 1905 года. Толпой идут рабочие. Вон — цветные баррикады. Забастовка.

Пестреют стены. Заголовки — «Родной язык». Под заголовком на картинке рыжая лисица. Хвост пушистый, а на морде написана хитрость и умиление. Это та самая лисица, что глядела на сыр во рту глупой вороны. Ниже по улицам слонов водили. И слон серо-фиолетового цвета, одинокий, добродушный, идет мимо булочной с деловым видом, а испуганные прохожие разбегаются. Один зевака тащится за тонким слонячьим хвостом.

Известно, что слоны в диковинку у нас. В школе широко принят иллюстративный метод. Слушают ребятишки I-й ступени крыловские басни и рисуют, рисуют, и стены покрываются цветными пятнами, и вырастает живой настоящий музей. Разложены альбомы, полные детских рисунков, иллюстрирующих классное чтение.

Крепостное право. Рисунки, снимки с картин. На противоположной стене — коллекция по естествознанию. Засушенные растения. Эта коллекция — результат экскурсий учеников за Москву.

А вон экскурсии по Москве. Старорусские яркие кафтаны. Цветные мазки. Это ребятишки зарисовывали в Кремле.

По обществоведению читали им курс, и старшие группы дали ряд диаграмм.

Музей полон живым духом. В рисунках — от этих стройных диаграмм до кривых и ярких фигурок людей в праздничных одеждах с изюминками-глазами,— настоящая жизнь. Все это запоминается, останется навсегда. Это не мертвая схоластическая сушь учебы, это настоящее ученье.

* * *

В зале и коридорах стихло после перемены, и в маленьком классе за черными столами двадцать стриженых и с косичками голов.

— Wieviel Bilder sind hier?

— Hier sind drei Bilder. Bilder[1].

Малый шмыгнул носом и опять зачитал:

— Хир зинд дрей...

— Драй,— поправила учительница, и малыш со вздохом согласился:

— Зинд драй...

И посмотрел так, чтобы увидеть одновременно и покрытую кляксами страницу, и того, кто вошел.

Здесь одна из младших групп занимается по-немецки.

А в физическом кабинете, за столами, уставленными приборами, те, что постарше, заняты практическими работами по физике. Стучит метроном, в колбе закипает жидкость, сыплется дробь на весы, и пытливые детские глаза следят за шкалой термометра.

В классе самой старшей группы II-й ступени за старенькими партами подростки решают задачу по физике о грузе, погруженном в воду. Преподаватель, пошлепывая валенками, переходит от парты к парте, наклоняется к тетрадкам, к обкусанным карандашам, близоруко щурится...

* * *

Потом звонок. Опять перемена. Опять вместо тишины высоко взмывающий гул.

Из класса, где шел урок одной из старших групп, выходит преподаватель-математик. Студенческая тужурка. Потертые брюки упрятаны в те же неизбежные валенки.

— Холодно у вас.

— Нет, тепло,— отвечает он, радостно улыбаясь.

— То есть как? Я в шубе, а тем не менее...

— А бывает гораздо холоднее,— поясняет математик.

И действительно, видно, что и ребятишки, и учителя не избалованы теплом. Все они почти в пальто. Но есть и стойкие, привычные люди. И этот человек с лицом

---

[1] — Сколько здесь картин?
— Здесь три картины (*нем.*).

типичного студента бодро часами сидит в школе в одной тужурке, постукивает мелом и рисует на доске груз в 5 килограммов или термометр, на котором полных пятнадцать градусов. Настоящий термометр, однако, показывает меньше. И даже гораздо меньше, судя по тому, что все время является желание засунуть руки в рукава.

* * *

Да, в школе холодно. Школа бедна. Шеф ее, Коминтерн, дал ей немного угля, но вот уголь вышел, и школа выкраивает из своих скудных средств гроши на дрова. И покупает их на частном складе.

Школа бедна. Не только топливом. На всем лежит печать скудости. Кабинет физический беден. Приборов так мало, что сколько-нибудь сложных показательных опытов поставить нельзя. Беден естественный кабинет. Доски, парты в классах — все это старенькое, измызганное, потертое, все это давно нужно на слом.

Живой дух в школе, но при 10° и самый живой начинает ежиться.

* * *

Смотришь на преподавательниц, которые суетятся среди малышей. Смотришь на эти выцветшие вязаные кофточки, на штопаные юбки, подшитые валенки и думаешь: «Чем живет вся эта учительская братия?»

Этот математик, секретарь Совета, получает 150 миллионов в месяц.

— Одеваться не на что,— говорит математик и снисходительно смотрит на свою засаленную университетскую оболочку,— ну, донашиваем старое.

— Можно, конечно, прирабатывать частными уроками,— рассказывает учитель,— но на них не хватает времени. Школа берет его слишком много. Днем занятия, а вечером заседания, комиссии, совещания, разработка учебного плана... Мало ли что...

Что может быть в результате такой жизни?

Бегство бывает. Каждую весну не выдержавшие пачками покидают шатающиеся стулья в классах и идут куда глаза глядят. На конторскую службу. Или стараются попасть в Моно.

При слове «Моно» глаза учителя загораются.

— О, Моно!..—Он сияет.—У Моно ставки в три раза больше...

«150×3=450»,—мысленно перемножаю я.

— Там замечательно...—ликует математик,—школы Моссовета бога-а-тые... А наши...—он машет рукой,—наши...

— Какие ваши?

— Да вот—главсоцвосовские. Все бедные. Трудно. Трудно. Потому и бегут каждую весну. А бегство—школе тяжкая рана. Приходят новые, но преемственность работы теряется, а это очень плохо...

* * *

Опять кончается перемена. Стихает в коридорах. За партами рядами вырастают стриженые головки. Пора уходить.

* * *

О положении учителей писали много раз. И сам я читал и пропускал мимо ушей. Но глянцевитые вытертые локти и стоптанные валенки глядят слишком выразительно. Надо принимать меры к тому, чтобы обеспечить хоть самым необходимым учительские кадры, а то они растают, их съест туберкулез, и некому будет в классах школы городка III-го Интернационала наполнить знанием стриженые головенки советских ребят.

1-АЯ ДЕТСКАЯ КОММУНА

Одна из руководительниц в пальто и калошах стояла в вестибюле и говорила:

— Заведующий поехал на заседание, а Сергей Федорович пошел по воинской повинности, и мне, как назло, сейчас нужно уходить. Такая досада... Как же тут быть? Впрочем, может быть, вам Леша все покажет?..

Дискант с площадки лестницы отозвался:

— Леша чинит замки.

— Позовите Лешу!

— Сейчас!

И вверху дискант закричал:

— Ле-еша!

Послышались откуда-то издали сверху звуки пианино, а в ответ ему птичье пересвистыванье и писк. В вестибюле висел матовый с бронзой фонарь, было тихо и очень тепло, и, если бы не плакат, на котором с одной стороны был мощный корабль, с другой — паровоз, а посредине — «Знание все победит»,— казалось бы, что это вовсе не в коммуне, а дома, как в детстве,— в доме уютном и очень теплом.

Леша пришел через несколько минут. Леша оказался председателем президиума детской коммуны — блондином-подростком в черных штанах и защитной куртке. В руках у него были старенькие замки. За Лешей тотчас вынырнул некто круглоголовый, стриженый и румяный. Из расспросов выяснилось, что это не кто иной, как —

— Кузьмик Евстафий, 13-ти лет.

Кузьмик Евстафий был в серой куртке, коротких, серых же, штанах и по-домашнему совершенно босой.

Леша повел в светлый зал — студию художественного творчества. Тут руководительница ушла, облегченно вздохнув, и на прощание сказала еще раз:

— Они вам все объяснят...

Студия — как музей. На стенах, столах, на подставках нет клочка места, где бы не было детских работ. Высоко на стене надпись:

«Не сознание людей определяет их бытие, но напротив — общественная жизнь определяет их сознание».

Под надписью ряды рисунков, а на широких подставках, сделанные из картона, палок и ваты,— снежные пространства и юрты, северные угрюмые люди в мехах и олени.

— Какая жизнь у них, такой и бог,— говорит Леша. Это верно. При такой жизни хорошего бога не сочинишь, и бог северных некультурных людей — безобразный, с дико-изумленными глазами, неумный, по-видимому, и мрачный, холодный северный бог на стене.

Светает, товарищ,
Работать пора —
Работы усиленной
Требует край.

Под четверостишием — завод имени Бухарина. Он электрифицирован! У картонного корпуса лампа. К ограде идут рабочие. И сразу видно, что они сознательные, потому что у одного из них в руках газета.

Рядом макет: «Как жил рабочий раньше и теперь». В правой половине тьма, сумерки, мрачная печь, голый стол, теснота, нары. В левой — опрятная комната с занавесками, мебель, просторно и чисто.

«Школа прежде и теперь». Прежняя школа под эмблемой: цепь, религиозная книжка, кнут; новая — под серпом и молотом. В старой школе выпиленные из дерева горбатые ученики уткнулись носами в парты и стоит сердитый учитель с палкой. В новой — парт нет. Там телескоп, там станки, рубанки, книги. И розоватый свет льется через огромные окна в новую просторную школу.

— А вот некоторые девочки думают, что с партами лучше, по-прежнему,— говорит Леша.

Школа, фабрика, театр — нет угла жизни, который бы не отразился в рисунках и макетах, сотворенных детскими руками, в этой огромной комнате, где разбегаются глаза. Старшие ребята соорудили макеты к «Вию», младшие нагромоздили маленькие примитивные и наивные макеты с декорациями к пьесам, которые они видели.

Стена полна рисунков карандашом и красками. И сверху гордо красуется надпись «Илюстрация».

— А почему одно «л»?

— А это малыш ошибся.

Под «илюстрацией» все что угодно. В красках: красноармеец продает цветок в день борьбы с туберкулезом. Покупают его два явных буржуя и буржуйка в мехах. Видел малыш такую сцену и нарисовал. «Охота зимой на зайца» — представлена лихим охотником и зайцем, который перевернулся кверху ногами. Другой заяц сам летит на охотника. Рисунки, рисунки... Дальше детские поделки: валенки, перчатки, сумочки, рукоделье.

— Это девочки делали.

В теплом коридоре рядом со студией свистят и перекликаются птицы. Прыгают по жердочкам чижи и воробьи.

И лишь открывается дверь в класс естествознания, рыжая белка с шорохом сбегает со стола, прыгает на Кузьмика Евстафия, цепляясь, заглядывает острой мордочкой в карман.

В светлом классе — все жизнь. Побеги вербы в бутылках с водой заполнили их серебристыми корнями. Белка живет в настоящем дупле в верхнем этаже огромной клетки. В аквариумах плывут красноватые и золотистые рыбки. Двое аксолотлей, похожих на белых маленьких

крокодилов, шевелят красноватыми мохнатыми ожерельями в тазу.

— Они жили в аквариуме, да там на рыбок села болезнь — плесень, вот мы их перевели временно в таз,— объясняет естествовед Кузьмик Евстафий.

По стенам — гербарии, коллекции бабочек, на стойках — минералы.

В библиотеке — ковер, тишина, давно не виданный уют, богатство книг в застекленных шкафах. Две девочки сидят, читают. Лежат газеты на столах. Все звучит и звучит в отдалении пианино, и в зале со сценой занавес, за ним на деревянных подмостках декорации.

И нигде нет взрослых, начинает казаться, что они и не нужны совсем в этой изумительной ребячьей республике — коммуне.

В спальнях ребят внизу чистота поражающая.

На спинках кроватей полотенца. На полу нет соринки.

— Кто убирает у вас?

— Сами. Вон расписание дежурств.

В вестибюле в глубокой нише, в которую скупо льется свет из стеклянной пятиконечной звезды — розового окна,— электротехнический отдел. Мальчуган спускается по ступенькам к нише и начинает возиться с проводами. Вспыхивает свет в маленьком трамвае, и с гудением он начинает идти по рельсам. Трамвай как настоящий — с дугой, с мотором.

Между двумя картонными семиэтажными стенами лифт. Пускают в него ток, и лифт, освещенный электрической лампой, ползет вверх. Дальше телеграф. Мальчуган стучит по клавише и объясняет мне, как устроен телеграф. Электрический звонок. Электромагниты.

Все это ребята сооружали под руководством электротехника-руководителя.

* * *

Эта коммуна живет в особняке купца Шипкова на Полянке. В ней 65 ребят, мальчиков и девочек от 8 до 16 лет, большею частью сироты рабочих. В две смены, утреннюю и вечернюю, они учатся в соседних школах, а дома, у себя в коммуне, готовятся по различным предметам.

Управляется эта коммуна детским самоуправлением. Есть семь комиссий — хозяйственная, бельевая, библио-

течная, санитарная, учетно-распределительная, инвентарная. Сверх того, была еще и «кролиководная». Образовалась она, как только коммунальные ребята поселили на чердаке кроликов. Но вслед за кроликами раздобыла коммуна лисицу. Дрянь лисица забралась на чердак и передушила всех кроликов, прикончив тем самым и кролиководную комиссию.

Итак, от каждой из комиссий выделен один представитель в правление, а правление выделило президиум из трех человек. Во главе его и стоит этот самый Леша-блондин.

Судя по тому, что видишь в шипковском особняке, правление справляется со своей задачей не хуже, если не лучше взрослых. Ведает оно всем распорядком жизни. В его руках все грани ребячьей жизни. Зорким глазом смотрит правление за всем, вплоть до того, чтобы не сорили.

— А если кто подсолнушки грызет,— говорит зловеще Кузьмик,— так его назначают на дежурство по кухне.

Но не только подсолнушки в поле зрения ребячьего управления. Решают ребята и более сложные вопросы.

Недавно мэр Лиона, Эррио, посетил коммуну. Он долго осматривал ее, объяснялся с ребятами через переводчика. Наконец, уезжая, вынул стомиллионную бумажку детям на конфеты. Но дети ее не взяли. Потом уже, чтоб не обидеть иностранца, составили тут же заседание, потолковали и постановили:

— Взять и истратить на газеты и журналы.

Правление улаживает все конфликты и ссоры между ребятами, лишь только они возникают.

— А если кто ссорится...— внушительно начинает Кузьмик.

Правление ведает назначением на дежурства, снабжением коммуны хлебом, наблюдением за кухней. Президиум ведет собрания. У президиума в руках нити ко всем комиссиям. И комиссии блестяще ведут библиотечное дело. Комиссии смотрят за санитарным состоянием коммуны. Благодаря им в чистоте, тепле живет ребяческая коммуна в шипковском особняке.

— Работа наладилась,— говорит Леша.— Правление уже изживает себя. Оно слишком громоздко. Нам теперь достаточно трех человек президиума.

Идем смотреть последнее, что осталось,— столовую в нижнем этаже, где ребятишки в 8 час. утра пьют чай, в

два обедают. В столовой, как и всюду, чисто. На стене плакат: «Кто не работает, тот не ест».

Опять в вестибюль с разрисованными стенами, с беззвучной лестницей с ковром. Опять прислушиваешься, как нежно и глухо сверху несутся звуки пианино — девочки играют в четыре руки — да птицы, снегири и чижи, гомонят в клетках, прыгают.

И нужно прощаться с председателем президиума — Лешей и с знаменитым румяным кролиководом Кузьмиком Евстафием 13-ти лет.

СОРОК СОРОКОВ

Решительно скажу: едва
Другая сыщется столица как Москва.

Панорама первая. Голые времена

Панорама первая была в густой тьме, потому что въехал я в Москву ночью. Это было в конце сентября 1921-го года. По гроб моей жизни не забуду ослепительного фонаря на Брянском вокзале и двух фонарей на Дорогомиловском мосту, указывающих путь в родную столицу. Ибо, что бы ни происходило, что бы вы ни говорили, Москва — мать, Москва — родной город. Итак, первая панорама: глыба мрака и три огня.

Затем Москва показалась при дневном освещении, сперва в слезливом осеннем тумане, в последующие дни в жгучем морозе. Белые дни и драповое пальто. Драп, драп. О, чертова дерюга! Я не могу описать, насколько я мерз. Мерз и бегал. Бегал и мерз.

Теперь, когда все откормились жирами и фосфором, поэты начинают писать о том, что это были героические времена. Категорически заявляю, что я не герой. У меня нет этого в натуре. Я человек обыкновенный — рожденный ползать,— и, ползая по Москве, я чуть не умер с голоду. Никто кормить меня не желал. Все буржуи заперлись на дверные цепочки и через щель высовывали липовые мандаты и удостоверения. Закутавшись в мандаты, как в простыни, они великолепно пережили голод, холод, нашествие «чижиков», трудгужналог и т. под. напасти. Сердца их стали черствы, как булки, продававшиеся тогда под часами на углу Садовой и Тверской.

К героям нечего было и идти. Герои были сами голы, как соколы, и питались какими-то инструкциями и желтой крупой, в которой попадались небольшие красивые камушки вроде аметистов.

Я оказался как раз посредине обеих групп, и совершенно ясно и просто предо мною лег лотерейный билет с надписью — смерть. Увидев его, я словно проснулся. Я развил энергию, неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то что удары сыпались на меня градом, и при этом с двух сторон. Буржуи гнали меня, при первом же взгляде на мой костюм, в стан пролетариев. Пролетарии выселяли меня с квартиры на том основании, что если я и не чистой воды буржуй, то, во всяком случае, его суррогат. И не выселили. И не выселят. Смею вас заверить. Я перенял защитные приемы в обоих лагерях. Я оброс мандатами, как собака шерстью, и научился питаться мелкокоротной разноцветной кашей. Тело мое стало худым и жилистым, сердце железным, глаза зоркими. Я — закален.

Закаленный, с удостоверениями в кармане, в драповой дерюге, я шел по Москве и видел панораму. Окна были в пыли. Они были заколочены. Но кое-где уже торговали пирожками. На углах обязательно помещалась вывеска «Распределитель N...». Убейте меня, и до сих пор не знаю, что в них распределяли. Внутри не было ничего, кроме паутины и сморщенной бабы в шерстяном платке с дырой на темени. Баба, как сейчас помню, взмахивала руками и сипло бормотала:

— Заперто, заперто, и никого, товарищ, нетути!

И после этого провалилась в какой-то люк.

Возможно, что это были героические времена, но это были голые времена.

Панорама вторая. Сверху вниз

На самую высшую точку в центре Москвы я поднялся в серый апрельский день. Это была высшая точка — верхняя платформа на плоской крыше дома бывшего Нирензее, а ныне Дома Советов в Гнездниковском переулке. Москва лежала, до самых краев видная, внизу. Не то дым, не то туман стлался над ней, но сквозь дымку глядели бесчисленные кровли, фабричные трубы и маков-

ки сорока сороков. Апрельский ветер дул на платформы крыши, на ней было пусто, как пусто на душе. Но все же это был уже теплый ветер. И казалось, что он задувает снизу, что тепло подымается от чрева Москвы. Оно еще не ворчало, как ворчит грозно и радостно чрево больших, живых городов, но снизу, сквозь тонкую завесу тумана, подымался все же какой-то звук. Он был неясен, слаб, но всеобъемлющ. От центра до бульварных колец, от бульварных колец далеко, до самых краев, до сизой дымки, скрывающей подмосковные пространства.

— Москва звучит, кажется,— неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами.

— Это — нэп,— ответил мой спутник, придерживая шляпу.

— Брось ты это чертово слово! — ответил я.— Это вовсе не нэп, это сама жизнь. Москва начинает жить.

На душе у меня было радостно и страшно. Москва начинает жить, это было ясно, но буду ли жить я? Ах, это были еще трудные времена. За завтрашний день нельзя было поручиться. Но все же я и подобные мне не ели уже крупы и сахарину. Было мясо на обед. Впервые за три года я не «получил» ботинки, а «купил» их; они были не вдвое больше моей ноги, а только номера на два.

Внизу было занятно и страшновато. Нэпманы уже ездили на извозчиках, хамили по всей Москве. Я со страхом глядел на их лики и испытывал дрожь при мысли, что они заполняют всю Москву, что у них в кармане золотые десятки, что они меня выбросят из моей комнаты, что они сильные, зубастые, злобные, с каменными сердцами.

И, спустившись с высшей точки в гущу, я начал жить опять. Они не выбросили. И не выбросят, смею уверить.

Внизу меня ждала радость, ибо нет нэпа без добра: баб с дырами на темени выкинули всех до единой. Паутина исчезла, в окнах кое-где горели электрические лампочки и гирляндами висели подтяжки.

Это был апрель 1922 года.

Панорама третья. На полный ход

В июльский душный вечер я вновь поднялся на кровлю того же девятиэтажного нирензеевского дома. Цепями огней светились бульварные кольца, и радиусы

огней уходили к краям Москвы. Пыль не достигала сюда, но звук достиг. Теперь это был явственный звук: Москва ворчала, гудела внутри. Огни, казалось, трепетали, то желтые, то белые огни в черно-синей ночи. Скрежет шел от трамваев, они звякали внизу, и, глухо, вперебой, с бульвара неслись звуки оркестров.

На вышке трепетал свет. Гудел аппарат — на экране был помещичий дом с белыми колоннами. А на нижней платформе, окаймляющей верхнюю, при набежавшем иногда ветре шелестели белые салфетки на столах и фрачные лакеи бежали с блестящими блюдами. Нэпманы влезли и на крышу. Под ногами были четыре приплюснутых головы с низкими лбами и мощными челюстями. Четыре накрашенных женских лица торчали среди нэпманских голов, и стол был залит цветами. Белые, красные, голубые розы покрывали стол. На нем было только пять кусочков свободного места, и эти места были заняты бутылками. На эстраде некто в красной рубашке, с партнершей — девицей в сарафане,— пел частушки:

У Чичерина в Москве
Нотное издательство!

Пианино рассыпалось каскадами.

— Бра-во! — кричали нэпманы, звеня стаканами,— бис!

Приплюснутая и сверху казавшаяся лишенной ног девица семенила к столу с фужером, полным цветов.

— Бис! — кричал нэпман, потоптал ногами, левой рукой обнимал даму за талию, а правой покупал цветск. За неимением места в фужерах на столе, он воткнул его в даму, как раз в то место, где кончался корсаж и начиналось ее желтое тело. Дама хихикнула, дрогнула и ошпарила нэпмана таким взглядом, что он долго глядел мутно, словно сквозь пелену. Лакей вырос из асфальта и перегнулся. Нэпман колебался не более минуты над карточкой и заказал. Лакей махнул салфеткой, всунулся в стеклянную дыру и четко бросил:

— Восемь раз оливье, два лангет-пикана, два бифштекса.

С эстрады грянул и затоптал лихой, веселый матросский танец. Замелькали ноги в лакированных туфлях и в штанах клешем.

Я спустился с верхней площадки на нижнюю, потом — в стеклянную дверь и по бесконечным широким нирензеевским лестницам ушел вниз. Тверская приняла меня огнями, автомобильными глазами, шорохом ног. У Страстного монастыря толпа стояла черной стеной, давали сигналы автомобили, обходя ее. Над толпой висел экран. Дрожа, дробясь черными точками, мутясь, погасая и опять вспыхивая на белом полотне, плыли картины. Бронепоезд с открытыми площадками шел, колыхаясь. На площадке, молниеносно взмахивая руками, оборванные артиллеристы с бантами на груди вгоняли снаряд в орудие. Взмах руки, орудие вздрагивало, и облако дыма отлетало от него.

На Тверской звенели трамваи, и мостовая была изувеченной грудой кубиков. Горели жаровни. Москву чинили и днем и ночью.

Это был душный июль 1922 года.

Панорама четвертая. Сейчас

Иногда кажется, что Больших театров в Москве два. Один такой: в сумерки на нем загорается огненная надпись. В кронштейнах вырастают красные флаги. След от сорванного орла на фронтоне бледнеет. Зеленая квадрига чернеет, очертания ее расплываются в сумерках. Она становится мрачной. Сквер пустеет. Цепями протягиваются непреклонные фигуры в тулупах поверх шинелей, в шлемах, с винтовками, с примкнутыми штыками. В переулках на конях сидят всадники в черных шлемах. Окна светятся. В Большом идет съезд.

Другой — такой: в излюбленный час театральной музы, в семь с половиной, нет сияющей звезды, нет флагов, нет длинной цепи часовых у сквера. Большой стоит громадой, как стоял десятки лет. Между колоннами желто-тускловатые пятна света. Приветливые театральные огни. Черные фигуры текут к колоннам. Часа через два внутри полутемного зала в ярусах громоздятся головы. В ложах на темном фоне ряды светлых треугольников и ромбов от раздвинутых завес. На сукне волны света, и волной катится в грохоте меди и раскатах хора триумф Радамеса. В антрактах, в свете, золотым и красным сияет театр и кажется таким же нарядным, как раньше.

В антракте золото-красный зал шелестит. В ложах бенуара причесанные парикмахером женские головы. Штатские сидят, заложив ножку на ножку, и, как загипнотизированные, смотрят на кончики своих лакированных ботинок (я тоже купил себе лакированные). Чин антрактового действа нарушает только одна нэпманша. Перегнувшись через барьеры ложи в бельэтаже, она взволнованно кричит через весь партер, сложа руки рупором:

— Дора! Пробирайся сюда! Митя и Соня у нас в ложе!

Днем стоит Большой театр желтый и грузный, облупившийся, потертый. Трамваи огибают Малый, идут к нему. «Мюр и Мерилиз», лишь начнет темнеть, показывает в огромных стеклах ряды желтых огней. На крыше его вырос круглый щит с буквами: «Государственный универсальный магазин». В центре щита лампа загорается вечером. Над Незлобинским театром две огненные строчки, то гаснут, то вспыхивают: «Сегодня банкноты 251». В Столешниковом на экране корявые строчки: «Почему мы советуем покупать ботинки только в...». На Страстной площади на крыше экран — объявления, то цветные, то черные, вспыхивают и погасают. Там же, но на другом углу, купол вспыхнет, потом потемнеет, вспыхнет и потемнеет «Реклама».

Все больше и больше этих зыбких, цветных огней на Тверской, Мясницкой, на Арбате, Петровке. Москва заливается огнями с каждым днем все сильней. В окнах магазинов всю ночь не гаснут дежурные лампы, а в некоторых почему-то освещение à giorno[1]. До полуночи торгуют гастрономические магазины МПО.

Москва спит теперь, и ночью не гася всех огненных глаз.

С утра вспыхивает гудками, звонками, разбрасывает по тротуарам волны пешеходов. Грузовики, ковыляя и погромыхивая цепями, ползут по разъезженному, рыхлому, бурому снегу. В ясные дни с Ходынки летят с басовым гудением аэропланы. На Лубянке вкруговую, как и прежде, идут трамваи, выскакивая с Мясницкой и с Большой Лубянки. Мимо первопечатника Федорова, под старой зубчатой стеной они один за другим валят под уклон вниз к «Метрополю». Мутные стекла в первом этаже «Метрополя» просветлели, словно с них бельма

---

[1] яркое *(фр.)*.

сняли, и показали ряды цветных книжных обложек. Ночью драгоценным камнем над подъездом светится шар Госкино-II. Напротив через сквер неожиданно воскрес Тестов и высунул в подъезде карточку: «Крестьянский суп». В Охотном ряду вывески так огромны, что подавляют магазинчики. Но Параскева Пятница глядит печально и тускло. Говорят, что ее снесут. Это жаль. Сколько видал этот узкий проход между окнами с мясными тушами и ларьками букинистов и белым боком церкви, ставшей по самой середине улицы.

Часовню, что была на маленькой площади, там, где Тверская скрещивается с Охотным и Моховой, уже снесли.

Торговые ряды на Красной площади, являвшие несколько лет изумительный пример мерзости запустения, полны магазинов. В центре у фонтана гудит и шаркает толпа людей, торгующих валютой. Их симпатичные лица портит одно: некоторое выражение неуверенности в глазах. Это, по-моему, вполне понятно: в ГУМе лишь три выхода. Другое дело у Ильинских ворот — сквер, простор, далеко видно... Эпидемически буйно растут трактиры и воскресают. На Цветном бульваре, в дыму, в грохоте, рвутся с лязгом звуки «натуральной» польки:

Пойдем, пойдем, ангел милый,
Польку танцевать с тобой.
С-с-с-с-слышу, с-с-слышу с-с-сл...
...Польки звуки неземной!!

Извозчики теперь оборачиваются с козел, вступают в беседу, жалуются на тугие времена, на то, что их много, а публика норовит сесть в трамвай. Ветер мотает кинорекламы на полотнищах поперек улицы. Заборы исчезли под миллионами разноцветных афиш. Зовут на новые заграничные фильмы, возвещают «Суд над проституткой Заборовой, заразившей красноармейца сифилисом», десятки диспутов, лекций, концертов. Судят «Санина», судят «Яму» Куприна, судят «Отца Сергия», играют без дирижера Вагнера, ставят «Землю дыбом» с военными прожекторами и автомобилями, дают концерты по радио, портные шьют стрелецкие гимнастерки, нашивают сияющие звезды на рукава и шевроны, полные ромбов. Завалили киоски журналами и десятками газет...

И вот брызнуло мартовское солнце, растопило снег. Еще басистей загудели грузовики, яростней и веселей. К

Воробьевым горам уже провели ветку, там роют, возят доски, там скрипят тачки — готовят Всероссийскую выставку.

И, сидя у себя в пятом этаже, в комнате, заваленной букинистскими книгами, я мечтаю, как летом взлезу на Воробьевы, туда, откуда глядел Наполеон, и посмотрю, как горят сорок сороков на семи холмах, как дышит, блестит Москва. Москва — мать.

ПОД СТЕКЛЯННЫМ НЕБОМ

Жулябия в серых полосатых брюках и шапке, обитой вытертым мехом, с небольшим мешочком в руках. Физиономия словно пчелами искусанная, и между толстыми губами жеваная папироска.

Мимо блестящего швейцара просунулась фигурка. В серой шинели и в фуражке с треснувшим пополам козырьком. На лице беспокойство, растерянность. Самогонный нос. Несомненно, курьер из какого-нибудь учреждения. Жулябия, метнув глазами, зашаркала резиновыми галошами и подсунулась к курьеру.

— Что продаешь?

— Облигацию...— ответил курьер и разжал кулак. Из него выглянула сизая облигация.

— Почем? — Жулябины глаза ввинтились в облигацию.

— Сто десять бы...— квакнул, заикнувшись, курьер. Боевые искры сверкнули в глазах на распухшем лице.

— Симпатичное лицо у тебя, вот что я тебе скажу,— заговорила жулябия,— за лицо тебе предлагаю: девяносто рубликов. Желаешь? Другому бы не дала. Но ты мне понравился.

У курьера рот от изумления стал круглым под мочальными усами. Он машинально повернулся к зеркальному окну магазина, ища в нем своего отражения. Веселые огни заиграли в жулябиных глазах. Курьер отразился в зеркале во всем очаровании своего симпатичного лица под перебитым козырьком.

— По рукам? — стремительно произвела второй натиск жулябия.

— Да как же... Господи, ведь давали-то нам по 125...

— Чудак! Давали! Дать и я тебе дам за 125. Хоть сию

минуту. Ты, брат, не забывай, что давать — это одно, а брать — совсем другое.

— Да ведь они в мае 200 будут...

— Это резонно! — победно рявкнула жулябия,— так вот даю тебе совет: держи ее до мая!

И тут жулябия круто вильнула на 180° и сделала вид, что уходит. Но на курьера уже наплывали двое новых ловцов. Бронзовый лик юго-восточного человека и расплывчатый бритый московский блин. Поэтому жулябия круто сыграла назад.

— Вот последнее мое слово. Чтобы не ходил ты тут и не страдал, даю тебе еще два рублика. Мой трамвай. Исключительно потому, что ты — хороший человек.

— Давайте! — пискнул в каком-то отчаянии курьер и двинул фуражку на затылок.

* * *

В бесконечных продолговатых стеклянных крышах торговых рядов — бледный весенний свет. На балконе над фонтаном медный оркестр играет то нудные вальсы, то какую-то музыкальную гнусность — «попурри из русских песен», от которой вянут уши.

Вокруг фонтана непрерывное шарканье и шелест. Ни выкриков, ни громкого говора. Но то и дело проходящие фигуры начинают бормотать:

— Куплю доллары, продам доллары.

— Куплю займ, банкноты куплю.

И чаще всего, таинственнее, настороженнее:

— Куплю золото. Продам золото...

— Золото... золото... золото... золото...

Золота не видно, золота не слышно, но золото чувствуется в воздухе. Незримое золото где-то тут бьется в крови.

Выныривает в куцей куртке валютчик и начинает волчьим шагом уходить по проходу вбок от фонтана. За ним тащится другая фигура. В укромном пустом углу у дверей, ведущих к памятнику Минина и Пожарского, остановка.

Из недр куцего пальто словно волшебством выскакивает золотой диск. Вот оно, золото.

Фигура вертит в руках, озираясь, золотушку с царским портретом.

— А она, тово... хорошая?

Куцее пальто презрительно фыркает:

— Здесь не Сухаревка. Я их сам не делаю.

Фигура боязливо озирается, наклоняется и легонько бросает монетку на пол. Мгновенный, ясный золотой звон. Золото! Монетка исчезает в кармане пальто. Куцее пальто мнет и пересчитывает дензнаки. Быстро расходятся. И снова беспрерывное кружение у фонтана. И шепот, шепот... Золото... золо... зо...

* * *

Один из коридоров рядов загорожен. У загородки сидит загадочно улыбающийся гражданин с билетной книжкой в руках. Угодно идти совершать операции на бирже, пожалуйте билет за 40 лимонов.

Вне огороженного пространства операции не поощряются ни в коей мере. Но ведь нельзя же людям запретить гулять в рядах возле фонтана! А если люди бормочут, словно во сне? Опять-таки никакого криминала в этом обнаружить нельзя. Идет гражданин и шепчет, даже ни к кому не обращаясь:

— Куплю мелкое серебро... куплю мелкое серебро...

Мало ли оригиналов!..

Среди сомнамбулических джентльменов появляются дамы салопного вида с тревожными глазами. Жены чиновников — случайные валютчицы. Или пришли продать золотушки, что на черный день хранились в штопаных носках в комоде, или, обуреваемые жадностью, пришли купить одну-две монеты. Нажужжали знакомые в уши, что десятка растет, растет... растет... Золото... золото...

— Золото, Марь Иванна, надо купить. Это дело верное.

Марь Иванна жмется в темный угол в рядах. Марь Иванна звякнет монеткой об пол.

— А она не обтертая?

— Вы, мадам...— обижается валютчик,— довольно странно с вашей стороны, мадам!

— Ну, ну, вы не обижайтесь! Да вот царь тут какой-то странный. Выражение лица у него...

— Я, мадам, ему выражения лица не делал. Обыкновенное выражение.

Марь Иванна торопливо вытаскивает из сумочки скомканные бумажки. Монетка исчезает на дне сумочки.

В толпе профессионалов мелькают случайные фуражки с вытертыми околышами. Все по тому же случайному золотому делу. Мелькают подкрашенные и бледные ночные бабочки-женщины. Обыкновенные прохожие, что сквозным током идут через галереи с Николаевской на Ильинку, покупатели в бесчисленные магазины ГУМа в рядах. Они смешиваются, сталкиваются, растворяются в гуще валютчиков, вертящихся у фонтана и в галереях. Среди них профессионалы всех типов и видов. Московские в шапках с наушниками с мрачной думой в глазах, с неряшливыми небритыми лицами, темные восточные, западные и южные люди. Вытертые, ветром подбитые пальто и дорогие бобровые воротники. Сухаревские ботинки-лепешки и изящная лаковая обувь. Седые и безусые. Наглые и вежливые. Медлительные и неуловимые, как ртуть. Профессионалы. Ничем не занимаются, ничем не интересуются, кроме золота, золота, золота. Часами бродят у фонтана. Выглядывают, высматривают, выклевывают.

* * *

В пять часов дня. Когда в куполах еще полный серо-матовый, дневной, весенний, стеклянный свет, в галереях светло, гулко. В окнах магазинов горят лампы. На углу у фонтана в витринах играют золотые искры на портсигарах, кубках, подстаканниках, на камнях-самоцветах. Из кафе пахнет жареным. Лотереи-аллегри с полубутылочками кислого вина и миниатюрными коробками конфет бойко торгуют.

Но вот сверлит свисток. Конец черной бирже на сегодняшний день. Из-за загородки сыпят биржевики. Конец и фонтанной чернейшей бирже, что торгует шепотом и озираясь. Еще шелестит торопливо:

— Золото... золото.

Еще ловят быстрыми взглядами покупателей. Десятка прыгнула на 15 лимонов вверх. Но уже редеет толпа. Расползаются к выходам черные шубы, серые пальто. Пустеют коридоры. Звонко стучат шаги. Ближе весенний вечер, и в стеклянном продолговатом, мелко переплетенном небе нежно и медленно разливается вечерняя заря.

МОСКОВСКИЕ СЦЕНЫ

На передовых позициях

— Ну-с, господа, прошу вас,— любезно сказал хозяин и царственным жестом указал на стол.

Мы, не заставив себя просить вторично, уселись и развернули стоящие дыбом крахмальные салфетки.

Село нас четверо: хозяин — бывший присяжный поверенный, кузен его — бывший присяжный поверенный же, кузина, бывшая вдова действительного статского советника, впоследствии служащая в Совнархозе, а ныне просто Зинаида Ивановна, и гость — я — бывший... впрочем, это все равно... ныне человек с занятиями, называемыми неопределенными.

Первоапрельское солнце ударило в окно и заиграло в рюмках.

— Вот и весна, слава богу; измучились с этой зимой,— сказал хозяин и нежно взялся за горлышко графинчика.

— И не говорите! — воскликнул я и, вытащив из коробки кильку, вмиг ободрал с нее шкуру, затем намазал на кусок батона сливочного масла, прикрыл его килечным растерзанным телом и, любезно оскалив зубы в сторону Зинаиды Ивановны, добавил: — Ваше здоровье!

И затем мы глотнули.

— Не слабо ли... кхм... разбавил? — заботливо осведомился хозяин.

— Самый раз,— ответил я, переводя дух.

— Немножко как будто слабовато,— отозвалась Зинаида Ивановна.

Мужчины хором запротестовали, и мы выпили по второй. Горничная внесла миску с супом.

После второй рюмки божественная теплота разлилась у меня внутри и благодушие приняло меня в свои объятия. Я мгновенно полюбил хозяина, его кузена и нашел, что Зинаида Ивановна, несмотря на свои 38 лет, еще очень и очень недурна и борода Карла Маркса, помещавшегося прямо против меня рядом с картой железных дорог на стене, вовсе не так уж огромна, как это принято думать. История появления Карла Маркса в квартире поверенного, ненавидящего его всей душой,— такова. Хозяин мой — один из самых сообразительных людей в Москве, если не самый сообразительный. Он едва ли не первый почувствовал, что происходящее —

шутка серьезная и долгая, и поэтому окопался в своей квартире не кое-как, кустарным способом, а основательно. Первым долгом он призвал Терентия, и Терентий изгадил ему всю квартиру, соорудив в столовой нечто вроде глиняного гроба. Тот же Терентий проковырял во всех стенах громадные дыры, сквозь которые просунул толстые черные трубы. После этого хозяин, полюбовавшись работой Терентия, сказал:

— Могут не топить парового, бандиты,— и поехал на Плющиху. С Плющихи он привез Зинаиду Ивановну и поселил ее в бывшей спальне, комнате на солнечной стороне. Кузен приехал через три дня из Минска. Он кузена охотно и быстро приютил в бывшей приемной (из передней направо) и поставил ему черную печечку. Затем пятнадцать пудов муки он всунул в библиотеку (прямо по коридору), запер дверь на ключ, повесил на дверь ковер, к ковру приставил этажерку, на этажерку пустые бутылки и какие-то старые газеты, и библиотека словно сгинула — сам черт не нашел бы в нее хода. Таким образом, из шести комнат осталось три. В одной он поселился сам, с удостоверением, что у него порок сердца, а между оставшимися двумя комнатами (гостиная и кабинет) снял двери, превратив их в странное двойное помещение.

Это не была одна комната, потому что их было две, но и жить в них как в двух было невозможно, тем более что в первой (гостиной) непосредственно под статуей голой женщины и рядом с пианино поставил кровать и, призвав из кухни Сашу, сказал ей:

— Тут будут приходить эти. Так скажешь, что спишь здесь.

Саша заговорщически усмехнулась и ответила:

— Хорошо, барин.

Дверь кабинета он облепил мандатами, из которых явствовало, что ему, юрисконсульту такого-то учреждения, полагается «добавочная площадь». На добавочной площади он устроил такие баррикады из двух полок с книгами, старого велосипеда без шин и стульев с гвоздями и трех карнизов, что даже я, отлично знакомый с его квартирой, в первый же визит после приведения квартиры в боевой вид разбил себе оба колена, лицо и руки и разорвал сзади и спереди пиджак по живому месту.

На пианино он налепил удостоверение, что Зинаида Ивановна — учительница музыки, на двери ее комнаты удостоверение, что она служит в Совнархозе, на двери

кузена, что тот секретарь. Двери он стал отворять сам после 3-го звонка, а Саша в это время лежала на кровати возле пианино.

Три года люди в серых шинелях и черных пальто, объеденных молью, и девицы с портфелями и в дождевых брезентовых плащах рвались в квартиру, как пехота на проволочные заграждения, и ни черта не добились. Вернувшись через три года в Москву, из которой я легкомысленно уехал, я застал все на прежнем месте. Хозяин только немного похудел и жаловался, что его совершенно замучили.

Тогда же он и купил четыре портрета. Луначарского он пристроил в гостиной на самом видном месте, так что нарком стал виден решительно со всех точек в комнате. В столовой он повесил портрет Маркса, а в комнате кузена над великолепным зеркальным желтым шкафом кнопками прикрепил Л. Троцкого. Троцкий был изображен анфас в пенсне, как полагается, и с достаточно благодушной улыбкой на губах. Но лишь хозяин впился четырьмя кнопками в фотографию, мне показалось, что председатель реввоенсовета нахмурился. Так хмурым он и остался. Затем хозяин вынул из папки Карла Либкнехта и направился в комнату кузины. Та встретила его на пороге и, ударив себя по бедрам, обтянутым полосатой юбкой, вскричала:

— Эт-того недоставало! Пока я жива, Александр Палыч, никаких Маратов и Дантонов в моей комнате не будет!

— Зин... при чем здесь Мара...— начал было хозяин, но энергичная женщина повернула его за плечи и выпихнула вон. Хозяин задумчиво повертел в руках цветную фотографию и сдал ее в архив.

Ровно через полчаса последовала очередная атака. После третьего звонка и стука кулаками в цветные волнистые стекла парадной двери хозяин, накинув вместо пиджака измызганный френч, впустил трех. Двое были в сером, один в черном, с рыжим портфелем.

— У вас тут комнаты...— начал первый серый и ошеломленно окинул переднюю взором. Хозяин предусмотрительно не зажег электричества, и зеркала, вешалки, дорогие кожаные стулья и оленьи рога расплылись во мгле.

— Что вы, товарищи!! — ахнул хозяин и всплеснул руками,— какие тут комнаты?! Верите ли, шесть комиссий

до вас было на этой неделе. Хоть и не смотрите! Не только лишней комнаты нет, но еще мне не хватает. Извольте видеть,— хозяин вытащил из кармана бумажку,— мне полагается 16 аршин добавочных, а у меня 13 $^{1}/_{2}$. Да-с. Где я, спрашивается, возьму 2 $^{1}/_{2}$ аршина?

— Ну, мы посмотрим,— мрачно сказал второй серый.

— П-пожалуйста, товарищи!..

И тотчас перед нами предстал А. В. Луначарский. Трое, открыв рты, посмотрели на наркомпроса.

— Тут кто? — спросил первый серый, указывая на кровать.

— Товарищ Епишина, Александра Ивановна.

— Она кто?

— Техническая работница,— сладко улыбаясь, ответил хозяин,— стиркой занимается.

— А не прислуга она у вас? — подозрительно спросил черный.

В ответ хозяин судорожно засмеялся:

— Да что вы, товарищ! Что я, буржуй какой-нибудь, чтобы прислугу держать! Тут на еду не хватает, а вы: «прислуга»! Хи-хи!

— Тут? — лаконически спросил черный, указывая на дыру в кабинет.

— Добавочная, 13$^{1}/_{2}$, под конторой моего учреждения,— скороговоркой ответил хозяин.

Черный немедленно шагнул в полутемный кабинет. Через секунду в кабинете с грохотом рухнул таз, и я слышал, как черный, падая, ударился головой о велосипедную цепь.

— Вот видите, товарищи,— зловеще сказал хозяин,— я предупреждал: чертова теснота.

Черный выбрался из волчьей ямы с искаженным лицом. Оба колена у него были разорваны.

— Не ушиблись ли вы? — испуганно спросил хозяин.

— А... бу... бу... ту... ту... ма...— невнятно пробурчал что-то черный.

— Тут товарищ Настурцина,— водил и показывал хозяин,— тут я,— и хозяин широко показал на Карла Маркса. Изумление нарастало на лицах трех.— А тут товарищ Щербовский,— и торжественно он махнул рукой на Л. Д. Троцкого.

Трое в ужасе глядели на портрет.

— Да он что, партийный, что ли? — спросил второй серый.

— Он не партийный,— сладко ухмыльнулся хозяин,— но он сочувствующий. Коммунист в душе. Как и я сам. Тут у нас все ответственные работники живут, товарищи.

— Ответственные, сочувствующие,— хмуро забубнил черный, потирая колено,— а шкафы зеркальные. Предметы роскоши.

— Рос-ко-ши?! — укоризненно ахнул хозяин,— что вы, товарищ!! Белье тут лежит последнее, рваное. Белье, товарищ, предмет необходимости.— Тут хозяин полез в карман за ключом и мгновенно остановился, побледнев, потому что вспомнил, что как раз вчера шесть серебряных подстаканников заложил между рваными наволочками.

— Белье, товарищи,— предмет чистоты. И наши дорогие вожди,— хозяин обеими руками указал на портреты,— все время указывают пролетариату на необходимость держать себя в чистоте. Эпидемические заболевания... тиф, чума и холера, все оттого, что мы, товарищи, еще недостаточно осознали, что единственным спасением, товарищи, является содержание себя в чистоте. Наш вождь...

Тут мне совершенно явственно показалось, что судорога прошла по лицу фотографического Троцкого и губы его расклеились, как будто он что-то хотел сказать. То же самое, вероятно, почудилось и хозяину, потому что он смолк внезапно и быстро перевел речь:

— Тут, товарищи, уборная, тут ванна, но, конечно, испорченная, видите, в ней ящик с тряпками лежит, не до ванн теперь, вот кухня — холодная. Не до кухонь теперь. На примусе готовим. Александра Ивановна, вы чего здесь, в кухне? Там вам письмо есть в вашей комнате. Вот, товарищи, и все! Я думаю просить себе еще дополнительную комнату, а то, знаете, каждый день себе коленки разбивать — эт-то, знаете ли, слишком накладно. Куда это надо обратиться, чтобы мне дали еще одну комнату в этом доме? Под контору.

— Идем, Степан,— безнадежно махнув рукой, сказал первый серый, и все трое направились, стуча сапогами, в переднюю.

Когда шаги смолкли на лестнице, хозяин рухнул на стул.

— Вот, любуйтесь,— вскричал он,— и это каждый божий день! Честное вам даю слово, что они меня доконают.

— Ну, знаете ли,— ответил я,— это неизвестно, кто кого доконает!

— Хи-хи! — хихикнул хозяин и весело грянул: — Саша! давай самовар!..

Такова была история портретов, и в частности Маркса. Но возвращаюсь к рассказу.

...После супа мы съели бефстроганов, выпили по стаканчику белого «Айданиля» винделправления, и Саша внесла кофе.

И тут в кабинете грянул рассыпчатый телефонный звонок.

— Маргарита Михална, наверно,— приятно улыбнулся хозяин и полетел в кабинет.

— Да... да...— послышалось из кабинета, но через три мгновения донесся вопль: — Как?

Глухо заквакала трубка, и опять вопль:

— Владимир Иванович! Я же просил! Все служащие! Как же так?!

— А-а! — ахнула кузина,— уж не обложили ли его?!

Загремела с размаху трубка, и хозяин появился в дверях.

— Обложили? — крикнула кузина.

— Поздравляю,— бешено ответил хозяин,— обложили вас, дорогая!

— Как?! — кузина встала, вся в пятнах,— они не имеют права! Я же говорила, что в то время я служила!

— «Говорила», «говорила»! — передразнил хозяин,— не говорить нужно было, а самой посмотреть, что этот мерзавец домовой в списке пишет! А все ты,— повернулся он к кузену,— просил ведь, сходи, сходи! А теперь не угодно ли: он нас всех трех пометил!

— Ду-рак ты,— ответил кузен, наливаясь кровью,— при чем здесь я? Я два раза говорил этой каналье, чтоб отметил как служащих! Ты сам виноват! Он твой знакомый. Сам бы и просил!

— Сволочь он, а не знакомый! — загремел хозяин,— называется приятель! Трус несчастный. Ему лишь бы с себя ответственность снять.

— На сколько? — крикнула кузина.

— На пять-с!

— А почему только меня? — спросила кузина.

— Не беспокойся! — саркастически ответил хозяин,— дойдет и до меня и до него. Буква, видно, не дошла. Но только если тебя на пять, то на сколько же меня

шарахнут?! Ну, вот что — рассиживаться тут нечего. Одевайтесь, поезжайте к районному инспектору — объясните, что ошибка. Я тоже поеду... Живо, живо!

Кузина полетела из комнаты.

— Что ж это такое? — горестно завопил хозяин,— ведь это ни отдыху ни сроку не дают. Не в дверь, так по телефону! От реквизиций отбрились, теперь налог. Доколе это будет продолжаться? Что они еще придумают?!

Он взвел глаза на Карла Маркса, но тот сидел неподвижно и безмолвно. Выражение лица у него было такое, как будто он хотел сказать:

— Это меня не касается!

Край его бороды золотило апрельское солнце.

БЕНЕФИС ЛОРДА КЕРЗОНА

(От нашего московского корреспондента)

Ровно в шесть утра поезд вбежал под купол Брянского вокзала. Москва. Опять дома. После карикатурной провинции без газет, без книг, с дикими слухами — Москва, город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить.

Вот они извозчики. На Садовую запросили 80 миллионов. Сторговался за полтинник. Поехали. Москва. Москва. Из парков уже идут трамваи. Люди уже куда-то спешат. Что-то здесь за месяц новенького? Извозчик повернулся, сел боком, повел туманные, двоедушные речи. С одной стороны, правительство ему нравится, но, с другой стороны,— шины полтора миллиарда! Первое мая ему нравится, но антирелигиозная пропаганда «не соответствует». А чему — неизвестно. На физиономии написано, что есть какая-то новость, но узнать ее невозможно.

Пошел весенний благодатный дождь, я спрятался под кузов, извозчик, помахивая кнутом, все рассказывал разные разности, причем триллионы называл «триллиардами» и плел какую-то околесину насчет патриарха Тихона, из которой можно было видеть только одно, что он — извозчик — путает Цепляка, Тихона и епископа Кентерберийского.

И вот дома. А никуда я больше из Москвы не поеду. В десять простыня «Известий», месяц в руках не держал. На первой же полосе — «Убийство Воровского»!

Вот оно что. То-то у извозчика — физиономия. В Москве уже знали вчера. Спать не придется днем. Надо идти на улицу, смотреть, что будет. Тут не только Воровский. Керзон. Керзон. Керзон. Ультиматум. Канонерка. Тральщики. К протесту, товарищи!! Вот так события! Встретила Москва. То-то показалось, что в воздухе какое-то электричество!

И все-таки сон сморил. Спал до двух дня. А в два проснулся и стал прислушиваться. Ну да, конечно, со стороны Тверской — оркестр. Вот еще. Другой. Идут, очевидно.

В два часа дня Тверскую уже нельзя было пересечь. Непрерывным потоком, сколько хватал глаз, катилась медленно людская лента, а над ней шел лес плакатов и знамен. Масса старых знакомых — октябрьских и майских, но среди них мельком новые, с изумительной быстротой изготовленные, с надписями весьма многозначительными. Проплыл черный траурный плакат «Убийство Воровского — смертный час европейской буржуазии». Потом красный: «Не шутите с огнем, господин Керзон». «Порох держим сухим».

Поток густел, густел, стало трудно пробираться вперед по краю тротуара. Магазины закрылись, задернули решетками двери. С балконов, с подоконников глядели сотни голов. Хотел уйти в переулок, чтобы окольным путем выйти на Страстную площадь, но в Мамонтовском безнадежно застряли ломовики, две машины и извозчики. Решил катиться по течению. Над толпой поплыл грузовик-колесница. Лорд Керзон, в цилиндре, с раскрашенным багровым лицом, в помятом фраке, ехал стоя. В руках он держал веревочные цепи, накинутые на шею восточным людям в пестрых халатах, и погонял их бичом. В толпе сверлил пронзительный свист. Комсомольцы пели хором:

Пиши, Керзон, но знай ответ:
Бумага стерпит, а мы нет!

На Страстной площади навстречу покатился второй поток. Шли красноармейцы рядами без оружия. Комсомольцы кричали им по складам:

— Да здрав-ству-ет Крас-на-я Ар-ми-я!

Милиционер ухитрился на несколько секунд прорвать реку и пропустил по бульвару два автомобиля и кабриолет. Потом ломовикам хрипло кричал:

— В объезд!

Лента хлынула на Тверскую и поплыла вниз. Из переулка вынырнул знакомый спекулянт, посмотрел на знамена, многозначительно хмыкнул и сказал:

— Не нравится мне это что-то... Впрочем, у меня грыжа.

Толпа его затерла за угол, и он исчез.

В Совете окна были открыты, балкон забит людьми. Трубы в потоке играли «Интернационал», Керзон, покачиваясь, ехал над головами. С балкона кричали по-английски и по-русски:

— Долой Керзона!!

А напротив, на балкончике под обелиском Свободы, Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом:

...британ-ский лев вой!
Ле-вой! Ле-вой!

— Ле-вой! Ле-вой! — отвечала ему толпа. Из Столешникова выкатывалась новая лента, загибала к обелиску. Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел:

— Вы слышали, товарищи, звон, да не знаете, кто такой лорд Керзон!

И стал объяснять:

— Из-под маски вежливого лорда глядит клыкастое лицо!!. Когда убивали бакинских коммунистов...

Опять загрохотали трубы у Совета. Тонкие женские голоса пели:

Вставай, проклятьем заклейменный!

Маяковский все выбрасывал тяжелые, как булыжники, слова, у подножия памятника кипело, как в муравейнике, и чей-то голос с балкона прорезал шум:

— В отставку Керзона!!

В Охотном во всю ширину шли бесконечные ряды, и видно было, что Театральная площадь залита народом сплошь. У Иверской трепетно и тревожно колыхались огоньки на свечках и припадали к иконе с тяжкими вздохами четыре старушки, а мимо Иверской через оба пролета Вознесенских ворот бурно сыпали ряды. Медные трубы играли марши. Здесь Керзона несли на штыках, сзади бежал рабочий и бил его лопатой по голове. Голова в скомканном цилиндре моталась беспомощно в разные

стороны. За Керзоном из пролета выехал джентльмен с доской на груди: «Нота», затем гигантский картонный кукиш с надписью: «А вот наш ответ».

По Никольской удалось проскочить, но в Третьяковском опять хлынул навстречу поток. Тут Керзон мотался с веревкой на шесте. Его били головой о мостовую. По Театральному проезду в людских волнах катились виселицы с деревянными скелетами и надписями: «Вот плоды политики Керзона». Лакированные машины застряли у поворота на Неглинный в гуще народа, а на Театральной площади было сплошное море. Ничего подобного в Москве я не видал даже в октябрьские дни. Несколько минут пришлось нырять в рядах и закипающих водоворотах, пока удалось пересечь ленту юных пионеров с флажками, затем серую стену красноармейцев и выбраться на забитый тротуар у Центральных бань. На Неглинном было свободно. Трамваи всех номеров, спутав маршруты, поспешно уходили по Неглинному. До Кузнецкого было свободно, но на Кузнецком опять засверкали красные пятна и посыпались ряды. Рахмановским переулком на Петровку, оттуда на бульварное кольцо, по которому один за другим шли трамваи. У Страстного снова толпы. Выехала колесница-клетка. В клетке сидел Пилсудский, Керзон, Муссолини. Мальчуган на грузовике трубил в огромную картонную трубу. Публика с тротуаров задирала головы. Над Москвой медленно плыл на восток желтый воздушный шар. На нем была отчетливо видна часть знакомой надписи: «...всех стран соеди...».

Из корзины пилоты выбрасывали листы летучек, и они, ныряя и чернея на голубом фоне, тихо падали в Москву.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ. СКОРЫЙ № 7 МОСКВА—ОДЕССА

Отъезд

Новый Брянский вокзал грандиозен и чист. Человеку, не ездившему никуда в течение двух лет, все в нем кажется сверхъестественным. Уйма свободного места, блестящие полы, носильщики, кассы, возле которых нет остервеневших, измученных людей, рвущихся куда-то со стоном и руганью. Нет проклятий, липкой и тяжкой

ругани, серых страшных мешков, раздавленных ребят, нет шмыгающих таинственных людей, живших похищением чемоданов и узлов в адской сумятице. Словом, совершенно какой-то неописуемый вокзал. Карманников мало, и одеты они все по-европейски. Носильщики, правда, еще хранят загадочный вид, но уже с некоторым оттенком меланхолии. Ведь билет можно купить за день в «Метрополе» (очередь 5—6 человек!), а можно и по телефону его заказать. И вам его на дом пришлют.

Единственный раз защемило сердце, это когда у дверей, ведущих на перрон, я заметил штук тридцать женщин и мужчин с чайниками, сидевших на чемоданах. Чемоданы, чайники и ребята загибались хвостом в общий зал. Увидев этот хвост, увидев, с каким напряжением и хмурой сосредоточенностью люди на чемоданах глядят на двери и друг на друга, я застыл и побледнел.

Боже мой! Неужели же вся эта чистота, простор и спокойствие—обман? Боже мой! Распахнутся двери, взвоют дети, посыпятся стекла, «свистнут» бумажник... Кошмар! Посадка! Кошмар.

Проходивший мимо некто в железнодорожной фуражке успокоил меня:

— Не сомневайтесь, гражданин. Это они по глупости. Ничего не будет. Места нумерованы. Идите гулять, а за пять минут придите и сядьте в вагон.

Сердце мое тотчас наполнилось радостью, и я ушел осматривать вокзал.

Минута в минуту—10 ч. 20 м. мимо состава мелькнула красная фуражка, впереди хрипло свистнул паровоз, исчез застекленный гигантский купол и мимо окон побежали трубы, вагоны, поздний апрельский снег.

В пути

Это черт знает что такое! Хуже вокзала. Купе на два места. На диванах явно новые чехлы, на окнах занавески. Проводник пришел, отобрал билет и плацкарту и выдал квитанцию. В дверь постучали. Вежливости неописуемой человек в кожаной тужурке спросил:

— Завтракать будете?

— О да! Я буду завтракать!

А вот гармоник предохранительных между вагонами нет. Из вагона в вагон, через метающиеся в беге площадки, в предпоследний вагон-ресторан. Огромные

стекла, пол сплошь закрыт ковром, белые скатерти. Паровое отопление работает, и при входе сразу охватывает истома.

Стелется синеватый, слоистый дым над столами, а мимо в широких стеклах бегут перелески, поля с белыми пятнами снега, обнаженные ветви, рощи, опять поля.

И опять домой, к себе в вагон, через «жесткие», бывшие третьеклассные вагоны. В купе та же истома, от трубы под окном веет теплом — проводник затопил.

Вечером, после второго путешествия в ресторан и возвращений, начинает темнеть. Как будто меньше снегу на полях. Как будто здесь уже теплее. В лампах в купе накаливаются нити, звучат голоса в коридоре. Слышны слова «банкнот», «безбожник». Мелькают пестрые листы журналов, и часто проходит проводник с метелкой, выбрасывает окурки. В ресторан уходят джентльмены в изящных пальто, в остроносых башмаках, в перчатках. Станции пробегают в сумерках. Поезд стоит недолго, несколько минут. И опять, и опять мотает вагоны, сильнее идет тепло от труб.

Ночью стихает мягкий вагон, в купе раздеваются, не слышно сонного бормотания о банкноте, валюте, калькуляции, и в тепле и сне уходят сотни верст, Брянск, Конотоп, Бахмач.

Утром становится ясно: снегу здесь нет и здесь тепло.

В Нежине, вынырнув из-под колес вагона, с таинственным и взбудораженным лицом выскакивает мальчишка. Под мышками у него два бочоночка с солеными огурцами.

— Пятнадцать лимонов! — пищит мальчишка.

— Давай их сюда! — радостно кричат пассажиры, размахивая деньгами. Но с мальчишкой делается что-то страшное. Лицо его искажается, он проваливается сквозь землю.

— Сумасшедший! — недоумевают москвичи. Вслед за мальчишкой выскакивает баба и также в корчах исчезает.

Загадка объясняется тотчас же. Мимо вагонов идет непреклонный страж в кавалерийской шинели до пят и раздраженно бормочет:

— Вот чертовы бабы!

Потом обращается к пассажирам:

— Граждане! Не нарушайте правил. Не покупайте у вагона. Вон — лавка!

Пассажиры устремляются в погоню за нежинскими

огурцами и покупают их без нарушения правил и с нарушением таковых.

Около часу дня, с опозданием часа на два, показывается из-за дарницких лесов Днепр, поезд входит на заштопанный после взрывов железнодорожный мост, тянется высоко над мутными волнами, и на том берегу разворачивается в зелени на горах самый красивый город в России — Киев.

Под обрывами разбегаются заржавевшие пути. Начинают тянуться бесконечные и побитые в трепке, в войне составы, классные и товарные. Мелькает смутная стертая надпись на паровозе — «Пролетар...»...

Пробегает здание и на нем надпись — «Київ-II».

КОМАРОВСКОЕ ДЕЛО

С начала 1922 года в Москве стали пропадать люди. Случалось это почему-то чаще всего с московскими лошадиными барышниками или подмосковными крестьянами, приезжавшими покупать лошадей. Выходило так, что человек и лошади не покупал, и сам исчезал.

В то же время ночами обнаруживались странные и неприятные находки — на пустырях Замоскворечья, в развалинах домов, в брошенных недостроенных банях на Шаболовке оказывались смрадные, серые мешки. В них были голые трупы мужчин.

После нескольких таких находок в Московском уголовном розыске началась острая тревога. Дело было в том, что все мешки с убитыми носили на себе печать одних и тех же рук — одной работы. Головы были размозжены, по-видимому, одним и тем же тупым предметом, вязка трупов была одинаковая — всегда умелая и аккуратная,— руки и ноги притянуты к животу. Завязано прочно, на совесть.

Розыск начал работать по странному делу настойчиво. Но времени прошло немало, и свыше тридцати человек улеглись в мешки среди груд замоскворецких кирпичей.

Розыск шел медленно, но упорно. Мешки вязались характерно — так вяжут люди, привычные к запряжке лошадей. Не извозчик ли убийца? На дне некоторых мешков нашлись следы овса. Большая вероятность — извозчик. 22 трупа уже нашли, но опознали из них

только семерых. Удалось выяснить, что все были в Москве по лошадиному делу. Несомненно — извозчик.

Но больше никаких следов. Никаких нитей абсолютно от момента, когда человек хотел купить лошадь, и до момента, когда его находили мертвым, не было. Ни следа, ни разговоров, ни встреч. В этом отношении дело действительно исключительное.

Итак — извозчик. Трупы в Замоскворечье, опять в Замоскворечье, опять. Убийца — извозчик, живет в Замоскворечье.

Агентская широкая петля охватила конные площади, чайные, стоянки, трактиры. Шли по следам замоскворецкого извозчика.

И вот в это время очередной труп нашли со свежей пеленкой, окутывающей размозженную голову. Петля сразу сузилась — искали семейного, у него недавно ребенок.

Среди тысячи извозчиков нашли.

Василий Иванович Комаров, легковой, проживал на Шаболовке в доме № 26. Извозным промыслом занимался странно — почти никогда не рядился, но на конной площади часто бывал. Деньги имел всегда. Пил много.

Ночью на 18 мая в квартиру на Шаболовку явилась агентура с ордером наружной милиции, якобы по поводу самогонки. Легковой встретил их с невозмутимым спокойствием. Но когда стали открывать дверь в чуланчик на лестнице, он, выпрыгнув со второго этажа в сад, ухитрился бежать, несмотря на то, что квартиру оцепили.

Но ловили слишком серьезно и в ту же ночь поймали в подмосковном Никольском, у знакомой молочницы Комарова. Застали Комарова за делом. Он сидел и писал на обороте удостоверения личности показание о совершенных им убийствах и в этом показании зачем-то путал и оговаривал своих соседей.

В Москве на Шаболовке в это время агенты осматривали последний труп, найденный в чулане. Когда чулан открывали, убитый был еще теплый.

* * *

Пока шло следствие, Москва гудела словом «Комаров-извозчик». Говорили женщины о наволочках, полных денег, о том, что Комаров кормил свиней людскими внутренностями, и т. д.

Все это, конечно, вздор.

Но та сущая правда, что выяснилась из следствия, такого сорта, что уж лучше были бы и груды денег в наволочках и даже гнусная кормежка свиней или какие-нибудь зверства, извращения. Оно, пожалуй, было бы легче, если б было запутанней и страшней, потому что тогда стало бы понятно самое страшное во всем этом деле — именно сам этот человек, Комаров (несущественная деталь: он, конечно, не Комаров Василий Иванович, а Петров Василий Терентьевич. Фальшивая фамилия — вероятно, след уголовного, черного прошлого... Но это не важно, повторяю).

Никакого желания нет писать уголовный фельетон, уверяю читателя, но нет возможности заняться ничем другим, потому что сегодня неотступно целый день сидит в голове желание все-таки этого Комарова понять.

Он, оказывается, рогожи специальные имел, на эти рогожи спускал из трупов кровь (чтобы мешков не марать и саней); когда позволили средства, для этой же цели купил оцинкованное корыто. Убивал аккуратно и необычайно хозяйственно: всегда одним и тем же приемом, одним молотком по темени, без шума и спешки, в тихом разговоре (убитые все и были эти интересовавшиеся лошадьми люди. Он предлагал им на конной свою лошадь и приглашал их для переговоров на квартиру) наедине, без всяких сообщников, услав жену и детей.

Так бьют скотину. Без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него в наволочках не оказалось, но он пил и ел на эти деньги и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя.

Вне этого был обыкновенным плохим человеком, каких миллионы. И жену, и детей бил и пьянствовал, но по праздникам приглашал к себе священников, те служили у него, он их угощал вином. Вообще был богомольный, тяжелого характера человек.

Репортеры, фельетонисты, обыватели щеголяли две недели словом «человек-зверь». Слово унылое, бессодержательное, ничего не объясняющее. И настолько выявлялась эта мясная хозяйственность в убийствах, что для меня лично она сразу убила все эти несуществующие

«зверства», и утвердилась у меня другая формула: «И не зверь, но и ни в коем случае не человек».

Никак нельзя назвать человеком Комарова, как нельзя назвать часами одну луковицу, из которой вынут механизм.

* * *

Эту формулу для меня процесс подтвердил. Предстал перед судом футляр от человека — не имеющий в себе никаких признаков зверства. Впрочем, может быть, какие-нибудь особенные, доступные специалисту-психиатру, черты и есть, но на обыкновенный взгляд — пожилой обыкновенный человек, лицо неприятное, но не зверское, и нет в нем никаких признаков вырождения.

Но когда это создание заговорило перед судом, и в особенности захихикало сиплым смешком, хоть и не вполне, но в значительной мере (не знаю, как другим) мне стало понятно, что это значит — «не человек».

Когда его первая жена отравилась, оно — это существо — сказало:

— Ну и черт с ней!

Когда существо женилось второй раз, оно не поинтересовалось даже узнать, откуда его жена, кто она такая.

— Мне-то что, детей, что ли, с ней крестить! (Смешок.)

— Раз и квас! (На вопрос, как убивал. Смешок.)

— Хрен его знает! (На многие вопросы эта идиотская поговорка. Смешок.)

— Человечиной не кормили ваших поросят?

— Нет (хи-хи)... да если кормил, я бы больше поросят завел... (хи-хи).

Дальше — больше. Все в жизни этот залихватский, гнусный «хрен», сопровождаемый хихиканием. Оказывается, людей кругом нет. Есть «чудаки» и «хомуты». Презирает. Какая тут «звериность»! Если б зверино ненавидел и с яростью убивал, не так бы оскорбил всех окружающих, как этим изумительным презрением. Собаку — животное — можно было бы замучить этим из ряда выходящим невниманием, которым Комаров награждал окружающих людей. Жена его «римско-католическая пани» (хи-хи), «много кушает». Ни злобы, ни скупости. Пусть кушает возле меня эта римско-католическая рвань. Злобы нет, но «оплеухи иногда я ей давал». Детей бил «для науки».

— Зачем убивали?

Тут сразу двойное. Но все понятно. Во-первых, для денег. Во-вторых, вот «не любил» людей. Вот бывают такие животные, что убить его — двойная прибыль: и польза, и сознание, что избавишься от созерцания неприятного божьего создания. Гусеница, скажем, или змея... Так Комарову — люди.

Словом, создание — мираж в оболочке извозчика. Хроническое, холодное нежелание считать, что в мире существуют люди. Вне людей.

Жуткий ореол «человека-зверя» исчез. Страшного не было. Но необычайно отталкивающее.

* * *

Изъять. Он боялся? Нет. Он — сильное, не трусливое существо.

По-моему, над интервьюерами, следствием и судом полегоньку даже глумился. Иногда чепуху какую-то городил. Но вяло. С усмешечкой. Интересуетесь? Извольте. «Цыганку бы убить или попа»... Зачем? «Да так»...

И чувствуется, что никакой цыганки убивать ему вовсе не хотелось, равно как и попа, а так — насели с вопросами «чудаки», он и говорит первое, что взбредет на ум.

Интервьюер спросил, что он думает о том, что его ожидает. «Э... все поколеем!»

Равнодушен, силен, не труслив и очень глупый в человеческом смысле. Прибаутки его ни к селу ни к городу, мысли скупые, нелепые. И на человеческой глупости блестящая, великолепная амальгама того специфического смрадного хамства, которым пропитаны многие, очень многие замоскворецкие мещане!.. все это чуйки, отравленные большими городами.

Что касается силы:

В одну из ночей, не знаю после какого именно убийства, вез запакованный обескровленный труп к Москве-реке. Милиционер остановил:

— Что везешь?

— А ты, дурной,— мягко ответил Комаров,— пощупай.— Милиционер был действительно «дурной». Он потрогал мешок и пропустил Комарова.

Потом Комаров стал ездить с женой.

* * *

Вследствие этих поездок на скамье рядом с Комаровым оказалась Софья Комарова.

Лицо тоже знакомое. Не раз на Сухаревке, на Домниковке, на Смоленском приходилось видать такие длинные, унылые лица, желтые бабьи лица, окаймленные платком.

Комарова выводили, когда Софья давала показания, и, несмотря на это, сложилось впечатление, что она чего-то недоговаривала. Думается, что никаких особенных тайн, впрочем, она не скрыла. Во время убийств Комаров ее высылал вместе с ребятами. А может быть, и помогла временами — прибрать, замыть после работы. Дело — женское. Ну, и вот эти поездки.

«Так... дурочка... слабая»,— определил ее муж. Несомненно, над тупой, пустой «римско-католической» бабой висела камнем воля мужа.

* * *

Приговор?

Ну, что тут о нем толковать.

Приговор в первый раз вынесли Комарову, когда милиция под конвоем повезла его, чтобы он показал, где закопал часть трупов (несколько убитых он зарыл близ своей квартиры на Шаболовке).

Словно по сигналу, слетелась толпа. Вначале были выкрики, истерические вопли баб. Затем толпа зарычала потихоньку и стала наваливаться на милицейскую цепь — хотела Комарова рвать.

Непостижимо, как удалось милиции отбить и увезти Комарова.

Бабы в доме, где я живу, тоже вынесли приговор — «сварить живьем».

— Зверюга. Мясорубка. У этих тридцати пяти мужиков сколько сирот оставил, сукин сын.

На суде три психиатра смотрели:

— Совершенно нормален. Софья — тоже.

Значит...

— Василия Комарова и жену его Софью к высшей мере наказания, детей воспитывать на государственный счет.

От души желаю, чтобы детей помиловал тяжкий закон наследственности.

Не дай бог походить на покойных отца и мать.

КИЕВ-ГОРОД

ЭКСКУРС В ОБЛАСТЬ ИСТОРИИ

Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах. Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие густые ночи над водой, электрический крест св. Владимира, висящий в высоте...

Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских.

Но это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой нехолодный, нежесткий, крупный, ласковый снег...

...И вышло совершенно наоборот.

Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история. Я совершенно точно могу указать момент ее появления: это было в 10 час. утра 2-го марта 1917 г., когда в Киев пришла телеграмма, подписанная двумя загадочными словами:

«Депутат Бубликов».

Ни один человек в Киеве, за это я ручаюсь, не знал, что должны были обозначать эти таинственные 15 букв, но знаю одно: ими история подала Киеву сигнал к началу. И началось, и продолжалось в течение четырех лет. Что за это время происходило в знаменитом городе, никакому описанию не поддается. Будто уэллсовская атомистическая бомба лопнула под могилами Аскольда и Дира, и в течение 1000 дней гремело, и клокотало, и полыхало пламенем не только в самом Киеве, но и в его пригородах, и в дачных его местах окружности на 20 верст радиусом.

Когда небесный гром (ведь и небесному терпению есть предел) убьет всех до единого современных писателей и явится лет через 50 новый настоящий Лев Толстой, будет создана изумительная книга о великих боях в Киеве. Наживутся тогда книгоиздатели на грандиозном памятнике 1917—1920 годам.

Пока что можно сказать одно: по счету киевлян, у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали их 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил.

В Киеве не было только греков. Не попали они в Киев случайно, потому что умное начальство их спешно увело из Одессы. Последнее их слово было русское слово:

— Вата!

Я их искренно поздравляю, что они не пришли в Киев. Там бы их ожидала еще худшая вата. Нет никаких сомнений, что их выкинули бы вон. Достаточно припомнить: немцы, железные немцы в тазах на головах, явились в Киев с фельдмаршалом Эйхгорном и великолепными туго завязанными обозными фурами. Уехали они без фельдмаршала и без фур, и даже без пулеметов. Все отняли у них разъяренные крестьяне.

Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий Союза городов Семен Васильич Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли. Самыми последними, под занавес, приехали зачем-то польские паны (явление XIV-ое) с французскими дальнобойными пушками.

Полтора месяца они гуляли по Киеву. Искушенные опытом киевляне, посмотрев на толстые пушки и малиновые выпушки, уверенно сказали:

— Большевики опять будут скоро.

И все сбылось как по писаному. На переломе второго месяца среди совершенно безоблачного неба советская конница грубо и буденно заехала куда-то, куда не нужно, и паны в течение нескольких часов оставили заколдованный город. Но тут следует сделать маленькую оговорку. Все, кто раньше делали визит в Киев, уходили из него по-хорошему, ограничиваясь относительно безвредной шестидюймовой стрельбой по Киеву со святошинских позиций. Наши же европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причем Цепной — вдребезги.

И посейчас из воды вместо великолепного сооружения — гордости Киева — торчат только серые унылые быки. А, поляки, поляки... Ай, яй, яй!..

Спасибо сердечное скажет вам русский народ.

Не унывайте, милые киевские граждане! Когда-нибудь

поляки перестанут на нас сердиться и отстроят нам новый мост, еще лучше прежнего. И при этом на свой счет.

Будьте уверены. Только терпение.

STATUS PRAESENS[1]

Сказать, что «Печерска нет»,—это будет, пожалуй, преувеличением. Печерск есть, но домов в Печерске на большинстве улиц нету. Стоят обглоданные руины, и в окнах кой-где переплетенная проволока, заржавевшая, спутанная. Если в сумерки пройтись по пустынным и гулким широким улицам, охватят воспоминания. Как будто шевелятся тени, как будто шорох из земли. Кажется, мелькают в перебежке цепи, дробно стучат затворы... вот-вот вырастет из булыжной мостовой серая, расплывчатая фигура и ахнет сипло:

— Стой!

То мелькнет в беге цепь и тускло блеснут золотые погоны, то пропляшет в беззвучной рыси разведка в жупанах, в шапках с малиновыми хвостами, то лейтенант в монокле, с негнущейся спиной, то вылощенный польский офицер, то с оглушающим бешеным матом пролетят, мотая колоколами-штанами, тени русских матросов.

Эх, жемчужина—Киев! Беспокойное ты место!..

Но это, впрочем, фантазия, сумерки, воспоминание.

Днем, в ярком солнце, в дивных парках над обрывами—великий покой. Начинают зеленеть кроны каштанов, одеваются липы. Сторожа жгут кучи прошлогодних листьев, тянет дымом в пустынных аллеях. Редкие фигурки бродят по Мариинскому парку, склоняясь, читают надписи на вылинявших лентах венков. Здесь зеленые боевые могилки. И щит, окаймленный иссохшей зеленью. На щите исковерканные трубки, осколки измерительных приборов, разломанный винт. Значит, упал в бою с высоты неизвестный летчик и лег в гроб в Мариинском парке.

В садах большой покой. В Царском светлая тишина. Будят ее только птичьи переклики да изредка доносящиеся из города звонки киевского коммунального трамвая.

Но скамеек нигде ни одной. Ни даже признаков скамеек. Больше того: воздушный мост, стрелой переки-

---

[1] Современное состояние *(лат.)*.

нутый между двумя обрывами Царского сада, лишился совершенно всех деревянных частей. До последней щепочки разнесли настил киевляне на дрова. Остался только железный остов, по которому, рискуя своей драгоценной жизнью, мальчики пробираются ползком и цепляясь.

В самом городе тоже есть порядочные дыры. Так, у бывш. Царской площади в начале Крещатика вместо огромного семиэтажного дома стоит обугленный скелет. Интересно, что самое бурное время дом пережил и пропал на хозрасчете. По точному свидетельству туземцев, дело произошло так. Было в этом здании учреждение хозяйственно-продовольственного типа. И был, как полагается, заведующий. И, как полагается, дозаведовался он до того, что или самому ему пропасть, или канцелярии его сгореть. И загорелась ночью канцелярия. Слетелись, как соколы, пожарные, находящиеся на хозрасчете. И вышел заведующий и начал вертеться между медными касками. И словно заколдовал шланги. Лилась вода, гремела ругань, лазили по лестницам, и ничего не вышло — не отстояли канцелярию.

Но проклятый огонь, не состоящий на хозрасчете и не поддающийся колдовству, с канцелярии полез дальше и выше, и дом сгорел, как соломенный.

Киевляне — народ правдивый, и все в один голос рассказывали эту историю. Но даже если это и не так, все-таки основной факт налицо — дом сгорел.

Но это ничего. Киевское коммунальное хозяйство начало обнаруживать признаки бурной энергии. С течением времени, если все будет, даст бог, благополучно, все это отстроится.

И сейчас уже в квартирах в Киеве горит свет, из кранов течет вода, идут ремонты, на улицах чисто и ходит по улицам этот самый коммунальный трамвай.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Это киевские вывески. Что на них только написано, уму непостижимо.

Оговариваюсь раз и навсегда: я с уважением отношусь ко всем языкам и наречиям, но тем не менее киевские вывески необходимо переписать.

Нельзя же, в самом деле, отбить в слове «гомеопатическая» букву «я» и думать, что благодаря этому аптека

превратится из русской в украинскую. Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан: «голярня», «перукарня», «цирульня» или просто-напросто «парикмахерская»!

Мне кажется, что из четырех слов — «молошна», «молочна», «молочарня» и «молошная» — самым подходящим будет пятое — «молочная».

Ежели я заблуждаюсь в этом случае, то в основном я все-таки прав — можно установить единообразие. По-украински, так по-украински. Но правильно и всюду одинаково.

А то что, например, значит «С.М.Р. іхел»? Я думал, что это фамилия. Но на голубом фоне совершенно отчетливы точки после каждой из трех первых букв. Значит, это начальные буквы каких-то слов? Каких?

Прохожий киевлянин на мой вопрос ответил:

— Чтоб я так жил, как я это знаю.

Что это такое «Karacik» — это понятно, означает «Портной Карасик»; «Дитячій притулок» — понятно благодаря тому, что для удобства национальных меньшинств сделан тут же перевод: «Детский сад», но «смеріхел» непонятен еще более, чем «Коуту всерокомпама», и еще более ошеломляющ, чем «їдальня».

НАСЕЛЕНИЕ. НРАВЫ И ОБЫЧАИ

Какая резкая разница между киевлянами и москвичами! Москвичи — зубастые, напористые, летающие, спешащие, американизированные. Киевляне — тихие, медленные и без всякой американизации. Но американской складки людей любят. И когда некто в уродливом пиджаке с дамской грудью и наглых штанах, подтянутых почти до колен, прямо с поезда врывается в их переднюю, они спешат предложить ему чай, и в глазах у них живейший интерес. Киевляне обожают рассказы о Москве, но ни одному москвичу я не советую им что-нибудь рассказывать. Потому что, как только вы выйдете за порог, они хором вас признают лгуном. За вашу чистую правду.

Лишь только я раскрыл рот и начал бесстрастное повествование, в глазах у моих слушателей появились такие веселые огни, что я моментально обиделся и закрылся. Попробуйте им объяснить, что такое казино, или «Эрмитаж» с цыганскими хорами, или московские

пивные, где выпивают море пива и хоры с гармониками поют песнь о разбойнике Кудеяре:

Господу богу помолимся...—

что такое движение в Москве, как Мейерхольд ставит пьесы, как происходит сообщение по воздуху между Москвой и Кенигсбергом, или какие хваты сидят в трестах, и т. д.

Киев такая тихая заводь теперь, темп жизни так непохож на московский, что киевлянам все это непонятно.

Киев стихает к полуночи. Наутро чиновники идут на службу в свои всерокомпомы, а жены нянчат ребят, а свояченицы, чудом не сокращенные, напудрив носы, отправляются служить в «Ару».

«Ара» — солнце, вокруг которого, как земля, ходит Киев. Все население Киева разделяется на пьющих какао счастливцев, служащих в «Аре» (I-й сорт людей), счастливцев, получающих из Америки штаны и муку (II-й сорт), и чернь, не имеющую к «Аре» никакого отношения.

Женитьба заведующего «Арой» (пятая по счету) — событие, о котором говорят все. Ободранное здание бывшей «Европейской» гостиницы, возле которого стоят киевские джиприкши,— великий храм, набитый салом, хинином и банками с надписью «Evaporated milk».

И вот кончается все это. «Ара» в Киеве закрывается, заведующий-молодожен уезжает в июне на пароходе в свою Америку, а между свояченицами стоит скрежет зубовный. И в самом деле, что будет — неизвестно. Хозрасчет лезет в тихую заводь изо всех щелей, управляющий домом угрожает ремонтом парового отопления и носится с каким-то листом, в котором написано: «Смета в золотом исчислении».

А какое тут золотое исчисление у киевлян! Они гораздо беднее москвичей. И, сократившись, куда суется киевская барышня? Плацдарм маленький, и всекомпомов на всех не хватит.

АСКЕТИЗМ

Нэп катится на периферию медленно, с большим опозданием. В Киеве теперь то, что в Москве было в конце 1921 года. Киев еще не вышел из периода аскетизма. В нем, например, еще запрещена оперетка. В Киеве торгуют магазины (к слову говоря, дрянью), но не

выпирают нагло «Эрмитажи», не играют в лото на каждом перекрестке и не шляются на дутых шинах до рассвета, напившись «Абрау-Дюрсо».

СЛУХИ

Но зато киевляне вознаграждают себя слухами. Нужно сказать, что в Киеве целая пропасть старушек и пожилых дам, оставшихся ни при чем. Буйные боевые годы разбили семьи, как нигде. Сыновья, мужья, племянники или пропали без вести, или умерли в сыпняке, или оказались в гостеприимной загранице, из которой не знают, как обратно выбраться, или «сокращены по штату». Никаким компомам старушки не нужны, собес не может их накормить, потому что не такое учреждение собес, чтоб в нем были деньги. Старушкам действительно невмоготу, и живут они в странном состоянии: им кажется, что все происходящее — сон. Во сне они видят сон другой — желанную, чаемую действительность. В их головах рождаются картины...

Киевляне же, надо отдать им справедливость, газет не читают, находясь в твердой уверенности, что там заключается «обман». Но, так как человек без информации немыслим на земном шаре, им приходится получать сведения с евбаза (еврейский базар), где старушки вынуждены продавать канделябры.

Оторванность киевлян от Москвы, тлетворная их близость к местам, где зарождались всякие Тютюники, и, наконец, порожденная 19-м годом уверенность в непрочности земного является причиной того, что в телеграммах, посылаемых с евбаза, они не видят ничего невероятного.

Поэтому: епископ Кентерберийский инкогнито был в Киеве, чтобы посмотреть, что там делают большевики (я не шучу). Папа римский заявил, что если «это не прекратится», то он уйдет в пустыню. Письма бывшей императрицы сочинил Демьян Бедный...

В конце концов пришлось плюнуть и не разуверять.

ТРИ ЦЕРКВИ

Это еще более достопримечательно, нежели вывески. Три церкви — это слишком много для Киева. Старая, живая и автокефальная, или украинская.

Представители второй из них получили от остроумных киевлян кличку: Живые попы.

Более меткого прозвища я не слыхал во всю свою жизнь. Оно определяет означенных представителей полностью — не только со стороны их принадлежности, но и со стороны свойств их характера.

В живости и проворстве они уступают только одной организации — Попам украинским.

И представляют полную противоположность представителям старой церкви, которые не только не обнаруживают никакой живности, но, наоборот, медлительны, растерянны и крайне мрачны.

Положение таково: старая ненавидит живую и автокефальную, живая — старую и автокефальную, автокефальная — старую и живую.

Чем кончится полезная деятельность всех трех церквей, сердца служителей которых питаются злобой, могу сказать с полнейшей уверенностью: массовым отпадением верующих от всех трех церквей и ввержением их в пучину самого голого атеизма. И повинны будут в этом не кто иные, как сами попы, дискредитировавшие в лоск не только самих себя, но самую идею веры.

В старом, прекрасном, полном мрачных фресок, в Софийском соборе детские голоса — дисканты нежно возносят моления на украинском языке, а из царских врат выходит молодой человек, совершенно бритый и в митре. Умолчу о том, как выглядит сверкающая митра в сочетании с белесым лицом и живыми беспокойными глазами, чтобы приверженцы автокефальной церкви не расстраивались и не вздумали бы сердиться на меня (должен сказать, что пишу я все это отнюдь не весело, а с горечью).

Рядом — в малой церкви, потолок которой затянут траурными фестонами многолетней паутины,— служат старые по-славянски. Живые тоже облюбовали себе места, где служат по-русски. Они молятся за Республику, старым полагается молиться за патриарха Тихона, но этого нельзя ни в коем случае, и думается, что не столько они молятся, сколько тихо анафемствуют, и, наконец, за что молятся автокефальные — я не знаю. Но подозреваю. Если же догадка моя справедлива, могу им посоветовать не тратить сил. Молитвы не дойдут. Бухгалтеру в Киеве не бывать.

В результате в головах киевских евбазных старушек произошло полное затмение. Представители старой церкви открыли богословские курсы; кадрами слушателей явились эти самые старушки (ведь это же нужно додуматься!). Смысл лекций прост — виноват во всей тройной кутерьме — сатана.

Мысль безобидная, на курсы смотрят сквозь пальцы, как на учреждение, которое может причинить вред лишь его участникам.

Первую неприятность из-за этих курсов получил лично я. Добрая старушка, знающая меня с детства, наслушавшись моих разговоров о церквах, пришла в ужас, принесла мне толстую книгу, содержащую в себе истолкование ветхозаветных пророчеств, с наказом непременно ее прочитать.

— Прочти,— сказала она,— и ты увидишь, что антихрист придет в 1932 году. Царство его уже наступило.

Книгу я прочел, и терпение мое лопнуло. Тряхнув кой-каким багажом, я доказал старушке, что, во-первых, антихрист в 1932 году не придет, а во-вторых, что книгу писал несомненный и грязно невежественный шарлатан.

После этого старушка отправилась к лектору курсов, изложила всю историю и слезно просила наставить меня на путь истины.

Лектор прочитал лекцию, посвященную уже специально мне, из которой вывел, как дважды два четыре, что я не кто иной, как один из служителей и предтеч антихриста, осрамив меня перед всеми моими киевскими знакомыми.

После этого я дал себе клятву в богословские дела не вмешиваться, какие б они ни были — старые, живые или же автокефальные.

НАУКА, ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Нет.

Слов для описания черного бюста Карла Маркса, поставленного перед Думой в обрамлении белой арки, у меня нет. Я не знаю, какой художник сотворил его, но это недопустимо.

Необходимо отказаться от мысли, что изображение знаменитого германского ученого может вылепить всякий, кому не лень.

Трехлетняя племянница моя, указав на памятник, нежно говорила:

— Дядя Карла. Цёрный.

ФИНАЛ

Город прекрасный, город счастливый. Над разлившимся Днепром, весь в зелени каштанов, весь в солнечных пятнах.

Сейчас в нем великая усталость после страшных громыхающих лет. Покой.

Но трепет новой жизни я слышу. Его отстроят, опять закипят его улицы, и станет над рекой, которую Гоголь любил, опять царственный город. А память о Петлюре да сгинет.

САМОЦВЕТНЫЙ БЫТ

Из моей коллекции

Все правда, за исключением последнего: «прогрессивный аппетит».

1. В ВОЛНАХ АЗАРТА

Знакомый журналист сообщил мне содержание следующего документа:

«Гражданину директору казино
Капельмейстера З.

Заявление

Имею честь заявить, что в вашем уважаемом «Монако» я проиграл: бесценные мои наследственные золотые часы, пять тысяч рублей дензнаками 23 г. и 16 инструментов вверенного мне духового оркестра, каковой вследствие этого закрылся 5 числа.

Ввиду того, что я нахожусь теперь в ожидании пролетарского суда за несдачу казенного обмундирования, выразившегося в гимнастерке, штанах и поясе, прошу для облегчения моей участи выдать мне хотя бы три тысячи».

На заявлении почерком ошеломленного человека написано: «Выдать».

2. СРЕДСТВО ОТ ЗАСТЕНЧИВОСТИ

Лично я получил такую заметку, направленную из глухой провинции в редакцию столичной газеты:

«Товарищ редактор,

Пропустите, пожалуйста, мою статью или, проще выразиться, заметку с пригвождением к черной доске нашего мастера Якова (отчество и фамилия). Означенный Яков (отчество и фамилия) омрачил наш Международный праздник работницы 8 марта, появившись на эстраде в качестве содокладчика как зюзя пьяный. По своему состоянию он, не читая содоклада, а держась руками за лозунги и оборвав два из них, лишь улыбался бесчисленной аудитории наших работниц, которая дружно, как один, заполнила клуб.

Когда заведующий культотделом спросил у Якова о причине его такого позорного выступления, он ответил, что выпил перед содокладом от страха, ввиду того, что он с женским полом застенчив. Позор Якову (отчество и фамилия). Таких застенчивых в нашем профессиональном союзе не нужно».

3. СКОЛЬКО БРОКГАУЗА МОЖЕТ ВЫНЕСТИ ОРГАНИЗМ

В провинциальном городишке В. лентяй библиотекарь с лентяями из местного культотдела плюнули на работу, перестав заботиться о сколько-нибудь осмысленном снабжении рабочих книгами.

Один молодой рабочий, упорный человек, мечтающий об университете, отравлял библиотекарю существование, спрашивая у него советов о том, что ему читать. Библиотечная крыса, чтобы отвязаться, заявила, что сведения «обо всем решительно» имеются в словаре Брокгауза.

Тогда рабочий начал читать Брокгауза. С первой буквы — А.

Чудовищно было то, что он дошел до пятой книги (Банки — Бергер).

Правда, уже со второго тома слесарь стал плохо есть, как-то осунулся и сделался рассеянным. Он со вздохом, меняя прочитанную книгу на новую, спрашивал у культотдельской грымзы, засевшей в пыльных книжных баррикадах, «много ли осталось»? В пятой книге с ним стали

происходить странные вещи. Так, среди бела дня он увидел на улице В. у входа в мастерские Бана Абуль Абас-Ахмет-Ибн-Магомет-Отман-Ибн-Аль, знаменитого арабского математика, в белой чалме.

Слесарь был молчалив в день появления араба, написавшего «Тальме-Амаль-Аль-Хисоп», догадался, что нужно сделать антракт, и до вечера не читал. Это, однако, не спасло его от 2-х визитов в молчании бессонной ночи — сперва развитого синдика вольного ганзейского города Эдуарда Банкса, а затем правителя канцелярии малороссийского губернатора Димитрия Николаевича Бантыш-Каменского.

День болела голова. Не читал. Но через день двинулся дальше. И все-таки прошел через Банювангис, Бньюмас, Боньер де-Бигир и через два Боньякавало, человека и город.

Крах произошел на самом простом слове «Барановские». Их было 9: Владимир, Войцех, Игнатий, Степан, 2 Яна, а затем Мечислав, Болеслав и Богуслав.

Что-то сломалось в голове у несчастной жертвы библиотекаря.

— Читаю, читаю,— рассказывал слесарь корреспонденту,— слова легкие: Мечислав, Богуслав, и хоть убей, не помню — какой кто. Закрою книгу — все вылетело! Помню одно: Мадриан. Какой, думаю, Мадриан? Нет там никакого Мадриана. На левой стороне есть два Баранецких. Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мадриан.

У него на глазах были слезы.

Корреспондент вырвал у него словарь, прекратив пытку. Посоветовал забыть все, что прочитал, и написал о библиотекаре фельетон, в котором, не выходя из пределов той же пятой книги, обругал его безголовым моллюском и барсучьей шкурой.

4. ИНОСТРАННОЕ СЛОВО «МОТИВИРОВАТЬ»

На Н... заводе в провинции нэпман совместно с администрацией отвоевали у рабочего квартиру, зажав его с семьей в сыром и вонючем подвале.

Бедняга долго барахтался в сетях юридических кляуз, пока, наконец, не пришел в отчаяние и не написал в московскую газету послание, предлагая «заплатить последнее», лишь бы его напечатать.

Газета письмо напечатала. Через две недели пришло второе:

«Не знаю, как вас и благодарить. Дали квартиру. Только администрация мотивировала меня разными словами в оправдание своих доводов как кляузника».

5. «РАБОТА СРЕДИ ЖЕНЩИН»

Ответственный работник из центра, прямо с поезда сорвавшись, обрушился в провинциальное учреждение типа просветительного.

— Как, товарищ, у вас работа среди женщин? — скороговоркой грянул столичный, типа — time is money[1].

— Ничего,— добродушно ответил ему провинциальный, безответственный, беспартийный, дыхнув самогонкой,— у нас насчет этого хорошо. Я с третьей бабой живу.

6. Р.У.Р.

«Мы вам не Рур»,— было написано на плакате.

— Российское управление Романовых,— прочитала моя знакомая дама и прибавила: — Это остроумно. Хотя, вообще говоря, я не люблю большевистского остроумия.

7. КУРСКАЯ АНОМАЛИЯ

— А много ее действительно,— спросил квартхоз, возвращая мне газету,— или так, очки втирают. Ежели много, можно было бы англичанам продать...

— Вот именно,— согласился я,— пускай подавятся!

8. ПРОГРЕССИВНЫЙ АППЕТИТ

Подоходный налог. Одного обложили в 10 миллиардов. Срок 10-го числа в 4 час. дня. Он 9-го утром принес деньги и не протестовал и не подавал заявлений. Молча уплатил.

«Мы его мало обложили»,— смекнул инспектор и обложил дополнительно в 100 миллиардов. Срок 15-го, 4 час. дня.

14-го в 10 ч. утра принес.

— Эге-ге! — сказал инспектор.

Обложили в триллион. 20-го, 4 час. дня.

---

[1] *время — деньги (англ.).*

20-го в 4 час. дня обложенный привез на ломовике печатный станок.

— Печатайте сами,— сказал он растерянно.

Анекдот сочинен московскими нэпманами, изъязвленными налогом.

САМОГОННОЕ ОЗЕРО

(Повествование)

В десять часов вечера под Светлое Воскресенье утих наш проклятый коридор. В блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтанье и бабка Павловна, торгующая папиросами, умерла. Решил это я потому, что из комнаты Павловны не доносилось криков истязуемого ее сына Шурки.

Я сладострастно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка Твена. О, миг блаженный, светлый час!..

...И в десять с четвертью вечера в коридоре трижды пропел петух.

Петух — ничего особенного. Ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще Москва не Берлин, это раз, а во-вторых, человека, живущего полтора года в коридоре № 50, не удивишь ничем. Не факт неожиданного появления петуха испугал меня, а то обстоятельство, что петух пел в десять часов вечера. Петух — не соловей и в довоенное время пел на рассвете.

— Неужели эти мерзавцы напоили петуха? — спросил я, оторвавшись от Твена, у моей несчастной жены.

Но та не успела ответить. Вслед за вступительной петушиной фанфарой начался непрерывный вопль петуха. Затем завыл мужской голос. Но как! Это был непрерывный басовой вой в до-диез, вой душевной боли и отчаяния, предсмертный тяжкий вой.

Захлопали все двери, загремели шаги. Твена я бросил и кинулся в коридор.

В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумленных жителей знаменитого коридора, стоял неизвестный мне гражданин. Ноги его были растопырены, как ижица, он покачивался и, не закрывая рта, испускал этот самый исступленный вой, испугавший меня. В коридоре я расслышал, что нечленораздельная длинная нота (фермато) сменилась речитативом.

— Так-то,— хрипло давился и завывал неизвестный гражданин, обливаясь крупными слезами,— Христос Воскресе! Очень хорошо поступаете! Так не доставайся же никому!! А-а-а-а!!

И с этими словами он драл пучками перья из хвоста у петуха, который бился у него в руках.

Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что петух совершенно трезв. Но на лице у петуха была написана нечеловеческая мука. Глаза его вылезали из орбит, он хлопал крыльями и выдирался из цепких рук неизвестного.

Павловна, Шурка, шофер, Аннушка, Аннушкин Миша, Дуськин муж и обе Дуськи стояли кольцом в совершенном молчании и неподвижно, как вколоченные в пол. На сей раз я их не виню. Даже они лишились дара слова. Сцену обдирания живого петуха они видели, как и я, впервые.

Квартхоз квартиры № 50 Василий Иванович криво и отчаянно улыбался, хватая петуха то за неуловимое крыло, то за ноги, пытался вырвать его у неизвестного гражданина.

— Иван Гаврилович! Побойся бога! — вскрикивал он, трезвея на моих глазах.— Никто твоего петуха не берет, будь он трижды проклят! Не мучай птицу под Светлое Христово Воскресение! Иван Гаврилович, приди в себя!

Я опомнился первым и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина. Петух взметнулся, ударился грузно о лампочку, затем снизился и исчез за поворотом, там, где Павловнина кладовка. И гражданин мгновенно стих.

Случай был экстраординарный, как хотите, и лишь поэтому он кончился для меня благополучно. Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта квартира, могу подыскать себе особняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов, занимаясь «неизвестно какими делами», и что я вообще совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому что это ее Шурка. И пусть я заведу себе «своих Шурок» и ем их с кашей. «Я, Павловна, если вы еще раз ударите Шурку по голове, подам на вас в суд, и вы будете сидеть год за истязание ребенка»,— помогало плохо. Павловна грозилась, что она подаст «заявку» в правление, чтобы меня выселили. «Ежели кому не нравится, пусть идет туда, где образованные».

Словом, на сей раз ничего не было. В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в Москве. Неизвестного гражданина квартхоз и Катерина Ивановна под руки вывели на лестницу. Неизвестный шел багровый, дрожа и покачиваясь, молча и выкатив убойные, угасающие глаза. Он был похож на отравленного беленой (atropa belladonna).

Обессилевшего петуха Павловна и Шурка поймали под кадушкой и тоже унесли.

Катерина Ивановна, вернувшись, рассказала:

— Пошел мой сукин сын (читай «квартхоз» — муж Катерины Ивановны), как добрый, за покупками. Купил-таки у Сидоровны четверть. Гаврилыча пригласил — идем, говорит, попробуем. Все люди как люди, а они налакались, прости, господи, мое согрешение, еще поп в церкви не звякнул. Ума не приложу, что с Гаврилычем сделалось. Выпили они, мой ему и говорит: чем тебе, Гаврилыч, с петухом в уборную иттить, дай я его подержу. А тот возьми и взбеленись. А, говорит, ты, говорит, петуха моего хочешь присвоить? И начал выть. Что ему почудилось, господь его ведает!..

В два часа ночи квартхоз, разговевшись, выбил все стекла, избил жену — и свой поступок объяснил тем, что она заела ему жизнь. Я в это время был с женою у заутрени, и скандал шел без моего участия. Население квартиры дрогнуло и вызвало председателя правления. Председатель правления явился немедленно. С блестящими глазами и красный, как флаг, посмотрел на посиневшую Катерину Ивановну и сказал:

— Удивляюсь я тебе, Василь Иваныч. Глава дома — и не можешь с бабой совладать.

Это был первый случай в жизни нашего председателя, когда он не обрадовался своим словам. Ему лично, шоферу и Дуськину мужу пришлось обезоруживать Василь Иваныча, причем он порезал себе руку (Василь Иваныч, после слов председателя, вооружился кухонным ножом, чтобы резать Катерину Ивановну. «Так я ж ей покажу»).

Председатель, заперев Катерину Ивановну в кладовке Павловны, внушал Иванычу, что Катерина Ивановна убежала, и Василь Иваныч заснул со словами:

— Ладно. Я ее завтра зарежу. Она моих рук не избежит.

Председатель ушел со словами:

— Ну и самогон у Сидоровны. Зверь самогон.

В три часа ночи явился Иван Сидорыч. Публично заявляю: если бы я был мужчина, а не тряпка, я, конечно, выкинул бы Ивана Сидорыча вон из своей комнаты. Но я его боюсь. Он самое сильное лицо в правлении после председателя. Может быть, выселить ему и не удастся (а может, и удастся, черт его знает!), но отравить мне существование он может совершенно свободно. Для меня же это самое ужасное. Если мне отравят существование, я не могу писать фельетоны, а если я не буду писать фельетоны, то произойдет финансовый крах.

— Драсс... гражданин журн...лист,— сказал Иван Сидорыч, качаясь, как былинка под ветром.— Я к вам.

— Очень приятно.

— Я насчет эсперанто...

— ?

— Заметку бы написа... статью... Желаю открыть общество... Так и написать. Иван Сидорыч, эсперантист, желает, мол...

И вдруг Сидорыч заговорил на эсперанто (кстати: удивительно противный язык).

Не знаю, что прочел эсперантист в моих глазах, но только он вдруг съежился, странные кургузые слова, похожие на помесь латинско-русских слов, стали обрываться, и Иван Сидорыч перешел на общедоступный язык.

— Впрочем... извин...с... я завтра.

— Милости просим,— ласково ответил я, подводя Ивана Сидорыча к двери (он почему-то хотел выйти через стену).

— Его нельзя выгнать? — спросила по уходе жена.

— Нет, детка, нельзя.

Утром в девять праздник начался матлотом, исполненным Василием Ивановичем на гармонике (плясала Катерина Ивановна), и речью вдребезги пьяного Аннушкиного Миши, обращенной ко мне. Миша от своего лица и от лица неизвестных мне граждан выразил мне свое уважение.

В 10 пришел младший дворник (выпивший слегка), в 10 ч. 20 м. старший (мертво пьяный), в 10 ч. 25 м. истопник (в страшном состоянии). Молчал и молча ушел. 5 миллионов, данные мною, потерял тут же в коридоре.

В полдень Сидоровна нахально не долила на три пальца четверть Василию Ивановичу. Тот тогда, взяв пустую четверть, отправился куда следует и заявил:

— Самогоном торгуют. Желаю арестовать.

— А ты не путаешь?—мрачно спросили его где следует.— По нашим сведениям, самогону в вашем квартале нету.

— Нету?—горько усмехнулся Василий Иванович.— Очень даже замечательны ваши слова.

— Так вот и нету. И как ты оказался трезвый, ежели у вас самогон? Иди-ка лучше проспись. Завтра подашь заявление, которые с самогоном.

— Тэк-с... понимаем,— сказал, ошеломленно улыбаясь, Василий Иваныч.— Стало быть, управы на их нету? Пущай не доливают. А что касается, какой я трезвый, понюхайте четверть.

Четверть оказалась с «явно выраженным запахом сивушных масел».

— Веди!—сказали тогда Василию Ивановичу. И он привел.

Когда Василий Иванович проснулся, он сказал Катерине Ивановне:

— Сбегай к Сидоровне за четвертью.

— Очнись, окаянная душа,— ответила Катерина Ивановна,— Сидоровну закрыли.

— Как? Как же они пронюхали?—удивился Василий Иванович.

Я ликовал. Но ненадолго. Через полчаса Катерина Ивановна явилась с полной четвертью. Оказалось, что забил свеженький источник у Макеича через два дома от Сидоровны. В 7 час. вечера я вырвал Наташу из рук ее супруга, пекаря Володи («Не сметь бить!!», «Моя жена» и т. д.).

В 8 час. вечера, когда грянул лихой матлот и заплясала Аннушка, жена встала с дивана и сказала:

— Больше я не могу. Сделай что хочешь, но мы должны уехать отсюда.

— Детка,— ответил я в отчаянии.— Что я могу сделать? Я не могу достать комнату. Она стоит 20 миллиардов, я получаю четыре. Пока я не допишу романа, мы не можем ни на что надеяться. Терпи.

— Я не о себе,— ответила жена.— Но ты никогда не допишешь романа. Никогда. Жизнь безнадежна. Я приму морфий.

При этих словах я почувствовал, что я стал железным. Я ответил, и голос мой был полон металла:

— Морфию ты не примешь, потому что я тебе этого

не позволю. А роман я допишу, и, смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко.

Затем я помог жене одеться, запер дверь на ключ и замок, попросил Дусю первую (не пьет ничего, кроме портвейна) смотреть, чтоб замок никто не ломал, и увез жену на три дня праздника на Никитскую к сестре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У меня есть проект. В течение двух месяцев я берусь произвести осушение Москвы если не полностью, то на 90%.

Условия: во главе стану я. Штат помощников подберу я сам из студентов. Жалованье им нужно положить очень высокое (рублей 400 золотом. Дело оправдает). 100 человек. Мне — квартиру в три комнаты с кухней и единовременно 1000 рублей золотом. Пенсию жене, в случае если меня убьют.

Полномочия неограниченные. По моему ордеру брать немедля. Судебное разбирательство в течение 24 часов, и никаких замен штрафом.

Я произведу разгром всех Сидоровн и Макеичей и отраженный попутный разгром «Уголков», «Цветков Грузии», «Замков Тамары» и т. под. мест.

Москва станет как Сахара, и в оазисах под электрическими вывесками «Торговля до 12 час. ночи» будет только легкое красное и белое вино.

ШАНСОН Д'ЭТЭ[1]

ДОЖДЛИВАЯ ИНТРОДУКЦИЯ

Лето 1923-е в Москве было очень дождливое. Слово «очень» следует здесь расшифровать. Оно не значит, что дождь шел часто, скажем, через день или даже каждый день, нет, дождь шел три раза в день, а были дни, когда он не прекращался в течение всего дня. Кроме того, раза три в неделю он шел по ночам. Вне очереди начинались ливни. Полуторачасовые густые ливни с зелеными молниями и градом, достигавшим размеров голубиного яйца.

[1] Летняя песня (от *фр.* chanson d'été).

По окончании потопа, лишь только в небе появлялись первые голубые клочья, на улицах Москвы происходили оригинальные путешествия: за 5 миллионов переезжали на извозчиках и ломовых с одного тротуара на другой. Кроме того, можно было видеть мужчин, ездивших друг на друге, и женщин, шедших с ногами, обнаженными до пределов допустимого и выше этих пределов.

В редкие антракты, когда небо над Москвой было похоже на взбитые сливки, москвичи говорили:

— Ну, слава богу, погода устанавливается, уже полчаса дождя не было...

На Тверскую и Театральную площадь выезжали несколько серо-синих бочек, запряженных в одну лошадь, управляемую человеком в прозодежде (брезентовое пальто и брезентовый же шлем). Через горизонтальную трубку, помещенную сзади бочки, сквозь частые отверстия сочилась по столовой ложке вода, оставляя сзади шагом едущей бочки сырую дорожку шириной в два аршина.

Сидя у окна трамвая, я сделал карандашиком в записной книжке подсчет: чтобы полить Театральную площадь, нужно 90 таких одновременно работающих бочек, при условии если они будут ездить карьером.

Небо на издевательство поливального обоза отвечало жуткими пушечными раскатами, косым пулеметным градом, выбивавшим стекла, и реками воды, затоплявшими подвалы. На Неглинном утонули две женщины, потому что Неглинка под землей прорвала трубу и взорвала мостовую. Пожарные команды работали, откачивая воду из кафе «Риш», извозчичьи клячи бесились от секшего града. Это было в июне и в июле. После этого сырой обоз исчез, и дождь принял нормальные формы.

Но если обоз опять появится на Театральной, чтобы дразнить небеса, ответственность за гибель Москвы да ляжет на него.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ГРИБЫ

Дожди вызвали в Москве интересный грибной всход. Первыми появились на всех скрещениях красноголовцы. Это были милиционеры в новой форме. На них фуражки с красными околышами, черным верхом и зеленым кантом, зеленые же петлицы и зеленая же гимнастерка и галифе. Со свистками, кокардами и жезлами в чехлах, они

имеют вид настолько бравый, что глаз приятно отдыхает на них. Милицейское же начальство положительно блестяще.

Ревущие, воющие, крякающие машины в количестве 3 1/2 тысяч бегают по Москве и на всех перекрестках кокетливо-европейски объезжают изваянные красноголовые фигурки на зеленых ножках.

Трамваи в Москве имеют стройный вид: ни на подножках, ни на дугах нет ни одного висящего, и никто — ни один человек в Москве — не прыгает и не соскакивает на ходу. Добился трамвайного идеала Московский Совет в каких-нибудь 5—6 дней гениальным и простым установлением 50 рублевого штрафа на месте преступления. Но в течение этих шести дней возле трамваев и в трамваях была порядочная кутерьма. Красноголовцы с квитанционными книжками выскакивали точно из-под земли и вежливо штрафовали ошалевших россиян.

Наиболее строптивые платили не 50, а пятьсот и уже не на месте прыжка, а в милиции.

ПОЗВОЛЬТЕ ПРИКУРИТЬ

Трамвайный штраф имел совершенно неожиданные последствия. Ровно неделю тому назад на Лубянке я подошел на трамвайной остановке к гражданину и попросил у него прикурить. Вместо того чтобы протянуть мне папиросу, гражданин бросился от меня бежать. Решив, что он сумасшедший, я двинулся дальше по Театральному проезду и получил еще три отказа.

При словах: «Позвольте прикурить»,— граждане бледнели и прятали папиросы за спину. Прикурил я за колонной у Александровского пассажа рядом с «Мюром», причем дававший прикурить озирался, как волк. От него я узнал, что вышло постановление штрафовать за прикуривание на улице. Основание: бездельники задерживают спешащих на службу совработников.

Чистосердечно признаюсь, я был в числе тех, кто поверил. Кончилось все через несколько дней заметкой в «Известиях», в которой московские жители именовались «обывателями». Но меланхолический тон заметки ясно показывал, что исполненный гражданского мужества автор и сам не прикуривал.

Вслед за красными грибами выросли грибы невиданные: с черными головами. Молодые люди мужского и

женского пола в кепи точь-в-точь таких, в каких бывают мальчики-портье на заграничных кинематографических фильмах. Черноголовцы имеют на руках повязки, а на животах лотки с папиросами. На кепи золотая надпись: «Моссельпром».

Итак, Моссельпром пошел в окончательный и решительный бой с уличной нелегальной торговлей. Мысль великолепная, тем более что черноголовые, оказывается, безработные студенты. Но дело в том, что студенты любят читать книжки. Поэтому очень часто на животе лоток, а на лотке «Исторический материализм» Бухарина. «Исторический материализм», спору нет, книга интересная, но торговля имеет свои капризы и законы. Она требует, чтобы человек вертелся, орал, приставал, напоминал о своем существовании. Публика смотрит на черноголовых благосклонно, но товар иногда боится спрашивать у человека с книжкой, потому что приставать с требованием спичек к юноше, занятому чтением,— хамство. Может быть, он к экзамену готовится?

Я бы на этих лотках написал золотом:

«Книжке — время, а торговле — час».

Мне лично больше всего понравился гриб белый. Это многоэтажный дом на Новинском бульваре, который вырос на месте недостроенных, брошенных в военное время, красных кирпичных стен.

Строить, строить, строить! С этой мыслью нам нужно ложиться, с нею вставать. В постройке наше спасение, наш выход, успех. На выставке выросли уже павильоны, выросла железнодорожная ветка, из парков временами выходят блестящие лакированные трамвайные вагоны (вероятно, капитальный ремонт), но нам нужнее дома.

ДАЧНИКИ, ЧЕРТ БЫ ИХ ВЗЯЛ!

Итак, в этом году началось. Они двинулись тучами по всем линиям, расходящимся от Москвы, и сели окрестным пейзанам на шею. Пейзане приняли их как библейскую саранчу, но саранчу жирную и содрали с них за каждый час сидения сколько могли. Весь март Акулины и Егоры покупали на задаточные деньги коров, материал на штаны, косы и домашнюю посуду.

Иван Иванычи и Марьи Иванны забрали с собой керосиновые лампы, «Ключи счастья», одеяла, золотуш-

ных детей и поселились в деревянных курятниках и взвыли от комаров. Чрез неделю оказалось, что комары малярийные. Дачники питались пейзанским молоком, разведенным на 50% водой, и хиной, за которую в дачных аптеках брали в три раза дороже, чем в Москве. На всех речонках расселись паразиты с гнилыми лодками, на станциях паразитки с мороженым, пивом, папиросами, грязными черешнями. В зелени, лаская глаз, выросла красивая надпись:

«Лото на Клязьме с 5 час. вечера»

и повсюду: «Ресторан».

На речонках и прудах до рассвета лопотали моторы. У станций стаями торчали бородачи в синих кафтанах и драли за $^{1}/_{4}$ версты дороже, чем в Москве за $1^{1}/_{2}$ версты.

За мясо, за яблоки, за дрова, за керосин, за синее молоко — вдвое!

— Пляж у нас, господин, замечательный... Останетесь довольны. В воскресенье — чистый срам. Голье, ну, в чем мать родила, по всей реке лежат. Только вот — дожжик! (В сторону.) Что это за люди, прости господи! Днем голые на реке лежат, ночью их черти по лесу носят!

Пейзане вставали в 3 часа утра, чтобы работать, дачники в это время ложились спать. Днем пейзане доили коров, косили, жали, убирали, стучали топорами, дачники изнывали в деревянных клетушках, читали «Атлантиду» Бенуа, шлялись под дождем в тоскливых поисках пива, приглашали дачных врачей, чтобы их лечили от малярии, и по утрам пачками, зевая и томясь, стоя, неслись в дачных вагонах в Москву.

Наконец дождь их доконал, и целыми батальонами они начали дезертировать. В Москву, в «Эрмитаж» и «Аквариум». Еще дней 5—6, и они вернутся все.

Нету от них спасения!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД

Дождь, представьте, опять пошел.

Выйдем на берег.

Там волны будут нам ноги лобзать.

— А вот угле-ей... углееееeей!..

— Вот чертова глотка.

— ...глей... глей!!.

— Который час?

— Половина девятого, чтоб ему издохнуть.

— Это значит, я с шести не сплю. Они навеки в отдушине поселились. Как шесть часов, отец семейства летит и орет как сумасшедший, а потом дети. Знаешь, что я придумала? Ты в них камнем швырни. Прицелься хорошенько, и попадешь.

— Ну да. Прямо в студию, а потом за стекло два месяца служить.

— Да, пожалуй. Дрянные птицы. И почему в Москве такая масса ворон... Вон за границей голуби... В Италии...

— Голуби тоже сволочь порядочная. Ах, черт возьми! Погляди-ка...

— Боже мой! Не понимаю, как ты ухитряешься рвать?

— Да помилуй! При чем здесь я? Ведь он сверху донизу лопнул. Вот тебе твой ГУМ универсальный!

— Он такой же мой, как и твой. Сто миллионов носки на один день. Лучше бы я ромовой бабки купила. На зеленые.

— Ничего, я булавочкой заколю. Вот и незаметно. Осторожнее, ради бога!..

— Ты знаешь, Сема говорит, что это не примус, а оптамус.

— Ну и что?

— Говорит, обязательно взорвет. Потому, что он шведский.

— Чепуху какую-то твой Сема говорит.

— Нет, не чепуху. Вчера в шестнадцатой квартире у комсомолки вся юбка обгорела. Бабы говорят, что это ее бог наказал за то, что она в комсомол записалась.

— Бабы, конечно... они понимают...

— Нет, ты не смейся. Представь себе, только что она записалась, как — трах! — украли у нее новенькие лаковые туфли. Комсомолкина мамаша побежала к гадалке. Гадалка пошептала, пошептала и говорит: взяла их, говорит, женщина, небольшого росту, замужняя, на щеке у ей родинка...

— Постой, постой ...

— Вот то-то ж. Ты слушай. То-то я удивляюсь, как ни

прохожу, все комсомолкина мамаша на мою щеку смотрит. Наконец, потеряла я терпение и спрашиваю: что это вы на меня смотрите, товарищ? А она отвечает: так-с. ничего. Проходите, куда шли. Только довольно нам это странно. Образованная дама, а между тем родинка. Я засмеялась и говорю: ничего не понимаю! А она: ничего-с, ничего-с, проходите. Видали мы блондинок!

— Ах, дрянь!

— Да ты не сердись. Прилетает комсомолка и говорит мамаше: дура ты, у ей муж по 12-му разряду, друг Воздушного Флота, захочет, так он ее туфлями обсыпет всю. Видала чулки телесного цвета? И надоели вы мне, говорит, мамаша, с вашими гадалками и иконами! И собиралась иконы вынести. Я, говорит, их на Воздушный Флот пожертвую. Что тут с мамашей сделалось! Выскочила она и закатила скандал на весь двор. Я, кричит, не посмотрю, что она комсомолка, а прокляну ее до седьмого колена! А тебе, орет, желаю, чтоб ты со своего Воздушного Флота мордой об землю брякнулась!

Баб слетелось видимо-невидимо, и выходит, наконец, комендант и говорит: вы немного полегче, Анна Тимофеевна, а то за такие слова, знаете ли... Что касается вашей дочери, то она заслуживает полного уважения со стороны всего пролетариата нашего номера за борьбу с капиталом Маркса при помощи Воздушного Флота. А вы, Анна Тимофеевна, извините меня, но вы скандалистка, вам надо валерьянкины капли пить! А та как взбеленилась и коменданту: пей сам, если тебе самогонка надоела!

Ну тут уж комендант рассвирепел: я, говорит, тебя, паршивая баба, в 24 часа выселю из дома, так что ты у меня как на аэроплане вылетишь, к свиньям! И ногами начал топать. Топал, топал, и вдруг прибегает Манька и кричит: Анна Тимофеевна, туфли нашлись!

Оказывается, никакая не блондинка, а это Сысоич, мамашин любовник, снес их самогонщице, а Манька...

— Да! Да! Войдите! В чем дело, товарищ?

— Деньги за энергию пожалуйте, 35 лимонов.

— Однако! Пять, десять...

— Это что. В следующем месяце 100 удет. МОГЭС по банкноту берет. Банкнот в гору. И коммунальная энергия за ним. До свиданьи-ус. Виноват-с. Вы к духовному сословию не принадлежите?

— Помилуйте! Кажется, видите... брюки...

— Хе-хе. Это я для порядку. Контора запрашивает для списков. Так я против вас напишу — трудящий элемент.

— Вот именно. Честь имею...

Отцвели уж давно-о-о хризантемы в саду-у!

— Точить ножжжи-ножницы!..

Но любовь все живет в моем сердце больном!

— Брось ты ему пять лимонов, чтоб он заткнулся.

— А за ним шарманка ползет...

— Ну, я полетел... Опаздываю... Приду в пять или в восемь!..

— Молочка не потребуется?.. Дорогие братцы, сестрички, подайте калеке убогому... Клубника. Нобель замечательная... Було ки — свежие французские... Папиросы «Красная звезда». Спич-ки... Обратите внимание, граждане, на убожество мое!

— Извозчик! Свободен?

— Пожалте... Полтора рублика! Ваше сиятельство! Рублик! Господин!! Я катал!! Семь гривен! Я даю! На резвой, ваше высокоблагородие! Куда ехать? Полтинник!

— Четвертак.

— Три гривенничка... Эх, ваше сиятельство, овес.

— Ты куда? Я т-тебе угол срежу!

— Вот оно, ваше превосходительство, житье извозчичье.

— Эх, держи его! Так его. Не сигай на ходу!

— Вор?

— Никак нет. В трамвай на скаку сиганул. На 50 лимонов штрахують.

— Здесь. Стой! Здравствуйте, Алексей Алексеич.

— Праскухин-то... Слышали? 25 червонцев позавчера пристроил! Прислало отделение, а он расписался и, конечно, на бега. Вчера является к заведывающему пустой, как барабан. Тот ему говорит — даю вам шесть часов сроку, пополните. Ну, конечно, откуда он пополнит. Разве что сам напечатает. Ловят его теперь.

— Помилуйте, я его только что в трамвае видел. Едет с какими-то свертками и бутылками...

— Ну так что ж. К жене на дачу поехал отдыхать. Да вы не беспокойтесь. И на даче словят. И месяца не пройдет, как поймают.

— Allo... Да, я... Не готово еще. Хорошо... На отношение ваше за № 21580 об организации при губотделе фонда взаимопомощи сообщаю, что ввиду того, что

губкасса... Машинистки свободны?.. На заседании губпроса было обращено внимание цекпроса на то, запятая... написали?.. что изданное, перед «что» запятая, а не после «что», изданное Моно циркулярное распоряжение, направленное в роно и уоно и губоно... а также утвержденное губсоцвосом... Allo! Нет, повесьте трубку...

— А я тут к вам поэта направил из провинции.

— Ну и свинство с вашей стороны... Вы, товарищ? Позвольте посмотреть...

Но если даже люди
Меня затопчут в грязь,
Я воскликну, смеясь...

Видите ли, товарищ, стихи хорошие, но журнал чисто школьный, народное образование... Право, не могу вам посоветовать... журналов много... Попробуйте... Переутомился я, и денег нет... Сколько, вы говорите, за мной авансу? Уй-юй-юй! Ну, чтоб округлить, дайте еще пятьсот... Триста? Ну, хорошо. Я сейчас поеду по делу, так вы рукописи секретарю передайте... Извозчик! Гривенник!..

— Подайте, барин, сироткам...

— Стой! Здравствуйте, Семен Николаевич!

— В кассе денег ни копейки.

— Позвольте... Что ж вы так сразу... Я ведь еще и не заикнулся...

— Да ведь вы сегодня уже пятый. Капитан за капитаном, Юрий Самойлович за Юрием Самойловичем...

— Знаю, знаю... А патриарх-то? А?

— Капитан поехал его интервьюировать...

— Это интересно... Кстати, о патриархе, сколько за мной авансу?.. Двести? Нет, триста... извозчик! Двугривенный... Стой! Нет, граждане, ей-богу, я только на минуту, по делу. И вечером у меня срочная работа... Ну, разве на минуту... Общее собрание у них... Ну, мы подождем и их захватим... Стой!..

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели!

Ого-го!... А мы сейчас два столика сдвинем... Слушс... Раки получены... Необыкновенные раки... Граждане, как вы насчет раков? А?.. Полдюжины... И трехгорного полдюжины... Или, лучше, чтоб вам не ходить — сразу дюжину!.. Господа! Мы же условились... на минуту...

Иная на сердце забота!..

Позвольте... Позвольте... что ж это он поет?..

В плену... полководец... в плену-у-у...

А! Это другое дело. Ваше здоровье. Братья писатели!.. Семь раз солянка по-московски!

И выйдет к тебе... полководец!
Из гроба твой ве-е-рный солдат!!

Что это он все про полководцев?.. Великая французская... Раки-то, раки! В первый раз вижу...

Bis! Bis!! Народу-то! Позвольте... что ж это такое? Да ведь это Праскухин! Где?! Вон, в углу. С дамой сидит! Чудеса!.. Ну, значит, еще не поймали!.. Гражданин! Еще полдюжинки!

Вни-и-из по ма-а-а-тушке по Во-о-о-лге!..

Эх, гармония хороша! Еду на Волгу! Переутомился я! Билет бесплатный раздобуду, и только меня и видели, потому я устал!

По широкому-у раздолью!..

Батюшки! Выводят кого-то!

— Я не посмотрю, что ты герой труда!!! А...а!!

— Граждане, попрошу неприличными словами не выражаться...

— Граждане, а что, если нам красного напараули?

А?.. Поехали! На минуту... Сюда! Стоп! Шашлык семь раз...

Был душой велик! умер он от ран!!

...Да на трамвае же!.. Да на полчаса!.. Плюньте, завтра напишете!..

— Захватывающее зрелище! Борьба чемпиона мира с живым медведем... Bis!!. Что за черт! Что он, неуловимый, что ли?! Вон он! В ложе сидит!.. Батюшки, половина первого! Извозчик! Извозчик!..

— Три рублика!..

— ...Очень хорошо. Очень.

— Миленькая! Клянусь, общее собрание. Понимаешь. Общее собрание, и никаких. Не мог!

— Я вижу, ты и сейчас не можешь на ногах стоять!

— Деточка. Ей-богу. Что бишь я хотел сказать? Да. Проскухин-то?.. Понимаешь? Двадцать пять червонцев, и, понимаешь, в ложе сидит... Да бухгалтер же... Брюнет...

— Ложись ты лучше. Завтра поговорим.

— Это верно... Что бишь я хотел сделать? Да, лечь... Это правильно. Я ложусь... но только умоляю разбудить меня, разбудить меня непременно, чтоб меня черт взял, в десять минут пятого... нет, пять десятого... Я начинаю новую жизнь... Завтра...

— Слышали. Спи.

ПСАЛОМ

Первоначально кажется, что это крыса царапается в дверь. Но слышен очень вежливый человеческий голос:

— Мозно зайти?

— Можно, пожалуйте.

Поют дверные петли.

— Иди и садись на диван!

(От двери.) — А как я по паркету пойду?

— А ты тихонечко иди и не катайся. Ну-с, что новенького?

— Нициво.

— Позвольте, а кто сегодня утром ревел в коридоре?

(Тягостная пауза.) — Я ревел.

— Почему?

— Меня мама наслепала.

— За что?

(Напряженнейшая пауза.) — Я Сурке ухо укусил.

— Однако.

— Мама говорит, Сурка — негодяй. Он дразнит меня, копейки поотнимал.

— Все равно, таких декретов нет, чтоб из-за копеек уши людям кусать. Ты, выходит, глупый мальчик.

(Обида.) — Я с тобой не возусь.

— И не надо.

(Пауза.) — Папа приедет, я ему сказу. (Пауза.) Он тебя застрелит.

— Ах так. Ну, тогда я чай не буду делать. К чему? Раз меня застрелят...

— Нет, ты цай делай.

— А ты выпьешь со мной?

— С конфетами? Да?

— Непременно.

— Я выпью.

На корточках два человеческих тела — большое и маленькое. Музыкальным звоном кипит чайник, и конус жаркого света лежит на странице Джерома Джерома.

— Стихи-то ты, наверное, забыл?

— Нет, не забыл.

— Ну, читай.

— Ку...куплю я себе туфли...

— К фраку.

— К фраку, и буду петь по ноцам...

— Псалом.

— Псалом... И заведу... себе собаку...

— Ни...

— Ни-ци-во-о...

— Как-нибудь проживем.

— Нибудь как. Пра-зи-ве-ем.

— Вот именно. Чай закипит, выпьем. Проживем. (Глубокий вздох.) Пра-зи-ве-ем.

Звон. Джером. Пар. Конус. Лоснится паркет.

— Ты одинокий.

Джером падает на паркет. Страница угасает.

(Пауза.) — Это кто же тебе говорил?

(Безмятежная ясность.) — Мама.

— Когда?

— Тебе пуговицу когда присивала. Присивала. Присивает, присивает и говорит Натаске...

— Так-с. Погоди, погоди, не вертись, а то я тебя обварю... Ух!..

— Горяций, ух!

— Конфету какую хочешь, такую и бери.

— Вот я эту больсую хоцу.

— Подуй, подуй, и ногами не болтай.

(Женский голос за сценой.) — Славка!

Стучит дверь. Петли поют приятно.

— Опять он у вас. Славка, иди домой!

— Нет, нет, мы с ним чай пьем.

— Он же недавно пил.

(Тихая откровенность.) — Я... не пил.

— Вера Ивановна. Идите чай пить.

— Спасибо, я недавно...

— Идите, идите, я вас не пущу...

— Руки мокрые... Белье я вешаю...

(Непрошеный заступник.) — Не смей мою маму тянуть.

— Ну, хорошо, не буду тянуть... Вера Ивановна, садитесь...

— Погодите, я белье повешу, тогда приду.

— Великолепно. Я не буду тушить керосинку.

— А ты, Славка, выпьешь, иди к себе. Спать. Он вам мешает.

— Я не месаю. Я не салю.

Петли поют неприятно. Конусы в разные стороны. Чайник безмолвен.

— Ты уже спать хочешь?

— Нет, я не хоцу. Ты мне сказку расскази.

— А у тебя уже глаза маленькие.

— Нет. Не маленькие. Расскази.

— Ну, иди сюда, ко мне. Голову клади. Так. Сказку? Какую же тебе сказку рассказать? А?

— Про мальчика, про того...

— Про мальчика? Это, брат, трудная сказка. Ну, для тебя, так и быть...

Ну-с, так вот, жил, стало быть, на свете мальчик. Да-с. Маленький, лет так приблизительно четырех. В Москве. С мамой. И звали этого мальчика Славка.

— Как меня?

— ...Довольно красивый, но был он, к величайшему сожалению, драчун. И дрался он чем ни попало — кулаками, и ногами, и даже калошами. А однажды по лестнице девочку из 8-го номера, славная такая девочка, тихая, красавица, а он ее по морде книжкой ударил.

— Она сама дерется...

— Погоди. Это не о тебе речь идет.

— Другой Славка?

— Совершенно другой. На чем бишь я остановился? Да... Ну, натурально, пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же, в самом деле, драки позволять. А Славка все-таки не унимался. И дошло дело до того, что в один прекрасный день Славка поссорился с Шуркой, тоже мальчик такой был, и, не долго думая, хвать его зубами за ухо, и пол-уха как не бывало. Гвалт тут поднялся. Шурка орет. Славку порют, он тоже орет... Кой-как приклеили Шуркино ухо синдетиконом. Славку, конечно, в угол поставили... И вдруг — звонок. И является совершенно неизвестный господин с огромной рыжей бородой и в синих очках и спрашивает басом: «А позвольте узнать, кто здесь будет Славка?» Славка отвечает: «Это я Славка».— «Ну, вот что,— говорит,— Славка, я — надзиратель над всеми драчунами, и придется мне тебя, уважаемый Славка, удалить из Москвы. В Туркестан». Видит Славка, дело

плохо, и чистосердечно раскаялся. «Признаюсь,— говорит,— что дрался, я и на лестнице играл в копейки, а маме бессовестно наврал, сказал, что не играл... Но больше этого не будет, потому что я начинаю новую жизнь».— «Ну,— говорит надзиратель,— это — другое дело. Тогда тебе следует награда за чистосердечное твое раскаяние». И немедленно повел Славку в наградной раздаточный склад. И видит Славка, что там видимо-невидимо разных вещей. Тут и воздушные шары, и автомобили, и аэропланы, и полосатые мячики, и велосипеды, и барабаны. И говорит надзиратель: «Выбирай, чего твоя душа хочет». А вот что Славка выбрал, я и забыл...

(Сладкий, сонный бас.) — Велосипет?

— Да, да, вспомнил — велосипед. И сел немедленно Славка на велосипед, и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и в рожок трубит, а публика стоит на тротуаре, удивляется: «Ну и замечательный же человек этот Славка. И как он под автомобиль не попадет?» А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: «Право держи!» Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает, и идут солдаты и марш играют, так что в ушах звенит...

— Уже?..

Петли поют. Коридор. Дверь. Белые руки, обнаженные по локоть.

— Боже мой. Давайте, я его раздену.

— Приходите же. Я жду.

— Поздно...

— Нет, нет... И слышать не хочу...

— Ну, хорошо.

Конусы света. Начинает звенеть. Выше фитили. Джером не нужен — лежит на полу. В слюдяном окне керосинки маленький, радостный ад. Буду петь по ночам псалом. Как-нибудь проживем. Да, я одинокий. Псалом печален. Я не умею жить. Мучительнее всего в жизни — пуговицы. Они отваливаются, как будто отгнивают. Отлетела на жилете вчера одна. Сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади. Я не умею жить с пуговицами, но я все вижу и все понимаю. Он не приедет. Он меня не застрелит. Она говорила тогда в коридоре Наташке: «Скоро вернется муж, и мы уедем в Петербург». Ничего он не вернется. Он не вернется, поверьте мне. Семь месяцев его нет, и три раза я видел случайно, как она

плачет. Слезы, знаете ли, не скроешь. Но только он очень много потерял от того, что бросил эти белые, теплые руки. Это его дело, но я не понимаю, как же он мог Славку забыть...

Как радостно спели петли...

Конусов нет. В слюдяном окошке черная мгла. Давно замолк чайник.

Свет лампы тысячью маленьких звуков глядит сквозь реденький сатинет.

— Пальцы у вас замечательные. Вам бы пианисткой быть.

— Вот поеду в Петербург, опять буду играть...

— Вы не поедете в Петербург. У Славки на шее такие же завитки, как и у вас. А у меня тоска, знаете ли. Скучно так, чрезвычайно как-то. Жить невозможно. Кругом пуговицы, пуговицы, пуго...

— Не целуйте меня... Не целуйте... Мне нужно уходить... Поздно...

— Вы не уйдете. Вы там начнете плакать. У вас есть эта привычка.

— Неправда. Я не плачу. Кто вам сказал?

— Я сам знаю. Я сам вижу. Вы будете плакать, а у меня тоска... тоска...

— Что я делаю... Что вы делаете...

Конусов нет. Не светит лампа сквозь реденький сатинет. Мгла. Мгла.

Пуговиц нет. Я куплю Славке велосипед. Не куплю себе туфли к фраку, не буду петь по ночам псалом. Ничего, как-нибудь проживем.

ЗОЛОТИСТЫЙ ГОРОД

I

ПИЩА БОГОВ

Жуткая свинья. От угла рояля до двери в комнату Анны Васильевны.

— Вася!! Ведь ты врешь?

— Вру? Вру? Поезжайте сами посмотрите! Это обидно, в конце концов, все, что ни скажу, все вру! Сто восемнадцать пудов свинья.

— Ты сам видел?

— Все видели.

— Нет, ты скажи, ты сам видел?

— Ну... мне Петров рассказывал... Чудовищная свинья!

— Лгун твой Петров чудовищный. Ведь такая свинья в товарный вагон не влезет, как же ее в Москву везли?

— Я почем знаю! Может быть, на этой... как ее... на открытой платформе. Или на грузовике.

— Где ж такую свинью развели?

— А черт ее знает! В каком-нибудь совхозе. Конечно, не мужицкая. Мужицкие свиньи паршивые, маленькие, как кошки. Вот и притащили им такую, с автомобиль. Они посмотрят, посмотрят, да и сами заведут таких.

— Нет, Вася... Ты такой человек... такой человек...

— Ну, черт с вами! Не буду больше рассказывать!

II

НА МОСКВЕ-РЕКЕ

Августовский вечер ясен. В пыльной дымке по Садовому кольцу летят громыхающие ящики трамвая «Б» с красным аншлагом: «На выставку». Полным полно. Обгоняют грузовики и легкие машины, поднимая облако пыли и бензинового дыму.

На Смоленском толчея усиливается. Среди шляпок и шляп вырастает белая чалма, среди спин пиджаков — полосатая спина бухарского халата. Еще какие-то шафранные скуластые лица, раскосые глаза.

Каменный мост в ущелье-улице показывается острыми красными пятнами флагов. По мосту, по пешеходным дорожкам льется струя людей, и навстречу, гудя, вылезает облупленный автобус. С моста разворачивается городок. С первого же взгляда, в заходящем солнце на берегу Москвы-реки, он легок, воздушен, стремителен и золотист.

Публика высыпается из трамвая, как из мешка. На усыпанных песком пространствах перед входами муравейник людей.

Продавцы с лотками выкрикивают:

— Дюшесс, дюшесс сладкий!

И машины рявкают, ползают, пробираясь в толпе. На

остановках стена людей, осаждающих обратные «Б», а у касс хвосты.

И всюду дальше дерево, дерево, дерево. Свежее, оструганное, распиленное, золотое, сложившееся в причудливые башни, павильоны, фигуры, вышки.

Чешуя Москвы-реки делит два мира. На том берегу низенькие, одноэтажные, красные, серенькие домики, привычный уют и уклад, а на этом — разметавшийся, острокрыший, островерхий, колючий город-павильон.

Из трамвая, отдуваясь, выбирается фигура хорошо и плотно одетая, с золотой цепочкой на животе, окидывает взором буйную толчею и бормочет:

— Черт их знает, действительно! На этом болоте лет пять надо было строить, а они в пять месяцев построили! Манечка! Надо будет узнать, где тут ресторан!

Толстая Манечка, гремя и сверкая кольцами, браслетами, цепями и камеями, впивается в пиджак, и пара спешит к кассам.

Турникеты скрипят, и продавцы и продавщицы значков Воздушного Флота налетают со всех сторон.

— Гражданин, значок! Значок!

— Газета «Смычка» с планом выставки! Десять рублей! С подробным планом!

Под ногами хрустит песок. Направо разноцветный, штучный, словно из детских кубиков сложенный павильон.

III

КУСТАРНЫЙ

Из глубины — медный марш. У входа, в синей форме, в синем мягком шлеме, дежурный пожарный. «Зажигать огонь и курить строго воспрещается». Сигнал. «В случае пожара...» и т. д. У стола отбирают дамские сумки и портфели.

Трехсветный, трехэтажный павильон весь залит пятнами цветных экспонатов по золотому деревянному фону, а в окнах синеющая и стальная гладь Москвы-реки.

«Sibcustprom» — изделия из мамонтовой кости. Маленький бюст Троцкого, резные фигурные шахматы, сотни вещиц и безделушек.

Горностаевым мехом по овчине белые буквы «Н.К.В.Т.», и щиты, и на щитах меха. Черно-бурые

лисицы, черный редкий волк, песцы разные — недопесок, синяк, гагара. Соболя прибайкальские, якутские, нарымские, росомахи темные.

Бледный кисейный вечерний свет в окне и спальня красного дерева. Столовая. И всюду Троцкий, Троцкий, Троцкий. Черный бронзовый, белый гипсовый, костяной, всякий.

«Игрушки — радость детей», и Кустсоюз выбросил ликующую золото-сине-красную гамму и карусель.

Мальцевский завод, Кузнецовские фабрики работают, и Продасиликат уставил полки разноцветным стеклом, фарфором, фаянсом, глиной. Разрисованные чайники, чашки, посуда — экспорт на Восток, в Бухару.

Комиссия, ведающая местами заключения, показала работы заключенных: обувь, безделушки. Портрет Карла Маркса глядит сверху.

«Gosspirt». От легких растворителей масел, метиловых спиртов и ректификата к разноцветным 20-ти градусным водкам, пестроэтикетной башенной рябиновке-смирновке. Мимо плывет публика, и вздохи их вьются вокруг поставца, ласкающего взоры. Рюмки в ряду ждут избранных — спецов-дегустаторов.

Уральские самоцветы, яшма, малахит, горный дымчатый хрусталь. На гигантском столе модель фабрики галош, опять меха, ткани, вышивки, кожи. Вижу в приволе, куда сбегают легкие лестницы, экипажи, брички показательной образцовой мастерской. Бочки, оси, колеса...

Лампы вспыхивают над потолком, на стенах, павильон наливается теплым светом, угасает Москва-река за окном.

IV

ЦВЕТНИК—ЛЕНИН

Шуршит песок. Тень легла на Москву. Белые шары горят, в высоте арка оделась огнями. Киоск с пивом осаждают. Духота.

Главное здание — причудливая смесь дерева и стекла.

В полумраке — внутренний цветник. У входа — гигантские резные деревянные торсы. А на огромной площади утонула трибуна в гуще тысячной толпы. Слов не слышно, но видна женская фигура. Несомненно, деревенская баба в белом платочке. Последние ее слова покрывает не крик, а грохот толпы, и отзывается на него

издалека затерявшийся под краем подковы — главного павильона — оркестр. С трибуны исчезает белый платок, вместо него черный мужской силуэт.

— Доро-гой! Ильич!!

Опять грохот. Затем буйный марш и рядами толпа валит между огромным цветником и зданием открытого театра к Нескучному на концерт. В рядах плывут клинобородые мужики, армейцы в шлемах, пионеры в красных галстуках, с голыми коленями, женщины в платочках, сельские бородатые захолустные фигуры и московские рабочие в картузах.

Даму отрезало рекой от театра. Она шепчет:

— Не выставка, а черт знает что! От пролетариата прохода нет. Видеть больше не могу!

Пиджак отзывается сиплым шепотом:

— Н-да, трудновато!

И их начинает вертеть в водовороте.

К центру цветника непрерывное паломничество отдельных фигур. Там знаменитый на всю Москву цветочный портрет Ленина. Вертикально поставленный, чуть наклонный, двускатный щит, обложенный землей, и на одном скате с изумительной точностью выращен из разноцветных цветов и трав громадный Ленин, до пояса. На противоположном скате отрывок его речи.

Три электросолнца бьют сквозь легкие трельяжи, решетки и мачты открытого театра. Все дерево, все воздушное, сквозное, просторное. На громадной сцене медный оркестр льет вальс, и черным-черны скамьи от народу.

V

ВЕЧЕР. УЗБЕКИ

Тень покрывает город и Москву-реку. В фантастическом выставочном цветнике полумрак, и в нем цветочный Ленин кажется нарисованным на громадном полотне.

Павильоны, что тянутся по берегу реки к Нескучному, начинают светиться. Ослепительно ярко загорается павильон с гипсовыми мощными торсами, поддерживающими серые пожарные шланги. На фронтоне, на стене надписи. Пожары в деревне. Борьба с пожарами. В павильоне полный свет, но еще стоят внутри кой-где леса. Он еще не окончен.

— Не беспокойтесь, завтра откроют. Со мной так было: утром придешь, посмотришь работу, а вечером этого места не узнаешь — кончили!

И опять: свет, потом полумрак. Горит павильон Сельскосоюза. В стеклах дыни, груши. Рядом — темноватая глыба. Чернеет подпись «Закрыто». В полумраке, в отсвете ламп с отдаленных фонарей, в кафе, на берегу реки, едят и пьют. Сюда, на берег реки, еще не дали света.

По Москве-реке бегут огоньки на лодках. Стучит в отдалении мотор, и распластанный гидроплан прилепился к самому берегу. Армейцы в шлемах тучей облепили загородку, смотрят водяную алюминиевую птицу.

В полумраке же квадраты и шашечные клетки показательных орошаемых участков, темны и неясны очертания у цветников, окаймляющих павильоны рядом белых астр. Пахнут по-вечернему цветы табака.

По дорожкам народ группами стремится к Туркестанскому павильону, входит в него толпами. Внутри блестит причудливая деревянная резьба, свет волной. Снаружи он расписан пестро, ярко, необыкновенно.

И тотчас возле него начинает приветливо пахнуть шашлыком.

Там, где беседка под самым берегом, память угасшего отжившего века Екатерины — Павла — Александра, на грани, где зеленым морем надвигается Нескучный сад с огнями электрическими, резкими, новыми, вдоль берега кипят гигантские самовары, бродят тюбетейки, чалмы.

За туркестанским хитрым, расписным домом библейская какая-то арба. Колеса-гиганты, гигантские шляпки гвоздей, гигантские оглобли. Арба. Потом по берегу, вдоль дороги, под деревьями навесы деревянные и низкие настилы, крытые восточными коврами. Манит сюда запах шашлыка москвичей, и белые московские барышни, ребята, мужчины в европейских пиджаках, поджав ноги в остроносых ботинках, с расплывшимися улыбками на лицах, сидят на пестрых толстых тканях. Пьют из каких-то безруких чашек. Стоят перетянутые в талию, тускло блестящие восточные сосуды.

В печах под навесами бушует красное пламя, висят на перекладинах бараньи освежевшие туши. Мечутся фартухи. Мелькают черные головы.

Раскаленный уголь в извитую громоздкую трубку, и

черный неизвестный восточный гражданин республики курит.

— Кто вы такие? Откуда? Национальность?

— Узбеки. Мы.

Что ж. Узбеки так узбеки. К узбеку в кассу сыпят 50-ти и сторублевые бумажки.

— Четыре порции. Шашлык.

Пельмени ворчат у печей. Жаром веет. Хруст и говор. Едят маслящиеся пельмени, едят какой-то витой белый хлеб, волокут шашлык на тарелках.

Мимо навесов по дороге непрерывно идут и идут в Нескучный сад. Оттуда доносится то глухо, то ясными взрывами музыка.

VI

ДВИЖЕНИЕ

По дорожкам, то утрамбованным, то зыбким и рыхлым, снуют и снуют, идут вперед к туркестанцам, идут назад к выходам. По дороге еще буфет и тоже темно. Тоже еще не дали свету. Но и там звенят ложечки и стаканы.

Круглое, светящееся преграждает путь. Павильон Нарпита. В кольцевой галерее снаружи, конечно, едят и пьют и подает «услужающий» в какой-то диковинной фуражке с красным ярлыком. Внутри, в стеклянном граненом павильоне, чинно и чисто. Диаграммы, масляными красками вдоль всей верхней части стены картины будущего общественного питания. Общественные кухни с наилучшим техническим оборудованием. Общественные столовые.

Посредине сервирован стол. Так чисто, на красивой посуде будут есть, когда процветет «Narpit».

Выставка теперь живет до 12 часов ночи. Но за два, за три часа по пескам, в суете, по пространству с уездный город, и вот ноги больше не хотят ходить.

На выставку надо ездить много — раз пять, шесть, чтобы успеть хоть сколько-нибудь добросовестно осмотреть, что-нибудь запомнить, всюду побывать.

На выход! На выход! Домой!

И вот у выходов долгий, скучный, тяжелый фокус. Отсюда в город трамвай идет полный, до отказа. Тучи ждут. Когда в него попадешь?

Вот мелькнула надежда. Стоит черный автомобиль с продолговатыми лавками.

— Берете публику?

— Нет. Это машина Горбанка.

Но вот спасительный красный ящик. Неуклюж, как слон, облуплен, тяжел, грузен.

— До Страстного?

— 75 рублей.

Скорее садиться. Места занимают вмиг.

О боже! Кишки вытрясет!

Последним на ходу вскакивает некто с портфелем. Физиономия настолько озабоченная, портфель настолько внушительный, взгляды настолько сосредоточенные, что сразу видно — не простой смертный, а выставочный. Так и есть.

— Вот я организую автобусное движение. На хороших машинах.

— Очень бы хорошо было. А то, знаете ли, пропадешь.

— Еще бы... Ведь это не машина, а...

Но не успел организатор сказать, что именно. Тряхнуло так, что язык вскочил между зубами.

Так и надо. Скорее организовывай.

И загудело, и замотало, и начало качать по набережной к храму Христа.

— Только бы живым выйти!

VII

ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

Две недели я не был на выставке, и за эти две недели резко изменился деревянный город.

Он окрасился, покрылся цветными пятнами. Затем исчезли последние леса у павильонов, исчез мусор. Почва под сентябрьским солнцем высохла, утрамбовалась, и идти теперь легко.

Потом город запыхтел, и застучал, и заиграл. Посетителей стало все больше, и в праздничные дни начинается толчея. Впечатление такое, что всех вливающихся за турникеты охватывает какое-то радостное возбуждение. Крики газетчиков, звуки оркестров, толпа, краски — все это поднимает настроение. Как грибы выросли киоски —

пивные, папиросные, винные, фруктовые, молочные. И надо сказать, что они очень облегчают осмотр и хождение. За несколько часов ходьбы под теплым солнцем хочется пить.

VIII

НАДИЯ НА БОГА И ПОЖАРНЫЙ ТЕЛЕГРАФ

Зычный пожарный трубный сигнал. Белый павильон, испещренный лозунгами. «Центральный пожарный отдел».

Громадные белые торсы поддерживают серые шланги. Кто делал? Резинотрест.

Дальше брезентовые костюмы на манекенах, каски, упряжь, насосы. Диаграммы, рисунки, плакаты, картины.

Смысл: деревню надо отстоять. Деревню надо учить не только бороться с пожарами, но и их предупреждать. Во всю стену огнеупорная стена из «соломита» — прессованной соломы. Работа Стройноторга.

Над соломитом громадное полотно: без всяких футуристических ухищрений реально написана картина — горит деревня. Мечутся лошади, полыхает пламя, и женщины простоволосые простирают руки к небу. Старуха с иконой.

Подпись: «Кому разум не помог, молитва не поможет».

Харьков выставил литографии. На одной украинец спокойный и веселый у беленькой хаты. Он потому спокойный, что он меры против пожара принимал.

А рядом нищий оборванный у пепелища. «Я не вживав заходив проти пожеж. Жив на одчай и покладав надию на бога — й пожежа довела мене до вбожества».

Красные блестящие коробки пожарных телеграфов, сложные телефоны, сигнализация, модели, показывающие, как проложить трубы от печек, чтобы они были безопасны, ценные огнетушители «Богатыря» и «Рекорда», водоподъемник системы «Шенелис», всевозможные виды керосиновых ламп и лозунги, лозунги и диаграммы.

Голос руководителя:

— Этим концом ударяете об землю и затем направляете струю куда угодно...

IX

КАК СБЕРЕЧЬ СВОИ ЛЕСА

В Дом крестьянина — большой двухэтажный дом — вовлекла толпа экскурсантов.

Женщина с красной повязкой на рукаве шла впереди и объясняла:

— Сейчас, товарищи, мы с вами пройдем в Дом крестьянина, где вы прежде всего увидите уголок нашего Владимира Ильича...

В Доме такая суета, что разбегаются глаза, и смутно запоминаются лишь портреты Ленина, Калинина и еще какие-то картинки.

Стучат, идут вверх, вниз. И вдруг — дверь, и, оказывается, внутри театр. Сцена без занавеса. У избушки баба в платочке, целый конклав умных клинобородых мужиков в картузах и сапогах и один глупый, мочальный и курносый, в лаптях. Он, извольте видеть, без всякого понятия свел целый участок леса.

— Товарищи! Мыслимое ли это дело? А? — восклицает умный, украшенный картузом, обращаясь к публике,— прав он или не прав? Если не прав, поднимите руки.

Публика с удовольствием созерцает дурака, вырубившего участок, но, не будучи еще приучена к соборному действу, рук не поднимает.

— Выходит, стало быть, прав? Пущай вырубает? Здорово! — волнуется картуз на сцене,— товарищи, кто за то, что он не прав, прошу поднять руки!

Руки поднимаются у всех.

— Это так! — удовлетворен обладатель цивилизованного головного убора,— присудим мы его назвать дураком!

И дурак с позором уходит, а умные начинают хором петь куплеты. Заливается гармония.

Надо, надо нам учиться,
Как сберечь свои леса,
Чтоб потом не очутиться
Без избы и колеса!

Ходят, выходят, спешно распаковывают какую-то посуду. Вероятно, для крестьянской столовки. И опять валит навстречу толпа, и опять женский голос:

— ...и увидите уголок Владимира...

X

КАРАМЕЛЬ, ТАБАК И ПИВО

От Дома крестьянина по берегу реки больше вглубь, в зелень, к Нескучному саду. Неузнаваемое место. По-прежнему вековые деревья и тени, гладь пруда, но в зелени белые, цветные причудливые здания. И почти изо всех пыхтенье, стрекотание, стук машин.

Вон он Моссельпром. Грибом каким-то. Под шапкой надпись «Ресторан».

И со входа сразу охватывает сладкий запах карамели. Белые колпаки, снежные халаты. Мнут карамельную массу, машина режет карамельные конуса. На плитах тазы с начинкой. Барышни-зрительницы висят на загородке — симпатичный павильон! 2-я Государственная кондитерская фабрика имени П. А. Бабаева, бывшие знаменитые «Абрикосов и сыновья».

На стенах — диаграммы государственного дрожжевого № 1 завода Моссельпром.

В банках и ампулах сепарированные дрожжи, сусло, солод ячменный и овсяной, культуры дрожжей.

Диаграммы производительности 1-ой Государственной макаронной фабрики все того же вездесущего Моссельпрома.

В январе 1923 года макаронных изделий — 7042 пуда, в мае — 10 870 пудов.

В следующем отделении запах табаку убивает карамель. Халаты на работницах синие. «Дукат». По-иностранному тоже написано: «Doukat». Машины режут, набивают, клеют гильзы. Выставка разноцветных коробок, и среди них уже появились «Привет с выставки».

Дальше приютился славный фруктовый, бывш. Калинкин, ныне Первый завод фруктовых вод.

В карбонизаторе при 5 атмосферах углекислота насыщает воду. Фильтры Chamberland'a.

Разлив пива. Машина брызжет, моет бутылки, мелькают изумительного проворства руки работниц в тяжелых перчатках. Вертится барабан разливной машины, и пенистое золотистое пиво Моссельпрома лезет в бутылки.

За стойкой тут же посетители его покупают и пьют кружками.

Показательная выставка бутылок — что выпускает бывш. Калинкин теперь? Все. По-прежнему сифоны с содовой и сельтерской, по-прежнему разноцветные бутылки со всевозможными водами. И приятны ярлыки: «На чистом сахаре».

XI

ОПЯТЬ ТАБАК, ПОТОМ ШЕЛКА, А ПОТОМ УСТАЛОСТЬ

Здесь что? Павильон Табакотреста.

Здесь б. Асмолов, а теперь Донская государственная фабрика в Ростове-на-Дону. Тоже режут машины табак, набивают папиросы. Здесь торгуют специальными расписными остроgranными коробками по сотне только что изготовленных папирос.

Растут зеленые лапчатые табаки — тыккульк, дюбек, тютюн. Стоят модели огневых сушильных сараев, висят цапки, шнуры, иглы. Пестрят лозунги: «Мотыженье в пору — даст обилие сбору», «Вершки и пасынок оборвешь, лучший лист соберешь».

Идет заведующий и говорит о том, насколько сократилась площадь плантаций в России и какие усилия употребляются, чтобы поощрить табаководство на Кубани, в Крыму, на Кавказе.

Гильз на рынке мало, и теперь в России не выделывают табаку, а только готовые папиросы.

* * *

Недалеко от павильона, где работает Асмолов, павильон с гигантским плакатом «Махорка». Плакат кричит крестьянину: «Сей махорку — это выгодно».

Довольно табаку! Дальше!

* * *

И вот павильон текстильный. ВСНХ. Здесь прекрасно. Во-первых, он внешне хорош. Два корпуса, соединенных воздушной галереей-балконом с точеной балюстрадой. Зелень обступила текстильное царство. Внутри же бесконечная в двух этажах гамма красок, бесконечные волны шелков, полотен, шевиотов, ситцу, сукон.

Начинается с Петроградского гос. пенькового треста, «The Petrograd State Hemp Trust», выставившего канаты, и мешки, и веревки, и диаграммы, а дальше непрерывным рядом драпированных гостиных идут вязниковские льняные фабрики, опять пеньковые тресты, Гаврило-Ямская мануфактура с бельевыми и простынными полотнами и десятки трестов: шелкотрест, хлопчатобумажный трест, Иваново-Вознесенский текстильный... камвольный, Мострикоб...

Московский текстильный институт, со своими шелковичными червями, которые тут же непрерывно жуют, жуют груды зеленых листьев...

После осмотра текстильного треста ноги больше не носят. Назад, к Москве-реке, к лавочкам, отдыхать, курить, смотреть, но не «осматривать»... В один раз не осмотришь все равно и десятой доли. Поэтому — назад. Мясохладобойни, скороморозилки Наркомтруда — потом павильон НКПСа — потом (сияющий паровоз вылезает прямо в цветник) Мосполиграф — потом...

К набережной — смотреть закат.

XII

КООПЕРАЦИЯ! КООПЕРАЦИЯ! НЕУДАЧНИК ЯПОНЕЦ

А он прекрасен — закат. Вдали догорают золотые луковицы Христа Спасителя, на Москва-реке лежат зыбкие полосы, а в городе-выставке уже вспыхивают бледные электрические шары.

Толпа густо стоит перед балконом павильона Центросоюза, обращенным на реку. Цветные пестрые ширмы на балконе, а под ними три фигурки. Агитационный кооперативный Петрушка.

За прилавком круглый купец в жилетке объегоривает мужика. В толпе взмывает смех. И действительно, мужик замечательный. От картуза до котомки за спиной. Какое-то особенное специфически мужицкое лицо. Сделана фигурка замечательно. И голос у мужика неподражаемый. Классный мужик.

— Фирма существует 2000 лет,— рассыпается купец.

— Батюшки!— изумляется мужик.

Он машет деревянными руками, и трясет бородой, и призывает господа бога, и получает от жулика купца крохотный сверток товара за миллиард.

Но является длинноносый Петрушка-кооператор, в зеленом колпаке, и вмиг разоблачает штуки толстосума, и тут же устраивает кооперативную лавку и заваливает мужика товаром. Побежденный купец валится набок, а Петрушка танцует с мужиком дикий радостный танец, и оба поют победную песнь своими козлиными голосами:

Кооперация! Кооперация,
Даешь профит ты нации!..

— Товарищи,— вопит мужик, обращаясь к толпе,— заключим союз и вступим все в Центросоюз.

* * *

У пристани Доброфлота — сотни зрителей. Алюминиевая птица — гидроаэроплан «RRDae» — в черных гигантских калошах стоит у берега. Полет над выставкой — один червонец с пассажира. В толпе — разговоры, уже описанные незабвенным Иваном Феодоровичем Горбуновым.

— «Юнкерс» шибче «Фоккера»!

— Ошибаетесь, мадам, «Фоккер» шибче.

— Удивляюсь, откуда вы все это знаете?

— Будьте покойны. Нам все это очень хорошо известно, потому мы в Петровском парке живем.

— Но ведь вы сами не летаете?

— Нам не к чему. Сел на 6-й номер — и в городе.

— Трусите?

— Червонца жалко.

— Идут. Смотри, японцы идут! Летать будут!

Три японца, маленькие, солидные, сухие, хорошо одетые, в роговых очках. Публика встречает их сочувственным гулом за счет японской катастрофы.

Двое влезли благополучно и нырнули в кабину, третий сорвался с лестнички и, в полосатых брюках, и в клетчатом пальто, и в широких ботинках,— сел в воду с плеском и грохотом.

В первый раз в жизни был свидетелем молчания московской толпы. Никто даже не хихикнул.

— Не везет японцам в последнее время...

Через минуту гидроплан стремительно проходит по воде, подымая бурный пенный вал, а через две — он уже уходит гудящим жуком над Нескучным садом.

— Улетели три червончика,— говорит красноармеец.

XIII

БОИ ЗА ТРАКТОР. ВЛАДИМИРСКИЕ РОЖЕЧНИКИ

Вечер. Весь город унизан огнями. Всюду белые ослепительные точки и кляксы света, а вдали начинают вертеться в темной вечерней зелени цветные рекламные колеса и звезды.

В театре три электрических солнца заливают сцену. На сцене стол, покрытый красным сукном, зеленый огромный ковер и зелень в кадках. За столом президиум — в пиджаках, куртках и пальтишках. Оказывается, идет диспут: «Трактор и электрификация в сельском хозяйстве».

Все лавки заняты. Особенно густо сидят.

Наступает жгучий момент диспута.

Выступал профессор-агроном и доказывал, что нам в настоящий момент трактор не нужен, что при нашем обнищании он ляжет тяжелым бременем на крестьянина. Возражать скептику и защищать его записалось 50 человек, несмотря на то что диспут длится уже долго.

За конторкой появляется возбужденный оратор. В солдатской шинелишке и картузе.

— Дорогие товарищи! Тут мы слышали разные слова — «электрификация», «машинизация», «механизация» и тому подобное и так далее. Что должны означать эти слова? Эти слова должны обозначать не что иное, товарищи, что нам нужны в деревне электричество и машины. (Голоса в публике: «Правильно!») Профессор говорит, что нам, мол, трактор не нужен. Что это обозначает, товарищи? Это означает, товарищи, что профессор наш спит. Он нас на старое хочет повернуть, а мы старого не хотим. Мы голые и босые победили наших врагов, а теперь, когда мы хотим строить, нам говорят ученые — не надо? Ковыряй, стало быть, землю лопатой? Не будет этого, товарищи. («Браво! Правильно!»)

Появляются сапоги-бутылки из Смоленской губернии и сладким тенором спрашивают, какой может быть трактор, когда шпагат стоит 14 рублей золотом?

Профессор в складной речи говорит, что он ничего... Что он только против фантазий, взывает к учету, к благоразумию, строгому расчету, требует заграничного кредита, и в конце концов начинает говорить стихами.

Появляется куцая куртка и советует профессору, ежели ему не нравится в России, которая желает иметь тракторы, удалиться в какое-нибудь другое место, например в Париж.

После этого расстроенный профессор накрывается панамой с цветной лентой и со словами:

— Не понимаю, почему меня называют мракобесом?— удаляется в тьму.

Оратор из Наркомзема разбивает положения профессора, ссылается на канадских эмигрантов и зовет к электрификации, к трактору, к машине.

Прения прекращаются.

И в заключительном слове председатель страстно говорит о фантазерах и утверждает, что народ, претворивший не одну уже фантазию в действительность, в последние 5 изумительных лет не остановится перед последней фантазией о машине. И добьется.

— А он не фантазер?

И рукой невольно указывает туда, где в сумеречном цветнике на щите стоит огромный Ленин.

* * *

Кончен диспут. Валит еще гуще народ в театр. А на сцене, став полукругом, десять клинобородых владимирских рожечников высвистывают на длинных деревянных самодельных дудках старинные русские песни. То стонут, то заливаются дудки, и невольно встают перед глазами туманные поля, избы с лучинами, тихие заводи, сосновые суровые леса. И на душе не то печаль от этих дудок, не то какая-то неясная надежда. Обрывают дудки, обрывается мечта. И ясно гудит в последний раз гидроплан, садясь на реку, и гроздьями, букетами горят огни, и машут крыльями рекламы. Слышен из Нескучного медный марш.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЦЖЗ

БЕСПОКОЙНАЯ ПОЕЗДКА

МОНОЛОГ НАЧАЛЬСТВА

(Не сказка, а быль)

Мальбрук в поход собрался!..

Песня

— Ну-с, происходило это, стало быть, таким образом. Напившись чаю, выехал я со своими сотрудниками, согласно маршруту, вечером со станции Новороссийск. Перед самым отъездом приходит какой-то и говорит:

— Вот,—говорит,—история: круг у нас поворотный ремонтируется. Ума не приложу, как нам вас повернуть?

Задумались мы. Наконец я и говорю: пущай нас в таком случае в Тихорецкой повернут. Ладно. В Тихорецкой так в Тихорецкой. Сели, засвистали, поехали. Нуте-с, приезжаем в Тихорецкую. Вовремя, представьте себе. Смотрю на часы—удивляюсь: минута в минуту! Вот, говорю, здорово. И, конечно, сглазил. Словно сатана у них на поворотный круг уселся. Вертели, вертели, часа полтора, может быть, вертели. Чувствую, что у меня головокружение начинается. Скоро ли?..—кричу. Сей минут,—отвечают. Ну-с, повернули, стали поезд составлять. Я из окна смотрю: положительно, молодецкая работа—бегают, свистят, флажками машут. Молодцы, говорю, ребятишки на этой Тихорецкой—работяги. Ну и, конечно, сглазил. Перед самым отъездом является какой-то и говорит:

— Так что ехать невозможно...

— Как?!—кричу.—Почему?..

— Да,—говорит,—вагоны сейчас из состава выкидать будем. Неисправные они.

— Так выкидайте скорей!—кричу.—На какого лешего вы их запихнули?..

Ничего не ответил. Застенчиво усмехнулся и вышел. Начали опять свистеть, махать, бегать. Наконец выкинули больные вагоны. Опоздали мы таким методом на два часика с половиной.

Наконец тронулись. Слава тебе, господи, думаю, теперь покатим. Ну и сглазил, понятное дело!

Развил наш поезд такую скорость, что, представьте, потерял я пенсне из окна, так проводник соскочил, подобрал и рысью поезд догнал. Я кричу тогда: что вы, смеетесь, что ли? Как же я при такой скорости состояние пути и подвижного состава определю?.. Развить, говорю, мне в 24 секунды скорость, предельную для товарных поездов на означенном участке! Ну-с, вообразите, наорал на них таким манером, и жизни был не рад! Развили они скорость, и что тут началось—уму непостижимо! Загремели, покатились, через пять минут слышу вопль: «Стой, стой!! Стой, чтоб тебя раздавило!» Веревку дергают, флагом машут. Я перепугался насмерть, ну, думаю, пропали! В чем дело, кричу. Так что, отвечают, буксы горят. Вышел я из себя. Кричу: «Что это за безобразие! На каком основании горят? Прекратить! Убрать! Отцепить!»

Великолепно-с. На первой станции отцепили вагон. Сыпанули мы дальше.

Ну, понимаете ли, трех шагов не проскакали, как опять гвалт. В двух вагонах загорелись буксы! Выкинули эти два, на следующем перегоне еще в двух загорелись. Через пять станций глянул я в окно — и ужаснулся: выехал я, был поезд длинный, как парижский меридиан, а теперь стал короткий, как поросячий хвост. Святители угодники, думаю, ведь этак еще верст сорок — и я весь поезд растеряю. А вдруг, думаю, и в моем вагоне загорится, ведь они и меня отцепят, к лешему, на какой-нибудь станции! А меня в Ростове ждут. Призываю кого следует и говорю: «Вы вот что, того... полегче. Ну вас в болото с вашей предельной скоростью. Поезжайте, как порядочные люди ездят, а не вылупив глаза».

Отлично-с, поехали мы, и направляюсь я к смотровому окну, чтобы на путь поглядеть, и как вы думаете, что я вижу? Сидят перед самыми глазами у меня на буферах два каких-то кандибобера. Я высовываюсь из окна и спрашиваю:

— Эт-то что такое?.. Что вы тут делаете?

А они, представьте, отвечают, да дерзко так:

— То же, что и ты. В Ростов едем.

— Как? — кричу.— На буферах?.. Да-к вы, выходит, зайцы?!.

— Понятное дело,— отвечают,— не тигры.

— Как,— кричу,— зайцы?.. На буферах?.. У меня?.. В служебном?.. Вагоне?!. Вылетайте отсюда как пробки!!

— Да,— отвечают,— вылетайте! Сам вылетай, если тебе жизнь надоела. Тут на ходу вылетишь, руки-ноги поломаешь!

Что тут делать. А?.. Кричу: «Дать сигнал! А-с-становить поезд!.. Снять зайцев!»

Не тут-то было. Сигнала-то, оказывается, нету. Никакой непосредственной связи с паровозом.

Стали мы в окна кричать машинисту:

— Эй! Милый человек! Э-эй! Как тебя? Будь друг, тормозни немножко! — Не тут-то было. Не слышит!

Что прикажете делать? А эти сидят на буферах, хихикают.

— Что,— говорят,— сняли? Выкуси!

Понимаете, какое нахальство? Мало того, что нарушение правил, но, главное, не видно ни черта в смотровые окна. Торчат две какие-то улыбающиеся рожи и заслоня-

ют весь пейзаж. Вижу я, ничего с ними не поделаешь, пустился в переговоры.

— Вот что,— говорю,— нате вам по пятьдесят целковых, чтоб вы только слезли.

Не согласились. Давай, говорят, по пятьсот! Что ты прикажешь делать?

И вот, представьте, как раз, на мое счастье,— подъем. Поезд, понятное дело, стал. Не берет. Ну, уж тут я обрадовался. Кричу, берите их, рабов божиих! Пущай им покажут кузькину мать, как на буферах ездить! Ну, понятное дело, слетелись кондуктора, забрали их, посадили в вагон и повезли. Прекрасно-с. Только что я пристроился к окну, как поезд — стоп! Что еще?! — кричу. Оказывается, опять из-за зайцев этих проклятых. Удержать их нет возможности! Рвутся из рук, и шабаш! Сделали мы тут военный совет и наконец решили: отпустить их, к свиньям. Так и сделали. Выпустили их в четырех верстах от станции. Они поблагодарили, говорят, спасибо, нам как раз до этой станции, а четыре версты мы пешком пройдем...

Поехали, через десять минут — стоп! Что?! Заяц! Ну, тут уж я не вытерпел — заплакал. Что ж это, говорю, за несчастье такое? Доеду я когда-нибудь до Ростова или нет?! Говорю, а у самого слезы ручьем так и льются. Я плачу, кондуктора ревут, и заяц не выдержал, заревел. И до того стало мне противно все это, что глаза б мои не смотрели! Махнул я рукой, задернул занавески и спать лег. В Ростов приехал, от нервного расстройства лечился. Вот оно, какие поездки бывают!

ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА

В комнате, освещенной керосиновой лампой, сидел конторщик 2-й восстановительной организации Угрюмый и говорил своему гостю, конторщику Петухову:

— Хорошо вам, чертям! Живете в Киеве. Там у вас древности всякие, святыни, монастыри, театры и кабаре... а в этом паршивом Полоцке ничего нет, кроме грязи и свиней. Правда, что у вас эти самые... купола обновляются?

— Врут,— басом ответил Петухов,— ходил я смотреть на сенной базар. Купол как купол. Это бабы выдумали.

— Плохо! — вздохнул Угрюмый.— Храмы разваливаются, а бог и ухом не ведет... Вон Спасский монастырь... Совершенно рассыпался. Совзнаков нету на небе, вот главная беда.

Угрюмый вздохнул, поболтал ложечкой в мутном чае и продолжал:

— Кстати о совзнаках. Нету, нету, а то бывает — бац! — и свалятся они тебе на голову. У нас, например, изумительная история с этими знаками произошла. Сделали мы заявку на май на четыре миллиона двести одна тысяча с копейками из расчета на две тысячи семьсот рабочих, а центр возьми да и дай четыре миллиона семьсот тридцать тысяч на фактически бывшие 817 человек.

— Вре!!.— крикнул Петухов.

— Вот тебе и «вре»! — ответил Угрюмый.— Чтоб я с этого места не сошел!

— Так это, стало быть, остаток получается?

— А как же. Но тут, понимаешь ли, задача в том, чтобы денежки эти без остатка в расход запихнуть.

— Это как же? — изумился Петухов.

Угрюмый оглянулся, прислушался и таинственно зашептал:

— А на манер нашего начальника механических мастерских. У него, понимаешь ли, такой обычай — выпишет материалов на заказ в пять раз больше, чем нужно, и все в расход и загонит! Ему уж говорили: смотрите, как бы вам по шапке не попало. Ну да, говорит, по шапке... Руки коротки! У меня уважительная причина — кладовой нет. Способный парень!

— А не сядет? — восторженно спросил Петухов.

— Обязательно сядет. Вспомни мое слово. И сядет из-за мастерских. Не клеится у него с мастерскими, хоть ты плачь. Дрова вручную пилит, потому что приводная пила бездействует, а 30-сильный двигатель качает один вентилятор для четырех кузнечных горнов!

Петухов захохотал и подавился.

— Тише ты! — зашептал Угрюмый,— это что?.. А вот потеха была недавно с заклепками (Угрюмый хихикнул),— зачем, говорит, нам закупать заклепки, когда у нас своя мастерская есть? Я, говорит, на всю Россию заклепок наворочаю! Ну, и наворочал... 308 пудов. Красивые замечательно: кривые, с утолщением и пережженные. Сто

двадцать восемь пудов пришлось в переработку пустить, а остальные и до сих пор на складе стоят.

— Ну, дела! — ахнул Петухов.

— Это что! — оживился Угрюмый,— ты послушай, что у нас с отчетностью творится. У тебя волосы дыбом станут. Есть у нас в механической мастерской Эр-ка-ка, и есть инструментальщик Белявский,— сипел Угрюмый,— он же и член Эр-ка-ка. Так он, представь себе, все заказы себе забрал. Сам расценивает, сам же исполняет и сам деньги получает.

Инженер Гейнеман в целях упрощения всяких формальностей по счетно-финансовой части завел такой порядок. Смотрю я однажды и вижу: счет № 91 на сдельные работы, исполненные сдельщиком Кузнецовым Михаилом с товарищами, на сумму 42 475 р. Выдал артельщик такой-то, получил Кузнецов. И больше ничего!

— Постой,— перебил Петухов,— а может, у него товарищей никаких не было?

— Вот то-то и есть!

— Да и как же это?

— Наивный ты парень,— вздохнул Угрюмый,— у него ж, у Гейнемана этого, весь штат в конторе состоит из родственников. Заведующий Гейнеман, производитель работ — зять его, Марков, техник — его родная сестра Эмма Маркова, конторщица — его дочь родная Гейнеман, табельщик — племянник Гейнеман, машинистка — Шульман, племянница родной жены!

— Внуков у Гейнемана нету? — спросил ошеломленный Петухов.

— Внуков нету, к сожалению.

Петухов глотнул чаю и спросил:

— Позволь, друг, а куда ж Эр-ка-и смотрит?

Угрюмый свистнул и зашептал:

— Чудак! Эр-ка-и! У нас Эр-ка-и — Якутович Тимофей. Славный парнишка, свой человек. Ему что ни дай — все подпишет.

— Добродушный? — спросил Петухов.

— Ни черта не добродушный, а болтают у нас (Угрюмый наклонился к растопыренному уху Петухова), будто получил он десять возов дров из материалов мостов Западной Двины, 4 1/2 пуда муки и 43 аршина мануфактуры. Дай тебе мануфактуры, и ты будешь добродушный.

— Тайны мадридского двора! — восхищенно воскликнул Петухов.

— Да уж это тайны,— согласился Угрюмый,— только, понимаешь ли, вышли у нас с этими тайнами уже явные неприятности. Приезжают в один прекрасный день два каких-то фрукта. Невзрачные по виду, брючишки обтрепанные, и говорят: «Позвольте ваши книги». Ну, дали мы. И началась тут потеха. По-нашему, если отчетность на год отстала — пустяки! А по-ихнему — преступление. По-нашему — кассовые книги заверять и шнуровать не надо, а по-ихнему — надо! По-нашему — нарезать болты вручную продуктивно, а по-ихнему — нужно механически! Клепку мостовой фермы на мосту, по-нашему, нужно вручную производить, а по-ихнему — это преступно! Так и не столковались. Уехали, а у нас с тех пор никакого спокойствия нет. Не наделали б чего-нибудь эти самые визитеры? Вот и ходим кислые.

— М-да, это неприятности...— согласился Петухов.

Оба замолчали. Зеленый абажур окрашивал лица в зеленый цвет, и оба конторщика походили на таинственных гномов. Лампа зловеще гудела.

КАК РАЗБИЛСЯ БУЗЫГИН

Жуткая история в 7-ми документах

1

Письмо рабочего Бузыгина со ст. Користовки Южных дорог шурину Бузыгина Могучему в город Москву.

На конверте штемпель: 12 мая 1923 г.

«В первых строках моего письма, дорогой шурин, сообщаю тебе радостную новость,— писал ты,— что живем мы, мол, кроты несчастные, в подземелье нашего невежества.

Позволь заметить, что ничего подобного и случилась наконец радостная неожиданность и даже до известной степени сюрприз — открывают у нас на ст. Користовка клуб в депо.

Депо это херовое, потому единодушным голосованием постановили мы, собравшись на собрании, затребовать его ремонта.

И я голоснул с речью, как сознательный человек,

стоящий на позиции культработы. Выбрали меня председателем нашего клуба.

Еще поклон любимой жене вашей Анне Михайловне, дяде Прохору и председателю комячейки Жиркову.

По гроб жизни любящий вас Влас с товарищеским приветом».

2

Штамп:

Местком сл. тяги
ст. Користовка
Южн. ж. д.
№ 6900 Июня
10 дня.

ПЧ-1

Просим приступить к ремонту помещения депо ст. Користовка, предназначенного под железнодорожный клуб.

Основание: телеграмма Н за № таким-то от 9 мая с. г. и протокол постановления общего собрания рабочих от 11 мая.

Приложение: копия постановления на 17 (семнадцати) листах с приложением двух печатей.

Подписи: председатель месткома

Хулио Хуренито.
Секретарь *Кузя.*

3

Телеграмма.

Принята 14 ч., 20 июня, 1923 г.

Ответ отношение номер 69 два нуля запросил разрешение ремонт депо.

ПЧ-1

4

Письмо рабкора № 11205 в «Гудок»

Посылаю вам, дорогой товарищ «Гудок», жизнеописание нашего рабочего Бузыкина Власа, единодушного борца культработы за наш клуб, и карточку его в двух экземплярах анфас.
22 июня с. г.

5

Открытка из Москвы Бузыкину Власу.
Штемпель: 12 июля 1923 года.

Поздравляю тебя, Влас, как героя культработы. Ты теперь знаменит на оба полушария. Сегодня прочитал твой портрет в «Гудке». Ты даже немного похож на всероссийского старосту Калинина, но тот гораздо красивее.

Любящий тебя шурин *Могучий.*

6

Отрывок из письма Бузыкина в учкультотдел.

29 августа 1923 г.

Дорогие товарищи, посылаю вам вопль наших товарищей. Все на меня как на героя культработы — почему не ремонтируют депо? Посылаю вам мои стихи, которые сочинил в отчаянии поэзии.

Стоит депо облупленное,
Вызывая общее изумление,
И один в поле, как дуб, я.
Каково ваше мнение?!

7

Штамп:
УЧКУЛЬТОТДЕЛ
№ 987.654.321
4 сентября 23 г.

ПЧ-1

Не откажите ускорить ремонт депо под клуб ст. Користовка.
Зав. учкультотделом тов. *Стрихнин.*

8

Телеграмма.
Принята 15 часов 8 сентября.

На номер 987.654.321 ускорить ремонта не могу той причине что он еще не начинался точка Только что запятая получил разрешение ремонт точка.

ПЧ-1

9

Штамп:

Местком
15 сентября

ПЧ-1

Просим ответа, почему не начинается ремонт депо под клуб рабочих ст. Користовка.

Подписи:

За председателя *Иисус Навин.*
За секретаря *Румянцев-Задунайский.*

10

Штамп:

ПЧ-1
№ миллиард

ПД-6

С получением сего предписываю вам начать ремонт депо на ст. Користовка.

ПЧ-1

11

Рапорт.

В ответ на распоряжение Ваше за номером миллиард доношу, что приступить к ремонту не представляется возможным по двум причинам:

1) Что здание высокое, так что при побелке люди могут упасть и убиться с высоты об твердый каменный пол.

2) Невозможно найти людей, коим можно было бы поручить означенный ремонт, и двух индивидуумов плотников.

ПД-6 *Умнов.*

12

Штамп:

ПЧ-1
3 октября 1923
№ миллиард сто десять

ПД-6 Умнову

В отношении Вашем с летучим номером не видно, почему люди падают и убиваются, а равно и почему означенных людей нет

ПЧ-1

13

Выдержка из письма Могучего Бузыкину от 19 октября 1923 года.

...как же, дорогой Влас, поживает ваш уважаемый клуб Депо...

14

Копия постановления общего собрания от 1 ноября 1923 г. на ст. Користовка.

Слушали:	Постановили:
О ремонте депо под клуб.	Выразить порицание культгерою Бузыкину Власу и председателю клуба за бездеятельность.

15

Выдержка из письма жены Бузыкина Могучему
Штемпель: 5 ноября 1923 года.

...ой, горе мое, запил Влас, как алкоголик...

16

Записка Бузыкина Власа ПД-6 Умнову
от 10 ноября 1923 года.

...Сам добровольцем вызываюсь лезть под означенный потолок, белить буду! О чем и сообщаю Вам...

17

Телефонограмма
Принята 13 часов 11 ноября 1923 года.

Бузыкин Влас рабочий службы тяги станции Користовка упал во время культработы с потолка депо означенной станции запятая разбился до полной потери трудоспособности запятая с переломом рук и ног точка Торжественные похороны с участием двенадцатого ноября 1923 года о чем известить всех рабочих.

За председателя месткома *Помпон.*

ЛЕСТНИЦА В РАЙ

(С натуры)

> Лестница, ведущая в библиотеку ст. Москва-Белорусская (1-я Мещанская улица), совершенно обледенела.
>
> Тьма полная, рабочие падают и убиваются.
>
> *Рабкор*

Рабочий Косин упал удачно. С громом приехал со второго этажа в первый, там повернулся на площадке головой вниз и выехал на улицу. Следом за ним приехала шапка, за шапкой — книжка «Война и мир», сочинение Л. Толстого. Книжка выехала горбом, переплет дыбом, и остановилась рядом с Косиным.

— Ну как? — спросили ожидавшие внизу своей очереди.

— Штаны порвал,— ответил глухо Косин,— хорошие штаны, жена набрала на Сухаревке,— и ощупал великолепный звездный разрыв на бедре.

Затем он поднял произведение Толстого, накрылся шапкой и, прихрамывая, ушел домой.

Вторым рискнул Балчугов.

— Я тебя осилю, я тебя одолею,— бормотал он, прижимая к груди собрание сочинений Гоголя в одном томе,— я, может, на Карпаты в 15-м году лазил, и то ни слова не сказал. Ранен два раза... За спиной мешок, в руках винтовка, на ногах сапоги, а тут с Гоголем,— с Гоголем да не осилить... Я «Азбуку коммунизма» желаю взять, я... чтоб тебя разорвало!.. я (он терялся в кромешной тьме)... чтоб вам с вашей библиотекой ни дна ни покрышки!..

Он сделал попытку ухватиться за невидимые перила, но те мгновенно ускользнули из рук. Затем ускользнул Гоголь и через мгновение был на улице.

— Ох! — пискнул Балчугов, чувствуя, что нечистая сила отрывает его от обледеневших ступенек и тащит куда-то в бездну.

— Спа...— начал он и не кончил.

Ледяной горб под ногами коварно спихнул Балчугова куда-то, где его встретил железный болт. Балчугов был неудачник, и болт пришелся ему прямо в зубы.

— ...Сп...— ахнул Балчугов, падая головой вниз.

— ...те!!.— кончил он, уже сидя на снегу.

— Ты снегом...— посоветовали ожидающие, глядя, как Балчугов плюет красивой красной кровью.

— Не шнегом,— ответил Балчугов шепеляво (щеку его раздувало на глазах),— а колом по голове этого шамого библиотекаря и правление клуба тоже... мордой бы... по этой лешниче...

Он пошарил руками по снегу и собрал разлетевшиеся листки «Тараса Бульбы». Затем поднялся, наплевал на снегу красным и ушел домой.

— Обменял книжку,— бубнил он, держась за щеку,— вот так обменял, шатается...

Тьма поглотила его.

— Полезем, что ль, Митя? — робко спросил ожидающий.— Газетку охота почитать.

— Ну их к свиньям собачьим,— ответил Митя,— живота решишься, а я женился недавно. У меня жена. Вдова останется. Идем домой!

Тьма съела и их.

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Пьеса в 1-м действии

Если К. Войтенко не уплатят жалованья, пьеса будет отправлена «Гудком» в Малый театр в Москву, где ее и поставят.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Клавдия Войтенко, учительница неопределенного возраста. В шубке и шапочке, в руках какие-то бумаги.

Крымский культотдельщик, среднего возраста, симпатичный. Одет в рыжий френч и такие же штаны.

Курьер из культотдела, 50 лет.

Сцена представляет кабинет крымского культотдела. Накурено, тесно и паршиво. Одна дверь. На первом плане стол с телефоном и чернильницей. Над столом три плаката: «Если ты пришел к занятому человеку — ты погиб», «Кончил дело — гуляй смело», «Рукопожатия отменяются раз и навсегда».

Культотдельщик сидит за столом и задумчиво смотрит в зрительный зал. У двери на стуле курьер. Полдень.

Курьер. О-хо-хо... *(Кашляет.)*

Пауза.

Дверь открывается, и входит Войтенко.

Курьер. Куды? Куды? Вам кого?

Войтенко. Мне его. *(Указывает пальцем на культотдельщика.)*

Курьер. Они заняты, нельзя.

Войтенко *(застенчиво).* Ну, я подожду.

Курьер. Сядьте тут, только не шумите.

Войтенко садится на стул. Пауза.

Войтенко *(шепотом).* Чем же он занят? Никого нету.

Курьер. Это нам неизвестно. Может, они думают... Что к чему...

Пауза.

Войтенко. Мне, голубчик, на поезд надо. Опоздаю я. Может, ты б сказал ему...

Курьер. Ну, ладно. Доложу.

Идет к столу и кашляет. Пауза. Кашляет.

Культотдельщик *(очнулся).* Уйди, Афанасий, ты мне надоел. *(Задумался.)*

Курьер *(вернулся).* Ну вот... я ж говорил... а ну вас к богу.

Войтенко *(волнуется).* Мне в Евпаторию надо, я опоздаю. *(Идет к столу, кашляет.)*

Культотдельщик *(рассеянно).* Уйдешь ли ты, Афанасий? *(Поднял глаза.)* Пардон! Вы ко мне?

Войтенко. К вам, извините...

Культотдельщик. С кем имею честь?

Войтенко *(приседает).* Позвольте представиться: учительница школы ликбеза на ст. Евпатория Южных железных дорог Клавдия Войтенко, урожденная Манько.

Культотдельщик. Тэк-с. Что же вам угодно, урожденная Манько?

Войтенко *(волнуется).* Изволите ли видеть, я еще за август сего года жалованья не получала.

Культотдельщик. Гм... Какая история! Вы, наверное, списков не прислали.

Войтенко *(устало).* Какое там не прислали! Присылали. *(Вертит какие-то бумаги.)* Список прислали, и профуполномоченному нашему евпаторскому я говорила... двадцать раз.

Культотдельщик. Гм... Аф-фанасий.

Курьер. Чего изволите?

Культотдельщик. Потрудись узнать, где список на жалованье урожденной Манько!

Пауза. Курьер возвращается.

Курьер. Нету урожденной... *(Кашляет.)*

Культотдельщик. Ну, вот видите!

Войтенко. Позвольте, что ж я вижу? *(Волнуется.)* Это вы должны видеть! Если у вас пропадает...

Культотдельщик. Виноват-с... Прошу быть осторожнее. Это вам не Евпатория.

Войтенко *(начинает плакатъ)*. С... августа... месяца... сего бегаешь... ходишь... ходишь...

Культотдельщик *(растерялся)*. Прошу не плакать в присутственном месте.

Курьер. Наплачут полные комнаты, а вытирать мне... Только и делаешь, что с тряпкой бегаешь. *(Ворчит неразборчиво.)*

Войтенко рыдает.

Культотдельщик. Прошу вас успокоиться!

Войтенко рыдает.

Культотдельщик. Подайте другие списки!

Войтенко *(сквозъ бурные рыдания)*. Я на вас жалобу подам в КаКа.

Культотдельщик *(обиделся)*. П-пожалуйста... Хоть в КаКа, хоть в РеКаКа. Не испугаете!

Войтенко. В «Гудок» напишу!! Как вы...

Культотдельщик *(бледный как смертъ)*. Виноват... Хе-хе. Зачем же так? Э... Спешить? Афанасий!! Стакан воды урожденной Манько. Присядьте, прошу вас. Хе-хе, экая вы горячка!.. Сейчас... Фрр! Фрр! «Гудок»! Афанасий! Сбегай к Марь Ивановне. Скажи, чтоб был список. Со дна моря чтоб его достала. Хе-хе. Знаете ли, бумаг целая гибель, голова кругом идет.

Войтенко просыхает, вытирает глаза платочком.

Курьер *(входит)*. Нашлось. *(Протягивает бумагу.)*

Культотдельщик *(с торжеством)*. Ну, вот видите, и нашлось. Хе-хе. А вы сейчас плакать... «Гудок»!.. Вот мы вам сейчас резолюцийку напишем... Чирк перышком, и готово... Выдать деньги.

Войтенко *(совсем высохла).* Я уж надежду потеряла!

Культотдельщик. Что вы! Что вы! Никогда не следует терять надежду!.. Вот с этой резолюцией прямо, потом направо, потом опять направо, потом налево, там отдадите...

Войтенко *(сияет).* Благодарю вас, благодарю вас!

Культотдельщик. Что вы, помилуйте, это мой долг! А «Гудок» — это, знаете, ни к чему. Ну зачем раздувать факты. Аф-фанасий! Проводи! *(Приятно улыбается.)*

Занавес

СЕРИЯ НОЛЬ ШЕСТЬ № 0660243

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Рассказ

В 4 часа дня служащий Ежиков предстал перед кассиром и получил от него один свеженький хрустящий червонец, один червонец потрепанный с желтым пятном, шесть великолепных разноцветных дензнаков и сизую бумагу большого формата.

— Облигация-с,— ласково улыбнувшись, молвил кассир.

Ежиков презрительно покрутил носом на бумагу и спрятал ее в карман.

В канцелярии стоял сослуживец Ежикова — Петухов, известный математик, философ и болван.

Петухов взмахивал облигацией и говорил тесно облепившим его служащим:

— По теории вероятности, главный выигрыш упадет на нечетный номер. Говорю это на основании изучения таблиц двух предыдущих тиражей. Поэтому я нарочно взял у кассира нечетный. Вот: оканчивается на 827.

Все служащие смотрели свои номера. Двое не выдержали и побежали к кассиру менять четные на нечетные.

Петухов говорил так веско, что загипнотизировал даже Ежикова.

Ежиков вытащил облигацию и убедился, что ему не повезло. Серия 06 № 0660243.

«Всегда мне не прет»,— подумал Ежиков и пошел к кассиру.

Кассир сказал, что больше облигаций нет.

— Позвольте, а серия? — спросил секретарь у Петухова.

— Серию можно будет предсказать не ранее пятого тиража, то есть в 1924 году,— ответил Петухов,— но приблизительно могу сказать, что это будет (он сделал карандашом какую-то выкладку на обороте своего удостоверения) или третья, или пятая, а вернее всего — наша шестая.

— Я тогда в Париж уеду,— сказала машинистка.

— Продам я ее сейчас,— сказал забулдыга исходящий.

— Не имеет смысла,— посоветовал кассир,— завтра тираж. Лучше в банке заложите. А вдруг выиграете!

По улице Ежиков шел полный мыслей о золотом займе. Со всех стен глядели плакаты с надписью «Золотой заем» и притягивали взоры.

«...Возможность каждому выиграть огромную сумму в золоте»,— машинально повторял Ежиков,— гм, каж-до-му. В сущности говоря, почему я не могу выиграть? Я такой же каждый, как и всякий. Вообразите себе, что младенец лезет в это самое колесо и вытаскивает 06. А после этого 0660. Уже хорошо.

Ну-с, а что вы скажете, если он после этого потянет случайно 243. Это, знаете ли, будет такая штука, такая штука... Совершенно неописуемая штука...»

30-го вечером Ежиков, купив «Вечернюю Москву» убедился, что он еще ничего не выиграл. Младенец таскал какую-то чепуху, совершенно не похожую ни на 660, ни на 243.

2 января младенец снова осрамился.

3-го тоже. Самый близкий номер был 0660280.

4-го Ежиков узнал из «Известий», что происходит розыгрыш главных выигрышей, хотел поехать в Новый театр, но вместо этого заснул у себя на диване.

Проснулся Ежиков от стука в дверь. На приглашение: «Войдите» — вошел неизвестный бойкий человек с огромным листом в руках.

Взглянув на всклокоченного Ежикова, человек всплеснул руками и воскликнул:

— Как вам это нравится! А? Он спит на диване, как какой-нибудь невинный младенец, в то время как ему надо плясать самый настоящий фокстрот! Позвольте представиться: комиссионер Илья Семенович.

— Чем же я могу вам служить,— пролепетал изумленный Ежиков.

Эксцентричный посетитель залился веселым смехом.

— Нет, этот гражданин Ежиков самый настоящий оригинал. Он спрашивает, чем он может служить! А? И ему не приходит в голову спросить, чем я могу служить! Ну, так я сам скажу — вот чем!

С этими словами Илья Семенович развернул перед Ежиковым лист, оказавшийся газетой «Известия». Комната мгновенно заходила ходуном. На листе Ежиков увидел огромные красные буквы и цифры: «Выигрыш в 50 000 руб. золотом — сер. 06, 0660243».

— Как? — сказал он, чувствуя, что в голове у него все перевернулось вверх дном.— Как? Да ведь это же...— из горла у Ежикова вместо голоса вылезал какой-то скрип,— да ведь это мой номер...

— А разве я говорю, что он мой? — радостно ответил Илья Семенович.— Позвольте вас поцеловать, мой дорогой гражданин Ежиков?

С этими словами Илья Семенович обнял Ежикова и поцеловал поочередно в обе щеки.

— Вот так младенец...— сказал Ежиков не помня себя.

— Никаких младенцев,— энергично ответил Илья,— позвольте, достоуважаемый гражданин Ежиков, узнать, чего вы желаете?

Но опустившийся в изнеможении на диван Ежиков ничего не желал. Он молчал и хотел только одного — чтобы в голове у него перестало вертеться колесо.

Способность желать вернулась к нему лишь после того, как Илья обрызгал его водой.

Тогда Ежиков разомкнул уста и сипло сказал:

— Я желаю жениться на мадам Мухиной, но она не согласна.

— Она не согласна? — вскричал Илья.— Нет, вы уморите меня, милый Ежиков. Желал бы я хоть одним глазком видеть такую дуру, которая не согласна выйти замуж за человека, выигравшего пятьдесят тысяч чистым золотом. Успокойтесь: она уже да, согласна!

И Илья Семенович мгновенно привел из передней мадам Мухину. Мадам Мухина застенчиво улыбнулась, поправила пунцовую розу в волосах и сказала:

— Я всегда любила вас, Жан...

Затем события закрутились в сладостном тумане. Ежиков, сидя на диване, целовал мадам Мухину и излагал

Илье Семеновичу свои желания. Оказалось, что он желает золотые часы, ехать в Крым, фиолетовые кальсоны, зернистую икру, идти на «Аиду», бюст Льва Толстого, ковер, охотничье ружье, три комнаты с кухней, автомобиль...

И Илья Семенович волшебным образом доставал все. Ежиков в течение одного мгновенья побывал в Крыму, носил в кармане золотые часы, сидел в ложе Большого театра, ездил по Страстной площади в вонючем таксомоторе и покупал мадам Мухиной соболью шубу на Сухаревке.

Жизнь Ежикова превратилась в ошеломляющий винт, и помнил Ежиков только две вещи — номер своего текущего счета и... что он ни одной минуты не был трезвый.

Так продолжалось месяц, а в конце концов произошел скандал.

Явился какой-то со знаком Воздушного Флота на груди и вежливо сказал:

— А ведь ты, Ежиков, в сущности говоря, свинья. 50 тысяч свалились тебе на голову, и хоть бы одну копейку ты пожертвовал на Воздушный Флот.

Угрызения совести охватили Ежикова.

— Жертвую, в таком случае, 20 тысяч. Целый аэроплан,— вскричал Ежиков,— но с условием: чтобы он назывался «№ 0660243 — гражданина фоккер-Ежикова».

— Пожалуйста,— снисходительно усмехнулся воздухофлотский.

И вот тут выскочила мадам Мухина и все погубила.

— Как,— вскричала она,— да ты одурел, идиот. Двадцать тысяч. Да пока я жива, не позволю.

— Мои деньги! — взревел Ежиков, багровея.— Вон!..

И от собственного рева проснулся на диване и увидал, что ничего нет: ни Ильи Семеновича, ни бюста Льва Толстого, ни мадам Мухиной.

В последний день розыгрыша Ежиков явился на службу и не утерпел, чтобы не поделиться:

— А я, представьте, видел во сне, будто бы я 50 тысяч выиграл. И так реально.

— Ваш номер не может выиграть,— уверенно сказал Петухов,— выиграет нечетный номер, оканчивающийся на 5 или на 7, в крайнем случае — на 3.

Минута в минуту в 4 часа в канцелярию принесли «Вечернюю Москву».

Возбужденный Ежиков развернул ее и, чувствуя биение сердца, глянул на 4-ю страницу. Кислая улыбка пробежала по его лицу.

50 тысяч — серия не та.

И двадцать пять тысяч — не то.

И 10 тысяч.

И 5 тысяч.

— Э-хе-хе,— вздохнул Ежиков и машинально скользнул по таблице в 500 рублей золотом.

И сперва он увидел 06. Затем он увидел 066 и побледнел, как зубной порошок. Потом конец номера — 43 и затем уже сквозь туман середину — 02.

Со службы Ежиков уходил необычным образом. По лестнице за ним шла вся канцелярия и неизвестные небритые люди из 3-го этажа, показывавшие на него пальцами, курьеры и мальчишки-папиросники. С обеих сторон Ежикова под руки держали две машинистки.

Ежиков говорил расслабленно:

— Может быть, это еще опечатка. Я покупаю себе комнату...

Отдельно уходил унылый и молчаливый Петухов. Его номер от ежиковского разнился только на одну единицу. Навеки Петухов получил кличку «Теория вероятности».

Если кто-нибудь думает, что я выдумал этот рассказ, пусть посмотрит таблицу выигрышей в 500 рублей золотом.

СПЕКТАКЛЬ В ПЕТУШКАХ

I

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕНАВИДЕЛ ТЕАТР

Он был в теплой кацавейке на вате, в штанах и сапогах. Обыкновенные усы, бородка, нос средний. Особая примета у этого человека, впрочем, имелась — человек ненавидел театр. Ненависть его питалась каждый день и выросла в конце концов в злобную фурию, слопавшую человека без остатка,— он начал подозрительно кашлять, и на щеках у него появился пятнистый румянец. Театр стоял тут же, в двух шагах, на ст. Петушки, где человек служил в качестве ПЗП (говорю «служил», потому что, может быть, сейчас его уже убили).

II

ЗЛОВЕЩАЯ БУМАГА

Однажды человек получил таинственную бумагу и уткнулся в нее носом. Дочитав ее, он стал багровый от радости. Глаза его засияли, как звезды.

— Ладно... ладно... ладно,—забормотал он,—ладно... я тебя отгорожу. Я тебя отгорожу! Я тебя так отгорожу...—Тут он набрал воздуху в истощенную грудь и гаркнул: —Эй!!

И перед человеком появились рабочие. Не известно никому, какие распоряжения он дал честным труженикам (они не виноваты, повторяю это тысячу раз). Известно, что к вечеру вокруг театра появились, как свечка, вколоченные столбы. Многие видели эти столбы, но так как никому и в голову не могли прийти подозрения насчет адского плана человека, то на столбы особенного внимания никто и не обратил.

— Опять наш ПЗП какую-то ерунду придумал,— сказали некоторые и разошлись.

III

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА ПРИЕХАЛА

К сожалению, никто не видел, как она появилась, потому что все были, как полагается, на работе. Честные труженики натаскали громадные круги колючей проволоки, размотали их, а затем наглухо затянули по столбам весь театр кругом. Вы думаете, что это было сделано как-нибудь наспех? Паршиво? Ошибаетесь. Это было мощное проволочное окопного типа заграждение, о которое могли бы разбиться лучшие железные полки. Был оставлен только один лаз, и этот лаз был шириной в одну сажень...

IV

СПЕКТАКЛЬ В ПЕТУШКАХ

И вот, дорогие граждане, вечером был назначен спектакль. О спектакле знали все, а о колючей проволоке вокруг спектакля никто не знал. И в сумерки со всех концов к театру потекли весело улыбающиеся железнодорожники со своими семьями.

Вой стоял над Петушками! Стон и скрежет зубовный!! Лучшая и самая прочная материя, купленная по рабочему кредиту, рвалась, как папиросная бумага. Одного прикосновения к проклятому заграждению было достаточно, чтобы штаны превратить в клочья.

Железнодорожная рать легла на проволочных заграждениях вся до последнего человека и оставила на них юбки, кофты, лоскутья пальто и жирные куски ваты из подкладки. Рваная рать лезла в театр, роняя капли крови, и крыла ПЗП такими словами, что их в газете напечатать нельзя...

— ...!!

— ...!!!

V

ПОЖАР!!

Скажем теоретически: может быть в петушковском театре пожар? Ответьте прямо: может или нет?

— Может. От этого не застрахован ни один театр.

— Ну-с, представляете себе, что произойдет в театре, который снаружи закутан наглухо колючей проволокой? Вот то-то.

ТЕЛЕГРАММА ПЗП В ПЕТУШКИ:

Уберите проволоку, к чертям.

ЧАСЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

С натуры

В Доме Союзов, в Колонном зале — гроб с телом Ильича. Круглые сутки — день и ночь — на площади огромные толпы людей, которые, строясь в ряды, бесконечными лентами, теряющимися в соседних улицах и переулках, вливаются в Колонный зал.

Это рабочая Москва идет поклониться праху великого Ильича.

Стрела на огненных часах дрогнула и стала на пяти. Потом неуклонно пошла дальше, потому что часы никогда не останавливаются. Как всегда, с пяти начали садиться на Москву сумерки. Мороз лютый. На площадь к белому дому стал входить эскадрон.

— Эй, эгей, со стрелки, со стрелки!

Стрелочник вертелся на перекрестке со своей вечной штангой в руках, в боярской шубе, с серебряными усами. Трамваи со скрежетом ломились в толпу. Машины зажгли фонари и выли.

— Эй, берегись!!

Эскадрон вошел с хрустом. Шлемы были наглухо застегнуты, а лошади одеты инеем. В морозном дыму завертелись огни, трамвайные стекла. На линии из земли родилась мгновенно черная очередь. Люди бежали, бежали в разные концы, но увидели всадников, поняли, что сейчас пустят. Раз, два, три... сто, тысяча!..

— Со стрелки-то уйдите!

— Трамвай!! берегись! Машина стрелой — берегись!

— К порядочку, товарищи, к порядочку. Эй, куда?

— Братики, Христа ради, поставьте в очередь проститься. Проститься!

— Опоздала, тетка. Тет-ка! Ку-да-а?

— В очередь! В очередь!

— Батюшки, по Дмитровке-то хвост ушел!

— Куда ж деться-то мне, головушке горькой? Сквозь землю, што ль, провалиться?

Запрыгал салоп, заметался, а кони милицейские гигантские так и лезут. Куда ж бедной бабе деваться. Провались, баба... Кепи красные, кони танцуют. Змеей, тысячей звеньев идет хвост к Параскеве Пятнице, молчит, но идет, идет! Ах, быстро попадем!

— Голубчики, никого не пущайте без очереди!

— Порядочек, граждане.

— Все помрем...

— Думай мозгом, что говоришь. Ты помер, скажем, к примеру, какая разница. Какая разница, ответь мне, гражданин?

— Не обижайте!

— Не обижаю, а внушить хочу. Помер великий человек, поэтому помолчи. Помолчи минутку, сообрази в голове происшедшее.

— Куды?! Эгей-й!! Эй! Эй!

— Рота, стой!!

Ближе, ближе, ближе... Хруст, хруст. Стоп. Хруст... Хруст... Стоп... Двери. Голубчики родные, река течет!

— По три в ряд, товарищи.

— Вверх! Вверх!

— Огней, огней-то! Караулы каменные вдоль стен.

Стены белые, на стенах огни кустами. Родилась на стрелке Охотного река и течет, попирая красный ковер.

— Тише, ты. Тш...

— Шапки сняли, идут? Нет, не идут, не идут. Это не идут, братишки, а плывет река в миллион.

На ковре ложится снег.

И в море белого света протекает река.

* * *

Лежит в гробу на красном постаменте человек. Он желт восковой желтизной, а бугры лба его лысой головы круты. Он молчит, но лицо его мудро, важно и спокойно. Он мертвый. Серый пиджак на нем, на сером красное пятно — орден Знамени. Знамена на стенах белого зала в шашку — черные, красные, черные, красные. Гигантский орден — сияющая розетка в кустах огня, а в середине ее лежит на постаменте обреченный смертью на вечное молчание человек.

Как словом своим на слова и дела подвинул бессмертные шлемы караулов, так теперь убил своим молчанием караулы и реку идущих на последнее прощание людей.

Молчит караул, приставив винтовки к ноге, и молча течет река.

Все ясно. К этому гробу будут ходить четыре дня по лютому морозу в Москве, а потом в течение веков по дальним караванным дорогам желтых пустынь земного шара, там, где некогда, еще при рождении человечества, над его колыбелью ходила бессменная звезда.

* * *

Уходит, уходит река. Белые залы, красный ковер, огни. Стоят красноармейцы, смотрят сурово.

— Лиза, не плачь. Не плачь... Лиза...

— Воды, воды дайте ей!

— Санитара пропустите, товарищи!

Мороз. Мороз. Накройтесь, накройтесь, братишки. На дворе лютый мороз.

— Батюшки? Откуда ж зайтить-то?!

— Нельзя здесь!

— Порядочек, граждане!

— Только выход. Только выход.

— Товарищ дорогой, да ведь миллион стоит на Дмитровке! Не дождусь я, замерзну. Пустите? А?

— Не могу,— очередь!

Огни из машины на ходу бьют взрывами. Ударят в лицо — погаснет.

— Эй! Эгей! Берегись! Машина раздавит. Берегись!

Горят огненные часы.

ВОСПОМИНАНИЕ...

У многих, очень многих есть воспоминания, связанные с Владимиром Ильичем, и у меня есть одно. Оно чрезвычайно прочно, и расстаться с ним я не могу. Да и как расстанешься, если каждый вечер, лишь только серые гармонии труб нальются теплом и приятная волна потечет по комнате, мне вспоминается и желтый лист моего знаменитого заявления, и вытертая кацавейка Надежды Константиновны...

Как расстанешься, если каждый вечер, лишь только нальются нити лампы в пятьдесят свечей, и в зеленой тени абажура я могу писать и читать, в тепле, не помышляя о том, что на дворе ветерок при восемнадцати градусах мороза.

Мыслимо ли расстаться, если, лишь только я подниму голову, встречаю над собой потолок. Правда, это отвратительный потолок — низкий, закопченный и треснувший, но все же он потолок, а не синее небо в звездах над Пречистенским бульваром, где, по точным сведениям науки, даже не восемнадцать градусов, а двести семьдесят один — и все они ниже нуля. А для того, чтобы прекратить мою литературно-рабочую жизнь, достаточно гораздо меньшего количества их. У меня же под черными фестонами паутины — двенадцать выше нуля, свет, и книги, и карточка жилтоварищества. А это значит, что я буду существовать столько же, сколько и весь дом. Не будет пожара — и я жив.

Но расскажу по порядку.

* * *

Был конец 1921 года. И я приехал в Москву. Самый переезд не составил для меня особенных затруднений, потому что багаж мой был совершенно компактен. Все мое имущество помещалось в ручном чемоданчике. Кро-

ме того, на плечах у меня был бараний полушубок. Не стану описывать его. Не стану, чтобы не возбуждать в читателе чувство отвращения, которое и до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни.

Достаточно сказать, что в первый же рейс по Тверской улице я шесть раз слышал за моими плечами восхищенный шепот:

— Вот это полушубочек!

Два дня я походил по Москве и, представьте, нашел место. Оно не было особенно блестящим, но и не хуже других мест: также давали крупу и также жалованье платили в декабре за август. И я начал служить.

И вот тут в безобразнейшей наготе предо мной встал вопрос... о комнате. Человеку нужна комната. Без комнаты человек не может жить. Мой полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель. Но он не мог заменить комнаты, так же, как и чемоданчик. Чемоданчик был слишком мал. Кроме того, его нельзя было отапливать. И, кроме того, мне казалось неприличным, чтобы служащий человек жил в чемодане.

Я отправился в жилотдел и простоял в очереди шесть часов. В начале седьмого часа я в хвосте людей, подобных мне, вошел в кабинет, где мне сказали, что я могу получить комнату через два месяца.

В двух месяцах приблизительно шестьдесят ночей, и меня очень интересовал вопрос, где я их проведу. Пять из этих ночей, впрочем, можно было отбросить: у меня было пять знакомых семейств в Москве. Два раза я спал на кушетке в передней, два раза — на стульях и один раз — на газовой плите. А на шестую ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар. Он очень красив, этот бульвар, в ноябре месяце, но ночевать на нем нельзя больше одной ночи в это время. Каждый, кто желает, может в этом убедиться. Ранним утром, лишь только небо над громадными куполами побледнело, я взял чемоданчик, покрывшийся серебряным инеем, и отправился на Брянский вокзал. Единственно чего я хотел после ночевки на бульваре — это покинуть Москву. Без всякого сожаления я оставлял рыжую крупу в мешке и ноябрьское жалованье, которое мне должны были выдавать в феврале. Купола, крыши, окна и московские люди были мне ненавистны, и я шел на Брянский вокзал.

* * *

Тут и случилось нечто, которое нельзя назвать иначе как чудом. У самого Брянского вокзала я встретил своего приятеля. Я полагал, что он умер.

Но он не только не умер, он жил в Москве, и у него была отдельная комната. О, мой лучший друг! Через час я был у него в комнате.

Он сказал:

— Ночуй. Но только тебя не пропишут.

Ночью я ночевал, а днем я ходил в домовое управление и просил, чтобы меня прописали на совместное жительство.

Председатель домового управления, толстый, окрашенный в самоварную краску человек в барашковой шапке и с барашковым же воротником, сидел, растопырив локти, и медными глазами смотрел на дыры моего полушубка. Члены домового управления в барашковых шапках окружали своего предводителя.

— Пожалуйста, пропишите меня,— говорил я,— ведь хозяин комнаты ничего не имеет против того, чтобы я жил в его комнате. Я очень тихий. Никому не буду мешать. Пьянствовать и стучать не буду...

— Нет,— отвечал председатель,— не пропишу. Вам не полагается жить в этом доме.

— Но где мне жить,— спрашивал я,— где? Нельзя мне жить на бульваре.

— Это не касается,— отвечал председатель.

— Вылетайте как пробка! — кричали железными голосами сообщники председателя.

— Я не пробка... я не пробка,— бормотал я в отчаянии,— куда же я вылечу. Я — человек. Отчаяние съело меня.

Так продолжалось пять дней, а на шестой явился какой-то хромой человек с банкой от керосина в руках и заявил, что, если я не уйду завтра сам, меня уведет милиция.

Тогда я впал в остервенение.

* * *

Ночью я зажег толстую венчальную свечу с золотой спиралью. Электричество было сломано уже неделю, и мой друг освещался свечами, при свете которых его тетка вручила свое сердце и руку его дяде. Свеча плакала

восковыми слезами. Я разложил большой чистый лист бумаги и начал писать на нем нечто, начинавшееся словами: «Председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину». Все, все я написал на этом листе — и как я поступил на службу, и как ходил в жилотдел, и как видел звезды при двухстах семидесяти градусах над храмом Христа, и как мне кричали:

— Вылетайте как пробка.

Ночью, черной и угольной, в холоде (отопление тоже сломалось) я заснул на дырявом диване и увидал во сне Ленина. Он сидел в кресле за письменным столом в круге света от лампы и смотрел на меня. Я же сидел на стуле напротив него в своем полушубке и рассказывал про звезды на бульваре, про венчальную свечу и председателя.

— Я не пробка, нет, не пробка, Владимир Ильич.

Слезы обильно струились из моих глаз.

— Так... так... так...— отвечал Ленин.

Потом он звонил.

— Дать ему ордер на совместное жительство с его приятелем. Пусть сидит веки вечные в комнате и пишет там стихи про звезды и тому подобную чепуху. И позвать ко мне этого каналью в барашковой шапке. Я ему покажу совместное жительство.

Приводили председателя. Толстый председатель плакал и бормотал:

— Я больше не буду...

* * *

Все хохотали утром на службе, увидев лист, писанный ночью при восковых свечах.

— Вы не дойдете до него, голубчик,— сочувственно сказал мне заведующий.

— Ну, так я дойду до Надежды Константиновны,— отвечал я в отчаянии,— мне теперь все равно. На Пречистенский бульвар я не пойду.

И я дошел до нее.

В три часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константиновна в вытертой какой-то меховой кацавейке вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок.

— Вы что хотите?— спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист.

— Я ничего не хочу на свете, кроме одного — совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление.

И я вручил ей мой лист.

Она прочитала его.

— Нет,— сказала она,— такую штуку подавать Председателю Совета Народных Комиссаров?

— Что же мне делать? — спросил я и уронил шапку.

Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами:

«Прошу дать ордер на совместное жительство».

И подписала:

«Ульянова».

Точка.

Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить.

Забыл.

Криво надел шапку и вышел.

Забыл.

* * *

В четыре часа дня я вошел в прокуренное домовое управление. Все были в сборе.

— Как? — вскричали все.— Вы еще тут?

— Вылета...

— Как пробка? — зловеще спросил я.— Как пробка? Да?

Я вынул лист, выложил его на стол и указал пальцем на заветные слова.

Барашковые шапки склонились над листом, и мгновенно их разбил паралич. По часам, что тикали на стене, могу сказать, сколько времени он продолжался.

Три минуты.

Затем председатель ожил и завел на меня угасающие глаза:

— Улья?..— спросил он суконным голосом.

Опять в молчании тикали часы.

— Иван Иваныч,— расслабленно молвил барашковый председатель,— выпиши им, друг, ордерок на совместное жительство.

Друг Иван Иваныч взял книгу и, скребя пером, стал выписывать ордерок в гробовом молчании.

* * *

Я живу. Все в той же комнате с закопченным потолком. У меня есть книги, и от лампы на столе лежит круг. 22 января он налился красным светом, и тотчас вышло в свете передо мной лицо из сонного видения — лицо с бородкой клинышком и крутые бугры лба, а за ним — в тоске и отчаянье седоватые волосы, вытертый мех на кацавейке и слово красными чернилами

Ульянова.

Самое главное, забыл я тогда поблагодарить.

Вот оно неудобно как...

Благодарю вас, Надежда Константиновна.

ХАНСКИЙ ОГОНЬ

Когда солнце начало садиться за орешневские сосны и бог Аполлон Печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала:

— Иона Васильич! А Иона Васильич! Идите, Татьяна Михайловна вас кличут. Насчет экскурсий. Хворая она. Во щека!

Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно.

Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне.

Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфарным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка Мумка и белое заячье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз.

— Аль зубы? — сострадательно прошамкал Иона.

— Зу-убы...— вздохнуло белое.

— У... у... у... вот она, история,— пособолезновал Иона,— беда! То-то Цезарь воет, воет... Я говорю: чего, дурак, воешь среди бела дня? А? Ведь это к покойнику. Так ли я говорю? Молчи, дурак. На свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке — как рукой снимет.

— Иона... Иона Васильич,— слабо сказала Татьяна Михайловна,— день-то показательный — среда. А я выйти

не могу. Вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами. Покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит.

— Ну что ж... Велика мудрость. Пущай. И сами управимся. Присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки самое главное. Ходят, ходят разные... Долго ли ее... Возьмет какой-нибудь в карман, и поминай как звали. А отвечать — кому? Нам. Картину — ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?

— Дуняша с вами пойдет — сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела.

— Ладно, ладно. А вы — пометом. Доктора — у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федору орешневскому, а он возьми да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе.

Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала:

— Идите, идите, Иона Васильич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже...

Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом:

УСАДЬБА-МУЗЕЙ
ХАНСКАЯ СТАВКА

Осмотр по средам, пятницам и воскресеньям
от 6 до 8 час. веч.

И в половине седьмого из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых смеющихся людей человек в двадцать. Были среди них подростки в рубашках-хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте. Были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях; юноши в тупоносых высоких сапогах.

И вот среди молодых оказался немолодой лет сорока, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой «1-е реальное училище», да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая

застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные — правая толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами.

Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы, но старого скорбного Иону голый поразил и удивил.

Голый между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен и бородка подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился, тоскливо думая о чашках, и многозначительно подмигивал Дуньке на голого. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голого залаял с особенной хриплой, старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл — истошно, мучительно.

«Тьфу, окаянный,— злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя,— принесла нелегкая. И чего Цезарь воет. Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый».

Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голого. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной и пожилой богатый господин-иностранец, в золотых очках колесами, широком светлом пальто, с тростью. Цезарь с голого перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на не известном никому языке.

Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал.

— Ноги о половичок вытирайте,— сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньке шепнул: «Посматри-

вай, Дунь...» — и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей.

Те стали подыматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени.

Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидали пройденный провал лестницы, и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетая куда-то, вились и розовели амуры.

— Смотри, смотри, Верочка,— зашептала толстая мать,— видишь, как князья жили в нормальное время.

Иона стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице тихо, по-вечернему.

Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал:

— Растрелли строил. Это несомненно. Восемнадцатый век.

— Какой Растрелли? — отозвался Иона, тихонько кашлянув.— Строил князь Антон Иоаннович, царствие ему небесное, полтораста лет назад. Вот как,— он вздохнул.— Прапрапрадед нынешнего князя.

Все повернулись к Ионе.

— Вы не понимаете, очевидно,— ответил голый,— при Антоне Иоанновиче, это верно, но ведь архитектор-то Растрелли был? А во-вторых, царствия небесного не существует и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще, я не понимаю, где руководительница?

— Руководительша,— начал Иона и засопел от ненависти к голому,— с зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия — это вы верно. Для койкого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю?

Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы.

— Однако, я вам скажу, ваши симпатии к царству небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время... И мне кажется...

— Бросьте, товарищ Антонов,— примирительно сказал в толпе девичий голос.

— Семен Иванович, оставь, пускай! — прогудел срывающийся бас.

Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу с белыми вазами. Шесть белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно, золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные гроздья кенкетов глядели со стен, и, точно вчера потушенные, были в них обгоревшие белые свечи. Амуры вились и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосных шашках, и тяжел и мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль через сетку плюща.

В смутном говоре зазвучал голос голого. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы:

— Кто паркет делал?

— Крепостные крестьяне,— ответил неприязненно Иона,— наши крепостные.

Голый усмехнулся неодобрительно.

— Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунеядцы на них ногами шаркали. Онегины... трэнь... брень... Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего.

Иона про себя подумал: «Вот чума голая навязалась, прости господи»,— вздохнул, покрутил головой и повел дальше.

Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II, в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурьмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый, с четырехугольными звездами на груди, красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-Бег-Ордынские со своими родственниками.

Отливая глянцем, чернея трещинами, выписанный старательной кистью живописца XVIII века по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от

времени полотна раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли, родоначальник — повелитель Малой Орды Хан Тугай.

За полтысячи лет смотрел со стен род князей Тугай-Бегов, род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнея пятнами, с полотен вставала история рода с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата...

На пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы — ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой потому, что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосинный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугай-Бега-отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду четыре красавца гайдука...

Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал:

— Вот, товарищи, замечательная особа. Знаменитая развратница первой половины девятнадцатого века...

Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону.

— Это бог знает что такое... Верочка, смотри, какие портреты предков...

— Любовница Николая Палкина,— продолжал голый, поправляя пенсне,— о ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут что она в имении вытворяла — уму непостижимо. Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания... Афинские ночи устраиьала...

Иона перекосил рот, глаза его налились мутной влагой и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал воздуху. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голого, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом, и даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину голого тяжелый взгляд и долго его не отрывал.

Шли через кабинет князя, с эспантонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и пожелтевшими фотографиями — группами кавалергардского, где служили старшие Тугай-Беги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей тугай-беговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг.

Шли через курительные, затканные сплошь текинскими коврами, с кальянами, тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами, с карсельскими старыми лампами. Шли через боскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньке. Здесь, в игральной, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные, стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы:

— Это кто же такой?

— Последний князь,— вздохнув, ответил Иона,— Антон Иоаннович, в квалегардской форме. Они все в квалегардах служили.

— А где он теперь? Умер? — почтительно спросила дама.

— Зачем умер... Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале,— Иона заикнулся от злобы, что голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь штучку.

И голый хмыкнул и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил:

— Да плюнь, Семен... старик он...

И голый заикнулся.

— Как? Жив? — изумилась дама,— это замечательно!.. А дети у него есть?

— Деток нету,— ответил Иона печально,— не благословил господь... Да. Братец ихний младший, Павел Иоаннович, тот на войне убит. Да. С немцами воевал... Он в этих... в конных гренадерах служил. Он нездешний. У того имение в Самарской губернии было...

— Классный старик...— восхищенно шепнул кто-то.

— Его самого бы в музей,— проворчал голый.

Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами, розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще, в эту ночь, спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре: и зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете, и портрет последней княгини на мольберте — княгини юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой... Раз триста уже водил Иона экскурсантов в спальню Тугай-Бегов и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам. Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голого и еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя... Потому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через биллиардную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вон.

Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь и Дунька заперла ее на замок.

Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневом засвистели пастухи на дудках, за прудами звякали тонкие колокольцы — гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз — на учебной стрельбе в красноармейских лагерях.

Иона брел по гравию ко дворцу, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях.

Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый, но вот покоя на душе у Ионы, как назло, не было. Вероятно, потому, что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице.

На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел.

Во дворце были шаги. Они послышались со стороны биллиардной, прошли боскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду, ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, вперебой с шагами. Кто-то шел к Ионе, в этом не было сомнения, твердыми шагами, и паркет скрипел уже в кабинете.

«Воры! Беда,— мелькнуло в голове у старика.— Вот оно, вещее, чуяло... беда». Иона судорожно вздохнул, в ужасе оглянулся, не зная, что делать, куда бежать, кричать. Беда...

В дверях бального зала мелькнуло серое пальто, и показался иностранец в золотых очках. Увидав Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем.

— Что вы? Господин? — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью.— Тут нельзя. Вы как же это остались? Господи боже мой...— Дыхание у Ионы перехватило, и он смолк.

Иностранец внимательно глянул Ионе в глаза и, придвинувшись, негромко сказал по-русски:

— Иона, ты успокойся! Помолчи немного. Ты один?

— Один...— переведя дух, молвил Иона,— да вы зачем, царица небесная?

Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул поверх Ионы в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко, картаво:

— Не узнал, Иона? Плохо, плохо... Если уж ты не узнаешь, то это плохо.

Звуки его голоса убили Иону, колена у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол.

— Господи Иисусе! Ваше сиятельство. Батюшка, Антон Иоаннович. Да что же это? Что же это такое?

Слезы заволокли туманом зал, в тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстух, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя.

— Успокойся, Иона, успокойся, бога ради,— бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо,— услышать может кто-нибудь...

— Ба...батюшка,— судорожно прошептал Иона,— да как же... как же вы приехали? Как? Никого нету. Нету никого, один я...

— И прекрасно, бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет!

Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним. Князь оглянулся, снял серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал:

— Садись, Иона, в кресло!

Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого, с выдвижным пультом для чтения, табличку с надписью «В кресла не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в сафьян.

В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны.

— Ах, как ты подряхлел, Иона, боже, до чего ты старенький! — заговорил князь, волнуясь.— Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Я, признаться, думал, что уж не увижу. Думал, что тебя тут уморили...

От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза...

— Ну, полно, полно, перестань...

— Как... как же вы приехали, батюшка? — шмыгая носом, спрашивал Иона.— Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут... Как же это вернулись вы, батюшка? Очки-то на вас, очки, вот главное, и бородка... И как же вы вошли, что я не заметил?

Тугай-Бег вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе.

— Через малую веранду из парка, друг мой! Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки (князь снял их), очки здесь уже, на границе, надел. Они с простыми стеклами.

— Княгинюшка-то, господи, княгинюшка с вами, что ли?

Лицо у князя мгновенно постарело.

— Умерла княгиня, умерла в прошлом году,— ответил он и задергал ртом,— в Париже умерла от воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда, но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она

твердо верила, что мы увидимся. Все богу молилась. Видишь, бог и привел.

Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку. Иона, заливаясь слезами, закрестился на шкафы с книгами, на Александра I, на окно, где на самом донышке таял закат.

— Царствие небесное, царствие небесное,— дрожащим голосом пробормотал он,— панихидку, панихидку отслужу в Орешневе.

Князь тревожно оглянулся, ему показалось, что где-то скрипнул паркет.

— Нету?

— Нету, не беспокойтесь, батюшка, одни мы. И быть некому. Кто ж, кроме меня, придет.

— Ну, вот что. Слушай, Иона. Времени у меня мало. Поговорим о деле.

Мысли у Ионы вновь встали на дыбы. Как же, в самом деле? Ведь вот он. Живой! Приехал. А тут... Мужики, мужики-то!.. Поля?

— В сам деле, ваше сиятельство,— он умоляюще поглядел на князя,— как же теперь быть? Дом-то? Аль вернут?..

Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны — с правой.

— Вернут? Что ты, дорогой!

Князь вынул тяжелый желтый портсигар, закурил и продолжал:

— Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут... Ты, видно, забыл, что было... Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно. Тебе беспокоиться абсолютно нечего, тут никто и знать ничего не будет. На этот счет ты себя не тревожь. Приехал я (князь поглядел на угасающие рощи), во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кой-какие имел; пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут как народное достояние... На-ародное... (Зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой.) Народное — так народное, черт их бери. Все равно. Лишь бы было цело. Оно так даже и лучше... Но вот в чем дело: бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Насчет самарских и пензенских имений. И Павла Ивановича тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили или цел? — Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.

Колеса в голове Ионы ржаво заскрипели. Перед глазами вынырнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленный книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь.

— Цел-то цел кабинет,— бормотал Иона,— да вот горе, батюшка ваше сиятельство, запечатан он. Запечатан.

— Кем запечатан?

— Эртус Александр Абрамович из комитета...

— Эртус?— картаво переспросил Тугай-Бег,— почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?

— Из комитета он, батюшка,— виновато ответил Иона,— из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то, библиотека будет и учить будут мужиков. Так вот он библиотеку устраивает.

— Ах, вот как! Библиотеку,— князь ощерился,— что ж, это приятно! Я надеюсь, им хватит моих книг? Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит?

— Хватит, ваше сиятельство,— растерянно хрипнул Иона,— ведь видимо-невидимо книг-то у вас,— мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.

Тугай-Бег съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет раскосого в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом.

— Хватит? Превосходно. Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с. Ну... а знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?

Иона молчал и глядел во все глаза.

— Этого Эртуса я повешу вон на той липе,— князь белой рукой указал в окно,— что у ворот. (Иона тоскливо и покорно глянул вслед руке.) Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы

мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек, а день лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет, Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит. Будь покоен...

Иона судорожно вздохнул.

— А рядышком,— продолжал Тугай нечистым голосом,— знаешь кого пристроим? Вот этого голого. Антонов Семен. Семен Антонов,— он поднял глаза к небу, запоминая фамилию.— Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подохнет до той поры или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже раз пользовался гостеприимством в Ханской ставке и голый ходил по дворцу в пенсне,— Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками,— ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голого. Ежели он живым мне попадется в руки, у, Иона!.. не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры! Иона! Ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?

Иона горько вздохнул и отвернулся.

— Ты верный слуга, и, сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голого? А? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет? — Тугай-Бег взялся за карман пальто и выдавил из него блестящую рубчатую рукоятку; беловатая пенка явственно показалась в углах рта, и голос стал тонким и сиплым.—Но вот не убил! Не убил, Иона, потому что сдержался вовремя. Но чего мне стоило сдержаться, знаю только один я. Нельзя было убить, Иона. Это было бы слабо и неудачно, меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем, Иона, большее... Получше,— князь пробормотал что-то про себя и стих.

Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так, одни обрывки. Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай втолкнул ручку в карман, поморщившись, встал и глянул на часы.

— Ну, вот что, Иона, поздно. Надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что,— у князя в

руках очутился бумажник,— бери, Иона, бери, верный друг! Больше дать не могу, сам стеснен.

— Ни за что не возьму,— прохрипел Иона и замахал руками.

— Бери! — строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки. Иона всхлипнул.— Только смотри тут не меняй, а то пристанут — откуда. Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги.

— Печать-то, батюшка,— жалобно начал Иона.

Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с сургучом. Иона ахнул.

— Вздор,— сказал Тугай,— ты, главное, не бойся! Не бойся, мой друг! Я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придется отвечать. Веришь моему слову? Ну, то-то...

Ночь подходила к полночи. Иону сморило сном в караулке. Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен...

В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на кресле и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорали стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах, Александр I ожил и, лысый, мягко улыбался со стены.

За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху:

Алекс. Эртус
История Ханской ставки

ниже:

1922—1923

Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел, не отрываясь, на черные строчки. Плыла полная

тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И двадцать минут, и полчаса сидел князь недвижно.

Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами.

— У-у, проклятая собака,— проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся.

— Фу,— прошептал он,— с ума сойдешь.

Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем оземь, так, что по комнатам пролетел гром и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы:

— Это не может быть. Не... не... не...

Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были вполоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом.

Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека.

— Не может быть,— громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников.— Это сон.— Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал: — одно, одно из двух: или это мертво... а он... тот... этот... жив... или я... не поймешь...

Тугай провел по волосам, повернулся, увидал идущего к шкафу, подумал невольно: «Я постарел»,— опять забормотал:

— По живой моей крови, среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я — тень? Но ведь я живу,— Тугай вопросительно посмотрел на Александра I,— я все ощущаю, чувствую. Ясно чувствую боль, но больше всего ярость,— Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале, холод ненависти прошел у Тугая по суставам,— я жалею, что я не застрелил. Жалею.— Ярость начала накипать в нем, и язык пересох.

Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило двенадцать раз, после паузы на другой тон один раз четверть и после паузы три минуты.

— Ах, боже мой,— шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у Хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса, еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь.

— А т... чума! — хрипнул князь, потер палец и приступил к работе бережней. Надорвав несколько листов, он постепенно превратил всю тетрадь в клочья. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Со стены сорвал небольшой портрет елизаветинской дамы, раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на ворох, на конторку и, побагровев, придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться,

кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через пять минут душило дымом.

Прикрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло, треща, пламя, и лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стоймя на столе, и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал:

— Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему. Ну, так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус.

...Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним, бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени.

В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель; пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло: огонек сморщился и исчез, но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту, и разом, ликующе, до последней пылинки, осветился шатер.

— Теперь надежно,—сказал Тугай и заторопился.

Он прошел боскетную, биллиардную, прошел в черный коридор, гремя, по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул из освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму...

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ

Науки юношей питают, отраду старцам подают.
Наука сокращает нам жизнь, короткую и без того.

В коридоре Рязанского строительного техникума путей сообщения прозвучал звонок. Классное помещение наполнилось учениками, красными, распаренными и дыщащими тяжко, со свистом.

Открылась дверь, и на кафедру взошел многоуважаемый профессор электротехники, он же заведующий мастерской.

— Т-тиша,— сказал электрический профессор, строго глянув на багровые лица своих слушателей,— по какому поводу такой вид? Безобразный?

— Вентилятор качали для кузнечного горна! — хором взревели сто голосов.

— Ага, а почему я не вижу Колесаева?

— Колесаев умер вчера...— ответил хор, как в опере, басами.

— За-ка-чался! — отозвался хор теноров.

— Тэк-с. Ну, царство ему небесное. Раз умер, ничего не поделаешь. Воскресить я его не властен. Верно?

— Веррр-но!! — грянул хор.

— Не ревите дикими голосами,— посоветовал ученый.— На чем бишь мы остановились в прошлый раз?

— Что такое электричество!..— ответил класс.

— Правильно. Нуте-с, приступаем дальше. Берите тетрадки, записывайте мои слова...

Как листья в лесу, прошелестели тетрадки, и сто карандашей застрочили по бумаге.

— Прежде чем сказать, что такое электричество,— загудело с кафедры,— я вам... э... скажу про пар. В сам деле, что такое пар? Каждый дурак видел чайник на плите... Видели?

— Видели!!.— как ураган ответили ученики.

— Не орите... Ну, вот, стало быть... кажется со стороны, простая штука, каждая баба может вскипятить, а на самом деле это не так... Далеко, я вам скажу, дорогие мои, не так... Может ли баба паровоз пустить? Я вас спрашиваю?

Нет-с, миленькие, баба паровоз пустить не может. Во-первых, не ее это, бабье, дело, а в-третьих, чайник — это ерунда, а в паровозе пар совсем другого сорта. Там пар под давлением, почему под означенным давлением, исходя из котла, прет в колеса и толкает их к вечному движению, так называемому перпетуум-мобиле.

— А что такое перпетуум? — спросил Куряковский — ученик.

— Не перебивай. Сам объясню. Перпетуум — такая штука... это, братишки... ого-го! Утром, например, сел ты на Брянском вокзале в Москве, засвистал и покатил, и, смотришь, через 24 часа ты в Киеве в совершенно другой советской республике, так называемой Украинской, и все это по причине концентрации пара в котле, проходящего

по рычагам к колесам так называемым поршнем по закону вечного перпетуума, открытого известным паровым ученым Уан-Степом в 18 веке до рождества Христова при взгляде на чайник на самой обыкновенной плите в Англии городе Лондоне...

— А нам говорили по механике вчера, что плиты до рождества Христова еще не было? — пискнул голос.

— И Англии не было! — бухнул другой.

— И рождества Христова не было!!.

— Го-го-го!! Го!!.— загремел класс...

— М-молчать! — громыхнул преподаватель,— Харюзин, оставь класс! Подстрекатель! Вон!

— Вон! Харюзин!! — взвыл класс.

Харюзин, разливаясь в бурных рыданиях, встал и сказал:

— Простите, товарищ преподающий, я больше не буду.

— Вон! — неуклонно повторил профессор.— Я о тебе доложу в совете преподавателей, и ты у меня вылетишь в 24 часа!

— На перпетууме вылетишь, урра!! — подтвердил взволнованный класс.

Тогда Харюзин впал в отчаяние и дерзость.

— Все равно пропадать моей голове,— залихватски рявкнул он,— так уж выложу я все! Накипело у меня в душеньке!

— Выкладывай, Харюзин! — ответил хор, становясь на сторону угнетенного.

— Сами вы ни черта не знаете,— захныкал Харюзин, адресуясь к профессору,— ни про перпетуум, ни про электротехнику, ни про пар... Чепуху мелете!..

— О-го-го?! — запел заинтересованный класс.

— Я?.. Как ты сказал?.. Не знаю? — изумился профессор, становясь багровым.— Ты у меня ответишь за такие слова! Ты у меня, Харюзин, наплачешься!

— Не боюся никого, кроме бога одного! — ответил Харюзин в экстазе.— Мне теперь нечего терять, кроме моих цепей! Вышибут? Вышибай!! Пей мою кровь за правду-матку!!

— Так его! Крой, Харюзин!! — гремел класс.— Пострадай за правду!

— И пострадаю,— выпевал Харюзин,— только мозги морочите! Околесину порете! Двигатель для вентилятора поставить не можете!

— Пр-равильно,— бушевал восхищенный класс,— замучили качанием! Рождества не было. Уан-Степа не было!! Сам, старый черт, ничего не знаешь!!!

— Это... бунт...— прохрипел профессор,— заговор! Да я!.. да вы!..

— Бей его!! — рухнул класс в грохоте.

В коридоре зазвенел звонок, и профессор кинулся вон, а вслед ему засвистел разбойничьим свистом стоголосый класс.

ТОРГОВЫЙ ДОМ НА КОЛЕСАХ

Молчаливая обычно станция «Мелкие дребезги» Энской советской дороги загудела, как муравейник, в который мальчишка воткнул палку. Железнодорожники кучками собирались у громадного знака вопроса на белой афише. Под вопросом было напечатано:

ОНА ЕДЕТ!!!

— Кто едет?! — изнывали железнодорожники, громоздясь друг на друга.

Кооперативная лавка-вагон!! — отвечала афиша.

— Го-го, здорово! — шумели железнодорожники.

И на следующий день она приехала.

Она оказалась длинным товарным вагоном, испещренным лозунгами, надписями и изречениями:

Нигде, кроме как в нашем торговом доме!

Сони, Маши и Наташи, летите в лавку нашу!

Железнодорожник! Зачем тебе высасываться в лавке частного паука.

Когда ты можешь попасть к нам?!

— Ги-ги, здорово! — восхищались транспортники.— Паук — это наш Митрофан Иванович.

Станционный паук Митрофан Иванович мрачно глядел из своей лавчонки.

Транспортная кооперация, путем нормализации, стандартизации и инвентаризации спасет мелиорацию, электрификацию и механизацию.

Этот лозунг больше всего понравился стрелочникам.

— Понять ни черта нельзя,— говорил рыжебородый Гусев,— но видно, что умная штука.

«Каждый, кто докажет документом, что он член, получает скидку в 83 1/2%,— гласил плакат,— все не члены получают такую же!!»

В кассе взаимопомощи наступило столпотворение. Транспортники стояли в хвосте и брали заимообразно совзнаками и червонцами.

А в полдень облепленная народом кооплавка начала торговать.

Три приказчика извивались, кассирша кричала: «Сдачи нет!», и пер станционный народ штурмом.

— Три фунтика колбаски позвольте, стосковались по колбаске. У паука Митрофана Ивановича гнилая.

— Колбаски-с нет. Вся вышла-с. Могу предложить вместо колбаски омары в маринаде.

— Амары? А почем?

— Три пятьдесят-с.

— Чего три?!

— Известно-с — рубля.

— Банка?!

— Банка-с.

— А как же скидка? Я член...

— Вижу-с. Со скидкой три пятьдесят, а так они шесть двадцать.

— А почему они воняют?

— Заграничные-с.

— Прошу не напирать!

— Ремней в данный момент не имеется, могу предложить взамен патентованные брюкодержатели «Дуплекс» — лондонские с автоматическими пуговицами «Пли». 7 руб. 25 коп. Купившим сразу дюжину дополнительная скидка — 15%. Виноват, гражданин. Он на талию надевается.

— Батюшки, лопнул!!

— Уплатите в кассу 7 р. 25 к.

— Ситцу нет, мадемуазель. Есть портьерная ткань лионская, крупными букетами. Незаменима для обивки мебели.

— Хи-хи. У нас и небели-то нету.

— Жаль-с. Могу предложить стулья «комфорт» складные для пикников...

— А вам что, мадам?

— Я не мадам,— ошеломленно ответил Гусев, поглаживая бороду.

— Пардон, чем могу?

— Мне бы ситцу бабе в подарок.

— Миль пардон, ситец вышел. Для подарка вашей почтенной супруге могу предложить парижский корсет на шелку с китовым усом.

— А где ж у него рукава?

— Извиняюсь, рукава не полагаются. Ежели с рукавами, возьмите пижаму. Незаменимая вещь в морских путешествиях.

— Нам по морям не путешествовать. Нет уж, позвольте корсетик. Вещица прочная.

— Будьте покойны, пулей не прострелишь. Номер размера вашей супруги?

— У нас по простоте, не нумерованная,— ответил стыдливо Гусев,— известно, серость...

— Пардон, тогда мы на глаз. Рукой обхватить можно?

Гусев подумал:

— Никак нет. Двумя, ежели у кого руки длинные...

— Гм. Это порядочный размер. Супруге вашей диета необходима. Так мы предложим вам № 130, для тучных специально.

— Хорошо,— согласился покладистый Гусев.

— 11 р. 27 коп... Что кроме?

Кроме Гусев купил бритвенное зеркало «жокей-клуб», показывающее с одной стороны человека увеличенным, а с другой стороны уменьшенным. Просил мыла, а предложили русско-швейцарский сыр. Гусев отказался за неимением средств и, подкрепившись у Митрофан Ивановича самогоном, явился к супруге.

— Показывай, что купил, пьяница?—спросила Гусева супруга.

— Вишь, Маша, выбор в лавке у них заграничный, ни черта нету,— пояснил Гусев, вскрывая сверток,— говорят, тучная ты № 130...

— Ах они, охальники! (Супруга всплеснула руками.) Что они, мерили меня, что ли? И ты хорош: про жену такие слова!

Она глянула в зеркало и ахнула. Из круглого стекла выглянула великанская физия с обвисшими щеками и волосами толстыми, как нитки.

Супруга повернула зеркало другой стороной и увидала самое себя с головой маленькой, как чернильница.

— Это я такая? № 130?!—спросила супруга, багровея.

— Тучная ты, Ма...— пискнул Гусев, присел, но не успел закрыться. Супруга махнула корсетом и съездила его по уху так, что шелк лопнул и китовый ус вонзился ему в глаз.

Через две минуты Гусев, растопырив ноги, сидел у входа в свое жилище и глядел заплывшим глазом в хвост поезду, увозившему кооперативную лавку.

Гусев погрозил ей кулаком.

Встал и направился к Митрофан Ивановичу.

БЕЛОБРЫСОВА КНИЖКА

Формат записной

3 числа.

№ билета не забыть: 50 897 013. Кузину литературу и поехать в район...

...День-то, день... Да, уж это день! День, братцы мои. Утром позвонился, в полдень телеграмма. Сон Шехерезады, товарищи! Оценили Белобрысова. Вспомнили! Шел к нему в кабинет и думаю — я или не я? Встал он, брючки подтянул, говорит — оправдайте доверие наше, товарищ Белобрысов, а равно и беспартийной массы в размере 150 миллионов. Стою — плачу, слезы градом, стою, ничего не понимаю, а в голове птица поет... чепуха... я помню день, ах, это было, я помню день, ах, это было...

Кругобанка директором!! Понимэ ву? Кругосветных операций банка директором. Эх, мама, покойница, не в смысле семейного быта и пережитков говорю, боже сохрани,— в смысле того, что вот, старуха, родила Белобрысова сына республике. И сам не понимаю, что говорю. Поймите, что, может, сижу как болван здесь, а в это время на Малайских островах телеграмма: «Белобрысова Семена Кругобанка...» Эх, гори, сияй, моя звезда!..

Между листами расписка Моспочтамта:

Куда: Одесс.

Кому: Якову Белобрысову.

Слов: 16.

6 числа

Швейцар... К машине выходил... Говорю — сам я. Сам... Помилуйте, товарищ. Не понимаю, где делают

такие стекла? 3 сажени. На-а... Даа... 4 аппарата (6-89-05, не забыть) и какой-то с белыми цифрами. По 8-му повертел, и пришел: честь имею рекомендоваться — заведующий отделом австралийских корреспондентов. Спрашиваю и сам не знаю, почему... я помню день... а, говорю, с Малайскими у нас как островами? Конечно, отвечает и сам улыбается. Кругосвет! Улыбка открытая и золотые зубы. Вот только одеты все! Все острые носы. Ногу поджимаю, потому что латка у меня и хром. Смешно, конечно... Мне как марксисту на латку плевать, но спрашиваю, где, мол, ботинки вы покупаете? Вместо ответа берет 6-89-05 (не забыть) и спрашивает: ваш номер позвольте узнать, товарищ директор? Я и бухнул — домсоветский! Коммутатор, говорю, 78-50-50, добавочный 102. Улыбнулся. № ботинок, говорит, Семен Яковлевич? Какой там номер! Получил, говорю, в райкоопе. Он в телефон: пришлите выбор — дюжину лак-замша, каблук рантованный, те, что я беру. Ошалел я, спрашиваю — простите, может быть, это неудобно? Улыбнулся. Помилуйте, говорит, Семен Яковлевич, вам по магазинам разве будет время ходить. От парового отопления веет, а в Севообороте в шубе сидел у окна. Эх!

...В сущности... нога как в вате... Маркс нигде не утверждал, что на ногах нужно всякую сволочь носить...

Батюшки! Брат Яша с женой одесским семь пятнадцать приехал. Получил братуля телеграмму и прилетел. Радости было!.. Семь лет не видались. Остается в Москве. Я рад. Он у меня, братан,— молодец по коммерческой части. Будет с кем посоветоваться. Эх, жаль, что беспартийный. Говорит, я сочувствую, но некоторое расхождение... Возмужал, глаза быстрые стали, как мышки, борода черная — веером. Жена красавица. Волосы как золото. Хохоту было! Теснота у нас в доме. У меня две комнатушки — повернуться негде. А она-то! Манто котиковое... серьги бриллиантовые. Немножко я даже смутился. Она шмыг, шмыг по коридору, быстрая, в серьгах, а у нас бирюки ответственные... косятся... Пустяки. Они беспартийные...

Между листами.

Черновик телеграммы.

Одесса юристконсульту Югокофе.

Прошу взыскание векселям Якова Белобрысова приостановить семь дней.

Диркругбанка *Белобрысов...*

...Хохотал. Да они, говорит, на карачках, чудак ты, поползут. Да я им, говорит, сукиным сынам, теперь загну салазки. Они мне петлю на шею накинули! Американец у меня братуха оказался единоутробный, а я и не знал.

9 числа.

Боже мой! Что было! Ай да братиха американ! Два раза был монтер домовый и со станции... Оборвали телефон!

Между листами.

Вырезка из газеты «Известия».

Срочно требуется квартира не далее кольца «А», 6—8 комнат, ванной, удобствами. Платой не стесняюсь. Вношу единовременно 1000 (тысяча) червонцев... Указавшему сто. Звонить круглые сутки 78-50-50, добав. 102. Як. Бело-ову. Лично, от 10 час. утра до 12 часов ночи.

...Что ж он делает?! Предлагали борзых собак. Спрашиваю, зачем марксисту борзые собаки? Страусовые перья, дачу в Малаховке, обнаженную венецианку в ванне! К концу дня осатанел... На лестнице стояли! Скандал! Журил братишку. Оттуда звонили? Ого! Яша хохотал: при чем тут ты? «Як» ведь. На мое имя! Наши ответственные как туча...

14 числа.

Господи! Муни-то, Руни-то! Квартир, говорили, нету. Вот тебе и нету. Ничего подобного не видал — в центре жилая площадь с лепными потолками...

15 числа.

Черт его знает... Боюсь... Да понимает же он?.. Братун-то!..

Между листами.

На машинке обрывок: О выдаче ссуды в размере 10 000 (десять тысяч) рублей золотом кооптовариществу «Домострой» в составе Капустина, Гопцера, Дрицера и Як. Белобрысова...

...Целовала, целовала, называла фрэр[1]!.. Кричала — Яша не ревнив... Отвернись! Яша на тахте, играл на гитаре — что мне до шумного света, что нам друзья и враги! Да, он прав, в конце концов. Если мне не отдыхать, с ума сойдешь.

...Машину к 11-ти. Яша говорит, что на такой машине только свистунам ездить. Рол-Ройлс, говорит, приличная. Ну, эта пока...

---

[1] братом (от *фр.* frère).

17 числа.

Яша на главного бухгалтера при публике в вестибюле наорал. 40-50-60. Франко-Гамбург.

В книге выдрано 15 листов.

... числа.

Не согласна. Только в церкви... Венчались тайком. Голова моя идет кругом! Невеста была в белом платье, жених был весь в черных штанах! Шампанское... Боже... В соседней комнате она сейчас переодевается... Из главного зала перешли в половину второго в кабинеты. Цыгане пели. Что Яша-братусик учинил — уму непостижимо! Да плевать я, говорит, хотел! 50 червонцев шваркнул за зеркало! Да если, говорит, завтра у меня пройдет иваново-вознесенская благополучно, да я, говорит, этого метрдотеля в «Дюрсе» утоплю!!

Две гитары за стеной... Переодевается она теперь, ноги-то... Яша на столе плясал фокстрот... снял с жены махры Востока юбки... Это ужас!.. Две гитары... две гитары...

...За стеной переодевается...

1 числа.

60-05-50. По счету, если Яша не вывернет Иваново-Вознесенска, не знаю, как быть. 60-08-80-11-15, 16-15-14. Две гитары...

...Хожу как в бреду... Две гитары... Яша сказал, что ты, говорит, ее должен как королеву одевать. Постыдился бы мне, марксисту, такие слова... Ей, говорит, кольцо... Сам ездил на Кузнецкий, купил... 3 карата. Все оглядываются. Ну, не знаю, что будет!

2 числа.

Сукин сын Яшка, лопнул с Иваново-Вознесенском.

4 числа.

Звонил гробовым голосом. Спросил про слухи. С Яшкой был разговор в упор... Две гитары... Не спал всю ночь...

7 числа.

Просили прибыть... в районе доклад важный «Штурм унд Дранг» в условиях нэпа». В-важность! У меня тут свой Дранг — голова идет кругом!

...Б-боже. Насело Югокофе, как банный лист. Я эту мразь, текущего заведующего, убил бы на месте! Позвать его!!

9 числа.

Исусе Христе! Яшка-гадость пал в ноги и признался —

«Домострой» лопнул! Чисто!.. Угрожал застрелиться и выл. Содом-Гоморра! Две гитары... Содом!

12 числа.

Срочно менять на черной. Гопцер-Дрицер пропал.

13 числа.

Взяли ночью. Взяли в 2 1/2 часа пополуночи.

Выдрано 3 листа.

... *числа.*

...ах ты, жизнь моя, жизнь... Сегодня у следователя не выдержал, сказал Яшке — ты не брат, а подколодная стерва! Яшка: бей, говорил, бей меня!.. Ползал по полу, даже следователь удивлялся, змее...

...Принимая во внимание мое происхождение, могут меня так шандарахнуть...

...Гори, моя звезда!.. Я помню день... Лучше б я... Эх... И ночь... Луна... И на штыке у часового горит полночная луна.

ПРОСВЕЩЕНИЕ С КРОВОПРОЛИТИЕМ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩЕМУ ЖЕЛ.-ДОР. ШКОЛОЙ СТ. АГРЫЗ МОСК.-КАЗ.

Вводить просвещение, но по возможности без кровопролития!

М. Е. Салтыков-Щедрин

Чьи-то сапоги с громом покатились по лестнице, и уборщица школы Фетинья не убереглась, божья старушка! Выскочила Ванькина голова с лестницы и ударила божью старушку сзади. Села старушка наземь, и хлынула из ведер вода.

— Чтоб ты околел! — захныкала старушка.— Что ты, взбесился, окаянный?!

— Взбесишься тут,— задыхаясь, ответил Ванька,— еле убег! Вставай, старушка...

— Что, аль сам?

— Чай, слышишь?

Из школы несся рев, как будто взбунтовался тигр:

— Дайте мне сюда эту каналью!!! Подать его мне, и я его зарежу, как цыпленка!!! А-а!!

— Тебя?

— Угу,— ответил Ванька, вытирая пот,— с доски не стер во втором классе.

— Подать мне Ваньку-сторожа живого или мертвого!! — гремело школьное здание.— И из него сделаю бифштекс!!

— Ванька! Ванька!! Ванька!! К заведующему!! — вопили ученические голоса.

— Черта пухлого я пойду! — хрипнул Ванька и стрельнул через двор. Во мгновенье ока он вознесся по лестнице на сеновал и исчез в слуховом окне.

Здание на мгновение стихло, но потом громовой хищный бас взвыл вновь:

— Подать мне учителя географии!! И-и!!.

— Г-и! Ги-ги!! — загремело эхо в здании.

— Географ засыпался...— восхищенно пискнул дискант в коридоре.

Учитель географии, бледный как смерть, ворвался в физико-географический кабинет и застыл.

— Эт-та шта так-кое? — спросил его заведующий таким голосом, что у несчастного исследователя земного шара подкосились ноги.

— Карта РеСеФеСеРефесефесе...— ответил географ прыгающими губами.

— М-молчать!! — взревел заведующий и заплясал, топая ногами.— Молчать, когда с вами начальство разговаривает!.. Это карта?.. Это карта, я вас спрашиваю?! Пач-чему она не на мольберте?! Почему Волга на ней какая-то кривая?! Почему Ленинград не Петроград?! На каком основании Черное море — голубое?! Почему у вас вчера змея издохла?! Кто, я вас спрашиваю, налил чернил в аквариум?!

— Это ученик Фисухин,— предал Фисухина мертвый преподаватель,— он змею валерьяновыми каплями напоил.

Стекла в окнах дрогнули от рева:

— А-га-га!! Фисухин!!. Дать мне Фисухина, и я его четвертую!!

— Фису-у-у-хин!! — стонало здание.

— Братцы, не выдавайте,— плакал Фисухин, сидя одетым в уборной,— братцы, не выйду, хоть дверь ломайте...

— Выходи, Фисуха! Что ж делать... Вылезай! Лучше ты один погибнешь, чем мы все,— молили его ученики.

— Здесь?!! — загремело возле уборной.

— Тут,— застонали ученики,— забронировался.

— А! А!.. Забронировался... Ломай!.. Двери!! Дать мне сюда багры!! Позвать дворников!! Вынуть Фисухина из уборной!!!

Страшные удары топоров посыпались в здании градом, и в ответ им взвился тонкий вопль Фисухина.

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

Роман тов. Жюля Верна
С французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков

Часть I

ВЗРЫВ ОГНЕДЫШАЩЕЙ ГОРЫ

Глава I

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

В океане, издавна за свои бури и волнения названном Тихим, под 45-м градусом находился огромнейший необитаемый остров, населенный славными и родственными племенами — красными эфиопами, белыми арапами и арапами неопределенной окраски, получившими от мореплавателей почему-то кличку — махровых.

«Надежда», корабль знаменитого лорда Гленарвана, впервые подошедший к острову, обнаружил на нем оригинальные порядки: несмотря на то, что красные эфиопы численностью превышали и белых, и махровых арапов в 10 раз, правили островом исключительно арапы. На троне, в тени пальмы сидел украшенный рыбьими костьми и сардинными коробками повелитель Сизи-Бузи, с ним рядом верховный жрец и еще военачальник Рики-Тики-Тави.

Красные же эфиопы были заняты обработкой маисовых полей, рыбной ловлей и собиранием черепашьих яиц.

Лорд Гленарван начал с того, с чего привык начинать всюду, где бы ни появлялся: водрузил на горе флаг и сказал по-английски:

— Этот остров... мой немножко будет.

Произошло недоразумение. Эфиопы, не понимавшие никакого языка, кроме своего, из флага сделали себе штаны. Тогда лорд стал пороть эфиопов под пальмами, а

перепоров всех, вступил в переговоры с Сизи-Бузи и от последнего узнал, что этот остров — его, Сизин-Бузин, и «флаг не надо».

Оказывается, остров открывали уже два раза. Во-первых, немцы, а за ними какие-то, которые лопали лягушек. В доказательство Сизи ссылался на сардиночные коробки и умильно намекнул, что «огненная вода вкусная очень есть, да».

— Пронюхали, сукины сыны! — проворчал лорд по-английски и, похлопав Сизи по плечу, милостиво разрешил ему и в дальнейшем числить остров за собой.

Затем произошел товарообман. Матросы сгрузили на берег с «Надежды» стеклянные бусы, тухлые сардинки, сахарин и огненную воду. Бурно ликуя, эфиопы свезли на берег бобровые шкуры, слоновую кость, рыбу, яйца и жемчуг.

Сизи-Бузи огненную воду взял себе, сардинки тоже, бусы также, а сахарин подарил эфиопам.

Установились правильные сношения. Суда заходили в бухту, сбрасывали английские ценности, забирали эфиопову дрянь. На острове поселился корреспондент «Нью-Йоркского Таймса» в белых штанах и с трубкой и немедленно заболел тропическим триппером.

Остров в учебниках географии был назван — Эфиопов остров (л'Иль д'Эфиоп[1]).

Глава II

СИЗИ ПЬЕТ ОГНЕННУЮ ВОДУ

Засим остров достиг невиданного процветания. Верховный жрец, военачальник и сам Сизи-Бузи буквально плавали в огненной воде. Лицо Сизи сделалось в конце концов как лакированное и какое-то круглое, без складок. Армия белых арапов, украшенная бусами, лесом копий сверкала у шатра.

Проходившие суда нередко слышали победные крики, несущиеся с острова:

— Да здравствует наш повелитель Сизи-Бузи, а равно и верховный жрец! Ура, ура!

Кричали арапы, и громче всех махровые.

---

[1] L'ile d'Ephiope *(фр.)*.

Со стороны эфиопов доносилось громкое молчание. Не получая огненного пайка и работая до потери задних ног, означенные эфиопы находились в состоянии томном и даже граничащем с глухим неудовольствием. А так как среди эфиопов, как и среди всех людей, имеются смутьяны, то бывало и так, что у эфиопов зарождались завиральные мысли:

— Это как жа, братцы? Ведь это выходит не побожецки? Водка им (арапам), бусы им, а нам шиш с сахарином? А как работать — это тоже мы?

Кончилось это крупною неприятностью, и опять-таки для эфиопов. Сизи-Бузи при самом начале брожения умов послал к эфиоповым вигвамам карательную арапову экспедицию, и та в два счета привела эфиопов к одному знаменателю.

Перепоротые, они кланялись в пояс и говорили:

— И детям закажем.

И, таким образом, вновь наступили ясные времена.

Глава III

КАТАСТРОФА

Вигвамы Сизи и жреца помещались в лучшей части острова у подножия потухшей триста лет назад огнедышащей горы.

Однажды ночью она проснулась совершенно неожиданно, и сейсмографы в Пулково и Гринвиче показали зловещую чепуху.

Из огнедышащей горы вылетел дым, за ним пламя, потом поперли какие-то камни, а затем, как кипяток из самовара, жаркая лава.

И к утру было чисто. Эфиопы узнали, что они остались без повелителя Сизи-Бузи и без жреца, с одним военачальником. На месте королевских вигвамов громоздились горы лавы.

Глава IV

ГЕНИАЛЬНЫЙ КИРИ-КУКИ

В первое мгновение эфиопы были разбиты громом, и даже произошли в толпе слезы, но уже во второе мгновение по головам и эфиопов, и уцелевших арапов во

главе с военачальником пронесся совершенно естественный вопрос: «Что же будет дальше?»

Вопрос повлек за собой гудение, сперва неясное, а затем громкое, и неизвестно, во что бы это вылилось, если бы не произошло удивительное событие.

Над толпой, напоминающей маковое поле с редкими белыми пятнами и махрами, взвилось чье-то испитое лицо и бегающие глаза, а затем, возвышаясь на бочке, всей своей персоной предстал известный всему острову пьяница и бездельник Кири-Куки.

Эфиопов разбило громом второй раз, и причиной этому был поразительный вид Кири-Куки. Все от мала до велика привыкли его видеть околачивающимся то в бухте, где выгружали огненные прелести, то возле вигвама Сизи и отлично знали, что Кири чистой воды махровый арап. И вот Кири явился перед ошалевшими островитянами раскрашенным с ног до головы в боевые эфиоповы красные цвета. Самый опытный глаз не отличил бы вертлявого пройдоху от обыкновенного эфиопа.

Кири качнулся на бочке вправо, потом влево и, открыв большой рот, грянул изумительные слова, тотчас занесенные в записную книжку восхищенным корреспондентом «Таймса»:

— Как таперича стали мы свободные эфиопы, объявляю вам спасибо!

Абсолютно ни один из эфиопова моря не понял, почему именно Кири-Куки объявляет спасибо и за что спасибо?! И вся громада ответила ему изумленным громовым:

— Ура!!!

Несколько минут бушевало оно на острове, а затем его прорезал новый вопль Кири-Куки:

— А теперь, братцы, вали присягать!

И когда восхищенные эфиопы взвыли:

— К-кому?!!

Кири ответил пронзительно:

— Мне!!!

На сей раз хлопнуло арапов. Но паралич продолжался недолго. С криком:

— Угодил, каналья, в точку! — военачальник первым бросился качать Кири-Куки.

Всю ночь на острове, играя в небе отблесками, горели веселые костры и, пьяные от радости и от огненной воды,

раскупоренной тороватым Кири, плясали вокруг них эфиопы.

Проходящие суда тревожно бороздили небо радиомолниями и собирались остров для порядку обстрелять, но вскоре весь цивилизованный мир был успокоен телеграммой таймсова корреспондента:

«У дураков на острове национальный праздник байрам точка Мошенник гениален».

Глава V

BOUNT

Затем события покатились со сверхъестественной быстротой. В первый же день, чтобы угодить эфиопам, Кири остров назвал Багровым, в честь основного эфиопова цвета, и этим эфиопов, равнодушных к славе, не прельстил, а арапов обозлил. Во второй день, чтобы угодить арапам, в должности военачальника утвердил арапа же Рики-Тики — и этим арапам не угодил, потому что каждый из них хотел быть начальником, а эфиопов обозлил. В третий, чтобы угодить лично себе, соорудил себе из шпротовой коробки лохматый головной убор, до чрезвычайности напоминающий корону покойного Сизи. Этим никому не угодил и всех обозлил, ибо арапы полагали, что каждый из них достоин коробки, а эфиопы, развращенные огненной водой, были вообще против коробки, напоминающей им весьма жгуче приведение к одному знаменателю.

Последнее же мероприятие Кири-Куки было направлено по адресу огненной воды, и на нем Кири окончательно и засыпался. Кири объявил, что огненной воды будет всем поровну, и не исполнил. Очень просто. Ежели всем, то ее нужно много. А где же ее взять? В обмен на воду Кири загнал очередной урожай маиса — воды много не добыл, зато не только эфиопам, но и арапам подвело животы и получилось неудовольствие.

В прекрасный жаркий день, когда Кири, по обыкновению, лежал негодный к употреблению в своем вигваме, к начальнику Рики-Тики явился некий эфиоп, на физиономии коего были явственно выписаны его смутьянские наклонности. В момент его появления Рики пил огненную воду под аккомпанемент хрустящего жареного поросенка.

— Тебе чего надо, эфиопская морда?—сухо спросил мрачный командир.

Эфиоп пропустил комплимент мимо ушей и прямо приступил к делу.

— Ды как же это?—заныл он,—ведь это что же? Вам и водка, и поросята? Это опять, стало быть, старые порядки?

— Ага. Ты, значит, поросенка захотел?—сдерживаясь, спросил воин.

— А как же? Чай, эфиоп тоже человек?—дерзко ответил визитер и нагло отставил ногу.

Рики взял поросенка за хрустящую ножку и, развернув его винтом, хлопнул эфиопа в зубы так, что из поросенка брызнуло масло, изо рта эфиопа—кровь, а из глаз слезы вперемешку с крупными зелеными искрами.

— Вон!!!!—закончил Рики дискуссию.

Неизвестно, что такое учинил эфиоп, вернувшись к себе домой, но хорошо известно, что к концу дня весь остров уже гудел, как улей. А уже ночью фрегат «Ченслер», проходя мимо острова, видел два зарева в южной бухте Голубого Спокойствия и весь мир встревожил телеграммой:

«Острове огни всем признакам ослов эфиопов снова праздник Гаттерас».

Но почтенный капитан ошибся. Правда, огни были, но праздничного в них не заключалось ровно ничего. Просто в бухте горели вигвамы эфиопов, подожженные карательной экспедицией Рики-Тики.

Наутро огненные столбы превратились в дымные, причем их было не два, а уже девять. К ночи дымы превратились опять в лапчатые зарева (шестнадцать штук).

Мир был встревожен газетным заголовком в Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Берлине и прочих городах «В чем дело?».

И вот пришла телеграмма таймсовского корреспондента, поразившая мир:

«Шестой день горят вигвамы арапов. Тучи эфиопов... (неразборчиво) Кири жулик бежа... (неразборчиво)».

А через день грянула на весь мир ошеломляющая телеграмма, уже не с острова, а из европейского порта:

«Ephiop sakatil grandiosni bount. Ostrov gorit, povalnaja tschouma. Gori troupov. Avansom piatsot. Korrespondent».

Часть II

ОСТРОВ В ОГНЕ

Глава VI

ТАИНСТВЕННЫЕ ПИРОГИ

На рассвете часовые на европейском берегу крикнули:

— На горизонте суда!!

Лорд Гленарван вышел с подзорной трубой и долго изучал черные точки.

— Мой не понимай,— сказал джентльмен,— похоже, пироги диких?

— Гром и молния! — воскликнул Мишель Ардан, отбросив Цейсс в сторону,— ставлю вашингтонский доллар против дырявого лимона выпуска 23-го года, если это не арапы!

— И очень просто,— подтвердил Паганель.

Ардан и Паганель угадали.

— Что означайт? — спросил лорд, удивившись в первый раз в жизни.

Вместо ответа арапы только хныкали. На них было положительно страшно смотреть. Когда они немного отдышались, выяснились ужасные вещи: эфиопов тучи. Проклятые смутьяны разожгли этих дураков. Требование: арапов к чертям. Рики послал экспедицию, и ее перебили. Мерзавец Кири-Куки улизнул первый на пироге. Остатки карательной экспедиции во главе с Рики-Тики вот они — в пирогах. Они мало-мало к лорду приехали.

— Сто сорок чертей и одна ведьма!! — грянул Ардан,— они собираются жить в Европе. Компренэ ву?![1]

— Но кто кормить будет? — испугался Гленарван,— нет, вы обратно остров езжай.

— Нам таперича, ваше сиятельство, на остров и носу показать невозможно,— плакали арапы,— эфиопы нас начисто поубивают. А во вторых строках, вигвамы наши, к черту, попалили. Вот ежели бы какую ни на есть военную силу послать, смирить этих сволочей...

— Благодарю,— иронически ответил лорд, указывая на телеграмму корреспондента,— у вас там чума. Мой еще

[1] Вы понимаете?! (От *фр.* comprenez-vous?!)

с ума не сходил. Один мой матрос дороже, чем ваш паршивый остров весь. Да.

— Точно так, ваше превосходительство,— согласились арапы,— известно, что мы ни черта не стоим. А насчет чумы господин корреспондент верно пишут. Так и косит, так и косит. И опять же голод.

— Тэк-с,— задумчиво сказал лорд,— ладно. Мой будет посмотрейт,— и скомандовал: — в карантин!

Глава VII

АРАПОВЫ МУКИ

Чего натерпелись арапы в гостях у лорда, и выразить невозможно. Началось с того, что их мыли в карболке и держали за загородкой, как каких-нибудь ослов. Кормили аккуратно, как раз так, чтобы арапы не умирали. А так как установить точную норму при таком методе невозможно, то четверть арапов все-таки отдала богу душу.

Наконец, промариновав арапов в карантине, лорд направил их на работы в каменоломни. Там были надсмотрщики, а у надсмотрщиков бичи из воловых жил...

Глава VIII

МЕРТВЫЙ ОСТРОВ

Суда получили приказ обходить остров на пушечный выстрел. Так они и делали. По ночам было видно слабое догорающее зарево, а днем остров тлел черным дымом. Потом к этому прибавился удушающий смрадный дух. По голубым волнам тянуло трупным запахом.

— Крышка острову,— говорили матросы, глядя в бинокли на коварную зеленую береговую полосу.

Арапы, превратившиеся на хлебах лорда в бледные тени, шляясь в каменоломнях, злорадствовали:

— Так им и надо, прохвостам. Пущай поумирают, к свиньям. Когда все издохнут, вернемся и остров займем. А уже этому мертвецу Кири-Куки кишки выпустим своеручно, где бы ни попался.

Лорд хранил спокойное молчание.

Глава IX

ЗАСМОЛЕННАЯ БУТЫЛКА

Ее выбросила однажды волна на европейский берег. Ее вскрыли с карболовыми предосторожностями в присутствии лорда, и в ней оказались неразборчивые каракули эфиопской рукой. Переводчик разобрался в них и представил лорду документ:

«Погибаем с голоду. Ребята (через ять) малые дохнут. Чума то же самое. Чай, ведь мы люди? Хлебца пришлите. Любящие эфиопы».

Рики-Тики посинел и заявил:

— Ваше сиясь!.. Да ни за что! Да пущай поумирают! Да ежели после всего их бунта да еще и кормить...

— Я и не собираюсь,— холодно ответил лорд и съездил Рики по уху хлыстом, чтобы он не лез с советами.

— В сущности, это свинство...— пробормотал сквозь зубы Мишель Ардан,— можно было бы послать немного маису.

— Благодарю вас за совет, месье,— сухо ответил Гленарван,— интересно знать, кто будет платить за маис? И так эта арапская орава налопала на черт знает сколько. В глупых советах я не нуждаюсь.

— Вот как? — прищурившись, спросил Ардан,— позвольте узнать, сэр, когда мы стреляемся. И клянусь, дорогой сэр, я попаду в 20 шагах в вас так же легко, как в собор Парижской богоматери.

— Я не поздравляю вас, месье, если вы окажетесь в 20 шагах от меня,— ответил лорд,— вес вашего тела увеличится на вес пули, которую я всажу вам в один из ваших глаз по вашему выбору.

Филеас Фогг был секундантом лорда, Паганель — Ардана. Вес Ардана остался прежним, и Ардан в лорда не попал. Он попал в одного из арапов, сидевших из любопытства за кустом. Пуля пошла арапу в переносицу и вышла через затылок. Арап умер в то время, когда она была на полпути — посредине мозга.

Ардан и Гленарван пожали друг другу руки и разошлись.

Но этим история с бутылкой не кончилась. Ночью 50 арапов сбежали на пирогах с европейского берега, оставив лорду нахальную записку:

«Спасибо за карболку и воловьи жилы надсмотрщиков. Надеемся, что когда-нибудь мы им переломаем ноги.

Едем обратно на остров. С эфиопами замиряемся. Лучше от чумы подохнуть дома, чем от вашей тухлой солонины. С почтением, арапы».

Уехавшие уперли с собой подзорную трубу, испорченный пулемет, 100 банок сгущенного молока, шесть дверных блестящих ручек, 10 револьверов и двух европейских женщин.

Лорд перепорол оставшихся арапов и занес в книжку стоимость похищенного.

Часть III

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

Глава X

ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ДЕПЕША

Прошло 6 лет. Изолированный мертвый остров был забыт С кораблей изредка издали видели моряки в бинокли пышную зелень его берегов, скалы и пенный прибой. Больше ничего.

Семь лет было назначено, чтобы выветрилась чума и остров стал безопасным. В конце седьмого предполагалась экспедиция на остров с целью вселения арапов обратно. Арапы, худые как скелеты, томились в каменоломнях.

И вот в начале седьмого года цивилизованный мир был потрясен изумительным известием. Радиостанции Америки. Англии, Франции приняли радиотелеграмму:

«Чума кончилась. Слава богу, живы, здоровы, чего и вам желаем. Ваши уважаемые эфиопы».

Наутро во всем мире газеты вышли с аршинными заголовками:

Остров говорит!!

Загадочное радио!!! Эфиопы живы?!

— Клянусь фланелевыми панталонами моей бабушки! — взревел М. Ардан, — это сверхъестественно. Не то удивительно, что они выжили, а то, что они дают телеграммы. Не дьявол же им соорудил радиостанцию?!

Лорд Гленарван принял известие задумчиво. Арапы же были совершенно разбиты. Рики-Тики-Тави хныкал и просил лорда:

— Теперича, ваше преосвященство, единственно: пе-

ребить их — экспедицию послать. Ведь это что ж такое делается?! Остров наш наследственный. До каких же пор мы тут томиться будем?

— Мой будет посмотреть,— ответил лорд.

Глава XI

КАПИТАН ГАТТЕРАС И ЗАГАДОЧНЫЙ БАРКАС

В чудесный майский день у острова на море показался дым винтом, и вскоре корабль, под командой капитана Гаттераса, командированный лордом Гленарваном, пристал к берегу. Матросы усеяли ванты и борты и с любопытством глядели на остров. Глазам их представилась следующая картина: в бухте мирно дремала вода и неизвестный баркас торчал у самого берега среди целой стаи новеньких, видимо, только что отстроенных пирог. Загадка радиотелеграммы объяснилась тут же: вдали глядел в изумрудном тропическом лесу шпиль чрезвычайно уродливо сооруженной радиостанции.

— Сто дьяволов! — вскричал капитан,— эти остолопы сами построили эту кривую дылду!

Матросы весело хохотали, глядя на корявый плод эфиопова творчества.

Лодка с корабля подошла к берегу и высадила капитана с несколькими матросами.

Первое, что поразило отважных мореплавателей,— это чрезвычайное изобилие эфиопов. Гаттераса обступили не только взрослые, но и целая куча молодых. На самом берегу гирляндами сидели толстые маленькие эфиопчики и удили рыбу, свесив ноги в голубую воду.

— Черт меня возьми, если эта чума не пошла им на пользу! — удивился Гаттерас,— у них такие морды, как будто их кормили кашей «Геркулес»! Ну-с, будем посмотреть дальше...

Дальше его поразил именно старенький баркас, приютившийся в бухте. Одного опытного взгляда было достаточно, чтобы убедиться: баркас с европейской верфи.

— Это мне не нравится,— процедил сквозь зубы Гаттерас,— если только они не украли эту дырявую калошу, то спрашивается, какая каналья шлялась на остров во время карантина? Мне сильно сдается, что баркас немецкий! — И, обратившись к эфиопам, он спросил:

— Эй вы! Красноролсие черти! Где вы свистнули лодку?

Эфиопы лукаво заулыбались, показав жемчужные зубы, и ничего не ответили.

— Не желаете отвечать? Ладно,— капитан нахмурился,— я вас сделаю разговорчивее.

С этими словами он направился к баркасу. Но эфиопы преградили ему и матросам путь.

— Прочь! — рявкнул капитан и привычным жестом взялся за задний карман.

Но эфиопы не ушли прочь. В одно мгновение Гаттерас и матросы оказались в тесном и плотном кольце. Шея капитана побагровела. В толпе он вдруг разглядел одного из белых арапов, бежавших из каменоломни.

— Ба-а! Старый знакомый! — воскликнул Гаттерас,— теперь я понимаю, откуда смуты! Подойди сюда, негодяй!

Но негодяй не пожелал подойти. Он так и заявил:

— Не пойду!

Капитан Гаттерас в бешенстве оглянулся, и шея его стала фиолетовой, составив прекрасный контраст с белым полем его шлема. Дело в том, что в руках у многих эфиопов он разглядел ружья, чрезвычайно похожие на немецкие винтовки, а в руках у арапа — свистнутый у Гленарвана парабеллум. Лица матросов, обычно бойкие, стали серьезно-серенькими. Капитан глянул на жгучее синее небо, затем на рейд, где покачивался его корабль. Оставшиеся на борту матросы пестрели белыми пятнышками на реях и мирно наблюдали берег.

Капитан Гаттерас умел владеть собой. Шея его постепенно приобрела нормальный цвет, говорящий о том, что паралич на сей раз отсрочен.

— Пропустите-ка меня обратно на корабль,— вежливо-хриплым голосом сказал он.

Эфиопы расступились, и Гаттерас, эскортируемый моряками, отбыл на корабль. Через час на нем загремели якорные цепи, а через два он уже виднелся лишь маленьким дымком на горизонте солнечного моря.

Глава XII

НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА

В бараках, занятых арапами, творилось что-то неописуемое. Арапы испускали победные клики и ходили на головах. В этот день им ведрами подали золотистый жирный бульон. Лохмотьев на арапах больше не было.

Им выдали великолепные ситцевые штаны и сколько угодно краски для боевой татуировки. У бараков стояли в козлах новехонькие скорострельные винтовки и пулеметы.

Рики-Тики-Тави был интереснее всего. Он сверкал кольцами в носу, пестрел развевающимися перьями. Лицо у него сияло, как у живоцерковного попа на Пасху. Он ходил как помешанный и говорил только одно:

— Ладно, ладно, ладно. Ужо, таперя, голубчики, вы у меня попрыгаете. Дай срок, доплывем. Вот только доплывем.

И при этом пальцами он делал такие жесты, как будто кому-то невидимому выдирал глаза.

— Стройся! Смирно! Ура! — кричал он и летал перед фронтом отяжелевших от бульона арапов.

Три бронированных громады в порту стали принимать араповы батальоны. И тут произошло событие. На середину перед фронтом вылезла оборванная и истасканная фигурка с головой, стриженной ежиком. Ошеломленные арапы всмотрелись и узнали в фигурке не кого иного, как самого Кири-Куки, скитавшегося все это время неизвестно где.

Он имел наглость выйти перед фронтом арапов и с заискивающей улыбочкой обратиться к Рики-Тики:

— А меня-то что ж, братцы, забыли? Чай, я ваш. Тоже арап. И меня на остров возьмите. Я пригожусь...

Он не успел окончить речь. Рики позеленел и вытащил из-за пояса широкий острый ножик.

— Ваше здоровье, — трясущимися губами обратился он к лорду Гленарвану, — этот самый... вот этот вот, и есть Кири-Куки, из-за которого сыр-бор загорелся. Дозвольте мне, ваша светлость, своими ручками ему глоточку перерезать?

— Отчего же. С удовольствием, — ответил лорд благодушно, — только скорей, не задерживай посадку.

Кири-Куки успел только раз пискнуть, пока Рики мастерским ударом перекатил ему глотку от уха до уха.

Затем лорд Гленарван и Мишель Ардан выступили перед фронтом, и лорд произнес напутственную речь:

— Езжайт, эфиопов покоряйт. Мой будет помогайт, с корабля стреляйт. Ваш потом будет платийт за этот.

И батальоны арапов под музыку сели на суда.

Глава XIII

НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛ

Как жемчужина сияющий предстал в ослепительный день остров. Суда подошли к берегу и начали высаживать вооруженный арапов строй. Рики — полный боевого пламени — соскочил первый и, потрясая саблей, скомандовал:

— Храбрые арапы, за мной!

И арапы устремились за ним.

Затем произошло следующее: из плодоносной земли острова навстречу незваным гостям встала неописуемая эфиопова сила. Эфиопы ползли густейшими шеренгами. Их было так много, что зеленый остров во мгновение ока стал красным. Они перли тучами со всех сторон, и над их красным океаном, как зубная щетка, густо лезла щетина копий и штыков. Кое-где вкрапленные, неслись в качестве отделенных командиров те самые арапы, что дали ходу из каменоломни. Означенные арапы были вдребезги расписаны эфиоповыми знаками, потрясали револьверами. На их лицах ясно было написано, что им нечего терять. Из глоток у них неслось только одно — боевой командный вопль:

— В штыки!!

На что эфиопы отвечали таким воем, от которого стыла в жилах кровь:

— Бей их, сукиных сынов!!!

Когда враги встретились, стало ясно, что армия Рики не что иное, как белый остров в бушующем багровом океане. Он расплеснулся и охватил арапов с флангов.

— Клянусь рогами дьявола! — ахнул на борту флагманского корабля М. Ардан,— я не видал ничего подобного!

— Подкрепите их огнем! — приказал лорд Гленарван, отрываясь от подзорной трубы.

Капитан Гаттерас подкрепил. Бухнула четырнадцатидюймовая пушка, и снаряд, дав недолет, лопнул как раз на стыке между арапами и эфиопами. В клочья разорвало 25 эфиопов и 40 арапов. Второй снаряд имел еще больший успех: 50 эфиопов и 130 арапов. Третьего снаряда не последовало, ибо лорд Гленарван, наблюдавший за результатами стрельбы в подзорную трубу, ухватил капитана Гаттераса за глотку и оттащил от пушки с воплем:

— Прекратите это, черт бы вас взял! Ведь вы лупите по арапам!!

В шеренгах арапов после первых двух подарков Гаттераса поднялся невероятнейший визг и вой, и ряды их дрогнули.

Взвыл даже Рики-Тики, вокруг которого закрутился бешеный водоворот. В водовороте вынырнуло внезапно искаженное лицо одного из рядовых арапов. Он подскочил к ошалевшему вождю и захрипел, причем пена вылезала у него вместе со словами:

— Как?! Мало того, что ты нас затянул в каменоломни и мариновал семь лет!! А теперь еще!! Загнал под чемоданы?! Спереди эфиопы, а сзади по башке снарядом?!! А-а-а-а-а!!!

Арап во мгновение выхватил ножик и вдохновенно всадил его Рики-Тики, чрезвычайно метко угадав между 5 и 6-м ребром с левой стороны.

— Помо...— ахнул вождь,— гите,— закончил уже на том свете перед престолом всевышнего.

— Ур-ра!!! — грянули эфиопы.

— Сдаемся!! Ура! Замиряйся, братцы!! — завыли смятенные арапы, вертясь в бушующих водах эфиоповой необозримой рати.

— Ур-ра!! — ответили эфиопы.

И все смешалось на острове в невообразимой каше.

— Семьсот лихорадок и сибирская язва!! — вскричал М. Ардан, впиваясь глазами в стекла Цейсса,— пусть меня повесят, если эти остолопы не помирились!! Гляньте, сэр! Они братаются!!

— Я вижу,— гробовым голосом ответил лорд,— мне очень интересно было бы знать, каким образом мы получим теперь вознаграждение за все убытки, связанные с кормлением этой оравы в каменоломнях?

— Бросьте, дорогой сэр,— вдруг задушевно сказал М. Ардан,— ничего вы не получите здесь, кроме тропической малярии. И вообще, я советую вам немедленно поднимать якоря. Берегись!!! — вдруг крикнул он и присел. И лорд присел машинально рядом с ним. И вовремя. Как дуновение ветра, над их головами прошла сверкнувшая туча стрел эфиопов и пуль арапов.

— Дайте им!! — взревел лорд Гаттерасу.

Гаттерас дал — и неудачно. Лопнуло высоко в воздухе. Соединенная арапо-эфиопская рота ответила повторной тучей, причем она прошла ниже, и лорд собственноглазно видел, как в корчах, сразу побагровев, упали семь матросов.

— К чертям эту экспедицию!! — прогремел дальновидный Ардан,— ходу, сэр!! У них отравленные стрелы! Ходу, если вы не хотите привезти чуму в Европу!!

— Дай на прощание!! — просипел лорд.

Известный сапожник-артиллерист Гаттерас дал на прощание куда-то криво и косо, и суда снялись с якоря. Третья туча стрел безвредно села в воду.

Через полчаса громады, одевая дымом горизонт, уходили, разрезая гладь океана. В пенистой кормовой струе болтались семь трупов отравленных и выброшенных матросов.

Остров затягивало дымкой, и исчезала в ней изумрудная, напоенная солнцем береговая полоса.

Глава XIV

ФИНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ

В ночь одело огненным заревом тропическое небо над Багровым островом, и суда хлестнули во все радиостанции словами:

«Острове байрам чрезвычайных размеров точка черти пьют кокосовую водку!!»

А засим Эйфелева башня приняла зеленые молнии, сложившиеся в аппаратах в неслыханно наглую телеграмму:

«Гленарвану и Ардану!

На соединенном празднике посылаем вас к (неразборчиво) мат. (неразборчиво).

С почтением, эфиопы и арапы».

— Закрыть приемники,— грянул Ардан.

Башня мгновенно потухла. Молнии угасли, и что происходило в дальнейшем, никому не известно.

ПЛОЩАДЬ НА КОЛЕСАХ

Дневник гениального гражданина Полосухина

21 ноября.

Ну и город Москва, я вам доложу. Квартир нету. Нету, горе мое! Жене дал телеграмму — пущай пока повременит, не выезжает. У Карабуева три ночи ночевал

в ванне. Удобно, только капает. И две ночи у Щуевского на газовой плите. Говорили в Елабуге у нас — удобная штука, какой черт! — винтики какие-то впиваются, и кухарка недовольна.

23 ноября.

Сил никаких моих нету. Наменял на штрафы мелочи и поехал на «А», шесть кругов проездил — кондукторша пристала: «Куда вы, гражданин, едете?» — «К чертовой матери,— говорю,— еду». В сам деле, куды еду? Никуды. В половину первого в парк поехали. В парке и ночевал. Холодина.

24 ноября.

Бутерброды с собой взял, поехал. В трамвае тепло — надышали. Закусывал с кондукторами на Арбате. Сочувствовали.

27 ноября.

Пристал как банный лист — почему с примусом в трамвае? Параграфа, говорю, такого нету. Чтобы не петь, есть параграф, я и не пою. Напоил его чаем — отцепился.

2 декабря.

Пятеро нас ночует. Симпатичные. Одеяла расстелили — как в первом классе.

7 декабря.

Пурцман с семейством устроился. Завесили одну половину — дамское — некурящее. Рамы все замазали. Электричество — не платить. Утром так и сделали: как кондукторша пришла — купили у нее всю книжку. Сперва ошалела от ужаса, потом ничего. И ездим. Кондукторша на остановках кричит: «Местов нету!» Контролер влез — ужаснулся. Говорю, извините, никакого правонарушения нету. Заплочено, и ездим. Завтракал с нами у храма Спасителя, кофе пили на Арбате, а потом поехали к Страстному монастырю.

8 декабря.

Жена приехала с детишками. Пурцман отделился в 27 номер. Мне, говорит, это направление больше нравится. Он на широкую ногу устроился. Ковры постелил, картины известных художников. Мы попроще. Одну печку поставил вагоновожатому — симпатичный парнишка попался, как родной в семье. Петю учит править. Другую в вагоне, третью кондукторше — симпатичная — свой человек — на задней площадке. Плиту поставил. Ездим, дай бог каждому такую квартиру!

11 декабря.

Батюшки! Пример-то что значит. Приезжаем сегодня к Пушкину, выглянул я на площадку — умываться, смотрю — в 6 номере с Тверской поворачивает Щуевский!.. Его, оказывается, уплотнили с квартирой, то он и кричит — наплевать. И переехал. Ему в 6-м номере удобно. Служба на Мясницкой.

12 декабря.

Что в Москве делается, уму непостижимо. На трамвайных остановках — вой стоит. Сегодня, как ехали к Чистым прудам, читал в газете про себя, называют — гениальный человек. Уборную устроили. Просто, а хорошо, в полу дыру провертели. Да и без уборной великолепно. Хочешь — на Арбате, хочешь — у Страстного.

20 декабря.

Елку будем устраивать. Тесновато нам стало. Целюсь переехать в 4 номер двойной. Да, нету квартир. В американских газетах мой портрет помещен.

21 декабря.

Все к черту! Вот тебе и елка! Центральная жилищная комиссия явилась. Ахнули. А мы-то, говорит, всю Москву изрыли, искали жилищную площадь. А она тут...

Всех выпирают. Учреждения вселживают. Дали 3-дневный срок. В моем вагоне участок милиции поместится. К Пурцману школа I ступени имени Луначарского.

23 декабря.

Уезжаю обратно в Елабугу...

ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА

У всякого своя манера культработы.

Русская пословица

С поездами всегда так бывает: едет, едет — и заедет в такую глушь, где ни черта нет, кроме лесов и культработников.

Один из таких поездов заскочил на некую ст. Мурманской ж. д. и выплюнул некоего человека. Человек пробыл на станции ровно столько же, сколько и поезд, — 3 минуты, и отбыл, но последствия его визита были неисчислимы. Человек успел метнуться по станции и наляпать две афиши: одну на рыжей стене возле колокола, а другую на двери кислого здания с вывеской:

Афиши вызвали на станции вавилонское столпотворение. Люди лезли даже на плечи друг к другу.

Остановись, прохожий!! Спешите видеть!

Только один раз и затем уезжают в Париж!

С дозволения начальства.

Знаменитый ковбой и факир

ДЖОН ПИРС

со своими мировыми аттракционами, как то: исполнит танец с кипящим самоваром на голове, босой пройдет по битому стеклу и ляжет в него лицом.

КРОМЕ ТОГО, ПО ЖЕЛАНИЮ УВАЖАЕМОЙ ПУБЛИКИ БУДЕТ СЪЕДЕН ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК И ДРУГИЕ СЕАНСЫ ЧРЕВОВЕЩАНИЯ. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ БУДЕТ ПОКАЗАНА ЯСНОВИДЯЩАЯ ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА ИЛИ ЧУДО XX ВЕКА.

С почтением, *Джон Пирс* — белый маг.

Верно:

Председатель правления клуба.

* * *

Через три дня клуб, вмещавший обыкновенно 8 человек, вместил их 400, из которых 350 не были членами клуба.

Приехали даже окрестные мужики, и их клиновидные бороды смотрели с галерки. Клуб гудел, смеялся, гул летал в нем сверху вниз. Как птичка порхнул слух о том, что будет съеден живой председатель месткома.

Телеграфист Вася поместился за пианино, и под звуки «Тоски по родине» перед публикой предстал ковбой и маг Джон Пирс.

Джон Пирс оказался щуплым человеком в телесном трико с блестками. Он вышел на сцену и послал публике воздушный поцелуй. Публика ответила ему аплодисментами и воплями:

— Времечко!

Джон Пирс отпрянул назад, улыбнулся, и тотчас румяная свояченица председателя правления клуба вынесла на сцену кипящий пузатый самовар. Председатель в первом ряду побагровел от гордости.

— Ваш самовар, Федосей Петрович? — зашептала восхищенная публика.

— Мой, — ответил Федосей.

Джон Пирс взял самовар за ручки, водрузил его на поднос, а затем все сооружение поставил себе на голову.

— Маэстро, попрошу матчиш,— сказал он сдавленным голосом.

Маэстро Вася нажал педаль, и матчиш запрыгал по клавишам разбитого пианино.

Джон Пирс, вскидывая худые ноги, заплясал по сцене. Лицо его побагровело от напряжения. Самовар громыхал на подносе ножками и плевался.

— Бис! — гремел восхищенный клуб.

Затем Пирс показал дальнейшие чудеса. Разувшись, он ходил по битому станционному стеклу и ложился на него лицом. Потом был антракт.

* * *

— Ешь живого человека! — взвыл театр.

Пирс приложил руку к сердцу и пригласил:

— Прошу желающего.

Театр замер.

— Петя, выходи,— предложил чей-то голос в боковой ложе.

— Какой умный,— ответили оттуда же,— выходи сам.

— Так нет желающих? — спросил Пирс, улыбаясь кровожадной улыбкой.

— Деньги обратно! — бухнул чей-то голос с галереи.

— За неимением желающего быть съеденным номер отменяется,— объявил Пирс.

— Собаку даешь! — гремели в партере.

* * *

Ясновидящая собака оказалась на вид самым невзрачным псом из породы дворняг. Джон Пирс остановился перед ней и опять молвил:

— Желающих разговаривать с собакой прошу на сцену.

Клубный председатель, тяжело дыша выпитым пивом, поднялся на сцену и остановился возле пса.

— Попрошу задавать вопросы.

Председатель подумал, побледнел и спросил в гробовой тишине:

— Который час, собачка?

— Без четверти девять,— ответил пес, высунув язык.

— С нами крестная сила,— взвыл кто-то на галерке.

Мужики, крестясь и давя друг друга, мгновенно очистили галерею и уехали домой.

— Слушай,— сказал председатель Джону Пирсу,— вот что, милый человек, говори, сколько стоит пес?

— Этот пес непродажный, помилуйте, товарищ,— ответил Пирс,— эта собачка ученая, ясновидящая.

— Хочешь два червонца? — сказал, распаляясь, председатель.

Джон Пирс отказался.

— Три,— сказал председатель и полез в карман.

Джон Пирс колебался.

— Собачка, желаешь идти ко мне в услужение? — спросил председатель.

— Желаем,— ответил пес и кашлянул.

— Пять! — рявкнул председатель.

Джон Пирс охнул и сказал:

— Ну, берите.

* * *

Джона Пирса, напоенного пивом, увез очередной поезд. Он же увез и пять председательских червонцев.

На следующий вечер клуб опять вместил триста человек.

Пес стоял на эстраде и улыбался задумчивой улыбкой. Председатель стал перед ним и спросил:

— Ну, как тебе у нас понравилось на Мурманской жел. дороге, дорогой Милорд?

Но Милорд остался совершенно безмолвным.

Председатель побледнел.

— Что с тобой,— спросил он,— ты что, онемел, что ли?

Но пес и на это не пожелал ответить.

— Он с дураками не разговаривает,— сказал злорадный голос на галерке. И все загрохотали.

* * *

Ровно через неделю поезд вытряхнул на станцию человека. Человек этот не расклеивал никаких афиш, а, зажав под мышкою портфель, прямо направился в клуб и спросил председателя правления.

— Это у вас тут говорящая собака? — спросил владелец портфеля у председателя клуба.

— У нас,— ответил председатель, багровея,— только она оказалась фальшивая собака. Ничего не говорит. Это

жулик у нас был. Он за нее животом говорил. Пропали мои деньги...

— Так-с,— задумчиво сказал портфель,— а я вам тут бумажку привез, товарищ, что вы увольняетесь из заведующих клубом.

— За что?! — ахнул ошеломленный председатель.

— А вот за то, что вы вместо того, чтобы заниматься культработой, балаган устраиваете в клубе.

Председатель поник головой и взял бумагу.

ПОВЕСИЛИ ЕГО ИЛИ НЕТ?

Знаете ли вы, что такое волокита? Нет, вы не знаете.

БУМАГА КОПОСОПА И КОГОКОИСА

Началось с того, что машинистка нахлопала на отвратительной машинке и отвратительной бумажке нижеследующее:

«Юзово, ПЧ-17, ДС, МС, ШТ.

Местком ст. Юзово просит Вас срочно озаботиться затребовать и вывесить во всех помещениях мастерских, депо, конторах и проч. генерального коллективного договора, Кодекса законов о труде, нового локального договора и правил внутреннего распорядка для широкого и ежедневного ознакомления с ними рабочих и служащих Ваших служб, причем предупреждает, что через некоторое время охрана труда месткома, будет произведена проверка настоящего исполнения и на лиц администрации, не выполнивших данного перед союзом обязательства, будут составлены акты».

Во как! Акты будут составлены.

Кстати об актах: почему у нас все считают своим долгом подписываться неразборчиво? Ведь вы же не министры, товарищи! Под бумажкой две подписи. Верхнюю вовсе нельзя было бы разобрать, если бы не то, что ее повторила машинистка: Нечаев. А нижнюю можно читать двояко: ежели считать, что она писана латинскими буквами, выйдет Когоксис, а ежели русскими, то Копосоп.

Впрочем, не важно. Приятно то, что на бумажке разборчивый штемпель: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

Это было 18 октября 1923 г.

ЕХИДНЫЙ ВОПРОС

«ДС Юзово.

А где же те экземпляры Кодекса законов о труде 1922 г. и правил внутреннего распорядка, которые были высланы вам управлением дороги. Они уже висели в конторах станции. Нового колдоговора еще не рассылалось. Он объявлен в «Гудке» за № 1022.

Подписи будем писать так, как они написаны, ничего не поделаешь.

За нач. 2 отдел. сл. эксплоатац.

А. Пулплу».

ДОГОВОР ДАЕШЬ!

«ДН-2.

При сем отношение месткома Юзово, прошу выслать мне по 3 экземпляра генерал. коллективдоговора, Кодекса законов о труде, правил внутреннего распорядка.

Нач. ст. Юзово *Козакил.*

21 ноября 1923 г.»

ДАЕШЬ, ГОВОРЮ!

«ДН-2 на № 18999.

Местком требует, чтоб было в товар. кассе, билет. кассе, канцелярии и тех. конторе, а у меня получилось по 1 экземпляру, почему я и прошу еще по 3 экземпляра»,— отчаянно пишет начальник станции Юзово и от страху превращается в подписи из Козакила в Козелкова.

И это через месяц, 19 нояб. 1923 г.

ПОДДЕРЖКА ПРИШЛА

«ДС.

Ходатайствую об удовлетворении просьбы ДС Юзово».

Подписал А. Пурлис (быв. Пулплу).

И скрепил бывший Кешевлент, а нынешний Конвой.

ЧУДЕСА, ТОВАРИЩИ!

«ДС Юзово.

По разъяснению Д № 396444 от 4 декабря с. г. дорогой получено из центра всего лишь 60 экземпляров

колдоговоров, вследствие чего выслать больше не может, а рекомендуется обращаться с ходатайством в местный местком».

Крышка! Нету...

Кто ж так разочаровал бедного начальника станции Козакила? Представьте, тот самый Пуплу, который за него ходатайствовал. Для разнообразия подписался А. Пулит...

Это было уже за 2 дня до Рождества, 23 декабря.

ЧТО Ж ТАПЕРИЧА ДЕЛАТЬ КОЗАКИЛУ?

Делать ему больше ничего не остается, как опять податься в местком.

Он и подался.

«Местком Юзово на № 807.

...прилагая... за №...» и т. д., «прошу прислать... такое количество, какое вы находите нужным» и т. д.

24 декабря, в сочельник.

ПРИСЛАЛИ?

Неизвестно.

Местком пишет под Новый год...

Вывесить требуется, «но снабжением должным количеством ведает хозорган».

Засыпался Козакил! Больше некуда.

* * *

На сем переписка обрывается. При всей переписке бумага неизвестного человека.

В редакцию газеты «Гудок».

При сем учкультран посылает вам материал (9 января 1924 г.).

Мерси.

Повесили ли, в конце концов, колдоговор?

Может быть, и повесили. И висит он и улыбается своими бесчисленными параграфами.

— Повесили-таки, черт меня возьми!

А может быть, и не повесили.

И даже вернее, что нет.

Потому что в толстой пачке-переписке есть несколько штучек документов, в коих вопль, что молока не дают. А в колдоговоре сказано ясно, что молоко давать нужно.

Вот оно какие дела...

МОСКВА 20-х ГОДОВ

ВСТУПЛЕНИЕ

Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921—1924 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался во все почти шестые этажи, в каких только помещались учреждения, а так как не было положительно ни одного 6-го этажа, в котором бы не было учреждения, то этажи знакомы мне все решительно. Едешь, например, на извозчике по Златоуспенскому переулку в гости к Юрию Николаевичу и вспоминаешь:

— Ишь домина! Позвольте, да ведь я в нем был! Был, честное слово! И даже припомню, когда именно. В январе 1922 года. И какого черта меня носило сюда? Извольте. Это было, когда я поступил в частную торгово-промышленную газету и просил у редактора аванс. Аванса мне редактор не дал, а сказал: «Идите в Златоуспенский переулок, в 6 этаж, комната №...» Позвольте, 242? а может, и 180?.. Забыл. Не важно... Одним словом: «Идите и получите объявление в Главхиме»... или в Центрохиме? Забыл. Ну, неважно... «Получите объявление, я вам 25%». Если бы теперь мне кто-нибудь сказал: «Идите объявление получите»,— я бы ответил: «Не пойду». Не желаю ходить за объявлениями. Мне не нравится ходить за объявлениями. Это не моя специальность. А тогда... О, тогда было другое. Я покорно накрылся шапкой, взял эту дурацкую книжку объявлений и пошел как лунатик. Был совершенно невероятный, какого никогда даже не бывает, мороз. Я влез на 6-й этаж, нашел эту комнату № 200, в ней нашел рыжего лысого человека, который, выслушав меня, не дал мне объявления.

Кстати, о 6-х этажах. Позвольте, кажется, в этом доме есть лифты? Есть. Есть. Но тогда, в 1922 году, в лифтах могли ездить только лица с пороком сердца. Это во-первых. А во-вторых, лифты не действовали. Так что и лица с удостоверениями о том, что у них есть порок, и лица с непорочными сердцами (я в том числе) одинаково поднимались пешком в 6 этаж.

Теперь другое дело. О, теперь совсем другое дело! На Патриарших прудах, у своих знакомых, я был совсем недавно. Благодушно поднимаясь на своих ногах в 6-й этаж, футах в 100 над уровнем моря, в пролете между 4-м и 5-м этажами, в сетчатой трубе, я увидал висящий,

весело освещенный и совершенно неподвижный лифт. Из него доносился женский плач и бубнящий мужской бас:

— Расстрелять их надо, мерзавцев!

На лестнице стоял человек швейцарского вида, с ним рядом другой, в замасленных штанах, по-видимому механик, и какие-то любопытные бабы из 16-й квартиры.

— Экая оказия,— говорил механик и ошеломленно улыбался.

Когда ночью я возвращался из гостей, лифт висел там же, но был темный, и никаких голосов из него не слышалось. Вероятно, двое несчастных, провисев недели две, умерли с голоду.

Бог знает, существует ли сейчас этот Центро- или Главхим, или его уже нет! Может быть, там какой-нибудь Химтрест, может быть, еще что-нибудь. Возможно, что давно нет ни этого Хима, ни рыжего лысого, а комнаты уже сданы и как раз на том месте, где стоял стол с чернильницей, теперь стоит пианино или мягкий диван и сидит на месте химического человека обаятельная барышня, с волосами, выкрашенными перекисью водорода, читает «Тарзана». Все возможно. Одно лишь хорошо, что больше туда я не полезу ни пешком, ни в лифте!

Да, многое изменилось на моих глазах.

Где я только не был! На Мясницкой сотни раз, на Варварке — в Деловом дворе, на Старой площади — в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. И я его находил, правда скудное, неверное, зыбкое. Находил его на самых фантастических и скоротечных, как чахотка, должностях, добывал его странными, утлыми способами, многие из которых теперь, когда мне полегчало, кажутся уже мне смешными. Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли, подавал прошение в Льнотрест, а однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. Что проект этот был хороший, показывает уже то, что, когда я привез его на просмотр моему приятелю, инженеру, тот обнял меня, поцеловал и сказал, что я напрасно не пошел по инженерной части: оказывается, своим умом я дошел как раз до той самой конструкции, которая уже светится на

Театральной площади. Что это доказывает? Это доказывает только то, что человек, борющийся за свое существование, способен на блестящие поступки.

Но довольно. Читателю, конечно, неинтересно, как я нырял в Москве, и рассказываю я все это с единственной целью, чтобы он поверил мне, что Москву 20-х годов я знаю досконально. Я обшарил ее вдоль и поперек. И намерен ее описать. Но, описывая ее, я желаю, чтобы мне верили. Если я говорю, что это так, значит, оно действительно так!

На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида.

I

ВОПРОС О ЖИЛИЩЕ

...Эй, квартиру!!

2-й акт «Севильского цирульника»

Условимся раз навсегда: жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может. Теперь, в дополнение к этому, сообщаю всем проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах — квартир в Москве нету.

Как же там живут?

А вот так-с и живут.

Без квартир.

* * *

Но этого мало — последние три года в Москве убедили меня, и совершенно определенно, в том, что москвичи утратили и самое понятие слова «квартира» и словом этим наивно называют что попало. Так, например, недавно один из моих знакомых журналистов на моих глазах получил бумажку: «Предоставить товарищу такому-то квартиру в доме № 7 (там, где типография)». Подпись и круглая жирная печать.

Товарищу такому-то квартира была предоставлена, и у товарища такого-то я вечером побывал. На лестнице без перил были разлиты щи, и поперек лестницы висел оборванный толстый, как уж, кабель. В верхнем этаже, пройдя по слою битого стекла, мимо окон, половина из

которых была забрана досками, я попал в тупое и темное пространство и в нем начал кричать. На крик ответила полоса света, и, войдя куда-то, я нашел своего приятеля. Куда я вошел? Черт меня знает. Было что-то темное, как шахта, разделенное фанерными перегородками на пять отделений, представляющих собою большие продолговатые картонки для шляп. В средней картонке сидел приятель на кровати, рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат приятеля, и означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене углем рисовал портрет жены. Жена читала «Тарзана».

Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если б вас поселили в трубке. Шепот, звук упавшей на пол спички был слышен через все картонки, а ихняя была средняя.

— Маня! (Из крайней картонки.)

— Ну? (Из противоположной крайней.)

— У тебя есть сахар? (Из крайней.)

— В Люстгартене, в центре Берлина, собралась многотысячная демонстрация рабочих с красными знаменами... (Из соседней правой.)

— Конфеты есть... (Из противоположной крайней.)

— Свинья ты! (Из соседней левой.)

— В половину восьмого вместе пойдем!

— Вытри ты ему нос, пожалуйста...

Через десять минут начался кошмар: я перестал понимать, что я говорю, а что не я, и мой слух улавливал посторонние вещи. Китайцы, специалисты по части пыток,—просто щенки. Такой штуки им ни в жизнь не изобрести!

— Как же вы сюда попали? Го-го-го!.. Советская делегация в сопровождении советской колонии отправилась на могилу Карла Маркса... Ну?! Вот тебе и «ну»! Благодарю вас, я пил... С конфетами?.. Ну их к чертям! Свинья, свинья, свинья! Выбрось его вон! А вы где?.. В Киото и Иокогаме... Не ври, не ври, скотина, я давно уже вижу!.. Как, уборной нету?!!

Боже ты мой! Я ушел, не медля ни секунды, а они остались. Я прожил четверть часа в этой картонке, а они живут 7 (семь) месяцев.

Да, дорогие граждане, когда я явился к себе домой, я впервые почувствовал, что все на свете относительно и условно. Мне померещилось, что я живу во дворце, и у

каждой двери стоит напудренный лакей в красной ливрее, и царит мертвая тишина. Тишина — это великая вещь, дар богов, и рай — это есть тишина. А между тем дверь у меня всегда одна (равно как и комната), и выходит эта дверь непосредственно в коридор, а наискось живет знаменитый Василий Иванович со своею знаменитой женой.

* * *

Клянусь всем, что у меня есть святого, каждый раз, как я сажусь писать о Москве, проклятый образ Василия Ивановича стоит передо мною в углу. Кошмар в пиджаке и полосатых подштанниках заслонил мне солнце! Я упираюсь лбом в каменную стену, и Василий Иванович надо мной как крышка гроба.

Поймите все, что этот человек может сделать невозможной жизнь в любой квартире, и он ее сделал невозможной. Все поступки В. И. направлены в ущерб его ближним, и в Кодексе Республики нет ни одного параграфа, которого он бы не нарушил. Нехорошо ругаться матерными словами громко? Нехорошо. А он ругается. Нехорошо пить самогон? Нехорошо. А он пьет. Буйствовать разрешается? Нет, никому не разрешается. А он буйствует. И т. д. Очень жаль, что в Кодексе нет пункта, запрещающего игру на гармонике в квартире. Вниманию советских юристов: умоляю ввести его! Вот он играл. Говорю — играл, потому что теперь не играет. Может быть, угрызения совести остановили этого человека? О нет, чудаки из Берлина: он ее пропил.

Словом, он немыслим в человеческом обществе, и простить его я не могу, даже принимая во внимание его происхождение. Даже наоборот: именно принимая во внимание, простить не могу. Я рассуждаю так: он должен показывать мне, человеку происхождения сомнительного, пример поведения, а никак не я ему. И пусть кто-нибудь докажет мне, что я не прав.

* * *

И вот третий год я живу в квартире с Василием Ивановичем, и сколько еще проживу — неизвестно. Возможно, и до конца моей жизни, но теперь, после визита в картонку, мне стало легче. Не нужно особенно замахиваться, граждане!

Да, мне стало легче. Я стал терпеливее и к людям участливее.

Доктор Г., мой друг, явился ко мне на прошлой неделе с воплем:

— Зачем я не женился?!

В устах его, первого и признанного женофоба в Москве, такая фраза заслуживала внимания.

Оказалось: домовое управление его уплотнило. Поставило перегородку в его комнате и за перегородкой поселило супружескую пару. Тщетно доктор барахтался и выл. Ничего не вышло. Председатель твердил одно:

— Вот ежели бы вы были женатый, тогда другое дело...

А третьего дня доктор явился и сказал:

— Ну, слава богу, что я не женился... Ты с женой ссоришься?

— Гм... иногда... как сказать...— ответил я уклончиво и вежливо, поглядывая на жену,— вообще говоря... бывает иногда... видишь ли...

— А кто виноват бывает? — быстро спросила жена.

— Я, я виноват,— поспешил уверить я.

— Кошмар. Кошмар. Кошмар,— заговорил доктор, глотая чай,— кошмар! Каждый вечер, понимаешь ли, раздается одно и то же: «Ты где был?» — «На Николаевском вокзале».— «Врешь.» — «Ей-богу...» — «Врешь!» Через минуту опять: «Ты где был?» — «На Нико...» — «Врешь!» Через полчаса: «Где ты был?» — «У Ани был».— «Врешь!!!»

— Бедная женщина,— сказала жена.

— Нет, это я бедный,— отозвался доктор,— и я уезжаю в Орехово-Зуево. Черт ее бери!

— Кого? — спросила жена подозрительно.

— Эту... клинику.

* * *

Он в Орехово-Зуеве, а знакомая Л. Е. в Италии. Увы, ей нет места даже за перегородкой. И прекраснейшая женщина, которая могла бы украсить Москву, стремится в паршивый какой-то Рим.

И Василий Иванович останется, а она уедет!

А Наталья Егоровна бросила этой зимой мочалку на пол, а отодрать ее не могла, потому что над столом 9 градусов, а на полу совсем нет градусов и даже одного не хватает. Минус один. И всю зиму играла вальсы

Шопена в валенках, а Петр Сергеич нанял прислугу и через неделю ее рассчитал, ан прислуга никуда не ушла! Потому что пришел председатель правления и сказал, что она (прислуга) — член жилищного товарищества и занимает площадь и никто ее не имеет права тронуть. Петр Сергеич, совершенно ошалевший, мечется теперь по всей Москве и спрашивает у всех, что ему теперь делать? А делать ему ровно нечего. У прислуги в сундуке карточка бравого красноармейца, бравшего Перекоп, и карточка жилищного товарищества. Крышка Петру Сергеичу!

А некий молодой человек, у которого в «квартире» поселили божью старушку, однажды в воскресенье, когда старушка вернулась от обедни, встретил ее словами:

— Надоела ты мне, божья старушка.

И при этом стукнул старушку безменом по голове. И таких случаев или случаев подобных я знаю за последнее время целых четыре. Осуждаю ли я молодого человека? Нет. Категорически — нет. Ибо прекрасно чувствую, что, посели ко мне в комнату старушку или же второго Василия Ивановича, и я бы взялся за безмен, несмотря на то что мне с детства дома прививали мысль, что безменом орудовать ни в коем случае не следует.

А Саша предлагал 20 червонцев, чтобы только убрали из его комнаты Анфису Марковну...

Впрочем, довольно.

* * *

Отчего же происходит такая странная и неприятная жизнь? Происходит она только от одного — от тесноты. Факт, в Москве тесно.

Что же делать?!

Сделать можно только одно: применить мой проект, и этот проект я изложу, предварительно написав еще главу «О хорошей жизни».

II

О ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

Юрий Николаевич заложил ногу за ногу и, прожевывая кекс, спросил:

— Вот не совсем понимаю, почему вы, человек довольно благодушный, как только начинаете говорить о квартире, впадаете в ярость?

Я тоже сунул в рот кусок кекса (прекрасная вещь с чаем, но отнюдь не в 5 часов дня, когда человек приходит со службы и нуждается в борще, а не в чае с кексом. Вообще, московские граждане, бросим мы эти файф-о-клоки, к чертям!) и ответил:

— Потому и впадаю в ярость, что я на этом вопросе собаку съел. Высокий специалист.

— Может быть, вы еще чаю хотите? — осторожно предложила хозяйка.

— Нет, благодарю вас, чаю не хочется. Сыт,— со вздохом ответил я, чувствуя какое-то странное томление. Обломки кекса плавали внутри меня в чайном море и вызывали чувство тоски.

— Вам хорошо говорить,— продолжал я, закуривая,— когда у вас прекрасная квартира в две комнаты.

Юрий Николаевич тотчас судорожно засмеялся, торопливо проглатывая изюм, и полез в карманы. В нем он ничего не нашел. В другом тоже. И в третьем. Тогда он кинулся к столу, нырнул в ящики, нырнул в какие-то груды — и там не нашел.

Вместо искомого нашел позапрошлый понедельничный номер «Накануне», полюбовался на него и сказал:

— Пропала куда-то. Ну, ладно.

С этими словами он стал на колени на пол и ухватился за ножки кресла в углу. Лохматый пес обрадовался суете, начал скакать и хватать его за штаны.

— Пошел вон! — закричал, краснея, Юрий Николаевич. Кресло отъехало в сторону, и в огромнейшей лохматой дыре, аршин в диаметре, оказался купол соседней церкви на голубом фоне неба.

— Однако.

— До ремонта ее не было,— пояснил счастливый обладатель двух комнат с дырой,— а вот сделали ремонт и дыру.

— Так ее же можно заделать.

— Нет, уж я ее заделывать не буду. Пусть тот, кто мне бумажку прислал, сам и заделывает.

Он опять похлопал по карманам, но бумажки так и не нашел.

— Бумажку прислали, чтобы я вытряхнулся из этой квартиры.

— Куда?

— В бумажке написано: не касается.

Каюсь: на душе у меня полегчало. Не один, стало быть, я.

* * *

В самом деле: как это так «вытряхайтесь»?! Ведь месту пусту не быть? Юрий Николаевич вытряхнется, но ведь на его место «втряхнется» Сидор Степаныч? А Юрий Николаевич, оказавшись на панели, ведь тоже пожелает войти под кров? А если под этим кровом сидит уже Федосей Гаврилович? Стало быть, Федосей Гавриловичу вытряхательную бумажку? Федосей на место Ивана, Иван на место Ферапонта, Ферапонт на место Панкратия...

Нет, граждане, это чепуха какая-то получается!

* * *

В лето от рождества Христова... (в соседней комнате слышен комсомольский голос: «Не было его!!») Ну, было или не было, одним словом, в 1921 году, въехав в Москву, и в следующие года, 1922-й и 1923-й, страдал я, граждане, завистью в острой форме. Я, граждане, человек замечательный, скажу это без ложной скромности. Трудкнижку в три дня добыл, всего лишь три раза по 6 часов в очереди стоял, а не по 6 месяцев, как всякие растяпы. На службу пять раз поступал, словом, все преодолел, а квартирку, простите, осилить не мог. Ни в три комнаты, ни в две и даже ни в одну. И как сел в знаменитом соседстве с Василием Ивановичем, так и застрял.

(Голос Юрия Николаевича за сценой: «Да у вас отличная комната!!»)

Хор греческой трагедии. Бескомнатные:

— Эт-то возмутительно!!!

Ладно, не будем спорить. Факт тот, что бывают лучше.

Итак, застрял. Тьма событий произошла в это время в подлунном мире, и одним из них, по поводу которого я искренне ликовал, была посадка на скамью подсудимых всего этого, как он бишь назывался?.. Центрожил... ну, одним словом, те, что в 21—22-м г.г. комнаты раздавали по ордерам. По сколько лет им дали, не помню, но жалею, что не вдвое больше. После этого и вовсе их, как он?.. «жил» этот, кажется, упразднили. И уже появились в «Известиях» объявления: «Ищу... Ищу... Ищу...», а я так и сижу.

Сидел и терзался завистью. Ибо видел неравномерное распределение благ квартирных.

* * *

Не угодно ли, например. Ведь Зина чудно устроилась. Каким-то образом в гуще Москвы не квартирка, а бонбоньерка в три комнаты. Ванна, телефончик, муж, Манюшка готовит котлеты на газовой плите, и у Манюшки еще отдельная комнатка. С ножом к горлу приставал я к Зине, требуя объяснений, каким образом могли уцелеть эти комнаты?

Ведь это же сверхъестественно!!

Четыре комнаты — три человека. И никого посторонних.

И Зина рассказала, что однажды на грузовике приехал какой-то и привез бумажку «вытряхайтесь»!!

А она взяла и... не вытряхнулась.

Ах, Зина, Зина! Не будь ты уже замужем, я бы женился на тебе. Женился бы, как бог свят, и женился бы за телефончик и за винты газовой плиты, и никакими силами меня не выдрали бы из квартиры.

Зина, ты орел, а не женщина!

Эпоха грузовиков кончилась, как кончается все на этом свете. Сиди, Зинуша.

* * *

Николай Иванович отыгрался на двух племянницах. Написал в провинцию, и прибыли две племянницы. Одна из них ввинтилась в какой-то вуз, доказав по всем швам свое пролетарское происхождение, а другая поступила в студию. Умен ли Николай Иванович, повесивший себе на шею двух племянниц в столь трудное время?

Не умен-с, а гениален.

Шесть комнат остались у Николая Иваныча. Приходили и с портфелями, и без портфелей и ушли ни с чем. Квартира битком была набита племянницами. В каждой комнате стояла кровать, а в гостиной две.

* * *

На днях прославился Яша. Яша никаких племянниц не выписывал. Яша ухитрился в 5 (пяти) комнатах просидеть один, наклеив на дверь полусгнивший от времени (с 1918 года, кажется) ордер, из которого явственно, что у означенного Яши студия.

Яша — ты гений!

* * *

А Паша...
Довольно!

* * *

С течением времени я стал классифицировать. И классификация моя проста, как не знаю что.

Два сорта, живущих хорошей жизнью:

1) Имели и сумели сохранить (Зина, Николай Иваныч, Яша, Паша и др. ...).

2) Ничего не имели, приехали и получили.

Пример: приезжает из Баку Нарцисс Иоаннович, немедленно становится председателем треста, получает две комнаты (газовая плита и т. д.) в казенном доме. Затем неизменно идут неприятности на сердце от трефовой дамы, засим неприятности в казенном доме, засим дальняя дорога, и в заключительном аккорде бубновый туз (десять, по амнистии — две, в общем восемь). На место Нарцисса садится Сокиз. На место Сокиза — Абрам, на Абрамово место Федор...

Довольно...

Проект

Так же, конечно, немыслимо! В воздухе много проектов: в числе их бумажки о выезде в 2-х такой-то срок, хитрые планы о том, как Федула потеснить, а Валентина переселить, а Василия выселить.

Все это не то.

Действителен лишь мой проект.

Москву надо отстраивать.

Когда в Москве на окнах появятся белые билетики со словами: «Сдаеца»,—
все придет в норму.

Жизнь перестанет казаться какой-то колдовской маетой у одних на сундуке в передней, у других в 6 комнатах в обществе неожиданных племянниц.

Экстаз

Москва! Я вижу тебя в небоскребах!

РАССКАЗ МАКАРА ДЕВУШКИНА

Жизнь наша хоть и не столичная, а все же интересная, узловая жизнь, и происшествий у нас происходит невероятное количество, и одно другого изумительнее.

БРЮКИ И ВЫБОРЫ

Был, например, такого рода факт: купил себе наш секретарь месткома Фитилев новые брюки шевиот в полоску. Удивительного тут ничего нет для такого города мирового, как, например, Москва,— там у каждого брюки в полоску, а в наших палестинах это обновка!

Понятное дело, всякому лестно посмотреть на Фитилевы штаны. Но только Фитилев аккуратный человек — не объявляет штанов до поры до времени. И вот расклеивается совершенно неожиданно повестка знаменитого общего собрания всех до единого членов нашей станции. И в повестке стоят такие вопросы, как доклад предучкпрофсожа, доклад УДР и в заключительном аккорде отчет месткома с перевыборами, в чем самый главный гвоздь и есть.

Кроме того, все говорят, что на торжественном собрании выступит и знаменитый наш Фитилев, секретарь, в новой покупке. Так что зал заполнился до невыносимых пределов духоты, и действительно, появился Фитилев со складками, и штаны как чугунные на памятнике поэта Пушкина, в Москве, до того сшиты отлично.

Нуте-с, отлично. Ровно в шесть часов встал председатель и объявил собрание открытым, и вышел наш величественный предучкпрофсож, кашлянул и врезал собранию речь. Начал докладывать про дорожный съезд, и докладывал с 6 часов до 9 часов, а по новому стилю до 21-го часа, выпив всего полграфина воды из первого класса. Что было в зале, выразить я не могу, за исключением того, что неожиданно заснул весь первый ряд, а за ним второй, как на поле сражения. И даром председатель звонил и призывал к сознательности. Какая же сознательность у человека, ежели он спит?

Но разразилась, нарушив течение профессиональной

жизни собрания, гроза в лице ремонтного рабочего Васи Данилова. Из ряда поднялся Вася и заплакал так, словно утратил дорогого спутника жизни — жену,— обратившись громовым голосом к докладчику, сказал:

— Ежели ты не закроешь задвижку, я удавлюсь! Больше не могу после восьмичасового рабочего дня слышать про твои факты.

И произошло волнение в сплоченных рядах, и исключили Васю из заседания впредь до успокоения.

Тогда Вася, плача до самой двери, вышел, соблазнив многих, говоря:

— Иду, дорогие товарищи, в пивную, потому что без пива второй речи не выдержу.

И с ним ушли некоторые. В смятении по поводу кворума, председатель первого докладчика ликвидировал, а выпустил второго, и второй про работу правления говорил до 23 часов, с лишком 2 часа про разные цифры. Никакие брюки ничего не помогли, и сам Фитилев пал лицом на белые руки и, притворяясь, что слушает, на самом деле заснул. Барышни, любовавшиеся на красавца Фитилева, все ушли, потому что хоть Фитилев холостой, но невозможно.

И, наконец, около полуночи кончилось все, и лучше всех убил наповал сам Фитилев, оживившись по окончании речи.

Встал Фитилев, прищурился на трибуне и заявил:

— От имени Российской коммунистической партии большевиков...

Весь зал проснулся, потому что думали, что он радио объявит международной важности, а он дальше:

— ...ячейки нашей станции и от имени укома предлагается список кандидатов в местком. И чтоб, товарищи, никаких отводов и замен, потому как мне поручено провести и я не допущу.

Вася Данилов вернулся к перевыборам со своими спутниками бодрый, собираясь навести рабочую здоровую критику на кандидатов, и даже открыл рот.

— Вот так клюква! — вскричал Вася и без всякой критики проголосовал рукой. А за ним все.

Но когда разошлись, червь мне сердце источил, и я не вытерпел. Спросил у нашего партийного Назар Назарыча — развитого человека:

— Это правда, что вот, мол, от имени российской и не сметь шевельнуть языком?

А тот и говорит:

— Ничего подобного!.. Жалко, что я больной лежал, а я б его разъяснил. Безобразие! Хлестаков в полосатых штанах. Это не живое дело, а гнусный бюрократизм!

И пошел, и пошел.

Вот оно какие бывают оригинальные заседания у нас в захолустной жизни.

САПОГИ-НЕВИДИМКИ

Рассказ

> А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
>
> *Из Гоголя*

> Поди ты в болото, кум! Ничем я их не смазываю, потому что у меня их нету!
>
> *Из меня*

ВО СНЕ

Восхитительный сон приснился сцепщику в Киеве-товарном Хикину Петру. Будто бы явился к Хикину неизвестный гражданин с золотой цепкой на животе и сказал:

— Ты, Хикин, говорят, сапожный кризис переживаешь?

— Какой там кризис,— ответил Хикин,— просто сапоги, к чертям, развалились. Не в чем выйти.

— Ай, яй, яй,— молвил, улыбаясь, неизвестный,— какой скандал. Такой симпатичный, как ты, и вдруг выйти не может. Не сидеть же тебе целый день дома. Тем более что от этого служба может пострадать. Так ли я говорю?

— Рассуждение ваше правильное,— согласился босой спящий Хикин,— а дома сидеть нам невозможно. Потому что жена меня грызет.

— Ведьма?— спросил неизвестный.

— Форменная,— признался Хикин.

— Ну, вот что, Хикин. Ты знаешь, кто я такой?

— Откуда же нам знать,— храпел во сне Хикин.

— Волшебник я, Хикин, вот в чем штука. И за твои добродетели дарю я тебе сапоги.

— Покорнейше благодарим,— свистел во сне Хикин.

— Только, брат, имей в виду, что сапоги эти не простые, а волшебные. Невидимки сапоги.

— Ну?

— Вот тебе и «ну»!..

Сонная мгла расступилась, и оказались перед Хикиным изумительной красоты сапоги. И немедленно сцарапал их Хикин, натянул и, хрипя и чмокая во сне, отправился к законной жене своей Марье.

Накоптила трехлинейная лампа керосином, наглотался тяжкого смрада сцепщик, и пошел он криво и косо, боком, превратился в кошмар.

Вынырнуло личико законной Марии, и спросил ее голосок:

— Чего ты лазишь в одних подштанниках, идол?

— Ты глянь, Манюша, какие сапоги мне волшебник выдал,— мягко пискнул Хикин.

— Волшебник?! — вскричала супруга.— Горе мое, допился до волшебников. Ты же босой, алкоголик несчастный, как насекомое. Глянь на себя в лужу!

— Ответишь ты мне, Маня, за это слово,— дрожащим голосом молвил Хикин, обидевшись на «насекомое»,— пойми в своей голове: сапоги-невидимки.

— Невидимки?! Головушка горькая, глядите, добрые люди, на папашу огромного семейства! Добрался до белой горячки.

И завыли дети на печке, и начался ад кромешный в сцепщиковом семействе.

Стрельнул во сне Хикин с Товарного-Киева на Крещатик, людную улицу, и погиб.

Будто бы шла толпа граждан в лакированных ботинках за Хикиным, улюлюкнула и выла:

— Го... го!.. Улю-лю! Смотрите, гражданчики, на сцепщика! Пропил сапоги. Ура! Бей его, сукина сына!

И милиционеры свистали.

А один подскочил к Хикину, откозырял и доложил:

— Позор, гражданин Хикин. Попрошу удалиться с главной улицы и не портить пейзаж.

— Отойди от меня, снегирь! — взревел во сне Хикин.— Что ты, ослеп? Сапоги невидимые.

— А, невидимые,— спросил милиционер,— тогда по-

жалуйте, мосье Хикин, в отделенье, там вам докажут, кто тут невидимый.

И засвистал, как соловей.

И от этого свиста Хикин проснулся в поту.

И ничего: ни волшебника, ни сапог.

НАЯВУ

Вышел Хикин на станцию и увидал замечательное объявление:

Рабочий кредит
никому не вредит.

ОТПО предлагает своим многоуважаемым покупателям безграничный кредит. А по кредиту все дешево и сердито.

— Сон в руку! — обрадовался Хикин и устремился в лавку.

В лавке творилось неописуемое. Лезли стеной, сапоги требовали. Потребовал и Хикин, требуемые получил, напялил и только осведомился:

— А почему у вас на 3 целковых дороже, чем на базаре?

— Да вы же гляньте, сударь, какие это сапоги,— ответил приказчик, улыбаясь как ангел,— это же сапоги любительские. Что надо! Из собственного материалу.

Надел Хикин любительские сапоги и отправился к исполнению служебных обязанностей — сцеплять вагоны. И грянул во время обязанностей любительский дождик что надо, и через пять минут был Хикин без сапог. Ошалел Хикин, снял Хикин с ног любительские остатки и явился босой в ТПО.

— Из собственного материалу? — грозно спросил он у уполномоченного.

— Да,— нагло, развязно ответил уполномоченный.

— Да ведь это же картонки?!

— А я тебе разве обещал за 15 целковых из железа сапоги?

Побагровел тут Хикин, взмахнул раскисшими сапогами и сказал уполномоченному такие слова, которые напечатать здесь нельзя.

Потому что это были непечатные слова.

ОХОТНИКИ ЗА ЧЕРЕПАМИ

Начохраны ст Москва М.-Б.-Белорусской дороги гр. Линко издал приказ по охране, которым предписывает каждому охраннику обязательно запротоколить четырех злоумышленников В случае отсутствия таковых нарушители приказа увольняются

— Ну, мои верные сподвижники,— сказал начальник транспортной охраны ст. Москва-Белорусская, прозванный за свою храбрость Антип Скорохват,— докладайте, что у нас произошло в истекшую ночь?

Верные сподвижники побренчали заржавленным оружием и конфузливо скисли. Выступил вперед знаменитый храбрец — помощник Скорохвата:

— Так что ничего не произошло...

— Как? — загремел Антип.— Опять ничего? Пятая ночь, и ничего! Поч-чему нет злоумышленников?

— Сказывают, сознательность одолела,— извиняющимся тоном доложил помощник.

— Тэк с,— заныл зловеще Антип,— одолела! Вагоны с мануфактурой целы? Никакой дьявол не упер вновь отремонтированного паровоза серии Ща? И никто не покушался на кошелек и жизнь начальника славной станции Москва-Белорусская? Дак это же что же. Я, что ли, за них, чертей, воровать буду сам?!

Сподвижники тоскливо молчали.

— Это, братцы, так нельзя,— продолжал ныть Антип.— Ведь это выходит, что вы даром бремените землю. Какого черта вы лопаете белорусско-балтийский хлеб? Кончится все это тем, что вас всех попрут в шею со службы, а вместе с вами и меня. Огромная такая станция, и никаких происшествий! А ежели начальство спросит: сколько, Антип, ты поймал злоумышленников за истекший месяц? Что я ему покажу? Шиш? Вы думаете, меня за шиш по головке погладят?

— Нету их,— тоскливо запел помощник,— откуда же их взять? Не родишь их!

— Роди! — взвыл Антип.— Попирая законы природы. Гляди! Посматривай! Идет человек по путям, ты сейчас к нему. Какие у тебя мысли в голове? Ты не смотри, что у него постная рожа и глаза как у педагога. Может, он

только и мечтает, как бы пломбу с вагона сковырнуть. Одним словом, вот что: в советском государстве каждая козявка выполняет норму, и чтоб вы выполняли! Чтоб каждый мне по 4 злоумышленника в месяц представил. Как это может быть, я спрашиваю, без происшествий?

— А ведь было происшествие ночью-то,— захрипел один из транспортных воинов,— мастера Щукина пес чуть штаны не порвал Хлобуеву, когда мы под вагонами лазили.

— Вот! — вскричал предводитель.— Вот! А говорит — нету! А дикие звери на белорусской территории, вверенной нам, это не происшествие? Поймать и убить! Убить на месте.

— Кого — мастера или пса?

— Мозгами думайте! Пса. И мастера ущемить: покажи мандат на предмет засорения станции хищными зверями. Одним словом — марш!..

У мастера Щукина была счастливая звезда в жизни, и поэтому пуля проскочила у него между коленями.

— Что вы, взбесились, окаянные?! — закричал ошалевший Щукин.— Чего же вы божью собачку обстреливаете?

— Бей его! Заходи. Штыком его! Убег, проклятый! А ты, борода, покажи мандат, какой ты есть человек.

— А ты знаешь, Хлобуев,— засипел, зеленея, Щукин,— допьешься ты до чертей. Ты погляди мне в лицо...

— Нечего мне в лицо глядеть. Достаточно мне твое лицо известно. Показывай удостоверение.

— Отлезь от меня, фиолетовый черт.

— А-а. Отлезь? Ладно. Бикин, бери его. Пущай покажет основание, по которому находится на путях.

— Кара-ул!!

— Поори, поори...

— Кара!..

— Покричи мне...

— Кр... кр...

— Покаркай.

Вторым засыпался член коллегии защитников Ламца-Дрицер, вернувшийся в дачном поезде из подмосковной станции Гнилые Корешки и избравший кратчайший путь через линию.

— Это вопиющее нарушение! — кричал заступник, конвоируемый Антиповым воинством,— я подам заявление в малый Совнарком, а если не поможет, то в большой!

— Хучь в громадный,— пыхтели храбрецы,— Совнарком разбойникам не потатчик.

— Я разбойник?! — вспыхивал и угасал Дрицер, как свеча.

— Ладно, бывают алистократы с портфелями карманы вырезают...

...Третьей — теща начальника станции с лукошком.

— Отцы родные! Сыночки! Куда ж вы меня тащите?!

...И четвертой — целая артель временных рабочих полностью. С лопатами, с кирками и твердыми краюхами черного хлеба. Артельный староста, похожий на патриарха, стоял на коленях, ослепленный блеском оружия Антиповой гвардии, и бормотал:

— Берите, братцы, все. Лопаты и рубашки. Скидайте штаны, только отпустите христианские душеньки на покаяние.

Неизвестно, чем бы кончились Антиповы подвиги, если бы всевидящее начальство не прислало ему телеграмму:

«Антипу.

Антип! Ты поставлен, чтобы злоумышленников ловить, но ежели их нету, благодари судьбу и сам их не выдумывай!

Наш идеал именно в том и заключается, чтобы злоумышленников не было. Стыдись, Антип! Любящее тебя начальство».

Получил Антип телеграмму, заплакал и подвиги прекратил. Отчего и наступила на белорусской территории тишь и гладь.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОКОЙНИКА

— Кашляните,— сказал врач 6-го участка М.-К.-В. ж. д.

Больной исполнил эту нехитрую просьбу.

— Не в глаза, дядя! Вы мне все глаза заплевали. Дыхайте.

Больной задышал, и доктору показалось, что в амбулатории заиграл граммофон.

— Ого! — воскликнул доктор.— Здорово! Температура как?

— Градусов 70,— ответил больной, кашляя доктору на халат.

— Ну, 70 не бывает,— задумался доктор,— вот что, друг, у вас ничего особенного — скоротечная чахотка.

— Ишь как! Стало быть, помру?

— Все помрем,— уклончиво отозвался медик.— Вот что, ангелок, напишу я вам записочку, и поедете вы в Москву на специальный рентгеновский снимок.

— Помогает?

— Как сказать,— отозвался служитель медицины,— некоторым очень. Да со снимком как-то приятнее.

— Это верно,— согласился больной,— помирать будешь, на снимок поглядишь — утешение. Вдова потом снимок повесит в гостиной, будет гостей занимать: «А вот, мол, снимок моего покойного железнодорожника, царство ему небесное!» И гостям приятно.

— Вот и прекрасно, что вы присутствия духа не теряете. Берите записочку, топайте к начальнику Зерново-Кочубеевской топливной ветви. Он вам билетик выпишет до Москвы.

— Покорнейше благодарю.

Больной на прощанье наплевал полную плевательницу и затопал к начальнику. Но до начальника он не дотопал, потому что дорогу ему преградил секретарь.

— Вам чего?

— Скоротечная у меня.

— Тю! Чудак! Ты что ж, думаешь, что у начальника санатория в кабинете? Ты, дорогуся, топай к доктору.

— Был. Вот и записка от доктора на билет.

— Билет тебе не полагается.

— А как же снимок? Ты, что ль, будешь делать?

— Я тебе не фотограф. Да ты не кашляй мне на бумаги.

— Без снимка, доктор говорит, непорядок.

— Ну, так и быть, ползи к начальнику.

— Драсьте. Кхе... кх!.. А кха, кха!

— Кашляй в кулак. Чего? Билет? Не полагается. Ты прослужил только два месяца. Потерпи еще месяц.

— Без снимка помру.

— Пойди на бульвар да снимись.

— Не такой снимок. Вот горе в чем.

— Пойди потолкуй с бухгалтером.

— Здрасьте.

— Стань от меня подальше. Чего?

— Билет. За снимком.

— Голова с ухом! У меня касса, что ль? Сыпь к секретарю.

— Здра... тьфу. Кха. Ррр!..

— Ты ж был у меня уже. Мало оплевал? Иди к начальнику.

— Здравия жела... кха... хр...

— Да ты что, смеешься? Курьер, оботри мне штаны. Катись к доктору!

— Драсьти... Не дают!

— Что ж я сделаю, голубчик? Идите к начальнику.

— Не пойду... помру... Урр...

— А я вам капель дам. На пол не падай. Санитар, подними его.

ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

— С нами крестная сила! Ты ж помер?!

— То-то и оно.

— Так чего ты ко мне припер? Ты иди, царство тебе небесное, прямо на кладбище!

— Без снимка нельзя.

— Экая оказия! Стань подальше, а то дух от тебя тяжелый.

— Дух обыкновенный. Жарко, главное.

— Ты б пива выпил.

— Не подают покойникам.

— Ну, зайди к начальнику.

— Здрав...

— Курьеры! Спасите! Голубчики родненькие!!

— Куда ты с гробом в кабинет лезешь, труп окаянный?!

— Говори, говори скорей! Только не гляди ты на меня, ради Христа.

— Билетик бы в Москву... за снимком...

— Выписать ему! Выписать! Мягкое место в международном. Только чтоб убрался с глаз моих, а то у меня разрыв сердца будет.

— Как же писать?

— Пишите: от станции Зерново до Москвы скелету такому-то.

— А гроб как же?

— Гроб в багажный!

— Готово, получай.

— Покорнейше благодарим. Позвольте руку пожать.

— Нет уж, рукопожатия отменяются!

— Иди, голубчик, умоляю тебя, иди скорей! Курьер, проводи товарища покойника!

ЗАСЕДАНИЕ В ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНА

Новость в два мгновенья облетела всю станцию Ново-Бахмутовка: будет заседание не простое, а в присутствии члена Авдеевского учкпрофсожа. И в назначенный час зал клуба заполнился пролетарскими лицами членов профсоюза. Возбуждая общее внимание и симпатию, за столом президиума красовался член учкпрофсожа.

Началось честь честью: избрали председателя, и тот, качнувшись, как былинка, и конфузясь, заявил:

— Гм... Таперича, стало быть, секретаря надо...

— Верно! — подтвердили мозолистые голоса в зале,— Васю Гузина!

— Васю так Васю,— сказал председатель и обратился к члену: — Васю хочут?

— Ну и что ж,— ответил член,— пускай. Я против Васи ничего не имею.

— Итак, большинством голосов Васю...— начал председатель.

— Товарищи,— раздался Васин голос,— я покорнейше прошу отказаться, в силу причины малограмотности, так как я только что кончил ликбез.

— Вася, не дрефь! — загремел зал,— неужто, Вася, ты не можешь скребнуть пером раз пять для общего блага?

И под гром рукоплесканий Вася занял место за столом.

— Первым вопросом у нас стоит, на каком основании поперли со службы дорогих товарищей Дзюбу, Душебу и Самиську без всякого ведома профсоюзов? — заявил председатель,— предлагаю высказывать.

Зал немедленно высказал негодование бурным ропотом.

— Ша, — молвил председатель, — который-нибудь один.

Но встали сразу двое и вперебой высказались:

— Это все мастер!

— ПД-9, чтоб ему ни дна ни покрышки!

— Он говорит, ваш, говорит, профуполномоченный на 6 месяцев, а я мастер навсегда!

— Ловко загнул! — грянул зал.

— Прочтите акт № 1...

— Правильно! — крикнул кто-то.

— За № 10 уволили!

— Как это так — правильно?!

— Тише! — погибая в волне народного гнева, взвыл председатель,— кто за? Я голосую — прошу поднять руки! Вася, пиши.

Лес рук поднялся и тотчас же, как подрубленный, опустился.

Вася макнул перо и написал:

«Прочтите акт № 1 заслушали за № 10 воздержавшие 6 человек неправильное сокращение ПД-9 Федоренко».

Потом подумал и приписал:

«Разъяснение подтверждено за № 8 Гавриков и Филонов».

— За что я голосовал?

— Сначала!!

— Объясни, председатель, за что руки поднимать?!

— Ну, сначала,— бледнея, сказал председатель.

— Это что ж такое,— заговорил некто,— разгрузка земли производилась в праздничный день... Сверхурочные, а вместо отдыха шиш с маслом?

— Этого мастера в цистерне утопить!!

— Не допускается убийство! — надрываясь, крикнул председатель.

— Халатный.

— Бузотер!

— Керосин получен, а мы его и в глаза не видали.

— А на перегоне сидели без воды 3 месяца.

— А где профуполномоченный?

— А мастер говорит — его во взятке уличил: пять пудов картофелю!

— Кто кого уличил?!

— Тиш-ше! — кричал председатель, утирая пот,— Вася, пиши.

Бледный Вася начал строчить:

«Слушали: «Получен материал керосин и другие предметы ПД-9 околодка не отказались».

«Постановили: «Керосина не получали недопустимо предъявлено ПД-9 ок. Федоренкова».

— Его из союза надо вышибить?

— Кого?!

— Камыш 8 дней на водокачке косили, а он на месте остался...

— Исплоатация труда!..

— Горячие у вас парни,— растерявшись, сказал член председателю,— беда!

— Что ж таперича делать? — спросил председатель.

— Ты голосуй,— посоветовал член,— они, может, заткнутся.

— Голосую, товарищи! — заныл председатель.

— За кого? — гремело в зале.

— Ясное дело. Духу чтоб не было!

— Кого?!

— Кто за — тот руку!

— Наоборот: вон его, к свиньям!

— Которого?

— Федоренкова мастера!

— Ага!

— Кто за то, чтобы его исключить?.. Раз, два, три... Вася, пиши...

«Исключить за 15 голосов»,— написал Вася.

— Ура! Выкинули,— ликовал зал.

— Потрудились, зато очистили союз!

— А теперь что? — спросил председатель у члена.

— Закрывай ты заседание,— ответил тот,— ну их к богу.

— Объявляю закрытым! — облегченно крикнул председатель.

— Правильно,— ответил бахмутовский народ,— ко щам пора.

И с грохотом зал разошелся.

Вася подумал и написал:

«Заседание закрыто 7 часов».

— Молодец, Вася,— сказал председатель и спрятал протокол.

Примечание «Гудка»:

В основе фельетона копия протокола заседания членов профсоюза на ст. Н.-Бахмутовка от 19 июня. Протокол этот — верх бестолковщины.

Совершенно непонятно, как могло идти таким образом заседание, на котором присутствовал член Авдеевского учкпрофсожа?

ГЛАВПОЛИТБОГОСЛУЖЕНИЕ

> Конотопский уисполком по договору от 23 июля 1922 г. с общиной верующих поселка при ст. Бахмач передал последней в бессрочное пользование богослужебное здание, выстроенное на полосе железнодорожного отчуждения и пристроенное к принадлежащему Зап. ж. д. зданию, в коем помещается жел.-дорожная школа.
>
> Окна церкви выходят в школу...
>
> *Из судебной переписки*

Отец дьякон бахмачской церкви, выходящей окнами в школу, в конце концов не вытерпел и надрызгался с самого утра в день Параскевы Пятницы и, пьяный как зонтик, прибыл к исполнению служебных обязанностей в алтарь.

— Отец дьякон! — ахнул настоятель,— ведь это что же такое?.. Да вы гляньте на себя в зеркало: вы сами на себя не похожи!

— Не могу больше, отец настоятель! — взвыл отец дьякон,— замучили, окаянные. Ведь это никаких нервов не хва...хва...хватит. Какое тут богослужение, когда рядом в голову зудят эту грамоту. Дьякон зарыдал, и крупные, как горох, слезы поползли по его носу,— верите ли, вчера за всенощной разворачиваю требник, а перед

глазами огненными буквами выскакивает: «Религия есть опиум для народа». Тьфу! Дьявольское наваждение. Ведь это ж... ик... до чего ж доходит?.. И сам не заметишь, как в кам...ком...мун...нистическую партию уверуешь. Был дьякон — и, ау, нету дьякона! Где, спросят добрые люди, наш милый дьякон? А он, дьякон... он в аду... в гигиене огненной.

— В геенне,— поправил отец настоятель.

— Один черт,— отчаянно молвил отец дьякон, криво влезая в стихарь,— одолел меня бес!

— Много вы пьете,— осторожно намекнул отец настоятель,— оттого вам и мерещится.

— А это мерещится? — злобно вопросил отец дьякон.

— Владыкой мира будет труд!! — донеслось через открытые окна соседнего помещения.

— Эх,— вздохнул дьякон, завесу раздвинул и пророкотал: — Благослови, владыка!

— Пролетарию нечего терять, кроме его оков.

— Всегда, ныне, и присно, и во веки веков,— подтвердил отец настоятель, осеняя себя крестным знамением.

— Аминь! — согласился хор.

Урок политграмоты кончился мощным пением «Интернационала» и ектении:

Весь мир насилья мы разрушим до основания! А затем...

— Мир всем! — благодушно пропел настоятель.

— Замучили, долгогривые,— захныкал учитель политграмоты, уступая место учителю родного языка,— я — слово, а они — десять!

— Я их перешибу,— похвастался учитель языка и приказал: — Читай, Клюкин, басню.

Клюкин вышел, одернул пояс и прочитал:

Попрыгунья стрекоза
Лето красное пропела.
Оглянуться не успела...

— Яко Спаса родила!! — грянул хор в церкви.

В ответ грохнул весь класс и прыснули прихожане.

Первый ученик Клюкин заплакал в классе, а в алтаре заплакал отец настоятель.

— Ну их в болото,— ошеломленно хихикая, молвил учитель,— довольно, Клюкин, садись, пять с плюсом.

Отец настоятель вышел на амвон и опечалил прихожан сообщением:

— Отец дьякон заболел внезапно и... того... богослужить не может.

Скоропостижно заболевший отец дьякон лежал в приделе алтаря и бормотал в бреду:

— Благочестив... самодержавнейшему государю наше... замучили, проклятые!..

— Тиш-ша вы,— шипел отец настоятель,— услышит кто-нибудь, беда будет...

— Плевать...— бормотал дьякон,— мне нечего терять... ик... кроме оков.

— Аминь! — спел хор.

Примечание «Гудка»:

В редакции получен материал, показывающий, что дело о совместном пребывании школы и церкви в одном здании тянется уже два года. Просьба всем соответствующим учреждениям сообщить, когда же кончится это невозможное сожительство?

КАК ШКОЛА ПРОВАЛИЛАСЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ

Транспортный рассказ Макара Девушкина

— Это что! — воскликнул известный московско-белорусско-балтийский железнодорожник Девушкин, сидя в пивной в кругу своих друзей,— а вот у нас на Немчиновском посту было происшествие, так это действительно номер!

Девушкин постучал серебряным двугривенным по мраморному столику, и на стук прикатил член профессионального союза работников народного питания в белом фартуке. Добродушная профессиональная улыбка играла на его лице.

— Дай нам, милый человек, еще две парочки,— попросил его Макар Девушкин.

— Больше чем по парочке не полагается,— ответил нарпитовец с сожалением.

— Друг! — прочувственно воскликнул Макар,— мало ли что не полагается, а ты как-нибудь сооруди,— и при этом Макар еще раз постучал двугривенным.

Нарпитовец вздохнул, искоса глянул на надпись на стене:

«Берущий на чай не достоин быть членом профессионального союза».

Еще раз вздохнул, порхнул куда-то и представил две парочки.

— Молодец! — воскликнул Макар, приложился к кружке и начал: — Дачу бывшего гражданина Сенет знаете?

— Не слыхали,— ответили друзья.

— Замечательная дачка. Со всеми неудобствами. Ну-с, забрали, стало быть, эту дачку под школу первой ступени. Главное — местоположение приятное: лесочек, то да се... нужник, понятное дело, имеется. Одним словом, совершенно пригодная дача на 90 персон школьников. Но вот водопровода нету! Вот оказия...

— Колодец можно устроить.

— Именно — пустое дело. Вот из-за колодца-то все и произошло, и пропала дачка, к свиньям собачьим. Был этот колодец под самым крыльцом, и вот о прошлом годе произошло печальное событие — обвалился сруб... Нуте-с, заведующий школой бьет тревогу по всем инстанциям нашего аппарата. Туда-сюда... Пишет ПЧ-первому: так, мол, и так,— чинить надо. ПЧ посылает материал, рабочих. Специальных колодезников пригнали. Ну, те, разумеется, в два момента срубили новый сруб, положили его на венец, и оставалось им, братцы, доделать чистые пустяки — раз плюнуть.

Ан не тут-то было: вместо того чтобы тут же взять и работу закончить, а ее взяли да и оставили до весны. Отлично-с.

Весной, как начала земля таять, поползло все в колодец, а колодец 18 саж. глубины! Поехала в колодец земля и весь новый деревянный сруб. И в общем и целом провалилось все это... Получилась, друзья мои, глубокая яма более чем в 3 сажени шириной, и под самой стеной школы.

Школьный фундамент подумал-подумал, треснул и полез вслед за срубом в колодец. Дальше — больше: р-раз! — треснула стена. Из школы все, понятное дело, куда глаза глядят. Прошло еще два дня — и до свидания:

въехала вся школа в колодец. Приходят добрые люди и видят: стоит в стороне нужник на 90 персон и на воротах вывеска: «Школа первой ступени», и больше ничего — лысое место!

Так и прекратилось у нас просвещение на Немчиновском посту Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги... За ваше здоровье, товарищи!

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ДЕСЯТНИК ЖЕНИЛСЯ?!

(БЫТ)

...Вы спрашиваете, чего я тоскую? Как же мне не тосковать, гражданин милый, ежели я несправедливо обижен на служебной основе. Влюбился я, товарищ, и, влюбившись, сделал своему предмету предложение руки и сердца и получил согласие, отчего был на седьмом небе. Закупивши все, как полагается, для свадьбы, я ухитрился жениться на своем предмете, не потратив на свадьбу ни одной секунды служебного времени, и между двумя работами проскользнул прямо в медовый месяц, собираясь упиться чашей жизни.

Но не тут-то было! Встречается мне заведующий разработкой ЮЗа Славутского участка гражданин Логинов (я десятником служу) и спрашивает в служебном тоне, побрякивая цепочкой от часов:

— Как вы смели, уважаемый, жениться без моего ведома?

У меня даже язык отнялся. Помилуйте, что я — крепостной? Какое ему дело! Главное, что если б я истратил на женитьбу свои служебные часы или, скажем, напился с товарищами, опозорив профессиональный наш союз. А то я тихо и мирно вступил в брак, как имеет право всякий индивидуум на земном шаре. И мучает раздумье: а если моей жене придет в голову наделить меня потомством в размере одного ребенка — к Логинову бежать? Разрешите...» А если октябрины? А если теща умрет? Имеет она право без Логинова?

Нет, гражданин, затоскуешь с таким заведующим.

ПИВНОЙ РАССКАЗ

Вагон-лавка киевского ТЕПЕО в течение четырех месяцев привозила только одно пиво.

Из письма корреспондента

Вагон-лавку на станции ждали с нетерпением и дождались. Она приехала, и железнодорожники кинулись к ней толпой.

— Сподобились...

Первое, что бросилось в глаза обитателям станции,— это лозунг на стене вагона:

«Неприличными словами не выражаться».

А под ним другой:

«Лицам в нетрезвом состоянии ничего не продается».

— Здорово! — изумились железнодорожники.— Ишь какие лозгуны пошли. Раньше все, бывало, писали: «Укрепляй кооперацию»... или, там: «Советская кооперация спасет, как ее... ситуацию, что ли...» Или еще что-нибудь ученое... А теперь просто.

— Стало быть, укрепили!

— И, значит, не выражаться матерным образом.

— Пивом, братцы, запахло!.. Не пойму, откуда?

— От Еремкина пахнет, он только что с мастером полдюжины раздавил.

Дверь вагона открылась, и выглянул гражданин кооперативного вида.

— Не напирайте, гражданчики,— попросил он, и от слов его ударила в воздухе столь приятная струя, что Еремкин вместо того, чтобы спросить: «Сапоги есть?» — спросил:

— Вобла есть?

— Как же-с, любительская,— радостно ответил коопспец.

— Ситцу мне бы.

— Ситцу, извиняюсь, нету.

— Сарпинка, может, есть?

— Сарпинки нету, извиняюсь.

— Бязь?

— Нету бязи, извиняюсь.

— Так что ж есть из материй?

— Пиво бархатное, черное.

— Хо-хо!.. Позвольте мне полдюжинки.

— Сапоги почем?

— Сапог, извините, нету... Чего-с?.. Керосин? Не держим. Газолин не держим. Вместо газолина могу предложить вам, тетушка, «Стеньку Разина» или «Красную Баварию».

— На что мне твой «Разин»! Мне для примуса.

— Для примусов ничего не держим.

— Что ж вы, черти полосатые!

— Попрошу вас, бабушка, не выражаться по матушке.

— Взять бы эту бутылку да по голове ваших кооператоров. Тут ждешь товару, а они пойла привезли...

— Пивка позвольте две дюжины.

— Горошку нет ли?

— Пивка!

— Пивка!

— Пивка!

— Пивка!

— Пивка!

— Пивка!

* * *

Вечером, когда станция утонула в пиве по маковку, единственно трезвый корреспондент сидел и при свете луны (в лампу нечего было налить) писал в «Гудок»:

«От имени служащих нашей станции М.-К.-Вор. ж. д. и косвенно от имени линии прошу «Гудок» понудить спящий учкпрофсож-5 и правление кооператива выехать на линию с продуктами. В противном случае в виде протеста выходим из добровольного членства кооперации».

Жирная луна сидела на небе, и казалось, что она тоже выпила и подмигивает...

КАК, ИСТРЕБЛЯЯ ПЬЯНСТВО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТРАНСПОРТНИКОВ ИСТРЕБИЛ!

Плачевная история

Из комнаты с надписью на дверях «Без доклада не входить» слышался треск.

Это председатель учкпрофсожа ломал себе голову, размышляя о вреде пьянства.

— Ты пойми,— говорил он, крутя за пуговицу секретаря,— что все наши несчастья от пьянства. Оно разрушает союзную дисциплину, угрожает транспорту, в корне подрывает культурно-просветительную работу как таковую и разрушает организм! Верно я сказал?

— Совершенно верно,— подтвердил секретарь и добавил: — до чего вы умны, Амос Федорович, даже неприятно!

— Ну, вот видишь. Стало быть, перед нами задача, как эту гидру пьянства истребить.

— Трудное дело,— вздохнул секретарь,— как ее, проклятую, истребишь?

— Нужно, друг! Не беспокойся: я вырву наших транспортников из когтей пьянства и порока, чего бы мне это ни стоило! Уж я придумаю.

— Вас на это взять,— льстиво сказал секретарь,— вы хитрый.

— Вот то-то.

И, сев думать, председатель подумал каких-нибудь 16 часов, но зато придумал изумительную штуку.

* * *

Через несколько дней во всех погребках, пивных и тому подобных влажных заведениях появилось объявление:

«Хозяева, имейте в виду, что транспортники не кредитоспособны. Так чтоб им ничего не отпускать».

Эффект получился, действительно, неожиданный.

* * *

— Здравствуй.

— Здравствуй,— хмуро ответил хозяин.

— Чего ж это у тебя такая кислая физия? Ну-ка сооруди нам две парочки.

— Нету парочек.

— Как нету? Ну, ты что, очумел?

— Ничего я не очумел. Деньги покажи.

— Ты смеешься, что ли? Завтра жалованье получу, отдам.

— Нет. Может быть, у тебя никакого жалованья нету.

— Ты спятил?.. У меня нету?! Да ты что, меня не знаешь?

— Очень хорошо знаю. Ты не кредитоспособный.

— А вот я как тебе по уху дам за эти слова...

— Ухо в покое оставь. Читай надпись...

Транспортник прочитал — и окаменел...

* * *

— Бутылочку пива!

— А вы кто?

— Тю! Не узнал. Помощник начальника станции.

— Тогда нету пива.

— Как нету, а это что в корзинах?

— Это касторка.

— Да что ты врешь. Вот двое твоей касторки напились, песни поют.

— Это не такие.

— Какие ж они?

— Они почище. Древообделочники.

— Ах ты, гадюка! Какое же ты имеешь право нас, транспортников, оскорблять...

— Объявление прочитайте.

* * *

— Здравствуй, Абрам. Материю принес. Сшей ты, мой друг, мне штаны.

— Деньги вперед.

— Какие деньги? У тебя ж объявление висит: «Членам союза широкий кредит».

— Это не таким членам. Транспортникам — шиш с маслом.

— Пач-чему???

— А вон ваш председатель развесил объявление в пивнушках...

* * *

— Манька! Беги в лавочку, возьми керосину на книжку... Ну, что?

— Хи-хи. Не дают.

— Как не дают?

— Так говорят: транспортникам, говорят, не даем. Они, говорят, не способны...

* * *

— Дай, Федос Петрович, пятерку до среды, в субботу отдам.

— Не дам...

— На каком основании отказываешь лучшему другу?

— Ты не кредитоспособный.

* * *

Через две недели по всей территории учкпрофсожа стоял вой транспортников. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы из дорпрофсожа не прислали в учкпрофсож письмо:

«Дорогой Амос Федорович! Уберите ваши объявления, к свиньям. Против пьянства они не помогают, а только жизнь портят.

Подпись».

Смутился Амос Федорович и объявления снял.

БРАЧНАЯ КАТАСТРОФА

> Следующие договоры признаются обеими сторонами как потерявшие свою силу: 1) договор: бракосочетание Е. К. В. герцога Эдинбургского, С.-Петербург, 22 января 1874 г.
>
> *Выдержка из англо-советского договора*

Новость произвела впечатление разорвавшейся бомбы.

I

Через три дня по опубликовании в газете «Руль» появилось сообщение:

«Нам сообщают из Москвы, что расторжение договора о браке его королевского высочества вызвало грандиозное возмущение среди московских рабочих, и в особенности транспортников. Последние всецело на стороне симпатичного молодожена. Они проклинают Раковского, лишившего герцога Эдинбургского возможности продолжать нести сладкие цепи Гименея, возложенные на его высочество в г. С.-Петербурге 50 лет тому назад. По

слухам, в Москве произошли беспорядки, во время которых убито 7000 человек, в том числе редактор газеты «Гудок» и фельетонист, автор фельетона «Брачная катастрофа», напечатанного в № 1277 «Гудка».

II

Письмо, адресованное Понсонби:

«Свинья ты, а не Понсонби!

Какого же черта лишил ты меня супруги? Со стороны Раковского это понятно — он большевик, а большевика хлебом не корми, только дай ему возможность устроить какую-нибудь гадость герцогу. Но ты?!

Вызываю тебя на дуэль.

Любящий герцог

Эдинбургский».

III

Разговор в спальне герцога Эдинбургского:

Супруга: А, наконец-то ты вернулся, цыпочка. Иди сюда, я тебя поцелую, помпончик.

Герцог *(крайне расстроен):* Уйди с глаз моих!

Супруга: Герцог, опомнитесь! С кем вы говорите? Боже, от кого я слышу эти грубые слова? От своего мужа...

Герцог: Фигу ты имеешь, а не мужа...

Супруга: Как?!

Герцог: А вот так. *(Показывает ей договор.)*

Супруга: Ах! *(Падает в обморок.)*

Герцог *(звонит лакею):* Убрать ее с ковра.

Занавес

СОТРУДНИК С МАССОЙ, ИЛИ СВИНСТВО ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНИИ

(Рассказ-фотография)

Дунька прилетела как буря.

— Товарищ Опишков-е-е,— выла Дунька, шныряя глазами.— Где ж он? Товари...

Басистый кашель раздался с крыльца, и т. Опишков, подтягивая пояс на кальсонах, предстал перед Дунькой.

— Чего ты орешь как скаженная? — спросил он, зевая.

— Кличут вас,— объяснила Дунька,— идите скореича, ждуть!

— Которые ждуть? — беспокойно осведомился Опишков.

— Собрание... Народу собрамшись видимо-невидимо!..

Товарищ Опишков плюнул с крыльца.

— Тьфу, черт! Я думал, что... Приду сейчас, скажи.

— Чай-то пить будешь? — спросила супруга.

— А, не до чаю мне,— забубнил Опишков, надевая штаны,— масса ждеть, чтоб ей ни дна ни покрышки... Мне эта масса вот где сидит (тут Опишков похлопал себя по шее). Какого лешего этой массе...— Голос Опишкова напоминал отдаленный гром или телегу на плотине...— Масса... У меня времени нету. Делать им нечего...

Опишков застегнул разрез.

— Придешь-то скоро? — спросила супруга.

— Чичас,— отозвался Опишков, стуча сапогами по крыльцу,— я там прохлаждаться не буду... с этой массой...

И скрылся.

В зале, вместившем массу транспортников 3-го околотка 1 участка, при появлении тов. Опишкова пролетело дуновение и шепот:

— Пришел... Пришел... Пе-Де... глянь...

Председатель собрания встал навстречу Опишкову и нежно улыбнулся.

— Очень приятно,— сказал он.

— Бур... бур... бур...— загромыхал в ответ опишковский бас.— Чего?

— Как чего? — почтительно отозвался председатель.— Доклад ваш... Хе-хе.

— Да-клад? — изумился Опишков.— Кому доклад?

— Как кому? Им,— и председатель махнул в сторону потной массы, громоздящейся в рядах.

— Вр... пора... гу... гу...— зашевелилась и высморкалась масса.

Кислое выражение разлилось по всему лицу Опишкова и даже на куртку сползло.

— Ничего не пойму,— сказал он, кривя рот,— зачем это доклад? Гм... Я доклады делаю ежедневно Пе-Че, а чего еще этим?..

Председатель густо покраснел, а масса зашевелилась. В задних рядах поднялись головы...

— Нет уж, вы, пожалуйста,— забормотал председатель,— Пе-Че само собой, а это, извините за выражение, само собой, потрудитесь...

— Гур... Гур...— забурчал Опишков и сел на стул.— Ну, ладно.

В зале сморкнулись в последний раз.

— Тиш-ше! — сказал председатель.

— Гм,— начал Опишков.— Ну, стало быть... чего ж тут говорить... Ну, сделано 3 версты разгонки.

В зале молчали, как в гробу.

— Ну,— продолжал Опишков,— шпал тыщу штук сменили.

Молчание.

— Ну,— продолжал Опишков,— траву пололи.

(Молчание.)

— Ну,— продолжал Опишков,— путь, как его, поднимали.

Молчание нарушил тонкий голос:

— Ишь, трудно ему докладать. Хучь плачь!

И опять смолкло.

— Ну? — робко спросил председатель.

— Что «ну»? — спросил Опишков, заметно раздражаясь.

— А сколько это стоило, и вообще, извиняюсь, какая продолжительность, как говорится, и прочее... и прочее...

— Я не успел это подготовить,— отозвался Опишков голосом из подземелья.

— Тогда, извиняюсь, нужно было предупредить... ведь мы же просили, извиняюсь.

Опишковское терпение лопнуло, и лицо его стало такого цвета, как фуражка начальника станции.

— Я,— заорал Опишков,— вам не подчиняюсь!..

(В зале гробовое.)

— Ну вас к богу!.. Надоели вы мне, и разговаривать я с вами больше не желаю,— бухнул Опишков и, накрывшись шапкой, встал и вышел.

Гробовое молчание царило три минуты. Потом прорвало.

— Вот так клюква! — пискнул кто-то.

— Доложил!

— Обидели Опишкова...

— Вот дык свинство учинил!

— Что же это, стало быть, он плюовает на нас?!

Председатель сидел как оплеванный и звонил в

колокольчик. И чей-то рабкоровский голос покрыл гул и звон:

— Вот я ему напишу в «Гудок»! Там ему загнут салазки!! Чтобы на массу не плювал!!

ТРИ КОПЕЙКИ

Старший стрелочник станции Орехово явился получать свое жалованье.

Плательщик щелкнул на счетах и сказал ему так:

— Жалованье: вам причитается — 25 р. 80 к. (щелк!).

Кредит в ТПО с вас 12 р. 50 к. (щелк!).

«Гудок» — 65 коп. (щелк).

Кредит Москвошвей — 12 р. 50 к.

На школу — 12 коп.

Итого вам причитается на руки... (щелк! щелк!)

Т-р-и к-о-п-е-й-к-и.

По-лу-чи-те.

Стрелочник покачнулся, но не упал, потому что сзади него вырос хвост.

— Вам чего? — спросил стрелочник, поворачиваясь.

— Я — МОПР,— сказал первый.

— Я — друг детей,— сказал второй.

— Я — касса взаимопомощи,— третий.

— Я — профсоюз,— четвертый.

— Я — Доброхим,— пятый.

— Я — Доброфлот,— шестой.

— Тэк-с,— сказал стрелочник.— Вот, братцы, три копейки, берите и делите, как хотите.

И тут он увидал еще одного.

— Чего? — спросил стрелочник коротко.

— На знамя,— ответил коротко спрошенный.

Стрелочник снял одежу и сказал:

— Только сами сшейте, а сапоги — жене.

И еще один был.

— На бюст! — сказал еще один.

Голый стрелочник немного подумал, потом сказал:

— Берите, братцы, вместо бюста меня. Поставите на подоконник.

— Нельзя,— ответили ему,— вы — непохожий...

— Ну, тогда как хотите,— ответил стрелочник и вышел.

— Куда ты идешь голый? — спросили его.

— К скорому поезду,— ответил стрелочник.

— Куды ж поедешь в таком виде?

— Никуды я не поеду,— ответил стрелочник,— посижу до следующего месяца. Авось начнут вычитать по-человечески. Как указано в законе.

ЕГИПЕТСКАЯ МУМИЯ

Рассказ члена профсоюза

Приехали мы в Ленинград, в командировку, с председателем нашего месткома.

Когда отбегались по всем делишкам, мне и говорит председатель:

— Знаешь что, Вася? Пойдем в Народный дом.

— А что,— спрашиваю,— я там забыл?

— Чудак ты,— отвечает мне наш председатель месткома,— в Народном доме ты получишь здоровые развлечения и отдохнешь, согласно 98-й статье Кодекса труда (председатель наизусть знает все статьи, так что его даже считают чудом природы).

Ладно. Мы и пошли. Заплатили деньги, как полагается, и начали применять 98-ю статью. Первым долгом мы прибегли к колесу смерти. Обыкновенное громадное колесо, и посредине палка. Причем колесо, от неизвестной причины, начинает вертеться с неимоверной скоростью, сбрасывая с себя, ко всем чертям, каждого члена союза, который на него сядет. Очень смешная штука, в зависимости от того, как вылетишь. Я выскочил чрезвычайно комично через какую-то барышню, разорвав штаны. А председатель оригинально вывихнул себе ногу и сломал одному гражданину палку красного дерева, со страшным криком ужаса. Причем он летел, и все падали на землю, так как наш председатель месткома человек с громадным весом. Одним словом, когда он упал, я думал, что придется выбирать нового председателя. Но председатель встал бодрый, как статуя свободы, и, наоборот, кашлял кровью тот гражданин с погибшей палкой.

Затем мы отправились в заколдованную комнату, в которой вращаются потолок и стены. Здесь из меня выскочили бутылки пива «Новая Бавария», выпитые с председателем в буфете. В жизни моей не рвало меня так, как в этой проклятой комнате, председатель же перенес.

Но когда мы вышли, я сказал ему:

— Друг. Отказываюсь от твоей статьи. Будь они прокляты, эти развлечения № 98!

А он сказал:

— Раз мы уже пришли и заплатили, ты должен еще видеть знаменитую египетскую мумию.

И мы пришли в помещение. Появился в голубом свете молодой человек и заявил:

— Сейчас, граждане, вы увидите феномен неслыханного качества — подлинную египетскую мумию, привезенную 2500 лет назад. Эта мумия прорицает прошлое, настоящее и будущее, причем отвечает на вопросы и дает советы в трудных случаях жизни и, секретно, беременным.

Все ахнули от восторга и ужаса, и действительно, вообразите, появилась мумия в виде женской головы, а кругом египетские письмена. Я замер от удивления при виде того, что мумия совершенно молодая, как не может быть человек не только 2500 лет, но и даже в 100 лет.

Молодой человек вежливо пригласил:

— Задавайте ей вопросы. Попроще.

И тут председатель вышел и спросил:

— А на каком же языке задавать? Я египетского языка не знаю.

Молодой человек, не смущаясь, отвечает:

— Спрашивайте по-русски.

Председатель откашлялся и задал вопрос:

— А скажи, дорогая мумия, что ты делала до февральского переворота?

И тут мумия побледнела и сказала:

— Я училась на курсах.

— Тэк-с. А скажи, дорогая мумия, была ты под судом при советской власти, и если не была, то почему?

Мумия заморгала глазами и молчит.

Молодой человек кричит:

— Что ж вы, гражданин, за 15 копеек мучаете мумию?

А председатель начал крыть беглым:

— А, милая мумия, твое отношение к воинской повинности?

Мумия заплакала. Говорит:

— Я была сестрой милосердия.

— А что б ты сделала, если б ты увидела коммунистов в церкви? А кто такой тов. Стучка? А где теперь живет Карл Маркс?

Молодой человек видит, что мумия засыпалась, сам кричит по поводу Маркса:

— Он умер!

А председатель рявкнул:

— Нет! Он живет в сердцах пролетариата.

И тут свет потух, и мумия с рыданием исчезла в преисподней, а публика крикнула председателю:

— Ура! Спасибо за проверку фальшивой мумии.

И хотела его качать. Но председатель уклонился от почетного качанья, и мы выехали из Народного дома, причем за нами шла толпа пролетариев с криками.

ИГРА ПРИРОДЫ

А у нас есть железнодорожник с фамилией Врангель...

Из письма рабкора

Дверь, ведущую в местком станции М., отворил рослый человек с усами, завинченными в штопор. Военная выправка выпирала из человека.

Предместком, сидящий за столом, окинул вошедшего взором и подумал: «Экий бравый...»

— А вам чего, товарищ?—спросил он.

— В союз желаю записаться,— ответил визитер.

— Тэк-с... А вы где же работаете?

— Да я только что приехал,— пояснил гость,— весовщиком сюды назначили...

— Тэк-с. Ваша как фамилия, товарищ?

Лицо гостя немного потемнело.

— Да, фамилия, конечно...—заговорил он,—фамилия у меня... Врангель.

Наступило молчание. Предместком уставился на посетителя, о чем-то подумал и вдруг машинально ощупал документы в левом кармане пиджака.

— А имя и, извините, отчество?—спросил он странным голосом.

Вошедший горько и глубоко вздохнул и вымолвил:

— Да, имя... ну, что имя, ну, Петр Николаевич.

Предместком привстал с кресла, потом сел, потом опять привстал, глянул в окно, с окна на портрет Троцкого, с Троцкого на Врангеля, с Врангеля на дверной ключ, с ключа косо на телефон. Потом вытер пот и спросил сипло:

— А скудова же вы приехали?

Пришелец вздохнул так густо, что у предместкома шевельнулись волосы, и молвил:

— Да вы не думайте... Ну, из Крыма...

Словно пружина развернулась в предместкома.

Он вскочил из-за стола и мгновенно исчез.

— Так я и знал! — кисло сказал гость и тяжко сел на стул.

Со звоном хлопнул ключ в дверях. Предместком, с глазами, сияющими как звезды, летел через зал III класса, потом через I класс и прямо к заветной двери. На лице у предместкома играли краски. По дороге он вертел руками и глазами, наткнулся на кого-то в форменной куртке и ему взвыл шепотом:

— Беги, беги в месткоме дверь покарауль! Чтоб не убег!..

— Кто?!

— Врангель!

— Сдурел!!

Предместком ухватил носильщика за фартук и прошипел:

— Беги скорей дверь покарауль!..

— Которую?!

— Дурында... Награду получишь!..

Носильщик выпучил глаза и стрельнул куда-то вбок... За ним — второй.

Через три минуты у двери месткома бушевала густая толпа. В толпу клином врезался предместкома, потный и бледный, а за ним двое в фуражках с красным верхом и синеватыми околышами. Они бодро пробирались в толпе, и первый звонко покрикивал:

— Ничего интересного, граждане! Прошу вас очистить помещение!.. Вам куда? В Киев? Второй звонок был. Попрошу очистить!

— Кого поймали, родные?

— Кого надо, того и поймали, попрошу пропустить...

— Деникина словил месткомщик!..

— Дурында, это Савинков убег... А его залопали у нас!

— Я обнаружил по усам,— бормотал предместком человеку в фуражке,— глянул... Думаю, батюшки,— он!

Двери открылись, толпа полезла друг на друга, и в щели мелькнул пришелец...

Глянув на входящих, он горько вздохнул, кисло ухмыльнулся и уронил шапку.

— Двери закрыть!.. Ваша фамилия?

— Да Врангель же... да я ж говорю...

— Ага!

Форменные фуражки мгновенно овладели телефоном.

Через пять минут перед дверьми было чисто от публики, и по очистившемуся пространству проследовал кортеж из семи фуражек. В середине шел, возведя глаза к небу, пришелец и бормотал:

— Вот, твоя воля... замучился... В Херсоне водили... В Киеве водили... Вот горе-то... В Совнарком подам, пусть хоть какое хочут название дадут...

— Я обнаружил,— бормотал предместком в хвосте,— батюшки, думаю, усы! Ну, у нас это, разумеется, быстро, по-военному: р-раз — на ключ. Усы — самое главное...

* * *

Ровно через три дня дверь в тот же местком открылась, и вошел тот же бравый. Физиономия у него была мрачная.

Предместком встал и вытаращил глаза.

— Э... Вы?

— Я,— мрачно ответил вошедший и затем молча ткнул бумагу.

Предместком прочитал ее, покраснел и заявил.

— Кто ж его знал...— забормотал он...— Гм... да, игра природы... Главное, усы у вас, и Петр Николаевич...

Вошедший мрачно молчал...

— Ну что ж... Стало быть, препятствий не встречается... Да.... Зачислим... Да вот усы сбили меня...

Вошедший злобно молчал.

* * *

Еще через неделю подвыпивший весовщик Карасев подошел к мрачному Врангелю с целью пошутить.

— Здравия желаю, ваше превосходительство,— заговорил он, взяв под козырек и подмигнув окружающим.— Ну как изволите поживать? Каково показалось вам при власти Советов и вообще у нас в Ре-Се-Фе-Се-Ре?

— Отойди от меня,— мрачно сказал Врангель.

— Сердитый вы, господин генерал,— продолжал Карасев,— у-у, сердитый! Боюсь, как бы ты меня не расстрелял. У него это просто, взял пролетария...

Врангель размахнулся и ударил Карасева в зубы так, что с того соскочила фуражка.

Кругом засмеялись.

— Что ж ты бьешься, гадюка перекопская? — сказал дрожащим голосом Карасев. — Я шутю, а ты...

Врангель вытащил из кармана бумагу и ткнул ее в нос Карасеву. Бумагу облепили и начали читать:

«...Ввиду того, что никакого мне проходу нету в жизни, прошу мою роковую фамилию сменить на многоуважаемую фамилию по матери — Иванов...»

Сбоку было написано химическим карандашом: «Удовлетворить».

— Свинья ты... — заныл Карасев. — Что ж ты мне ударил?

— А ты не дражни, — неожиданно сказали в толпе. — Иванов, с тебя магарыч.

КОЛЫБЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СТАНЦИИ

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю...
Тихо светит месяц ясный
В колыбель твою.

Лермонтов

Спи, мой мальчик,
Спи, мой чиж,
Мать уехала в Париж...

Из соч. Саши Черного

— Объявляю общее собрание рабочих и служащих ст. Шелухово Каз. дороги открытым! — радостно объявил председатель собрания, оглядывая зал, наполненный преимущественно рабочими службы пути, — на повестке дня у нас стоит доклад о неделе войны 1914 года. Слово предоставляется тов. Де-Эсу. Пожалуйте, тов. Де-Эс!

Но тов. Де-Эс не пожаловал.

— А где ж он? — спросил председатель.

— Он дома, — ответил чей-то голос.

— Надо послать за ним...

— Послать обязательно, — загудел зал. — Он интересный человек — про войну расскажет — заслушаешься!

Посланный вернулся без товарища Де-Эса, но зато с письмом.

Председатель торжественно развернул его и прочитал:

— «В ответ на приглашение ваше от такого-то числа сообщаю, что явиться на собрание не могу.

Основание: *лег спать*».

Председатель застыл с письмом в руке, а в зале кто-то заметил:

— Фициально ответил!

— Спокойной ночи!

— Какая же ночь, когда сейчас 5 часов дня?

Председатель подумал, посмотрел в потолок, потом на свои сапоги, потом куда-то в окно и объявил печально:

— Объявляю заседание закрытым.

А в зале добавили:

— Колыбель начальника станции есть могила общего собрания.

И тихо разошлись по домам.

Аминь!

РАССКАЗ ПРО ПОДЖИЛКИНА И КРУПУ

В транспосекцию явился гражданин, прошел в кабинет, сел на мягкую мебель, вынул из кармана пачку папирос «Таис», затем связку ключей и переложил все это в другой карман.

Затем уже достал носовой платок и зарыдал в него.

— Прошу вас не рыдать, молодой человек, в учреждении,— сказал ему сурово сидящий за столом,— рыдания отменяются.

Но гражданин усилил рыдания.

— У вас кто-нибудь умер? Вероятно, ваша матушка? Так вы идите в погребальный отдел страхкассы и рыдайте им сколько угодно. А нам не портите ковер, м-молодой ч'эк!

— Я не молодой чек,— сквозь всхлипывания произнес гость.— Я, наоборот, председатель железнодорожного первичного кооператива Поджилкин.

— Оч-чень приятно,— изумился транспосекщик,— чего ж вы плачете?

— Из-за крупы плачу,— утихая, ответил Поджилкин,— дайте, ради всего святого, крупы!

— Что значит... дайте?—широко улыбнулся транспосекщик,— да берите сколько хочете! Сейчас нам предло-

жил Центросоюз три вагона крупы-ядрицы. Эх вы, рыдун, рыдайло... рыдакса печальная!

— Почем?—спросил, веселея, Поджилкин.

— По два двадцать.

Поджилкин тяжко задумался.

— Эк-кая штука,—забормотал он,—ведь вот оказия! Вы тово, крупу минуточку придержите... а я сейчас.

И тут он убежал.

— Чудак,—сказали ему вслед.—То ревет, как белуга, то бегает...

Поджилкин же понесся прямо в комиссию по регулированию цен при МСПО.

— Где комиссия Ме-Се-Пе-О?

— Вон дверь. Да вы людей с ног не сбивайте! Успеете...

— Вот что, братцы... крупа тут подвернулась... ядрица... Да по 2 руб. 20 коп., а вы установили обязательную цену для розничной продажи в кооперативах тоже по 2 р. 20 к.

— Ну? Установили. Дык что?

— Дык разрешите немного дороже продавать. А то как же я покрою провоз, штат и теде?..

— Ишь какой хитрый. Нельзя.

— Почему?

— Потому что нельзя.

— Что же мне делать?

— Гм... Слетайте на Варварку в Наркомвнуторг.

Поджилкин полетел на трамвае № 6.

Прилетел.

— Вот... ядрица... упустить боюсь... два двадцать, понимаете... а цена розничная установлена... понимаете... тоже два двадцать... Понимаете...

— Ну?

— Повысить разрешите.

— Ишь ловкач. Нельзя.

— Отчего?

— Оттого что оттого.

— Что же мне делать?—спросил Поджилкин и полез в карман.

— Нет, вы это бросьте. Вон плакат—«Просят не плакать».

— Как же не плакать?..

— Идите в Ме-Се-Пе-О.

Поджилкин поехал обратно на 4 номере.

— Опять вы?
— Дык к вам послали...
— Ишь умники. Иди обратно...
— Обратно?
— Вот именно.

Поджилкин вышел. Постоял, потом плюнул. И подошел милиционер.

— Три рубля.
— За что?
— Мимо урны не плюй.

Заплатил Поджилкин три рубля и пошел к себе в кооператив. Взял картонку и на ней нарисовал:

«Крупы нет!»

Подходили рабочие к картонке и ругали Поджилкина, а рядом частный торговец торговал крупой по 4 рубля

Так-то-с.

БИБЛИФЕТЧИК

На одной из станций библиотекарь в вагоне-читальне в то же время и буфетчик при уголке Ильича

Из письма рабкора

— Пожалте! Вон столик свободный. Сейчас обтиру Вам пивка или книжку?
— Вася, библифетчик спрашивает, чего нам... Книжку или пивка?
— Мне... ти...титрадку и бутирброд.
— Тетрадок не держим.
— Ах вы... вотр маман... трах-тарарах...
— Неприличными словами просють не выражаться.
— Я выра... вы...ражаю протест!
— Сооруди нам, милый, полдюжинки!
— «Азбука», сочинение товарища Бухарина, имеется?
— Совершенно свежий, только что получен. Герасим Иванович! Бухарин—один раз! И полдюжины светлого!
— Воблочку с икрой.
— Вам воблочку?
— Нам чиво-нибудь почитать.
— Чего прикажете?
— Ну, хоша бы Гоголя.

— Вам домой? Нельзя-с. На вынос книжки не отпускаем. Кушайте, то бишь читайте, здеся.

— Я заказывал шницель. Долго я буду ждать?!

— Чичас. Замучился. За «Эрфуртской программой» в погреб побежали.

— Наше вам!

— Урра! С утра здеся. Читаем за ваше здоровье!

— То-то я и смотрю, что вы лыка не вяжете. Чем это так надрались?

— Критиком Белинским.

— За критика!

— Здоровье нашего председателя уголка! Позвольте нам два экземпляра мартовского.

— Нет! Эй! Ветчинки сюда. А моему мальцу что-нибудь комсомольское для развития.

— Историю движения могу предложить.

— Ну, давай движение. Пущай ребенок читает.

— Я из писателей более всего Трехгорного обожаю.

— Известный человек. На каждой стене, на бутылке опять же напечатан.

— Порхает наш Герасим Иванович, как орел.

— Благодетель! Каждого ублаготвори, каждому подай...

— Ангел!

— Герасим Иванович, от группы читателей шлем наше «ура».

— Некогда, братцы... Пе... тоись читайте, на здоровье.

— Умрешь! Па...ха...ронють, как не жил на свети...

— Сгинешь... не восстанешь... к ви... к ви...селью друзей!

— Налей... налей!..

ПО ГОЛОМУ ДЕЛУ

(Письмо)

«Все было тихо, все очень хорошо, и вдруг пущен был слух по нашей уважаемой станции Гудермес С.-К. ж. д., что якобы с поездом № 12 в 18 часов приедут из Москвы все голые члены общества «Долой стыд».

Интерес получился чрезвычайных размеров, в том числе женщины говорили:

— Это безобразие!

Но, однако, все пришли смотреть.

А другие говорили:

— Будем их бить!

Одним словом, к поезду вышел весь Гудермес в общем и целом.

Ну, и получилось разочарование, потому что поезд приехал одетый с иголочки, за исключением кочегара, но и то только до пояса. Но голого кочегара мы уже видали, потому что ему сажа вроде прозодежды.

Таким образом, все разошлись смеясь.

Но нам интересно, как обстоит дело с обществом и как понять ихние поступки в Москве?»

Письмо т. Пивня.
Переписал М. Булгаков.

Ответ Булгакова:

«Тов. Пивень! Сообщите гудермесцам, что поступки голых надо понимать как глупые поступки.

Действительно, в Москве двое голых вошли в трамвай, но доехали только до ближайшего отделения милиции.

А теперь «общество» ликвидировалось по двум причинам: во-первых, милиция терпеть не может голых, а во-вторых, начинается мороз.

Так что никого не ждите: голые не приедут».

СТЕНКА НА СТЕНКУ

В день престольного праздника в селе Поплевине, в районе станции Ряжск, происходил традиционный кулачный бой крестьян. В этом бою принял участие фельдшер ряжского приемного покоя, подавший заявление о вступлении в партию.

Рабкор

ЧАСТЬ I. НА ВЫГОНЕ

В день престольного праздника преподобного Сергия в некоем селе загремел боевой клич:

— Братцы! Собирайся! Братцы, не выдавай!

Известный всему населению дядя по прозванию Козий Зоб, инициатор и болван, вскричал командным голосом:

— Стой, братцы! Не все собрамши. Некоторые у обедни.

— Правильно! — согласилось боевое население.

В церкви торопливо звякали колокола, и отец настоятель на скорую руку бормотал слова отпуска. Засим как вздох донесся заключительный аккорд хора, и мужское население хлынуло на выгон.

— Ура, ура!..

Голова дяди Зоба мелькала в каше, и донеслись его слова:

— Стой! Отставить...

Стихло.

И Зоб произнес вступительное слово:

— Медных пятаков чеканки 1924 года в кулаки не зажимать. Под вздох не бить дорогих противников, чтобы не уничтожить население. Лежачего ногами не топтать: он не просо! С богом!

— Урра! — разнесся богатырский клич.

И тотчас мужское население разломилось на две шеренги. Они разошлись в разные стороны и с криком «ура» двинулись друг на друга.

— Не выдавай, Прокудин! — выла левая шеренга.— Бей их, сукиных сынов, в нашу голову!!!

— Бей! Эй, эй! — разнесли перелески.

Шеренги сошлись, и первой жертвой силача Прокудина стал тот же бедный Зоб. Как ни били со всех сторон Прокудина, он дорвался до Зобовой скулы и так тяжко съездил его, поддав еще в то место, на котором Козий Зоб заседал обыкновенно на общих собраниях сельсовета, что Зоб моментально вылетел из строя. Его бросило головой вперед, а ногами по воздуху, причем из кармана Зоба выскочило шесть двугривенных, изо рта два коренных зуба, из глаз искры, а из носа — темная кровь.

— Братья! — завыла первая шеренга.— Неужто поддадимся?

Кровь Зоба возопияла к небу, и тотчас получилось возмездие.

Стены сошлись вплотную, и кулаки забарабанили, как цепы на гумне. Вторым высадило из строя Васю Клюкина, и Вася физиономией проехался по земле, ободрав как первую, так и вторую. Он лег рядом с Зобом и сказал только два слова:

— Сапоги вдове...

Без рукавов и с рваным в клочья задом вылетел Птахин, повернулся по оси, ударил кого-то по затылку, но мгновенно его самого залепило плюхою в два аршина, после чего он рявкнул:

— Сдаюсь! Света божьего не вижу...

И перешел в лежачее положение.

За околицей тревожно взвыли собаки, легонько начали повизгивать бабы-зрительницы.

И вот, в манишке, при галстуке и калошах, показался, сияя празднично, местный фельдшер Василий Иваныч Талалыкин. Он приблизился к кипящему бою, и глазки его сузились. Он потоптался на месте, потом нерешительной рукою дернул себя за галстук, затем более решительно прошелся по пуговицам пиджака, разом скинул его и, издав победоносный клич, врезался в битву. Правая шеренга получила подкрепление, и как орел бросился служитель медицины увечить своих пациентов. Но те не остались в долгу. Что-то крякнуло, и выкатился вон, как пустая банка из-под цинковой мази, универсальный врач, усеивая пятнами крови зеленую траву.

ЧАСТЬ II. ВЫГНАЛИ

Через два дня в укоме города Р. появился фельдшер Василий Иваныч Талалыкин. Он был в кожаной куртке, при портрете вождя, и сознательности до того много было на его лице, что становилось даже немножко тошно. Поверх сознательности помещался разноцветный фонарь под правым оком фельдшера, а левая скула была несколько толще правой. Сияя глазами, ясно говорящими, что фельдшер постиг до дна всю политграмоту, он приветствовал всех словами, полными достоинства:

— Здравствуйте, товарищи.

На что ему ответили гробовым молчанием.

А секретарь укома, помолчав, сказал фельдшеру такие слова:

— Пройдемте, гражданин, на минутку ко мне.

При слове «гражданин» Талалыкина несколько передернуло.

Дверь прикрыли, и секретарь, заложив руки в карманы штанов, молвил такое:

— Тут ваше заявление есть о вступлении в партию.

— Как же, как же,— ответил Талалыкин, предчувствуя недоброе и прикрывая ладошкою фонарь.

— Вы ушиблись? — подозрительно ласково спросил секретарь.

— М... м... ушибси,— ответил Талалыкин.— Как же... на притолоку налетел. М-да... заявленьице. Вот уже год стучусь в двери нашей дорогой партии, под знамена которой,— запел вдруг Талалыкин тонким голосом,— я рвусь всеми фибрами моей души. Вспоминая великие заветы наших вож...

— Довольно,— неприятным голосом прервал секретарь,— достаточно. Вы не попадаете под знамена!

— Но почему же? — мертвея, спросил Талалыкин.

Вместо ответа секретарь указал пальцем на цветной фонарь.

Талалыкин ничего не сказал. Он повесил голову и удалился из укома.

Раз и навсегда.

НОВЫЙ СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КНИГИ

Книгоспилка (книжный союз) в Харькове продала на обертку 182 пуда 6 ф. книг, изданных Наркомземом для распространения на селе.

Кроме того, по 4 рубля за пуд продавали лавочники издания союза украинских писателей «Плуг».

Рабкор

В книжном складе не было ни одного покупателя, и приказчики уныло стояли за прилавками. Звякнул звоночек, и появился гражданин с рыжей бородой веером. Он сказал:

— Драсьте...

— Чем могу служить? — обрадованно спросил его приказчик.

— Нам бы гражданина Лермонтова сочинение,— сказал гражданин, легонько икнув

— Полное собрание прикажете?

Гражданин подумал и ответил:

— Полное. Пудиков на пятнадцать — двадцать.

У приказчика встали волосы дыбом.

— Помилте, оно и все-то весит фунтов пять, не более!

— Нам известно,— ответил гражданин,— постоянно его покупаем. Заверните экземплярчиков пятьдесят. Пущай ваши мальчики вынесут, у меня тут ломовик дожидается.

Приказчик брызнул по деревянной лестнице вверх и с самой крайней полки доложил почтительно:

— К сожалению, всего пять экземпляров осталось.

— Экая жалость,— огорчился покупатель.— Ну, давайте хучь пять. Тогда, милый человек, соорудите мне еще «Всемирную историю».

— Сколько экземпляров?— радостно спросил приказчик.

— Да отвесь полсотенки...

— Экземплярчиков?

— Пудиков.

Все приказчики вылезли из книжных нор, и сам заведующий подал покупателю стул. Приказчики забегали по лестницам, как матросы по реям.

— Вася! Полка 15-а. Скидай «Всемирную», всю как есть. Не прикажете ли в переплетах? Папка, тисненная золотом...

— Не требуется,— ответил покупатель.— Нам переплеты ни к чему. Нам главное, чтоб бумага была скверная.

Приказчики опять ошалели.

— Ежели скверная,— нашелся наконец один из них,— тогда могу предложить сочинения Пушкина и издание Наркомзема.

— Пушкина не потребуется,— ответил гражданин,— он с картинками, картинки твердые. А Наркомзема заверни пудов пять на пробу.

Через некоторое время полки опустели, и сам заведующий вежливо выписывал покупателю чек. Мальчики, кряхтя, выносили на улицу книжные пачки. Покупатель заплатил шуршащими белыми червонцами и сказал:

— До приятного свидания.

— Позвольте узнать,— почтительно спросил заведующий,— вы, вероятно, представитель крупного склада?

— Крупного,— ответил с достоинством покупатель,— селедками торгуем. Наше вам.

И удалился.

ПОВЕСТКА С ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ

Рабочий Влас Власович Власов получил из Вознесенского почтового отделения повестку на перевод. Влас развернул ее и стал читать вслух, потому что так Власу легче:

— Воз-не-сенское пе-о — по-что-ве-о — во-е. Почтовое. От-де — отделение из-ве-ща-а — ща. Извещает. Слышь, Катерина, извещает. Видно, брат деньги прислал. Что на ваше имя получен перевод на 15 рублей в день тезо-именитства... его импера-ра-ра-тор-ско-го...

Влас поперхнулся:

— величества...

Влас пугливо оглянулся и продолжал вычитывать шепотом:

— Государя?! Что такое? Ин-пи-ра-то-ра Ни-ко-лая Александровича.

Ошалевший Влас помолчал и от себя добавил:

— Крававава,— хоть этого слова в повестке и не было.— Выдача денег производится ежедневно, за исключением дву-двунадесятых праздников и дня рождения ее... императорского величества государыни императрицы Александры Федоровны. Здорово! — воскликнул Влас.— Вот так повесточка. Слышь, Катя, повестку прислали с государем императором!

— Все-то тебе мерещится,— ответила Катерина.

— Большая сласть твой император,— обиделся Влас,— что он мне мерещиться будет. Впрочем, тебе, как неграмотному человеку, доказательства ни к чему не ведут.

— Ну и уйди к грамотным,— ответила нежная супруга.

Влас ушел к грамотным в Вознесенское отделение, получил 15 рублей, затем засунул голову в дыру, обтянутую сеткой, и спросил:

— А по какой причине государя напечатали на повестке? Очень интересно осведомиться, товарищ?

Товарищ в образе женщины с круто завинченной волосяной фигой на голове и бирюзой на указательном пальце ответил так:

— Не задерживайте, товарищ, мне некогда с вами. Бланки старые, царского выпуска.

— Хорошенькое дело,— загудел Влас в дыру,— в советское время — и такое заблуждение...

— Вне очереди залез! — завыли в хвосте.— Каждому надо получать...

И Власа за штаны вытащили из окошка.

Всю дорогу Влас крутил головой и шептал:

— Государю императору. Чрезвычайно скверные слова!

А придя домой, вооружился огрызком химического карандаша и старым корешком багажной квитанции, на каковом написал в «Гудок» письмо:

«Эн-е — не мешало бы убрать причиндалы отжившего строя, напечатанные на обратной стороне повесток, которые угнетают и раздражают рабочий класс.

Влас».

СМУГЛЯВЫЙ МАТЕРЩИННИК

Распроклятый тот карась
Поносил меня вчерась
Да при всем честном собранье
Непечатной разной бранью!

Из «Конька-Горбунька»

Прекратите, товарищи, матерщину раз и навсегда. Это — позор-с!

Лозунг фельетониста

Ругаются у нас здорово, как известно, на станции Ново-Алексеевка Южных ж. д., но так обложить, как обложил трех безбилетных 24 сентября 1924 года по новому стилю старший агент охраны поезда № 31, еще никто не обкладывал в жизни человеческой!

Вся публика сбежала в ужасе, не говоря уже о женщинах, даже сторож удрал.

Я считаю это явление позорным на транспорте и написал стихи:

Сопровождая тридцать первый,
Охраны агент — парень смелый —
Трех безбилетных зацепил,
К ДС в контору потащил.
Все это так, но на перроне
Его *смуглявое* лицо
Заволокло вдруг тучей черной
И передернуло всего.

«Я... вашу мать, в кровь, в бога, в веру!!! —
Сей агент начал тут кричать,—
Я покажу вам для примеру,
Как зайцем ездить... вашу мать!!»
А женщин много. Вот беда!
И от стыда бежать... куда?!
«В кровь, боженят!! Я вас сгребу!!» —
Ревет наш агент, как в трубу.
О, агент! Выслушай совет:
Лови ты зайцев беспощадно,
Но не позорь ты белый свет
Своею бранию площадной!

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Записная книжка

15 числа.

В Одессе на каустической соде сделал 1000 червей. Сего числа прибыл в Москву. Поселяюсь. Хватит? Хи-хи! Я думаю...

16 числа.

У которого человека деньги есть, тот может легко иметь квартиру в Москве. Уже нашел. Правление сдает за 28 червей в месяц ослепительную комнату с гобеленом, телефоном и клозетом. Остальное в доме — рвань коричневая живет.

18 числа.

Контракт на год подписал. Переехал. Гобелен зеленый. Сегодня по двору шел, какие-то бабы смотрели, пальцами показывали на меня. Пущай покланяются. Председатель говорит: «Вы у нас единственный богатый человек». Хи-хи. Приятно. Что говорить, деньги — сила. Черви козыри!

19 числа.

Мебель купил — 80 червей.

Крова — 20.

Пружи матра — 15.

Расходов, черт ее возьми, комната эта требует.

20 числа.

Позвольте... Явился с окладистой бородой. Лицо неприятное. Сколько, спрашивает, за комнату платите? Вам какое дело? Оказывается, фининспектор!..

21 числа.

Да что, он взбесился?!. Квартира, говорит, $^1/_5$ часть бюджета, стало быть, говорит, зарабатываете вы в месяц 28×5=140 червей. Стало быть, в год 1680 червей!! Стало быть, налогу с вас... Считал, считал и насчитал 120 червей!

Э, не... платить не буду!

28 числа.

Заплатил, будь он проклят, с пеней.

29 числа.

Лопнул водопровод в доме. Обложили пропорционально квартирной плате. С меня двадцать червей.

31 числа.

Ремонт лестниц. С меня пропорционально — 18 червей.

Воздушн. Дети — 1 червь.

Флот беспризорн.— 1 червь.

(Вы, кричат, «богатый».)

Доброхим... Доброзем...

На туберкулез пролетариям дал пятнадцать копеек.

3 числа.

Двор асфальтом заливали, со всех по целковому, с меня 5 червей. Да ну вас к черту! Хотел бросить комнату... нельзя, неустойка 500 червей.

9 числа.

Уму непостижимая вещь... Весь дом на мой счет содержится. Стекла вставили всюду, детскую площадку устроили, на председателе правления новые брюки (ему жалование положили).

10 числа.

Явился фин и обложил дополнительно, как «исключительно богатого человека». Единовременно 500 червей. Я даже завизжал. Ничего не понимаю. Со двора асфальтом пахнет. Кричу: «Я разорился»,— а он говорит: «Попробуйте не заплатить».

15 числа.

Описали мебель, гобелен, телефон, чемоданы, девять костюмов, кой-что из золота.

Еду в Одессу содой работать.

ВОЙНА ВОДЫ С ЖЕЛЕЗОМ

Часть 1-я

КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ?

Это не водники, а грехо-водники! Честное слово. Замечена была такая история: как только нужно ехать нашему железнодорожнику куда-нибудь по воде, дают ему место или на корме, или в люке, или в трюме, и едет транспортник как поросенок.

Долго наше начальство терпело надругательства над личностями железнодорожного транспорта, но наконец его терпение лопнуло.

Один начальник вызвал к себе другого начальника рангом поменьше и сказал ему такое:

— Что ж они, издеваются, что ли?

— Так точно.

— Они думают, вероятно, что транспортники какие-нибудь ослы, которые в трюмах будут ездить?

— Надо полагать-с.

— А вот я им по-по-полагаю! Они у меня поездиют... Напишите-ка, Алексей Алексеевич, бумажку.

— Слушаю.

И получена была такая бумажка:

«Из Саратова. Всем ДС, ДН, ДЧ, СЧ, СМ, КР, С, К, Д. Ввиду того, что управление госпароходством предоставляет проезд железнодорожникам в вышеупомянутых местах, с получением сего предлагается работникам водного транспорта, едущим по разовым билетам, предоставлять место только в поездах с теплушками, отнюдь не допуская их в вагоны 3-го класса». Следуют подписи.

Часть 2-я

БРАТСКИЙ ПРИЕМ

Водник явился в соответствующее железнодорожное место получать билет.

— Вам что? — спросило его железнодорожное лицо и хмуро глянуло на якоря на пуговицах.

— Мне бы билетик до Тамбова,— ответил мореплаватель.

Железнодорожное лицо хищно обрадовалось.

— Ах, вам билетик? Очень приятно! Присаживайтесь. Родственников желаете, наверно, навестить? Соскучились... Хе-хе. Кульер, стакан чаю гражданину воднику. Ну, как у вас в Тихих океанах, все ли благополучно?

— Покорнейше благодарим,— ответил потомок Христофора Колумба,— мы больше в Самару плаваем. Мне бы в скором поезде, если можно...

— Как же, как же, обязательно! У меня, правда, циркулярик есть, чтобы вам, морским волкам, только в теплушках места давать, но для такого симпатичного представителя стихии, как вы, можно сделать исключение. Вы ведь привыкли там, на ваших броненосцах, в кают-компаниях всяких, хи-хи. Кстати, моя теща на днях в Самару ездила, так ее, божью старушку, в трюм засадили на мешки. Так и гнила дама до самой Самары.

— Мы этому не причинны.

— Ну конечно, конечно. Так вот получите, пожалуйста. Замечательное местечко. Сидеть можете, курящее, просторно и отдельно. Кульер, проводи господина адмирала!

Водник прочитал резолюцию, покачнулся, глаза вытаращил и сказал:

— Большое мирси!

Было написано:

«Выдать ему одно место в сартире второго класса до Тамбова».

Часть 3-я

ДРАМА В ВАГОНЕ

В коридоре мягкого вагона скорого поезда стоял хвост с полотенцами и зубными щетками, взъерошенный и злобный.

— Ничего не понимаю,— бормотал передовой гражданин, переминаясь с ноги на ногу.— С самого Саратова залез какой-то фрукт и не выходит!

— Это наглость! — крикнула какая-то дама в хвосте,— я полчаса жду.

— Мы, сударыня, три часа уже ждем,— отозвался печальный голос впереди,— и то молчок. А терпения нету...

— Я думаю, что он самоубийством покончил,— встревожился чей-то голос.— Такие вещи бывают; двери надо ломать.

— Кондуктор! Кондуктор!

— Постойте-ка, постойте, тише...

Хвост стих. И сквозь стук колес донеслось глухое пение.

По морям, по морям...
Нынче здесь, завтра там...—

пел приятный глухой бас.

Хвост взвыл сразу:

— Это неслыханное нахальство! Он поет, оказывается!

— Кондуктор!!

Хвост разломился и поднял страшный грохот в лакированную дверь. Та распахнулась, и в накуренном узком пространстве предстал симпатичный человек с якорями и папиросой.

— Вам чего?—спросил он сконфуженно.

— Как «чего»? Как «чего»?!

— Как это так «чего»?!

— Вы долго собираетесь сидеть здесь?—ядовито спросил передовой, размахивая полотенцем.

— До Тамбова,—смущенно ответил пассажир.

— Это сумасшедший!—завизжали сзади женские голоса.

— Выплевывайтесь вон!!

Пассажир побагровел и растерянно забормотал:

— Да нельзя мне выплюнуться, я бы и рад. Обштрахуют, у меня билет сюды.

— Кондуктор, кондуктор, кондуктор...

ЭПИЛОГ

В Аткарске писали протокол, а рабкор «Гудка», иронически усмехаясь, за соседним столом писал корреспонденцию в «Гудок» и закончил ее словами:

«Когда же кончится братоубийственная война воды с железом?»

РАССКАЗ РАБКОРА ПРО ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ

Приблизились роковые 17 часов, и стеклись в бахмачские казармы рабочие слушать, как местком будет давать отчет в своей работе.

Ровно в четверть 8-го председатель звонким голосом предложил занять места, а засим вышел председатель

месткома и, не волнуясь, вольно и плавно, как соловей, начал свой доклад:

— Служащих у нас в сентябре 406 человек, причем из них не членов союза — 6. Итого членов союза — 400 человек. «Гудок» выписывают все. Четыреста раз по 1 «Гудку», итого 400 «Гудков». Задание выполнено на 100%, итого сто. Закуплен духовой оркестр, причем часть денег за него заплачена...

— Итого? — спросили из заднего ряда.

— Итого надо изыскать остальные деньги, чтобы их заплатить,— ответил председатель и продолжал:

— Стенная газета выходит иногда несвоевременно по причине пишущей машинки.

— А чем она мешает? — спросили.

— Ее нету,— пояснил председатель и продолжал:

— А должность КХУ по Бахмачу совершенно лишняя, и его надо сократить. Так же как и брандмейстерова должность.

— Прошу слова! — закричал вдруг кто-то, и все, поднявшись, увидели, что кричал КХУ.

— Нате вам слово,— сказал председатель.

КХУ вышел перед собранием, и тут все увидели, что он волнуется.

— Это я лишний? — спросил КХУ и продолжал: — большое спасибо вам за такое выражение по моему адресу. Мерси. Я 24 часа сижу, в своих отчетах копаюсь... и при этом я — лишний. Я работаю, как какой-нибудь вол, местком этого ничего не замечает, а потом заявляет, что я лишний! Я, может быть, одних бумажек миллион написал! Я лишний?..

— Правильно... лишний...— загудело собрание.

— Совершенно лишний,— подтвердил председатель.

— Неправда, я не лишний! — крикнул КХУ.

— Ну, лишаю вас слова,— сказал председатель.

— Я не лишний! — крикнул раздраженно КХУ.

Тут председатель позвонил на него колокольчиком, после чего КХУ смирился.

— Прошу слова,— раздался голос, и все увидели брандмейстера.— Я тоже лишний? — спросил.

— Да,— твердо ответил ему председатель.

— Позвольте узнать, чем вы руководствовались, возбуждая вопрос о моем сокращении? — спросил брандмейстер.

— Гражданской совестью и защитой хозяйственной

бережливости,— твердо ответил ему председатель и устремил взор на портрет Ильича.

— Ага,— ответил брандмейстер и никакой бучи не поднимал. Он — мужественный человек благодаря пожарам.

После этого председатель рассказал про кассу взаимопомощи, что в ней свыше тысячи рублей, но и того маловато, потому что все деньги на руках, и собрание закрылось. Вот и все наши бахмачские дела.

ГИБЕЛЬ ШУРКИ-УПОЛНОМОЧЕННОГО

(Дословный рассказ рабкора)

Шурку Н — нашего помощника начальника станции — знаете? Впрочем, кто же не знает эту знаменитую личность двадцатого столетия!

Когда Шурку спрашивали, от станка ли у него папа, он отвечал, что его папа был станционным сторожем.

Поэтому Шурка пошел по транспортной линии с 12 лет своей юной жизни и после десятилетнего стажа добился высокого звания профуполномоченного.

Вот на этом звании он и пропал во цвете лет. Его спрашивают:

— Что будешь делать в качестве уполномоченного, Шурка?

А он и говорит:

— Я предприниму, братцы, энергичную смычку с деревней.

И предпринял смычку с деревней, и начал ездить в деревню и пить в ней самогон. А самогон в деревне очень хороший — хлебный.

А потом, неизвестно где и как, добыл себе наган. Ходит пьяный с наганом по селу и размахивает. А потом так приучился во время смычки к самогону, что начал выпивать по 17 бутылок в день.

Его мать-старушка за ним ходит, плачет, а Шурка пьет да пьет. А потом глядь-поглядь, и начал задерживать деньги рабочих, получаемые им из страховой кассы по доверенности.

Долго ли, коротко ли, начали жаловаться в союз, где в один прекрасный день рассмотрели Шуркины дела и

выперли его из профуполномоченных. Вот тебе и получилась размычка вместо смычки!

Тут и кончается рассказ.

Рабкор.

Пожалуйста, напечатайте этот мой рассказ, и мамаша Шуркина будет очень рада, потому что он до сих пор еще пьянствует. И на днях у него произвели обыск, но нагана почему-то не нашли, куда-то его он задевал...

Письмо рабкора списал *М. Булгаков.*

Примечание Булгакова:

Дорогой Шура! Видите, какой про вас напечатали рассказ. Сидя здесь, в Москве, находясь вдалеке от вас и не зная вашего адреса, даю вам печатный совет: исправьтесь, пока не поздно, а то иначе вас высадят и с той низшей должности, на которую вас перевели.

ЗВУКИ ПОЛЬКИ НЕЗЕМНОЙ

Нет, право... после каждого бала как будто грех какой сделал. И вспоминать о нем не хочется.

Из Гоголя

П-пай-дем, пппай-дем...
Ангел милый,
П-польку танцевать со мной!!!

— Сс...с...— свистала флейта.

— Слышу, слышу,— пели в буфете.

— По-польки, п-польки, п-польки,— бухали трубы в оркестре.

Звуки польки неземной!!!

Здание льговского нардома тряслось. Лампочки мигали в тумане, и совершенно зеленые барышни и багровые взмыленные кавалеры неслись вихрем. Ветром мело окурки, и семечковая шелуха хрустела под ногами, как вши.

Пай-дем, па-а-а-й-дем!!

— Ангел милый,— шептал барышне осатаневший телеграфист, улетая с нею в небо.

— Польку! А гош[1], мадам! — выл дирижер, вертя чужую жену.— Кавалеры похищают дам!

С него капало и брызгало. Воротничок раскис.

В зале, как на шабаше, металась нечистая сила.

— На мозоль, на мозоль, черти! — бормотал нетанцующий, пробираясь в буфет.

— Музыка, играй № 5! — кричал угасающим голосом из буфета человек, похожий на утопленника.

— Вася,— плакал второй, впиваясь в борты его тужурки,— Вася! Пролетариев я не замечаю! Куды ж пролетарии-то делись?

— К-какие тебе еще пролетарии? Музыка, урезывай польку!

— Висели пролетарии на стене и пропали...

— Где?

— А вон... вон.

— Залепили, голубчиков! Залепили. Вишь, плакат на них навесили. Па-ку... па-ку... покупайте серпантин и соединяйтесь...

— Горько мне! Страдаю я...

— А-ах, как я страдаю! — зазывал шепотом телеграфист, пьянея от духов.— И томлюсь душой!

Польку я желаю... танцевать с тобой!!

— Кавалеры наступают на дам, и наоборот! А друат[2],— ревет дирижер.

В буфете плыл туман.

— По баночке, граждане,— приглашал буфетный распорядитель с лакированным лицом, разливая по стаканам загадочную розовую жидкость,— в пользу библиотеки! Иван Степаныч, поддержи, умоляю, гранит науки!

— Я ситро не обожаю...

— Чудак ты, какое ситро! Ты глотни, а потом и говори.

— Го-го-го... Самогон!

— Ну, то-то!

— И мне просю бокальчик.

— За здоровье премированного красавца бала Ферапонта Ивановича Щукина!!

---

[1] Налево (от *фр.* à gauche).

[2] Направо (от *фр.* à droite).

— Счастливец, коробку пудры за красоту выиграл!

— Протестую против. Кривоносому несправедливо выдали.

— Полегче. За такие слова, знаешь...

— Не ссорьтесь, граждане!

Блестящие лица с мороженными, как у судаков, глазами, осаждали стойку. Сизый дым распухал клочьями, в глазах двоилось.

— Позвольте прикурить.

— Пожалст...

— Почему три спички подаете?

— Чудак, тебе мерещится!

— Об которую ж зажигать?

— Целься на среднюю, вернее будет.

В зале бушевало. Рушились потолки и полы. Старые стены ходили ходуном. Стекла в окнах бряцали:

— Дзинь... дзинь... дзинь!!.

— Польки — дзинь! П-польки — дзинь! — рявкали трубы.

Звуки польки неземной!!!

БАНАН И СИДАРАФ

— Какое правление в Турции?
— Э... э... турецкое!

«Экзамен на чин» —
рассказ А. П. Чехова

I

Дело происходило в прошлом году. 15 человек на одной из станций Ю.-В. ж. д. закончили 2-месячный курс школы ликвидации безграмотности и явились на экзамен.

— Нуте-с, начнем,— сказал главный экзаменатор и, ткнув пальцем в газету, добавил: — Это что написано?

Вопрошаемый шмыгнул носом, бойко шнырнул глазом по крупным знакомым буквам, подчеркнутыми жирной чертой, полюбовался на рисунок художника Аксельрода и ответил хитро и весело:

— «Гудок»!

— Здорово,— ответил радостно экзаменатор и, указывая на начало статьи, напечатанной средним шрифтом, и хитро прищурив глазки, спросил:

— А это?

На лице у экзаменующегося ясно напечатались средним шрифтом два слова: «Это хуже...»

Пот выступил у него на лбу, и он начал:

— Бе-а-ба, не-а-на. Так что банан!

— Э... Нет, это не банан,— опечалился экзаменатор,— а Багдад. Ну, впрочем, за 2 месяца лучше требовать и нельзя. Удовлетворительно! Следующего даешь. Писать умеешь?

— Как вам сказать,— бойко ответил второй,— в ведомости только умею, а без ведомости не могу.

— Как это так «в ведомости»?

— На жалованье, фамелие.

— Угу... Ну, хорошо. Годится. Следующий! М... хм... Что такое МОПР?

Спрашиваемый замялся.

— Говори, не бойся, друг. Ну...

— МОПР?.. Гм... председатель.

Экзаменаторы позеленели.

— Чего председатель?

— Забыл,— ответил вопрошаемый.

Главного экзаменатора хватил паралич, и следующие вопросы задавал второй экзаменатор:

— А Луначарский?

Экзаменующийся поглядел в потолок и ответил:

— Луна...чар...ский? Кхе... Который в Москве...

— Что ж он там делает?

— Бог его знает,— простодушно ответил экзаменующийся.

— Ну, иди, иди, голубчик,— в ужасе забормотал экзаменатор,— ставлю четыре с минусом.

II

Прошел год. И окончившие забыли все, чему выучились. И про Луначарского, и про банан, и про Багдад, и даже фамилию разучились писать в ведомости. Помнили только одно слово «Гудок», и то потому, что всем прекрасно, даже неграмотным, была знакома виньетка и крупные заголовочные буквы, каждый день приезжающие в местком из Москвы.

III

На эту тему разговорились как-то раз рабкор с профуполномоченным. Рабкор ужасался.

— Ведь это же чудовищно, товарищ,— говорил,— да разве можно так учить людей? Ведь это же насмешка! Пер человек какую-то околесину на экзамене, в ведомости пишет какое-то слово: «Сидараф», корову через ять, и ему выдают удостоверение, что он грамотный!

Профуполномоченный растерялся и опечалился.

— Так-то оно так... Да ведь что ж делать-то?

— Как что делать? — возмутился рабкор.— Переучивать их надо заново!

— Да ведь что за два месяца сделаешь? — спросил профуполномоченный.

— Значит, не два, а четыре нужно учить, или шесть, или сколько там нужно. Нельзя же, в самом деле, выпускать людей и морочить им головы, уверяя, что он грамотный, когда он на самом деле как был безграмотный, так и остался! Разве я не верно говорю?

— Верно,— слезливо ответил профуполномоченный и скис. Крыть ему было нечем.

«РЕВИЗОР» С ВЫШИБАНИЕМ

Новая постановка

> У нас в клубе член правления за шиворот ухватил члена клуба и выбросил его из фойе.
>
> *Письмо рабкора с одной из станций Донецкой дор.*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Городничий.
Земляника — попечитель богоугодных заведений.
Ляпкин-Тяпкин — судья.
Хлопов — смотритель училищ.
Член правления клуба.
Член клуба.
Суфлер.
Публика.
Голоса.

Сцена представляет клуб при станции N Донецких железных дорог. Занавес закрыт.

Публика. Вре-мя. Времечко!.. *(Топает ногами, гаснет свет, за сценой слышны глухие голоса безбилетных, сражающихся с контролем. Занавес открывается. На освещенной сцене комната в доме городничего.)*

Голос *(с галереи)*. Ти-ша!

Городничий. Я пригласил вас, господа...

Суфлер *(из будки сиплым шепотом)*. С тем, чтоб сообщить вам пренеприятное известие.

Городничий. С тем, чтоб сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор!

Ляпкин-Тяпкин. Как ревизор?

Земляника. Как ревизор?

Суфлер. Мур-мур-мур...

Городничий. Ревизор из Петербурга инкогнито и еще с секретным предписанием.

Ляпкин-Тяпкин. Вот те на!

Земляника. Вот не было заботы, так подай!

Хлопов. Господи боже, еще и с секретным предписанием.

Городничий. Я как будто предчувство... (За сценой страшный гвалт. Дверь на сцену распахивается, и вылетает член клуба. Он во френче с разорванным воротом. Волосы его взъерошены.)

Член клуба. Вы не имеете права пхаться! Я член клуба. (На сцене смятение.)

Публика. Ах!

Суфлер *(змеиным шепотом)*. Выплюнься со сцены. Что ты, сдурел?

Городничий *(в остолбенении)*. Что вы, товарищ, с ума сошли?

Публика. Ги-ги-ги-ги...

Городничий *(хочет продолжать роль)*. Сегодня мне всю ночь снились... Выкинься со сцены, Христом-богом тебя прошу... Какие-то две необыкновенные крысы... В дверь уходи, в дверь, говорю!.. Ну, сукин сын, погубил спектакль...

Земляника *(шепотом)*. В дверь налево... В декорацию лезешь, сволочь.

Член клуба мечется по сцене, не находя выхода.

Публика *(постепенно веселея)*. Бис, Горюшкин! Браво, френч!

Городничий *(теряясь)*. Право, этаких я никогда не видел... Вот мерзавец!

Суфлер *(рычит)*. Черные, неестественной величины... Пошел ты к чертовой матери!.. Хоть от будки отойди...

Публика. Га-га-га-га-га...

Городничий. Я прочту вам письмо... Вот что он пишет. *(За сценой шум и голос члена правления:* «Где этот негодяй?» *Дверь раскрывается, и появляется член правления на сцене. Он в пиджаке и в красном галстуке.)*

Член правления *(грозно)*. Ты тут, каналья?

Публика *(в восторге)*. Браво, Хватаев!.. *(Слышен пронзительный свист с галереи.)* Бей его!!!

Член клуба. Вы не имеете права. Я — член!

Член правления. Я те покажу, какой ты член. Я тебе покажу, как без билета лазить!!!

Земляника. Товарищ Хватаев! Вы не имеете права применять физическую силу при советской власти.

Городничий. Я прекращаю спектакль. *(Снимает баки и парик.)*

Голос *(с галереи, в восхищении)*. Ванька, он молодой, глянь! *(Свист.)*

Член правления *(в экстазе)*. Я те покажу!!! *(Хватает за шиворот члена клуба, взмахивает им, как тряпкой, и швыряет им в публику.)*

Член клуба. Караул!!! *(С глухим воплем падает в оркестр.)*

Городничий. Пахом, давай занавес!

Земляника. Занавес! Занавес!

Публика. Милицию!!! Милицию!!!

Занавес закрывается.

ПО ТЕЛЕФОНУ

Пьеса

> У нас, на ст. Щелково Северных, занимаются частными разговорами по служебному телефону...
>
> *Из письма рабкора*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГОЛОСА:

Голос станционного чина.
Голос барышни.
Голос горничной.
Голос чужой жены.
Загробный голос.
Голос мужа.

На станции Индивидуальная в 30-ти верстах от Москвы в углу висит телефон и скучает. Блестит трубка, а над нею надпись: «Частные разговоры по слу. телефо. воспреща». Станционный чин подходит к трубке и снимает ее.

Голос чина: Дайте город... Мерси...

Голос барышни: 2-15...

Голос чина: Пожалста... 05-07-08... Да... Мерси... Это кто?

Голос горничной: Это я, Феклуша.

Голос чина *(шепотом):* Что, Пал Федорыч дома?

Голос горничной: Нет, они в тресте.

Голос чина: Тогда попросите Марию Николавну...

Голос чужой жены: Я слушаю.

Голос чина: Здрасьте, Мария Николавна.

Голос чужой жены: Ах, это вы, Илюша!.. А я вас не узнала.

Голос чина *(страстно и печально):* Вот как, уже не узнаете! Нехорошо! Так недавно, и уже забыт. Один... в глуши... А вы там, в столице... *(Вздыхает.)*

Голос чужой жены *(кокетливо):* Отчего вы так вздыхаете?

Голос чина: Так...

Голос чужой жены: Откуда вы звоните, Илюша?

Голос чина: От себя, со станции.

Голос чужой жены: По служебному?

Голос чина: Конечно, врэман[1]... Мари...

Голос чужой жены: Ну?..

Голос чина: Когда же вы приедете?

Голос чужой жены: Сегодня не могу... *(Шепотом.)* Муж остался.

Голос чина: Черт!.. А как же командировка?

Голос чужой жены *(печально):* Отложили...

Голос чина: Чер!.. Мари...

Голос чужой жены: Ну?

Голос чина: Мари, ты помнишь?..

Голос чужой жены: Не смейте мне говорить «ты»! Гадкий!

Голос чина: Я гадкий? Вот как, Мари!.. Я несчастный, а не гадкий. Мари. Я так скучаю. Тут снег, сосны, одиночество... И вот я один... Со мною лишь верный мой товарищ браунинг... Эх!..

Голос чужой жены: Илюша, как вам не стыдно так малодушничать!

Загробный голос: Дайте Индивидуальную.

Голос барышни: Пи-и!.. Занято...

Голос чина: Мари, ты любишь меня?

Голос чужой жены: Отстаньте!

Загробный голос: Дайте Индивидуальную...

Голос барышни: Пи-и-и!.. Занято...

Голос чина: Мари! Ответь мне, ты любишь меня?

Загробный голос: Дайте Индивидуальную...

Барышня: Пи-и-и!.. Занято...

Загробный голос: Что за черт! Кто там прицепился к станции? У меня важная телефонограмма!

Голос чина: Я решился, Мари, больше я не могу тянуть. Ответь мне, или пуля из моего браунинга прекратит мои мучения навеки...

Голос горничной *(испуганно):* Барыня, барыня, отойдите от телефона... Барин вернулся...

Голос чужой жены *(не слушая):* Илюша, вы не сделаете этого!

Голос чина: Скажи!

Загробный голос: Дайте Индивидуальную. Черт бы их побрал!

Голос чужой жены: Ну, хорошо, люблю...

---

[1] конечно (от *фр.* vraiment).

Голос мужа: Ну, наконец-то я тебя поймал! Так ты любишь, мерзавка? Отвечай! Кого ты любишь? Кого? Кого? Гадина! *(Слышно, как хрустят пальцы.)*

Голос чужой жены: Жорж, опомнись! Я разговаривала с Катей!

Голос мужа: Знаю я эту Катю! Эта Катя с усами. Это Илюшка с Индивидуальной!!

Голос чужой жены *(в ужасе):* Неправда!

Голос мужа *(вырывая трубку):* Вы слушаете?! Если еще раз...

Загробный голос: Дайте Индивидуальную... У меня телефонограмма!

Голос барышни *(устало):* Ну, хорошо. Соединяю.

Загробный голос: Слава те господи! Передайте...

Голос мужа: Ах, вот как, передать?.. Я вам сейчас передам. Если... Если вы еще раз осмелитесь звонить по моему номеру... *(задыхаясь)* я вам всю морду разобью! Мерзавец...

Загробный голос *(онемел).*

Голос мужа: Станционный негодяй!

Загробный голос *(опомнился):* Шта?! Как вы смеете?! Я начальник отделения!

Голос мужа: Ты сволочь, а не начальник отделения.

Загробный голос *(визгливо)*: Шта?! Да вы с ума сошли! Барышня!.. Барышня!!

Голос барышни *(в отчаянии):* Повесьте трубку. Я вас не туда присоединила!

Загробный голос: Кто говорит?! Я вас под суд отдам! Дать мне сюда начальника станции!

Голос мужа *(беснуясь):* Мал-чать!!

Голос барышни: Господисусе! Повесьте трубку. *(С треском разъединяет.)*

Молчание.

ЦЕЛИТЕЛЬ

> 12 декабря ремонтный рабочий Верейцовской ветки Западных тов. Баяшко, будучи болен ногами и зная, что у его больного соседа находится прибывший из Уборок фельдшер гр. К., попросил осмотреть и его, но фельдшер не осмотрел т. Баяшко, а сказал, что его ноги надо поотрубить, и уехал, не оказав никакой помощи.
>
> *Минус*

Вошел, тесемки на халате завязал и крикнул:

— По очереди!

В первую очередь попал гражданин с палкой. Прыгал, как воробей, поджав одну ногу.

— Что, брат, прикрутило?

— Батюшка фельдшер! — запел гражданин.

— Спускай штаны. Ба-ба-ба...

— Батюшка, не пугай!

— Пугать нам нечего. Мы не для того приставлены. Приставлены мы лечить вас, сукиных сынов, на транспорте. Гангрена коленного сустава с поражением центральной нервной системы.

— Батюшка!!

— Я сорок лет батюшка. Надевай штаны.

— Батюшка, что ж с ногой-то будет?

— Ничего особенного. Следующий! Отгниет по колено — и шабаш.

— Бат...

— Что ты расквакался: «батюшка, батюшка». Какой я тебе батюшка? Капли тебе выпишу. Когда нога отвалится, приходи. Я тебе удостоверение напишу. Соцстрах будет тебе за ногу платить. Тебе еще выгоднее. А тебе что?

— Не вижу, красавец, ничего не вижу. Как вечером — дверей не найду.

— Ты, между прочим, не крестись, старушка. Тут тебе не церковь. Трахома у тебя, бабушка. С катарактой первой степени по статье А.

— Красавчик ты наш!

— Я сорок лет красавчик. Глаза вытекут, будешь знать.

— Краса!!

— Капли выпишу. Когда совсем ни черта видеть не будут, приходи. Бумажку напишу. Соцстрах тебе за каждый глаз по червю будет платить. Тут не реви, старушка, в соцстрахе реветь будешь. А вам что?

— У мальчишки морда осыпалась, гражданин лекпом.

— Ага. Так. Давай его сюда. Ты не реви. Тебя женить пора, а ты ревешь. Эге-ге-ге.

— Гражданин лекпом. Не терзайте материнское сердце!

— Я не касаюсь вашего сердца. Ваше сердце при вас и останется. Водяной рак щеки у вашего потомка.

— Господи, что ж теперь будет?

— Гм... Известно что: прободение щеки, и вся физиономия набок. Помучается с месяц — и крышка. Вы тогда приходите, я вам бумажку напишу. А вам что?

— На лестницу не могу взойти. Задыхаюсь.

— У вас порок пятого клапана.

— Это что ж такое значит?

— Дыра в сердце.

— Ловко!

— Лучше трудно.

— Завещание-то написать успею?

— Ежели бегом добежите.

— Мерси, несусь.

— Неситесь. Всего лучшего. Следующий! Больше нету! Ну, и ладно. Отзвонил — и с колокольни долой!

АПТЕКА

> Аптека НКПС на Басманной открыта только по будням, а в праздники заперта. А если кто заболеет, как же тогда быть?
>
> *Из письма рабкора*

«Снег. На углу стоит аптека».

— «Любовь сушит человека...» — напевал приятным голосом человек в сером, стоя у крыльца. В окнах по бокам крыльца красовались два сияющих шара — красный и синий — и картинка, изображающая бутылку боржома.

Очень бледный гражданин в черном пальто выскочил из-за угла, кинулся на крыльцо и уперся в висячий замок.

— Вы не бейтесь,— сказал ему серый,— заперто.

— Как это заперто? Ох, голубчик,— бледнея, заговорил черный,— я тебя умоляю. Ох, взяло, говорю тебе, взяло. Наискосок.

— Аль живот? — участливо спросил.

— Живот... Голубчик родной,— тоскливо забормотал гражданин,— вот рецептик... По пять капель, ох, опию... Три раза в день!!! Ой, пропаду... Опять взяло... По кап... пятель... Пузырь с водячей горой... Я вас умоляю, товарищ!!!

— Что вы меня умоляете, я караулю. Меня умолять нечего.

— О-го-го-го-го...— неожиданно закричал гражданин, звонко и широко открывая рот. Прохожие шарахнулись от него.— Ух, отпустило,— внезапно стихая, добавил гражданин и вытер пот со лба.— По какому праву заперто?

— Да день-то какой сегодня?

— Вос-кре... Воскресенье. Ох, голубчики родные, воскресенье, воскресеньице, милые.

— Завтра, в понедельник, приходи... Впрочем, нет, завтра не приходи... Тоже праздник... После Нового года приходи.

— Я в старом помру, ох-ох-ох, о-о-о!

— Иди в другую аптеку, что ж поделать!

— Где ж другая-то здесь?

— Я не знаю, голубчик, у милиционера спроси.

Черный сорвался с крыльца, завился винтом, несколько раз вскрикнул задушенно и полетел наискосок через улицу к милиционеру.

— Живот болит, товарищ милиционер,— кричал он, размахивая рецептом,— умоляю вас...

Милиционер вынул изо рта папиросу и, взмахивая рукой, стал объяснять гражданину, куда бежать...

Тот потоптался еще секунд пять и исчез.

ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО

> На ст. Бобринская Юго-Зап. есть кооперативный ларек. Кого бы ни посадили в него работать, обязательно через два месяца растрата и суд.
>
> *Из письма рабкора*

1

Гражданин Талдыкин сидел в кругу приятелей и слушал. Гражданина Талдыкина лицо сияло, приятели чокались с Талдыкиным.

— Поздравляем тебя, Талдыкин. Покажи себя в должности заведующего ларьком.

2

Через два месяца гр. Талдыкин сидел на скамье подсудимых и, тихо рыдая, слушал речь члена коллегии защитников, стоящего сзади него, с пальцами, заложенными в проймы жилета.

— Товарищи судьи! — завывал член коллегии.— Прежде чем говорить о том, растратил ли мой подзащитный 840 р. 15 коп. золотом, зададим себе вопрос — существовали ли эти 840 р. 15 коп. золотом вообще на свете? Внимательное рассмотрение шнуровой книги № 15 показывает, что этих денег нет. Спрашивается, что ж тогда растратил гр. Талдыкин? Ничего он не тратил, ибо каждому здравомыслящему человеку понятно, что нельзя растратить того, чего нет! С другой стороны, шнуровая книга № 16 показывает, что 840 р. 15 к. золотом существуют, но раз так, раз они налицо, значит, и растраты нет!..

Судьи, совершенно ошеломленные, слушали защитника, и с них капал пот.

А с Талдыкина слезы.

3

Судья стоял и читал:

— «...но принимая во внимание... условным в течение трех лет».

Слезы высыхали на лице Талдыкина.

4

Члены правления ТПО сидели и говорили:

— Вот свинья Талдыкин! Нужно другого назначить. Видно, Бинтову придется поработать в ларьке. Бинтов, получай назначение.

5

Гр. Бинтов сидел на скамье подсудимых и слушал защитника.

А защитник пел:

— Я утверждаю, что, во-первых, этих 950 р. 23 к. вовсе не существует; во-вторых, доказываю, что мой подзащитный Бинтов их не брал; а в-третьих, что он их в целости вернул!

— «...принимая во внимание,— мрачно говорил судья и покачивал головой по адресу Бинтова,— считать условным».

6

В ТПО:

— К чертям этого Бинтова, назначим Персика.

7

Персик стоял и, прижимая шапку к животу, говорил последнее слово:

— Я больше никогда не буду, граждане судьи...

8

За Персиком сел Шумихин, за Шумихиным — Козлодоев.

9

В ТПО сидели и говорили:

— Довольно. Назначить ударную тройку в составе 15 товарищей для расследования, что это за такой пакостный ларек! Кого ни посадишь, через два месяца — нарсуд! Так продолжаться не может. На кого ни посмотришь — светлая личность, хороший честный гражданин, а как сядет за прилавок, моментально мордой в грязь. Ударная тройка, поезжай!

10

Ударная тройка села и поехала.
Результаты расследования нам еще неизвестны.

КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ

На ст. Валдай рабочий службы пути остался без продуктов, потому что в вагоне-лавке не выдали продуктов без круглой печати. А пока жена рабочего искала печать, лавка уехала.

Рабкор

Глава 1-я

Вагон-лавка приехала на некую станцию.

Глава 2-я

Жена рабочего службы пути Ферапонта Родионова, законная Секлетея, явилась в лавку с заверенной на пять рублей книжкой.

Глава 3-я

Приказчик порхал как бабочка, вешал, мерил, сыпал, резал, заворачивал, упаковывал. Отвесив, отмерив, отсыпав, отрезав, завернув и упаковав, взял книжку Секлетеи, поглядел в нее, распаковал, развернул, обратно ссыпал и сказал:

Глава 4-я

— Не могу-с!

Глава 5-я

— Почему?—спросила пораженная Секлетея.

Глава 6-я

— Круглой печати у вас нету.

Глава 7-я

— Где ж они потеряли свои бесстыжие глаза? — спросила Секлетея, неизвестно на кого намекая — не то на помощника начальника участка, подписывавшего книжку, не то на артельного старосту-ротозея.

Глава 8-я

— Дуй, тетка, в местком или к другому помощнику начальника участка или начальнику станции,— посоветовал приказчик.

Глава 9-я

Тетка дунула, все время ворча что-то про сукиных сынов...

Глава 10-я

— Приложите мне круглую печать, да поскорее,— попросила она в месткоме.

— С удовольствием бы, тетка, и печать у нас есть, да не имеем права,— ответили ей местком и начальник станции.

Глава 11-я

— А я имею право, я бы и приложил тебе, тетка, но у меня печати нет,— ответил ей другой помощник начальника участка.

Глава 12-я

Тетка взвыла и кинулась в лавку.

Глава 13-я

А та взяла и уехала.

Глава 14-я

А контора, составляя списки на жалованье, вычла с Ферапонта Родионова пять рублей за якобы взятые продукты.

Глава 15-я

А Ферапонт Родионов ругался скверными словами, узнав про это. И был совершенно прав.

Глава последняя

В общем и целом, безобразники и волокитчики сидят на некоей станции и в ее окрестностях.

ГЕНИАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Секретарь учка, присутствовавший на общем собрании членов союза на ст. Переездная Донецких железных дорог, ухитрился заранее не только заготовить резолюции для собрания, но даже записать его протокол.

Все были поражены такой гениальностью секретаря.

Рабкор Гвоздъ

1

Секретарь учка сидел в зале вокзала и грыз перо. Перед секретарем лежал большой лист бумаги, разделенный продольной чертой. На левой стороне было написано: «Слушали», на правой: «Постановили». Секретарь вдохновенно глядел в потолок и бормотал:

— Итак, стало быть, вопрос о спецодежде. Верно я говорю, товарищи? Совершенно верно! — сам себе ответил секретарь хором.— Правильно! Поэтому: слушали, а слушав, постановили...— Секретарь макнул перо и стал скрести: «Принять всесторонние меры к выдаче спецодежды без перебоев, снабжая спецодеждой в общем и целом каждого и всякого».— Принимается, товарищи? Кто против? — спросил секретарь у своей чернильницы.

Та ничего не имела против, и секретарь написал на листке: «Принято единогласно». И сам же себя похвалил: — Браво, Макушкин!

— Таперича что у нас на очереди? — продолжал секретарь.— Касса взаимопомощи: ясно, как апельсин. Ну, в кассе денег нет, это — ясно, как апельсин. И, как апельсин

же, ясно, что ссуды вовремя не возвращают. Стало быть: слушали о кассе, а постановили: «Всемерно содействовать развитию кассы взаимопомощи, целиком и полностью привлекая транспортные низы к участию в кассе, а равно и принять меры к увеличению фонда путем сознательного и своевременнного возвращения ссуд целиком и полностью!» Кто против? — победоносно спросил Макушкин.

Ни шкаф, ни стулья не сказали ни одного слова против, и Макушкин написал: «Единогласно».

Открылась дверь, и вошел сосед.

— Выкатывайся,— сказал ему Макушкин,— я занят: протокол собрания пишу.

— Вчерашнего? — спросил сосед.

— Завтрашнего,— ответил Макушкин.

Сосед открыл рот и так, с открытым ртом, и ушел.

2

Зал общего собрания был битком набит, и все головы были устремлены на эстраду, где рядом с графином с водой и колокольчиком стоял тов. Макушкин.

— Первым вопросом повестки дня,— сказал председатель собрания,— у нас вопрос о спецодежде. Кто желает?

— Я, я... я... я...— двадцатью голосами ответил зал.

— Позвольте, товарищ, мне,— музыкальным голосом попросил Макушкин.

— Слово предоставляется т. Макушкину,— почтительно сказал председатель.

— Товарищи,— откашлявшись, начал Макушкин и заложил пальцы в жилет,— каждому сознательному члену союза известно, что спецодежда является необходимой...

— Правильно!! В июне валенки выдавали! — загремел зал.

— Попрошу не перебивать оратора,— сказал председатель.

— Поэтому, дорогие товарищи, необходимо принять всесторонние меры к выдаче спецодежды без перебоев.

— Верно! Браво! — закричал зал.— Парусиновые штаны прислали в январе!!

— Ти-ше!

— Предлагаю ораторам не высказываться, чтобы не терять времени,— сказал Макушкин,— а прямо приступить к обсуждению резолюции.

— Кто имеет резолюцию? — спросил председатель, сбиваясь с пути.

— Я имею,— скромно сказал Макушкин и мгновенно огласил резолюцию.

— Кто против? — сказал изумленный председатель.

Зал моментально и единодушно умолк.

— Пишите: при ни одном воздержавшемся,— сказал пораженный председатель секретарю собрания.

— Не пишите, товарищ, у меня уже записано,— сказал Макушкин, сияя глазами.

Общее собрание встало, как один человек, и впилось глазами в Макушкина.

— Центральный парень,— сказал кто-то восхищенно,— не то что наши сиволапые!

* * *

Когда общее собрание кончилось, толпа провожала Макушкина по улице полверсты, и женщины поднимали детей на руки и говорили:

— Смотри, вон Макушкин пошел. И ты когда-нибудь такой будешь.

КОЛЛЕКЦИЯ ГНИЛЫХ ФАКТОВ

(Письма рабкоров)

ФАКТ 1

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ФЕЛЬДШЕР ЖЕРТВОВАЛ СУКНО В МОПР

Этот гнилой факт, насквозь пронизанный алкоголизмом, получился в нашем N-м клубе Западных железных дорог, когда был организован вечер МОПРа.

Шел вечер крайне торжественно, с бойкой продажей сукна с аукциона в пользу МОПРа.

Тогда неожиданно грянул вопль, похожий на поросенка.

Все рабочие головы обернулись, как одна.

И что же они увидали?

Нашего фельдшера приемного покоя.

Он качался, как маятник, совершенно красный.

Все задались вопросом: откуда появился фельдшер?

И, во-вторых,— не пьян ли он?

И оказалось, что он действительно пьян, но что удивительнее всего, мгновенно оказались пьяными и завклубом, и председатель правления, и члены наших комиссий.

Один из пораженных членов клуба выступил и заявил фельдшеру:

— Вы не похожи на себя!

А фельдшер ответил с дерзостью:

— Не твое дело.

Тут все поняли, что нарезался фельдшер в клубе, совместно с правлением, якобы пивом.

Но мы знаем, какое это пиво.

Несмотря на опьянение, фельдшер сквозь всю толпу проник к эстраде и в одно мгновенье ока выиграл сукно с аукциона, причем всем заявил:

— Видали, какой я пьяный! Назло вам жертвую сукно в МОПР!

Лишь только аукционист объявил об его пожертвовании, как фельдшер, увидев, что сукно его забирают, раскаялся в своем поступке и с плачем объявил:

— Это я сделал без сознания, в состоянии опьянения. Факт считаю недействительным и требую возвращения сукна.

При общих криках ему с презрением вернули сукно, и он покинул клуб.

После этого председатель правления, упав, разбил себе лицо в кровь, а заведующего клубом вывела из клуба его невеста.

Вот какие вечера...

Позорно писать!

ЗАЛОГ ЛЮБВИ

Роман

I

ЛУННЫЕ ТЕНИ

Угасли звуки на станции. Даже неугомонный маневровый паровоз перестал выть и заснул на пути. Луна, радостно улыбаясь, показалась над лесом и все залила волшебным зеленоватым светом. А тут еще запахли акации, ударили в голову, и засвистал безработный соловей... И тому подобное.

Две тени жались в узорной тени кустов, и в лунном отблеске изредка светились проводницкие пуговицы.

— Ведь врешь ты все, подлец,— шепнул женский голос,— поиграешь и бросишь.

— Маруся, и тебе не совестно? — дрожа от обиды, шептал сиплый голос.— Я, по-твоему, способен на такую пакость? Да я скорей, Маня, пулю пущу себе в лоб, чем женщину обману!

— Пустишь ты пулю, держи карман,— бормотал женский голос, волнуясь.— От тебя жди! Сорвешь цвет удовольствия, а потом сел в скорый поезд, только тебя и видели. Откатись ты лучше от меня!

«Целуются, черти,— тоскливо думал холостой начальник станции, сидя на балконе,— луна, положим, такая, что с семафором поцелуешься».

— Знаем,— шептала тень, отталкивая другую тень,— видали таких. Поёшь, поёшь, а потом я рыдать с дитем буду, кулаками ему слезы утирать.

— Я тебя не допущу рыдать, Манюша. Сам ему, дитю, если таковое появится, кулаками слезы вытру. Он у нас и не пикнет. Дай в шейку поцелую. Четыре червонца буду младенцу выдавать или три.

«Фу-ты, наваждение»,— крякнул начальник станции и убрался с балкона.

— Одним словом, уходи.

— Дай-ка губки.

— На... И откатывайся... Прилип, как демон.

«Неподатливая баба,— думала тень, поблескивая пуговицами.— Ну, я тебя разгрызу! Ах ты, черт. Мысль у меня мелькнула... Эх, и золотая ж голова у меня...»

— Знаешь, Маруся, что я тебе скажу. Уж если ты словам моим не веришь, так я тебе залог оставлю.

— Уйди ты с залогом, не мучай!

— Нет, Маруся, ты погоди. Ты знаешь, что я тебе оставлю,— тень зашептала, зашептала, стала расстегивать пуговицы.— Уж это такой залог... без этого, брат ты мой, я и существовать не могу. Все равно к тебе вернусь.

— Покажи...

Долго еще шептались тени, что-то прятали. Потом настала тишина.

Луна вдруг выглянула из-за сосен и стыдливо завернулась в облака, как турчанка в чадру.

И темно.

II

В СУНДУКЕ ЗАЛОГ

Лил дождь. Маруся сидела у окошка и думала:

«Куда ж он, подлец, запропастился? Ох, чуяло мое сердце. Ну, да ладно, попрыгаешь, попрыгаешь да приедешь. Далеко без залога не ускачешь. Мое счастье в сундуке заперто... Но все-таки интересно, где он находится, соблазнитель моей жизни?»

III

ЗЛОДЕЙСКИЙ ПЛАН

Соблазнитель в это время находился в отделении милиции.

— Вам что, гражданин? — спросило его милицейское начальство.

Соблазнитель кашлянул и заговорил:

— Гм... Так что произошло со мной несчастье.

— Какое?

— Неописуемая вещь. Трудкнижку посеял.

— Вещь описуемая. Бывает с неаккуратными людьми. При каких обстоятельствах произошло?

— Обстоятельства обыкновенные. Вот извольте видеть, дыра в кармане. Вышел я погулять... Луна светит... Я ей и говорю...

— Кому ей?

— Тьфу!.. Это я обмолвился. Виноват. Ничего не говорю, а просто смотрю, батюшки — дыра, а трудкнижки нет!

— Публикацию поместите в газете, а затем, вырезав ее, явитесь в отделение. Выдадим новую.

— Слушаюсь.

IV

РОКОВОЕ ПИСЬМО

Через некоторое время в «Гудке» появилось:

«Утеряна трудкнижка за № таким-то, на имя такого-то. Выдана таким-то отд. милиции 8 мая 23 г.».

А через некоторое время в «Гудок» пришло письмо, поразившее редакцию, как громом:

«Многоуважаемый товарищ редактор! Это все ложь! Книжка не утеряна, и такой-то врет. Он отдал ее мне в залог любви. А теперь опубликовывает в газете!»

V

ЭПИЛОГ

Такой-то рвал на себе волосы и кричал:

— Что ж мне теперь делать, после такого сраму?!

Стоял перед ним приятель и говорил ему:

— Не знаю, что уж тебе и посоветовать. Сделал ты подлость по отношению к женщине. Сам теперь и казнись!

ОНИ ХОЧУТЬ СВОЮ ОБРАЗОВАННОСТЬ ПОКАЗАТЬ...

...и всегда говорят о непонятном!

А. П. Чехов

Какие-то чудаки наши докладчики! Выражается во время речи иностранными словами, а когда рабочие попросили объяснить — он, оказывается, сам не понимает!!

Рабкор Н. Чуфыркин

В зале над тысячью человек на три сажени стоял пар. И пар поднимался от докладчика. Он подъезжал на курьерских к концу международного положения.

— Итак, дорогие товарищи, я резюмирую! Интернациональный капитализм в конце концов и в общем и целом довел свои страны до полной прострации. У акул мирового капитализма одно соображение, как бы изолировать Советскую страну и обрушиться на нее с интервенцией! Они использовывают все возможности, вплоть до того, что прибегают к диффамации, то есть сочиняют письма, якобы написанные тов. Зиновьевым! Это, товари-

щи, с точки зрения пролетариата,— моральное разложение буржуазии и ее паразитов и камер-лакеев из Второго Интернационала!

Оратор выпил полстакана воды и загремел, как труба:

— Удастся ли это им, товарищи? Совершенно наоборот! Это им не удастся! Капиталистическая вандея, окруженная со всех сторон волнами пока еще аморфного пролетариата, задыхается в собственном соку, и перед капиталистами нет другого исхода, как признать Советский Союз, аккредитовав при нем своих полномочных послов!!

И моментально оратор нырнул вниз, словно провалился. Затем выскочила из кресла его голова и предложила:

— Если кто имеет вопросы, прошу задавать.

В зале наступила тишина. Затем в отдалении зашевелилась в самой гуще и вышла голова Чуфыркина.

— Вы имеете, товарищ? — ласково обратился к нему с эстрады совершенно осипший оратор.

— Имею,— ответил Чуфыркин и облокотился на спинку переднего стула. Вид у Чуфыркина был отчаянный.— Ты из меня всю кровь выпил!

Зал охнул, и все головы устремились на смельчака Чуфыркина.

— Сижу — и не понимаю, жив я или уже помер,— объяснил Чуфыркин. В зале настала могильная тишина.

— Виноват. Я вас не понимаю, товарищ? — оратор обидчиво скривил рот и побледнел.

— В голове пузыри буль-буль, как под водой сидишь,— объяснил Чуфыркин.

— Я не понимаю,— заволновался оратор. Председатель стал подниматься с кресла.

— Вы, товарищ, вопрос имеете? Ну?

— Имею,— подтвердил Чуфыркин,— объясни — «резюмирую».

— То есть как это, товарищ? Я не понимаю, что объяснить?..

— Что означает, объясни!

— Виноват, ах, да... Вам не совсем понятно, что значит «резюмирую»?

— Совершенно непонятно,— вдруг крикнул чей-то измученный голос из задних рядов.— Вандея какая-то. Кто она такая?

Оратор стал покрываться клюквенной краской.

— Сию минуту. М-м-м... Так вы про «резюмирую». Это, видите ли, товарищ, слово иностранное...

— Оно и видно,— ответил чей-то женский голос сбоку.

— Что обозначает? — повторил Чуфыркин.

— Видите ли, резю-зю-ми-ми...— забормотал оратор.— Понимаете ли, ну вот, например, я, скажем, излагаю речь. И вот выводы, так сказать. Одним словом, понимаете?..

— Черти серые,— сказал Чуфыркин злобно.

Зал опять стих.

— Кто серые? — растерянно спросил оратор.

— Мы,— ответил Чуфыркин,— не понимаем, что вы говорите.

— У него образование высшее, он высшую начальную школу кончил,— сказал чей-то ядовитый голос, и председатель позвонил. Где-то засмеялись.

— «Интервенцию» объясните,— продолжал Чуфыркин настойчиво.

— И «диффамацию»,— добавил чей-то острый пронзительный голос сверху и сбоку.

— И кто такой камер-лакей? В какой камере?!

— Про Вандею расскажите!!

Председатель взвился, начал звонить.

— Не сразу, товарищи, прошу по очереди!

— «Аккредитовать» не понимаю?!

— Ну, что значит аккредитовать? — растерялся оратор.— Ну, значит, послать к нам послов...

— Так и говори!! — раздраженно забасил кто-то на галерее.

— «Интервенцию даешь!! — отозвались задние ряды.

Какая-то лохматая учительская голова поднялась и, покрывая нарастающий гул, заявила:

— И, кроме того, имейте в виду, товарищ оратор, что такого слова — «использовывать» — в русском языке нет! Можно сказать — использовать!

— Здорово! — отозвался зал.— Вот так припаял! Шкраб, он умеет!

В зале начался бунт.

— Говори, говори! Пока у меня мозги винтом не завинтило! — страдальчески кричал Чуфыркин.— Ведь это же немыслимое дело!!

Оратор, как затравленный волк, озираясь на председателя, вдруг куда-то провалился. Багровый председатель оглушительно позвонил и выкрикнул:

— Тише! Предлагается перерыв на десять минут. Кто за?

Зал ответил бурным хохотом, и целый лес рук поднялся кверху.

ЧЕРТОВЩИНА

> У нас, в Кузнецке, в один и тот же вечер, в один и тот же час в помещении месткома было назначено заседание лавочно-наблюдательной комиссии, заседание производственной ячейки, заседание охраны труда, собрание рабкоров, а также заседание пионеров. А рядом идет кинематографическая картина: «Дочь Монтецумы». Получается такое, что описать нельзя.
>
> *Рабкор*

В небольшой комнате тесно сидели люди, взъерошенные и потные. Над их головами висела «Дочь Монтецумы» с участием любимицы публики и королевы экрана и «Вокруг света в 18 дней».

Дверь раскрылась на одну четверть. В нее влезла рука с растерзанной манжетой, затем озверевшая голова. И голова эта начала кричать:

— Пустите меня, товарищи! Это безобразие.

— Влезайте! — кричали из комнаты.

— Пустите меня! — кричала голова, вырываясь из невидимых клещей за дверью. За дверью же послышался крик.

— Не лягайтесь ногами, товарищ Крутобедров! Вы не на базаре!

Стена затряслась, и на ней запрыгали слова: «Курьер Наполеона».

Растерзанная личность влезла наконец в комнатушку, проникла на эстраду и оттуда хрипло забасила немедленно, как заводной граммофон.

— Говоря о цене на свиные котлеты, товарищи, я не могу не отметить с возмущением того факта, что в то

время, как на частном рынке они 32 к., у нас в лавке № 17 они 33 1/2...

Собрание на это ответило злобным гулом, а за дверью вырвался истерический крик:

— Скорее! Долго заседаете!

— Что вы про котлеты бормочете?! — закричал в раздражении человек, притиснутый к «Дочери миллионера».

— Я не бормочу! — закричал в ответ оратор.— А докладываю!

— Про что докладываешь?

— Цены на свинину,— закричал докладчик.

— Выкатывайся ты со своей свининой к чертям! Где наш оратор? — кричали со всех сторон.

— Нету оратора, опоздал, черт его возьми! Значить, им надо уступать место!

Публика хлынула к дверям, а навстречу ей — другая, которая моментально расселась на стульях. За другой дверью тапер глухо заиграл полонез Шопена.

Взъерошенный докладчик всмотрелся в новые лица и забубнил:

— Говоря о цене на свиные котлеты, дорогие товарищи, я не могу не отметить с возмущением того факта, что в то время, когда на частном рынке цена за свиные котлеты 32 коп., а у нас в лавке № 17 они стоят 33 1/2 коп. ...

Молодой человек в папахе встал и вежливо его перебил:

— Вы, товарищ, спутали. «Производство мяса» шло вчера, а сегодня «Кровь и песок».

— Сахарный песок тоже! — закричал оратор в отчаянии.— В то время, как на частном рынке он — 25 1/2 к. ...

— Нарезался объясняльщик перед картиной,— закричала с хохотом публика и вдруг рванулась к дверям, и Шопен моментально смолк.

Из всех дверей насыпалась новая публика.

— Говоря о цене на свиные котлеты,— в отчаянии начал ей докладчик,— я не могу не отметить с возмущением того факта, в то время, когда сахарный песок на рынке стоит 25 1/2 коп., свинина у нас в магазине — 36 коп.! Разница, таким образом, дорогие товарищи...

— К чертям со свининой! — закричала новая публика.— Не наговорился еще в своей лавочной комиссии!

Докладчика с котлетами выпихнули куда-то, а другой влез на его место, закрыл глаза и торопливо забубнил:

— Вопрос о прозодежде — кардинальный вопрос, товарищи. До каких пор мы будем ждать рукавиц для ремонтных рабочих? Что же, спрашивается, они голыми руками...

Он бубнил около 3 минут и открыл глаза от страшных криков:

— Довольно! Достаточно! Наквакал о рукавицах — и будет, дай другим поговорить!

Какие-то взволнованные люди с карандашами в руках сидели, вытеснив предыдущую публику. Один из них выскочил на эстраду, спеца с рукавицами прижал к «Индийской гробнице» и немедленно начал кричать:

— Для того, чтобы корреспонденция в газеты была наиболее актуальна, необходимо следовать такого рода правилам...

Но он не успел объяснить, какого рода правилам нужно следовать для того, чтобы корреспонденция была актуальна, потому что за дверью слева загремел марш «Железная дивизия», а с правой, за дверями же, хор в двести человек запел:

На дежурство из палатки
Не хотелось вылезать!!
Приходилось нам за пятки
Пионеров всех таскать!!!!!

Тут и началось то самое, чего, по мнению корреспондента, описать нельзя. Поэтому и описывать не будем.

МАДМАЗЕЛЬ ЖАННА

> У нас, в клубе на ст. З., был вечер прорицательницы и гипнотизерки Жанны.
>
> Угадывала чужие мысли и заработала 150 рублей за вечер.
>
> *Рабкор*

Замер зал. На эстраде появилась дама с беспокойными подкрашенными глазами, в лиловом платье и красных чулках. А за нею бойкая словно молью траченная личность в штанах в полоску и с хризантемой в петлице

пиджака. Личность швырнула глазом вправо и влево, изогнулась и шепнула даме на ухо:

— В первом ряду лысый, в бумажном воротничке, второй помощник начальника станции. Недавно предложение делал — отказала. Нюрочка. (Публике громко.) Глубокоуважаемая публика. Честь имею вам представить знаменитую прорицательницу и медиумистку мадмазель Жанну из Парижа и Сицилии. Угадывает прошлое, настоящее и будущее, а равно интимные семейные тайны!

Зал побледнел.

(Жанне.) Сделай загадочное лицо, дура. (Публике.) Однако не следует думать, что здесь какое-либо колдовство или чудеса. Ничего подобного, ибо чудес не существует. (Жанне.) Сто раз тебе говорил, чтоб браслетку надевать на вечер. (Публике.) Все построено исключительно на силах природы с разрешения месткома и культурно-просветительной комиссии и представляет собою виталлопатию на основе гипнотизма по учению индийских факиров, угнетенных английским империализмом. (Жанне.) Под лозунгом сбоку с ридикюлем, ей муж изменяет на соседней станции. (Публике.) Если кто желает узнать глубокие семейные тайны, прошу задавать вопросы мне, а я внушу путем гипнотизма, усыпив знаменитую Жанну... Прошу вас сесть, мадмазель... По очереди, граждане! (Жанне.) Раз, два, три — и вот вас начинает клонить ко сну! (Делает какие-то жесты руками, как будто тычет в глаза Жанне.) Перед вами изумительный пример оккультизма. (Жанне.) Засыпай, что сто лет глаза таращишь? (Публике.) Итак, она спит! Прошу...

В мертвой тишине поднялся помощник начальника, побагровел, потом побледнел и спросил диким голосом от страху:

— Какое самое важное событие в моей жизни? В настоящий момент?

Личность (Жанне):

— На пальцы смотри внимательней, дура.

Личность повертела указательным пальцем под хризантемой, затем сложила несколько таинственных знаков из пальцев, что обозначало «раз-би-то-е».

— Ваше сердце,— заговорила Жанна, как во сне, гробовым голосом,— разбито коварной женщиной.

Личность одобрительно заморгала глазами. Зал охнул, глядя на несчастливого помощника начальника станции.

— Как ее зовут?—хрипло спросил отвергнутый помощник.

— Эн, ю, эр, о, ч...—завертела пальцами у лацкана пиджака личность.

— Нюрочка!—твердо ответила Жанна.

Помощник начальника станции поднялся с места совершенно зеленый, тоскливо глянул во все стороны, уронил шапку и коробку с папиросами и ушел.

— Выйду ли я замуж?—вдруг истерически выкликнула какая-то барышня.—Скажите, дорогая мадмазель Жанна!

Личность опытным глазом смерила барышню, приняла во внимание нос с прыщом, льняные волосы и кривой бок и сложила у хризантемы условный шиш.

— Нет, не выйдете,—сказала Жанна.

Зал загремел, как эскадрон на мосту, и помертвевшая барышня выскочила вон.

Женщина с ридикюлем отделилась от лозунгов и сунулась к Жанне.

— Брось, Дашенька,—послышался сзади сиплый мужской шепот.

— Нет, не брось, теперь я узнаю все твои штучки-фокусы,—ответила обладательница ридикюля и сказала:—Скажите, мадмазель, что, мой муж мне изменяет?

Личность обмерила мужа, заглянула в смущенные глазки, приняла во внимание густую красноту лица и сложила палец крючочком, что означало «да».

— Изменяет,— со вздохом ответила Жанна.

— С кем?—спросила зловещим голоском Дашенька.

«Как, черт, ее зовут?—подумала личность.—Дай бог памяти... да, да, да, жена этого... ах ты, черт... вспомнил—Анна».

— Дорогая Ж...анна, скажите, Ж...анна, с кем изменяет ихний супруг?

— С Анной,—уверенно ответила Жанна.

— Так я и знала!—с рыданием воскликнула Дашенька.—Давно догадывалась. Мерзавец!

И с этими словами хлопнула мужа ридикюлем по правой гладко выбритой щеке.

И зал разразился бурным хохотом.

КОНДУКТОР
И ЧЛЕН ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ

> Кондуктора Московско-Белорусско-Балтийской дороги снабжены инструкцией № 85, составленной во времена министерства путей сообщения, об отдании разных почестей членам императорской фамилии.
>
> *Рабкор*

Кондуктора совершенно ошалели.

Бумага была глянцевитая, плотная, казенная, пришедшая из центра, и на бумаге было напечатано:

«Буде встретишь кого-либо из членов профсоюза железнодорожников, приветствуй его вежливым наклонением головы и словами: «Здравствуйте, товарищ». Можно прибавить и фамилию, если таковая известна.

А буде появится член императорской фамилии, то приветствовать его отданием чести согласно форме № 85 и словами: «Здравия желаю, ваше императорское высочество!» А ежели это окажется, сверх всяких ожиданий, и сам государь император, то слово «высочество» заменяется словом «величество».

Получив эту бумагу, Хвостиков пришел домой и от огорчения сразу заснул. И лишь только заснул, оказался на перроне станции. И пришел поезд.

«Красивый поезд,— подумал Хвостиков.— Кто бы это такой, желал бы я знать, мог приехать в этом поезде?»

И лишь только он это подумал, зеркальные стекла засверкали электричеством, двери растворились, и вышел из синего вагона государь император. На голове у него лихо сидела сияющая корона, а на плечах — белый с хвостиками горностай. Сверкающая орденами свита, шлепая шпорами, высыпалась следом.

«Что же это такое, братцы?» — подумал Хвостиков и оцепенел.

— Ба! Кого я вижу? — сказал государь император прямо в упор Хвостикову.— Если глаза меня не обманывают, это бывший мой верноподанный, а ныне товарищ кондуктор Хвостиков? Здравствуй, дражайший!

— Караул... Здравия желаю... засыпался... ваше... пропал, и с детками... императорское величество,— совершенно синими губами ответил Хвостиков.

— Что ж ты какой-то кислый, Хвостиков? — спросил государь император.

— Смотри веселей, сволочь, когда разговариваешь! — шепнул сзади свитский голос.

Хвостиков попытался изобразить на лице веселье. И оно вышло у него странным образом. Рот скривился направо, и сам собой закрылся левый глаз.

— Ну, как же ты поживаешь, милый Хвостиков? — осведомился государь император.

— Покорнейше благодарим,— беззвучно ответил полумертвый Хвостиков.

— Все ли в порядке? — продолжал беседу государь император.— Как касса взаимопомощи поживает? Общие собрания?

— Все благополучно,— отрапортовал Хвостиков.

— В партию еще не записался? — спросил император.

— Никак нет.

— Ну, а все-таки сочувствуешь ведь? — осведомился государь император и при этом улыбнулся так, что у Хвостикова по спине прошел мороз, градусов на 5.

— Отвечай не заикаясь, к-каналья,— посоветовал сзади голос.

— Я немножко,— ответил Хвостиков,— самую малость...

— Ага, малость. А скажи, пожалуйста, дорогой Хвостиков, чей это портрет у тебя на грудях?

— Это... Это до некоторой степени т. Каменев.— ответил Хвостиков и прикрыл Каменева ладошкой.

— Тэк-с,— сказал государь император.— Очень приятно. Но вот что, багажные веревки у вас есть?

— Как же,— ответил Хвостиков, чувствуя холод в желудке.

— Так вот: взять этого сукина сына и повесить его на багажной веревке на тормозе,— распорядился государь император.

— За что же, товарищ император? — спросил Хвостиков, и в голове у него все перевернулось кверху ногами.

— А вот за это самое,— бодро ответил государь император,— за профсоюз, за «Вставай, проклятьем заклейменный», за кассу взаимопомощи, за «Весь мир насилья мы разроем», за портрет, за «до основанья», а затем... и за тому подобное прочее. Взять его!

— У меня жена и малые детки, ваше товарищество,— ответил Хвостиков.

— Об детках и о жене не беспокойся,— успокоил его государь император.— И жену повесим, и деток. Чувству-

ет мое сердце и по твоей физиономии я вижу, что детки у тебя — пионеры. Ведь пионеры?

— Пи...— ответил Хвостиков, как телефонная трубка.

Затем десять рук схватили Хвостикова.

— Спасите! — закричал Хвостиков, как зарезанный.

И проснулся.

В холодном поту.

НЕУНЫВАЮЩИЕ БОДИСТКИ

Есть такой аппарат системы Бодо. Чрезвычайно удобная штука для телеграфирования. Вы, к примеру, сидите в Киеве, а ваша подруга у аппарата в Москве. И обеим на дежурстве до того скучно, что глаза пупом лезут. И аппарату тоже ни черта делать. И вот вы пальчиками начинаете колдовать по клавишам, и получается очень интересный разговор.

Киев *(начинает):* Трык, трык... Это ты, Лиза?.. Здравствуй, милашка...

Москва *(приятно удивлена):* Неужели ты, Оля!.. Ну, рассказывай, какие новости.

Киев *(гордо):* А у меня есть... а у меня есть...

Москва *(заинтересованно):* Что есть?

Киев: Милый муженек — Колечка!

Москва: Правда?

Киев: Ей-бо... Но и кроме Колечки все мною увлекаются... А я, как всегда, кружу всем головы... Летом еду в Крым на курорт *(Гордо.)* Все за мною, как за дичью, гоняются...

Москва *(крыть нечем):* А я после болезни располнела. И вообще играю на сцене. Бросила ныть и мямлить.

Киев *(дразнит):* Мой Колечка цаца... Но я нарочно холодна с ним *(интимно)* трак-трак... Чтобы он жарче ласкал... Вообще здесь лучше, не то что на прежней должности. *(Пауза)* Они меня любят... Ну, а как ты, девочка, золото... По-прежнему такая же чистенькая, скромница и внутренними чувствами, и внешними? *(Аппарат вздыхает.)* Эх, детка, муж мой, Колечка, моложе меня, к тому же хохол... А вот есть, трык-трак... Васенька из Ленинграда, до чего он мне нравится!

Москва *(шпильку по аппарату):* Ты же *(аппарат шипит)* увлекалась недавно Петенькой?.. Хи-хи... Не правда ли? *(Ш-шсс, как змея.)*

Киев *(равнодушно):* Ну, ведь это же была фантастическая любовь. Меня оболгали всякие гады... Муж как раз уехал, а там мерзавцы сплетники наплели, что будто бы я с ним сыграла плохую штучку... *(Пауза.)* Ну, он и умер.

Москва *(после молчания):* Какие еще новости?

Киев: Катя в партию записалась!!!

Москва: Ну?!!

Киев: Шурочка проездом из Одессы была у меня. Летом я думала к ней катнуть, но потом решила лучше в Крым, на курорт... Да, Коханюк-то, помнишь, который за тобой ухаживал, женился. Ты слышишь?.. Женился... Хи-хи... Женился!

Москва *(вздрагивает по аппарату):* Трр...

Киев: Ну, всего лучшего, детка, хочу спатки и тебе советую.

Москва: А скажи, пожалуйста, у вас сокращения не предвидится? Не уволят тебя?

Киев *(весело):* О нет, я теперь очень прочна... Спокойной ночи. Трык...

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал для фельетона взят с контрольных лент, копии которых присланы рабкором. По этим лентам 2 бодистки передали 1230 слов галиматьи, частично дословно записанной в фельетоне.

С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ

> В нашем Саратовском Доме труда и просвещения (клуб железнодорожников) происходят безобразия при постановке кино. С наступлением темноты хулиганы на балконе выражаются разными словами, плюют на головы в партер. Картины рваные, а кроме того, механик почему-то иногда пускает их кверху ногами.
>
> *Рабкор*

Яков Иванович Стригун со своей супругой променяли два кровных пятака на право посмотреть чудную картину «Тайна склепа» — американскую трюковую, с участием любимицы публики.

— Садись, Манечка,— бормотал Стригун, пробираясь с супругой в 20-й ряд.

Манечка села, и в зале свет погас. Затем с балкона кто-то плюнул, целясь Манечке на шляпу, но промахнулся и попал на колени.

— Не сметь плевать! Хулиганы,— вскричал Стригун, как петух.

— Молчи, выжига,— ответила ему басом тьма с балкона.

— Я жаловаться буду! — крикнул Стригун, размахивая кулаками в темноте и неясно соображая, кому и на кого он будет жаловаться.

— Если не замолчишь, плюну тебе, мне твоя лысина отчетливо видна, отсвечивает,— пригрозила тьма.

Стригун накрылся шапкой и прекратил войну.

На экране что-то мигнуло, раскололось надвое, пошел темными полосами дождь, а затем выскочили огненные и неизвестно на каком языке слова. Они мгновенно скрылись, а вместо них появился человек в цилиндре и быстро побежал, как муха по потолку, вверх ногами. Крышей вниз появился дом, и откуда-то из потолка выросла пальма. Затем приехал вверх колесами автомобиль, с него, как мешок с овсом, свалился головою вниз толстяк и обнял даму.

Дружный топот потряс зал.

— Механик, перевернись! — кричала тьма.

Яркий свет залил зал, потом стемнело и на экран вышел задом верблюд, с него задом слез человек и задом же помчался куда-то вдаль.

В зале засвистали.

— Задом пустил механик картину! — кричали на балконе.

На экране вдруг лопнуло, как шарообразная молния, и затем под тихий вальс на экране выросла вошь величиной с теленка.

— Вот мерзость,— сказала в ужасе Манечка,— и к чему она в склепе, не пойму?

К первой вши прибавилось 7 новых, и они с унылыми мордами, шевеля лапками, понесли гроб. Рояль играл мазурку Венявского. В гробу лежал человек, как две капли воды похожий на Стригуна. Манечка охнула и перекрестилась, Стригун побледнел. Выскочила огненная надпись:

«Вот что ждет тебя, железнодорожник, если ты не будешь ходить в баню и стричься!»

— И бриться! — завыл балкон, — скинь вшу с экрана! Вшей вчера видали, даешь «Тайну склепа»!

Музыка заиграла полечку. Выскочили слова «Чаплин женился!» и опять исчезли. Вместо них показались на потолке ноги в белых гетрах. Потом все исчезло с экрана. Несколько мгновений сеялись какие-то темные пятна, затем и они пропали. Вышла маленького роста личность в куцем пиджаке и объявила:

— Сеанс отменяется, так как у механика перегорели угли.

Зал приветствовал его соловьиным свистом, и публика, давя друг друга, кинулась к кассе.

Возле нее еще долго бушевала толпа, получая обратно свои пятаки.

ПРАЗДНИК С СИФИЛИСОМ

По материалу, заверенному Лака-Тыжменским сельсоветом.

В день работницы, каковой празднуем каждогодно марта восьмого дня, растворилась дверь избы-читальни, что в деревне Лака-Тыжма, находящейся под благосклонным шефством Казанской дороги, и впустила в избу-читальню местного санитарного фельдшера (назовем его, хотя бы, Иван Иванович).

Если бы не то обстоятельство, что в день 8 марта никакой сознательный гражданин не может появиться пьяным, да еще на доклад, да еще в избу-читальню, если бы не то обстоятельство, что фельдшер Иван Иванович, как хорошо известно, в рот не берет спиртного, — можно было бы побиться об заклад, что фельдшер целиком и полностью пьян.

Глаза его походили на две сургучные пробки с сороковок русской горькой, и температура у фельдшера была не свыше 30 градусов. И до того ударило в избе спиртом, что председатель собрания курение прекратил и предоставил слово Ивану Ивановичу в таких выражениях:

— Слово для доклада по поводу Международного дня работницы предоставляется Ивану Ивановичу.

Иван Иванович, исполненный алкогольного достоинства, за третьим разом взял приступом эстраду и доложил такое:

— Прежде чем говорить о Международном дне, скажем несколько слов о венерических болезнях!

Вступление это имело полный успех: наступило могильное молчание, и в нем лопнула электрическая лампа.

— Да-с... Дорогие мои международные работницы,— продолжал фельдшер, тяжело отдуваясь,— вот я вижу ваши личики передо мной в количестве 80 штук...

— Сорока,— удивленно сказал председатель, глянув в контрольный лист.

— Сорока? Тем хуже... То есть лучше,— продолжал оратор,— жаль мне вас, дорогие мои девушки и дамы... Пардон!.. Женщины... Ибо чем меньше населения в данной области, как показывает статистика, тем менее заболеваний венерическими болезнями, и наоборот. И в частности сифилисом... Этим ужасающим бичом для пролетариата, не щадящим никого... Знаете ли вы, что такое сифилис?

— Иван Иванович! — воскликнул председатель.

— Помолчи минутку. Не перебивай меня. Сифилис,— затяжным образом, икая, говорил оратор,— штука, которую схватить чрезвычайно легко! Вы тут сидите и думаете, что, может быть, вы застрахованы? (Тут фельдшер зловеще засмеялся...) Хм!.. Шиш с маслом. Вот тут какая-нибудь девушка ходит в красной повязке, радуется, Восьмые, там, марты всякие и тому подобное, а потом женится и, глядишь, станет умываться в один прекрасный день... сморкнется — и хлоп! Нос в умывальнике, а вместо носа, простите за выражение, дыра!

Гул прошел по всем рядам, и одна из работниц, совершенно белая, вышла за дверь.

— Иван Иванович! — воскликнул председатель.

— Виноват. Мне поручено, я и говорю. Вы думаете, что, может, невинность вас спасет? Го-го-го!.. Да и много ли среди вас неви...

— Иван Иванович!!.— воскликнул председатель.

Еще две работницы ушли, оглянувшись в ужасе на эстраду.

— Придете вы, например, сюда; ну, скажем, бак с кипяченой водой... То да се... Жарко, понятное дело,— расстегивая раскисший воротничок, продолжал оратор,— сейчас, понятное дело, к кружке... Над вами «Не пейте сырой воды» и тому подобные плакаты Коминтерна, а

перед вами сифилитик пил, со своей губой... Ну, скажем, наш же председатель...

Председатель без слов завыл.

20 работниц с отвращением вытерли губы платками, а кто их не имел — подолами.

— Чего ты воешь? — спросил фельдшер у председателя.

— Я никаким сифилисом не болел!! — закричал председатель и стал совершенно такой, как клюква.

— Чудак... Я к примеру говорю... Ну, скажем, она,— и фельдшер указал трясущимся пальцем куда-то в первый ряд, который весь и опустел, шурша юбками.

— Когда женщина 8-го Марта... достигает половой, извините за выражение, зрелости,— пел с кафедры оратор, которого все больше развозило в духоте,— что она себе думает?..

— Похабник! — сказал тонкий голос в задних рядах.

— Единственно, о чем она мечтает в лунные ночи,— это устремиться к своему половому партнеру,— доложил фельдшер, совершенно разъезжаясь по швам.

Тут в избе-читальне начался стон и скрежет зубовный. Скамьи загремели и опустели. Вышли поголовно все работницы, многие — с рыданием.

Остались двое: председатель и фельдшер.

— Половой же ее партнер,— бормотал фельдшер, качаясь и глядя на председателя,— дорогая моя работница, предается любви и другим порокам...

— Я не работница! — вскрикнул председатель.

— Извиняюсь, вы мужчина? — спросил фельдшер, тараща глаза сквозь пелену.

— Мужчина! — оскорбленно выкрикнул председатель.

— Непохоже,— икнул фельдшер.

— Знаете, Иван Иванович, вы пьяный, как хам,— дрожа от негодования, воскликнул председатель,— вы мне, извините, праздник сорвали! Я на вас буду жаловаться в центр и даже выше.

— Ну, жалуйся,— сказал фельдшер, сел в кресло и заснул.

БАНЩИЦА ИВАН

> В бане на станции Эсино Муромской линии в женский день, пятницу, неизменно присутствует один и тот же банщик дядя Иван, при котором посетительницам бани приходится раздеваться, пользуясь тазами вместо фиговых листков.
>
> Неужели нельзя поставить в пятницу в баню одну из женщин, работающих в ремонте?
>
> *Рабкор*

ПРЕДИСЛОВИЕ

До того неприлично про это писать, что перо опускается.

1. В БАНЕ

— Дядь Иван, а дядь Иван!

— Што тебе? Мыло, мочалка имеется?

— Все имеется, только умоляю тебя, уйди ты к чертям!

— Ишь какая прыткая, я уйду, а в это время одежу покрадут. А кто отвечать будет — дядя Иван. Во вторник мужской день был, у начальника станции порцыгар свистнули. А кого крыли? Меня, дядю Ивана!

— Дядя Иван! Да хоть отвернись на одну секундочку, дай пробежать!

— Ну ладно, беги.

Дядя Иван отвернулся к запотевшему окошку предбанника, расправил рыжую бороду веером и забурчал:

— Подумаешь, невидаль какая. Чудачка тоже. Удовольствие мне, что ли? Должность у меня уж такая похабная... Должность заставляет.

Женская фигура выскочила из простыни и, как Ева по раю, побежала в баню.

— Ой, стыдобушка!

Дверь в предбанник открылась, выпустила тучу пара, а из тучи вышла мокрая, распаренная старушка, тетушка дорожного мастера. Старушка выжала мочалку и села на диванчик, мигая от удовольствия глазами.

— С легким паром,— поздравил ее над ухом сиплый бас.

— Спасибо, голубушка. Спас... Ой! С нами крестная сила. Да ты ж мужик?!

— Ну и мужик, дак что... Простыня не потребуется?

— Казанская божья мать! Уйди ты от меня со своей простыней, охальник! Что ж это у нас в бане делается?

— Что вы, тетушка, бушуете, я же здесь был, когда вы пришли!

— Да не заметила давеча я! Плохо вижу я, бесстыдник. А теперь гляжу, а у него борода как метла! Манька, дрянь, простыней закройся!

— Вот мученье, а не должность,—пробурчал дядя Иван, отходя.

— Дядя Иван, выкинься отсюда!—кричали женщины с другой стороны, закрываясь тазами, как щитами от неприятеля.

Дядя Иван повернулся в другую сторону, оттуда завыли, дядя Иван бросился в третью сторону, оттуда выгнали. Дядя Иван плюнул и удалился из предбанника, заявив зловеще:

— Ежели что покрадут, я снимаю с себя ответственность.

2. В ПИВНОЙ

В воскресный день измученный недельной работой дядя Иван сидел за пивом в пивной «Красный Париж» и рассказывал:

— Чистое мученье, а не должность. В понедельник топить начинаю, во вторник всякие работники моются, в среду которые с малыми ребятами, в четверг просто рядовые мужчины, в пятницу женский день. Женский день мне самый яд. То есть глаза б мои не смотрели. Набьется баб полные бани, орут, манатки свои разбросают. И, главное, на меня обижаются, а я при чем? Должен я смотреть или нет, если меня приставили к этому делу. Должен! Нет, хуже баб нету народа на свете. Одна и есть приличная женщина—жена нашего нового служащего Коверкотова. Аккуратная бабочка. Придет, все свернет, разложит, только скажет: «Дядя Иван, провались ты в преисподнюю...» Одно не хорошо: миловидная такая бабочка с лица, а на спине у ней родинка, да ведь до чего безобразная, как летучая мышь прямо, посмотришь, плюнуть хочется...

— Чт-о-о-о-о?! Какая такая мышь?.. Ты про кого говоришь, рыжая дрянь?

Дядя Иван побледнел, обернулся и увидал служащего Коверкотова. Глаза у Коверкотова сверкали, руки сжимались в кулаки.

— Ты где ж мышь видал? Ты что же гадости распространяешь? А?

— Какие гадости,— начал было дядя Иван и не успел окончить.

Коверкотов пододвинулся к нему вплотную и...

3. В СУДЕ

— Гражданин Коверкотов, вы обвиняетесь в том, что 21 марта сего года нанесли оскорбление действием служащему при бане гражданину Ивану.

— Гражданин судья, он мою честь опозорил!

— Расскажите, каким образом вы опозорили честь гражданина Коверкотова?

— Ничего я не позорил... Чистое наказанье. Прошу вас, гражданин судья, уволить меня с должности банщицы. Сил моих больше нет.

* * *

Судья долго говорил с жаром, прикладывая руки к сердцу, и дело кончил мировой.

Через несколько дней дядю Ивана освободили от присутствия в пятницу в женской бане и назначили вместо него женщину из ремонта.

Таким образом, на станции вновь наступили ясные времена.

О ПОЛЬЗЕ АЛКОГОЛИЗМА

> На собрание по перевыборам месткома на станции N член союза Микула явился вдребезги пьяный. Рабочая масса кричала: «Недопустимо!», но представитель учка выступил с защитой Микулы, объяснив, что пьянство — социальная болезнь и что можно выбирать и выпивак в состав месткома...
>
> *Рабкор 2619*

ПРОЛОГ

— К черту с собрания пьяную физию! Это недопустимо! — кричала рабочая масса.

Председатель то вставал, то садился, точно внутри у него помещалась пружинка.

— Слово предоставляется!— кричал он, простирая руки,— товарищи, тише!.. Слово предоставля... товарищи, тише!.. Товарищи!.. Умоляю вас выслушать представителя учка...

— Долой Микулу! — кричала масса,— этого пьяницу надо изжить!

Лицо представителя появилось за столом президиума. На учкином лице плавала благожелательная улыбка. Масса еще поволновалась, как океан, и стихла.

— Товарищи! — воскликнул представитель приятным баритоном.

Я — председатель! И если он —
Волна! А масса вы — Советская Россия,
То учк не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия!

Такое начало польстило массе чрезвычайно.

— Стихами говорит!

— Кормилец ты наш! — восхищенно воскликнула какая-то старушка и зарыдала. После того как ее вывели, представитель продолжал:

— О чем шумите вы, народные витии?!

— Насчет Микулы шумим!— отвечала масса.

— Вон его! Позор!

— Товарищи! Именно по поводу Микулы я и намерен говорить.

— Правильно! Крой его, алкоголика!

— Прежде всего перед нами возникает вопрос: действительно ли пьян означенный Микула?

— Ого-го-го-го! — закричала масса.

— Ну, хорошо, пьян,— согласился представитель.— Сомнений, дорогие товарищи, в этом нет никаких. Но тут перед нами возникает социальной важности вопрос, на каком таком основании пьян уважаемый член союза Микула?

— Именинник он! — ответила масса.

— Нет, милые граждане, не в этом дело. Корень зла лежит гораздо глубже. Наш Микула пьян, потому что он... болен.

Масса застыла, как соляной столб. Багровый Микула открыл один совершенно мутный глаз и в ужасе посмотрел на представителя.

— Да-с, милейшие товарищи, пьянство есть не что иное, как социальная болезнь, подобная туберкулезу,

сифилису, чуме, холере и... прежде чем говорить о Микуле, подумаем, что такое пьянство и откуда оно взялось?.. Некогда, дорогие товарищи, бывший великий князь Владимир, прозванный за свою любовь к спиртным напиткам Красным Солнышком, воскликнул: «Наше веселие есть пити!»

— Здорово загнул!

— Здоровее трудно. Наши историки оценили по достоинству слова незабвенного бывшего князя и начали выпивать по малости, восклицая при этом: «Пьян, да умен — два угодья в нем!»

— А с князем что было? — спросила масса, которую заинтересовал доклад секретаря.

— Помер, голубчики. В одночасье от водки сгорел,— с сожалением пояснил всезнайка-секретарь.

— Царство ему небесное! — пискнула какая-то старушечка,— хуть и совецкий, а все ж святой.

— Ты религиозный дурман на собрании не разводи, тетя,— попросил ее секретарь,— тут тебе царств небесных нету. Я продолжаю, товарищи. После чего в буржуазном обществе выпивали 900 лет подряд всякий и каждый, не щадя младенцев и сирот. «Пей, да дело разумей»,— воскликнул знаменитый поэт буржуазного периода Тургенев. После чего составился ряд пословиц народного юмора в защиту алкоголизма, как-то: «Пьяному море по колена», «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», «Не вино пьянит человека, а время», «Не в свои сани не садись»,— и какие бишь еще?..

— «Чай не водка, много не выпьешь»! — ответила крайне заинтересованная масса.

— Верно, мерси. «Разве с полведра напьешься?», «Курица и та пьет», «И пить — умереть, и не пить — умереть», «Налей, налей, товарищ, заздравную чару!..».

— «Бог зна-е-ет, что с нами случится...» — подтянул пьяный засыпающий Микула.

— Товарищ больной, попрошу вас не петь на собрании,— вежливо попросил председатель,— продолжайте, товарищ оратор.

— «Помолимся,— продолжал оратор,— помолимся, помолимся творцу, мы к рюмочке приложимся, потом и к огурцу», «господин городовой, будьте вежливы со мной, отведите меня в часть, чтобы в грязь мне не упасть», «неприличными словами прошу не выражаться и на чай не давать», «февраля двадцать девятого выпил штоф вина

проклятого», «ежедневно свежие раки», «через тумбу, тумбу раз»...

— Куда?!—вдруг рявкнул председатель.

Пять человек вдруг, крадучись, вылезли из рядов и шмыгнули в дверь.

— Не выдержали речи,—пояснила восхищенная масса,—красноречиво убедил. В пивную бросились, пока не закрыли.

— Итак!—гремел оратор,—вы видите, насколько глубоко пронизала нас социальная болезнь. Но вы не смущайтесь, товарищи. Вот, например, наш знаменитый самородок Ломоносов восемнадцатого века в высшей степени любил поставить банку, а, однако, вышел первоклассный ученый и товарищ, которому даже памятник поставили у здания Университета на Моховой улице. Я бы еще мог привести выдающиеся примеры, но не хочу... Я заканчиваю, и приступаем к выборам...

ЭПИЛОГ

«...после чего рабочие массы выбрали в кандидаты месткома известного алкоголика, и на другой же день он сидел пьяный как дым на перроне и потешал зевак анекдотами, рассказывая, что разрешено пить, лишь бы не было вреда».

Из того же письма рабкора.

КАК БУТОН ЖЕНИЛСЯ

В управлении Юго-Западных провизионки выдают только женатым. Холостым—шиш. Стало быть, нужно жениться. Причем управление будет играть роль свахи.

Рабкор № 2626

А не думает ли барин жениться.

Н. В. Гоголь («Женитьба»)

Железнодорожник Валентин Аркадьевич Бутон-Нецелованный, человек упорно и настойчиво холостой, явился в административный отдел управления и вежливо раскланялся с провизионным начальством.

— Вам чего-с? Ишь ты какой вы галстук устроили — горошком!

— Как же-с. Провизионочку пришел попросить.

— Тэк-с. Женитесь.

Бутон дрогнул.

— Как это?

— Очень просто. Загс знаете? Пойдете туды, скажете: так, мол, и так. Люблю ее больше всего на свете. Отдайте ее мне, в противном случае кинусь в Днепр или застрелюсь. Как вам больше нравится. Ну, они зарегистрируют вас. Документики ее захватите, да и ее самое.

— Чьи? — спросил зеленый Бутон.

— Ну, Варенькины, скажем.

— Какой... Варенькины?..

— Машинистки нашей.

— Не хочу, — сказал Бутон.

— Чудачина. Желая добра тебе, говорю. Пойми в своей голове. Образ жизни будешь вести! Ты сейчас что по утрам пьешь?

— Пиво, — ответил Бутон.

— Ну вот. А тогда шоколад будешь пить или какао! Бутона слегка стошнило.

— Ты глянь на себя в зеркало управления Юго-Западных железных дорог. На что ты похож? Галстук как бабочка, а рубашка грязная. На штанах пуговицы нет, ведь это ж безобразие холостецкое! А женишься, глаза не успеешь продрать, тут перед тобой супруга: не желаете ли чего? Как твое имя-отчество?

— Валентин Аркадьевич...

— Ну вот, Валюша, стало быть, или Валюн. И будет тебе говорить: не нужно ли тебе чего, Валюн, не нужно ли другого, не нужно ли тебе, Валюша, кофейку, Валюше — то, Валюше — другое... Взбесишься прямо!.. То есть что это я говорю?.. Не будешь знать, в раю ты или в Ю.-З. жеде!

— У ней зуб вставной!

— Вот дурак, прости господи. Зуб! Да разве зуб рука или нога? Да при этом ведь золотой же зуб! Вот чудачина, его, в крайнем случае, в ломбард можно заложить. Одним словом, пиши заявление о вступлении в законный брак. Мы тебя и благословим. Через год зови на октябрины, выпьем!

— Не хочу! — закричал Бутон.

— Ну, ладно, вижу, вы упрямец. Вам хоть кол на

голове теши. Как угодно. Прошу не задерживать занятого человека.

— Провизионочку позвольте.

— Нет!

— На каком основании?

— Не полагается вам.

— А почему Птюхину дали?

— Птюхин почище тебя, он женатый!

— Стало быть, мне без провизии с голоду подыхать?

— Как угодно, молодой человек.

— Это что же такое выходит,— забормотал Бутон, меняясь в лице.— Мне нужно или жизни лишиться с голоду, или свободы моей драгоценной?!

— Вы не кричите.

— Берите!—закричал Бутон, впадая в истерику,— жените, ведите меня в загс, ешьте с кашей!!—и стал рвать на себе сорочку.

— Кульер! Зови Вареньку! Товарищ Бутон предложение им будет делать руки и сердца.

— А чего они воют?—осведомился курьер.

— От радости ошалел. Перемена жизни в казенном доме.

СМЫЧКОЙ ПО ЧЕРЕПУ

В основе фельетона—истинное происшествие, описанное рабкором № 742.

Дождалось наконец радости одно из сел Червонного, Фастовского района, что на Киевщине! Сам Сергеев, представитель райисполкома, он же заместитель предместкома, он же голова охраны труда ст. Фастов, прибыл устраивать смычку с селянством.

Как по радио стукнула весть о том, что сего числа Сергеев повернется лицом к деревне!

Селяне густыми косяками пошли в хату-читальню. Даже 60-летний дед Омелько (по профессии—середняк), вооружившись клюкой, приплелся на общее собрание.

В хате яблоку негде было упасть; дед приткнулся в уголочке, наставил ухо трубой и приготовился к восприятию смычки.

Гость на эстраде гремел, как соловей в жимолости. Партийная программа валилась из него крупными куска-

ми, как из человека, который глотал ее долгое время, но совершенно не прожевывал.

Селяне видели энергичную руку, заложенную за борт куртки, и слышали слова:

— Больше внимания селу... Мелиорации... Производительность... Посевкампания... середняк и бедняк... дружные усилия... мы к вам... вы к нам... посевматериал... район... это гарантирует, товарищи... семенная ссуда... Наркомзем... движение цен... Наркомпрос... тракторы... кооперация... облигации...

Тихие вздохи порхали в хате. Доклад лился как река. Докладчик медленно поворачивался боком и наконец совершенно повернулся к деревне. И первый предмет, бросившийся ему в глаза в этой деревне, было огромное и сморщенное ухо деда Омельки, похожее на граммофонную трубу. На лице у деда была напряженная дума.

Все на свете кончается, кончился и доклад. После аплодисментов наступило несколько натянутое молчание. Наконец встал председатель собрания и спросил:

— Нет ли у кого вопросов к докладчику?

Докладчик горделиво огляделся: нет, мол, такого вопроса на свете, на который бы я не ответил!

И вот произошла драма. Загремела клюка, встал дед Омелько и сказал:

— Я просю, товарищи, чтоб товарищ смычник попростому рассказал свой доклад, бо я *ничего не понял*.

Учинив такое неприличие, дед сел на место. Настала гробовая тишина, и видно было, как побагровел Сергеев.

Прозвучал его металлический голос:

— Это что еще за индивидуум?..

Дед обиделся.

— Я не индююм... Я — дед Омелько.

Сергеев повернулся к председателю:

— Он член комитета незаможников?

— Нет, не член,— сконфуженно отозвался председатель.

— Ага! — хищно воскликнул Сергеев,— стало быть, кулак?!

Собрание побледнело.

— Так вывести же его вон!! — вдруг рявкнул Сергеев и, впав в исступление и забывчивость, повернулся к деревне не лицом, а совсем противоположным местом.

Собрание замерло. Ни один не приложил руку к дряхлому деду, и неизвестно, чем бы это кончилось, если

бы не выручил докладчика секретарь сельской рады Игнат. Как коршун налетел секретарь на деда и, обозвав его «сукиным дедом», за шиворот поволок его из хаты-читальни.

Когда вас волокут с торжественного собрания, мудреного нет, что вы будете протестовать. Дед упирался ногами в пол и бормотал:

— Шестьдесят лет прожил на свете, не знал, что я кулак... а также спасибо вам за смычку!

— Ладно,— пыхтел Игнат,— ты у меня поразговариваешь. Ты у меня разговоришься. Я тебе докажу, какой ты элемент.

Способ доказательства Игнат избрал оригинальный. Именно, вытащив деда во двор, урезал его по затылку чем-то настолько тяжелым, что деду показалось, будто бы померкло полуденное солнце и на небе выступили звезды.

Неизвестно, чем доказал Игнат деду. По мнению последнего (а ему виднее, чем кому бы то ни было), это была резина.

На этом смычка с дедом Омелькой и закончилась.

Впрочем, не совсем. После смычки дед оглох на одно ухо.

* * *

Знаете что, тов. Сергеев? Я позволю себе дать вам два совета (они также относятся и к Игнату). Во-первых, справьтесь, как здоровье деда.

А во-вторых: смычка смычкой, а мужиков портить все-таки не следует.

А то вместо смычки произойдут неприятности.

Для всех.

И для вас в частности.

УГРЫЗАЕМЫЙ ХВОСТ

У здания МУУРа стоял хвост.

— Охо-хо-хонюшки! Стоишь, стоишь...

— И тут хвост.

— Что поделаешь? Вы, позвольте узнать, бухгалтер будете?

— Нет-с, я кассир.

— Арестовываться пришли?

— Да как же!

— Дело доброе! А на сколько, позвольте узнать, вы изволили засыпаться?

— На 300 червончиков.

— Пустое дело, молодой человек. Один год. Но принимая во внимание чистосердечное раскаяние, и, кроме того, Октябрь не за горами. Так что в общей сложности просидите три месяца и вернетесь под сень струй.

— Неужели? Вы меня прямо успокаиваете. А то я в отчаяние впал. Пошел вчера советоваться к защитнику,— уж он пугал меня, пугал, статья, говорит, такая, что меньше чем двумя годами со строгой не отделаетесь.

— Брешут-с они, молодой человек. Поверьте опытности. Позвольте, куда же вы? В очередь!

— Граждане, пропустите. Я казенные деньги пристроил! Жжет меня совесть...

— Тут каждого, батюшка, жжет, не один вы.

— Я,— бубнил бас,— казенную лавку Моссельпрома пропил.

— Хват ты. Будешь теперь знать, закопают тебя, раба божия.

— Ничего подобного. А если я темный? А неразвитой? А наследственные социальные условия? А? А первая судимость? А алкоголик?

— Да какого ж черта тебе, алкоголику, вино препоручили?

— Я и сам говорил...

— Вам что?

— Я, гражданин милицмейстер, терзаемый угрызениями совести...

— Позвольте, что ж вы пхаетесь, я тоже терзаемый...

— Виноват, я с десяти утра жду арестоваться.

— Говорите коротко, фамилию, учреждение и сколько.

— Фиолетов я, Миша. Терзаемый угрызениями...

— Сколько?

— В Махретресте — двести червяков.

— Сидорчук, прими гражданина Фиолетова.

— Зубную щеточку позвольте с собой взять.

— Можете. Вы сколько?

— Семь человек.

— Семья?

— Так точно.

— А сколько ж вы взяли?

— Деньгами двести, салоп, часы, подсвечники.

— Не пойму я, учрежденский салоп?

— Зачем. Мы учреждениями не занимаемся. Частное семейство — Штипельмана.

— Вы Штипельман?

— Да никак нет.

— Так при чем тут Штипельман?

— При том, что зарезали мы его. Я докладываю: семь человек — жена, пятеро детишек и бабушка.

— Сидорчук, Махрушин, примите меры пресечения!

— Позвольте, почему ему преимущества?

— Граждане, будьте сознательные, убийца он.

— Мало ли что убийца. Важное кушанье! Я, может, учреждение подорвал.

— Безобразие. Бюрократизм. Мы жаловаться будем.

ДВУЛИКИЙ ЧЕМС

На ст. Фастов ЧМС издал распоряжение о том, чтобы ни один служащий не давал корреспонденций в газеты без его просмотра.

А когда об этом узнал корреспондент, ЧМС испугался и спрятал книгу распоряжений под замок.

Рабкор 742

— Я пригласил вас, товарищи,— начал Чемс,— с тем, чтобы сообщить вам пакость: до моего сведения дошло, что многие из вас в газеты пишут?

Приглашенные замерли.

— Не ожидал я этого от моих дорогих сослуживцев,— продолжал Чемс горько.— Солидные такие чиновники... то бишь служащие... И не угодно ли... Ай, ай, ай, ай, ай!

И Чемсова голова закачалась, как у фарфорового кота.

— Желал бы я знать, какой это пистолет наводит тень на нашу дорогую станцию? То есть ежели бы я это знал...

Тут Чемс пытливо обвел глазами присутствующих.

— Не товарищ ли это Бабкин?

Бабкин позеленел, встал и сказал, прижимая руку к сердцу:

— Ей-богу... честное слово... клянусь... землю буду есть... икону сыму... Чтоб я не дождался командировки на курорт... чтоб меня уволили по сокращению штатов... если это я!

В речах его была такая искренность, сомневаться в которой было невозможно.

— Ну, тогда, значит, Рабинович?

Рабинович отозвался немедленно:

— Здравствуйте! Чуть что, сейчас — Рабинович. Ну, конечно, Рабинович во всем виноват! Крушение было — Рабинович. Скорый поезд опоздал на восемь часов — тоже Рабинович. Спецодежду задерживают — Рабинович! Гинденбурга выбрали — Рабинович? И в газету писать — тоже Рабинович? А почему это я, Рабинович, а не он, Азеберджаньян?

Азеберджаньян ответил:

— Не ври, пожалста! У меня даже чернил нету в доме. Только красное азербейджанское вино.

— Так неужели это Бандуренко? — спросил Чемс.

Бандуренко отозвался:

— Чтоб я издох!..

— Странно. Полная станция людей, чуть не через день какая-нибудь этакая корреспонденция, а когда спрашиваешь: «кто?» — виновного нету. Что ж, их святой дух пишет?

— Надо полагать,— молвил Бандуренко.

— Вот я б этого святого духа, если бы он только мне попался! Ну, ладно. Иван Иваныч, читайте им приказ, и чтоб каждый расписался!

Иван Иваныч встал и прочитал:

— «Объявляю служащим вверенного мне... мною замечено... обращаю внимание... недопустимость... и чтоб не смели, одним словом...»

* * *

С тех пор станция Фастов словно провалилась сквозь землю. Молчание.

— Странно,— рассуждали в столице,— большая такая станция, а между тем ничего не пишут. Неужели там у них никаких происшествий нет? Надо будет послать к ним корреспондента.

* * *

Вошел курьер и сказал испуганно:

— Там до вас, товарищ Чемс, корреспондент приехал.

— Врешь,—сказал Чемс, бледнея,—не было печали! То-то мне всю ночь снились две большие крысы... Боже мой, что теперь делать?.. Гони его в шею... То бишь проси его сюда... Здрасьте, товарищ... Садитесь, пожалуйста. В кресло садитесь, пожалуйста. На стуле вам слишком твердо будет. Чем могу служить? Приятно, приятно, что заглянули в наши отдаленные палестины!

— Я к вам приехал связь корреспондентскую наладить.

— Да господи! Да боже ж мой! Да я же полгода бьюсь, чтобы наладить ее, проклятую. А она не налаживается. Уж такой народ. Уж до чего дикий народ, я вам скажу по секрету, прямо ужас. Двадцать тысяч раз им твердил: «Пишите, черти полосатые, пишите!» Ни черта они не пишут, только пьянствуют. До чего дошло: несмотря на то, что я перегружен работой, как вы сами понимаете, дорогой товарищ, сам им предлагал: «Пишите, говорю, ради всего святого, я сам вам буду исправлять корреспонденции, сам помогать буду, сам отправлять буду, только пишите, чтоб вам ни дна ни покрышки». Нет, не пишут! Да вот я вам сейчас их позову, полюбуйтесь сами на наше фастовское народонаселение. Курьер, зови служащих ко мне в кабинет.

Когда все пришли, Чемс ласково ухмыльнулся одной щекой корреспонденту, а другой служащим и сказал:

— Вот, дорогие товарищи, зачем я вас пригласил. Извините, что отрываю от работы. Вот товарищ корреспондент прибыл из центра просить вас, товарищи, чтобы вы, товарищи, не ленились корреспондировать нашим столичным товарищам. Неоднократно я уже просил вас, товарищи...

— Это не мы!—испуганно ответили Бабкин, Рабинович, Азеберджаньян и Бандуренко.

— Зарезали, черти!—про себя воскликнул Чемс и продолжал вслух, заглушая ропот народа:—Пишите, товарищи, умоляю вас, пишите! Наша союзная пресса уже давно ждет ваших корреспонденций, как манны небесной, если можно так выразиться? Что же вы молчите?..

Народ безмолвствовал.

ЗАПОРОЖЦЫ ПИШУТ ПИСЬМО ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ

Тамбов, ПЧ-4.
...прошу срочно сообщить: для какой именно цели вами была приобретена местная газета «Тамбовская правда»?

Из служ. записки П от 7 мая с. г.
Сообщил рабкор № 56

ПЧ-4, начальник 4-го участка пути тож, прикрыл поплотнее дверь в канцелярию и сказал:

— Поздравляю вас, дорогие сослуживцы.— Затем повернулся к счетоводу, ядовито расшаркался и добавил: — В особенности вам мерси, уважаемый товарищ Крышкин. Каркали, каркали: выпиши да выпиши,— вот тебе и выписал! Что ж нам теперь ему отвечать?

Молчание.

— Чтецы, читатели,— язвительно продолжал ПЧ-4,— жили мы тихо, мирно, никого не трогали. Так нет, газетку им, вишь, подай. Как же я теперь перед начальством оправдаюсь?

Молчание.

— Молчите? — горько спросил ПЧ-4,— засыпали человека — и к стороне? Сам, мол, отвечай, старая калоша, зачем своих подчиненных соблазнил на газету?

— Гневается? — спросил бухгалтер.

— И не приведи бог! — ответил ПЧ,— и рвет и мечет. Для какой, мол, цели выписали, запрашивает?

— Ехидный вопрос,— заметил старший дорожный мастер.

— Да уж будьте покойны,— отозвался ПЧ,— там умеют спросить. Там просто не спросят. Итак, ваше уважаемое мнение, товарищи читуны?

— Военный совет надо сделать. Придумаем что-нибудь,— посоветовал бухгалтер.

— Правильно! Садитесь, брательники, в кружок,— беспокойно скомандовал ПЧ,— вместе влипли, вместе и ответ держать. По-товарищески.

И все с громом сдвинули стулья.

— Запорожцы пишут письмо турецкому султану, картина знаменитого художника Айвазовского!

— Это Репина картина,— сказала образованная машинистка.

— Черт с ним, не важно! Итак, желающих прошу выкладывать проекты. Что б ему такое написать похитрей?

— Чтоб не подумал, что мы ее читали!

— Бож-же сохрани...

— Не оберешься неприятностей.

— Я имею проект!

— Ну?

— Написать, стало быть, таким образом: ввиду того, что обои во вверенной мне канцелярии вследствие гражданской войны...

— Вася, записывай...

— ...совершенно износились, приобретен комплект газеты «Тамбовская правда» для оклейки упомянутого помещения.

— Здорово!

— Не очень здорово. Напишет запрос — на каком основании не оклеили чистой бумагой.

— А если так попробовать... Пиши, Васюк: вследствие страшной дороговизны папиросной бумаги приобретен мною для употребления служащими вверенного мне участка комплект газеты в качестве раскурочной бумаги.

Основание: газета «Тамбовская правда» печатается на скверной бумаге тонкого качества, полезного для здоровья. Кроме того, невозможность курить «Известия Исполнительного Комитета» вследствие их толщины.

— Хитро!

— А знаете, что можно,— вдруг заявил один из приятелей ПЧ,— вот я придумал, Ванюша, проект...

— Излагай!

Приятель замялся.

— При дамах не могу.

— На ухо скажи.

При тихом хихиканье запорожцев, очевидно догадавшихся, в чем дело, приятель нашептал что-то ПЧ на ухо.

— Дурак,— коротко ответил ПЧ,— сядь.

— Колпаки для ламп делали!

— Запиши.

— Столы обтягивали!

— Дельно!

— Летние фуражки для дорожных мастеров!

— Для топки печей в служебных помещениях!..

Вечером ответ был готов, перестукан на машинке и отправлен:

«В ответ на отношение ваше за № 4393 от 7 мая с. г. сообщаю, что газета «Тамбовская правда» приобретена мною для технических нужд вверенного мне участка, как-то: оклейка служебных помещений, топка печей, обтягивание столов, изготовление колпаков на лампы в канцелярии и изготовление фуражек в качестве летней прозодежды.

Что касается подозрения, будто бы на участке читали газету, сообщаю, что ничего подобного мною не замечено. А в случае обнаружения виновников принимаются срочные меры. С почтением, ваш ПЧ...»

РАБОТА ДОСТИГАЕТ 30 ГРАДУСОВ

Общее собрание транспортной комячейки ст. Троицк Сам.-Злат. не состоялось 20 апреля, так как некоторые партийцы справляли Пасху с выпивкой и избиением жен.

Когда это происшествие обсуждалось на ближайшем собрании, выступил член бюро ячейки и секретарь месткома и заявил, что пить можно, но надо знать и уметь как.

Рабкор Зубочистка

Одинокий человек сидел в помещении комячейки на ст. Икс и тосковал.

— В высшей степени странно. Собрание назначено в 5 часов, а сейчас половина девятого. Что-то ребятишки стали опаздывать.

Дверь впустила еще одного.

— Здравствуй, Петя,— сказал вошедший,— кворум изображаешь? Изображай. Голосуй, Петро!

— Ничего не понимаю,— отозвался первый.— Банкина нету, Кружкина нет.

— Банкин не придет.

— Почему?

— Он пьян.

— Не может быть!

— И Кружкин не придет.

— Почему?

— Он пьян.

— Ну, а где ж остальные?

Наступило молчание. Вошедший стукнул себя пальцем по галстуку.

— Неужели?

— Я не буду скрывать от себя русскую горькую правду,— пояснил второй,— все пьяны. И Горошков, и Сосискин, и Мускат, и Корнеевский, и кандидат Горшаненко. Закрывай, Петя, собрание!

Они потушили лампу и ушли во тьму.

* * *

Праздники кончились, поэтому собрание было полноводно.

— Дорогие товарищи! — говорил Петя с эстрады,— считаю, что такое положение дел недопустимо. Это позор! В день Пасхи я лично сам видел нашего уважаемого товарища Банкина, каковой Банкин вез свою жену...

— Гулять я ее вез, мою птичку,— елейным голосом отозвался Банкин.

— Довольно оригинально вы везли, Банкин! — с негодованием воскликнул Петя.— Супруга ваша ехала физиономией по тротуару, а коса ее находилась в вашей уважаемой правой руке!

Ропот прошел среди непьющих.

— Я хотел взять локон ее волос на память! — растерянно крикнул Банкин, чувствуя, как партбилет колеблется в его кармане.

— Локон? — ядовито спросил Петя,— я никогда не видел, чтобы при взятии локона на память женщину пинали ногами в спину на улице!

— Это мое частное дело,— угасая, ответил Банкин, ясно ощущая ледяную руку укома на своем билете.

Ропот прошел по собранию.

— Это, по-вашему, частное дело? Нет-с, дорогой Банкин, это не частное! Это свинство!!

— Прошу не оскорблять! — крикнул наглый Банкин.

— Вы устраиваете скандалы в публичном месте и этим бросаете тень на всю ячейку! И подаете дурной пример кандидатам и беспартийным! Значит, когда

Мускат бил стекла в своей квартире и угрожал зарезать свою супругу,—и это частное дело? А когда я встретил Кружкина в пасхальном виде, то есть без правого рукава и с заплывшим глазом?! А когда Горшаненко на всю улицу крыл всех встречных по матери — это частное дело?!

— Вы подкапываетесь под нас, товарищ Петя,— неуверенно крикнул Банкин.

Ропот прошел по собранию.

— Товарищи. Позвольте мне слово,— вдруг звучным голосом сказал Всемизвестный (имя его да перейдет в потомство),—я лично против того, чтобы этот вопрос ставить на обсуждение. Это отпадает, товарищи. Позвольте изложить точку зрения. Тут многие дебатируют: можно ли пить? В общем и целом пить можно, но только надо знать, как пить!

— Вот именно!! — дружно закричали на алкогольной крайней правой.

Непьющие ответили ропотом.

— Тихо надо пить,— объявил Всемизвестный.

— Именно! — закричали пьющие, получив неожиданное подкрепление.

— Купил ты, к примеру, три бутылки,— продолжал Всемизвестный,— и...

— Закуску!!

— Тиш-ше!!

— ...Да, и закуску...

— Огурцами хорошо закусывать...

— Тиш-ше!..

— Пришел домой,— продолжал Всемизвестный,— занавески на окнах спустил, чтобы шпионские глаза не нарушили домашнего покоя, пригласил приятеля, жена тебе селедочку очистит, сел, пиджак снял, водочку поставил под кран, чтобы она немножко озябла, а затем, значит, не спеша, на один глоток налил...

— Однако, товарищ Всемизвестный! — воскликнул пораженный Петя,—что вы такое говорите?!

— И никому ты не мешаешь, и никто тебя не трогает,— продолжал Всемизвестный.— Ну, конечно, может у тебя выйти недоразумение с женой, после второй бутылки, скажем. Так не будь же ты ослом. Не тащи ты ее за волосы на улицу! Кому это нужно? Баба любит, чтобы ее били дома. И не бей ты ее по физиономии, потому что на другой день баба ходит по всей станции с

синяками — и все знают. Бей ты ее по разным сокровенным местам! Небось не очень-то пойдет хвастаться.

— Браво!! — закричали Банкин, Закускин и К°.

Аплодисменты загремели на водочной стороне.

Встал Петя и сказал:

— За все свое время я не слыхал более возмутительной речи, чем ваша, товарищ Всемизвестный, и имейте в виду, что я о ней сообщу в «Гудок». Это неслыханное безобразие!!

— Очень я тебя боюсь,— ответил Всемизвестный.— Сообщай!

И конец истории потонул в выкриках собрания.

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СВЯТЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Бумага, адресованная ВЧ-25.
Со ст. Алатырь Казанской дор.
Фельдшерицы Поденко.

Довожу до вашего сведения, что в мое дежурство 15-го июня с. г. в 7 час. вечера в больницу явился в нетрезвом виде представитель учстрахкассы А. К. Сергиевский, без моего ведома вломился в родильное отделение, а оттуда прошел в гинекологическую палату, где начал осматривать белье у женщин, говоря, что оно грязное, кричал, перепугал больных, назвал дежурную фельдшерицу свиньей, а одну из больных проходимкой.

Подпись фельдшерицы.
Подпись сиделки.
Подпись больных.

Подпись *рабкора № 994.*

Хорошо и тихо было в железнодорожной больнице. Вечер. Поправляющиеся больные занимались чтением газет и разных полезных книг. Около тяжелобольных суетились сиделки и фельдшерицы.

Из родильного отделения доносились временами стоны.

Там — рожали.

Словом, все как полагается в приличном месте.

И вот... раздались громкие шаги, затем негромкое икание, и в больнице появился гражданин. Сильнейший запах пива появился вслед за гражданином и смешался с запахом иода и хлороформа.

— Позвольте... э... узнать, где у вас тут... э... родильное отделение? — спросил гражданин, загадочно улыбаясь.

— А вам зачем? — удивленно осведомилась фельдшерица.

— Я родить желаю,— пояснил гражданин.

— Как — родить? Вы — мужчина,— ответила фельдшерица, не веря своим ушам.

— А п-почем вы знаете? Хи-хи! Впрочем, я пошутил. Я... пошутил, м-моя цыпочка,— молвил гражданин и сделал попытку взять фельдшерицу за подбородок, но промахнулся.

— Я вам не цыпочка,— неуверенно ответила фельдшерица, пораженная уверенными действиями посетителя,— а кто вы такой?

— Я, м-моя м-милая, представитель учстрахкассы,— объяснил дорогой гость.

— Что же вам угодно?

— А вот сейчас узнаете,— зловеще молвил гость.

Тут он очень ловко открыл дверь в родильное и появился там во всей своей красоте. Пораженные ею родильницы встретили посетителя легким визгом.

— Я в-вам помешал? — обиженно спросил гость.

— Гражданин, уйдите, что вы! — в ужасе сказала фельдшерица.

— Довольно странно, гм... как же это я уйду? Только что пришел и сейчас же уйду?.. Нет-с, я сейчас белье буду осматривать.

С этими словами посетитель сделал пять косых шагов к крайней койке.

В родильном завыли.

Несколько ошеломленный, посетитель покачался, как маятник, и заметил:

— Ну, л-ладно. Если вы такие пугливые... я... зайду па-па-зн-е-е.

И вышел, и пошел в гинекологическое, и направился к крайней койке, и взялся за одеяло.

Фельдшерица набралась храбрости.

— Прошу прекратить этот осмотр, вы беспокоите больных.

— Что-о?! — спросил посетитель, и ярость начала выступать на его малиновом лице,— как ты сказала? Я беспокою? Я?! Я?! Я?!! (Головы сиделок появились в дверях.) Я?!! Член учстрахкассы, беспокою больных? Да ты знаешь, кто ты такая после всех твоих замечаний?

— Кто? — спросила бледная фельдшерица.

— Свинья ты, вот ты кто!

Фельдшерица вынула носовой платок и заплакала в него.

— Вон! — гаркнул вдруг посетитель на сиделок таким голосом, что те мгновенно провалились сквозь землю. Уничтожив таким образом низший персонал, алкогольный ревизор вновь обратился к среднему персоналу, именно к той же фельдшерице.

— Ты знаешь, что я с тобой могу сделать? Ты у меня в 24 минуты вылетишь на улицу... и на этой улице сгниешь под забором... Ты у меня пятки будешь лизать и просить прощения. Н-но. Я т-тебя не прощу!.. Пойми, несознательная личность, что это моя святая обязанность — осмотр больных и выявление их нужд. Может быть, они на что-нибудь жалуются?

— Гражданин,— взмолился женский голос из-под одеяла,— уйдите вы отсюда...

— Под каким одеялом это сказали?! — грозно осведомился гость.— Под этим, с полосками?! Молчи, проходимка!!

Под одеялом с полосками заплакали. Потом заплакали под другим одеялом.

Ревизор покачался на месте и сказал:

— Хорошо-с, очень хорошо вы меня приняли. Так и запишем. Будете вы помнить, как оскорблять представителя страхкассы при исполнении им своих обязанностей. Я вам покажу... кузькину мать...

И с этими словами «высокий» посетитель под дружный женский плач отбыл из больницы...

* * *

Куда — мне неизвестно. Но, во всяком случае, да послужит ему мой фельетон на дальнейшем его пути фонарем.

ЧЕЛОВЕК С ГРАДУСНИКОМ

> У нас на станции рабочий в летучке заболел, врач к нему приехал, поставил градусник да и забыл про него, уехал на дрезине, а больной так, с градусником, и остался.
>
> *Рабкор 1212*

I

Врач завинтился совершенно. Приехал на станцию, осмотрел пять человек с катаром желудка. Одному выписал соду три раза в день по чайной ложке, другому соду три раза в день по пол чайной ложки, третьему — один раз в день по $^1/_4$ чайной ложки, четвертому и пятому для разнообразия через день по ложке, шестой ногу сломал, двое страдали ревматизмом, 1 — запором, жена стрелочника жаловалась, что видит во сне покойников, двум не выдали пособия по болезни, дорожная мастерша неожиданно родила...

Одним словом, когда нужно было садиться на дрезину, в голове у врача было только одно: «Ко щам пора, дьявольски устал...»

И тут прибежали и сказали, что в летучке один заболел. Врач только тихо крякнул и полетел к больному.

— Тэк-с. Язык покажите, голубчик. Паршивый язык! Когда заболел? 13-го? 15-го?.. Ах, 16-го... Хорошо, то бишь плохо... Сколько тебе лет? То есть я хотел спросить: живот болит? Ах, не болит?.. Болит?.. Тут болит?

— Ой-о...

— Постой, постой, не кричи. А тут?..

— Ого-го...

— Постой, не кричите.

— Дрезина готова,— послышалось за дверью.

— Сейчас, одну минуту... Голова болит?.. Когда заболела? То есть я хотел спросить: поясницу ломит?.. Ага! А коленки?.. Покажи коленку. Сапог-то стащи!

— У меня в прошлом году...

— А в этом?.. Так... А в будущем?.. Фу, черт, я хотел спросить: в позапрошлом?.. Селедки не ешь! Расстегни рубашку. Вот те градусник. Да не раздави смотри. Казенный.

— Дрезина дожидается!

— Счас, счас, счас!.. Рецепт напишу только. У тебя инфлуенца, дядя. Отпуск тебе напишу на три дня. Как твоя фамилия? То есть я хотел спросить: ты женатый? Холостой? Какого ты полу?.. Фу, черт, то есть я хотел спросить: ты застрахованный?

— Дрезина ждет!

— Счас! Вот тебе рецепт. Порошки будешь принимать. По одному порошку. Селедки не ешь! Ну, до свиданья.

— Покорнейше вас благодарю!

— Дрезина...

— Да, да, да... Еду, еду, еду...

II

Через три дня в квартире доктора.

— Маня, ты не видела, куда я градусник дел?

— На письменном столе.

— Это мой. А где казенный, с черной шапочкой? Черт его знает, очевидно, потерял! Потерял, а шут его знает — где. Придется покупать.

III

Через пять дней на станции сидел человек в куртке с бугром под левой мышкой и рассказывал:

— Замечательный врач. Прямо скажу, выдающий врач! Ну до чего быстрый, как молния! Порх, порх... Сейчас, говорит, язык покажи, пальцем в живот ткнул, я свету не взвидел, все выспросил, когда да как... Из кассы 4 с полтиной выписал.

— Ну, что ж, вылечил? Капли, наверно, давал. У него капли есть замечательные...

— Да, понимаешь, не каплями. Градусником. Вот тебе, грит, градусник, носи, говорит, его на здоровье, только не раздави — казенный.

— Даром?

— Ни копейки не взяли за градусник. Страхкассовый градусник.

— У нас хорошо. Зуб Петюкову вставили фарфоровый тоже даром.

— И помогает градусник?

— Говорю тебе, как рукой сняло. Спины не мог разогнуть. А на другой день после градусника полегчало. Опять же и голова две недели болела: как вечер, так и сверлит темя, сверлит... А теперь, с градусником, хоть бы ты что!

— До чего наука доходит!

— Только неудобство чрезвычайное при работе. Да я уж приловчился. Бинтом его привязал под мышку, он и сидит там, сукин сын.

— Дай мне поносить.

— Ишь ты, хитрый!

ПО ПОВОДУ БИТЬЯ ЖЕН

Лежит передо мною замечательное письмо. Вот выдержки из него:

«Я — семьянин, а потому знаю, что большая часть семейных сцен разыгрывается на почве материальной необеспеченности. Жена пищит: «Вот-де, посмотри на таких-то знакомых, как они живут!»... Подобного рода аргументация доводит до белого каления. Беда, если глава семьи слаб на руку и заедет в затылок!..

Вот в этом случае, по моему мнению, до некоторой степени полезно обратиться в местком, но не с жалобой, а за советом, и не с тем, чтобы проучить драчуна, а с тем, чтобы устранить причину, вызывающую семейные ссоры... Местком — не судья, но, как союзный орган, на обязанности которого лежит, между прочим, забота о благосостоянии членов, может изыскать средства, помочь угнетаемой возбуждением, например, ходатайства о предоставлении угнетателю службы, более обеспечивающей его существование...»

* * *

Дорогой товарищ семьянин! Позвольте вам нарисовать картину в месткоме после проведения в жизнь вашего проекта.

Является некий семьянин в местком.

— Вам что?

— Жену сегодня изувечил.

— Тэк-с, чем же вы ее?

— Тарелкой фабрики бывшего Попова.

— Э, чудак! Кто ж тарелками дерется? Посуда денег стоит. Взяли бы кочергу. Ведь, чай, расхлопали тарелку?

— Понятное дело. Голову тоже.

— Ну, голова дело десятое. Голова и заживет, в крайнем случае. Ведь вы, надеюсь, не насмерть уходили вашу супругу?

— Ништо ей!

— Ну вот, а тарелочка не заживет. Бесхозяйственная вы личность. По какому же поводу у вас с супругой дискуссия вышла? На какую вы тему ее били?

— Да... кха... Жалованье нам вчера выдавали. Ну, понятное дело, зашли мы с кумом...

— В пивную?

— Конечно. Ну, спросили парочку... Затем еще парочку... Потом еще парочку...

— Вы дюжинками считайте, скорее будет.

— М-да... выпили мы, стало быть... Пошли опять...

— Домой?

— То-то, что к Сидорову... Мадеру у него пили...

— Тэк-с... Дальше...

— Дальше я где-то был, только, хоть убейте, не помню — где. Утром сегодня являюсь, а эта змея пристает...

— Виноват, это кто ж змея?

— Жена моя, понятно. Где, говорит, жалованье, пьяница? Слово за слово... ну, не стерпел я...

— Да... Что ж нам с вами делать? Вы по какому разряду?

— По 9-му.

— Ну, ладно, получайте 10-й!

— Покорнейше благодарю!!.

* * *

Из десятого, после того как он своей змее руку сломал,— в 12-й. Тогда он ей ухо откусил — в 16-й. Тогда он ей глаза выбил сапогом — в 24-й разряд тарифной сетки. Но в сетке выше разряда нету. Спрашивается, ежели он ей кишки выпустит, куда ж его дальше?

— Персональную ставку давать?

Ну нет, это слишком жирно будет!

* * *

Был человек начальником станции, сломал три ребра жене, его сделали ревизором движения! Тогда он ее и вовсе насмерть ухлопал. Ан все высшие должности заняты. Спрашивается, как его наградить? Придется деньгами выдать!

* * *

Нет, семьянин! Ваш проект плохой. Бьют жен вовсе не от необеспеченности. Бьют от темноты, от дикости и от алкоголизма, и никакие разряды тут не помогут. Хоть начальником тяги сделай драчуна, все равно он будет работать кулаками.

Иные средства нужны для лечения семейных неурядиц!

НЕГРИТЯНСКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Письма рабкора Лага

Когда читаешь в разных газетах про избиение негров в Америке, то не особенно бываешь поражен, потому что в цивилизованных странах это — явление жизни.

Но когда происходит происшествие в нашей стране, то бываешь поражен до мозга костей! В социалистическом государстве по морде лупить никого нельзя, хотя бы это было лицо Кириллыча.

Итак, 19 июня с. г. был день величайшего торжества, а равно и величайшей горести всех жен и детей. Именно: произошла получка, и буфет на станции Ряжск-I наполнился нашими ответственными работниками до отказу. В числе их удостоил буфет своим визитом ответственный наш кооперативный работник некто В. Раз!

Засим член месткома, он же член упрофбюро, он же известный скандалист, он же алкоголик, чрезвычайно знаменитая личность, фамилия коего на букву Ха. Два!

Три — бывший член союза Корелин. Ничего особенного, довольно симпатичная личность, не прославившая себя выдающимися подвигами в республике, преимущественно монтер.

И, в-четвертых, разные другие личности

В общем, сели они за столики и напились до предельной нагрузки, по 420 пудов на ось, а засим и выше, отчего у них началось горение шеек и букс.

Первым сошел с рельсов именно наш кооперативный деятель и громогласно заявил:

— Братцы! Мне начинает казаться, что мы не на станции Ряжск, а в Америке, в городе Чикаго!

Почему ему померещилось Чикаго, кто его знает.

Остальные заревели, как дети, брошенные матерью:

— Пропали мы теперь! Не достать нам, видно, больше русской горькой!

— Вы ошибаетесь, как рыба об лед! — объявил им наш кооператор и рявкнул:

— Псст!.. Эй, негр!

И появился официант Кириллыч. Никакой он не негр, а обыкновенный белый человек.

— Что угодно?

— Дай нам бутылочку русской горькой.

— Сию минуту!

И через некоторое время подает бутылку русской горькой и при этом заявляет:

— Пожалуйте деньги...

Тут вся компания возмутилась до самого дна:

— Как, ты нам не доверяешь?! Да ты знаешь ли, кто такие мы?!

А Кириллыч возьми да и ответь:

— Очень хорошо знаю (как ему не знать! Он-де оттого и деньги спросил).

Тут поднялся наш разъяренный кооператор В. и крикнул:

— Ах, так?!

И при этом урезал своим кооперативно-ответственным кулаком Кириллыча по уху так, что у всей публики в 1-м классе из глаз посыпались искры.

После чего произошел скандал.

Как вы смотрите на такие происшествия, товарищи?

Рабкор *Лаг.*

Мы смотрим на такие происшествия крайне отрицательно, поэтому и печатаем ваше письмо.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ

Хвала тебе, Ай-Петри великан,
В одежде царственной из сосен!
Взошел сегодня на твой мощный стан
Штабс-капитан в отставке Просин!

Из какого-то рассказа

НЕВРАСТЕНИЯ ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Улицы начинают казаться слишком пыльными. В трамвае сесть нельзя — почему так мало трамваев? Целый день мучительно хочется пива, а когда доберешься до него, в нёбо вонзается воблина кость и, оказывается, пиво никому не нужно. Теплое, в голове встает болотный туман, и хочется не моченого гороху, а ехать под Москву в Покровское-Стрешнево.

Но на Страстной площади, как волки, воют наглецы с букетами, похожими на конские хвосты.

На службе придираются: секретарь — примазавшаяся личность в треснувшем пенсне — невыносим. Нельзя же в течение двух лет без отдыха созерцать секретарский лик!

Сослуживцы, людишки себе на уме, явные мещане, несмотря на портреты вождей в петлицах.

Домоуправление начинает какие-то асфальтовые фокусы, и мало того, что разворотило весь двор, но еще на это требует денег. На обшие собрания идти не хочется, а в «Аквариуме» какой-то дьявол в светлых трусиках ходит по проволоке, и юродство его раздражает до невралгии.

Словом, когда человек в Москве начинает лезть на стену, значит, он доспел, и ему, кто бы он ни был — бухгалтер ли, журналист или рабочий,— ему надо ехать в Крым.

В какое именно место Крыма?

КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ЗАГАДКА

— Натурально, в Коктебель,— не задумываясь, ответил приятель.— Воздух там, солнце, горы, море, пляж, камни. Карадаг, красота!

В эту ночь мне приснился Коктебель, а моя мансарда на Пречистенке показалась мне душной, полной жирных, несколько в изумруд отливающих мух.

— Я еду в Коктебель,— сказал я второму приятелю.

— Я знаю, что вы человек недалекий,— ответил тот, закуривая мою папиросу.

— Объяснитесь?

— Нечего и объясняться. От ветру сдохнете.

— Какого ветру?

— Весь июль и август дует, как в форточку. Зунд.

Ушел я от него.

— Я в Коктебель хочу ехать,— неуверенно сказал я третьему и прибавил: — Только прошу меня не оскорблять, я этого не позволю.

Посмотрел он удивленно и ответил так:

— Счастливец! Море, воздух, солнце...

— Знаю. Только вот ветер — зунд.

— Кто сказал?

— Катошихин.

— Да ведь он же дурак! Он дальше Малаховки от Москвы не отъезжал. Зунд — такого и ветра нет.

— Ну, хорошо.

Дама сказала:

— Дует, но только в августе. Июль — прелесть.

И сейчас же после нее сказал мужчина:

— Ветер в июне — это верно, а июль — август будете как в раю.

— А, черт вас всех возьми!

— Никого ты не слушай,— сказала моя жена,— ты издергался, тебе нужен отдых...

Я отправился на Кузнецкий мост и купил книжку в ядовито-синем переплете с золотым словом «Крым» за 1 руб. 50 коп.

Я — патентованный городской чудак, скептик и неврастеник — боялся ее читать. «Раз путеводитель, значит, будет хвалить».

Дома при опостылевшем свете рабочей лампы раскрыли мы книжечку и увидали на странице 370-й («Крым». Путеводитель. Под общей редакцией члена президиума Моск. физиотерапевтического общества и т. д. Изд. «Земли и Фабрики») буквально о Коктебеле такое:

«Причиной отсутствия зелени является «Крымский сирокко», который часто в конце июля и августа начинает дуть неделями в долину, сушит растения, воздух насыщает мелкой пылью, до исступления доводит нервных больных... Беспрерывный ветер, не прекращавшийся в течение 3-х недель, до исступления доводил неврастени-

ков. Нарушались в организме все функции, и больной чувствовал себя хуже, чем до приезда в Коктебель».

(В этом месте жена моя заплакала.)

«...Отсутствие воды — трагедия курорта,— читал я на стр. 370—371,— колодезная вода соленая, с резким запахом моря...»

— Перестань, детка, ты испортишь себе глаза...

«...К отрицательным сторонам Коктебеля приходится отнести отсутствие освещения, канализации, гостиниц, магазинов, неудобства сообщения, полное отсутствие медицинской помощи, отсутствие санитарного надзора и дороговизну жизни...»

— Довольно! — нервно сказала жена.

Дверь открылась.

— Вам письмо.

В письме было:

«Приезжайте к нам в Коктебель. Великолепно. Начали купаться. Обед 70 коп.».

И мы поехали...

В СЕВАСТОПОЛЬ!

— Невозможно,— повторял я, и голова моя металась, как у зарезанного, и стукалась о кузов. Я соображал, хватит ли мне денег? Шел дождь. Извозчик как будто на месте топтался, а Москва ехала назад. Уезжали пивные с красными раками во фраках на стеклах, и серые дома, и глазастые машины хрюкали в сетке дождя. Лежа в пролетке, коленями придерживая мюровскую покупку, я рукой сжимал тощий кошелек с деньгами, видел мысленно зеленое море, вспоминал, не забыл ли я запереть комнату...

«1-с» великолепен. Висел совершенно молочный туман, у каждой двери стоял проводник с фонарем, был до прочтения плацкарты недоступен и величественен, по прочтении предупредителен. В окнах было светло, а в вагоне-ресторане на белых скатертях бутылки боржома и красного вина.

Коварно, после очень негромкого второго звонка, скорый снялся и вышел. Москва в пять минут завернулась в густейший черный плащ, ушла в землю и умолкла.

Над головой висел вентилятор-пропеллер. Официан-

ты были сверхчеловечески вежливы, возбуждая даже дрожь в публике. Я пил пиво баварское и недоумевал, почему глухие шторы скрывают от меня подмосковную природу.

— Камнями швыряют, сукины сыны,— пояснил мне услужающий, изгибаясь, как змея.

В жестком вагоне ложились спать. Я вступил в беседу с проводником, и он на сон грядущий рассказал мне о том, как крадут чемоданы. Я осведомился о том, какие места он считает наиболее опасными. Выяснилось: Тулу, Орел, Курск, Харьков. Я дал ему рубль за рассказ, рассчитывая впоследствии использовать его. Взамен рубля я получил от проводника мягкий тюфячок (пломбированное белье и тюфяк стоят 3 рубля). Мой мюровский чемодан с блестящими застежками выглядел слишком аппетитно.

«Его украдут в Орле»,— думал я горько.

Мой сосед привязал чемодан веревкой к вешалке, я свой маленький саквояж положил рядом с собой и конец своего галстука прикрепил к его ручке. Ночью я благодаря этому видел страшный сон и чуть не удавился. Тула и Орел остались где-то позади меня, и очнулся я не то в Курске, не то в Белгороде. Я глянул в окно и расстроился. Непогода и холод тянулись за сотни верст от Москвы. Небо затягивало пушечным дымом, солнце старалось выбраться, и это ему не удавалось.

Летели поля, мы резали на юг, на юг опять шли из вагона в вагон, проходили через мудрую и блестящую международку, ели зеленые щи. Штор не было, никто камнями не швырял, временами сек дождь и косыми столбами уходил за поля.

Прошли от Москвы до Джанкоя 30 часов. Возле меня стоял чемодан от Мерилиза, а напротив стоял в непромокаемом пальто начальник станции Джанкоя с лицом совершенно синим от холода. В Москве было много теплей.

Оказалось, что феодосийского поезда нужно ждать 7 часов.

В зале первого класса, за стойкой, иконописный, похожий на завоевателя Мамая, татарин поил бессонную пересадочную публику чаем. Малодушие по поводу холода исчезло, лишь только появилось солнце. Оно лезло из-за товарных вагонов и боролось с облаками. Акации торчали в окнах. Парикмахер обрил мне голову, пока я читал его таксу и объявление:

«Кредит портит отношение».

Затем джентльмен американской складки заговорил со мной и сказал, что в Коктебель ехать не советует, а лучше в тысячу раз в Отузах. Там — розы, вино, море, комнатка 20 руб. в месяц, а он там, в Отузах, председатель. Чего? Забыл. Не то чего-то кооперативного, не то потребительского. Одним словом, он и винодел.

Солнце тем временем вылезло, и я отправился осматривать Джанкой. Юркий мальчишка, после того как я с размаху сел в джанкойскую грязь, стал чистить мне башмаки. На мой вопрос, сколько ему нужно заплатить, льстиво ответил:

— Сколько хочете.

А когда я ему дал 30 коп., завыл на весь Джанкой, что я его ограбил. Сбежались какие-то женщины, и одна из них сказала мальчишке:

— Ты же мерзавец. Тебе же гривенник следует с проезжего.

И мне:

— Дайте ему по морде, гражданин.

— Откуда вы узнали, что я приезжий? — ошеломленно улыбаясь, спросил я и дал мальчишке еще 20 коп. (Он черный, как навозный жук, очень рассудительный, бойкий, лет 12, если попадете в Джанкой — бойтесь его.)

Женщина вместо ответа посмотрела на носки моих башмаков. Я ахнул. Негодяй их вымазал чем-то, что не слезает до сих пор. Одним словом, башмаки стали похожи на глиняные горшки.

Феодосийский поезд пришел, пришла гроза, потом стук колес, и мы на юг, на берег моря.

КОКТЕБЕЛЬ. ФЕРНАМПИКСЫ И «ЛЯГУШКИ»

Представьте себе полукруглую бухту, врезанную с одной стороны между мрачным, нависшим над морем массивом, это — развороченный, в незапамятные времена погасший вулкан Карадаг; с другой — между желто-бурыми, сверху точно по линейке срезанными грядами, переходящими в мыс — Прыжок Козы.

В бухте — курорт Коктебель.

В нем замечательный пляж, один из лучших на крымской жемчужине: полоса песку, а у самого моря полоска мелких, облизанных морем разноцветных камней.

Прежде всего о них. Коктебель наполнен людьми, болеющими «каменною болезнью». Приезжает человек, и если он умный — снимает штаны, вытряхивает из них московско-тульскую дорожную пыль, вешает в шкаф, надевает короткие трусики, и вот он на берегу.

Если не умный — остается в длинных брюках, лишающих его ноги крымского воздуха, но все-таки он на берегу, черт его возьми!

Солнце порою жжет дико, ходит на берег волна с белыми венцами, и тело отходит, голова немного пьянеет после душных ущелий Москвы.

На закате новоприбывший является на дачу с чуть-чуть ошалевшими глазами и выгружает из кармана камни.

— Посмотрите-ка, что я нашел!

— Замечательно,— отвечают ему двухнедельные старожилы, в голосе их слышна подозрительно-фальшивая восторженность,— просто изумительно! Ты знаешь, когда этот камешек особенно красив?

— Когда? — спрашивает наивный москвич.

— Если его на закате бросить в воду, он необыкновенно красиво летит, ты попробуй!

Приезжий обижается. Но проходит несколько дней, и он начинает понимать. Под окном его комнаты лежат грудами белые, серые и розоватые голыши, сам он их нашел, сам же и выбросил. Теперь он ищет уже настоящие обломки обточенного сердолика, прозрачные камни, камни в полосах и рисунках.

По пляжу слоняются фигуры: кожа у них на шее и руках лупится, физиономии коричневые, сидит и роется, ползает на животе.

Не мешайте людям — они ищут фернампиксы! Этим загадочным словом местные коллекционеры окрестили красивые породистые камни. Кроме фернампиксов, попадаются «лягушки», прелестные миниатюрные камни, покрытые цветными глазками. Не брезгуют любители и «пейзажными собаками». Так называются простые серые камни, но с каким-нибудь фантастическим рисунком. В одном и том же пейзаже на собаке может каждый, как в гамлетовском облике, увидеть все, что ему хочется.

— Вася, глянь-ка, что на собачке нарисовано!

— Ах, черт возьми, действительно, вылитый Мефистофель...

— Сам ты Мефистофель! Это Большой театр в Москве!

Те, кто камней не собирает, просто купается, и купание в Коктебеле первоклассное. На раскаленном песке в теле рассасывается городская гниль, исчезают ломоты и боли в коленях и пояснице, оживают ревматики и золотушные.

Только одно примечание: Коктебель не всем полезен, а иным и вреден. Сюда нельзя ездить людям с очень расстроенной нервной системой.

Я разъясняю Коктебель: ветер в нем дует не в мае или августе, как мне говорили, а дует он круглый год ежедневно, не бывает без ветра ничего, даже в жару. И ветер раздражает неврастеников.

Коктебель из всех курортов Крыма наиболее простенький. Т. е. в нем сравнительно мало нэпманов, но все-таки они есть. На стене оставшегося от довоенного времени помещения поэтического кафе «Бубны», ныне, к счастью, закрытого и наполовину обращенного в развалины, красовалась знаменитая надпись:

«Нормальный дачник—друг природы.

Стыдитесь, голые уроды!»

Нормальный дачник был изображен в твердой соломенной шляпе, при галстуке, пиджаке и брюках с отворотами.

Эти друзья природы прибывают в Коктебель и ныне из Москвы, и точно в таком виде, как нарисовано на «Бубнах». С ними жены и свояченицы: губы тускло-малиновые, волосы завиты, бюстгальтер, кремовые чулки и лакированные туфли.

Отличительный признак этой категории: на закате, когда край моря одевается мглой и каждого тянет улететь куда-то ввысь или вдаль, и позже, когда от луны ложится на воду ломкий золотой столб и волна у берега шипит и качается, эти сидят на лавочках спиною к морю, лицом к кооперативу и едят черешни.

О «голых уродах». Они-то самые умные и есть. Они становятся коричневыми, они понимают, что кожа в Крыму должна дышать, иначе не нужно и ездить. Нэпман ни за что не разденется. Хоть его озолоти, он не расстанется с брюками и пиджаком. В брюках часы и кошелек, а в пиджаке бумажник. Ходят раздетыми в трусиках комсомольцы, члены профсоюзов из тех, что попали на отдых в Крым, и наиболее смышленые дачники.

Они пользуются не только морем, они влезают на скалы Карадага, и раз, проходя на парусной шлюпке под скалистыми отвесами, мимо страшных и темных гротов, на громадной высоте, на козьих тропах, таких, что если смотреть вверх — немного холодеет в животе, я видел белые пятна рубашек и красненькие головные повязки. Как они туда забрались?!

Некогда в Коктебеле, еще в довоенное время, застрял какой-то бездомный студент. Есть ему было нечего. Его заметил содержатель единственной тогда, а ныне и вовсе бывшей гостиницы Коктебеля и заказал ему брошюру рекламного характера.

Три месяца сидел на полном пансионе студент, прославляя судьбу, растолстел и написал акафист Коктебелю, наполнив его перлами красноречия, не уступающими фернампиксам:

«...и дамы, привыкшие в других местах к другим манерам, долго бродят по песку в фиговых костюмах, стыдливо поднимая подолы...»

Никаких подолов никто стыдливо не поднимает. В жаркие дни лежат обожженные и обветренные мужские и женские голые тела.

«КАЧАЕТ»

Пароход «Игнат Сергеев», однотрубный, двухклассный (только второй и третий класс), пришел в Феодосию в самую жару — в два часа дня. Он долго выл у пристани моргагентства. Цепи ржаво драли уши, и вертелись в воздухе на крюках громаднейшие клубы прессованного сена, которое матросы грузили в трюм.

Гомон стоял на пристани. Мальчишки-носильщики грохотали своими тележками, тащили сундуки и корзины. Народу ехало много, и все койки второго класса были заняты еще от Батума. Касса продавала второй класс без коек, на диваны кают-компании, где есть пианино и фисгармония.

Именно туда я взял билет, и именно этого делать не следовало, а почему — об этом ниже.

«Игнат», постояв около часа, выбросил таблицу «отход в 5 ч. 20 мин.» и вышел в 6 ч. 30 мин. Произошло это на закате. Феодосия стала отплывать назад и развернулась всей своей белизной. В иллюминаторы подуло свежестью...

Буфетчик со своим подручным (к слову: наглые, невежливые и почему-то оба пьяные) раскинули на столах скатерти, по скатертям раскидали тарелки, такие тяжелые и толстые, что их ни обо что нельзя расколотить, и подали кому бифштекс в виде подметки с сальным картофелем, кому половину костлявого цыпленка, бутылки пива. В это время «Игнат» уже лез в открытое море.

Лучший момент для бифштекса с пивом трудно выбрать. Корму (а кают-компания на корме) стало медленно, плавно и мягко поднимать, затем медленно и еще более плавно опускать куда-то очень глубоко.

Первым взяло гражданина соседа. Он остановился над своим бифштексом на полдороге, когда на тарелке лежал еще порядочный кусок. И видно было, что бифштекс ему разонравился. Затем его лицо из румяного превратилось в прозрачно-зеленое, покрытое мелким потом.

Нежным голосом он произнес:

— Дайте нарзану...

Буфетчик с равнодушно-наглыми глазками брякнул перед ним бутылки. Но гражданин пить не стал, а поднялся и начал уходить. Его косо понесло по ковровой дорожке.

— Качает! — весело сказал чей-то тенор в коридоре.

Благообразная нянька, укачивавшая ребенка в Феодосии, превратилась в море в старуху с серым лицом, а ребенка вдруг плюхнула как куль на диван.

Мерно... вверх... подпирает грудобрюшную преграду... вниз...

«Черт меня дернул спрашивать бифштекс...»

Кают-компания опустела. В коридоре, где грудой до стеклянного потолка лежали чемоданы, синеющая дама на мягком диванчике говорила сквозь зубы своей спутнице:

— Ох... Говорила я, что нужно поездом в Симферополь...

«И на какого черта я брал билет второго класса, все равно на палубе придется сидеть». Весь мир был полон запахом бифштекса, и тот ощутительно ворочался в желудке. Организм требовал третьего класса, т. е. палубы.

Там уже был полный разгар. Старуха армянка со стоном ползла по полу к борту. Три гражданина и очень много гражданок висели на перилах, как пустые костюмы, головы их мотались.

Помощник капитана, розовый, упитанный и свежий, как огурчик, шел в синей форме и белых туфлях вдоль борта и всех утешал:

— Ничего, ничего... Дань морю.

Волна шла (издали из Феодосии море казалось ровненьким, с маленькой рябью) мощная, крупная, черная, величиной с хорошую футбольную площадку, порою с растрепанным седоватым гребнем, медленно переваливалась, подкатывалась под «Игната», и нос его лез... ле-ез... ох... вверх... вниз.

Садился вечер. Мимо плыл Карадаг. Сердитый и чернеющий в тумане, где-то за ним растворялся во мгле плоский Коктебель. Прощай. Прощай.

Пробовал смотреть в небо — плохо. На горы — еще хуже. О волне — нечего и говорить...

Когда я отошел от борта, резко полегчало. Я тотчас лег на палубе и стал засыпать... Горы еще мерещились в сизом дыму.

ЯЛТА

Но до чего же она хороша!

Ночью, близ самого рассвета, в черноте один дрожащий огонь превращается в два, в три, а три огня — в семь,— но уже не огней, а драгоценных камней...

В кают-компании дают полный свет.

— Ялта.

Вот она мерцает уже многоярусно в иллюминаторе.

Еще легчает, еще. Огни в иллюминаторе пропадают. Мы у подножия их. Начинается суета, тени на диване оживают, появляются чемоданы. Вдруг утихает мерное ворчание в утробе «Игната», слышен грохот цепей. И сразу же качает.

Конечно — Ялта!

Ялта и хороша, Ялта и отвратительна, и эти свойства в ней постоянно перемешиваются. Сразу же надо зверски торговаться. Ялта — город-курорт: на приезжих, т. е., я хочу сказать, прибывающих одиночным порядком, смотрят как на доходный улов.

По спящей еще черной в ночи набережной носильщик привел куда-то, что показалось похожим на дворцовые террасы. Смутно белеет камень, парапеты, кипарисы, купы подстриженной зелени, луна догорает над волнорезом сзади, а впереди дворец,— черт возьми!

Наверное, привел в самую дорогую гостиницу.

Так и оказалось: конечно, самая дорогая. Номера в два рубля «все заняты». Есть в три рубля.

— А почему электричество не горит?

— Курорт-с!

— Ну, ладно, все равно.

В окнах гостиницы ярусами Ялта. Светлеет. По горам цепляются облака, и льется воздух. Нигде и никогда таким воздухом, как в Ялте, не дышал. Не может не поправиться человек на таком воздухе. Он сладкий, холодный, пахнет цветами, если глубже вздохнуть — ощущаешь, как он входит струей. Нет лучше воздуха, чем в Ялте!

Наутро Ялта встала умытая дождем. На набережной суета больше, чем на Тверской: магазинчики налеплены один рядом с другим, все это настежь, все громоздится и кричит, завалено татарскими тюбетейками, персиками и черешнями, мундштуками и сетчатым бельем, футбольными мячами и винными бутылками, духами и подтяжками, пирожными. Торгуют греки, татары, русские, евреи. Все втридорога, все «по-курортному», и на все спрос. Мимо блещущих витрин непрерывным потоком белые брюки, белые юбки, желтые башмаки, ноги в чулках и без чулок, в белых туфельках.

МОРСКАЯ ЧАСТЬ

Хуже, чем купанья в Ялте, ничего не может быть, т. е. я говорю о купании в самой Ялте, у набережной.

Представьте себе развороченную крупнобулыжную московскую мостовую. Это пляж. Само собой понятно, что он покрыт обрывками газетной бумаги. Не менее понятно, что во имя курортного целомудрия (черт бы его взял, и кому это нужно!) налеплены деревянные, вымазанные жиденькой краской загородки, которые ничего ни от кого не скрывают, и, понятное дело, нет вершка, куда можно было бы плюнуть, не попав в чужие брюки или голый живот. А плюнуть очень надо, в особенности туберкулезному, а туберкулезных в Ялте не занимать. Поэтому пляж в Ялте и заплеван.

Само собою разумеется, что при входе на пляж сколочена скворешница с кассовой дырой, и в этой

скворешнице сидит унылое существо женского пола и цепко отбирает гривенники с одиночных граждан и пятаки с членов профессионального союза.

Диалог в скворешной дыре после купанья:

— Скажите, пожалуйста, вы вот тут собираете пятаки, а вам известно, что на вашем пляже купаться невозможно совершенно.

— Хи-хи-хи.

— Нет, вы не хихикайте. Ведь у вас же пляж заплеван, а в Ялту ездят туберкулезные.

— Что же мы можем поделать!

— Плевательницы поставить, надписи на столбах повесить, сторожа на пляж пустить, который бы бумажки убирал.

В ЛИВАДИИ

И вот в Ялте вечер. Иду все выше по укатанным узким улицам и смотрю. И с каждым шагом вверх все больше разворачивается море, и на нем как игрушка с косым парусом застыла шлюпка. Ялта позади с резными белыми домами, с остроконечными кипарисами. Все больше зелени кругом. Здесь дачи по дороге в Ливадию уже целиком прячутся в зеленой стене, выглядывают то крышей, то белыми балконами. Когда спадает жара, по укатанному шоссе я попадаю в парки. Они громадны, чисты, полны очарования. Море теперь далеко у ног внизу, совершенно синее, ровное, как в чашу налито, а на краю чаши, далеко, далеко,—лежит туман.

Здесь среди вылощенных аллей, среди дорожек, проходящих между стен розовых цветников, приютился раскидистый и низкий, шоколадно-штучный дворец Александра III, а выше него, невдалеке, на громадной площадке белый дворец Николая II.

Резчайшим пятном над колоннами на большом полотнище лицо Рыкова. На площадках, усыпанных тонким гравием, группами и в одиночку, с футбольными мячами и без них, расхаживают крестьяне, которые живут в царских комнатах. В обоих дворцах их около 200 человек.

Все это туберкулезные, присланные на поправку из самых отдаленных волостей Союза. Все они одеты одинаково—в белые шапочки, в белые куртки и штаны.

И в этот вечерний, вольный, тихий час сидят на мраморных скамейках, дышат воздухом и смотрят на два моря — парковое зеленое, гигантскими уступами — сколько хватит глаз — падающее на море морское, которое теперь уже в предвечерней мгле совершенно ровное, как стекло.

В небольшом отдалении, за дворцовой церковью, с которой снят крест, за колоколами, висящими низко в прорезанной белой стене (на одном из колоколов выбита на меди голова Александра II с бакенбардами и крутым носом. Голова эта очень мрачно смотрит), вылощенный свитский дом, а у свитского дома звучит гармоника и сидят отдыхающие больные.

Когда приходишь из Ливадии в Ялту, уже глубокий вечер, густой и синий. И вся Ялта сверху до подножия гор залита огнями, и все эти огни дрожат. На набережной сияние. Сплошной поток, отдыхающий, курортный.

В ресторанчике-поплавке скрипки играют вальс из «Фауста». Скрипкам аккомпанирует море, набегая на сваи поплавка, и от этого вальс звучит особенно радостно. Во всех кондитерских, во всех стеклянно-прозрачных лавчонках жадно пьют холодные ледяные напитки и горячий чай.

Ночь разворачивается над Ялтой яркая. Ноги ноют от усталости, но спать не хочется. Хочется смотреть на высокий зеленый огонь над волнорезом и на громадную багровую луну, выходящую из моря. От нее через Черное море к набережной протягивается изломанный широкий золотой столб.

«У АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА»

В верхней Аутке, изрезанной кривыми узенькими уличками, вздирающимися в самое небо, среди татарских лавчонок и белых скученных дач, каменная беловатая ограда, калитка и чистенький двор, усыпанный гравием. Посреди буйно разросшегося сада дом с мезонином идеальной чистоты, и на двери этого дома маленькая медная дощечка: «А. П. Чехов».

Благодаря этой дощечке, когда звонишь, кажется, что он дома и сейчас выйдет. Но выходит средних лет дама,

очень вежливая и приветливая. Это — Марья Павловна Чехова, его сестра. Дом стал музеем, и его можно осматривать.

Как странно здесь.

В этот день Марья Павловна уже показывала дом группе экскурсантов, устала, и нас водила по дому какая-то другая пожилая женщина. Неудобно показалось спросить, кто она такая. Она очень хорошо знает быт чеховской семьи. Видимо, долго жила в ней.

В столовой стол, накрытый белой скатертью, мягкий диван, пианино. Портреты Чехова. Их два. На одном — он девяностых годов,— живой, со смешливыми глазами. «Таким приехал сюда». На другом — в сети морщин. Картина — печальная женщина, и рука ее не кончена. Рисовал брат Чехова.

— Вот здесь сидел Лев Николаевич Толстой, когда приезжал к Антону Павловичу в гости. Но кроме него сидели многие: Бунин и Вересаев, Куприн, Шаляпин, и Художественного театра актеры приезжали к нему репетировать.

В кабинете у Чехова много фотографий. Они прикрыты кисеей. Тут Станиславский и Шаляпин, Комиссаржевская и др.

Какое-то расписное деревянное блюдо, купленное Чеховым на ярмарке на Украине. Блюдо, за которое над Чеховым все домашние смеялись,— вещь никому не нужная.

С карточки на стене глядит один из братьев Чехова, задумчиво возвел взор к небу. Подпись: «И у журавлей, поди, бывают семейные неприятности... Кра...»

Верхние стекла в трехстворчатом окне цветные; от этого в комнате мягкий и странный свет. В нише, за письменным столом, белоснежный диван, над диваном картина Левитана. Зелень и речка — русская природа, густое масло. Грусть и тишина.

И сам Левитан рядом.

При выходе из ниши письменный стол. На нем в скупом немецком порядке карандаши и перья, докторский молоток и почтовые пакеты, которые Чехов не успел уже вскрыть. Они пришли в мае 1904 г., и в мае он уехал за границу умирать.

— В особенности донимали Антона Павловича начинающие писатели. Приедет, читает, а потом спрашивает: «Ну, как вы находите, Антон Павлович?»

А тот был очень деликатный, совестился сказать, что — ерунда. Язык у него не поворачивался. И всем говорил: «Да ничего, хорошо... Работайте!» Не то что Шаляпин, тот прямо так и бухал каждому: «Никакого у вас голоса нет, и артистом вы быть не можете!»

В спальне на столике порошок фенацетина — не успел его принять Чехов,— и его рукой написано «phenal»...— и слово оборвано.

Здесь свечи под зеленым колпаком, и стоит толстый красный шкаф — мать подарила Чехову. Его в семье назвали насмешливо «наш многоуважаемый шкаф», а потом он стал «многоуважаемый» в «Вишневом саду».

НА АВТОМОБИЛЕ ДО СЕВАСТОПОЛЯ

Если придется ехать на автомобиле из Ялты в Севастополь, да сохранит вас небо от каких-либо машин, кроме машин Крымкурсо. Я пожелал сэкономить два рубля — и «сэкономил». Обратился в какую-то артель шоферов. У Крымкурсо место до Севастополя стоит 10 руб., а у этих 8.

Бойкая личность в конторе артели, личность лысая и европейски вежливая, в грязнейшей сорочке, сказала, что в машине поедет пять человек. Когда утром на другой день подали эту машину — я ахнул. Сказать, какой это фирмы машина, не может ни один специалист, ибо в ней не было двух частей с одной и той же фабрики, ибо все были с разных. Правое колесо было «мерседеса» (переднее), два задних были «пеуса», мотор фордовский, кузов черт знает какой! Вероятно, просто русский. Вместо резиновых камер — какая-то рвань.

Все это громыхало, свистело, и передние колеса ехали не просто вперед, а «разъезжались», как пьяные.

И протестовать поздно, и протестовать бесполезно. Можно на севастопольский поезд опоздать, другую машину искать негде.

Шофер нагло, упорно и мрачно улыбается и уверяет, что это лучшая машина в Крыму по своей быстроходности. Кроме того, поехали, конечно, не пять, а 11 человек: 8 пассажиров с багажом и три шофера — двое действующих и третий — бойкое существо в синей блузе, кажется, «автор» этой «первой по быстроходности машины», в полном смысле слова «интернациональной». И мы понеслись.

В Гаспре «первая по быстроходности машина», конечно, сломалась, и все пассажиры этому, конечно, обрадовались.

Заключенный в трубу, бежит холоднейший ключ. Пили из него жадно, лежали, как ящерицы на солнце. Зелени — океан; уступы, скалы...

Шина лопнула в Мисхоре.

Вторая — в Алупке, облитой солнцем. Опять страшно радовались. Навстречу пролетали лакированные машины Крымкурсо с закутанными в шарфы нэпманскими дамами.

Но только не в шарфах и автомобилях нужно проходить этот путь, а пешком. Тогда только можно оценить красу Южного берега.

СЕВАСТОПОЛЬ И КРЫМУ КОНЕЦ

Под вечер, обожженные, пыльные, пьяные от воздуха, катили в беленький раскидистый Севастополь и тут ощутили тоску: «Вот из Крыма нужно уезжать».

Автобандиты отвязали вещи. Угол на одном чемодане был вскрыт, как ножом, и красивым углом был вырван клок из пледа. Все-таки при этой дьявольской езде машина «лизнула» крылом одну из мажар.

Лихие ездоки полюбовались на свою работу и уехали с веселыми гудками, а мы вечером из усеянного звездами Севастополя, в теплый и ароматный вечер, с тоской и сожалением уехали в Москву.

КОГДА МЕРТВЫЕ ВСТАЮТ ИЗ ГРОБОВ...

В наш век чудес не бывает!

Общепризнано

Тем не менее в Кисловодске произошла история, от которой волосы встают дыбом...

Но будем рассказывать по порядку.

17 июня 1925 года, на 8-й год революции, на крыльцо дома № 46 по Шоссейной улице в гор. Кисловодске вышел квартирующий в означенном номере гражданин Корабчевский, бывший стрелок жохра, и громко зарыдал.

Сошлись добрые люди и стали спрашивать:

— Корабчевский, Корабчевский, чего ты рыдаешь, бывший стрелок?

На что тот ответил:

— Как же мне, бывшему стрелку, не рыдать, если сейчас младенец мой Виталий, дорогой мой сыночек, помер!

Бабы завыли, стали расспрашивать:

— Экая оказия, от чего?

— От воспаления легких,—сказал Корабчевский, размазывая по лицу слезы.

Посочувствовали все Корабчевскому и разошлись, а бедный папаша отправился оформлять смерть своего наследника.

И младенчик помер по всей форме.

Доказательством этому служат официальные документы.

Так, например, на бумаге со штампом горисполкома Кисловодска за № 391 от 18 июня с. г. значится:

«СПРАВКА

Кисловодский стол ЗАГС сим удостоверяет, что гр. Корабчевский Виталий 9 месяцев умер 17 июня с. г. от воспаления легких. Акт записан за № 163.

Подпись: Завед. столом ЗАГС

Лидовский.

И с подлинным тоже верно:

Счетовод Минераловодской учстрахкассы

(подпись неразбор.)».

Этого мало. Он не только помер, но и погребен был. И это видно из свидетельства Кисловодского отдела записей актов гражданского состояния, где значится, что ребенок мужского пола Корабчевский Виталий погребен на братском кладбище.

Точка! Лучше помереть трудно.

И однако...

Была зловещая лунная ночь над Кисловодском через несколько дней после погребения Корабчевского-сына.

И вот шел сосед Корабчевского в самом радостном расположении духа, посвистывая, и совершенно трезвый и видит—стоит возле корабчевской квартиры странного вида женщина, вся в белом, а лицо у нее зеленое от луны.

И на руках у нее сверток, а в свертке что-то небольшое. Подошел сосед и говорит:

— Кто это?.. Ах, это вы, мадам Корабчевская?

А та отвечает гробовым голосом:

— Да, я.

— А что это у вас на руках? — спросил сосед с удивлением.

— А это,— ответила женщина глухо,— мой покойный младенчик Виталий.

— Как Виталий? — спросил сосед и почувствовал, что мурашки полезли у него по спине,— ведь Виталия же вашего па-па-па-хоронили?

— Да,— ответила женщина,— а он взял да и пришел обратно.

И в это время лунный луч скользнул по пеленочному конверту, и видит сосед, что на руках у женщины действительно Виталий и лицо у него в зеленоватой тени тления смертного.

— Караул! — закричал сосед и кинулся бежать по Шоссейной улице. Луна глядела из-за кипариса рожей покойника, и соседу чудилось, что холодные руки хватают его за штаны.

Через час наиболее смелые из кисловодцев стояли у крылечка корабчевского дома. И вышел к ним сам Корабчевский и рассказал такую историю:

— Сидим мы с женой позавчера и вдруг слышим стук окошка, выглянули мы — и чуть не померли на месте. Стоит Виталий на воздухе, не касаясь земли, и говорит: «А вот я и пришел!»

— С нами крестная сила!! — взвыл кто-то из бабьего элемента.

— Ну?! — закричали мужчины.

— Ну, и больше ничего,— ответил Корабчевский,— пришлось его принять обратно.

В толпе началось смятение. Лица в лунном свете у всех позеленели. Но в это время луна зашла за облачко и скрыла в глубокой тьме окончание этой жуткой истории.

* * *

В редакции «Гудка» теперь у нас смятение тоже.

Кто кричит: «Чудо!» Кто кричит: «Ничего не понимаю». Кто говорит: «Расследовать надо!!» Вообще — хоть работу бросай!

В самом деле, история ведь гробовая! Проще всего было бы предположить, что Виталий вовсе не помирал, но тогда, позвольте, на каком же основании лекпом Борисов, проживающий по Николаевской улице, в д. № 11, дал ему удостоверение о смерти и на каком основании учстрахкасса выдала на погребение живого человека 17 р. 10 к.?!

А может быть, он не воскресал? Может быть, сосед наврал, может быть, фельетонист сочинил про луну и покойника?

Позвольте, как же не воскресал, когда сотрудник Минераловодской учстрахкассы Владимир Иванович Николаев пишет:

«Выяснилось, что никто из членов семьи указанного т. Корабчевского не умирал, что последний, заручившись документом, незаконно получил пособие на погребение».

Нет, жуткие дела творятся в городе Кисловодске!

КУЛАК БУХГАЛТЕРА

Пъеса

(Может идти вместо «Заговора императрицы»)

ПРОЛОГ

Дверь с надписью «Мужская уборная» в управлении Уссурийской ж. д. в гор. Хабаровске хлопнула, вышел помощник главного бухгалтера Жуков, застегнул китель, подошел к курьерше и хлопнул ее кулаком, произнеся такой спич:

— Не читай во время дежурства книг! Не читай!! Это дело не курьерское, а смотри, что делается в уборной! В уборной!!

Курьерское дело маленькое: заорать, когда тебя бьют.

Курьерша так и сделала. И слетелся со всех сторон народ.

— Жалуйся, тетка, в местком,— кричал раздраженный народ.

И тетка пожаловалась.

МЕСТКОМОВО СУДИЛИЩЕ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

Шмонин, предместкома (грим средних лет, серые брючки, штиблеты на шнурках, выражение лица умное).

Гудзенко, член месткома (грим обыкновенный, в глазах сильное сочувствие компартии, на левой стороне груди два портрета, на правой значки Доброхима и Доброфлота, а в кармане книжка «Друг детей»).

Жуков, побивший, симпатичный.

Курьерша, обыкновенная, в платке.

Публика — статисты из месткома.

Сцена представляет помещение месткома.

Шмонин *(звонит в колокольчик).* Тише! Итак, дорогие товарищи, перед нами факт о якобы побитии курьерши Токаревой нашим уважаемым бухгалтером Жуковым.

Курьерша. Как это «якобы», когда у меня синяк!

Шмонин. Ваше слово впереди. Попрошу вас помолчать. Спрячьте ваш синяк в карман.

Курьерша рыдает.

Публика сочувствует ей.

Шмонин. Тиш-ше! Итак, граждане, разберемся в вышеуказанном прискорбном явлении нашего быта. Что перед нами возникает? Возникает вопрос — какой это пистолет написал нашей курьерше заявление в суд месткома?

Публика изумлена.

Шмонин. Какое это крапивное семя сеет смуту в Советском государстве, натравливая одну часть народонаселения против другой? Ась?

Курьерша. Какое ваше дело, кто писал? Он меня побил, и больше ничего!

Публика гудит.

Шмонин. Прошу не гудеть! Отвечай, тетя, суду, кто писал?

Курьерша *(упорствуя).* Не скажу!

Шмонин *(зловеще).* Ты, тетка, смотри! С судом разговариваешь. Кто писал?

Курьерша. На огне жгите, не скажу.

Публика *(шепотом).* Это ей рабкор Кузькин писал. Не выдавай, тетка, товарища!

Голос с галерки. Тетка Токарева, держись! Не выдавай рабкора на съедение!

Курьерша. Хучь пытайте, не скажу

Голос с галерки. Браво, Токарева!

Шмонин. Кто бунтует на галерке? Вывести его, подстрекателя! *(Курьерше.)* Так не скажешь?

Курьерша. Нет.

Публика. Молодец!

Шмонин *(тихо Гудзенке).* Ишь, железная баба. *(Громко.)* Ну, ладно, мы и без тебя обнаружим этого супчика, который вносит раскол в учреждение. Мы ему покажем! Ну, ладно. Переходим дальше. Товарищ Токарева заявляет, что тов. Жуков ее побил. Ну что тут особенного, товарищи? Я понимаю, если Токарева была бы интеллигентная дама, графиня или княгиня, ну, это дело десятое! Тогда, конечно, хлестать бухгалтеровыми кулаками по графининой морде, верно, неудобно. Дама в обморок может упасть. А поскольку перед нами курьерша, подумаешь, велика беда!

Публика. Вот так рассудил!!

Шмонин. Слово предоставляется защитнику тов. Жукова, уважаемому тов. Гудзенке.

Гудзенко *(одергивая куртку).* Возьмем факт с медицинской точки зрения. Тут говорят: Жуков ударил, Жуков побил, то да се... Да вы гляньте на Жукова (все глядят на Жукова с любопытством). Посмотрите, какой он щуплый, хилый, ведь он одной ногой в гробу стоит...

Жуков *(обиженно).* Сам ты в гробу стоишь, говори, да не заговаривайся!

Гудзенко. Пардон! Вообще Жуков интеллигентный человек, сознательная личность, он даже газету выписывает, ну разве он может как следует ударить? Вы поглядите на кульершу (все глядят на курьершу с любопытством). Ведь это что? Физиономия... *(Раздвигает руки на аршин.)* Во физиономия! Руки! Ноги! Да ведь это не женщина, а прямо-таки чугунный памятник! Да ее ежели кулаком ударить, кулак рассыплется. Ее кочергой бить надо! Ну какой он ей вред причинил?

Курьерша. Да у меня синяк!

Шмонин. Ну, приложи к синяку пятак, он у тебя до свадьбы заживет. Итак, суд удаляется на совещание. *(Удаляется с Гудзенкой и с Гудзенкой же возвращается.)* Тише! Суд вынес решение *(торжественно):* ввиду того, что Жуков Токаревой никакого особенного повреждения не причинил, считать Токареву непобитой. Жукову выразить месткомово порицание, но, принимая во внимание

интеллигентность Жукова и хилое его сложение, считать порицание условным в течение пятнадцати лет. С Жукова взыскать в пользу Токаревой один медный пятак для приложения его к синяку, с тем, чтобы по выздоровлении Токарева вернула пятак Жукову с процентами. Суд кончен!

Голос с галерки *(среди общего гула)*. Тетка Токарева, жалуйся в нарсуд! Это безобразие! (Шум).

Занавес падает.

КАК НА ТЕТКИНЫ ДЕНЬГИ МЕСТКОМ ПОДАРОК КУПИЛ

На станции Завитая Уссурийской дороги имеется бедная вдова—гражданка Силаева. Дело вдовье трудное, как известно. Вдове тоже нужно кушать и пить. Мыкалась вдова, мыкалась и обратилась в местком:

— Дайте мне службу, товарищи.

Местком внял просьбам вдовы и устроил ее на место тут же, в месткоме.

Должность легкая и прекрасная.

Вдову призвали и сказали:

— Тетка! Будешь пять печей топить, пять коридоров мыть, а равно и пять полов. Мусор будешь убирать ежедневно. А чтобы тебе не было скучно, еще будешь носить воду.

— А сколько жалованья?—спросила вдова, шмыгая носом.

Месткомщик, по фамилии Моложай, сделал арифметический подсчет:

— Пять коридоров помножить на пять печей, прибавить пять бочек мусора и разделить на пять кадушек воды, равняется 5 рублей!—И объявил тетке Силаевой результат:

— Будешь получать пять рублей в месяц.

— Благодетели вы наши!—завыла тетка и ухватилась за половую тряпку.

Тетка не расставалась с тряпкой 10 месяцев. Тетка носила, тетка таскала, тетка мыла, тетка прибирала.

На одиннадцатый месяц ей заявили:

— Тетка, мы тебя на новую квартиру переводим, а в твою прежнюю комнату пробиваем дыру.

— Благодетели вы наши!—завыла она.

Дыру пробили, тетку перевели и тетке заявили:

— Нужно будет белить стены. Изволь начинать.

Тетка понеслась за известкой, побелила.

Приходит получать за побелку.

— Пять рублей тебе следует,— объявил ей Моложай.

— Благодетели вы наши,— завыла тетка.

— Только, тетя,— добавил Моложай,— на эти твои пять рублей мы купили портрет и подарили его железнодорожной комячейке.

— Благоде...— начала было тетка, но осеклась и добавила: — К-как же это портрет? Я, может, портрета-то и не хотела!

— Как не хотела? — сурово спросил Моложай,— ты, тетка, думай, что говоришь. Как это портрета ты не хотела?

Тетка оробела.

— Ну, ладно,— говорит,— портрет так портрет. Только раз вы уж, красавцы, подарили на мой счет, так напишите на портрете: «Дар тетки Силаевой».

Моложай обиделся.

— Ты нездорова. На портрете писать про такого ничтожного человека, как ты, мы не будем.

Тут тетка уперлась.

— Не имеете права, мои деньги.

— Ты, тетка, глупа,— сказал Моложай.

— Да ты не ругайся,— ответила тетка,— деньги мои.

— Отлезь от меня,— сказал Моложай.

— Мои деньги,— несколько истерически заметила тетка.

Тут Моложай рассердился окончательно.

Но что дальше произошло — неизвестно, потому что в корреспонденции рабкора сказано глухо:

«Товарищ Моложай наговорил ей кучу дерзостей».

Дальше мрак окутывает историю.

* * *

Но есть приписка в корреспонденции рабкора:

«Добрые люди учка и дорпрофсожа, распорядитесь, чтобы местком уплатил жалованье Силаевой с 1 января по 1 октября 1924 года, когда она в месткоме мыла полы и таскала воду, по настоящей, правильной расценке.

Во-вторых, нужно тетке уплатить пять рублей и разъяснить месткомщику Моложаю, что на чужие рабочие деньги дарить портреты нельзя. Это называется — эксплоатация».

ПОЖАР

(С натуры)

Сцена представляет темную ночь на станции Ржев-II М.-Б.-Б. ж. д. Неожиданно косая молния и выстрел — ба-бах!!

Голос агента охраны. Православные!.. Пакгауз на товарном дворе горит! (выстрел — б-бах!). Го! Го! Го! Го! Пакгауз! (выстрел — ба-бах!), горит!! Люди добрые! Пакгауз горит! (выстрел). Караул! (выстрелы — б-бах! ба-бах! бах, бах, бах!!). На тебе еще раз... (На небе зловещая розовая полоса).

Голос Комарова. Что случилось?

Голос агента охраны. Товарищи! Бей тревогу! Пакгауз горит. (Зарево, виден Комаров — он в одном белье).

Комаров. Батюшки. По-жарные! Пожарные!! *(Танцует на месте.)* Пожарные, чтоб вам сдохнуть! Пакгауз горит...

1-й пожарный на каланче *(вниз)*. Васька, бей тревогу, на товарном горит!

2-й пожарный *(внизу)*. Горит? (бом! бом! бом!).

1-й. Да бей же! Полыхает. Ух! Занялось. Бей, Васька!

2-й. Бом, дин, дин-ли бом... Загорелся кошкин дом! *(В отчаянии.)* Сидят, сукины сыны, как насекомые.

Комаров *(врываясь)*. Батюшки! Где ж брандмейстер-то? Братцы, вставайте. Караул, горим! (храп). Товарищ брандмейстер, гражданин Соловьев, вставайте. Голубчик, вставай! Миленький.

Брандмейстер *(сквозь сон)*. М-м...

Комаров. Красавчик мой, вставай. Ржев-Второй горит. (в окнах багровое зарево — светло, как в полдень).

Брандмейстер. Эм... мня... мня...

Комаров (воет).

Брандмейстер. Какая гнида над ухом воет? Ни минуты покоя нету; кто ты такой?

Комаров. Комаров я. Голубчик! Комаров.

Брандмейстер. Какого же ты лешего людей будишь? А? Только что лег, глаза завел,— на тебе! Дня на вас нету, пострелы. Чтоб тебя громом убило. Я б тебя... Трах! Тарарах!! Тах...

Комаров. Миленький... пакгауз...

Брандмейстер. Уйдешь ты или нет?

Комаров. Пакгауз...

Брандмейстер. Э, ты, я вижу, не уймешься *(швыряет в него сапогом),* вон!..

(Храп пожарных. За сценой слышно, как рушится потолок в пакгаузе. Женский вопль. За окном пробегает баба с иконой).

Бабий голос. Пропали, головушки горькие!

Комаров *(с плачем бросается к телефону).* Город! Город, барышня. Даешь пожарную команду! Горим!

Голос в телефоне. Который тут горит? Счас. Сей минуту. (За сценой грохот колес).

Труба. Там-та-ра-рам. Та-та-там.

Голоса за сценой. Сидорчук, качай. Качай, в мать, в душу... тарарах... Осади! Рви его крюками. Федорец, дай в зубы этому мародеру. Публика, осади назад. Где ж ваша-то команда?

Голос Комарова. Спят они. Добудиться не можем.

Голос. Ах, сукины коты!.. Павленко, качай, качай (рев воды).

Брандмейстер *(просыпается).* Как будто шум?

Пожарные *(просыпаются).* Горит как будто? (В окнах зарево угасает).

Брандмейстер. Что же вы спите, поросята... Ванька, Васька, Митька! Вставай, запрягай! Где мои штаны?

Голоса. Не надо. Потушили...

Брандмейстер. Кто?

Голоса. Городская.

Брандмейстер. Вот черти. И какие быстрые. И до всего им дело есть. Ну, ладно. Раз потушили, слава богу. *(Ложится и засыпает.)* (Храп, тьма).

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Дневничок больного

> У нас больного Т. дорздрав по ошибке заслал в Аксаковский санаторий. А там ему, больному, говорят: «Вы ошибочно сюда засланы». И он обратно поехал. Так и на луну могут послать!
>
> *Рабкор 1043.*

5-го июля. Кашлять я начал. Кашляю и кашляю. Всю ночь напролет. Мне бы спать надо, а я кашляю.

7-го июля. Записался на прием.

10-го июля. Стукал молоточком и сказал: «Гм!» Что это значит — это «гм»?

11-го июля. Сделали рентгеновский снимок с меня. Очень красиво. Весь темный, а ребра белые.

20-го июля. Поздравляю вас, дорогие товарищи, у меня туберкулез. Прощай, белый свет!

30-го июля. Послали меня в санаторий «Здоровый дух» на курорт. Получил на 2000 верст подъемные и бесплатный билет жесткого класса с тюфяком.

1-го августа. ...и с клопами. Еду, очень красивые виды. Клопы величиной с тараканов.

3-го августа. Приехал в Сибирь. Очень красивая. На лошадях ехал в сторону немного — 293 версты. Кумыс.

6-го августа. Вот тебе и кумыс! Они говорят, что это ошибка. Никакого туберкулеза у вас нет. Опять снимок делали. Видел свою почку. Страшно противная.

8-го августа. И потому я сейчас записываю в Ростове-на-Дону. Очень красивый город. Еду в здравницу «Солнечный дар» в Кисловодск.

12-го августа. Кисловодск. И ничего подобного. Почка тут ни при чем. Говорят: какой черт вас заслал сюда?!

15-го августа. Я пишу на пароходе, якобы с наследственным сифилисом, и еду в Крым (в скрытой форме). Меня рвет вследствие качки. Будь оно проклято, такое лечение.

22-го августа. Ялта, превосходный город, если б только не медицина! Загадочная наука. Здесь у меня глисты нашли и аппендицит в скрытой форме. Я еду в Липецк Тамбовской губернии. Прощай, водная стихия Черного моря!

25-го августа. В Липецке все удивляются. Доктор очень симпатичный. Насчет глистов сказал так:

— Сами они глисты!

Подвел меня к окошку, посмотрел в глаза и заявил:

— У вас порок сердца.

Я уж так привык, что я весь гнилой, что даже и не испугался. Прямо спрашиваю: куда ехать?

Оказывается, в Боржом.

Здравствуй, Кавказ!

1-го сентября. В Боржоме даже не позволили вещи распаковать. Мы, говорят, ревматиков не принимаем.

Вот уж я и ревматиком стал! Недолго, недолго мне жить на белом свете! Уезжаю опять в Сибирь на...

10-го сентября. ...Славное море, священный Байкал! Виды тут прелестные, только уж холод собачий. И сибирский доктор сказал, что это глупо, разъезжать по курортам, когда уже скоро снег пойдет. Вам, говорит, надо сейчас ехать погреться. Я, говорит, вас в Крым махану... Говорю, что я уже был. Мерси. А он говорит: где вы были? Я говорю: в Ялте. А он говорит: я, говорит, вас пошлю в Алупку. Ладно, в Алупку — так в Алупку! Мне все равно, хоть к черту на рога. Купил шубу и поехал.

25-го сентября. В Алупке все заперто. Говорят: поезжайте вы домой, а то, говорят, мечетесь вы по всей Республике, как беспризорный. Плюнул на все и поехал к себе домой.

1-го октября. И вот я дома. Пока я ездил, жена мне изменила. Пошел я к доктору. А он говорит: вы, говорит, человек совсем здоровый, как стеклышко. А как же так, спрашиваю, меня гоняли? А он отвечает: просто ошибка! Ну, ошибка и ошибка. Завтра иду на службу.

Больной № 555.

БЛАГИМ МАТОМ

В трудовом литерном поезде участка Р... Ряз.-Ур. рабочие каждый день играют в карты — в козла. Эта игра стала занятием рабочих, в процессе которой идет ругань матершинная, невозможно какая.

Безобразие!

Рабкор № 3009

Вагон.

Махорка.

— А я дамой!

— А мы твою даму по... (одно непечатное слово)! Хлоп!

— Ах ты, трах-тара-там... (три непечатных слова).

— Иван Миколаич, ходи под него королем!

— Ходи ты своим королем в... (одно непечатное

слово)! У нас на твоего короля, бум-тара-трах (три непечатных слова), туз имеется!

— А мы его двойкой козырной, старого... (одно непечатное слово) по... (одно непечатное слово). Бац-тара-бум! (три).

Дзинь!

— Братцы, что это?

— Фонарь, буц-там-тарарах (три) лопнул! Не выдержал!

— Рази иван-миколаичевский разговор выдержишь? Он как скажет, будто из пушки выстрелит.

— Потеха! Тут, братцы, позавчера проходила жена железнодорожного мастера, а Васька как раз хлопнул Иван-Миколаевичева валета дамой. Тот и начал. Я тебе, говорит!.. Я б его, говорит... Трах-тара мать твою, говорит, я ее бы, твою даму, говорит, семь раз, говорит, трах-тарарах, говорит. Что б ее, говорит! Я ее, говорит!! Чисто град по станции пошел! Та, бедняжка, как облокотилась на вагон, стоит и двинуться не может, руки-ноги трясутся, сама бледная. Корзину уронила. А Иван Миколаич трехдюймовым беглым кроет. Минут восемь работал. Родителей этой дамы отделал, принялся за валетову тетку, я б, говорит, эту тетку, да я бы ее!! После тетки прошел в боковую линию — своячениц, сноху и шурина изнасиловал. Потом поднялся до предков, прабабушку чью-то обесчестил, потом по внукам начал чесать. Наконец на восьмой минуте хлопнул двоюродного племянника пиковой десяткой и закрыл клапан.

Та пот утерла, корзину подняла, идет и плачет.

— Бабам нашей игры не выдержать!

— Что бабам! Тут вчера на лошади приехал один крестьянин. Привязал ее у шлагбаума, а Петя в это время роббер доигрывал и начал выражаться. Дык лошадка постояла, постояла, как плюнет! Потом отвязалась и говорит:

— Пойду,— говорит,— куда глаза глядят. Потому что такого сраму в жизнь свою лошадиную не слыхала.

Ловили ее потом два часа в поле.

— Лошадка-то женского пола была? (Три непечатных слова.)

— Кобылка, понятное дело.

НЕ ТЕ БРЮКИ

> Поспешность потребна только блох ловить.
>
> *Изречение*

Председатель тягового месткома объявил заседание открытым в 6 часов и 3 минуты.

После этого он объявил повестку дня, или, вернее, вечера.

Меню оказалось состоящим из одного блюда: «Разбор существующего колдоговора и заключение нового».

— По-американски, товарищи, лишних слов не будем терять,— заявил председатель.— Начало читать не будем, там важного ничего нет. На первой странице все отпадает, стало быть, а прямо приступаем к параграфам. Итак, глава первая, параграф первый, пункт ле, примечание бе: «Необходимо усиленное втягивание отдельных активных работников производства, давая им конкретные поручения...» Вот, стало быть, какой параграф. Кто за втягивание?

— Я за!

— Прошу поднять руки.

— И я за!

— Большинство!

И заседательная машинка закрутилась. За параграфом ле разобрали еще параграф пе. За пе — фе, за фе — хе, и времечко прошло незаметно.

На четвертом часу заседания встал оратор и один час пятнадцать минут говорил о переводе сдельных условий на рублевые расценки до тех пор, пока все единогласно не взвыли и не попросили его перестать!

После этого разобрали еще двести девять параграфов и внесли двести девять поправок.

Шел шестой час заседания. На задней лавке двое расстелили одеяло и приказали разбудить себя в восемь с половиной, прямо к чаю.

Через полчаса один из них проснулся и хрипло рявкнул:

— Аксинья, квасу! Убью на месте!

Ему объяснили, что он на заседании, а не дома, после чего он опять заснул.

На седьмом часу заседания один из ораторов очнулся и сказал, зевая:

— Не пойму я чтой-то. В пункте 1005 написано, что получают до 50%, но не свыше 40 миллионов. Как это так — миллионов?

— Это опечатка,— сказал американский председатель, синий от усталости, и мутно поглядел в пункт 1005-й.— Читай: рублей.

Наступал рассвет. На рассвете вдруг чей-то бас потребовал у председателя:

— Дай-ка, милый человек, мне на минутку колдоговор, что-то я ничего там не понимаю.

Повертел его в руках, залез на первую страницу и воскликнул:

— Ах ты, черт тебя возьми,— потом добавил, обращаясь к председателю: — ты, голова с ухом!

— Это вы мне? — удивился председатель.

— Тебе,— ответил бас.— Ты что читаешь?

— Колдоговор.

— Какого года?

Председатель побагровел, прочитал первую страницу и сказал:

— Вот так клюква! Простите, православные, это я 1922 года договор вам запузыривал.

Тут все проснулись.

— Ошибся я, дорогие братья,— умильно сказал председатель,— простите, милые товарищи, не бейте меня. В комнате темно. Я, стало быть, не в те брюки руку сунул, у меня 1925 год в полосатых брюках.

СТРАДАЛЕЦ ПАПАША

I

После того как пошабашили, Василий стоял и говорил со слезами в голосе:

— У меня радостное событие, друзья. Супруга моя разрешилась от бремени младенцем мужского пола, на какового младенца страхкасса выдает мне 18 рублей серебром. На приданое, значит. Мальцу пелешки купить, распашонки, одеяльце, чтобы он ночью не орал от холоду, сукин кот. А что останется, пойдет моей супруге на улучшение приварка. Пусть кушает, страдалица мать. Вы думаете, легко рожать, дорогие друзья?

— Не пробовали,— ответили друзья.

— А вы попробуйте,— ответил Василий и удалился в страхкассу, заливаясь счастливыми слезами.

II

— У меня радостное событие. Разрешилась страдалица мамаша от бремени,— говорил Василий, засунув голову в кассу.

— Распишитесь,— ответил ему кассир Ваня Нелюдим.

Одновременно с Василием получил за инфлуенцу симпатичный парень Аксиньич 7 р. 21 к.

III

— Радостное событие у меня,— говорил Василий,— страдалица моя разрешилась младенцем...

— Идем в кооператив,— ответил Аксиньич,— надо твоего младенца вспрыснуть.

IV

— Две бутылки русской горькой,— говорил Аксиньич в кооперативе,— и что бы еще такое взять полегче?

— Коньяку возьмите,— посоветовал приказчик.

— Ну, давай нам коньяку две бутылочки. Что бы еще это такое, освежающее?..

— Полынная хорошая есть,— посоветовал приказчик.

— Ну, дай еще две бутылки полынной.

— Что кроме? — спросил приказчик.

— Ну, дай нам, стало быть, колбасы полтора фунта, селедки.

V

Ночью тихо горела лампочка. Страдалица мать лежала в постели и говорила сама себе:

— Желала бы я знать, где этот папаша.

VI

На рассвете появился Василий.

— И за Сеню я, за кирпичики полюбила кирпичный завод...— вел нежным голосом Василий, стоя в комнате. Шапку он держал в руках, и весь пиджак его почему-то был усеян пухом.

Увидав семейную картину, Василий залился слезами.

— Мамаша, жена моя законная,— говорил Василий, плача от умиления,— ведь подумать только, чего ты натерпелась, моя прекрасная половина жизни, ведь легкое ли дело рожать, а? Ведь это ужас, можно сказать! — Василий швырнул шапку на пол.

— Где приданые деньги младенчиковы? — ледяным голосом спросила страдалица супруга.

Вместо ответа Василий горько зарыдал и выложил перед страдалицей кошелек.

В означенном кошельке заключались: 85 копеек серебром и 9 медью.

Страдалица еще что-то сказала, но что — нам неизвестно.

VII

Через некоторое время делегатка женотдела в мастерской приняла заявление, подписанное многими женами, в каковом заявлении писано было следующее:

«...чтобы страхкасса выдавала пособия на роды и на кормление детей наших натурой из кооператива и не мужьям нашим, а нам, ихним женам.

Так спокойнее будет и вернее, об чем и ходатайствуем».

Подпись: «Ихние жены».

К подписям ихних жен свою подпись просит присоединить

Эм.

МЕРТВЫЕ ХОДЯТ

У котельщика 2 уч. сл. тяги Северных умер младенец. Фельдшер потребовал принести ребенка к себе, чтобы констатировать смерть.

Рабкор № 2121

I

Приемный покой. Клиентов принимает фельдшер.

Входит котельщик 2-го участка службы тяги. Печален.

— Драсьте, Федор Наумыч,— говорит котельщик траурным голосом.

— А. Драссьте. Скидайте тужурку.

— Слушаю,— отвечает котельщик изумленно и начинает расстегивать пуговицы,— у меня, видите ли...

— После поговорите. Рубашку скидайте.

— Брюки снимать, Федор Наумыч?

— Брюки не надо. На что жалуетесь?

— Дочка у меня померла.

— Гм. Надевайте тужурку. Чем же я могу быть полезен? Царство ей небесное. Воскресить я ее не в состоянии. Медицина еще не дошла.

— Удостоверение требуется. Хоронить надо.

— А... констатировать, стало быть. Что ж, давай ее сюда.

— Помилуйте, Федор Наумыч. Мертвенькая. Лежит. А вы живой.

— Я живой, да один. А вас, мертвых,— бугры. Ежели я за каждым буду бегать, сам ноги протяну. А у меня дело — видишь, порошки кручу. Адье.

— Слушаюсь.

II

Котельщик нес гробик с девочкой. За котельщиком шли две голосящие бабы.

— К попу, милые, несете?

— К фельдшеру, товарищи. Пропустите!

III

У ворот приемного покоя стоял катафалк с гробом. Возле него личность в белом цилиндре и с сизым носом и с фонарем в руках.

— Чтой-то, товарищи? Аль фельдшер помер?

— Зачем фельдшер? Весовщикова мамаша богу душу отдала.

— Так чего ж ее сюда привезли?

— Констатировать будет.

— А-а... Ишь ты.

IV

— Тебе что?

— Я, изволите ли видеть, Федор Наумыч, помер.

— Когда?

— Завтра к обеду.

— Чудак! Чего ж ты заранее притащился? Завтра б после обеда и привезли тебя.

— Я, видите ли, Федор Наумыч, одинокий. Привозить-то меня некому. Соседи говорят, сходи, говорят, заранее, Пафнутьич, к Федору Наумычу, запишись, а то завтра возиться с тобой некогда. А больше дня ты все равно не протянешь.

— Гм. Ну, ладно. Я тебя завтрашним числом запишу.

— Каким хотите, вам виднее. Лишь бы в страхкассе выдали. Делов-то еще много. К попу надо завернуть, брюки опять же я хочу себе купить, а то в этих брюках помирать неприлично.

— Ну, дуй, дуй! Расторопный ты, старичок.

— Холостой я, главная причина. Обдумать-то меня некому.

— Ну, валяй, валяй. Кланяйся, там, на том свете.

— Передам-с.

ДИНАМИТ!!!

> Прислали нам весной динамит для взрыва ледяных заторов. Осталось его 18 фунтов, и теперь наш участок прямо не знает, что с ним делать. Взрыва боимся, и отослать его не к кому. Наказание с этим динамитом!
>
> *Рабкор*

На всех видных местах в управлении службы пути висели официальные надписи:

«Курить строжайше воспрещается».

«Громко не разговаривать».

«Сапогами не стучать».

Кроме того, на входных дверях железнодорожного общежития висела записка менее официального характера:

«Ежели ваши ребятишки не перестанут скакать, я им ухи повырываю с корнем. Иванов седьмой».

На путях за семафором висели красные сигналы и надписи:

«Не свистеть».

«Скорость шесть верст в час».

Поезда входили на станцию крадучись, с тихим шипением тормозов, и в кухнях вагон-ресторанов заливали огонь. Охрана шла по поезду и предупреждала:

— Гражданчики, затушите папироски. Тут у них динамит на станции.

* * *

— Я тебе кашляну (шепот), я тебе кашляну.

— Простудился я сильно, Сидор Иваныч.

— Я тебе простужусь. Бухает, как в бочку! Ты мне тут накашляешь, что у меня взлетит вся станция на воздух.

— Наказание с этим динамитом, Сидор Иваныч.

— А ты сапогами не хлопай, вот и не будет наказания.

* * *

— Где вы его держите, Сидор Иваныч? — спрашивал приезжий.

— В гостиной, на квартире. В мокрую тряпку его завернули — и под диван.

— Как табак, стало быть?

— Хорошенький табак. Это собачья каторга, а не жизнь. Детишек пришлось к тетке отправить. Они обрадовались, ангелочки. Начали прыгать: «Папа динамит привез, папа динамит привез...» Выдрал их, чертей полосатых, и отправил гостить.

— Долго ль до греха!

— Вот то-то. Дежурство пришлось устроить. Днем жена с винтовкой стоит, вечером — кухарка, по ночам — я.

— Да вы б его отправили.

— Пробовал-с. Сам завернул. Запечатал. Приношу на станцию в багажное отделение. А весовщик и спрашивает: «Что это у вас, Сидор Иваныч, в посылке?» Я ему отвечаю: «Да пустяки,— говорю,— не обращайте внимания, тут динамита 18 фунтов. В Омск посылаю». Так он, представьте, бросил багажное отделение, вылез в окно и убежал. Только я его и видел.

— Вот оказия!

— Мученье. Пробовал его другой дороге подарить. Написал им бумажку. Так, мол, и так: «Посылаю вам, дорогая соседка, Самаро-Златоустовская дорога, в пода-

рок 18 фунтов динамита. Пользуйтесь им на здоровье, как желаете. Любящий тебя участок Омской дороги».

— Ну и что ж она?

Сидор Иваныч порылся в кармане и вытащил телеграмму:

«В адрес 105. Подите к чертям. Точка».

Сидор Иванович уныло повесил голову и вздохнул.

— А вы знаете что, Сидор Иваныч,— посоветовал ему приезжий,— вы б его попробовали Красной Армии подарить.

Сидор Иванович ожил:

— А ведь это идея. Как же это нам в голову не пришло.

Вечером в службе пути сочинили бумажку такого содержания:

«Глубокоуважаемый тов. Фрунзе, в знак любви к Красной Армии посылаем 18 фунтов динамита. С почтением, участок Омской дороги».

При этом была приписка: «Только пришлите своего человека за ним, опытного и военного, а то никто у нас не соглашается его везти».

Ответа от тов. Фрунзе еще нет.

ГОРЕМЫКА ВСЕВОЛОД

История одного безобразия

I

БИОГРАФИЯ ВСЕВОЛОДА

Отчим Всеволода — красноармеец командного состава. Поэтому ездил пять с половиной лет Всеволод из одного города Союза в другой вслед за отчимом, в зависимости от того, куда отчима посылали.

Однако Всеволод был хитрый, как муха, и во время путешествий цеплялся то за одно, то за другое учебное заведение.

Таким образом, сумел Всеволод выучиться в одесской школе судовых машинистов, затем в школе морского транспорта в г. Баку и даже в образцовой профтехнической школе в г. Киеве.

Помимо этого, не последний человек был Всеволод и

в слесарно-механическом ремесле (вследствие трехлетнего стажа в школьных мастерских).

Всеволод был любознателен, как Ломоносов, и смел, как Колумб. Поэтому Всеволод явился к отчиму и заявил:

— Дорогой отчим командного состава, я поступаю в политехникум путей сообщения в городе Ростове-на-Дону.

— Шпарь! — ответил отчим.

II

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Местком отчима написал учку про Всеволода:

«Так и так. Всеволод учиться желает».

Учк написал дорпрофсожу:

«Желаем, чтобы Всеволод учился».

Дорпрофсож написал политехникуму:

«Будьте любезны Всеволода принять».

Политехникум принял документы Всеволода и все их потерял.

Всеволод в этот год в политехникум не попал.

III

НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Умудренный опытом, Всеволод заранее послал все документы в копиях в учк. В этих копиях между прочим находилась рекомендация Всеволода.

«Всеволод хороший парень, а отчим его ведет полезную работу».

Все это под расписку было сдано ответственному работнику учка.

И ответственный работник учка все документы Всеволода потерял.

IV

ВСЕВОЛОД УПОРСТВУЕТ

Всеволод стал избегать ответственных работников учков и прятался от них в подворотни. Ответственный поехал в отпуск, и Всеволод нырнул к его заместителю, но и заместитель уехал в отпуск, а у заместителя был

помощник, коему Всеволод вновь вручил свои документы. Помощник рассмотрел документы Всеволода и по неизвестной причине вернул их через местком Всеволоду.

Так что кандидатура Всеволода рухнула.

V

ШИШ

Всеволод получил из учка обратно документы, а вместе с ними шиш с маслом.

VI

УЧК СОЧУВСТВУЕТ

Всеволод кинулся в учк с воем.

— Бедный Всеволод,— говорили учкисты, рыдая Всеволоду в жилет,— мы тебя понимаем и тебе сочувствуем, юный красавец.

И в знак сочувствия написали Всеволоду записку в политехникум:

«Так и так, примите Всеволода».

VII

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧКА

Всеволод бросился в политехникум с запиской.

— Арифметику проходили, молодой человек?— спросили Всеволода в политехникуме.

— Проходил,— ответил почтительно Всеволод.

— Так вот, решите задачку: в политехникуме свободных мест N. А записок на эти свободные места написано N×3 плюс еще одна записка, ваша. Спрашивается, попадете ли вы в политехникум?

— Нет, не попаду,— сказал Всеволод, который был очень способен в математике.

— Удалитесь, молодой человек,— сказали ему в политехникуме.

И Всеволод удалился.

VIII

ВЫВОД

Безобразия творятся у нас на белом свете.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ВОДОЛЕЙ

В основе фельетона действительная бумага, сочиненная на ст. Воронеж Товарная Юго-Вост. и сообщенная нам рабкором 1011.

Иван Иваныч, Деес товарной станции, вошел в свой кабинет, аккуратно снял калошки, поставил в уголок и уселся за свой стол.

Тут его глаз заметил на столе служебную бумагу. Деес развернул ее, прочитал и немедленно начал рыдать от радости.

— Оценили Дееса... Вспомнили...— бормотал он.

Он позвонил.

— Позвать моего помощника. Сидор Сидорыча,— заявил он курьеру.

— Идите, Сидор Сидорыч, к Ивану Иванычу,— сказал курьер помощнику.

— А что? — спросил помощник.

— Рыдают они,— пояснил курьер.

— Какого лешего рыдает?

— Не могу знать.

— Вот, черт его возьми,— гудел помощник, направляясь в кабинет по коридору,— минутки покою с ним нету. То он смеется, то рыдает, то бумаги пишет. Замучил бумагами, окаянный.

— Что прикажете, Иван Иваныч,— сладко спросил он, входя в кабинет.

— Голубчик,— сквозь пелену дождя сказал Деес,— радость у меня нежданная, негаданная,— при этом вода из Дееса хлынула в три ручья,— получаю я назначение новое. Недаром, значит, послужил я социалистическому отечеству на пользу... Церкви и отечеству на утеше... Тьфу, что я говорю! Одним словом, назначают меня. Ухожу я от вас...

«Слава тебе, господи, царица небесная, угодники святители, услышали вы молитвы мои,— думал помощник,— послал мне господь за мое долготерпение, кончилась каторга моя сибирская»,— а вслух заметил:

— Да что вы говорите. Ах, горе-то какое! Как же мы без вас-то будем? Ах, ах, ах, ах, ах, ах, аха, ах! — «Зарыдать надо, шут меня возьми, а я не умею. С четырнадцати лет не рыдал, ах, чтоб тебе».— Он вытащил платок, закрыл сухие глаза, и наконец ему удалось

взрыдать несколько ненатуральным голосом, напоминающим волчий вой.

— Кульеров зовите прощаться,— заметил совершенно промокший именинник.

— Вот уходит от нас Иван Иваныч,— искусственно дрожащим голосом заявил помощник и, пырнув курьера пальцем в бок, добавил тихо: «Рыдай!»

И курьер из вежливости зарыдал.

Из той же вежливости через пять минут рыдала вся контора Дееса.

Отрыдав сколько положено, она успокоилась и приступила к своим занятиям. Но дело этим не кончилось.

— А знаете что, Сидор Сидорыч,— сказал несколько просохший Деес,— ведь я со всеми не могу попрощаться, ведь мне сегодня ехать надо. Как же я расстанусь с дорогими моими сослуживчиками: конторщичками, телеграфистиками, машинистиками, бухгалтерчиками.

«Ой, опять взвоет, это же наказание»,— подумал помощник. Но Деес не взвыл, а придумал великолепнейший план.

— Я с ними в письменной форме попрощаюсь. Будут они помнить меня, дорогие мои товарищи по тяжкой нашей работе на устроение нашей дорогой республики...

И тут он сел за стол и сочинил нижеследующее произведение искусства:

«ТОВАРИЩИ!

Получив назначение и не имея возможности лично распрощаться со всеми вами, прибегаю к письменному прощальному слову.

Товарищи рабочие и служащие, проработав вместе с вами более года в непосредственной, низовой, практической, кропотливой, мелкой, но трудной станционной работе, должен отметить то, что отмечалось и до меня несколько раз в нашей советской печати, а именно: лишь только при совместной дружной работе с широкими рабочими массами каждый руководитель может улучшить свое хозяйство, это — в частности, а в общем рабочий класс обязан все советское хозяйство перестроить на новых, наших, пролетарских, началах, т. е. чем скорее восстановит он свое хозяйство, тем скорее улучшит свое личное благополучие и через посредство этого герои-

ского неослабного трудолюбия трудящихся...» и т. д. и т. д.

Прошел час, а Деес все еще писал:

«...Уезжая от вас (здесь бумага заляпана слезами), разрешите, товарищи, надеяться мне, что и в дальнейшем вы, рабочие и служащие, как один, будете всемерно поддерживать свой авторитет перед администрацией управления, и не только свой, но также администрации станции, через посредство честного отношения к своим порученным обязанностям, помня, что к отысканию единого правильного делового пути в работе станции с целью достижения еще большего улучшения в рабочем аппарате и удешевления себестоимости нашей добываемой продукции, т. е. перевозки пассажира-версты и пудо-грузо-версты, мы должны быть все вместе, как один, и тем самым добиться устранения препятствий в правильном обслуживании широких трудящихся масс, а в том числе, следовательно, и самих себя в отдельности, а также доказать свою незыблемую преданность интересам рабочего класса СССР»...

Написав весь пудо-груз этой ерунды, Деес, чувствуя, что у него в голове у самого туман, добавил вслух:

— Кажется, здорово завинчено. Что б такое еще им приписать, канальчикам, чтоб они меня помнили? Впрочем, и так хорошо будет.

«Пожелаю вам, товарищи, всего хорошего. До свидания. С товарищеским приветом. Иван Иваныч»,— приписал Деес, вместо печати накапал слезами и добавил вверху бумаги:

«Прошу каждого из адресатов по своим конторам объявить сотрудникам».

После этого он надел калоши, шапку, шарф, взял чемодан и уехал на новое место службы.

А по всем конторам три дня после этого стоял вой и скрежет зубовный, но уже не поддельный, а настоящий. Начальники контор сгоняли сотрудников и читали им вслух сочинение Дееса.

— Чтоб его разорвало,— говорили сотрудники неподдельными голосами, но шепотом.— Ни одного слова нельзя понять, и какого он черта это писал, никому не известно. Ну, слава тебе господи, что он уехал, авось не вернется.

«ВОДА ЖИЗНИ»

Станция Сухая Канава дремала в сугробах. В депо вяло пересвистывались паровозы. В железнодорожном поселке тек мутный и спокойный зимний денек.

Все, что здесь доступно оку (как говорится),

Спит, покой ценя...

В это-то время к железнодорожной лавке подполз как тать, плюгавый воз, таинственно закутанный в брезент. На брезенте сидела личность в тулупе, и означенная личность, подъехав к лавке, загадочно подмигнула. Двух скучных людей, торчащих у дверей, вдруг ударило припадком. Первый нырнул в карман, и звон серебра огласил окрестности. Второй заплясал на месте и захрипел:

— Ванька, не будь сволочью, дай рупь шестьдесят две!..

— Отпрыгни от меня моментально!—ответил Ванька, с треском отпер дверь лавки и пропал в ней.

Личность, доставившая воз, сладострастно засмеялась и молвила:

— Соскучились, ребятишки?

Из лавки выскочил некий в грязном фартуке и завыл:

— Что ты, черт тебя возьми, по главной улице приперся? Огородами не мог объехать?

— Агародами... Там сугробы,—начала личность огрызаться и не кончила. Мимо нее проскочил гражданин без шапки и с пустыми бутылками в руке.

С победоносным криком: «Номер первый—ура!!!!»— он влип в дверях во второго гражданина в фартуке, каковой гражданин ему отвесил:

— Чтоб ты сдох! Ну куда тебя несет? Вторым номером встанешь! Успеешь! Фаддей—первый, он дежурил два дня.

Номер третий летел в это время по дороге к лавке и, бухая кулаками во все окошки, кричал:

— Братцы, очищщанное привезли!..

Калитки захлопали.

Четвертый номер вынырнул из ворот и брызнул к лавке, на ходу застегивая подтяжки. Пятым номером вдавился в лавку мастер Лукьян, опередив на полкорпуса местного дьякона (шестой номер). Седьмым пришла в

красивом финише жена Сидорова, восьмым — сам Сидоров, девятым — Пелагеин племянник, бросивший на пять саженей десятого — помощника начальника станции Колочука, показавшего 32 версты в час, одиннадцатым — неизвестный в старой красноармейской шапке, а двенадцатого личность в фартуке высадила за дверь, рявкнув:

— Организуй на улице!

* * *

Поселок оказался и люден, и оживлен. Вокруг лавки было черным-черно. Растерянная старушонка с бутылкой из-под постного масла бросалась с фланга на организованную очередь повторными атаками.

— Анафемы! Мне ваша водка не нужна, мяса к обеду дайте взять! — кричала она, как кавалерийская труба.

— Какое тут мясо! — отвечала очередь. — Вон старушку с мясом!

— Плюнь, Пахомовна, — говорил женский голос из оврага, — теперь ничего не сделаешь! Теперича, пока водку не разберут...

— Глаз, глаз выдушите, куда ж ты прешь!

— В очередь!

— Выкиньте этого, в шапке, он сбоку залез!

— Сам ты мерзавец!

— Товарищи, будьте сознательны!

— Ох, не хватит...

— Попрошу не толкаться, я — начальник станции!

— Насчет водки — я сам начальник!

— Алкоголик ты, а не начальник!

* * *

Дверь ежесекундно открывалась, из нее выжимался некий с счастливым лицом и с двумя бутылками, а второго снаружи вжимало с бутылками пустыми. Трое в фартуках, вытирая пот, таскали из ящиков с гнездами бутылки с сургучными головками, принимали деньги.

— Две бутылочки.

— Три двадцать четыре! — вопил фартук, — что кроме?

— Сельдей четыре штуки...

— Сельдей нету!

— Колбасы полтора фунта...

— Вася, колбаса осталась?

— Вышла!

— Колбасы уже нет, вышла!

— Так что ж есть?

— Сыр русско-швейцарский, сыр голландский...

— Давай русско-голландский, полфунта...

— Тридцать две копейки! Три пятьдесят шесть! Сдачи сорок четыре копейки! Следующий!

— Две бутылочки...

— Какую закусочку?

— Какую хочешь. Истомилась моя душенька...

— Ничего, кроме зубного порошка, не имеется.

— Давай зубного порошка две коробки!

— Не желаю я вашего ситца!

— Без закуски не выдаем.

— Ты что ж, очумел, какая же ситец закуска?

— Как желаете...

— Чтоб ты на том свете ситцем закусывал!

— Попрошу не ругаться!

— Я не ругаюсь, я только к тому, что свиньи вы! Нельзя же, нельзя ж, в самом деле, народ ситцем кормить!

— Товарищ, не задерживайте!

Двести пятнадцатый номер получил две бутылки и фунт синьки, двести шестнадцатый — две бутылки и флакон одеколону, двести семнадцатый — две бутылки и пять фунтов черного хлеба, двести восемнадцатый — две бутылки и два куска туалетного мыла «Аромат девы», двести девятнадцатый — две и фунт стеариновых свечей, двести двадцатый — две и носки, да двести двадцать первый — получил шиш.

Фартуки вдруг радостно охнули и закричали:

— Вся!

После этого на окне выскочила надпись «Очищенного вина нет», и толпа на улице ответила тихим стоном...

* * *

Вечером тихо лежали сугробы, а на станции мигал фонарь. Светились окна домишек, и шла по разъезженной улице какая-то фигура и тихо пела, покачиваясь:

Все, что здесь доступно оку,
Спи, покой ценя...

ПАРШИВЫЙ ТИП

Если верить статистике, сочиненной недавно некиим гражданином (я сам ее читал) и гласящей, что на каждую тысячу людей приходится 2 гения и два идиота, нужно признать, что слесарь Пузырев был, несомненно, одним из двух гениев. Явился этот гений Пузырев домой и сказал своей жене:

— Итак, Марья, жизненные мои ресурсы в общем и целом иссякли.

— Все-то ты пропиваешь, негодяй,— ответила ему Марья.— Что ж мы с тобой будем жрать теперь?

— Не беспокойся, дорогая жена,— торжественно ответил Пузырев,— мы будем с тобой жрать!

С этими словами Пузырев укусил свою нижнюю губу верхними зубами так, что из нее полилась ручьем кровь. Затем гениальный кровопийца эту кровь стал слизывать и глотать, пока не насосался ею, как клещ.

Затем слесарь накрылся шапкой, губу зализал и направился в больницу на прием к доктору Порошкову.

* * *

— Что с вами, голубчик? — спросил у Пузырева Порошков.

— По...мираю, гражданин доктор,— ответил Пузырев и ухватился за косяк.

— Да что вы? — удивился доктор.— Вид у вас превосходный.

— Пре...вос...ходный? Суди вас бог за такие слова,— ответил угасающим голосом Пузырев и стал клониться набок, как стебелек.

— Что ж вы чувствуете?

— Ут...ром... седни... кровью рвать стало... Ну, думаю, прощай... Пу...зырев... До приятного свидания на том свете... Будешь ты в раю, Пузырев... Прощай, говорю, Марья, жена моя... Не поминай лихом Пузырева!

— Кровью? — недоверчиво спросил врач и ухватился за живот Пузырева.— Кровью? Гм... Кровью, вы говорите? Тут болит?

— О! — ответил Пузырев и завел глаза,— завещание-то... успею написать?

— Товарищ Фенацетинов,— крикнул Порошков лекпому,— давайте желудочный зонд, исследование сока будем делать.

* * *

— Что за дьявольщина! — бормотал недоумевающий Порошков, глядя в сосуд,— кровь! Ей-богу, кровь. Первый раз вижу. При таком прекрасном внешнем состоянии...

— Прощай, белый свет,— говорил Пузырев, лежа на диване,— не стоять мне более у станка, не участвовать мне в заседаниях, не выносить мне более резолюций...

— Не унывайте, голубчик,— утешал его сердобольный Порошков.

— Что же это за болезнь такая, ядовитая? — спросил угасающий Пузырев.

— Да круглая язва желудка у вас. Но это ничего, можно поправиться,— во-первых, будете лежать в постели, во-вторых, я вам порошки дам.

— Стоит ли, доктор,— молвил Пузырев,— не тратьте ваших уважаемых лекарств на умирающего слесаря, они пригодятся живым... Плюньте на Пузырева, он уже наполовину в гробу...

«Вот убивается парень!» — подумал жалостливый Порошков и накапал Пузыреву валерианки.

* * *

На круглой язве желудка Пузырев заработал 18 р. 79 к., освобождение от занятий и порошки. Порошки Пузырев выбросил в клозет, а 18 р. 79 к. использовал таким образом: 79 копеек дал Марье на хозяйство, а 18 рублей пропил...

* * *

— Денег нету опять, дорогая Марья,— говорил Пузырев,— накапай-ка ты мне зубровки в глаза...

В тот же день на приеме у доктора Каплина появился Пузырев с завязанными глазами. Двое санитаров вели его под руки, как архиерея. Пузырев рыдал и говорил:

— Прощай, прощай, белый свет! Пропали мои глазыньки от занятий у станка...

— Черт вас знает! — говорил доктор Каплин,— я такого злого воспаления в жизнь свою не видал. Отчего это у вас?

— Это у меня, вероятно, наследственное, дорогой доктор,— заметил рыдающий Пузырев.

* * *

На воспалении глаз Пузырев сделал чистых 22 рубля и очки в черепаховой оправе.

Черепаховую оправу Пузырев продал на толкучке, а 22 рубля распределил таким образом: 2 рубля дал Марье, потом полтора рубля взял обратно, сказавши, что отдаст их вечером, и эти полтора и остальные двадцать пропил.

* * *

Неизвестно где гениальный Пузырев спер пять порошков кофеину и все эти пять порошков слопал сразу, отчего сердце у него стало прыгать, как лягушка. На носилках Пузырева привезли в амбулаторию к докторше Микстуриной, и докторша ахнула.

— У вас такой порок сердца,— говорила Микстурина, только что кончившая университет,— что вас бы в Москву в клинику следовало свезти, там бы вас студенты на части разорвали. Прямо даже обидно, что такой порок даром пропадает!

* * *

Порочный Пузырев получил 48 р. и ездил на две недели в Кисловодск. 48 рублей он распределил таким образом: 8 рублей дал Марье, а остальные сорок истратил на знакомство с какой-то неизвестной блондинкой, которая попалась ему в поезде возле Минеральных Вод.

«...Чем мне теперь заболеть, уж я и ума не приложу,— говорит сам себе Пузырев,— не иначе как придется мне захворать громаднейшим нарывом на ноге».

Нарывом Пузырев заболел за 30 копеек. Он пошел и купил на эти 30 копеек скипидару в аптеке. Затем у знакомого бухгалтера он взял напрокат шприц, которым впрыскивают мышьяк, и при помощи этого шприца впрыснул себе скипидар в ногу. Получилась такая штука, что Пузырев даже сам взвыл.

«Ну, теперича мы на этом нарыве рублей 50 возьмем у этих оболтусов докторов»,— думал Пузырев, ковыляя в больницу.

Но произошло несчастье.

В больнице сидела комиссия, и во главе нее сидел какой-то мрачный и несимпатичный в золотых очках.

— Гм,— сказал несимпатичный и просверлил Пузырева взглядом сквозь золотые обручи,— нарыв, говоришь? Так... Снимай штаны!

Пузырев снял штаны, и не успел оглянуться, как ему вскрыли нарыв.

— Гм! — сказал несимпатичный,— так это скипидар у тебя, стало быть, в нарыве? Как же он туда попал, объясни мне, любезный слесарь?..

— Не могу знать,— ответил Пузырев, чувствуя, что под ним разверзается бездна.

— А я могу! — сказали несимпатичные золотые очки.

— Не погубите, гражданин доктор,— сказал Пузырев и зарыдал неподдельными слезами без всякого воспаления.

* * *

Но его все-таки погубили.

И так ему и надо.

ЧЕМПИОН МИРА

Фантазия в прозе

> Прения у нас на съезде были горячие УДР в заключительном слове обозвал своих оппонентов обормотами...
>
> *Из письма рабкора № 2244*

Зал дышал, каждая душа напряглась, как струна. Участковый съезд шел на всех парусах. На эстраде стоял Удэер и щелкал, как соловей весной в роще:

— Дорогие товарищи! Подводя итоги моего краткого четырехчасового доклада, я должен сказать, положа руку на сердце... (тут Удэер приложил руку к жилетке и сделал руладу голосом)... что работа на участке у нас выполнена на... 115 процентов!

— Ого! — сказал бас на галерке.

— Я полагаю... (и трель прозвучала в горле у Удэера)... что и прений по докладу быть не может. Чего, в самом деле, преть понапрасну? Я кончил!

— Бис,— сказал бас на галерке, и зал моментально засморкался и закашлялся.

— Есть желающие высказаться по докладу? — вежливым голосом спросил председатель.

— Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я!

— Виноват, не сразу, товарищи... Зайчиков?.. Так! Пеленкин?.. Сейчас, сию секунду, всех запишем, сию минуту!..

— Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я!

— Эге,— молвил председатель, приятно улыбаясь,— работа кипит, как говорится. Отлично, отлично. Кто еще желает?

— Меня запиши — Карнаухов!

— Всех запишем!

— Это что же... Они по поводу моего доклада разговаривать желают? — спросил Удэер и обидчиво скривил рот.

— Надо полагать,— ответил председатель.

— Ин-те-рес-но. О-чень, очень интересно, что такое они могут выговорить,— сказал, багровея, Удэер,— чрезвычайно любопытно.

— Слово предоставляется тов. Зайчикову,— продолжал председатель и улыбнулся, как ангел.

— Выскажись, Зайчиков,— поощрил бас.

— Я хотел вот чего сказать,— начал смельчак Зайчиков,— как это такое замороженные платформы с балластом оказались? На какой они предмет? (Удэер превратился из багрового в лилового.) Оратор говорит, что все на 115 процентов, между тем такой балласт выгружать нельзя!

— Вы кончили? — спросил председатель, довольный оживлением работы.

— Чего ж тут кончать? Что ж мы, зубами будем этот балласт грызть?..

— Бис, бис, Зайчиков! — сказал бас.

— Вы каждому оратору в отдельности желаете возразить или всем вместе? — спросил председатель.

— Я в отдельности,— зловеще улыбнувшись, молвил Удэер,— я каждому в отдельности, хе-хе-хе, скажу.

Он откашлялся, зал утих.

— Прежде чем ответить на вопрос, почему заморожен балласт, зададим себе вопрос, что такое Зайчиков? — задумчиво сказал Удэер.

— Интересно,— подкрепил бас.

— Зайчиков — известный всему участку болван,— звучно заметил Удэер, и зал охнул.

— Распишись, Зайчиков, в получении,— сказал бас.

— То есть как это?— спросил Зайчиков, а председатель неизвестно зачем сыграл на колокольчике нечто похожее на третий звонок к поезду, еще более этим оттенив выступление Удэера.

— Может быть, вы объясните ваши слова?— бледно-голубым голосом осведомился председатель.

— С наслаждением,— отозвался Удэер,— что, у меня в ведении небесная канцелярия, что ли? Я, что ль, мороз послал на участок? Ну, значит, и вопросы глупые, не к чему задавать.

— Чисто возражено,— заметил бас,— Зайчиков, ты жив?

— Слово предоставляется следующему оратору— Пеленкину,— выкрикнул председатель, растерянно улыбаясь.

— На каком основании рукавицы не выдали? И что мы, голыми руками этот балласт будем сгружать? Все. Пущай он мне ответит.

— Каверзный вопрос,— прозвучал бас.

— Вам слово для ответа предоставляется,— заметил председатель.

— Много я видал ослов за сорок лет моей жизни,— начал Удэер...

— Вечер воспоминаний,— заметил бас.

— ...но такого, как предыдущий оратор, сколько мне припоминается, я еще не встречал. В самом деле, что я, Москвошвея, что ли? Или я перчаточный магазин на Петровке? Или, может, у меня фабрика есть, по мнению Пеленкина? Или, может быть, я рожу эти рукавицы? Нет! Я их родить не могу!

— Мудреная штука,— заметил бас.

— Стало быть, что ж он ко мне пристал? Мое дело— написать, я написал. Ну, и больше ничего.

— И Пеленкина угробил захватом головы,— отметил бас.

— Слово предоставляется следующему оратору.

— Вот чего непонятно,— заговорил следующий оратор,— я насчет 115 процентов... Сколько нас учит арифметика, а равно и другие науки, каждый предмет может иметь только сто процентов, а вот как мы переработались на 15 процентов, пущай объяснит.

— Ей-богу, интереснее, чем на борьбе в цирке,— заметил женский голос.

— Передний пояс,— пояснил бас.

Все взоры устремились на Удэера.

— Я с удовольствием бы объяснил это жаждущему оратору,— внушительно заговорил Удэер,— если б он не производил впечатления явно дефективного человека. Что ж я буду дефективному объяснять? Судя по тому, как он тупо смотрит на меня, объяснений он моих не поймет!

— Его надо в дефективную колонию отдать,— отозвался бас, который любил натравливать одного борца на другого.

— Именно, товарищ! — подтвердил Удэер.— В самом деле, если работу выполнить всю целиком, так и будет работа на 100 процентов. Так? А если мы еще сверх этого что-нибудь сделаем, ведь это лишние еще проценты пойдут? Ведь верно?

— Апсольман! — подтвердил бас.

— Ну, вот мы, значит, сверх ста процентов, которые нам полагалось, еще наработали! Удовлетворяет это вас, глубокоуважаемый сэр? — осведомился Удэер у дефективного оратора.

— Да что вы дефективного спрашиваете? — ответил бас.— Ты с ним и не разговаривай, ты меня спроси. Меня удовлетворяет!

— Следующий оратор Фиусов,— пригласил председатель.

— Нет, я не хочу,— отозвался Фиусов.

— Почему? — спросил председатель.

— Так, чего-то не хочется,— отозвался Фиусов,— снимаю.

— Сдрефил парень?! — спросил вездесущий бас.

— Сдрефил!! — подвердил зал.

— Ну, тогда Каблуков!

— Снимаю!

— Пелагеев!

— Не надо. Не хочу.

— И я не хочу! И я! И я! И я! И я! И я! И я!

— Список ораторов исчерпан,— уныло сказал растерявшийся председатель, недовольный ослаблением оживления работы.— Никто, стало быть, возражать не желает?

— Никто!! — ответил зал.

— Браво, бис,— грохнул бас на галерее,— поздравляю тебя, Удэер. Всех положил на обе лопатки. Ты чемпион мира!

— Сеанс французской борьбы окончен,— заметил председатель,— то бишь... заседание закрывается!

И заседание с шумом закрылось.

ТАЙНА НЕСГОРАЕМОГО ШКАФА

Маленький уголовный роман

1. ТРОЕ И ХОХОЛКОВ

Дверь открылась с особенно неприятным визгом, и вошли трое. Первый был весь в кожаных штанах и с портфелем, второй — в пенсне и с портфелем, третий — с повышенной температурой и тоже с портфелем.

— Ревизионная комиссия,— отрекомендовались трое и добавили: — позвольте нам члена месткома товарища Хохолкова.

Красивый блондин Хохолков привстал со стула, пожелтел и сказал:

— Я — Хохолков, а что?

— Желательно посмотреть профсоюзные суммы,— ответила комиссия, радостно улыбнувшись.

— Ах, суммы? — сказал Хохолков и подавился слюной.— Сейчас, сейчас.

Тут Хохолков полез в карман, достал ключ и сунул его в замочную скважину несгораемого шкафа. Ключ ничего не открыл.

— Это не тот ключ,— сказал Хохолков,— до чего я стал рассеянным под влиянием перегрузки работой, дорогие товарищи! Ведь это ключ от моей комнаты!

Хохолков сунул второй ключ, но и от того пользы было не больше, чем от первого.

— Я прямо кретин и неврастеник,— заметил Хохолков,— сую, черт знает что сую! Ведь это ключ от сундука от моего.

Болезненно усмехаясь, Хохолков сунул третий ключ.

— Мигрень у меня... Это от ворот ключ,— бормотал Хохолков.

После этого он вынул малюсенький золотой ключик, но даже и всовывать не стал его, а просто сухо плюнул:

— От часов ключик...

— В штанах посмотри,— посоветовала ревизионная

комиссия, беспокойно переминаясь на месте, как тройка, рвущаяся вскачь.

— Да не в штанах он. Помню даже, где я его посеял. Утром сегодня, чай когда наливал, наклонился, он и выпал. Сейчас!

Тут Хохолков проворно надел кепку и вышел, повторяя:

— Посидите, товарищи, я сию минуту...

2. ЗАПИСКА ОТ ТРУПА

Товарищи посидели возле шкафа 23 часа.

— Вот черт! Засунул же куда-то! — говорила недоуменно равизионная комиссия,— ну уж, долго ждали, подождем еще, сейчас придет.

Но он не пришел. Вместо него пришла записка такого содержания:

«Дорогие товарищи! В припадке меланхолии решил покончить жизнь самоубийством. Не ждите меня, мы больше не увидимся, так как загробной жизни не существует, а тело, т. е. то, что некогда было членом месткома Хохолковым, вы найдете на дне местной реки, как сказал поэт:

Безобразен труп ужасный,
Посинел и весь распух,
Горемыка ли несчастный
Испустил свой грешный дух...

Ваш уважающий *труп Хохолкова*».

3. УМНЫЙ СЛЕСАРЬ

— Попробуй,— сказали слесарю.

Слесарь наложил почерневшие пальцы на лакированную поверхность, горько усмехнулся и заметил:

— Разве мыслимо? У нас и инструмента такого нету. Местную пожарную команду надо приглашать, да и та не откроет, да и занята она: ловит баграми Хохолкова.

— Как же нам теперича быть? — спросила ревизионная комиссия.

— Специалиста надо вызывать,— посоветовал слесарь.

— Скудова же тут специалист? — изумилась комиссия.

— Из тюремного за́мку,— ответил слесарь, ибо он был умен.

— Ромуальд Майорчик,— представился молодой, бритый, необыкновенного изящества человек, явившийся в сопровождении потертого человека в серой шинели и с пистолетом,— чем могу быть полезен?

— Очень приятно,— неуверенно отозвалась комиссия,— видите ли, вот касса, а труп потонул в меланхолии, вместе с ключом.

— Которая касса? — спросил Майорчик.

— Как которая? Вот она.

— Ах, вы это называете кассой? Извиняюсь,— отозвался Майорчик, с презрительной усмешкой,— это — старая коробка, в которой следует пуговицы держать от штанов. Касса, дорогие товарищи,— заговорил месье Майорчик, заложив лакированный башмак за башмак и опершись на кассу,— действительно хорошая была в Металлотресте в Одессе, американской фирмы «Робинзон и К°», с 22 отделениями и внутренним ящиком для векселей, рассчитанная на пожар с температурой до 1200 градусов. Так эту кассу, дорогие товарищи, мы с Владиславом Скрибунским, по кличке Золотая Фомка, вскрыли в семь минут от простого 120-вольтного провода. Векселя мы оставили Металлотресту на память, и он по этим векселям не получил ни шиша, а мы взяли две с половиной тысячи червей.

— А где же теперь Золотая Фомка? — спросила комиссия, побледнев.

— В Москве,— ответил месье Майорчик и вздохнул,— ему еще два месяца осталось. Ничего, здоров, потолстел даже, говорят. Он этим летом в Батум поедет на гастроль. Там в морагентстве интересную систему прислали. Германская, с двойной бронировкою стен.

Комиссия открыла рты, а Майорчик продолжал:

— Трудные кассы английские, дорогие товарищи, с тройным шрифтом на замке и электрической сигнализацией. Изящная штучка. В Ленинграде Бостанжогло, он же графчик Карапет, резал ее 27 минут. Рекорд.

— Ну и что? — спросила потрясенная комиссия.

— Векселя! — грустно ответил Майорчик.— Пищетрест. Они потом гнилые консервы поставили... Ну, что ж с них получишь по векселям? Ровно ничего! Нет, дорогие товарищи, бывают такие кассы, что вы, прежде чем к ней подойти, любуетесь ею полчаса. И как возьмете

в руки инструмент, у вас холодок в животе. Приятно. А это что же? — И Майорчик презрительно похлопал по кассе.— Калоша. В ней и деньги-то неприлично держать, да их там, наверно, и нет.

— Как это — нету? — сказала потрясенная комиссия.— И быть этого не может. Восемь тысяч четыреста рублей должно быть в кассе.

— Сомневаюсь,— заметил Майорчик,— не такой у нее вид, чтобы в ней было восемь тысяч четыреста.

— Как это по виду вы можете говорить?

Майорчик обиделся.

— Касса, в которой деньги, она не такую внешность имеет. Это касса какая-то задумчивая. Позвольте мне головную дамскую шпильку обыкновенного размера.

Головную дамскую шпильку обыкновенного размера достали у машинистки в месткоме. Майорчик вооружился ею, закатал рукава, подошел к кассе, провел по шву пальцами, затем согнул шпильку и превратил ее в какую-то закорючку, затем сунул ее в скважину, и дверь открылась мягко и беззвучно.

— Восемь тысяч четыреста,— иронически усмехался Майорчик, уводимый человеком с пистолетом,— держи шире карман, в ей восемь рублей нельзя держать, а вы — восемь тысяч четыреста!

5. ЗАГАДОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Действительно, никаких восьми тысяч четырехсот там не было. Потрясенная комиссия вертела в руках документ, представлявший собою угол, оторванный от бумаги. На означенном углу были написаны загадочные и неоконченные слова:

«Мар...

золот...

1400 р...»

— Позвать эксперта,— распорядилась комиссия.

Эксперт явился и расшифровал документ таким образом:

«Марта — (такого-то числа...) золотой валютой... 1400 рублей».

— Где же остальные семь тысяч? — стонала комиссия.

6. ТАЙНА ДОКУМЕНТА РАЗГАДАНА

У Хохолкова на квартире в старых брюках нашли вторую половину разорванного документа, и было на ней написано следующее:

«...уся, милая, бесценная,

...ая, целую вас

...аз и непременно приду сегодня вечером.

Ваш *Хохолков*».

Сложили обе половины. И тогда комиссия взвыла:

— Где же все восемь тысяч четыреста? Поганец труп, куда ж он задевал профсоюзные деньги?! И куда он сам девался, и почему пожарная команда не может откопать его на дне местной реки?!

7. СТРАШНОЕ ЯВЛЕНИЕ

И вот в одну прекрасную ночь ревизионная комиссия, возвращаясь с очередной ревизии, столкнулась в переулке с человеком.

— С нами крестная сила! — воскликнула комиссия и стала пятиться.

И было отчего пятиться. Стоял перед комиссией человек, как две капли воды похожий на покойного Хохолкова. Вовсе он не был посиневший и не распух...

— Позвольте, да ведь это Хохолков!

— Ей-богу, это не я! Я просто похож,— ответил незнакомец,— тот Хохолков потонул, вы про него и забудьте. Моя же фамилия — Иванов, я недавно приехал. Оставьте меня в покое!

— Нет, позволь, позволь,— сказала комиссия, держа Хохолкова за фалду,— ты все-таки объясни: и у тебя родинка на правой щеке, у тебя глаза бегают и у Хохолкова бегают. И пиджак тот самый, и брови те же самые, только кепка другая, ну, так ведь кепка же не приклеенная к голове. Объясни, где восемь тысяч четыреста?!

— Не погубите, товарищи,— вдруг сказал незнакомец хохолковским голосом и стал на колени,— я вовсе не тонул, просто бежал, мучимый угрызениями совести, и вот ключ от кассы, а восьми тысяч четырехсот не ищите, дорогие товарищи. Их уже нет. Пожрала их гадина Маруська, местная артистка, которая через день делает

себе маникюр. Оторвался я от массы, дорогие товарищи, но, принимая во внимание мое происхождение...

— Ах ты, поросенок, поросенок,— сказала ревизионная комиссия, и Хохолкова повели.

8. БЛАГОПОЛУЧНЫЙ КОНЕЦ

И привели в суд. И судили, и приговорили, и посадили в одну камеру с Майорчиком. И так ему и надо. Пусть не тратит профсоюзных денег, доверенных ему массою, на чем и назидательному уголовному роману конец. Точка.

МУЗЫКАЛЬНО-ВОКАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА

На грязно-коричневой стене паровозного сарая висел белый плакат, возле коего стояла восхищенная толпа.

И немудрено: на плакате было изображено:

«Железнодорожники!

Внимание!

В понедельник, 26 апреля, в 4 ½ часа, в паровозном сарае при мастерских имени т. Урицкого состоится

Общее собрание

Порядок дня:

1. Отчет месткома.
2. Обсуждение наказа новому месткому.
3. Перевыборы месткома.

Играет оркестр духовой музыки!»

* * *

Через день после появления означенного плаката, именно в среду, в вагонных мастерских заседал вагонный местком.

— Ну, Петя, как у их прошло?—спросил мрачный председатель у секретаря.

— Полный сбор,— ответил Петя,— сто процентов ихних приволоклось, да наших по контрамаркам было человек пятьдесят, оркестр слушали.

— Ах, халтурщики, ах, арапы,— расстроился председатель,— вот ловчилы собачьи!

— Ничего они не ловчилы,— отозвался член месткома

товарищ Практичный,— а просто тамошний председатель Седулаев — умница! Знает, чем массу за жабры взять! А мы сидим, гнием. У нас на прошлом собрании сколько было?

— Семнадцать человек,— ответил Петя, секретарь.

— Ну вот, а у нас две тысячи народу! Да и семнадцать только потому оказалось, что я вовремя двери в столярный цех запер, не успел убежать народ!

— Стало быть, что ж ты предлагаешь? — спросил председатель встревоженно.

— Да предложение тут простое,— отозвался Практичный,— перешибить их надо!

— Ну, я ж их и перешибу! — вскричал председатель, зажженный словами Практичного.— Я покажу антрепренеру Седулаеву, что далеко кулику до Петрова дня! Далеко ему до вагонного месткома! Я им такое устрою, что слава о нас загремит по всему Союзу... Берите, братцы, бумагу, будем сочинять.

* * *

На другой день, именно в четверг, на грязной стене вагонного сарая висел плакат в три сажени:

«Всем, всем, всем!!!

Завтра, в пятницу, в 8 часов вечера, в здании вагонного сарая состоится грандиозное музыкально-вокальное общее собрание при участии лучших сил артистов и месткома, известных в Европе и Азии.

Программа:

1. Доклад о международном положении. Исполнит любимец публики баритон и председатель месткома Хилякин.

2. Вальс из «Фауста» — оркестр местного театра.

3. «Касса взаимопомощи» — водевиль в гриме и костюмах разыграют артисты.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Председатель бюро кассы — артист музыкальной комедии Греков.

Клиент — артист Ярон.

Антракт с буфетом и напитками.

4. Первый раз в СССР!!!

Доклад по материнству прочтет Черная Маска.

Неизвестный? Кто он?!

Угадавшему будет выдан приз в виде голой женщины из терракота и аквариума с золотыми рыбками.

5. Отчет о деятельности бывшего месткома.— Живая картина в черном бархате под аккомпанемент похоронного марша т. Шопена.

6. Выборы нового месткома. Общее веселье. Выбранные получат приз якобы за красоту. Участвует весь зал. Море смеха.

7. Текущие дела и романсы мирового артиста Дмитрия Смирнова!

8. Мертвая петля — исполнит председатель Хилякин на велосипеде.

Буфет, серпантин, танцы до 6 часов утра.

У рояля маэстро Океанчик.

Вход — пятачок.

Дети и красноармейцы платят половину.

АНОНС!!!

На следующем общем собрании бой быков».

* * *

Уму непостижимо человеческому, что творилось в пятницу в вагонном сарае. Обычно вмещающий 2000 человек, он вместил две с половиной тысячи. Сидели в сорок рядов на табуретах, сидели на подоконниках и на земле, сидели на станках, а на крюках гроздями висели мальчишки. В воздухе плыл пар от дыхания.

В отделении слышался грохот, это соседи-паровозники били стекла, рвались на общее собрание.

— Что ж мы, хуже вагонных?! — кричали они.— Каждому лестно попасть на общее собрание за пятачок!!

Конная милиция свистела и уговаривала:

— Товарищи, будьте сознательны, не последнее собрание, успеете, приходите на бой быков...

— Оторвались от массы! — выли паровозники.— Ихний вагонный местком спит и во сне видит, как бы рабочим удовольствие сделать: то выборы, то собрание устроит, а наши спят беспробудно!!

— Товарищи! Что вы делаете?!.

Внутри сарая, на эстраде, устроенной в доменной печи, стоял артист во фраке и разливался соловьем:

Сердце красавицы!.. склонно к измене!!!

— Верно! Правильно! — кричали вагонные.— Бис, бис, бис!!!

— Потолок бы не треснул, боюсь,— шипел Хилякин с бантом в петлице,— зови рабочих, чтоб натягивали проволоку для мертвой петли.

— Смирнова!!! — кричали машинисты.

— Смирнова!!! — кричали рабочие.

— Бей стекла,— кричали паровозники на улице.— Поджечь ихний театр!!!

— Товарищи!! — кричала милиция...

* * *

В 2 часа ночи в вагонном сарае царила благоговейная тишина. Было пусто. Только на бывшей эстраде лежал некто, прикрытый простыней, а возле него стояли унылые члены месткома, Петя-секретарь и та же милиция, но уже в пешем строю.

Писали протокол.

«Уважаемый председатель вагонного месткома Хилякин упал во время исполнения мертвой петли с высоты вагонного сарая и, ударившись головой о публику, умер путем переломления позвоночного столба. Мир твоему праху, неусыпный труженик и организатор».

Светало в сарае.

РАДИО-ПЕТЯ

(*Записки пострадавшего*)

1 числа.

Познакомился с Петей, проживающим у нас в жилтовариществе. Петя — мальчик исключительных способностей. Целый день сидит на крыше.

2 числа.

Петя был у меня в гостях. Принес маленькую черную коробку, и между нами произошел нижеследующий разговор.

Петя (восторженно): Ах, Николай Иваныч, человечество тысячу лет искало волшебный кристалл, заключенный в этой коробке.

Я: Я очень рад, что оно его наконец нашло.

Петя: Я удивляюсь вам, Николай Иваныч, как вы, человек интеллигентный и имеющий дивную жилплощадь в лице вашей комнаты, можете обходиться без радио. Поймите, что в половине третьего ночью вы, лежа в постели, можете слышать колокола Вестминстерского аббатства.

Я: Я не уверен, Петя, что колокола в половине третьего ночи могут доставить удовольствие.

Петя: Ну, если вы не хотите колоколов, вам будут передавать по утрам справки о валюте с нью-йоркской биржи. Наконец, если вы не хотите Нью-Йорка, вечером вы услышите, сидя у себя в халате, как поет Кармен в Большом театре. Вы закроете глаза и: «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел...»

Я (соблазнившись): Во что обойдется ангел, дорогой Петя?

Петя (радостно): За одиннадцать рублей я поставлю вам простое радио, а за тринадцать — с громкоговорителем на двадцать пять человек.

Я: Ну зачем же на такое большое количество? Я холост...

Петя: Меньше не бывает.

Я: Хорошо, Петя. Вот три... еще три... шесть и еще семь. Тринадцать, ставьте.

Петя (улетая из комнаты): Вы ахнете, Николай Иваныч.

3 числа.

Я действительно ахнул, потому что Петя проломил у меня стену в комнате, вследствие чего отвалился громадный пласт штукатурки и перебил всю посуду у меня на столе.

4 числа.

Петя объявил, что он сделает все хозяйственным способом — заземлит через водопровод, а штепсель — от электрического освещения. Закончил разговор Петя словами:

— Теперь я отправляюсь на крышу.

5 числа.

Петя упал с крыши и вывихнул ногу.

10 числа.

Петину ногу починили, и он приступил к работам в моей комнате. Одна проволока протянута к водопроводной раковине, а другая — к электрическому освещению.

11 числа.

В 8 часов вечера потухло электричество во всем доме. Был неимоверный скандал, закончившийся заседанием жилтоварищества, которое неожиданно вынесло постановление о том, что я — лицо свободной профессии и буду платить по 4 рубля за квадратную сажень. Монтеры починили электричество.

12 числа.

Готово. В комнате серая пасть, но пока она молчит: не хватает какого-то винта.

13 числа.

Это чудовищно! Старушка, мать председателя жилтоварищества, пошла за водой к раковине, причем раковина сказала ей басом: «Крест и маузер!..» — при этом этой старой дуре послышалось, будто бы раковина прибавила: «Бабушка», и старушка теперь лежит в горячке. Я начинаю раскаиваться в своей затее.

Вечером я прочитал в газете: «Сегодня трансляция оперы «Фауст» из Большого театра на волне в 1000 метров». С замиранием сердца двинул рычажок, как меня учил Петя. Ангел полуночи заговорил волчьим голосом в пасти:

«Говорю из Большого театра, из Большого. Вы слушаете? Из Большого, слушайте. Если вы хотите купить ботинки, то вы можете сделать это в ГУМе. Запишите в свой блокнот: в ГУМе (гнусаво), в ГУМе».

— Странная опера,— сказал я пасти,— кто это говорит?

«Там же вы можете приобрести самовар и белье. Запомните — белье. Из Большого театра говорю. Белье только в ГУМе. А теперь я даю зал. Даю зал. Даю зал. Вот я дал зал. Свет потушили. Свет потушили. Свет опять зажгли. Антракт продолжится еще десять минут, поэтому прослушайте пока урок английского языка. До свидания. По-английски: гуд бай. Запомните: гуд бай...»

Я сдвинул рычажок в сторону, и в пасти потухли всякие звуки. Через четверть часа я поставил рычажок на тысячу метров, тотчас в комнате заворчало, как на сковороде, и странный бас запел:

Расскажите вы ей, цветы мои...

Вой и треск сопровождали эту арию. На улице возле моей квартиры стали останавливаться прохожие. Слышно было, как в коридоре скопились обитатели моей квартиры.

— Что у вас происходит, Николай Иваныч?—спросил голос, и я узнал в голосе председателя жилтоварищества.

— Оставьте меня в покое, это—радио!—сказал я.

— В одиннадцать часов я попрошу прекратить это,— сказал голос из замочной скважины.

Я прекратил это раньше, потому что не мог больше выносить воя из пасти.

14 числа.

Сегодня ночью проснулся в холодном поту.

Пасть сказала весело: «Отойдите на два шага».

Я босиком вскочил с постели и отошел.

«Ну, как теперь?»—спросила пасть.

— Очень плохо,—ответил я, чувствуя, как стынут босые ноги на холодном полу.

«Запятая и Азербайджан»,—сказала пасть.

— Что вам надо?!—спросил я жалобно.

«Это я, Калуга,—отозвалась пасть,—запятая, и с большой буквы. Полиция стреляла в воздух, запятая, а демонстранты, запятая...»

Я стукнул кулаком по рычажку, и пасть смолкла.

15 числа.

Днем явился вежливый человек и сказал:

— Я контролер. Давно ли у вас эта штука?

— Два дня,—ответил я, предчувствуя недоброе.

— Вы, стало быть, радиозаяц, да еще с громкоговорителем,—ответил контролер,—вам придется заплатить двадцать четыре рубля штрафу и взять разрешение.

— Это не я радиозаяц, а Петя радиомерзавец,— ответил я,—он меня ни о чем не предупредил и, кроме того, испортил всю комнату и отношения с окружающими. Вот двадцать четыре рубля, и еще шесть рублей я дам тому, кто исправит эту штуку.

— Мы вам пришлем специалиста,—ответил контролер и выдал мне квитанцию на двадцать четыре рубля.

16 числа.

Петя исчез и больше не являлся...

ПЬЯНЫЙ ПАРОВОЗ

> Станция... пьет всем коллективом, начиная от стрелочника до ДСП включительно, за малым исключением...
>
> *Из газеты «Гудок»*

Скорый поезд подходил с грозным свистом. При самом входе на стрелку мощный паровоз его вдруг вздрогнул, затем подпрыгнул, потом стал качаться, как бы раздумывая, на какую сторону ему свалиться. Машинист в ужасе визгнул и дал тормоз так, что в первом вагоне в уборной лопнуло стекло, а в ресторане пять пассажиров обварились горячим чаем. Поезд стал. И машинист с искаженным лицом высунулся в окошко.

На балкончике стрелочного здания стоял растерзанный человек в одном белье, с багровым лицом. В левой руке у него был зеленый грязный флаг, а в правой бутерброд с копченой колбасой.

— Ты что ж, сдурел?! — завопил машинист, размахивая руками.

Из всех окон высунулись бледные пассажиры.

Человек на балкончике икнул и улыбнулся благодушно.

— Прошибся маленько,— ответил он и продолжал: — поставил стрелку, а... потом гляжу... тебя нечистая сила в тупик несет! Я и стал передвигать. Натыкали этих стрелок, шут их знает зачем! Запутаишьсси. Главное, что ежели б я спец был...

— Ты пьян, каналья,— сказал машинист, вздрагивая от пережитого страха,— пьян на посту?! Ты ж народ мог погубить!!

— Нич...чего мудреного,— согласился человек с колбасой,— главное, что если б я стрелочник был со специальным образованием... А то ведь я портной...

— Что ты несешь?! — спросил машинист.

— Ничего я не несу,— сказал человек,— кум я стрелочников. На свадьбе был. Сам-то стрелочник не годен стал к употреблению, лежит. А мне супруга ихняя говорит: иди, говорит, Пафнутьич, переставь стрелку скорому поезду...

— Это ужас!! Кош-мар!! под суд их!! — кричали пассажиры.

— Ну уж и под суд,— вяло сказал человек с колбасой,— главное, если б вы свалились, ну, тогда так... А то ведь пронесло благополучно. Ну, и слава богу!!

— Ну, дай только мне до платформы доехать,— сквозь зубы сказал машинист,— там мы тебе такой протокол составим.

— Доезжай, доезжай,— хихикнул человек с колбасой,— там, брат, такое происходит... не до протоколу таперича. У нас помощник начальника серебряную свадьбу справляет!

Машинист засвистел, тронул рычаг и, осторожно выглядывая в окошко, пополз к платформе. Вагоны дрогнули и остановились. Из всех окон глядели пораженные пассажиры. Главный кондуктор засвистел и вылез.

Фигура в красной фуражке, в расстегнутом кителе, багровая и радостная, растопырила руки и закричала:

— Ба! Неожиданная встреча! К-каво я вижу? Если меня не обманывает зрение... ик... Это Сусков, главный кондуктор, с которым я так дружил на станции Ржев-Пассажирский?! Братцы, радость, Сусков приехал со скорым поездом!

В ответ на крик багровые физиономии высунулись из окон станции и закричали:

— Ура! Сусков, давай его к нам!

Заиграла гармоника.

— Да, Сусков...— ответил ошеломленный обер, задыхаясь от спиртового запаху,— будьте добры нам протокол и потом жезл. Мы спешим...

— Ну вот... Пять лет с человеком не видался, и вот на тебе! Он спешит! Может быть, тебе скипетр еще дать? Свинья ты, Сусков, а не обер-кондуктор!.. Пойми, у меня радостный день. И не пущу... И не проси!.. Семафор на запор, и никаких! Раздавим по банке, вспомним старину... Проведемте, друзья, эту ночь веселей!..

— Товарищ десепе... что вы?.. Вы, извините, пьяны. Нам в Москву надо!

— Чудак, что ты там забыл, в Москве? Плюнь: жарища, пыль... Завтра приедешь... Мы рады живому человеку. Живем здесь в глуши. Рады свежему человеку...

— Да помилуйте, у меня пассажиры, что вы говорите?!

— Плюнь ты на них, делать им нечего, вот они и шляются по железным дорогам. Намедни проходит скорый... спрашиваю: куда вы? В Крым, отвечают... На тебе! Все люди как люди, а они в Крым!.. Пьянствовать, наверно, едут.

— Это кошмар! — кричали в окна вагонов.— Мы будем жаловаться в Совнарком!

— Ах... так? — сказала фигура и рассердилась.— Ябедничать? Кто сказал — жаловаться? Вы?

— Я сказал,— взвизгнула фигура в окне международного вагона,— вы у меня со службы полетите!

— Вы дурак из международного вагона,— круто отрезала фигура.

— Протокол! — кричали в жестком вагоне.

— Ах, протокол? Л-ладно. Ну, так будет же вам шиш вместо жезла, посмотрю, как вы уедете отсюда жаловаться. Пойдем, Вася! — прибавила фигура, обращаясь к подошедшему и совершенно пьяному весовщику в черной блузе,— пойдем, Васятка! Плюнь на них! Обижают нас московские столичные гости! Ну, так пусть они здесь посидят, простынут.

Фигура плюнула на платформу и растерла ногой, после чего платформа опустела.

В вагонах стоял вой.

— Эй, эй! — кричал обер и свистел.— Кто тут есть трезвый на станции, покажись!

Маленькая босая фигурка вылезла откуда-то из-под колес и сказала:

— Я, дяденька, трезвый.

— Ты кто будешь?

— Я, дяденька, черешнями торгую на станции.

— Вот что, малый... ты, кажется, смышленый мальчуган, мы тебе двугривенный дадим. Сбегани-ка вперед посмотри, свободные там пути? Нам бы только отсюда выбраться.

— Да там, дяденька, как раз на вашем пути, паровоз стоит совершенно пьяный...

— То есть как?

Фигурка хихикнула и сказала:

— Да они, когда выпили, шутки ради в него вместо воды водки налили. Он стоит и свистить...

Обер и пассажиры окаменели и так остались на платформе. И неизвестно, удалось ли им уехать с этой станции.

«РАЗВРАТНИК»

(Разговорчик)

Стрелочник кашлянул и вошел к начальству в комнату. Начальство помещалось за письменным столом.

— Здравствуйте, Адольф Ферапонтович,— сказал стрелочник вежливо.

— Чего тебе?—спросило начальство не менее вежливо.

— Я... видите ли, в фактическом браке состою,— вымолвил стрелочник и почему-то стыдливо улыбнулся.

Начальство брезгливо поглядело на стрелочника.

— Ты всегда производил на меня впечатление развратника,— заметило оно,— у тебя и рот чувственный.

Стрелочник окостенел. Помолчали.

— Я тебя не задерживаю,— продолжало начальство,— ты чего стоишь возле стола? Ежели ты пришел делиться грязными тайнами своей жизни, то они мне не интересны!

— Я? Извольте видеть... Я за билетиком пришел...

— За каким билетиком?

— Жене моей бесплатный билетик.

— Жене? Ты разве женат?

— Я ж докладаю... в фактическом браке.

— Хи-хи... Ты весельчак, как я на тебя погляжу. В каком же ты храме венчался?

— Да я в храме не венчался...

— Где регистрировались, уважаемый железнодорожник?—подчеркнуто сухо осведомилось начальство.

— Да я ж... Я не регистри... Я ж докладаю: в факти...

— Ну, видишь ли, друг, у тебя тогда не жена, а содержанка.

— То есть как...

— Очень просто. Подцепил, плутишка, какую-нибудь балерину, а теперь носится во все стороны. Дай ей, мол, бесплатный билет! Ловкач! Сегодня она бесплатный билет, а завтра она может автомобиль потребовать или моторную лодку. Или международный вагон! Она тебе в свинушнике ездить не станет все равно. Потом шляпку! А за шляпкой—чулки фильдеперсовые. Пропадешь ты, стрелочник, как собака под забором. Целковых триста она тебе в месяц обойдется. Да это еще на хороший конец, при режиме экономии, а то и все четыреста!

— Помилуйте! — воскликнул стрелочник с легким подвыванием в голосе.— Я сорок целковых получаю!

— Тем хуже. В долги влезешь, векселя начнешь писать. Ахнет она тебе счет от портнихи за платье целковых на сто восемьдесят. У тебя глаза пупом вылезут. Повертишься, повертишься и подмахнешь векселек. Срок придет, платить нечем, ты, конечно, в казино. Проиграешь сперва свои денежки, затем казенных тысяч пять, затем ключ французский гаечный, затем рожок, затем флаги зеленый и красный, затем фонарь, а в заключение — штаны. И сядешь ты на рельсы со своей плясуньей в чем мать родила. Ну, а потом, конечно, как полагается, тебя будут с треском судить. И закатают тебя, принимая во внимание, со строгой изоляцией. Так что годиков в пять не уберешь. Нет, стрелочник, брось. Она что, француженка, кокотка-то твоя?

— Какая же она француженка?! — закричал стрелочник, у которого все перевернулось вверх дном в голове.— Что вы, смеетесь? Марья она. Шляпку?.. Что вы такое говорите — шляпку! Она не знает, на какое место эту шляпку надевать. Она щи мне готовит!

— Щи и я тебе могу приготовить, но это не значит, что я тебе жена.

— Помилуйте, да ведь она в одной комнате со мной живет.

— Я с тобой тоже в одной комнате могу жить, но это не доказательство.

— Помилуйте, вы мужчина...

— Это мне и без тебя известно,— сказало начальство.

У стрелочника позеленело в глазах.

Он полез в карман и вынул газету.

— Вот, извольте видеть, «Гудок»,— сказал он.

— Какой гудок? — спросило начальство.

— Газетка.

— Мне, друг, некогда сейчас газетки читать. Я их вечером обычно читаю,— сказало начальство,— ты говори короче, что тебе надо, юный красавец?

— Вот написано в «Гудке»... разъяснение, что фактическим, мол, женам, которые проживают вместе с мужем и на его иждивении, выдаются бесплатные билеты... которые... наравне...

— Дружок,— мягко перебило начальство,— ты находишься в заблуждении. Ты, может быть, думаешь, что

«Гудок» для меня закон. Голубчик, «Гудок» — не закон, это — газета для чтения, больше ничего. А в законе ничего насчет балерин не говорится.

— Так, стало быть, мне не будет билета? — спросил стрелочник.

— Не будет, голубчик,— ответило начальство.

Помолчали.

— До свидания,— сказал стрелочник.

— Прощай и раскайся в своем поведении! — крикнуло ему начальство вслед.

* * *

А «Гудок»-то все-таки закон, и стрелочник билет все-таки получит.

КОЛЕСО СУДЬБЫ

Два друга жили на станции. И до того дружили, что вошли в пословицу. Про них говорили:

— Посмотрите, как живут Мервухин с Птоломеевым! Прямо как Полкан с Барбосом. Слезы льются, когда глядишь на их мозолистые лица.

Оба были помощниками начальника станции. И вот в один прекрасный день является Мервухин и объявляет Барбосу... то бишь Птоломееву, весть:

— Дорогой друг, поздравь! Меня прикрепили!

Когда друзья отрыдались, выяснились подробности. Мервухина выбрали председателем месткома, а Птоломеева — секретарем.

— Оценили Мервухина! — рыдал Мервухин счастливыми слезами.— И 12 целковых положили жалованья.

— А мне? — спросил новоиспеченный секретарь Птоломеев, переставая рыдать.

— А тебе, Жан, ничего,— пояснил предместкома,— па зэн копек[1], как говорят французы, тебе только почет.

— Довольно странно,— отозвался новоиспеченный секретарь, и тень легла на его профсоюзное лицо.

Друзья завертели месткомовскую машинку.

И вот однажды секретарь заявил председателю:

---

[1] ни одной копейки (от *фр.* pas un kopek).

— Вот что, Ерофей. Ты, позволь тебе сказать по-дружески, ты хоть и предместкома, а свинья.

— То есть?

— Очень просто. Я ведь тоже работаю.

— Ну и что?

— А то, что ты должен уделить мне некоторую часть из 12 целковых.

— Ты находишь? — суховато спросил Мервухин, предместкома.— Ну, ладно, я тебе буду давать 4 рубля или, еще лучше, 3.

— А почему не пять?

— Ну, ты спроси, почему не десять?!

— Ну, черт с тобой, жада-помада. Согласен.

Настал момент получения. Мервухин упрятал в бумажник 12 целковых и спросил Птоломеева:

— Ты чего стоишь возле меня?

— Три рубля, Ероша, хочу получить.

— Какие три? Ах, да, да, да... Видишь ли, друг, я тебе их как-нибудь потом дам — 15 числа или же в пятницу... А то, видишь ли, мне сейчас... самому нужно...

— Вот как? — сказал, ошеломленно улыбаясь, Птоломеев.— Так-то вы держите ваше слово, сэр?

— Я попрошу вас не учить меня.

— Бога ты боишься?

— Нет, не боюсь, его нету,— ответил Мервухин.

— Ну, это свинство с твоей стороны!

— Попрошу не оскорблять.

— Я не оскорбляю, а просто говорю, что так поступают только сволочи.

— Вот тебе святой крест,— сказал Мервухин,— я общему собранию пожалуюсь, что ты меня при исполнении служебных обязанностей...

— Какие же это служебные обязанности! Зажал у товарища три целковых...

— Попрошу оставить меня в покое, господин Птоломеев.

— Господа все в Париже, господин Мервухин.

— Ну и ты туда поезжай!

— А ты знаешь куда поезжай?..

— Вот только скажи. Я на тебя протокол составлю, что ты в присутственном месте выражаешься...

— Ну, ладно же! — сказал багровый Птоломеев.— Я тебе это попомню!

— Попомни.

* * *

Был солнечный день, когда повернулось колесо судьбы. Вошел Птоломеев, и его фуражка горела, как пламя.

— Здравствуйте, дорогой товарищ Мервухин,— сказал зловещим голосом Птоломеев.

— Здравствуйте,— иронически сказал Мервухин.

— Привстать нужно, гражданин Мервухин, при входе начальника,— сказал Птоломеев.

— Хи-хи. Угорел! Какой ты мне начальник?

— А вот какой: приказом от сего числа назначен временно исполняющим обязанности начальника станции.

— Поздравляю...— растерянно сказал Мервухин и добавил: — да, кстати, Жанчик, я тебе три рубля хотел отдать, да вот забываю.

— Нет, мерси, зачем вам беспокоиться,— отозвался Птоломеев.— Кстати, о трех рублях. Потрудитесь сдать ваше дежурство и очистить станцию от своего присутствия: я снимаю вас с должности.

— Ты шутишь?

— По инструкции шутить не полагается при исполнении служебных обязанностей. Плохо знаете службу, товарищ Мервухин. Попрошу вас встать!

— Крест-то на тебе есть?

— Нет. Я в Союзе безбожников,— ответил Птоломеев.

— Ну, знаешь, видал я подлецов, но таких...

— Это вы мне?

— Тебе.

— Начальнику станции? Го-го! Ты видишь, я в красной фуражке?

— В данном случае ты — гнида в красной фуражке.

— А если я вам за такие слова дам по морде?

— Сдачи получите! — сказал хрипло Мервухин.

— С какой дачи?

— А вот с какой!..

И тут Мервухин, не выдержав наглого взора Плотомеева, ударил его станционным фонарем по затылку.

Странным зрелищем любовались обитатели станции через две минуты. Прикрепленный председатель месткома сидел верхом на временно исполняющем должность начальника станции и клочья разорванной его красной фуражки засовывал ему в рот со словами:

— Подавись тремя рублями. Гад!

* * *

— Помиримся, Жанчик,—сказал Мервухин на другой день, глядя заплывшим глазом,—вышибли меня из месткома.

— Помиримся, Ерофей,—отозвался Птоломеев,—и меня выставили из начальников.

И друзья обнялись.

С тех пор на станции опять настали ясные времена.

ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГОВ

Посвящается всем редакторам еженедельных журналов

В правом кармане брюк лежали 9 копеек—два трехкопеечника, две копейки и копейка, и при каждом шаге они бренчали, как шпоры. Прохожие косились на карман.

Кажется, у меня начинают плавиться мозги. Действительно, асфальт же плавится при жаркой температуре! Почему не могут желтые мозги? Впрочем, они в костяном ящике и прикрыты волосами и фуражкой с белым верхом. Лежат внутри красивые полушария с извилинами и молчат.

А копейки—брень-брень.

У самого кафе бывшего Филиппова я прочитал надпись на белой полоске бумаги: «Щи суточные, севрюжка паровая, обед из 2-х блюд—1 рубль».

Вынул девять копеек и выбросил их в канаву. К девяти копейкам подошел человек в истасканной морской фуражке, в разных штанинах и только в одном сапоге, отдал деньгам честь и прокричал:

— Спасибо от адмирала морских сил. Ура!

Затем он подобрал медяки и запел громким и тонким голосом:

Ата-цвели уж давно-о!
Хэ-ри-зан-темы в саду-у!..

Прохожие шли мимо струей, молча сопя, как будто так и нужно, чтобы в 4 часа дня, на жаре, на Тверской, адмирал в одном сапоге пел.

Тут за мной пошли многие и говорили со мной:

— Гуманный иностранец, пожалуйте и мне 9 копеек.

Он шарлатан, никогда даже на морской службе не служил.

— Профессор, окажите любезность...

А мальчишка, похожий на Черномора, но только с отрезанной бородой, прыгал передо мною на аршин над панелью и торопливо рассказывал хриплым голосом:

У Калуцкой заставы
Жил разбойник и вор — Камаров!

Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, и стал говорить:

— Предположим, так. Начало: жара, и я иду, и вот мальчишка. Прыгает. Беспризорный. И вдруг выходит из-за угла заведующий детдомом. Светлая личность. Описать его. Ну, предположим, такой: молодой, голубые глаза. Бритый? Ну, скажем, бритый. Или с маленькой бородкой. Баритон. И говорит: «Мальчик, мальчик». А что дальше? Мальчик, мальчик, ах, мальчик, мальчик...

«И в фартуке»,— вдруг сказали тяжелые мозги под фуражкой. «Кто в фартуке?» — спросил я у мозгов удивленно. «Да этот, твой детдом».

«Дураки»,— ответил я мозгам.

«Ты сам дурак. Бесталанный,— ответили мне мозги,— посмотрим, что ты будешь жрать сегодня, если ты сей же час не сочинишь рассказ. Графоман!»

«Не в фартуке, а в халате...»

«Почему он в халате, ответь, кретин?» — спросили мозги.

«Ну, предположим, что он только что работал, например — делал перевязку ноги больной девочке, и вышел купить папирос «Трест». Тут же можно описать моссельпромщицу. И вот он говорит: «Мальчик, мальчик...» А сказавши это (я потом присочиню, что он сказал), берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька (мальчика Петькой назовем, такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьки бывают) уже в детдоме, уже не рассказывает про Комарова, а читает букварь. Щеки у него толстые, и назвать рассказ: «Петька спасен». В журналах любят такие заглавия».

«Па-аршивенький рассказ,— весело бухнуло под фуражкой,— и тем более что мы где-то уже это читали!»

«Молчать, я погибаю!» — приказал я мозгам и открыл глаза.

Передо мною не было адмирала и Черномора и не было моих часов в кармане брюк.

Я пересек улицу и подошел к милиционеру, высоко поднявшему жезл.

— У меня часы украли сейчас,— сказал я.

— Кто? — спросил он.

— Не знаю,— ответил я.

— Ну, тогда пропали,— сказал милиционер.

От таких его слов мне захотелось сельтерской воды.

— Сколько стоит один стакан сельтерской? — спросил я в будочке у женщины.

— 10 копеек,— ответила она.

Спросил я ее нарочно, чтобы знать, жалеть ли мне выброшенные 9 копеек. И развеселился и немного оживился при мысли, что жалеть не следует.

«Предположим — милиционер. И вот подходит к нему гражданин...»

«Нуте-с?» — осведомились мозги.

«Н-да, и говорит: часы у меня свистнули. А милиционер выхватывает револьвер и кричит: «Стой!!. Ты украл, подлец». Свистит. Все бегут. Ловят вора-рецидивиста. Кто-то падает. Стрельба».

«Все?» — спросили желтые толстяки, распухшие от жары в голове.

«Все».

«Замечательно, прямо-таки гениально,— рассмеялась голова и стала стучать, как часы,— но только этот рассказ не примут, потому что в нем нет идеологии. Все это, т. е. кричать, выхватывать револьвер, свистеть и бежать, мог и старорежимный городовой. Нес-па?[1] товарищ Бенвенутто Челлини».

Дело в том, что мой псевдоним — Бенвенутто Челлини. Я придумал его пять дней тому назад в такую же жару. И он страшно понравился почему-то всем кассирам в редакции. Все они пометили: «Бенвенутто Челлини» в книгах авансов рядом с моей фамилией. 5 червонцев, например, за Б. Челлини.

«Или так: извозчик № 2579. И седок забыл портфель с важными бумагами из Сахаротреста. И честный извозчик доставил портфель в Сахаротрест, и сахарная промышленность поднялась, а сознательного извозчика наградили».

«Мы этого извозчика помним,— сказали, остервенясь, воспаленные мозги,— еще по приложениям к марксовской «Ниве». Раз пять мы его там встречали, набранного то

---

[1] Не так ли? (от *фр.*: N'est-ce pas?)

петитом, то корпусом, только седок служил тогда не в Сахаротресте, а в министерстве внутренних дел. Умолкни! Вот и редакция. Посмотрим, что ты будешь говорить. Где рассказик?..»

По шаткой лестнице я вошел в редакцию с развязным видом и громко напевая:

И за Сеню я!
За кирпичики
Полюбила кирпичный завод.

В редакции, зеленея от жары, в тесной комнате сидел заведующий редакцией, сам редактор, секретарь и еще двое праздношатающихся. В деревянном окне, как в зоологическом саду, торчал птичий нос кассира.

— Кирпичики кирпичиками,— сказал заведующий,— а вот где обещанный рассказ?

— Представьте, какой гротеск,— сказал я, улыбаясь весело,— у меня сейчас часы украли на улице.

Все промолчали.

— Вы мне обещали сегодня дать денег,— сказал я и вдруг в зеркале увидал, что я похож на пса под трамваем.

— Нету денег,— сухо ответил заведующий, и по лицам я увидал, что деньги есть.

— У меня есть план рассказа. Вот чудак вы,— заговорил я тенором,— я в понедельник его принесу к половине второго.

— Какой план рассказа?

— Хм... В одном доме жил священник...

Все заинтересовались. Праздношатающиеся подняли головы.

— Ну?

— И умер.

— Юмористический?— спросил редактор, сдвигая брови.

— Юмористический,— ответил я, утопая.

— У нас уже есть юмористика. На три номера. Сидоров написал,— сказал редактор.— Дайте что-нибудь авантюрное.

— Есть,— ответил я быстро,— есть, есть, как же!

— Расскажите план,— сказал, смягчаясь, заведующий.

— Кхе... Один нэпман поехал в Крым...

— Дальше-с!

Я нажал на больные мозги так, что из них закапал сок, и вымолвил:

— Ну, и у него украли бандиты чемодан.

— На сколько строк это?

— Строк на триста. А впрочем, можно и... меньше. Или больше.

— Напишите расписку на 20 рублей, Бенвенутто,— сказал заведующий,— но только принесите рассказ, я вас серьезно прошу.

Я сел писать расписку с наслаждением. Но мозги никакого участия ни в чем не принимали. Теперь они были маленькие, съежившиеся, покрытые вместо извилин черными запекшимися щелями. Умерли.

Кассир было запротестовал. Я слышал его резкий скворешный голос:

— Не дам я вашему Чинизелли ничего. Он и так перебрал уже 60 целковых.

— Дайте, дайте,— приказал заведующий.

И кассир с ненавистью выдал мне один хрустящий и блестящий червонец, а другой темный, с трещиной посередине.

Через 10 минут я сидел под пальмами в тени Филиппова, укрывшись от взоров света. Передо мною поставили толстую кружку пива. «Сделаем опыт,— говорил я кружке,— если они не оживут после пива,— значит, конец. Они померли, мои мозги, вследствие писания рассказов и больше не проснутся. Если так, я проем 20 рублей и умру. Посмотрим, как они с меня, покойничка, получат обратно аванс».

Эта мысль меня насмешила, я сделал глоток. Потом другой. При третьем глотке живая сила вдруг закопошилась в висках, жилы набухли, и съежившиеся желтки расправились в костяном ящике.

— Живы?— спросил я.

— Живы,— ответили они шепотом.

— Ну, теперь сочиняйте рассказ!

В это время подошел ко мне хромой с перочинными ножиками. Я купил один за полтора рубля. Потом пришел глухонемой и продал мне две открытки в желтом конверте с надписью: «Граждане, помогите глухонемому».

На одной открытке стояла елка в ватном снегу, а на другой был заяц с аэропланными ушами, посыпанный бисером. Я любовался зайцем, в жилах моих бежала пенистая пивная кровь. В окнах сияла жара, плавился асфальт. Глухонемой стоял у подъезда кафе и раздраженно говорил хромому:

— Катись отсюда колбасой со своими ножиками. Какое ты имеешь право в моем Филиппове торговать? Уходи в «Эльдорадо»!

«Предположим, так,— начал я, пламенея.— «Улица гремела, со свистом соловьиным прошла мотоциклетка. Желтый переплетенный гроб с зеркальными стеклами (автобус)!..»

«Здорово пошло дело,— заметили выздоровевшие мозги,— спрашивай еще пиво, чини карандаш, сыпь дальше... Вдохновенье, вдохновенье».

Через несколько мгновений вдохновение хлынуло с эстрады под военный марш Шуберта — Таузига, под хлопанье тарелок, под звон серебра.

Я писал рассказ в «Иллюстрацию», мозги пели под военный марш:

Что, сеньор мой,
Вдохновенье мне дано?
Как ваше мнение?!

Жара! Жара!

ЗОЛОТЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ФЕРАПОНТА ФЕРАПОНТОВИЧА КАПОРЦЕВА

В корреспонденциях Ферапонта Ферапонтовича Капорцева (проживает в провинции) исправлена мною только неуместная орфография. Одним словом — корреспонденции подлинные.

Корреспонденция первая

НЕСГОРАЕМЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ДОМ

В общегосударственном масштабе известен жилищный кризис, докатившийся даже до нашего Благодатска. Не может быть свободно по той причине, что благодаря повышенной рождаемости, вызванной нэпом, народонаселение растет с угрожающей быстротой, и вот наш известный кооператор Павел Федорович Петров (замените его буквами «Пе, Фе, Пе», а то будет скандал) решили выйти из положения кооперативным способом. Человек-то он, правда, развитой, но только скорохват американской складки. Все дело началось с того, что его супруга,

сверх всяких ожиданий, родила вместо одного младенца — двойню, чем и толкнула Петрова на кооперативные поступки.

С разрешения начальства он образовал жилищно-строительное кооперативное бюро в составе Н. Н. Л. (агроном от первого брака его отца) и В. А. С. (жених его сестры — заведующий хоровым кружком культкомиссии) со взносом каждый в 12 червонцев для постройки американского дома термолитова типа — изумительной новинки в нашем городе.

Вообразите изумление закоренелых благодатцев, когда на углу Новосвятской и Парижской Коммуны вырос буквально как гриб двухэтажный дом на три квартиры в рассрочку с удобствами.

Очень похожий на заграничные дома на открытках Швейцарии с острой крышей. Более всего удивительно, что дом оказался несгораемый, что вызвало строительную горячку и подачу прошений в исполком (теперь их все взяли обратно).

Дураки нашего города смеялись над Петровым, предлагая испробовать дом при помощи керосина, но тот отказался, и, как оказалось, совершенно напрасно, не ходил бы он теперь к лету в шубе, с календарем в руках!

Все строительное бюро перевезло своих детей и все манатки 5 апреля (дом этот такого цвета, как папиросный пепел), и Петров дошел до того, что даже поставил в нем телефон.

А на первый день праздника, 19-го, на Пасху ночью наша бдительная пожарная команда была поставлена на ноги роковым сообщением по петровскому телефону:

— Пожар!!!!

Наш брандмейстер Салов ответил по телефону:

— Вы будете оштрафованы за ложный вызов и пьяную пасхальную шутку. Этого не может быть.

Тут Петров с плачущим голосом отскочил от телефона и перестал действовать, потому что в нем перегорел уже провод.

Когда же вследствие зарева с каланчи наши молодцы-пожарные прибыли, то застали всю жилищно-американскую компанию стоящею в теплых шубах на улице, а дом сгорел, как факел, успев спасти кольца его жены, запасную шубу главного американца Петрова, кастрюлю и отрывной календарь с изображением всероссийского старосты. Теперь возникает судебное дело: «О

пожаре несгораемого дома». По-моему, это глупое дело! Да оно ничем и не кончится, потому что Салов обнаружил, что было самовозгорание проводов на чердаке.

Вот так все у нас, в провинции, происходит по-удивительному. В Москве бы он, вероятно, не сгорел.

Корреспондент *Капорцев.*

Вторая корреспонденция

ЛЖЕДИМИТРИЙ ЛУНАЧАРСКИЙ

(Из провинции от Капорцева)

В нашем славном Благодатском учреждении имеется выдающийся секретарь. Мы так и смотрим на него, что он на отлете.

Конечно, ему не в Благодатском сидеть, а в Москве или, в крайнем случае, в Ленинграде. Тем более что он говорил, что у него есть связи.

Над собой повесил надпись: «Рукопожатия переносят заразу», «Если ты пришел к занятому человеку, не мешай ему», «Посторонние разговоры по телефону строго воспрещаются» и кроме этого выстроил решетку, как возле нашего памятника Карла Либкнехта, и таким образом оторвался от массы начисто.

Кто рот ни раскроет сквозь решетку, он ему говорит одно только слово: «Короче!» Короче. Короче. Каркает, как ворон на суку.

В один прекрасный день появляется возле решетки молодой человек. Одет очень хорошо, реглан-пальто. Рыженький. Усики. Галстук бабочкой. Взял стул, сидит. Секретарь всех откаркал от решетки и к нему:

— Вам что, товарищ? Короче!

А тот отвечает:

— Ничего, товарищ, я подожду. Вы заняты.

Голос у него великолепный, интеллигентный.

Тот брови нахмурил и говорит:

— Нет, вы говорите. Короче.

Тот отвечает:

— Я, видите ли, товарищ, к вам сюда назначен.

Тот брови поднял.

— Как ваша фамилия?

А тот:

— Луначарский.— Молодой человек так скромно кашлянул. Вежливый.— Луначарский.

Так тот открыл загородку, вышел, говорит:

— Пожалуйте сюда (уже «короче» не говорит),— и спрашивает: — Виноват (заметьте: «виноват»), вы не родственник Анатолию Васильевичу?

А тот:

— Это не важно. Я — его брат.

Хорошенькое «не важно»! Загородку к черту. Стул.

— Вы курите? Садитесь! Позвольте узнать, а на какую должность?

А тот:

— За заведующего.

Здорово.

А заведующего нашего как раз вызвали в Москву для объяснений по поводу паровой мельницы, и мы знаем, что другой будет.

Что тут было с секретарем и со всеми, трудно даже описать — такое восхищение. Оказывается, что у Дмитрия Васильевича украли все документы, пока он к нам ехал, и деньги в поезде под самым Красноземском, а оттуда он доехал до нашего Благодатска на телеге, которая мануфактуру везла. Главное, говорит, курьезно, что чемодан украли с бельем. Все собрались в восторге, что могут оказать помощь.

И вот список наших карьеристов:

1) Секретарь дал, смеясь, 8 червонцев.

2) Кассир — 3 червонца.

3) Заведующий столом личного состава — 2 червонца, мыло, полотенце, простыню и бритву (не вернул).

4) Бухгалтер — 42 рубля и три пачки папирос «Посольских».

5) Кроме того, брату Луначарского выписали авансом 50 рублей в счет жалованья.

И отправились осматривать учреждения и принимать дела. Оказался необыкновенно воспитанный, принял заявления и на каждом написал: «Удовлетворить».

Секретарь стал как бес, все время не ходил, а бегал, как пушинка. Предлагал тотчас же телеграмму в Москву насчет документов, но столичный гость придумал лучше. «Я,— говорит,— все равно отправлюсь сейчас же инспектировать уезд, доеду до самого Красноземска, а оттуда лично по прямому проводу все сделаю».

Все подивились страшной быстроте его энергии. Единственная у нас машина в Благодатске, как вам известно, и на ней Дмитрий Васильевич отбыл на прямой провод (при этом: одеяло дал секретарь, два фунта колбасы, белого хлеба и в виде сюрприза положил бутылку английской горькой).

До Красноземска три часа езды на машине. Ну, скажем, на прямом проводе один час, обратно — три часа. Вернулась машина в 11 часов вечера, шофер пьяный и говорит, что Дмитрий Васильевич остался ночевать у тамошнего председателя и распорядился прислать машину завтра, в 3 часа дня. Завтра послали машину. Приезжает, и — нету Дмитрия Васильевича. В чем дело — никто не может понять. Секретарь сейчас сам — скок в машину и в Красноземск. Возвращается на следующее утро туча тучей и никому не смотрит в глаза. Мы ничего не можем понять. Бухгалтер что-то почуял насчет 42 целковых и спрашивает дрожащим голосом:

— А где же Дмитрий Васильевич? Не заболели ли?

А тот вдруг закусил губу и:

— Асс-тавьте меня в покое, товарищ Прокундин! — Дверью хлопнул и ушел.

Мы к шоферу. Тот ухмыляется. Оказывается, прямо колдовство какое-то. Никакого Дмитрия Васильевича в Красноземске у председателя не ночевало. На прямом проводе, секретарь спрашивает, не разговаривал ли Луначарский — так прямо думали, что он с ума сошел. Секретарь даже на вокзал кидался, спрашивал, не видали ли молодого человека с одеялом. Говорят, видели с ускоренным поездом. Но только галстук не такой.

Мы прямо ужаснулись. Какое-то наваждение. Точно призрак побывал в нашем городе.

Как вдруг кассир спрашивает у шофера:

— Не зеленый галстук?

— Во-во.

Тут кассир вдруг говорит:

— Прямо признаюсь, я ему, осел, кроме трех червей еще шелковый галстук одолжил.

Тут мы ахнули и догадались, что самозванец.

На 222 рубля наказал подлиз наших. Не считая вещей и закусок. Вот тебе и «короче».

Ваш корреспондент *Капорцев.*

Третья корреспонденция

ВАНЬКИН-ДУРАК

Чуден Днепр при тихой погоде, но гораздо чуднее наш профессиональный знаменитый работник 20-го века Ванькин Исидор, каковой прилип к нашему рабклубу, как банный лист.

Ни одна ерунда в нашей жизни не проходит без того, чтобы Ванькин в ней не был.

Мы, грешным делом, надеялись, что его в центр уберут, но, конечно, Ванькина в центре невозможно держать.

И вот произошло событие. В один прекрасный день родили одновременно две работницы на нашем заводе, Марья и Дарья, и обе — девочек, только у Марьи рыженькая, а у Дарьи обыкновенная. Прекрасно. Наш завком очень энергичный, и поэтому решили проактябрить как ту, так и другую.

Ну, ясно и понятно: без Ванькина ничто не может обойтись. Сейчас же он явился и счастливым матерям предложил имена для их крошек: Баррикада и Бебелина. Так что первая выходила Баррикада Анемподистовна, а вторая просто Бебелина Иванна, от чего обе матери отказались с плачем и даже хотели обратно забрать свои плоды.

Тогда Ванькин обменял на два других имени: Мессалина и Пестелина, и только председатель завкома его осадил, объяснив, что «Мессалина» — такого имени нет, а это картина в кинематографе.

Загнали наконец Ванькина в пузырек. Стих Ванькин, и соединенными усилиями дали мы два красивых имени: Роза и Клара.

— Как конфетка будут октябрины,— говорил наш председатель, потирая мозолистые руки,— лишь бы Ванькин ничего не изгадил.

В клубе имени тов. Луначарского народу набилось видимо-невидимо, все огни горят, лозунги сияют. И счастливые матери сидели на сцене с младенцами в конвертах, радостно их укачивая.

Объявили имена, и председатель предложил слово желающему, и, конечно, выступил наш красавец Ванькин. И говорит:

— Ввиду того и принимая во внимание, дорогие товарищи, что имена мы нашим трудовым младенцам дали Роза и Клара, предлагаю почтить память наших дорогих борцов похоронным маршем. Музыка, играй!

И наш капельмейстер, заведующий музыкальной секцией, звучно заиграл: «Вы жертвою пали». Все встали в страшном смятении, и в это время вдруг окрестность огласилась рыданием матери № 2 Дарьи вследствие того, что ее младенчик Розочка на руках у нее скончалась.

Была картина, я вам доложу! Первая мать, только сказав Ванькину:

— Спасибо тебе, сволочь,— брызнула вместе с конвертом к попу, и тот не Кларой, а просто Марьей окрестил ребеночка в честь матери.

Весь отставший старушечий элемент Ванькину учинил такие октябрины, что тот еле ноги унес через задний ход клуба.

И тщетно наша выдающая женщина-врач Оль-Мих. Динамит объяснила собранию, что девочка умерла от непреодолимой кишечной болезни ее нежного возраста, и была уже с 39 градусами, и померла бы, как ее ни называй, никто ничего не слушал. И все ушли, уверенные, что Ванькин девчонку похоронным маршем задавил наповал.

Вот-с, бывают такие штуки в нашей милой отдаленности...

С почтением, *Капорцев.*

Четвертая корреспонденция

БРАНДМЕЙСТЕР ПОЖАРОВ

Покорнейше вас прошу, товарищ литератор, нашего брандмейстера пожаров (фамилия с малой буквы.— *М. Б.*) описать покрасивее, с рисунком.

Был у нас на станции N Балтийской советской брандмейстер гражданчик Пожаров. Вот это был пожаров так знаменитый пожаров, чистой воды Геркулес, наш брандмейстер храбрый.

Первым долгом налетел брандмейстер на временные железные печи во всех абсолютно помещениях и все их разобрал в пух и прах, так что наши железнодорожники, товарищи-граждане, братья-сестрицы, вымерзли, как клопы.

Налетал Пожаров в каске, как рыцарь среднего века, на наш клуб и хотел его стереть с лица земли, кричал, что клуб антипожарный. Шел в бой на Пожарова наш местком и заступался и вел с разрушителем нашего быта

бой семь заседаний, не хуже Перекопа. Насчет клуба загнали месткомские Пожарова в пузырек, а на библиотечном фронте насыпал Пожаров с факелами, совершенно изничтожил печную идею, почему покрылся льдом товарищ Бухарин со своей азбукой и Львом Толстым и прекратилось население в библиотеке отныне и вовеки. Аминь. Аминь. Просвещайся где хочешь!

И еще не очень-то доказал гражданин брандмейстер свою преданность Октябрю! Когда годовщина произошла, то он, что сделает ей подарок, возвестил на пожарном дворе с трубными звуками. И пожарную машину всю до винтика разобрал. А теперь ее собрать некому, и ввиду пожара мы все просто погорим без всякого разговора. Вот так имеет годовщина подарочек!

Лучше всего припаял брандмейстер нашу кассу взаимопомощи. Червонец взял и уехал, а по какому курсу — неизвестно! Говорили, видели будто бы, что Пожаров держал курс на станц. Х подмосковную. Поздравляем вас, братцы подмосковники, будете вы иметь!

Было жизни пожарской у нас ровно два месяца, и настала полная тишина с морозом на Северном полюсе. Да будет ему земля пухом, но червонец пусть все-таки вернет под замок нашей несгораемой кассы взаимопомощи.

Фамилию мою «Капорцев» не ставьте, а прямо напечатайте подпись «Магнит», поязвительнее сделайте его.

П р и м е ч а н и е:

Милый Магнит, язвительнее, чем Вы сами сделали вашего брандмейстера, я сделать не умею.

Я УБИЛ

Доктор Яшвин усмехнулся косенькой и странной усмешкой и спросил так:

— Листок с календаря можно сорвать? Сейчас ровно 12, значит, наступило 2-ое число.

— Пожалуйста, пожалуйста,— ответил я.

Яшвин тонкими и белыми пальцами взялся за уголок и бережно снял верхний листок. Под ним оказалась дешевенькая страничка с цифрою «2» и словом «вторник». Но что-то чрезвычайно заинтересовало Яшвина на серенькой страничке. Он щурил глаза, вглядывался, потом поднял глаза и глянул куда-то вдаль, так что

понятно было, что он видит только ему одному доступную, загадочную картину где-то за стеной моей комнаты, а может быть, и далеко за ночной Москвой в грозной дымке февральского мороза.

«Что он там разыскал?» — подумал я, косясь на доктора. Меня он всегда очень интересовал. Внешность его как-то не соответствовала его профессии. Всегда его незнакомые принимали за актера. Темноволосый, он в то же время обладал очень белой кожей, и это его красило и как-то выделяло из ряда лиц. Выбрит он был очень гладко, одевался очень аккуратно, чрезвычайно любил ходить в театр, и о театре если рассказывал, то с большим вкусом и знанием. Отличался он от всех наших ординаторов, и сейчас, у меня в гостях, прежде всего обувью. Нас было пять человек в комнате, и четверо из нас в дешевых ботинках из хрома с наивно закругленными носами, а доктор Яшвин был в острых лакированных туфлях и желтых гетрах. Должен, впрочем, сказать, что щегольство Яшвина никогда особенно неприятного впечатления не производило, и врач он был, надо отдать ему справедливость, очень хороший. Смелый, удачливый, и, главное, успевающий читать, несмотря на постоянные посещения «Валькирии» и «Севильского цирульника».

Дело, конечно, не в обуви, а в другом: интересовал он меня одним необычайным свойством своим — молчаливый и, несомненно, очень скрытный человек, в некоторых случаях он становился замечательным рассказчиком. Говорил очень спокойно, без вычур, без обывательских тягот и блеяния «мня-я» и всегда на очень интересную тему. Сдержанный, фатоватый врач как бы загорался, правой белой рукой он только изредка делал короткие и плавные жесты, точно ставил в воздухе небольшие вехи в рассказе, никогда не улыбался, если рассказывал смешное, а сравнения его порою были так метки и красочны, что, слушая его, я всегда томился одной мыслью: «Врач ты очень неплохой, и все-таки ты пошел не по своей дороге, и быть тебе нужно только писателем...»

И сейчас эта мысль мелькнула во мне, хоть Яшвин ничего не говорил, а щурился на цифру «2», на неизвестную даль.

«Что он там разыскал? Картинка, что ли?» Я покосился через плечо и увидал, что картинка самая неинтересная. Изображена была несоответственного вида лошадь с атлетической грудью, а рядом мотор и подпись: «Сравни-

тельная величина лошади (1 сила) и мотора (500 лошадиных сил)».

— Все это вздор, товарищи,— заговорил я, продолжая беседу,— обывательская пошлятина. Валят они, черти, на врачей, как на мертвых, а на нас, хирургов, в особенности. Подумайте сами: человек 100 раз делает аппендицит, а на сто первый у него больной и помрет на столе. Что же, он его зарезал, что ли?

— Обязательно скажут, что зарезал,— отозвался доктор Гинс.

— И если это жена, то муж придет в клинику стулом в вас швырять,— уверенно подтвердил доктор Плонский и даже улыбнулся, и мы улыбнулись, хотя, по сути дела, очень мало смешного в швырянии стульями в клинике.

— Терпеть не могу,— продолжал я,— фальшивых и покаянных слов: «Я убил, ах, я зарезал». Никто никого не режет, а если и убивает, у нас в руках, больного, убивает несчастная случайность. Смешно, в самом деле! Убийство несвойственно нашей профессии. Какой черт!.. Убийством я называю уничтожение человека с заранее обдуманным намерением, ну, на худой конец, с желанием его убить. Хирург с пистолетом в руке — это я понимаю. Но такого хирурга я еще в своей жизни не встречал, да и вряд ли встречу.

Доктор Яшвин вдруг повернул ко мне голову, причем я заметил, что взгляд его стал тяжелым, и сказал:

— Я к вашим услугам.

При этом он пальцем ткнул себя в галстук и вновь косенько улыбнулся, но не глазами, а углом рта.

Мы посмотрели на него с удивлением.

— То есть как? — спросил я.

— Я убил,— пояснил Яшвин.

— Когда? — нелепо спросил я.

Яшвин указал на цифру «2» и ответил:

— Представьте, какое совпадение. Как только вы заговорили о смерти, я обратил внимание на календарь, и вижу 2-ое число. Впрочем, я и так каждый год вспоминаю эту ночь. Видите ли, ровно семь лет, ночь в ночь, да, пожалуй, и...— Яшвин вынул черные часы, поглядел,—...да... час в час почти, в ночь с 1-го на 2-ое февраля я убил его.

— Пациента? — спросил Гинс.

— Пациента, да.

— Но не умышленно? — спросил я.

— Нет, умышленно,— отозвался Яшвин.

— Ну, догадываюсь,— сквозь зубы заметил скептик Плонский,— рак у него, наверное, был, мучительное умирание, а вы ему морфий в десятикратной дозе...

— Нет, морфий тут ровно ни при чем,— ответил Яшвин,— да и рака у него никакого не было. Мороз был, прекрасно помню, градусов на пятнадцать, звезды... Ах, какие звезды на Украине. Вот семь лет почти живу в Москве, а все-таки тянет меня на родину. Сердце щемит, хочется иногда мучительно в поезд... и туда. Опять увидеть обрывы, занесенные снегом, Днепр... Нет красивее города на свете, чем Киев.

Яшвин спрятал календарный листок в бумажник, съежился в кресле и продолжал:

— Грозный город, грозные времена... и видал я страшные вещи, которых вы, москвичи, не видали. Это было в 19 году, как раз вот 1-го февраля. Сумерки уже наступили, часов шесть было вечера. За странным занятием застали меня эти сумерки. На столе у меня в кабинете лампа горит, в комнате тепло, уютно, а я сижу на полу над маленьким чемоданчиком, запихиваю в него разную ерунду и шепчу одно слово:

— Бежать, бежать...

Рубашку то засуну в чемодан, то выну... Не лезет она, проклятая. Чемоданчик ручной, малюсенький, подштанники заняли массу места, потом сотня папирос, стетоскоп. Выпирает все это из чемоданчика. Брошу рубашку, прислушиваюсь. Зимние рамы замазаны, слышно глухо, но слышно... Далеко, далеко тяжко так тянет — бу-у... гу-у... Тяжелые орудия. Пройдет раскат, потом стихнет. Выгляну в окно, я жил на крутизне, наверху Алексеевского спуска,— виден мне весь Подол. С Днепра идет ночь, закутывает дома, и огни постепенно зажигаются цепочками, рядами... Потом опять раскат. И каждый раз, как ударит за Днепром, я шепчу:

— Дай, дай, еще дай.

Дело было вот в чем: в этот час весь город знал, что Петлюра его вот-вот покинет. Если не в эту ночь, то в следующую. Из-за Днепра наступали, и, по слухам, громадными массами, большевики, и, нужно сознаться, ждал их весь город не только с нетерпением, а я бы даже сказал — с восхищением. Потому что то, что творили петлюровские войска в Киеве, в этот последний месяц их пребывания,— уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, отдавая предпочте-

ние евреям, понятное дело. Что-то реквизировали, по городу носились автомобили и в них люди с красными галунными шлыками на папахах, пушки вдали не переставали в последние дни ни на час. И днем и ночью. Все в каком-то томлении, глаза у всех острые, тревожные. А у меня под окнами не далее как накануне лежали полдня два трупа на снегу. Один в серой шинели, другой в черной блузе, и оба без сапог. И народ то в сторону шарахался, то кучками сбивался, смотрел, какие-то простоволосые бабы выскакивали из подворотен, грозили кулаками в небо и кричали:

— Ну, погодите. Придут, придут большевики.

Омерзителен и жалок был вид этих двух, убитых неизвестно за что. Так что в конце концов и я стал ждать большевиков. А они все ближе и ближе. Даль гаснет, и пушки вдали ворчат, как будто в утробе земли.

Итак...

Итак: лампа горит уютно и в то же время тревожно, в квартире я один-одинешенек, книги разбросаны (дело в том, что во всей этой кутерьме я лелеял безумную мечту подготовиться на ученую степень), а я над чемоданчиком.

Случилось, надо вам сказать, то, что события залетели ко мне в квартиру и за волосы вытащили меня и поволокли, и полетело все, как чертов скверный сон. Вернулся я как раз в эти самые сумерки с окраины, из рабочей больницы, где я был ординатором женского хирургического отделения, и застал в щели двери пакет неприятного казенного вида. Разорвал его тут же, на площадке, прочел то, что было на листочке, и сел прямо на лестницу.

На листке было напечатано машинным синеватым шрифтом:

«С одержанием сего...»

Кратко, в переводе на русский язык:

«С получением сего, предлагается вам в двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения...»

Значит, таким образом: вот эта самая блистательная армия, оставляющая трупы на улице, батько Петлюра, погромы — и я с красным крестом на рукаве в этой компании... Мечтал я не более минуты, впрочем, на лестнице. Вскочил точно на пружине, вошел в квартиру, и вот появился на сцену чемоданчик. План у меня созрел быстро. Из квартиры вон, немного белья, и на окраину к

приятелю-фельдшеру, человеку меланхолического вида и явных большевистских наклонностей. Буду сидеть у него, пока не выбьют Петлюру. А как его совсем не выбьют? Может быть, эти долгожданные большевики — миф? Пушки, где вы? Стихло. Нет, опять ворчит...

Я злобно выбросил рубашку, щелкнул замочком чемоданчика, браунинг и запасную обойму положил в карман, надел шинель с повязкой Красного Креста, тоскливо огляделся, лампу погасил и ощупью, среди сумеречных теней, вышел в переднюю, осветил ее, взял башлык и открыл дверь на площадку.

И тотчас, кашляя, шагнули в переднюю две фигуры с коротенькими кавалерийскими карабинами за плечами.

Один был в шпорах, другой без шпор, оба в папахах с синими шлыками, лихо свешивающимися на щеки.

У меня сердце стукнуло.

— Вы ликарь Яшвин? — спросил первый кавалерист.

— Да, я,— ответил я глухо.

— С нами поедете,— сказал первый.

— Что это значит? — спросил я, несколько оправившись.

— Саботаж, вот що,— ответил громыхающий шпорами и поглядел на меня весело и лукаво,— ликаря не хочут мобилизоваться, за що и будут отвечать по закону.

Угасла передняя, щелкнула дверь, лестница... улица...

— Куда же вы меня ведете? — спросил я и в кармане брюк тронул нежно прохладную рубчатую ручку.

— В первый конный полк,— ответил тот, со шпорами.

— Зачем?

— Як зачем? — удивился второй,— назначаетесь к нам ликарем.

— Кто командует полком?

— Полковник Лещенко,— с некоторой гордостью ответил первый, и шпоры его ритмически звякали с левой стороны у меня.

«Сукин я сын,— подумал я,— мечтал над чемоданчиком. Из-за каких-то подштанников... Ну что мне стоило выйти на 5 минут раньше...»

Над городом висело уже черное морозное небо, и звезды выступали на нем, когда мы пришли в особняк. В морозных его узористых стеклах ярко полыхало электричество. Гремя шпорами, меня ввели в пыльную пустую комнату, ослепительно освещенную сильным электрическим шаром под разбитым опаловым тюльпаном. В углу

торчал нос пулемета, и внимание мое приковали рыжие и красные потеки в углу рядом с пулеметом, там, где дорогой гобелен висел клочьями.

«А ведь это кровь»,—подумал я, и сердце мне неприятно сжало.

— Пан полковник,—негромко сказал тот, со шпорами,—ликаря доставили.

— Жид?—вдруг выкрикнул голос, сухой и хриплый, где-то.

Дверь, обитая гобеленом с пастушками, неслышно распахнулась, и вбежал человек.

Он был в великолепной шинели и сапогах со шпорами. Был туго перетянут кавказским пояском с серебряными бляшками, и кавказская же шашка горела огоньками в блеске электричества на его бедре. Он был в барашковой шапочке с малиновым верхом, перекрещенным золотистым галуном. Раскосые глаза смотрели с лица недобро, болезненно, странно, словно прыгали в них черные мячики. Лицо его было усеяно рябинами, а черные подстриженные усы дергались нервно.

— Нет, не жид,—ответил кавалерист.

Тогда человек подскочил ко мне и заглянул в глаза.

— Вы не жид,—заговорил он с сильно украинским акцентом на неправильном языке—смеси русских и украинских слов,—но вы не лучше жида. И, як бой кончится, я отдам вас под военный суд. Будете вы расстреляны за саботаж. От него не отходить!—приказал он кавалеристу.—И дать ликарю коня.

Я стоял, молчал и был, надо полагать, бледен. Затем опять все потекло, как туманный сон. Кто-то в углу жалобно сказал:

— Змилуйтесь, пан полковник...

Я мутно увидал трясущуюся бороденку, солдатскую рваную шинель. Вокруг нее замелькали кавалерийские лица.

— Дезертир?—пропел знакомый мне уже голос с хрипотцой,—их ты, зараза, зараза.

Я видел, как полковник, дергая ртом, вынул из кобуры изящный и мрачный пистолет и рукоятью ударил в лицо этого рваного человека. Тот метнулся в сторону, стал давиться своею кровью, упал на колени. Из глаз его потоками побежали слезы...

А потом сгинул белый заиндевевший город, потянулась по берегу окаменевшего черного и таинственного

Днепра дорога, окаймленная деревьями, и по дороге шел, растянувшись змеей, первый конный полк.

В конце его изредка погромыхивали обозные двуколки. Черные пики качались, торчали острые заиндевелые башлыки. Я ехал в холодном седле, шевелил изредка мучительно ноющими пальцами в сапогах, дышал в отверстие башлыка, окаймленное наросшим мохнатым инеем, чувствовал, как мой чемоданчик, привязанный к луке седла, давит мне левое бедро. Мой неотступный конвоир молча ехал рядом со мной. Внутри у меня все как-то стыло, так же, как стыли ноги. По временам я поднимал голову к небу, смотрел на крупные звезды, и в ушах у меня, словно присохший, звучал, лишь по временам пропадая, визг того дезертира. Полковник Лещенко велел его бить шомполами, и его били в особняке.

Черная даль теперь молчала, и я с суровой горестью думал о том, что большевиков отбили, вероятно. Моя судьба была безнадежна. Мы шли вперед в Слободку, там должны были стоять и охранять мост, ведущий через Днепр. Если бой утихнет и я не понадоблюсь непосредственно, полковник Лещенко будет меня судить. При этой мысли я как-то окаменевал и нежно и печально всматривался в звезды. Нетрудно было угадать исход суда за нежелание явиться в двухчасовой срок в столь грозное время. Дикая судьба дипломированного человека...

Через часа два опять все изменилось, как в калейдоскопе. Теперь сгинула черная дорога. Я оказался в белой оштукатуренной комнате. На деревянном столе стоял фонарь, лежала краюха хлеба и развороченная медицинская сумка. Ноги мои отошли, я согрелся, потому что в черной железной печушке плясал багровый огонь. Время от времени ко мне входили кавалеристы, и я лечил их. Большей частью это были обмороженные. Они снимали сапоги, разматывали портянки, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки, йода. Временами я был один. Мой конвоир оставил меня. «Бежать»,— я изредка приоткрывал дверь, выглядывал и видел лестницу, освещенную оплывшей стеариновой свечой, лица, винтовки. Весь дом был набит людьми, бежать было трудно. Я был в центре штаба. От двери я возвращался к столу, садился в изнеможении, клал голову на руки и внимательно слушал. По часам я заметил, что каждые пять минут под полом книзу вспыхивал визг. Я уже точно знал, в чем дело. Там кого-нибудь избивали

шомполами. Визг иногда превращался во что-то похожее на львиное гулкое рычание, иногда в нежные, как казалось сквозь пол, мольбы и жалобы, словно кто-то интимно беседовал с другом, иногда резко обрывался, точно ножом срезанный.

— За что вы их? — спросил я одного из петлюровцев, который, дрожа, протягивал руки к огню. Его босая нога стояла на табурете, и я белой мазью покрывал изъеденную язву у посиневшего большого пальца. Он ответил:

— Организация попалась в Слободке. Коммунисты и жиды. Полковник допрашивает.

Я промолчал. Когда он ушел, я голову обмотал башлыком, и стало глуше слышно. С четверть часа я так провел, и вывел меня из забытья, в котором неотступно всплывало перед закрытыми глазами рябое лицо под золотыми галунами, голос моего конвоира:

— Пан полковник вас требует.

Я поднялся, под изумленным взором конвоира размотал башлык и пошел вслед за кавалеристом. Мы спустились по лестнице в нижний этаж, и я вошел в белую комнату. Тут я увидал полковника Лещенко в свете фонаря.

Он был обнажен до пояса и ежился на табурете, прижимая к груди окровавленную марлю. Возле него стоял растерянный хлопец и топтался, похлопывая шпорами.

— Сволочь,— процедил полковник, потом обратился ко мне: — Ну, пан ликарь, перевязывайте меня. Хлопец, выйди,— приказал он хлопцу, и тот, громыхая, протискался в дверь. В доме было тихо. И в этот момент рама в окне дрогнула. Полковник покосился на черное окно, я тоже. «Орудия»,— подумал я, вздохнул судорожно, спросил:

— От чего это?

— Перочинным ножом,— ответил полковник хмуро.

— Кто?

— Не ваше дело,— отозвался он с холодным, злобным презрением и добавил: — Ой, пан ликарь, нехорошо вам будет.

Меня вдруг осенило: «Это кто-то не выдержал его истязаний, бросился на него и ранил. Только так и может быть...»

— Снимите марлю,— сказал я, наклоняясь к его груди, поросшей черным волосом. Но он не успел отнять кровавый комочек, как за дверью послышался топот, возня, грубый голос закричал:

— Стой, стой, черт, куда...

Дверь распахнулась, и ворвалась растрепанная женщина. Лицо ее было сухо и, как мне показалось, даже весело. Лишь после, много времени спустя, я сообразил, что крайнее исступление может выражаться в очень странных формах. Серая рука хотела поймать женщину за платок, но сорвалась.

— Уйди, хлопец, уйди,— приказал полковник, и рука исчезла.

Женщина остановила взор на обнаженном полковнике и сказала сухим бесслезным голосом:

— За что мужа расстреляли?

— За що треба, за то и расстреляли,— отозвался полковник и страдальчески сморщился. Комочек все больше алел под его пальцами.

Она усмехнулась так, что я стал, не отрываясь, глядеть ей в глаза. Не видал таких глаз. И вот она повернулась ко мне и сказала:

— А вы доктор!..

Ткнула пальцем в рукав, в красный крест и покачала головой.

— Ай, ай,— продолжала она, и глаза ее пылали,— ай, ай. Какой вы подлец... вы в университете обучались — и с этой рванью... На их стороне и перевязочки делаете?! Он человека по лицу лупит и лупит. Пока с ума не свел... А вы ему перевязочку делаете?..

Все у меня помутилось перед глазами, даже до тошноты, и я почувствовал, что сейчас вот и начались самые страшные и удивительные события в моей злосчастной докторской жизни.

— Вы мне говорите? — спросил я и почувствовал, что дрожу.— Мне?.. Да вы знаете...

Но она не пожелала слушать, повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо. Тот вскочил, крикнул:

— Хлопцы!

Когда ворвались, он сказал гневно:

— Дайте ей двадцать пять шомполов.

Она ничего не сказала, и ее выволокли под руки, а полковник закрыл дверь и забросил крючок, потом опустился на табурет и отбросил ком марли. Из небольшого пореза сочилась кровь. Полковник вытер плевок, повисший на правом усе.

— Женщину? — спросил я совершенно чужим голосом.

Гнев загорелся в его глазах.

— Эге-ге...— сказал он и глянул зловеще на меня.— Теперь я вижу, якую птицу мне дали вместо ликаря...

....

Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, что он качался на табурете и кровь у него бежала изо рта, потом сразу выросли потеки на груди и животе, потом его глаза угасли и стали молочными из черных, затем он рухнул на пол. Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустить седьмую, последнюю. «Вот и моя смерть...» — думал я, и очень приятно пахло дымным газом от браунинга. Дверь лишь только затрещала, я выбросился в окно, выбив стекла ногами. И выскочил, судьба меня побаловала, в глухой двор, пробежал мимо штабелей дров в черную улицу. Меня бы обязательно схватили, но я случайно налетел на провал между двумя вплотную подходившими друг к другу стенами и там, в выбоине, как в пещере, на битом кирпиче просидел несколько часов. Конные проскакали мимо меня, я это слышал. Уличка вела к Днепру, и они долго рыскали по реке, искали меня. В трещину я видел одну звезду, почему-то думаю, что это был Марс. Мне показалось, что ее разорвало. Это первый снаряд лопнул, закрыв звезду. И потом всю ночь грохотало по Слободке и било, а я сидел в кирпичной норе и молчал и думал об ученой степени и о том, умерла ли эта женщина под шомполами. А когда стихло, чуть-чуть светало, и я вышел из выбоины, не вытерпев пытки,— я отморозил ноги. Слободка умерла, все молчало, звезды побледнели. И когда я пришел к месту, не было как будто никогда ни полковника Лещенко, ни конного полка... Только навоз на истоптанной дороге...

И я один прошел весь путь к Киеву и вошел в него, когда совсем рассвело. Меня встретил странный патруль, в каких-то шапках с наушниками.

Меня остановили, спросили документы.

Я сказал:

— Я лекарь Яшвин. Бегу от петлюровцев. Где они?

Мне сказали:

— Ночью ушли. В Киеве ревком.

И вижу, один из патрульных всматривается мне в глаза, потом как-то жалостливо махнул рукой и говорит:

— Идите, доктор, домой.

И я пошел.

После молчания я спросил у Яшвина:

— Он умер? Убили вы его или только ранили?

Яшвин ответил, улыбаясь своей странненькой улыбкой:

— О, будьте покойны. Я убил. Поверьте моему хирургическому опыту.

БЫЛ МАЙ

Был май. Прекрасный месяц май. Я шел по переулку, по тому самому, где помещается театр. Это был отличный, гладкий, любимый переулок, по которому непрерывно проезжали машины. Проезжая, они хлопали металлической крышкой, вделанной в асфальт. «Может быть, это канализационная крышка, а может быть, крышка водопроводная»,— размышлял я. Эти машины отчаянно кричали разными голосами, и каждый раз, как они кричали, сердце падало и подгибались ноги.

«Вот когда-нибудь крикнет так машина, а я возьму и умру»,— думал я, тыча концом палки в тротуар и боясь смерти.

«Надо ускорить шаг, свернуть во двор, пройти вовнутрь театра. Там уже не страшны машины, и весьма возможно, что я не умру».

Но свернуть во двор мне не удалось. Я увидел его. Он стоял, прислонившись к стене театра и заложив ногу на ногу. Ноги эти были обуты в кроваво-рыжие туфли на пухлой подошве, над туфлями были толстые шерстяные чулки, а над чулками — шоколадного цвета пузырями штаны до колен. На нем не было пиджака. Вместо пиджака на нем была странная куртка, сделанная из замши, из которой некогда делали мужские кошельки. На груди — металлическая дорожка с пряжечкой, а на голове — женский берет с коротким хвостиком.

Это был молодой человек ослепительной красоты с длинными ресницами, бодрыми глазами. Перед ним стояли пять человек актеров, одна актриса и один режиссер. Они преграждали путь в ворота.

Я снял шляпу и низко поклонился молодому человеку. Он приветствовал меня странным образом. Именно — сцепил ладони обеих рук, поднял их кверху и как бы зазвонил в невидимый колокол. Он посмотрел на меня

пронзительно, лихо улыбаясь необыкновенной красоты глазами. Я смутился и уронил палку.

— Как поживаете? — спросил меня молодой человек.

Я поживал хорошо, мешали мне только машины своим адским криком, я что-то мямлил и криво надел шляпу.

Тут на меня обратилось всеобщее внимание.

— А вы как поживаете? — спросил я, причем мне показалось, что у меня распух язык.

— Хорошо! — ответил молодой человек.

— Он только что приехал из-за границы,— тихо сказал мне режиссер.

— Я читал вашу пьесу,— заговорил молодой человек сурово.

«Надо было мне другим ходом, через двор, в театр пойти»,— подумал я тоскливо.

— Читал,— повторил молодой человек звучно.

— И как же вы нашли, Полиевкт Эдуардович? — спросил режиссер, не спуская глаз с молодого человека.

— Хорошо,— отрывисто сказал Полиевкт Эдуардович,— хорошо. Третий акт надо переделать. Вторую картину из третьего акта надо выбросить, а первую перенести в четвертый акт. Тогда уж будет совсем хорошо.

— Пойдите-ка домой, да и перенесите,— шепнул мне режиссер и беспокойно подмигнул.

— Ну-с, продолжаю,— заговорил Полиевкт Эдуардович.— И вот они врываются и арестовывают Ганса.

— Очень хорошо! Очень хорошо! — заметил режиссер.— Его надо арестовать, Ганса. Только не находите ли вы, что его лучше арестовать в предыдущей картине?

— Вздор! — ответил молодой человек.— Именно здесь его надо арестовать, и нигде больше.

«Это заграничный рассказ,— подумал я.— Но только за что он так на Ганса озверел? Я хочу слушать заграничные рассказы, умру я или не умру».

Я потянулся к молодому человеку, стараясь не проронить ни слова. Душа моя раскисла, потом что-то дрогнуло в груди. Мне захотелось услышать про раскаленную Испанию. И чтоб сейчас заиграли на гитарах. Но ничего этого я не услышал. Молодой человек, терзая меня, продолжал рассказывать про несчастного Ганса. Мало того, что его арестовали, его еще и избили в участке. Но и этого мало — его посадили в тюрьму. Мало и этого — бедная старуха, мать этого Ганса, была выгнана с квартиры и ночевала на бульваре под дождем.

«Господи, какие мрачные вещи он рассказывает! И где он, на горе мое, встретился с этим Гансом за границей? И пройти в ворота нельзя, пока он не кончит про Ганса, потому что это невежливо, на самом интересном месте...»

Чем дальше в лес, тем больше дров. Ганса приговорили к каторжным работам, а мать его простудилась на бульваре и умерла. Мне хотелось нарзану, сердце замирало и падало, машины хлопали и рявкали. Выяснилось, что на самом деле никакого Ганса не было и молодой человек его не встречал, а просто он рассказывал третий акт своей пьесы. В четвертом акте мать перед смертью произнесла проклятие палачам, погубившим Ганса, и умерла. Мне показалось, что померкло солнце, я почувствовал себя несчастным.

Рядом оборванный человек играл на скрипке мазурку Венявского. Перед ним на тротуаре, в картузе, лежали медные пятаки. Несколько поодаль другой торговал жестяными мышами, и жестяные мыши на резинках проворно бегали по досточке.

— Вещь замечательная! — сказал режиссер.— Ждем, ждем, ждем с нетерпением!

Тут дешевая маленькая машина подкатила к воротам и остановилась.

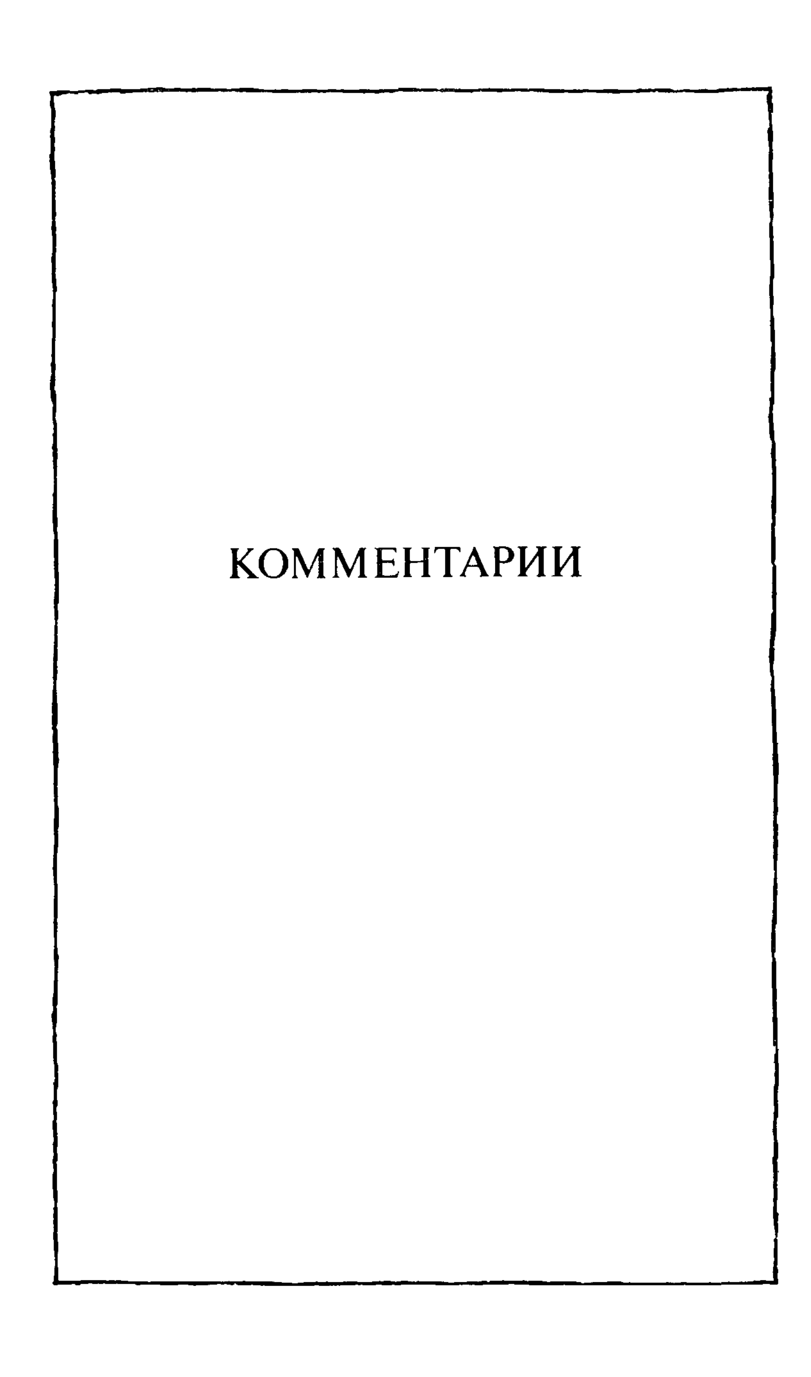
— Ну, мне пора,— сказал молодой человек.— Товарищ Ермолай, к Герцену.

Необыкновенно мрачный Ермолай за стеклами задергал какими-то рычагами. Молодой человек покачал колокол, скрылся в каретке и беззвучно улетел. Немедленно перед его лицом вспыхнул зеленый глаз и пропустил каретку Ермолая. И молодой человек въехал прямо в солнце и исчез.

И я снял шляпу, и поклонился ему вслед, и купил жестяную мышь для мальчика, и спасся от машин, войдя во дворе в маленькую дверь, и там опять увидел режиссера, и он сказал мне:

— Ох, слушайте его. Вы слушайте его. Вы переделайте третью картину. Она — нехорошая картина. Большие недоразумения могут получиться из-за этой картины. Бог с ней, с третьей картиной!

И исчез май. И потом был июнь, июль. А потом наступила осень. И все дожди поливали этот переулок, и, беспокоя сердце своим гулом, поворачивался круг на сцене, и ежедневно я умирал, и потом опять настал май.



КОММЕНТАРИИ

ПОВЕСТИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

В 1923—1925 годах Булгаков пишет одну за другой три сатирические повести: «Дьяволиаду», «Роковые яйца» и «Собачье сердце». Окончив роман «Белая гвардия», посвященный сравнительно недавнему, но уже отодвинувшемуся в историю прошлому, Булгаков создает вещи, практически не отделенные от современности в самом прямом, узком смысле слова. «Дьяволиада» повествует о времени только что миновавшего, но прекрасно памятного военного коммунизма; с описания тех же скудных, голодных и холодных лет начаты «Роковые яйца»; фон «Собачьего сердца» — остроактуальные приметы нэпа.

Первой повестью, вышедшей к читателю в марте 1924 года, стала «Дьяволиада», само название которой, по свидетельствам современников Булгакова, быстро вошло в устную речь, превратившись в нарицательное.

31 августа 1924 года Булгаков писал Ю. Слезкину, давнему своему знакомому еще по владикавказским временам: «Диаволиаду» я кончил, но вряд ли она где-нибудь пройдет. Лежнев отказался ее взять»[1]. Отвергнутая издателем «Белой гвардии», повесть была принята к печати Н. С. Ангарским. Сохранилась (к сожалению, недатированная) записка Булгакова сестре Н. А. Земской: «Я продал в «Недра» рассказ «Дьяволиада».

Рукопись «Дьяволиады» неизвестна. В отделе рукописей библиотеки им. В. И. Ленина хранится оттиск из «Недр» (ф. 562, к. 1, ед. хр. 10) с дарственной надписью И. С. Раабен, машинистке, печатавшей первые вещи молодого литератора, и еще один оттиск (ф. 562, к. 1, ед. хр. 11) с редакторской правкой текста (рукою Н. А. Земской).

Раабен вспоминала: «Он приходил каждый вечер, часов в 7—8, и диктовал по два-три часа и, мне кажется, отчасти импровизировал. У него в руках были, как я помню, записные книжки, отдельные листочки, но никакой рукописи как таковой

---

[1] Цит. по ст.: Чеботарева В. А. К истории создания «Белой гвардии».— Русская литература, 1974, № 4, с. 152.

не было (речь о «Записках на манжетах».— *В. Г.*). <...> Писала я только под диктовку. <...> Мы печатали еще рассказ или повесть «Дьяволиада» <...> потом довольно большую повесть «Роковые яйца». 11 марта 1924 года он подарил мне оттиск «Дьяволиады» из альманаха «Недра» с надписью: «Ирине Сергеевне Раабен в память нашей совместной кропотливой работы за машинкой» [1].

Появление повести в печати критикой почти не было замечено. Из писателей «с именем» отметил «Дьяволиаду» лишь Евг. Замятин, в проницательном отзыве оценивший не столько данную вещь, сколько — потенциальные возможности ранее неизвестного автора. Замятин писал: «Единственное модерное ископаемое в «Недрах» — «Дьяволиада» Булгакова. У автора, несомненно, есть верный инстинкт в выборе композиционной установки: фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин — одна из тех (немногих) формальных рамок, в какие можно уложить наше вчера — 19-й, 20-й год». Замятин отмечает в повести молодого литератора его «журнализм», некоторую «очерковость» вещи. «Термин «кино»,— продолжает Евг. Замятин,— приложим к этой вещи тем более, что вся повесть плоская, двухмерная, все — на поверхности, и никакой, даже вершковой, глубины сцены — нет». В этом, как кажется сегодня, Замятин был не совсем прав — «глубина сцены» присутствовала, но проникнуть в нее тогда, прочитать темы, мотивы и вторые смыслы, существующие в ней, помимо известного нам сегодня контекста творчества писателя,— конечно, было несравнимо труднее. Замятин заканчивает: «Абсолютная ценность этой вещи Булгакова — уже очень какой-то бездумной — невелика, но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ» [2].

Значительно больше внимания «Дьяволиада» привлекла позже, когда о Булгакове писали уже в связи с «Белой гвардией» и спектаклем Художественного театра «Дни Турбиных», ретроспективно выстраивая поэтапный путь «буржуазного писателя», «кулацкого подголоска» и проч.

Уже в 1926 году Е. Мустангова писала в «Жизни искусства»: «...я знаю роман Булгакова «Белая гвардия» и книгу его «Диаволиада» и думаю, что пора уже заговорить о Булгакове не только «в связи с постановкой» («Дней Турбиных».— *В. Г.*), но и как о самостоятельном литературном явлении.

<...> до сих пор имя его затрагивалось лишь в небольших рецензиях, которые отводили ему обычно полочку между Эренбургом и Замятиным, и этим оценка Булгакова как писателя исчерпывалась.

---

[1] Раабен И. В начале двадцатых.— В сб.: Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., Советский писатель, 1988, с. 128—129.

[2] Русский современник, 1924, кн. 2, с. 264—266.

А между тем Булгаков заслуживает внимания марксистской критики двумя неоспоримыми качествами: 1) несомненной талантливостью, умением делать литературные вещи и 2) ненейтральностью его как писателя по отношению к советской общественности, чуждостью и даже враждебностью его идеологии основному устремлению и содержанию этой общественности.

<...> В рассказе «Диаволиада» Булгаков рисует бюрократизм советских учреждений...»[1]

И. М. Нусинов в докладе о творчестве Булгакова констатировал: «Мелкий чиновник, который затерялся в советской государственной машине — символе «Диаволиады». <...> Новый государственный организм — «Диаволиада», новый быт — такая «гадость, <...> о которой Гоголь даже понятия не имел»[2]. И. С. Гроссман-Рощин спрашивал в журнале «На литературном посту»: «А если у художника этого мировоззрения нет? Тогда художник — на манер печальной известности Булгакова — увидит только «заднюю» эпохи — «Дьяволиаду». Жизнь покажется ему огромной и кошмарной путаницей. Разве каждая строчка писания Булгакова первого периода не есть, в сущности, вопль:

> Сбились мы, что делать нам?
> В поле бес нас, видно, водит
> И кружит по сторонам!..

Впрочем, не будем наивны,— продолжал критик,— Булгаков не только *так видит* мир, но дает платформу *изменения* мира. Он *объективно* призывает «варягов»[3].

А Влад Зархи подытоживает: «Для Булгакова наш быт — это действительно фантастическая дьяволиада, в условиях которой он чувствует себя «невесело», в условиях которой он не может существовать...»[4]

«Дьяволиада», при всей локальности темы и будто бы «случайности» гибели главного героя, Короткова, не сумевшего вернуть своему сознанию утраченную цельность мира, на его глазах рассыпавшегося в осколки,— заявила мотив, который будет развиваться на протяжении всего творчества писателя: мотив действительности, которая бредит.

«Маленький человек» Коротков, незаметный служащий Спимата, путает подпись нового начальника, носящего необычайную фамилию «Кальсонер»,— со строчкой деловой бумаги.

---

[1] Мустангов<а> Е. О Михаиле Булгакове.— Жизнь искусства, 1926, № 45, с. 13.

[2] Нусинов И. М. Путь М. Булгакова.— Печать и революция, 1929, кн. 4, с. 45, 47.

[3] Гроссман-Рощин И. С. Искусство изменять мир.— На литературном посту, 1929, № 1, с. 22—23.

[4] На правом фланге.— Комсомольская правда, 1927, 10 апреля.

Встреча же его с Кальсонером, поразительная внешность заведующего (голова, сверкающая огнями, электрические лампочки, вспыхивающие на темени, голос как «у медного таза»), а также его способность к мгновенным перемещениям в пространстве и разительным трансформациям — окончательно выбивает Короткова из колеи и лишает способности разумно мыслить. «Двойник» бритого Кальсонера, его брат с «ассирийской бородой» и тонким голосом, и Кальсонер-первый, которые поочередно попадаются на глаза Короткову,— вот, кажется, виновники сумасшествия героя.

Но на деле к безумию и гибели Короткова толкают не столько Кальсонеры-двойники, то есть случайные несуразицы происходящего, которые он не способен объяснить, сколько общее ощущение шаткости, неуверенности и ирреальности жизни.

Жалованье, выданное спичками и церковным вином; небывало-театральный облик грозного начальника — все эти частности, нестрашные каждая в отдельности, сливаясь в одно жуткое целое, обнажают беззащитность Короткова, его несмелое одиночество в мире. В «Записках на манжетах» герой боится сойти с ума, то есть отдает себе отчет в возможности утраты разума. Боязнь безумия — мысль здорового рассудка, она-то и страхует героя. В «Дьяволиаде» же действительность бредит, а человеку легче «уступить» ей, признав виновным в разламывании, деформации реальности себя самого. В «Дьяволиаде» заявлен один из постоянных лейтмотивов произведений писателя: мистическая роль бумаги, канцелярского выморочного быта. Если сначала Булгаков еще шутлив («Мне нельзя отдаться... оттого, что у меня украли документы»), то развитие сюжета отнюдь не шуточно.

Нарушена причинно-следственная связь — какое отношение может иметь наличие (или отсутствие) бумаг к назревающему любовному эпизоду? Оказывается, что клочок бумаги не только способен определить человеческие взаимоотношения, документ санкционирует поступки и, наконец, конституирует личность. Гротескна интонация обезумевшего Короткова: «Застрели ты меня на месте, но выправь ты мне какой ни на есть документик...» Уже и самую жизнь герой готов обменять на «правильность» и оформленность ее протекания. И делопроизводитель, канцелярский служащий, не имевший, как выяснилось, никаких более реальных и значимых опор в действительности, чем удостоверяющие личность документы, лишенный этих важнейших доказательств своего бытия — утрачивает рассудок. Лишить «места» и украсть бумаги — оказывается достаточным, чтобы вытолкнуть героя из жизни в безумный прыжок, гибель.

«В то время, как все люди скакали с одной службы на другую, товарищ Коротков прочно служил в Главцентрбазспимате... на штатной должности делопроизводителя и прослужил

в ней целых 11 месяцев»,—этой фразой открывается повесть. Сегодня известно, что Булгаков служил в различных учреждениях Наркомпроса примерно на протяжении года — с марта 1921-го по январь 1922-го[1], то есть те же одиннадцать месяцев. Это, быть может, частное совпадение. Но автобиографичность — затушеванная, «смазанная» — все более притягивает к себе внимание.

Иронична интонация автора по отношению к, кажется, узнаваемому герою: «нежный тихий блондин»... «этот комик»... «излишне осторожный»... «нервный делопроизводитель» Коротков бежит получать задержанное жалованье, «насвистывая увертюру из «Кармен»; молниеносно, «в три минуты», сочиняет нужную телефонограмму (так же, как в неоконченной повести «Тайному другу» герой мгновенно расправляется с сочинением обязательных фельетонов). Р. Янгиров сообщает о том, что именно с приходом Булгакова «в Лито поднимается вопрос о приглашении на службу делопроизводителя и его помощника», им же опубликован документ о «выдаче в срочном порядке сотрудникам Лито одежды и обуви»[2] к наступающей зиме — за подписями завлито и секретаря — М. Булгакова.

Не случайно в «Дьяволиаде», описывающей учреждение, казалось бы, вовсе не связанное с писательством, Булгаков вводит, хотя и мельком, тему литературы и литературного быта. Напомним сцену, когда запутавшийся в лабиринтах «Альпийской розы» Коротков застревает в загадочном и пугающем его разговоре с Яном Собесским: «...Чем же вы порадуете нас? Фельетон? Очерки? <...> Вы не можете себе представить, до чего они нужны нам».

Эпизод, по-видимому, отсылает к тому самому Лито, в котором служил секретарем Булгаков, или ко времени его работы в «Гудке».

Узнаваема и речевая характеристика, знакомая по иным, более известным, произведениям писателя. «Ну-с, унывать тут долго нечего», «А позвольте узнать...», «Здравствуйте, господа...», «Чего же это я стою и занимаюсь пустяками, когда все это ужасно...» и т. д.

Автобиографический подтекст, время от времени короткими, яркими вспышками будто «подсвечивающий» сюжет «Дьяволиады», сообщает новое качество литературному материалу.

«В ранней прозе Булгакова, повествующей «от первого лица», гоголевский герой соединен с гоголевским повествователем, рассказ о «маленьком человеке» в окружении сложной, сокрушающе действующей реальности есть в то же время

---

[1] См. об этом: Янгиров Р. М. А. Булгаков — секретарь Лито Главполитпросвета.— В сб.: М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., Союз театральных деятелей, 1988, с. 225.

[2] Там же, с. 229, 240.

рассказ повествователя о себе, о собственных злоключениях»[1],— писала М. Чудакова.

Влияние Гоголя на творчество Булгакова было распознано уже современной ему критикой. «Еще в «Дьяволиаде»... М. Булгаков обнаружил любопытнейшее сочетание Гофмана с весьма современным Гоголем»[2]. Другой цитированный нами критик не случайно вспомнил пушкинских «Бесов». Литературные ориентиры и учителя были названы верно. В самом деле, в повести ощутимо почти физическое присутствие Гоголя: черная крылатка, которая «соткалась из воздуха», провожает Короткова в его последний, гибельный путь.

Генетическое родство булгаковского Короткова с персонажами повестей Гоголя нескрываемо. «Перед нами герой, сформированный «при участии» героев «Невского проспекта» (Пискарева), «Шинели», «Записок сумасшедшего»[3]. М. Чудаковой отмечалось и композиционное сходство повести с «Невским проспектом» Гоголя — в частности, «погони» Пискарева за своей красавицей сопоставлялись ею с погонями Короткова за ускользающим от него Кальсонером.

Вся повесть «сделана» из динамичных, кратких сценок, мгновенных диалогов, энергичных глаголов, будто подгоняющих действие, которое к концу уже несется во всю мочь, наращивая и взвихривая и без того бешеный темп. Движение, энергия, быстрота, скорость («понесся», «кинулся», «грянул», «обрушился», «провалился» и проч.).

Помимо этого, здесь вспоминается и бег Алексея Турбина из «Белой гвардии», спасающегося от петлюровцев. Явственна сегодня и перекличка с погоней Ивана Бездомного за дьяволом, ускользающим от поэта после беседы на Патриарших. «Его догоняешь, а догнать никак нельзя...» — бессвязно жалуется Иван Бездомный в клинике Стравинского, почти впадая в безумие... Другими словами, бег, с нависающей, мчащейся вслед смертью — уже с «Белой гвардии» и «Дьяволиады» становится одним из устойчивых мотивов различных произведений писателя, а в одном из них станет и названием: «Бег. Восемь снов».

На последних страницах «Дьяволиады» у тихого доселе Короткова вдруг являются «орлиный взор», «боевой клич» и «отвага смерти», придающая сил герою. И гибнет он — с фразой, мгновенно вынесшей на поверхность то, что таилось в глубине сознания «застенчивого» делопроизводителя. В финальном возгласе — внезапный всплеск сокрытого прежде чувства достоин-

---

[1] Чудакова М. Булгаков и Гоголь.— Русская речь, 1979, № 3, с. 59.

[2] Ю. С. (Соболев). Среди книг и журналов.— Заря Востока, 1925, 11 марта.

[3] Чудакова М. М. А. Булгаков-читатель.— Книга. Исследования и материалы. М., 1980, вып. 40, с. 182.

ства. Высказавшись в нем вполне, Коротков гибнет, произнеся свою «главную» мысль: «Лучше смерть, чем позор!»

В «Дьяволиаде» впервые герой сталкивается с превращением человека — в статую, позже мотив развернется в пьесе «Зойкина квартира», где потянется последовательная цепочка степеней превращения живого — в неживое, нежить: от гостей Зойки — к мертвецки напившемуся Ивану Васильевичу из Ростова («Мертвому телу») и к манекену «французской школы», с которым пытаются танцевать; здесь же появится мотив двойничества, раздвоения: два Коротковых едут в лифте, один — зеркальный, другой — настоящий; два Кальсонера сводят с ума Короткова, но и сам Коротков схож с неизвестным ему хватом и сладострастником Колобковым, который к тому же еще и «орудует в трамваях».

Другими словами, уже в «Дьяволиаде» проявятся определенные черты поэтики Булгакова, скажутся его мотивы и темы, образы, даже — фразы, обороты речи, излюбленные писателем слова.

Здесь и чертовщина, дьявольская фантасмагория (имеющая при этом бытовую мотивировку и укорененность во вполне возможных обстоятельствах), тут и пристрастие к комическим эффектам во фразе (типа: «Скворец зашипел змеей», либо «товарищ де Руни» и проч.).

Здесь мы впервые прочтем то самое «соткалось из воздуха», которое навсегда запомнится в «Мастере и Маргарите», появятся рассыпанные, намекающие на нечистую силу словесные знаки: «колдовство», «домовой», черный кот, в котором Коротков подозревает оборотня, запахнет серой (и еще раз повторится этот штрих дьявольского присутствия: «чуть-чуть пахло серой»). И даже когда поднимется обычная кабина учрежденческого лифта, из шахты жутковато потянет «ветром и сыростью».

В. Каверин писал: «Кто не знает знаменитой формулы Достоевского: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели». Теперь, в середине XX века, следовало бы добавить: «И из гоголевского «Носа». Наметим эту традицию в общих чертах: начиная с загадки «Носа», через мефистофельскую горечь Сенковского (Брамбеуса) она идет к Салтыкову-Щедрину с его сказками и «Городом Глуповым».

Из наших современников к ней принадлежит, без сомнения, Булгаков, начавший «Дьяволиадой», а кончивший «Мастером и Маргаритой»...» [1]

Первая булгаковская повесть проявила не только устойчивость поэтики, но и определенность позиции Булгакова, повлияла на вещи, пишущиеся рядом, в те же и немного более поздние годы (такими писателями как И. Ильф и Е. Петров, Ю. Тынянов, со своим классическим сегодня «Подпоручиком

---

[1] Каверин В. Заметки о драматургии Булгакова.— В кн.: Булгаков Михаил. Драмы и комедии. М., Искусство, 1965, с. 6—7.

Киже», В. Каверин, Л. Лунц). «Выпавшая» из активной историко-литературной памяти писателей 1940—1970-х годов, «Дьяволиада» тем не менее продолжала истончавшуюся традицию, отмеченную таким проницательным читателем, как Каверин. Связи живого искусства слова не прерывались, хотя и не всегда были с легкостью опознаваемы.

* * *

Вслед за «Дьяволиадой» появились «Роковые яйца».

Рукописей и корректур «Роковых яиц» не сохранилось, в архиве библиотеки им. В. И. Ленина существует лишь текст повести (ф. 562, к. 1, ед. хр. 12), составленный из машинописи и оттиска из «Недр», с датой, проставленной автором: «1924, октябрь».

П. Н. Зайцев, секретарь редакции «Недр», вспоминал, как после отказа редакции напечатать роман «Белая гвардия» (из-за идеологической направленности, не устроившей «Недра») ему пришло в голову спросить, нет ли у Булгакова «чего-нибудь другого готового, что мы могли бы напечатать в «Недрах»?

Чуть подумав, он ответил:

— Есть у меня почти готовая повесть... фантастическая...»

Речь шла о «Роковых яйцах». Зайцев рассказывает: «Прочитав повесть, я передал рукопись В. В. Вересаеву <...> Вересаев пришел в полный восторг от прочитанного». Повесть была принята для напечатания в следующем же номере альманаха.

«Роковые яйца» поссорили меня,— продолжает Зайцев,— с А. К. Воронским, редактором «Красной нови». Он не мог мне простить, что из-под самого его носа выхватили интересную повесть»[1].

«Роковые яйца» вышли в свет в феврале 1925 года, а в мае журнал «Красная панорама» (в номерах 19—22 и 24-м) публиковал журнальный, сокращенный вариант повести, до № 22 под названием «Луч жизни».

В июле 1925 года Булгаков дарил друзьям сборник повестей и рассказов «Дьяволиада», а ранней осенью уже читал в «Известиях» статью Л. Авербаха, который, минуя рассуждения о художественной ценности книги, прямо обращался к цензурным органам, обвиняя их в бездействии и идеологическом просчете: «...неужели Булгаковы будут и дальше находить наши приветливые издательства и встречать благосклонность Главлита?»[2] Б. Леонтьев, секретарь издательства «Недра», обеспокоенно писал автору: «...поднялся какой-то бум в сферах по поводу книги «Дьяволиада». <...> Эту книгу сейчас у нас конфискуют»[3].

---

[1] Цит. по кн.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. 2-е изд. М., Книга, 1988, с. 293, 296.

[2] Известия, 1925, 20 сентября.

[3] Цит. по ст. М. Чудаковой «Взглянуть в лицо» (в сб.: Взгляд. М., 1988, с. 379).

Возможно, «бум в сферах» был связан с приведенным выступлением Авербаха, пользовавшегося поддержкой Сталина. Предположение поддерживается последовавшим вскоре специальным «Письмом в редакцию», в котором Авербах стремится отмежеваться от обращений к Главлиту. Сообщив «в противовес некоторым либеральничающим товарищам», что он «сторонник хорошей и нужной работы Главлита», Авербах тем не менее доводит до сведения общественности, «что обращения к Главлиту мне не принадлежат»[1]. Вероятно, зная о произошедшей конфискации «Дьяволиады»[2], Авербах не хотел, чтобы в нем видели виновника репрессивных санкций цензуры.

30 января 1926 года был даже заключен договор с Камерным театром — на пьесу по сюжету «Роковых яиц». Но дальнейшее «похолодание» общественной атмосферы, конфискация сборника, куда вошла и эта повесть, идеологическая борьба, разыгравшаяся вокруг «Дней Турбиных» и «Зойкиной квартиры»,— все это сделало выполнение договора невозможным.

В отличие от «Дьяволиады», вторая повесть Булгакова была встречена с большим вниманием, она обсуждалась как в «закрытых», частных письмах профессиональных писателей, так и на страницах широкой печати. Любопытно при этом отметить, что литераторами (за исключением В. Шкловского) повесть оценивалась весьма высоко, в печати же голоса критиков разделились.

Горький в письме к М. Л. Слонимскому от 8 мая 1925 года писал: «Булгаков очень понравился мне, очень, но он сделал конец рассказа плохо. Поход пресмыкающихся на Москву не использован, а подумайте, какая это чудовищно интересная картина!»[3]

А в письме к М. Ф. Андреевой советовал: «Прочитай... рассказ Булгакова «Роковые яйца», это тебя рассмешит. Остро-

---

[1] Октябрь, 1925, № 10, с. 147.

[2] Сборник «Дьяволиада» вскоре после его выхода летом 1925 г. был конфискован, но уже 3 марта 1926 г. получено разрешение Главлита на повторное издание его, взамен конфискованного. Очевидно, конфискация была расценена как ошибочная и ошибку исправили. 26 апреля 2-е издание сборника вышло в свет.

[3] Литературное наследство, т. 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963, с. 389. Сохранился рассказ мемуариста В. А. Левшина, бывшего соседа Булгакова в доме на Садовой, об эпизоде, свидетелем которого будто бы он был: импровизация Булгакова по телефону финальных страниц повести «Роковые яйца» с тем самым поворотом сюжета, отсутствие которого огорчило Горького: «В «телефонном» варианте повесть заканчивалась грандиозной картиной эвакуации Москвы, к которой подступают полчища гигантских удавов» (Левшин В. Садовая, 302-бис.— Театр, 1971, № 6). Но, к сожалению, документальных подтверждений такой редакции «Роковых яиц» не разыскано.

умная вещь!»[1] Высокие художественные достоинства повести отмечали В. Вересаев, А. Белый, С. Н. Сергеев-Ценский, а также М. Волошин, писавший 25 марта 1925 года Н. С. Ангарскому: «Спасибо за VI книгу «Недр» и за Ваши издания. <...> Рассказ М. Булгакова очень талантлив и запоминается во всех деталях сразу»[2].

Напротив, резко саркастически откликнулся на новую вещь Булгакова В. Шкловский.

«Как пишет Михаил Булгаков.

Он берет вещь старого писателя, не изменяя ее строения и переменяя ее тему. <...> Он — способный малый, похищающий «Пищу богов» для малых дел. Успех Михаила Булгакова — успех вовремя приведенной цитаты»[3],— формулировал В. Шкловский, отказывая писателю в самостоятельности видения мира, «не замечая» твердой и рискованной позиции подвергающегося нападкам со всех сторон «попутчика».

Острая социальность повести Булгакова привела к тому, что вокруг «Роковых яиц» развернулись критические сражения. Отзывы, яркие, резкие, дающие порой удивительно глубокие интерпретации творчества писателя, свидетельствуют о точности «попадания» нового произведения Булгакова в болевые проблемы литературно-общественного процесса середины 1920-х годов.

«Центральная вещь шестой книги» («Недр».— *В. Г.*) — «Роковые яйца» М. Булгакова, бесспорный «гвоздь» сборника»,— отмечали критики.

Высоко оценивал повесть и рецензент, скрывшийся за инициалами Ю. С. (Ю. Соболев.— *В. Г.*): «Один только Булгаков со своей иронически-фантастической и сатирически-утопической повестью «Роковые яйца» неожиданно выпадает из общего, весьма благонамеренного и весьма приличного тона.

«Утопичность» фабулы не только в том, что в ней говорится о некоем профессоре Персикове, открывшем загадочный «красный луч», не только в этом явном гротеске, но и в самом рисунке Москвы 1928 года, в которой профессор Персиков вновь получает «квартиру в шесть комнат» и ощущает весь свой быт таким, каким он был... до Октября.

Рассказ Булгакова — самый занимательный и самый острый во всей книге»[4],— заканчивал Ю. С.

---

[1] Цит. по кн.: Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983, с. 144.

[2] Цит. по ст.: Купченко Вл., Давыдов З. М. А. Булгаков и М. А. Волошин.— В сб.: М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени, с. 412.

[3] Шкловский В. Михаил Булгаков.— Наша газета, 1926, 30 мая.

[4] Ю. С. (Соболев). Среди книг и журналов.— Заря Востока, 1925, 11 марта.

Критик «Нового мира», также скрывшийся за сокращением, присоединялся к сказанному: «Роковые яйца» — это насыщенный современностью, остроумием, многочисленными мелкими бытовыми картинками, занимательностью фантастический рассказ. У нас грешат и против занимательности, и против фантастики, деля обычно вещи на «авантюрные» и «бытовые». «Авантюрные» — это интересно и пусто. «Бытовые» — это глубоко и скучно... Но безудержное вранье, неизбежно завершающееся мировой революцией,— так ли уж это занимательно?..

Всем читавшим повесть Булгакова я задам один вопрос: какое осталось у них впечатление от нашего «завтра», изображенного в повести «Роковые яйца»? Произвело ли на них это «завтра» гнетущее, упадочническое впечатление? По моему скромному мнению, едва ли сумеет какой-нибудь автор утопического, р-р-ре-волюционного романа заронить в своих читателях такое же чувство могучей жизнерадостной страны, истинного Нового Света» [1],— убежденно формулировал автор.

А. Воронский, выстраивая уже целый ряд приключенческих произведений последнего времени (А. Толстой, «Голубые города»; М. Булгаков, «Роковые яйца»; А. Караваева, «Берега»; Коробов, «Петушиное слово»), сообщал: «Роковые яйца» Булгакова — вещь необычайно талантливая и острая — вызвала ряд ожесточенных нападок. Булгакова окрестили контрреволюционером, белогвардейцем и т. п., и окрестили, на наш взгляд, напрасно. <...> Писатель написал памфлет о том, как из хорошей идеи получается отвратительная чепуха, когда эта идея попадает в голову отважному, но невежественному человеку». А. Воронский полагал, что «основной недостаток Булгакова тот, что он не знает, во имя чего нужны такие памфлеты, куда нужно звать читателя. <...> Нападает ли автор на «коммунистический эксперимент» или имеет он в виду более узкий круг обобщений...» [2] — размышлял критик.

Н. Осинский поддерживал сомнения А. Воронского: «...не хватает автору, печатающемуся в «России» — писательского миросозерцания, тесно связанного с ясной общественной позицией, без которой, увы, художественное творчество оказывается кастрированным. <...> Боюсь сказать,— продолжал Осинский,— а пожалуй, ведь так — это, собственно, «вагонная литература» (у немцев Reiselektüre — «дорожная литература») высшего качества» [3].

С Осинским соглашался Н. Коротков, который также полагал, что «Роковые яйца» не что иное, как «пустячок», «легкое

---

[1] Л — в. «Недра» — книга шестая.— Новый мир, 1925, № 6, с. 151—152.

[2] Писатель, книга, читатель.— Красная новь, 1927, январь, кн. 1, с. 237, 238.

[3] Осинский Н. Литературные заметки.— Правда, 1925, 28 июля.

вагонное чтение», находил в повести всего лишь «равнение на потребителя» и «безобидное остроумие». В целом же его оценка «Роковых яиц» скорее положительна: «За необыкновенным, рассчитанным на занимательность сюжетом, за остроумными, не без яду, злободневными мелочами проглядывает кипучий, бешеный темп жизни, творческий взмах ближайших наших годов. И как ни относиться к занимательной повести Булгакова, нельзя отрицать того бодрого впечатления, чувства «новой Америки», которое остается у читателя его вещи» [1].

А. Меньшой не разделял высказанной точки зрения и строил отзыв «с сюрпризом»: вначале многословно, обильно цитировал (либо — пересказывал близко к тексту) булгаковские описания Москвы 1928 года, а затем неожиданно заканчивал: «Все, что я написал,— картина Москвы в 1928-м году,— все это из повести Мих. Булгакова «Роковые яйца» — повести, столь нашумевшей в Москве... Полуфельетонист, полухудожник <...> не справился с задачей... Булгаков пугает, а нам не страшно. Почему не страшно? Просто потому, что вяло, бледно, без напряжения написано» [2].

Рецензия производила впечатление двойственное. К чему пространно, щедро цитировать и пересказывать текст, который так бездарен и незаразителен в художественном отношении? К чему сообщать, будто мимоходом, что повесть «нашумела в Москве», добавляя тем самым печатной рекламы осуждаемому произведению?

И. Гроссман-Рощин будто отвечал на рецензию Н. Короткова, опровергая ее чуть ли не по пунктам: «В повести царит ощущение ужаса, тревоги. Над людьми, над их жизнью точно тяготеет рок. И дело вовсе не в «ужасе» самой темы: нашествие гадов, мор, смерть. Нет. Дело не в теме. Можно писать о «Пире во время чумы», не внушая читателю ощущения страха, смутного и жутко-гнетущего беспокойства. <...> Характерно: автору удается привить читателю чувство острой тревоги, не прибегая к тем приемам, которыми пользуется, ну, хотя бы Сологуб <...> Элемента мистицизма в повести нет <...>

Н. Булгаков [3] как будто говорит: вы разрушили органические скрепы жизни; вы подрываете корни бытия; вы порвали «связь времен». Горделивое вмешательство разума иссушает источник бытия. Мир превращен в лабораторию. Во имя спасения человечества как бы отменяется естественный порядок вещей и над всем безжалостно и цепко царит великий, но безумный, противоестественный, а потому на гибель обреченный эксперимент.

---

[1] Рабочий журнал, 1925, № 3, с. 156.

[2] Москва в 1928-м году.— Жизнь искусства, 1925, № 18 (1045), 5 мая, с. 2—3.

[3] Так у автора рецензии.

Эксперимент породил враждебные силы, с которыми справиться не может. А вот естественная стихия, живая жизнь, вошедшая в свои права, положила конец великому народному несчастью» [1].

Трактовка Гроссмана-Рощина и «вагонный пустячок» вне мировоззренческой позиции — таковы крайние полюса критического прочтения новой повести Булгакова. Если одному критику при чтении передавалось «жутко-гнетущее беспокойство», то второй утверждал, что у читателя «Роковых яиц» остается «бодрое впечатление».

Влад. Зархи спрашивал: «Яркий ли и своеобразный мастер Булгаков? Пожалуй, что да... Булгаков и булгаковщина <...> еще довольно сильны своим техническим мастерством и значительной писательской культурой... Мы должны всерьез начать борьбу с влиянием правого крыла нашей литературы» [2]. П. Нусинов, отказывая писателю и в серьезности замысла, и в культуре исполнения, подтверждал идеологическую оценку Влад. Зархи: «Булгаков — на правом крыле», то есть реакционный писатель. «В утопии обычно вкладывали большую идею,— писал Нусинов,— идею грядущего освобождения или грядущей гибели, идею великой радости или великого ужаса. Но в «утопии» Булгакова и намека нет на что-нибудь значительное или великое. Философия ее так же несложна, как антисоветский анекдот с Сухаревки. <...> Политический смысл утопии ясен: революция породила «гадов», от которых мы спасемся только разве таким чудом, как 18-градусный мороз в августе». Нусинов настаивал на профессиональной несостоятельности писателя, пророча ему «конец» творческого развития: «В «Роковых яйцах» завершение творческого пути Булгакова» [3].

М. Лиров формулировал еще того резче: «А как быть с аллегорией «Роковые яйца», которая по всему своему далеко не академическому содержанию как бы исключительно предназначена для белогвардейской печати?» [4]

Д. Горбов со страниц «Нового мира» возражал, отводя обвинение: «Мы далеки от того, чтобы видеть в произведениях М. Булгакова осознанную и выраженную в прикровенной форме контрреволюцию. М. Булгаков представляется нам писателем совершенно идеологически неоформленным и, при своем очевидном художественном даровании, занятым, пока что, пробой пера. Такой пробой пера, или, вернее, стрелой, пущенной в

---

[1] Гроссман-Рощин И. Стабилизация интеллигентских душ и проблемы литературы.— Октябрь, 1925, № 7 (11), с. 127—129.

[2] Зархи Влад. На правом фланге.— Комсомольская правда, 1927, 10 апреля.

[3] Нусинов И. Путь М. Булгакова.— Печать и революция, 1929, кн. 4, с. 47.

[4] М. Лиров. Печать и революция, № 5-6, с. 519.

пространство наугад, без определенно намеченной цели, кажется нам и его повесть «Роковые яйца». При всей готовности вычитать из нее какую-нибудь определенную мысль, тем паче какое-то отрицание нашего строительства, как это советует нам сделать один из критиков, признаемся, мы сделать этого не смогли...»[1]

И на страницах следующего произведения Булгакова появится краткий, но чрезвычайно выразительный диалог профессора Преображенского с коллегой, предостерегающим профессора от «контрреволюционных» высказываний. «Никакой контрреволюции! Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу! Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается! Черт его знает! Так я говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них лишь здравый смысл и жизненная опытность».

К 1927 году полемичность суждений критиков исчезает, интонации высказываний о творчестве писателя меняются, печатные выступления приобретают характер не столько литературного разбора, сколько политического доносительства. Так, Г. Горбачев пишет: «Если можно сомневаться в явно издевательском смысле «Роковых яиц» по отношению к творческим, хозяйственно- и культурно-организаторским способностям революционной власти <...> то это можно делать, лишь рассматривая «Роковые яйца» изолированно.

В связи со всем подбором рассказов в книге «Дьяволиада» для иллюзий места не остается. <...> И на этом фоне осмеяния новой власти... совершенно ясна тенденция повести о профессоре Персикове, которого большевики отлично обслуживали, когда надо было охранять его от иностранных шпионов и праздных зевак методами ГПУ, но изобретение которого, благодаря своей торопливости, невежеству, нежеланию считаться с опытом и авторитетом ученых, сделали источником не обогащения страны, а нашествия на нее всевозможных чудовищ.

Такова эта повесть, ясно говорящая о том, что <...> жгущие дома, разведшие дикий бюрократизм большевики совершенно негодны для творческой мирной работы, хотя способны хорошо организовать военные победы и охрану своего железного порядка»[2].

Критики шли много дальше того, что описывалось в булгаковской повести, делали печатным достоянием острые соображения и мысли, будто «проговариваясь» о настоящем дне. При вчитывании в строчки тех далеких рецензий, написанных

---

[1] Горбов Д. Итоги литературного года.— Новый мир, 1925, кн. 12, с. 147—148.

[2] Горбачев Г. Творчество М. Булгакова.— Вечерняя красная газета, 1927, 24 мая.

вскоре после появления «Роковых яиц», невольно вспоминаются полные горечи авторские размышления, отданные Булгаковым Мастеру в итоговом романе о сломанной литературной судьбе. «Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось,— и я не мог от этого отделаться,— что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим».

Напомним, что 1927—1928 годы были последними в литературной судьбе Булгакова, когда его произведения сколько-нибудь подробно освещались прессой. Дальше наступило молчание, и лишь фамилия опального писателя изредка мелькала в перечне «подкулачников в литературе» либо «классовых врагов в драматургии». Вполне вероятно, что именно статьи 1925—1927 годов, многочисленные, обильные, уничтожающие и прозу, и спектакли по его пьесам,— и были теми реальными источниками, которые дали Булгакову материал для последующих одиноких размышлений о своих отношениях с «официальной», огосударствленной литературой.

Сам автор, по свидетельству мемуариста, оценивал повесть скромно, несмотря на то что и 5 лет спустя, в 1930 году, «Роковые яйца» все еще пользовались успехом, вместе с фединскими «Городами и годами» были в числе наиболее спрашиваемых книг. В дневнике Э. Ф. Циппельзона 12 июня 1930 года сделана запись о Булгакове: «Между прочим, совершенно не рисуясь, считает, что «Роковые яйца» только проба пера, фельетон. Был, кажется, искренне удивлен, когда, восторгаясь этой вещью, я пророчествовал в будущем огромный успех этому произведению, которое, безусловно, будет неоднократно переиздаваться, и непременно с иллюстрациями талантливых художников»[1].

Представляет немалый интерес, что повести Булгакова, возможно, были органичным откликом на сформулированный на страницах прессы «социальный заказ». Вслед за лозунгом: даешь «красных Толстых» последовал и призыв дать «красных Пинкертонов». «С легкой руки тов. Бухарина, отметившего необходимость создания красного Пинкертона, авантюрный роман начинает возрождаться»,— писал в рецензии на роман Н. Карпова «Лучи смерти», вышедший в «Библиотеке приключений», М. Рабинович[2].

---

[1] Цит. по ст.: Чудакова М. О. «И книги, книги...». М. А. Булгаков» — В сб.: «Они питали мою музу...». Книги в жизни и творчестве писателей. М., Книга, 1986, с. 221.

[2] Печать и революция, 1925, кн. 8, с. 246—247.

В «Роковых яйцах» сюжетным стержнем тоже стал волшебный луч, уловленный профессором Персиковым. Первотолчком к зарождению замысла могли послужить слухи, циркулировавшие во время гражданской войны: «Беженцы клялись, что у союзников имеются ультрафиолетовые лучи, которыми они могут в течение нескольких часов уничтожить и «красных», и «самостийников»,—вспоминал И. Эренбург о Киеве 1919 года[1].

В повести явственно прослеживаются по меньшей мере три смысловых слоя, тесно связанных друг с другом. Конечно, это повесть фантастическая, повесть-утопия, повесть-сатира. Но не менее заметны и связи «Роковых яиц» с авантюрным романом, приключенческим жанром, сложно переосмысленным. Вспомним характерное высказывание Булгакова, записанное его другом, П. С. Поповым: «Читал очень разнообразных авторов; интерес к Салтыкову-Щедрину соединился с интересом к Куперу». «Роковые яйца», как кажется, и есть та вещь, в которой органично «сплавлены» в одно острая социальность и гротескность Щедрина—с увлекательной фабулой «приключенческой повести».

Главный герой «Роковых яиц», гениальный зоолог Персиков, досконально владеющий своим предметным знанием (что еще и еще раз подчеркивается Булгаковым, отнюдь не боящимся, что читателю «будет скучно», предлагающим и длинные названия ученых трудов профессора, и целый очерк «отряда куриных», и «узкоспециальные» вопросы профессора студентам), открывает «красный луч», дающий невиданный эффект мгновенного созревания, размножения и увеличения в размерах амеб. Перед нами—эволюция, проходящая молниеносными темпами. Одновременно с открытием профессора Персикова начинается куриный мор, уничтоживший всех кур в стране. Зоолога призывают на помощь. Вступают в действие социальные и идеологические мотивировки, рожденные десятилетия назад, но прочно укоренившиеся и в нашем сегодня:

«Я,—говорил Персиков,—не могу понять вот чего: почему нужна такая спешность и секрет?

— <...> вы же знаете, что куры все издохли до единой.

— Ну так что из этого,—завопил Персиков,—что же, вы хотите их воскресить моментально, что ли?..

— Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости. Да.

— И пусть себе пишут...

— Ну, знаете,—загадочно ответил Рокк и покрутил головой».

---

[1] Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Кн. I и II. М., 1961, с. 459.

Решительность, соединенная с невежественностью, олицетворенная Рокком, дает катастрофический результат. Заметим, что самого Рокка, виновника бесчисленных бедствий и человеческого горя, спасает прежняя, дореволюционная профессия, которой он, в отличие от новой — директора совхоза,— владеет. Вальс из «Евгения Онегина», сыгранный бывшим флейтистом,— то есть «культура» — оказывается в схватке со змеями действеннее, нежели электрический револьвер и пулемет бесстрашных агентов.

Персиков не может вмешаться в затеянный Рокком эксперимент, хотя и предполагает его разрушительные последствия.

«Знаете что,— молвил Персиков,— вы не зоолог? нет? жаль... из вас вышел бы очень смелый экспериментатор... Да...»

«Очень смелый экспериментатор», но не зоолог, Рокк не сумел отличить яйца змей, крокодилов и страусов от куриных, безграмотность одного человека, завладевшего открытием, стала причиной катастрофы, разразившейся надо всей страной, и причиной гибели гениального ученого.

Но гибель профессора означает и гибель найденного им «луча жизни». «Как ни просто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек — покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков». Булгаков сказал о том, что незаменимые люди — есть, задолго до того, как эта мысль, в качестве уже новонайденной, стала наконец укореняться в сознании общества, долгое время убеждаемого в обратном.

И, наконец, еще один важный смысловой пласт повести: Булгаков, с его приверженностью к описанию современных событий в их непременной соотнесенности с «большой» историей,— в сниженном, пародийном варианте будто повторяет в ней путь (и финал) наполеоновского похода. Змеи наступают в «Роковых яйцах» по дорогам, по которым некогда шли на Москву французы.

Эксперимент Рокка происходит в начале августа («зрелый август» стоит в Смоленской губернии), события разворачиваются с невероятной быстротой, в середине августа «Смоленск горит весь», «артиллерия обстреливает можайский лес», «эскадрилья аэропланов под Вязьмою» действовала «весьма удачно» и, чуть позже: Смоленск «загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход».

Именно в начале августа происходит сожжение Смоленска оставляющими его жителями в войне 1812 года, и так же, как и в Отечественной войне с Наполеоном, нашествие останавливают и морозы.

Но финал «Роковых яиц» откровенно ироничен, о чем сообщает читателю уже заголовок последней главы: «Морозный бог на машине», то есть deux ex machine. Булгаков не скрывает, а, напротив, обнажает художественную неубедительность, «механистичность» благополучной развязки, «хеппи-энда». И тем самым, возможно, в известном нам варианте окончания — скрыто присутствует «память» о том первоначальном финале произведения, который донесли до нас воспоминания современника.

Намеченный уже в «Похождениях Чичикова» и продолженный в «Дьяволиаде» мотив ни с чем не сообразной бумажной власти, мистической и всемогущей, развивается и в «Роковых яйцах». Красноречивая фамилия персонажа, явившегося «с бумагой из Кремля», Рокка,— звучит как зловещее предупреждение о грядущих бедах. Панкрат «сложил руки по швам и, бледнея от страха перед божеством, сказал так:

— Там до вас, господин профессор, Рокк пришел. <...>

— Рок с бумагой? Редкое сочетание,— вымолвил Персиков...»

Еще в 1920-е годы критикой были замечены излюбленные Булгаковым формы сатирического творчества: каламбур и анекдот.

Но кроме активно работающих в повести анекдотов, спародированных цитат и саркастической усмешки (например, в адрес мейерхольдовской театральной интерпретации «Бориса Годунова»), помимо вольной шутки, явственна в ней и личная, лирическая интонация.

Так же, как и в «Дьяволиаде», в «Роковых яйцах» идет «олитературивание биографии»: действие повести разворачивается, в частности, в Смоленской губернии, где, как известно, Булгакову пришлось вести врачебную практику, а названия реального города Сычевки и села Никольского откликаются в названиях города Грачевка и села Никольского «Роковых яиц».

«Избрал карьеру врача, поскольку меня привлекала всегда блестящая работа,— отвечал когда-то Булгаков на вопросы друга, П. С. Попова.— Работа врача мне и представлялась блестящей. Меня очень привлек микроскоп, когда я посмотрел на него, мне он показался очень интересным». И в повести «Роковые яйца» восхищение Булгакова «блестящей работой» профессора передано именно через работу с микроскопом. Персиков «сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного цейсовского микроскопа <...> Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. <...> Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность», и т. д. «Со значитель-

ным научным багажом у нас — Замятин, да еще у Булгакова чувствуется, что естественные науки для него не являются темными и непроходимыми дебрями»,— констатировал А. Воронский[1].

В каждой повести, кроме устойчиво повторяющихся, очевидно важнейших для писателя, мотивов и тем, обращают на себя внимание своеобразные «скрепы», сигналы, будто соединяющие, сплавляющие творимые миры различных произведений — в целостный и единый художественный космос.

Сон Короткова в «Дьяволиаде», в котором перед ним «на зеленом лугу» очутился «огромный живой биллиардный шар на ножках», перекликается со сном Петьки Щеглова из «Белой гвардии», написанном не в «страшном», как в «Дьяволиаде», а, напротив, радостном ключе: «И сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар. Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, а на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. <...> Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петьку сверкающими брызгами». В «Роковых яйцах» мелькнет знакомая фамилия — Пеструхин, отсылающая и к «Дьяволиаде», и к персонажу «Зойкиной квартиры», в сознании пса в «Собачьем сердце» сложится мысль — «а отчаяние, видно, и подлинно грех»,— уже прозвучавшая на страницах «Белой гвардии»; Рокк начнет свой губительный эксперимент в совхозе, расположившемся в имении Шереметевых, о котором позже, в «Адаме и Еве», начнет слагать свой роман «Красные зеленя» конъюнктурщик Пончик-Непобеда; а сбивчивая фраза, принадлежащая Короткову из «Дьяволиады» («Документы украли <...> и кот появился. Не имеет права»),— конечно, вызовет в памяти происшествия с Иваном Бездомным из «Мастера и Маргариты».

Повторим вновь: события различных произведений Булгакова будто происходят в одном и том же пространстве и времени, персонажи знакомы друг с другом. Так в поэтике писателя в подобных связующих автоцитатах демонстрируется цельность мира, в котором существуют булгаковские герои.

* * *

И в «Дьяволиаде», и в «Роковых яйцах» центральные герои гибнут, оказываясь слабее враждебных им событий. И лишь в третьей повести, в «Собачьем сердце», герой становится способен совладать с чудовищным порождением собственной деятельности.

В «Дьяволиаде» герой слаб, задавлен обстоятельствами, которые приводят его к безумию и отчаянному концу.

---

[1] На литературном посту, 1926, № 1, 5 марта, с. 20.

В «Роковых яйцах» центральный герой уже позволяет себе «не замечать» внешних перемен, продолжая работу в направлении, избираемом им самим,— но побеждается «Рокком с бумагой». В «Собачьем сердце» профессор Преображенский оказывается счастливее (и могущественнее) своего коллеги из «Роковых яиц», и даже прямой донос, вновь бумажная нечисть, оказывается бессилен перед ним.

Творческая история повести в общих чертах известна. В машинописи стоит авторская датировка: «январь—март 1925 года». «Уже 14 февраля сотрудник «Недр» Б. Л. Леонтьев посылает Булгакову открытку, сообщая, что Н. С. Ангарский просит его прийти «в воскресенье 15 февраля в 7 час. вечера на литературное чтение. Просьба принести с собой рукопись «Собачье сердце» и читать ее»[1].

«...Через несколько дней Б. Леонтьев отправляет Булгакову новую открытку: «Дорогой М. А. Торопитесь, спешите изо всех сил предоставить нам Вашу повесть «Собачье сердце». Н. С. может уехать за границу недели через 2—3, и мы не успеем протащить вещь через Главлит. А без него дело едва ли пройдет».

7 марта Булгаков читает первую часть «Собачьего сердца» на «Никитинском субботнике». 21 марта—там же прочтена вторая часть повести. «Здесь прозвучали весьма важные слова одного из слушателей, М. Я. Шнейдера: «Это первое литературное произведение, которое осмеливается быть самим собой. Пришло время реализации отношения к происшедшему». Отметив «совершенно чистый и четкий русский язык», выступавший говорил о «силе автора», который «выше своего задания»[2].

8 апреля Вересаев пишет Волошину: «Очень мне приятно было прочесть Ваш отзыв о М. Булгакове... юмористич<еские> его вещи—перлы, обещающие из него художника первого ранга. Но цензура режет его беспощадно. Недавно зарезала чудесную вещь «Собачье сердце», и он совсем падает духом»[3].

Ангарский в письме к Вересаеву 20 апреля сетует: «...сатирические рассказы (Булгакова.— *В. Г.*) хороши, но проводить их сквозь цензуру очень трудно. Я не уверен, что его новый рассказ «Собачье сердце» пройдет. Вообще с литературой плохо. Цензура не усваивает линию партии»[4].

По всей видимости, Ангарский, говоря о «линии партии», имеет в виду ту точку зрения на художественное творчество,

---

[1] Цит. по кн.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 317—318.

[2] Там же, с. 318.

[3] Цит. по ст.: Купченко Вл., Давыдов З. М. А. Булгаков и М. А. Волошин.—В сб.: М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени, с. 413.

[4] Цит. по кн.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 319.

которая высказывалась, в частности, А. В. Луначарским, писавшим в 1924 году, что государство «должно воздерживаться от того, чтобы путем государственного покровительства приучать художников к неискренности, натасканной революционности или подчеркивать значение художественно третьестепенных, но, так сказать, революционно-благонамеренных авторов и произведений. <...> Равным образом, государство должно совершенно воздерживаться от каких бы то ни было политических давлений на писателей нейтральных, не воздвигать на них и тени гонения за то, что они не мыслят и не чувствуют по-коммунистически. <...> Величайшая нейтральность в этом отношении» [1].

2 мая Булгаков получает письмо от Б. Леонтьева, сообщающего, что «рукопись цензура еще задерживает». 21 мая автор «Собачьего сердца» читает письмо, по определению Чудаковой, «уже вполне безнадежное», где Леонтьев пишет: «Дорогой Михаил Афанасьевич, посылаю Вам «Записки на манжетах» и «Собачье сердце». Делайте с ними, что хотите. Сарычев в Главлите заявил, что «Собачье сердце» чистить уже не стоит. «Вещь в целом недопустима» или что-то в этом роде» [2].

Судя по дальнейшему поведению Ангарского, повесть ему очень понравилась, ее печатание в альманахе «Недра» представлялось ему крайне желательным, и он продолжает хлопоты. И вскоре Леонтьев вновь пишет Булгакову: «Дорогой и уважаемый Михаил Афанасьевич, Николай Семенович прислал мне письмо, в котором просит Вас сделать следующее. Экземпляр, выправленный, «Собачьего сердца» отправить немедленно Л. Б. Каменеву в Боржом. На отдыхе он прочтет. <...> Нужно при этом послать сопроводительное письмо — авторское, слезное, с объяснением всех мытарств...» [3]

В середине июня Булгаков уезжает в Коктебель по приглашению М. Волошина, захватив рукопись не пропущенной цензурой повести с собой, и уже 16 июня читает ее всем обитателям дома. Пианистка М. Пазухина, отдыхавшая в Коктебеле вместе с Булгаковым, пишет домой: «Третьего дня один писатель читал свою прекрасную вещь про собаку» [4].

И, наконец, в конце лета либо осенью попытки опубликования «Собачьего сердца» завершаются окончательной неудачей. В конце лета надежда еще есть, судя по письму Леонтьева: «Прошу вас как можно скорее прислать нам рукопись «Собачье

---

[1] Луначарский А. Художественная политика Советского государства.— Жизнь искусства, 1924, № 10 (984), 4 марта, с. 1.

[2] Цит. по кн.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 319.

[3] Там же.

[4] Цит. по ст.: Купченко Вл., Давыдов З. М. А. Булгаков и М. А. Волошин.— В сб.: М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени, с. 415.

сердце». Протащим. Но только скорее». Но уже 11 сентября 1925 года Леонтьев сообщает автору: «Повесть Ваша «Собачье сердце» возвращена нам Л. Б. Каменевым. По просьбе Николая Семеновича он ее прочел и высказал свое мнение: «это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя». В письме Леонтьев упрекает Булгакова за то, что тот отправил для чтения Каменеву неправленый экземпляр текста (то есть — без конъюнктурной правки, смягчающей целый ряд мест). «Конечно, нельзя придавать большого значения двум-трем наиболее острым страницам; они едва ли могли что-нибудь изменить в мнении такого человека, как Каменев. И все же, нам кажется, Ваше нежелание дать ранее исправленный текст сыграло здесь печальную роль»[1].

Через несколько месяцев, 7 мая 1926 года, в квартире Булгакова произошел обыск, в результате которого у него была конфискована рукопись «Собачьего сердца» (по-видимому, машинопись) — в 2-х экземплярах. После продолжительных хлопот, в которых участвовали Горький и Е. П. Пешкова, «Собачье сердце» вернулось к автору.

«Собачье сердце», так же как и «Роковые яйца», вызвали интерес театра, на этот раз Художественного. 2 марта 1926 года был заключен договор, но цензурный запрет сорвал и эти планы, в апреле 1927 года договор был расторгнут.

К отечественному читателю повесть «Собачье сердце» пришла спустя более шестидесяти лет после ее создания, в 6-й книжке журнала «Знамя» 1987 года.

В отличие от первых двух повестей, в архиве сохранены три машинописных перепечатки «Собачьего сердца», носящие на себе следы авторской редактуры. Это дает счастливую возможность рассмотреть движение текста, некоторые особенности его существования. Первая машинопись (ф. 562, к. 1, ед. хр. 15) — самый ранний, по видимости, из дошедших до нас текстов. На первом листе — надписи, сообщающие о приключениях, которые претерпела повесть. Надпись первая, сделанная неизвестной рукой: «Обнаружено при обыске. Булгаков. Май 1926». Надпись вторая, булгаковская: «Экземпляр, взятый ГПУ и возвращенный». И, наконец, трижды сделана — и трижды же зачеркнута надпись — посвящение Л. Е. Булгаковой.

Этот текст сохранил нам и авторскую правку, и пометы Ангарского, сделанные синим карандашом (например: «часть выкинуть, кое-что переделать» либо, чаще,— волнистая линия на полях, отмечающая «сомнительное место» текста и подпись: «Ангарский»).

Правка Булгакова в этом машинописном экземпляре включает в себя стилистические исправления (когда, медленно

---

[1] Цит. по кн.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 326.

перечитывая произведение, писатель, как правило, вносит поправки, например: «он весь горел светом» заменено на «полыхал светом»; вписано сравнение: Шарик лежал «как лев на воротах» либо фраза: «Я не кусаюсь?» — удивился пес»,— и т. д.). Но немало и цензурных исправлений, смягчающих звучание текста, которые сделаны булгаковской рукой. Неоднократно «коммунисты» заменены на «жилтоварищей», «образование рабочей фракции» — на «новое товарищество», «пролетарской» дисциплины — на «трудовой» дисциплины, «революционной» — на «трудовой», название водки «Рыковка» — на «Новоблагословенную» и т. д.

Здесь же фамилия Жоривели изменена на Жаровкина.

Сокращения, предложенные Ангарским, много решительнее, резче. Его рукой отмечены целые абзацы, диалоги, причем — центральные, определяющие собой существо повести.

По всей видимости, этот частично «выправленный» экземпляр «Собачьего сердца» и сохранился в архиве (ф. 9, к. 3, ед. хр. 214) в материалах Ангарского. На первой странице исправленного-таки автором по редакторским пометкам экземпляра надпись рукой Ангарского: «Нельзя печатать».

В этом тексте Булгаковым сделаны существенные купюры (то есть часть текста уже отсутствует) и внесены исправления цензурного характера. Открывается же повесть монологом Шарика, в котором прежняя фраза: «Все испытал, с судьбою своею мирюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух»,— заменена теперь фразой, будто отражающей авторское состояние в результате злоключений с повестью: «...потому что и дух мой уже угасает. Угасает собачий дух!»

В основном же правка состоит в снятии тех мест, которые отчеркнуты рукою Ангарского в предыдущей машинописи, и исправлений вроде: вместо «Мориц» вписано «Альфонс», вместо ответа Филиппа Филипповича на вопрос, сочувствует ли он детям Германии, «сочувствую» — теперь: «равнодушен к ним», профессор теперь как бы «изобличается» в равнодушии к бедствующим детям и проч., т. е. Булгаковым вносятся ноты «осуждения» и компрометации персонажей.

И, наконец, третья машинопись (ф. 562, к. 1, ед. хр. 16), которая возвращает нас к полному первоначальному варианту повести, где не учтены конъюнктурные поправки (снята лишь фраза о «французской любви») и реализована стилистическая авто, редактура. Этот текст и избран нами для публикации.

В дневниках Е. С. Булгаковой 12 июля 1936 года сделана запись: «М. А. читал Вильямсам половину «Собачьего сердца» — говорит, что повесть грубая»[1]. Но, возможно, публично высказанная негативная оценка собственной вещи должна была

---

[1] ОР ГБЛ, ф. 561, к. 28, ед. хр. 25.

«прикрыть» факт ее сохранения — и даже чтения гостям (что могло быть квалифицировано как «распространение» запрещенного к печати произведения — ведь запись датирована серединой 1936 года). Е. А. Земская, племянница М. А. Булгакова (дочь сестры М. А. Булгакова, Надежды Афанасьевны Булгаковой-Земской), сообщила нам, что, напротив, в семье жило устойчиво любовное отношение к этой повести.

Заметим, что, несмотря на то что повесть не была напечатана, многочисленные попытки проведения ее через цензуру познакомили с ней людей, порой весьма высоко стоящих, занимающих ответственные партийные и хозяйственные должности — как Каменев, о котором уже шла речь. Поэтому не кажется невероятным, что выразительная фраза Бухарина в речи «Судьбы русской интеллигенции», произнесенной им 10 марта 1925 года в Большом зале консерватории, была прямым ответом на новое булгаковское произведение: «Поймите, мы имеем историческую ответственность не более не менее, как за судьбы всего человечества, как зачинатели, но мы не производим экспериментов, мы не вивисекторы, которые ради опыта ножиком режут живой организм, мы сознаем свою историческую ответственность...» [1]

В 1926 году выходит статья А. Лежнева «Русская литература в истекшем году» [2]. Отдельный пассаж обзора посвящен приключенческой литературе. Названы имена К. Федина, А. Толстого, В. Каверина, Всеволода Иванова, Мариэтты Шагинян, Бориса Лавренева. Имени Булгакова, за два года написавшего три фантастические повести,— в перечне нет.

Поскольку «Собачье сердце» не вышло в свет в 1920-е годы, можно привести лишь устные отзывы познакомившихся с ним в рукописи. Среди них были литераторы В. Вересаев, М. Волошин, С. Федорченко, Л. Леонов, Ю. Н. Потехин (вернувшийся из эмиграции в 1923 году), который высказался определенно и прозорливо: «Фантастика... органически сливается с острым бытовым гротеском. <...> Присутствие Шарикова в быту многие ощутят» [3].

* * *

Любопытна московская топография произведения, вновь свидетельствующая об определенной автобиографичности ее.

Путь, которым следует Шарик за своим обретенным божественным хозяином, прочерчен Булгаковым со свойственной

---

[1] Цит. по стенограмме речи Н. И. Бухарина.— Печать и революция, 1925, кн. 3, с. 8.

[2] Печать и революция, 1926, кн. 1, с. 123.

[3] Цит. по кн.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 318.

ему точностью: от кооператива Центрохоза к пожарной Пречистенской команды... мимо Мертвого переулка... в Обухов переулок, в бельэтаж.

На углу Пречистенки (ныне Кропоткинская улица, 24) и Обухова (ныне Чистого) переулка в бельэтаже жил Н. М. Покровский, родной брат матери М. А. Булгакова, врач-гинеколог и бывший ассистент знаменитого московского профессора гинекологии В. Ф. Снегирева. По мнению и второй жены Булгакова, Л. Е. Белозерской, и автора статьи «Москва и москвичи вокруг Булгакова», Н. М. Покровский и был прообразом главного героя повести «Собачье сердце», Филиппа Филипповича Преображенского.

«Так как близкие родственники жили в доме с давних пор, Булгаков, конечно, очень хорошо знал все события и передряги в доме, естественно связанные с переменой власти и началом нового режима власти дома. <...> описанные в повести «Собачье сердце» разговоры в гостиной и столовой, обеды, беседы за курением, подробности быта дома вплоть до его новых жильцов жилтоварищества, прислуги и швейцара <...> связаны, конечно, с квартирой Покровских»,— пишет Н. Б.[1]

Имена графа Толстого и Айседоры Дункан также не случайно появляются на страницах «пречистенской» повести. Потомки Л. Толстого и популярная американская танцовщица в начале 1920-х годов жили неподалеку, в особняках на Пречистенке.

С действительностью тех лет теснейшим образом связана и фабула «Собачьего сердца». Так, «Красная нива» (1923, № 48, 2 декабря, с. 2—3) сообщала: «Ряд операций, произведенных И. Г. Коганом, по пересадке половых яичек курам, морским свинкам и собакам с целью омоложения, привел к определенным результатам. У старых кур была восстановлена яйценоскость, а старым морским свинкам была возвращена способность деторождения». Тут же рассказано и об оперированных людях. А несколько позже в статье «Поэтика в 1923 году» о том же писал П. Жуков: «Говорят, омоложение из плоскости научной проблемы перешло в практику»[2].

М. Чудакова сообщила в «Архиве...» и в послесловии к повести («Знамя», 1987, № 6), что еще с 1921 года «научно-популярная печать только и писала об омоложении по методу австрийского физиолога Э. Штейнаха, занимавшегося пересадкой половых желез у млекопитающих. В 1924 году вышел 2-й сборник статей под редакцией профессора Н. К. Кольцова «Омоложение» <...> причем невозмутимая бойкость журналистского тона обливала изложение экспериментов поистине фанта-

---

[1] Н. Б. Москва и москвичи вокруг Булгакова.— Новый журнал, Нью-Йорк, 1987, кн. 166, с. 107.

[2] Жизнь искусства, 1924, № 1, с. 10.

стическим светом. Так, проф. Щипачев рассказывал о проделанных им опытах: «Оперировано: два врача, два студента <...> два интеллигентных пациента и два малоинтеллигентных. Такой подбор сделан умышленно, чтобы лучше разобраться в клинических проявлениях». Далее шло описание историй болезни, в самом деле напоминающих историю болезни Шарика, которую ведет в «Собачьем сердце» доктор Борменталь: «Головные боли исчезли... Заметно выпадение волос... Выпадение волос усилилось...» [1]

Чудакова совершенно права, соединяя эти фантастические сообщения с духом времени, царящим в начале 1920-х годов, с тем общим настроением, когда «победа не только над старостью, но и над смертью казалась достижимой» [2].

Фаустианская тема гомункулуса взята Булгаковым в неожиданном ракурсе. Лабораторное существо, явившееся на свет в результате эксперимента — «первой в мире операции по проф. Преображенскому»,— становится своевольным и обретает социальные права. Выправленное по требованию домкома «удостоверение личности» («Документ — это самая важная вещь на свете») и формальность прописки (шариковское «право на 16 аршин», московская норма времен «уплотнения» начала 1920-х годов) — автоматически делают социально «равными» европейски знаменитого ученого и вчерашнюю дворнягу, получившую сердце люмпена. И даже хуже: пожалуй, у Шарикова прав поболе,— ведь он «трудовой элемент». Ибо возвращенный к жизни Клим Чугункин, рецидивист, вовсе не имеющий касательства к рабочему, без тени сомнения числит себя «трудовым элементом» лишь оттого, что «не нэпман». Фальшь подобного грубого деления общества лишь на «нэпманов», «буржуев» — и пролетариат становится очевидной. Многосоставность сложного социального организма тем самым зачеркивается — что оказывается на редкость удобным для Шариковых.

Не случайно и то, что «буржуй» становится одним из первых слов, «освоенных» Шариковым. Владимир Короленко писал Луначарскому: «Вы внушили восставшему и возбужденному народу, что так называемая буржуазия («буржуй») представляет только класс тунеядцев, грабителей, стригущих купоны, и — ничего больше. Правда ли это? <...> Иностранное слово «буржуа» — целое огромное сложное понятие — с вашей легкой руки превратилось в глазах нашего темного народа, до тех пор

---

[1] «Новое об операции омоложения». Цит. по: Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова. Материалы для творческой биографии.— Записки Отдела рукописей ГБЛ, 1976, вып. 37, с. 44—45.

[2] Чудакова М. Послесловие.— Знамя, 1987, № 6, с. 136.

его не знавшего, в упрощенное представление о буржуе, исключительно тунеядце, грабителе, ничем не занятом, кроме стрижки купонов...»[1]

Эта мысль, возможно мало кем осознанная тогда, в начале 20-х, с такой степенью ясности и глубины, звучит и в диалогах Шарикова, требующего немедленного и полного удовлетворения своего «трудового интереса»,— и «буржуя» Преображенского, ученого, в полном смысле слова живущего своим трудом — причем трудом высочайшей квалификации.

В повести есть эпизод, стоящий многословных рассуждений «общего плана», который передает и объясняет мастерство Преображенского. Это — описание операции, кульминационная сцена первой части «Собачьего сердца».

У Преображенского «зубы <...> сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск <...> <...> оба заволновались, как убийцы, которые спешат <...> лицо Филиппа Филипповича стало страшным <...> сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен», он «зверски оглянулся <...> зарычал <...> злобно заревел <...> лицо у него <...> стало как у вдохновенного разбойника <...> отвалился окончательно, как сытый вампир. <...> сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил <...>».

Пот, «хищный глазомер», темп, страсть, отвага, виртуозность, риск и напряжение, которое можно сравнить с напряжением скрипача либо дирижера,— таков Филипп Филиппович в «деле», где слиты воедино и человеческая сущность, и высочайший профессионализм.

Новоиспеченному «трудовому элементу» бросаются в глаза обеды с вином и «сорок пар штанов», его идейному наставнику Швондеру — «семь комнат, которые каждый умеет занимать»; годы исследовательской работы владельца этих благ, сотни операций и ежедневный интеллектуальный тренинг ему не видны.

К профессору являются члены домкома, с головой ушедшие в круглосуточное произнесение правильных и революционных речей, заместив ими практическую и будничную работу. И эти, по саркастическому определению профессора, «певцы» и выступают... с требованием «трудовой дисциплины» от человека, в отличие от них не оставляющего работы ни на один день — что бы не происходило вокруг.

Под знамена социальной демагогии, усваивающейся много быстрее и легче, нежели навыки созидательной деятельности, становится Шариков. Он начинает не с задачника и грамматики, а с переписки Энгельса с Каутским, мгновенно «выходя» на

---

[1] Короленко Владимир. Письма к Луначарскому. Письмо третье.— Новый мир, 1988, № 10, с. 205.

самую что ни на есть животрепещущую для него проблему «социальной справедливости», понимаемую как задача «дележа» на всех.

Десятилетия назад потрясение вызвала ленинская мысль, заостренная в формуле о каждой кухарке, которая должна учиться управлять государством. Сначала было услышано, что это должна «каждая кухарка». И лишь со временем внимание переместилось на другую часть фразы: «должна учиться». Но чтобы начать учиться, нужно было осознание необходимости это делать. Шариков-Чугункин, «стоящий на самой низкой ступени развития», не способный и в минимальной мере оценить всю сложность обсуждаемого предмета («конгресс, немцы... голова пухнет...»), вступает в полемику с людьми, потратившими на размышления о проблеме годы и годы, на равных, без тени сомнений.

Профессор предвидит нехитрый ход шариковских рассуждений.

«— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?

Шариков пожал плечами.

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или с Каутским?

— С обоими,— ответил Шариков».

И далее Шариков формулирует вульгарную идею дележа на всех поровну, то есть излагает ту самую ложно понятую идею социальной справедливости, которая овладевает умами лишь на соблазнительной стадии дележа, а отнюдь не созидания, накопления того, что лишь много позже станет возможным делить. Профессор делает попытку, впрочем, тщетную, наглядно объяснить это Шарикову.

Очевидна резкая деградация интеллекта, совершающаяся на наших глазах: бесспорно, бродячая дворняжка стоит на неизмеримо более высоком уровне развития, нежели «вселившийся» в ее тело Клим Чугункин.

Вспомним, что именно устами Шарика дается нам первая и чрезвычайно выразительная характеристика профессора Преображенского как «человека умственного труда», который спокоен и независим оттого, что «вечно сыт». Бродяжничающий пес наблюдателен и социально грамотен (стоит лишь вспомнить его разграничения между «господином», «товарищем» и «гражданином»), добр и осведомлен в медицине (о девушке, пробегавшей мимо подворотни, куда он прячется от вьюги, он чуть покровительственно и сочувственно замечает: «верхушка правого легкого не в порядке»), не лишен остроумия («ошейник — все равно что портфель»,— сострит он чуть позже). Шарик с уважением относится к графу Толстому, замирает, когда слышит арию из «Аиды», не любит жестоких людей. Он может поделиться с нами своим отношением к «свободе воли», вспомнить, при-

чем во вполне уместном контексте, о «Садах Семирамиды» и т. д. Собственно, словарь, интонации и темы рассуждений Шарика — это лексика и размышления интеллигентного человека.

Во второй части — перед нами уже не Шарик, а Клим Чугункин, первые же фразы которого говорят о социальной агрессии, безнравственности, нечистоплотности и полнейшем невежестве. Не случайно и то внимание, с каким фиксирует писатель пластику Шарикова, манеру его поведения. Он стоит, «прислонившись к притолоке» и «заложив ногу за ногу», походка у него «развалистая», когда он сел на стул, то «руки при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака» и т. д. По Булгакову, в позе, жесте, мимике, интонациях мироощущение человека может быть прочитано не менее отчетливо, нежели услышано в речах и явлено в поступках. Та «высокая выправка духа», которая не позволяет профессору и его коллеге «тыкать» даже существу, не пользующемуся с их стороны ровным счетом никаким уважением, полярно противоположна шариковским уничижительно-фамильярным формам, в которые свойственно ему облекать свои отношения к окружающим. «Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши» — о Зине; «еще за такого мерзавца полтора целковых платить. Да он сам...» — о соседе по Калабуховскому дому; «папаша» — в адрес Филиппа Филипповича и проч.

«Вот все у нас как на параде,— обвиняет Шариков своих хозяев,— «извините» да «мерси», а так, чтобы по-настоящему,— это нет...» То есть нормы общения, естественные для профессора и его коллеги, мучительные и обременительные Шарикову, он полагает «ненастоящими», мучительными всем.

«Жить по-настоящему» для Шарикова значит грызть семечки и плевать на пол, нецензурно браниться и приставать к женщинам, вдосталь валяться на полатях и напиваться допьяна за обедом. По всей видимости, он искренен, когда заявляет своим воспитателям, что они «мучают себя, как при царском режиме». Мысль о естественности и «нормальности» такого, а не какого-либо иного жизнеповедения не приходит, да и не может прийти в шариковскую голову.

И в этом он смыкается, обретает общий язык с домкомовцами, которые тоже вполне искренне убеждены, что человеку не к чему «жить в семи комнатах» (хотя Преображенский и поправит их: «жить и работать»), иметь «40 пар штанов», обедать в столовой и т. д. Не необходимое своему собственному образу жизни — представляется не нужным и никому иному. Отсюда нити от булгаковской повести тянутся к сегодняшним спорам о «нормальных потребностях», имеющих исходной точкой неявное убеждение в «одинаковости», схожести человеческих натур и в возможности определить «научным путем» рациональные «нормы потребления». То есть, другими словами, речь все о той

же неистребимой «уравниловке», от которой всегда страдает все поднимающееся над средним уровнем.

В известном письме Правительству СССР от 28 марта 1930 года Булгаков писал, в частности, о чертах своего творчества, выступающих в сатирических повестях: «...черные и мистические краски (я — мистический писатель), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное — изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М. Е. Салтыкова-Щедрина.

...в начале моей известности, было замечено с оттенком как бы высокомерного удивления:

«М. Булгаков хочет стать сатириком нашей эпохи» («Книгоноша», № 6, 1925 г.).

Увы, глагол «хотеть» напрасно взят в настоящем времени. Его надлежит перевести в плюсквамперфектум: М. Булгаков стал сатириком как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима»[1].

Так же многослойно, как и «Роковые яйца», может быть прочтено и «Собачье сердце». Немаловажный пласт, как кажется, составляет уже сама хронология повести, расчисленность главнейших ее событий: Шарик увидел профессора 16 декабря, прожил у него в доме неделю, во второй половине дня 23-го декабря состоялась операция, в результате которой у существа «отваливается хвост», последнее напоминание о собачьем облике — 6 января... То есть этапы «псевдоочеловечивания» Шарика вписаны в промежуток от Сочельника до Рождества, с 24 декабря по 6 января. Профессор Преображенский «преображает» собаку в значимые для христианского календаря дни, и в этом смысле повесть своей «апокрифичностью» предвосхищает будущее свободное отношение к главным событиям христианства в «Мастере и Маргарите».

Еще один значащий «слой» — отсыл к приключенческим романам Конан Дойля (по свидетельствам современников, пользовавшегося вниманием Булгакова). Пара: профессор — ассистент функционально сходна с парой Шерлок Холмс — доктор Ватсон, где Ватсон играет роль «простака», не понимающего хода событий и потому уводящего читателя по ложному следу. Точно так же не осознает происшедшего и восхищенный

---

[1] Новый мир, 1987, № 8, с. 196. Публ. М. Чудаковой.

результатами операции доктор Борменталь. «Когда я ему (Преображенскому.— *В. Г.*) рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарикова в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий»,— заносит Борменталь в дневник. Чтобы увидеть существо дела, ставшее ясным профессору на другой после операции день, доктору Борменталю понадобятся разъяснения Филиппа Филипповича. Не будь в повести фигуры «простака» Борменталя, читатель, возможно, скорее постиг бы суть дела, так как Полиграф Полиграфович Шариков детально возрождает профессиональные навыки и черты личности Клима Чугункина.

Присутствует, наконец, в повести и память о «личнотекущем» времени: «Собачье сердце» пишется в то же самое время, январь—март 1925 года, когда происходят запечатленные в нем события: повесть, начавшаяся во второй половине декабря, оканчивается «мартовскими туманами», которые мучают пса головными болями.

* * *

Завершая разговор о сатирических и фантастических произведениях Булгакова, выскажем одно предположение: все три повести, прочитанные как единый связный текст, обращенный к одной и той же реальности—Москве 1920-х годов,—по сути, «заместили» собой второй роман писателя. Булгаков, рассказывая о полярных силах, действующих в современности, будто развертывает в этих повестях целостную человеческую антропологию, задается вопросом—что есть человек?—и предлагает на него свой, достаточно определенный ответ.

Из повести в повесть переходит словно один и тот же образ, человеческий тип, враждебный автору, грозящий социальной опасностью: «низкий человек на кривых ногах» убивает Персикова; сводит с ума Короткова самодур Кальсонер с «искривленными ногами» и «маленькими, как булавочные головки, глазами», виновник огромного горя страны Рокк смотрит на мир «маленькими глазками», «изумленно и в то же время уверенно», у него «что-то развязное» есть «в коротких ногах с плоскими ступнями», схожим образом дан и портрет Шарикова.

Описанному почти дегенеративному типу противостоит все более обретающий почву под ногами, отыскивающий в себе самом созидательные силы, чтобы выстоять (а в последней повести даже и победить), герой.

Добавим еще и мгновенными промельками появляющиеся «меты» нескрываемого единства художественного мира Булгакова, о чем речь уже шла. Все это, вместе взятое, превращает три повести в некий «конспект» романа, который вырастает из современности, оцениваемой творческой личностью.

ДЬЯВОЛИАДА,

или повесть о том,
как близнецы погубили делопроизводителя

Впервые — альм. «Недра», 1924, кн. 4. Затем — в сб.: Булгаков М. Дьяволиада. М., 1925; то же. М., 1926; в сб.: Булгаков М. Роковые яйца. Рига, 1928, изд. П. Пильского. Печатается по сб. «Недра». М., 1926.

Стр. 8. *...насвистывая увертюру из «Кармен»...* — «Кармен» — опера Ж. Бизе (1838—1875).

Стр. 10. *...американский индивидуальный пакет...* — В начале 1920 г. действовала «Американская администрация помощи» голодающим (АРА), поставлявшая продукты и медикаменты в Советскую Россию. См. коммент., с. 716 наст. т.

Стр. 14. *...старший бухгалтер Дрозд...* — Далее встречается «Скворец», то есть в тексте отражены колебания в выборе фамилии персонажа.

...бывшего ресторана «Альпийской розы»... — Находился на ул. Софийка, д. 4 (ныне — Пушечная ул.).

Стр. 17. *«Дортуаръ пепиньерокъ»* — от фр. dortoir (общая спальня закрытого учебного заведения) и pépinière (в переносном значении — питомник). Здесь обыгрывается еще и значение слова «pépin» (семечки, зернышки).

...полное собрание сочинений Шеллера-Михайлова... — Известный беллетрист А. К. Шеллер-Михайлов (1838—1900).

Стр. 22. *...смотрел на портрет Кромвеля...* — О. Кромвель (1599—1658) — протектор республик Англии, Шотландии и Ирландии, пуританин (чем, возможно, и мотивировано наличие портрета в аскетической комнате героя).

Стр. 23. *...напоминая... трех соколов Алексея Михайловича...* — Имеется в виду царская соколиная охота. Ср. в «Белой гвардии»: «потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича».

Стр. 26. *Шумел, гремел пожар московский...* — неточно цитируемая строка из широко известной песни, созданной на основе стихотворения о Наполеоне Н. С. Соколова «Он» (впервые опубликовано в альманахе «Поэтические эскизы», 1850). Полностью строфа звучит так:

Шумел, кипел пожар московский,
Дым расстилался по реке,
На высоте стены кремлевской
Стоял Он в сером сюртуке.

Стр. 28. *Ян Собесский.* — Обыграно созвучие имени польского полководца и короля Яна Собеского (1629—1696) с изве-

стной аббревиатурой «собес» (социальное обеспечение). Вообще же «польские реминисценции» в обрисовке эпизодического персонажа повести связаны, вероятно, с реальной фигурой журналиста Августа Потоцкого, с которым Булгаков сотрудничал в «Гудке».

...подал заявление об утверждении моей новой фамилии — Соцвосский.— От аббревиатуры «соцвос» (социалистическое воспитание).

Стр. 29. *...Генриетта Потаповна Персимфанс.*—Использована устойчивая аббревиатура «персимфанс» (первый симфонический ансамбль без дирижера; существовал с 1922 по 1923 г.).

...прекрасную атласную мебель Луи Каторза...— Обыгрывается диссонансность современного учрежденческого быта (лифты, пишущие машинки, сам небоскреб с коридорами-лабиринтами) образу стиля мебели зрелого барокко (Людовика XIV) с его роскошью, избыточностью декорировки, изысканной бело-золотой гаммой обивки.

Стр. 36. *Может быть, я Гогенцоллерн.*— Герой саркастически сообщает, что он — принц, живущий инкогнито (некоторые представители немецкого княжеского рода Гогенцоллернов, отказавшись от владений, удалились в частную жизнь).

Стр. 37. *...учредил в эмеритурной кассе...*— Эмеритура (от лат. emeritus — заслуженный) — в дореволюционной России денежное пособие, выдававшееся уволенным в отставку государственным служащим из сумм кассы, средства которой составлялись из обязательных отчислений от их жалованья.

Стр. 38. *Парфорсное кино*— от фр. par force — силой. Буквально — колючий ошейник для охотничьих и служебных собак. Парфорсная охота — это охота с гончими на зверя. В контексте повести — «гон» Короткова, оканчивающийся гибелью героя.

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

Впервые — Красная панорама, 1925, № 19—22, 24; № 19—21 — под названием «Луч жизни», № 22, 24 — «Роковые яйца» с сокращениями; полностью — в альм. «Недра», 1925, кн. 6. Затем — в сб.: Булгаков М. Дьяволиада. М., 1925; то же. М., 1926; в сб.: Булгаков М. Роковые яйца. Рига, 1928, изд. П. Пильского.

Печатается по сб.: Булгаков М. Дьяволиада. М., 1926.

Название, как всегда у Булгакова, многозначно: и просто яйца, сыгравшие роковую роль; прочитывалось название в соединении с фамилией персонажа (Рокк). Назовем еще одну из возможных реалий того времени, обыгранную в названии: окно сатиры РОСТа (где сотрудничал В. Маяковский, к личности которого автор относился с вниманием). «Окно» под заголовком

«О красном яичке», с рисунком, изображавшим «буржуев», которые «удивленно смотрят на красное яичко с надписью «РСФСР». Под рисунком подпись Маяковского: «Происшествие чрезвычайно неясное: снесено яичко, да не простое, а красное» (Маяковский В. Собр. соч. в 13-ти томах. М., 1957, т. 3, с. 78).

Стр. 45. *Куррикулюм витэ профессора Персикова.*— Curriculum vitae (лат.) — жизненный путь.

...профессор зоологии... Персиков...— В. Катаев в книге «Святой колодец. Трава забвенья» рассказывает об эпизоде, которому он был свидетелем. Булгаков обратился к Маяковскому с вопросом, какую «явно профессорскую» фамилию дать персонажу сатирической повести. Маяковский мгновенно ответил: «Тимерзяев». Булгаков поблагодарил, но фамилию профессору «Роковых яиц» дал иную. Возможна параллель между фамилиями Персиков — и Абрикосов (наблюдение Б. С. Мягкова). А. И. Абрикосов, профессор-патологоанатом, работал в клинике МГУ в здании Зоологического музея.

Л. Е. Белозерская-Булгакова в книге «О, мед воспоминаний» сообщает, что, «описывая наружность и некоторые повадки профессора Персикова, М. А. отталкивался от образа живого человека, родственника моего, Евгения Никитича Тарновского» (профессора-статистика.— *В. Г.*). М. О. Чудакова, опираясь на воспоминания Н. А. Северцовой, дочери крупного профессора-зоолога А. Н. Северцова, полагает, что прототипом был именно он (см. подробнее о прототипической основе повести в кн.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 309—310).

Дать писателю материал для претворения в художественный образ могли и два, и более реально существовавших людей, но представляется, что наиболее ярко и полно общие характерологические черты круга естественнонаучной профессуры, сформировавшейся до революции, воплотил в себе академик И. П. Павлов. Будучи вхож в профессорские круги, Булгаков не мог не знать об этой популярнейшей личности.

Стр. 46. *Джиакомо Бартоломео Беккари.*— Использовано имя итальянского физика и медика XVII—XVIII вв. Булгаков переносит его в XX в., делая «коллегой» московского ученого.

Стр. 49. *...рядом с темной и грузной шапкой храма Христа...*— Пятиглавый собор с позолоченным куполом был построен в память Отечественной войны 1812 г. в 1838—1883 гг. (проект архитектора К. А. Тона). Снесен в 1931 г.

Стр. 53. *«Альказар»*— ресторан на Остоженке.

Глава III. Персиков поймал.— Фабульный скелет повести явственно перекликается с уэллсовской «Пищей богов» (что отмечалось еще В. Шкловским: Закрытие сезона. Михаил Булга-

ков.— Наша газета, 1926, 30 мая). Резкое увеличение живых организмов под воздействием «пищи» (у Уэллса) и «луча жизни» (у Булгакова); появление громадных кур, уничтожение гигантскими новыми организмами жертв, среди которых есть и человеческие, и проч. Предвидя возможные параллели, Булгаков вводит упоминание об уэллсовской повести в текст «Роковых яиц» («Вы помните его «Пищу богов»?»). В. Шкловскому будто ответил рецензент «Нового мира» Л—в (1925, № 6): «Булгаков стоит особняком в нашей сегодняшней литературе, его не с кем сравнить. Разложить его творчество на составные элементы — фантастика, фельетон, сюжетность — нетрудно. Нетрудно проследить и его генеалогию. Но ведь от упоминания имени его прародителя Уэллса, как склонны сейчас делать многие, литературное лицо Булгакова нисколько не проясняется. И какой же это, в самом деле, Уэллс, когда здесь та же смелость вымысла сопровождается совершенно иными атрибутами? Сходство чисто внешнее...»

Стр. 57. ...*«Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный прожектор»... «Красный ворон», издания ГПУ».*— Названия журналов (и одной газеты) воспроизводят существовавшие издания. «Красный огонек» — еженедельный литературно-художественный журнал для чтения (Пг., Светоч, 1918); «Красный перец» — журнал сатиры и юмора (М., Московский рабочий, 1922—1926); двухнедельный иллюстрированный «Красный журнал» выходил в Москве в 1924—1925 гг.; издания «Красный прожектор» в действительности не было — выходил «Прожектор», иллюстративный литературно-художественный и сатирический журнал» (М., Правда, 1923—1925, под ред. Н. Бухарина и А. Воронского); был и «Красный ворон», но издавал его, в 1922—1924 гг., Петросовет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, это было еженедельное сатирическое приложение к «Красной газете», выходившей в Ленинграде в 1922—1924 гг.

«Альфред Аркадьевич Бронский. Сотрудник московских журналов...» — Одним из прототипов Бронского (по-видимому, в момент создания повести — легко узнаваемым), очевидно,послужил брат В. Катаева Евг. Петров. В «Роковых яйцах» описан «молодой человек с гладко выбритым маслянистым лицом», «вечно поднятыми бровями и агатовыми глазками», одетый «совершенно безукоризненно и модно», в котором есть даже «что-то американское», «сотрудник многочисленных сатирических изданий, включая «Красный ворон», издания ГПУ». Убедительные биографические и физиономические параллели отыскиваются в мемуарной прозе В. Катаева (см. «Алмазный мой венец»), напр.: «У него (брата.— *В. Г.*) были... китайские глазки. Будучи еще почти совсем мальчишкой, он служил в уездном уголовном розыске... Остался один, не успев окончить даже гимназии». (И в повести Бронский сообщает, что ошибки ему

«Валентин Петрович исправляет», отсылка к В. П. Катаеву прозрачна). Далее, приехав к старшему брату в Москву и располагая «отличными рекомендациями» уездного уголовного розыска, он «устроился на службу надзирателем в Бутырской тюрьме». Катаев продолжает: «Брат оказался мальчиком сообразительным и старательным, так что месяца через два, облазив редакции всех юмористических журналов Москвы, веселый, общительный и обаятельный, он стал очень прилично зарабатывать, не отказываясь ни от каких жанров... наведывался в «Гудок», отлично оделся... брился и стригся в парикмахерской...»

Стр. 60. *...необычайной толщины человек... Левая его, механическая, нога щелкала и громыхала... капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совете Народных Комиссаров».* И далее, на с. 65: *«Знаменитому репортеру капитану Степанову».* К. Г. Паустовский в «Повести о жизни», рассказывая об обстановке в редакции «Гудка», описывает «старого и хрипучего халтурщика-репортера по прозвищу Капитан Чугунная Нога. У него действительно была искусственная железная ступня» (Паустовский К. Г. Собр. соч., т. 5. М., 1982, с. 412—413).

Стр. 63. *...бывшем Троицке, а ныне Стекловске...*—Стеклов (Нахамкис) Ю. М. (1873—1941)—известный революционный деятель, публицист и историк, с 1917 г.—редактор Известий», журналов «Новый мир» и «Красная нива».

...бывшей Соборной, ныне Персональной улице...—В изд.: Булгаков М. А. Собр. соч. (сост., общая редакция, предисловие и комментарий Эллендеа Проффер). Нью-Йорк, Ардис/Анн Арбор, 1983, т. 3, в тексте повести: «ныне Карлорадековской улице» (печатается по фотокопии машинописи, не разысканной в советских архивах). Радек К. Б. (1885—1939)—член ЦК ВКП(б), видный государственный деятель и публицист, репрессирован по ложному обвинению как «член троцкистской оппозиции».

Стр. 70. *Ангел, искрясь и сияя, объяснил...*—В изд.: Булгаков М. А. Собр. соч. Нью-Йорк, Ардис/Анн Арбор, 1983, т. 3, с. 68—69, далее текст: «Что пока... гм... конечно, это было б хорошо... но, видите ли, все-таки пресса... хотя, впрочем, такой проект уже назревает в Совете труда и обороны, честь имеем кланяться».

...советую лечиться у профессора Россолимо...—Г. И. Россолимо (1860—1928)—известный невропатолог, профессор Московского университета.

...полетели вопли Валкирий...—«Полет Валькирий» из 2-й части тетралогии «Кольцо Нибелунга» Р. Вагнера (1813—1875)—оперы «Валькирия».

Стр. 76. *...куплеты, сочиненные поэтами Ардо и Аргуевым...*—чуть измененные фамилии известных эстрадных поэтов Арго и

Адуева. Арго (А. М. Гольденберг; 1897—1968) — русский советский поэт и пародист, автор исследования «Политическая пародия». Н. А. Адуев (1895—1950) — драматург, поэт, автор либретто оперетты «Табачный капитан (Петр Первый)».

Ах, мама, что я буду делатъ... — модная песенка тех лет. Ср. у Н. Берберовой: «Положительно, эту модную песенку пели тогда во всех кабарэ...» (Курсив мой. Октябрь, 1988, № 10, с. 176).

...Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами... — Булгаков соединяет конструктивистские принципы оформления мейерхольдовских спектаклей «Смерть Тарелкина» и «Великодушный рогоносец» («трапеции») с фразой, произнесенной режиссером в лекции на факультете ГЭКТЕМАСа 28 февраля 1924 г. («...Дмитрий должен был непременно лежать на лежанке, непременно полуголый... даже тело непременно показать... сняв чулки, например, у Годунова, мы заставим иначе подойти ко всей трагедии» и т. д. — см. сб.: Творческое наследие В. Э. Мейерхольда. М., ВТО, 1978, с. 62).

...пъесу писателя Эрендорга... — Спектакль «Д. Е.» («Даешь Европу!») по И. Эренбургу и Б. Келлерману был поставлен Вс. Мейерхольдом в 1924 г.

...писателя Лснивцева... — Вероятно, Булгаков несколько переиначивает фамилию эстрадного поэта Николая Агнивцева, до революции — автора песенок о пудреных маркизах, альковах, кавалерах и пажах, после же революции выпустившего сборник «От пудры до грузовика», включавший и откровенно конъюнктурные стихи о Киеве, «кургузом городишке», куда пришел Октябрь.

...в театре Корш... — крупнейший частный театр Москвы, основан театральным предпринимателем Ф. А. Коршем (1882—1932).

«Шантэклеф» Ростана. — Шантэклер — персонаж средневекового сатирического эпоса «Роман о лисе» («Роман о Ренаре»), сложившегося в XII—XIII вв. Здесь речь идет о пьесе «Шантэклер» («Петух») французского драматурга Э. Ростана, в которой действие происходит на птичьем дворе. На самом деле «Шантэклер» в театре Корша не ставился, но в 1910 г. в московском театре «Аквариум» шла пародия на пьесу.

Стр. 78. *Дойдя на Севере до Архангелъска и Сюмкина Выселка...* — Сюмкин Выселок — вымышленное географическое название.

...был основан «Доброкур»... — название образовано по аналогии с действующими добровольными обществами Добролет и Доброхим.

...ядовитый фельетон журналиста Колечкина... — Обыграна фамилия известного фельетониста Михаила Кольцова (1898—1942).

...господин Юз...— Юз Чарльз Эванс, в 1921—1924 гг.— государственный секретарь США.

Стр. 90. *...эти Доброхимы ихние...*— Доброхим — Добровольное общество содействия строительству химической промышленности — учрежден 19 мая 1924 г. На Всесоюзном учредительном собрании в Москве с речью (о необходимости произвести «химизацию общественного мнения трудящихся масс») выступил Л. Д. Троцкий. Общество должно было содействовать развитию химической промышленности страны, в частности — в военных целях (защиты от боевых газов). О возможности грядущей химической и газовой войны в то время много писалось в прессе. См.: Троцкий Л. Задачи Доброхима. Харьков, 1924.

Стр. 104. *...работал у Вани Сытина в «Русском слове»...*— «Русское слово» — ежедневная газета, основанная в 1895 г. С 1897 г. издавалась И. Д. Сытиным. Закрыта советской властью за контрреволюционную агитацию в декабре 1917 г. С января 1918 г. выходила под названием «Новое слово», «Наше слово», окончательно закрыта в июне 1918 г.

Стр. 105. *...в Художественном театре на «Федоре Иоанновиче»...*— спектакль Художественного театра «Царь Федор Иоаннович» по драме А. К. Толстого.

Стр. 109. *Александровский вокзал*— ныне Белорусский вокзал.

Стр. 110. *Николаевский вокзал*— ныне Ленинградский вокзал.

Стр. 111.

Ни туз, ни дама, ни валет,
Побьем мы гадов, без сомненья,
Четыре сбоку — ваших нет...

В шуточной песне конников, уходящих на бой с пресмыкающимися, использован ритм и метр «Интернационала». Ср.:

Ни бог, ни царь и не герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

«Вообще говоря, вся утопическая повесть зиждется на двух китах,— заявлял рецензент Влад. Зархи (На правом фланге.— Комсомольская правда, 1927, 10 апреля).— Во-первых, на безмерной клевете (причем Булгаков клевещет на вся и все, начиная фельетонами Кольцова и кончая «Интернационалом», который Булгаков нагло и пошло перефразирует). Во-вторых, на сладких надеждах и упованиях на то, что Москва в 28 году станет похожей на всякий капиталистический «европейский» столичный город».

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

Чудовищная история

При жизни автора не публиковалась. Впервые в СССР — журн. «Знамя», 1987, № 6.

В наст. изд. печатается по автографу ОР ГБЛ, ф. 562, к. 1, ед. хр. 16 (См. преамбулу, с. 685).

Стр. 120. *...Милая Аида...* — Ария Амнерис из оперы «Аида» Дж. Верди (1813—1901).

Стр. 123. *Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме.* — Пародируются известные строки рекламы Моссельпрома, принадлежащие Маяковскому: «Нигде кроме // Как в Моссельпроме» (Маяковский В. Собр. соч. в 13-ти томах, т. 5, с. 285).

Стр. 126. *...дурно пахнущий бакштейн* — сорт сыра.

Стр. 129. *От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей...* — здесь и далее романс П. И. Чайковского на слова А. К. Толстого (из поэмы «Дон Жуан»). Полностью строфа звучит так:

От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей
Раздаются серенады,
Раздается стук мечей.

Стр. 132. *...Много крови, много песен...* — неточная строка из того же романса П. И. Чайковского. Полностью строфа звучит так:

Много крови, много песней
Для прелестных льется дам,—
Я же той, кто всех прелестней,
Песнь и кровь свою отдам!

Стр. 133. *...этот Мориц...* — Фамилия принадлежит одному из знакомых Булгакова 1920-х годов, искусствоведу ГАХНа. Мемуарист сообщает: «...очаровательная Александра Сергеевна Лямина, первая супруга Лямина, в свое время совершенно потеряла голову от любви к В. Э. Морицу, оставила мужа и ушла к Морицу. Владимир Эмильевич расторг свое первое супружество...» Булгаков использует фамилию как понятный узкому кругу посвященных шутливый отсыл к элегантному красавцу ученому, пользующемуся успехом у дам. Дальнейшая судьба Морица была трагична. Он был упомянут в обвинительном заключении по делу Г. Г. Шпета (которому инкриминировалось «создание в ГАХН крепкой цитадели идеализма»). «В начале 1930 г. администрация ГАХНа вынуждена была обратиться в 45-е отделение милиции (отметим, что именно 45-е отделение милиции фигурирует в «Собачьем сердце», с. 189.— *В. Г.*) со следующей поразительной просьбой: «Сотрудник

ГАХН Владимир Эмильевич Мориц, проживающий по Троицкому переулку, 8, кв. 2, вышел вчера в 10 часов 30 минут из дома, направляясь в Академию, помещающуюся по ул. Кропоткина, 32. В Академию он не явился и, по имеющимся в Академии сведениям, дома с тех пор не был. ГАХН просит 45 отделение милиции принять соответствующие меры к розыску указанного лица». «Дом, в котором жил В. Э. Мориц,— продолжает автор мемуаров,— находился почти напротив ГАХНа, не более 100 метров нужно было пройти от двери до двери. Поэтому исчезновение А. Э. Морица казалось совершенно немыслимым. На самом деле он был арестован прямо на улице... По возвращении в Москву из ссылки в Котлас он долгие годы преподавал мастерство актера в Театральном училище им. Щепкина» (Н. Б. «Москва и москвичи» вокруг Булгакова.— Новый журнал, Нью-Йорк, 1987, кн. 166, с. 138).

В машинописи, хранящейся в фонде Н. С. Ангарского (ОР ГБЛ, ф. 9, к. 3, ед. хр. 214), «Мориц» заменено на «Альфонс».

Стр. 136. *...и Жаровкин.*— В машинописи более ранней (ОР ГБЛ, ф. 562, к. 1, ед. хр. 15) стояло «Жоривели».

Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?— Саблина — фамилия матери Л. Е. Белозерской. В машинописи из фонда Н. С. Ангарского (ф. 9, к. 3, ед. хр. 214) вместо «Саблин» стояло «Шаблин».

...пропал калабуховский дом!— Возможно, фамилия владельца респектабельного дома, с обычным для Булгакова минимальным изменением звучания, была взята из киевских лет. Ср.: «кондитерский магазин Балабухи» (Из воспоминаний Т. Н. Лаппа, цит. по кн.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 49).

Стр. 137. *...даже у Айседоры Дункан!*— Дункан Айседора (1876—1927) — американская танцовщица, «босоножка», проповедовавшая красоту человеческого тела, родоначальница танца «модерн». В 1920-е годы открывала свои школы-студии в России.

Стр. 138. *...Виталия Александровича попросите, пожалуйста...*— В машинописи ОР ГБЛ, ф. 9, к. 3, ед. хр. 214, стояло «Петра Александровича».

Стр. 141. *...тридцать градусов.*—В 1924 г. выпускалась 30° водка. «Известия» 25 сентября 1925 г. сообщали: «До «водочной реформы» — перехода к 40°-й водке — осталось не больше одной недели».

Стр. 143. *...до апреля тысяча девятьсот семнадцатого года...*— В машинописи, ф. 9, к. 3, ед. хр. 214, стояло «в марте 1917 года». Смена датировки «пропажи калош» чрезвычайно существенна, так как начавшийся «беспорядок» в калабуховском доме тем самым связывается с политической ситуацией в стране. С мартом 1917 г. приходит победа буржуазно-демократической революции в России, создается Временный комитет Государ-

ственной думы и т. п. Апрель же 1917 г. (далее в тексте повести дата еще более определенная: «тринадцатого апреля тысяча девятьсот семнадцатого года»)—указание на Петроградскую общегородскую конференцию большевиков, обсуждавшую «Апрельские тезисы» только что вернувшегося в Россию Ленина.

Стр. 144. *...яростно спросил... у несчастной картонной утки...*—Авторская неточность, в другой машинописи (ф. 9, к. 3, ед. хр. 214) «деревянной утки», ср. далее, на с. 168 наст. т., «деревянный рябчик».

Стр. 147. *...по адресу пречистенского мудреца...*—См. детальную характеристику «пречистенцев» в статье Н. Б. «Москва и москвичи вокруг Булгакова» и в кн. М. Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова», с. 401—402: «Составляли этот кружок филологи, искусствоведы, переводчики с романских и германских языков—ученые широкой эрудиции, осознавшие себя носителями культурной традиции, хранителями гуманитарного знания». То есть определение профессора Преображенского как «пречистенского мудреца» содержательно, оно сообщает герою некоторый культурный ореол. Иного мнения о «пречистенском» круге знакомых Булгакова придерживался С. Ермолинский (см.: Ермолинский С. Драматические сочинения. М., Искусство, 1982, с. 607—609).

Стр. 151. *К берегам священным Нила...*—Хор жрецов из оперы Дж. Верди «Аида» («К берегам священным Нила // Боги вам укажут путь...»).

Стр. 159. *...мужчины 28 лет...*—Далее в тексте—«25 лет». Отражены колебания в определении возраста Клима Чугункина.

Стр. 186. *—У Соломонского... четыре каких-то... Юссемс и человек мертвой точки.*—Цирк Саламонских (к 1925 г.—2-й Госцирк)—помещался на Садово-Триумфальной ул. «Наиболее блестящим, несомненно, является номер четырех Юссемс,—писал Б. Ромашов о дебютах 2-го Госцирка (Запад в цирке.—Цирк, 1925, № 2, 1 февраля, с. 11).—Их трюки поражают рекордной трудностью содержания и необыкновенной чистотой подачи. Знаменитый «копштейн», соединенный с поразительным «балансом» на лишенной всякой опоры лестнице, заставляет отдать дань большого уважения эквилибристическому искусству западных циркачей... Весьма интересны с технической стороны номера Этона («Человек на мертвой точке»)...» То есть в повести использованы фамилии реально существовавших цирковых артистов.

Стр. 198. *МКХ*—Московское коммунальное хозяйство.

В. Гудкова

РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ

Рассказы и фельетоны М. А. Булгакова, собранные в этом томе, были написаны в 1922—1926 годах (исключение составляет рассказ «Был май», созданный в 1934 году) и в большинстве своем опубликованы тогда же в разных периодических изданиях; часть из них переиздана писателем в сб.: Рассказы библиотеки «Смехач», № 15 (*юмористическая иллюстрированная библиотека*), илл. Н. Радлова. Л., 1926; Трактат о жилище. М.—Л., 1926; Дьяволиада. Рассказы. М., 1925, 1926.

Булгаков относился к фельетонам как, по преимуществу, к литературной поденщине, к средству заработать деньги, необходимые для существования и для того, чтобы вечерами за письменным столом работать над романом «Белая гвардия», над сатирическими повестями «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце». Впрочем, по воспоминаниям А. Эрлиха, относящимся уже к периоду работы Булгакова в «Гудке», он иногда писал серьезную прозу и в рабочее время: «Литправщик производственного отдела М. Булгаков не хотел терять драгоценного времени и писал. Ровным почерком, без всяких исправлений и помарок заполнял он в стенах редакции толстую тетрадь в клеенчатой обложке, сочиняя повести «Дьяволиада» и «Роковые яйца» [1].

Сам Булгаков в неоконченной повести «Тайному другу» писал об этом так: «Открою здесь еще один секрет: сочинение фельетона строк в семьдесят пять—сто занимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от 18 до 22 минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой,— 8 минут.

Словом, в полчаса все заканчивалось.

Я подписывал фельетон или каким-нибудь глупым псевдонимом, или иногда зачем-то своей фамилией и нес его или к

---

[1] Эрлих А. Нас учила жизнь. Литературные воспоминания. М., Советский писатель, 1960, с. 49.

Июлю, или к другому помощнику редактора, который носил редко встречающуюся фамилию Навзикат <...>

Навзикат начинал вертеть фельетон в руках и прежде всего искал в нем какой-нибудь преступной мысли по адресу самого советского строя. Убедившись, что явного вреда нет, он начинал давать советы и исправлять фельетон.

В эти минуты я нервничал, курил, испытывал желание ударить его пепельницей по голове.

Испортив по возможности фельетон, Навзикат ставил на нем пометку «В набор», и день для меня заканчивался. Далее весь свой мозг я направлял на одну идею, как сбежать. Дело в том, что Июль лелеял такую схему в голове: все сотрудники, в том числе и фельетонисты, приходят минута в минуту и сидят до самого конца в редакции, стараясь дать государству как можно более. При малейших уклонениях от этого честный Июль начинал худеть и истощаться.

Я же лелеял одну мысль, как бы удрать из редакции домой, в комнату, которую я ненавидел всей душой, но где лежала груда листов. По сути дела, мне совершенно незачем было оставаться в редакции. И вот происходил убой времени. Я, зеленея от скуки, начинал таскаться из отдела в отдел, болтать с сотрудниками, выслушивать анекдоты, накуриваться до отупения.

Наконец, убив часа два, я исчезал. Таким образом, мой друг, я зажил тройной жизнью. Один в газете. День. Льет дождь. Скучно. Навзикат. Июль. Уходишь, в голове гудит и пусто.

Вторая жизнь. Днем после газеты я плелся в московское отделение редакции «Сочельник». Эта вторая жизнь мне нравилась больше первой. Там я мог несколько развернуть свои мысли»[1].

Жизнь — между редакциями «Гудка», «Накануне» (названной в повести «Сочельником») и письменным столом с неоконченной рукописью, безусловно, была нелегка для Булгакова.

Собственно говоря, и до февраля 1923 года, когда Булгаков был зачислен в «Гудок» на должность обработчика, то есть человека, призванного исправлять безграмотные корреспонденции рабкоров, он был погружен в газетную работу. Так, с ноября 1921-го до середины января 1922 года Булгаков сотрудничал в «Торгово-промышленном вестнике», занимаясь репортерской и хроникерской деятельностью. Эти два месяца запечатлены Булгаковым в фельетоне 1924 года «Москва 20-х годов». После закрытия «Торгово-промышленного вестника» Булгаков некоторое время публиковал репортерские заметки в газете «Рабочий». Так, с 1-го по 30 марта там было напечатано восемь его материалов под псевдонимом «Михаил Булл», «М. Булл», «Булл». А весной 1922 года он установил отношения

---

[1] Булгаков М. А. Тайному другу (т. 4 наст. изд.).

с газетой «Накануне», которая начала выходить 26 марта 1922 года. Таким образом, работа в «Гудке» (с февраля 1923 года) становится для Булгакова, уже опытного газетного работника, твердой, хотя и небольшой финансовой гарантией существования.

Особое место в жизни Булгакова 20-х годов занимали именно «Накануне» и «Гудок».

Ежедневная газета «Накануне» издавалась в Берлине русскими эмигрантами Ю. В. Ключниковым, Л. Г. Кирдецовым, Ю. Н. Потехиным, П. А. Садыкером и др. (состав редакции в разное время несколько менялся). Редакторы газеты Ю. В. Ключников и Ю. Н. Потехин принимали участие в сборнике «Смена вех», который вышел в Праге в 1921 году и в 1922 году был переиздан в Советской России. Фактически сменовеховцы провозгласили курс на сближение русской эмиграции с Советской Россией. Так они и ориентировали газету «Накануне». Уже в июле 1922 года была открыта московская редакция газеты «Накануне». Задачей газеты было ознакомление зарубежного русского читателя с жизнью и бытом Советской России, с перспективами ее развития. Поэтому большое внимание в газете уделялось, с одной стороны, разного рода информационным сообщениям, а с другой — развернутым очеркам о новых явлениях в жизни страны. Такая работа привлекала Булгакова. Тон газеты был в общем объективный и соответствовал дружелюбному взгляду со стороны или (если речь шла о корреспонденциях литераторов из Советской России) заинтересованному взгляду изнутри, именно заинтересованному, а не восторженному или, наоборот, враждебному. Стремление разобраться в происходящем, не приукрашивая и не опорочивая его, отличало «Накануне» как от советских, так и от других эмигрантских изданий (скажем, от издававшейся в Берлине газеты «Руль», каждый абзац которой дышал ненавистью к новой России).

В «Накануне» (и это очень заметно, скажем, по сравнению с «Гудком») было много материалов о голоде в Советской России, о страшных случаях каннибализма и помешательства на почве голода, рассказывалось об этом без эмигрантского злорадства. Болью и состраданием веяло от этих статей.

Из номера в номер печатались в «Накануне» сообщения о ходе процесса над патриархом Тихоном и другими священнослужителями, отказавшимися подчиниться декрету о конфискации церковных ценностей в пользу голодающих (1922—1923), публиковались стенограммы процесса над эсерами (1922), рассказывалось о ходе борьбы с инфляцией, о работе по ликвидации неграмотности. Если в советских газетах преобладал тон победных сообщений в рассказе о ликбезе, то «Накануне» давала более правдивую картину. Так, неизвестный автор, скрывшийся под криптонимом И. Б., в сообщении «Борьба с неграмотно-

стью» / Накануне, 1922, 23 апреля писал: «Ликвидация неграмотности идет по большей части чисто формально на манер «крещения Руси». Мысль эта очень близка и Булгакову, опубликовавшему в «Гудке» двумя годами позднее фельетон «Банан и Сидараф» о скороспелых грамотеях. Чрезвычайно интересны и публиковавшиеся в «Накануне» материалы о быте Москвы 20-х годов, во многом перекликавшиеся с булгаковскими фельетонами.

Особый интерес Булгакова должна была вызвать статья известного лингвиста Г. Винокура «Язык нэпа», напечатанная летом 1923 года. В нескольких номерах она анализировала новые явления в лексике и синтаксисе, в частности столь мучившие Булгакова труднопроизносимые аббревиатуры, над которыми он иронизировал в своих фельетонах. Остается добавить, что воскресное «Литературное приложение» к «Накануне» редактировал Алексей Толстой, что обеспечивало газете серьезный литературный уровень. Здесь печатались Ю. Слезкин, В. Катаев, К. Федин, Вс. Иванов. Характерно, что, сотрудничая с «Накануне», Булгаков подписывал произведения своей фамилией, не прибегая к многочисленным псевдонимам, которыми увлекался в «Гудке» и других московских изданиях.

Большинство опубликованных в «Накануне» булгаковских корреспонденций посвящено быту москвичей в период нэпа. Многие признаки хозяйственного возрождения страны радовали Булгакова, внушая веру в восстановление привычных норм жизни — изолированных квартир, нормального гардероба и рациона, классических концертов и спектаклей, чистоты и порядка на улице, традиционных форм воспитания и поведения. В театре неожиданно появился зритель во фраке, на улице «сверхъестественный мальчик», на лице у которого «были написаны все добродетели, какие только могут быть у мальчика 11—12 лет», заработали лифты, открылась многокрасочная сельскохозяйственная выставка, поезда отправлялись точно по расписанию и т. д.

Но нэп порождал и быстрый рост нуворишей, резкое расслоение населения на вечно голодных, к которым принадлежал и Булгаков, и на взлелеянных частным предпринимательством, а порой и процветавшим казнокрадством богачей, миллионеров и триллионеров, чье сытое самодовольство становилось особенно оскорбительным на фоне нищеты остальных. На пустом месте возникали и лопались тресты, а их вчерашние руководители, сорвав куш, исчезали в неизвестном направлении или оказывались на скамье подсудимых; повсюду распространились протекционизм и взяточничество. Этот новый и странный мир был глубоко чужд Булгакову, вызывая откровенный сарказм. На страницах его корреспонденций появляются образы «буржуев и несимпатичных», во многом родственных Василию Ивановичу Лисовичу из «Белой гвардии». Наиболее яркий

общественный портрет современных дельцов создан Булгаковым в рассказе «Похождения Чичикова», опубликованном в «Литературном приложении» к «Накануне».

Несмотря на признаки возрождающегося порядка, оставалась реальность — коммунальные квартиры с разливанными самогонными озерами и хамством квартхозов, этих мелких бесов бюрократии 20-х годов, вечная погоня за грошовыми заработками, душевный дискомфорт. Все это тоже отразилось в булгаковских рассказах и фельетонах из «Накануне» («Псалом», «Самогонное озеро», «Москва 20-х годов» и др.). Отдельные материалы касались политических событий, а точнее, откликов на них населения («Бенефис лорда Керзона») или нашумевших уголовных процессов («Комаровское дело»).

Чрезвычайно важно отметить, что рассказы и фельетоны Булгакова, публиковавшиеся в разных изданиях, взаимосвязаны и включены в общий контекст творчества писателя. Так, фельетоны «Золотые документы (из моей коллекции)» и «Самоцветный быт», публиковавшиеся в «Накануне», происхождением своим явно обязаны работе Булгакова в «Гудке». Очевидно, что в их основе лежат письма рабкоров с мест, которые в изобилии были в распоряжении Булгакова.

В рассказах и фельетонах из «Накануне» нередко встречаются образы, интонации, ритмические структуры из серьезной прозы писателя. Так, скажем, в «Столице в блокноте» на миг появляется инфернальный мотив «Мастера и Маргариты»: «Никакого взрыва не последовало, но за спиной молодого человека, без всякого сигнала с его стороны (большевистские фокусы!) из воздуха соткался милиционер», а в «Москве 20-х годов» промелькнул и «кошмар в пиджаке и полосатых подштанниках», напоминающий о бреде Турбина («Белая гвардия»); к той же «Белой гвардии» отсылают начальные строки очерка «Киев-город», причем не столько дословным, сколько ритмическим и образным совпадением[1]. И уж совершенно ясна связь между рассказом «Багровый остров» и позднейшей одноименной пьесой[2].

Много параллелей между московскими фельетонами и романом «Мастер и Маргарита» отмечают исследователи творчества писателя.

Образ «нехорошей квартиры», возникающий в фельетонах 20-х годов «Самогонное озеро», «Три вида свинства» и др., впоследствии получает развитие в «Мастере и Маргарите».

---

[1] См.: Петрова Н. В. От «Киева-города» к «Белой гвардии». Замысел и его художественное воплощение в произведениях советских писателей. Владимир, 1979, с. 3—15.

[2] О связи между двумя «Багровыми островами» писали многократно: напр., см. кн.: Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. М., Советский писатель, 1979, с. 162.

Сначала Булгаков поселил там Степу Лиходеева и Берлиоза, а затем и Воланда со свитой. Аннушка, уничтожившая дом-рабкоммуну, в последнем романе писателя становится невольной соучастницей убийства Берлиоза. О квартхозе Василии Ивановиче напоминают и председатель домкома Швондер («Собачье сердце»), и Бунша-Корецкий («Иван Васильевич»), и председатель жилтоварищества Никанор Иванович Босой.

И все же сами издания, в которых печатался Булгаков, очень отличались друг от друга, что не могло не отразиться на стиле, тональности и жанровых особенностях его произведений.

Как известно, «Гудок» в 20-е годы был не просто центральной газетой советских железнодорожников, но и поистине уникальным изданием, объединившим таких авторов, как И. Ильф и Е. Петров, Л. Саянский (Л. В. Попов), В. Катаев, Ю. Олеша. Именно в эту редакцию и привел А. Эрлих нуждавшегося в постоянном заработке Михаила Булгакова. Начав с должности обработчика, или, иначе, литправщика, Булгаков уже к осени 1923 года стал фельетонистом, помещая порой 4—5 материалов в месяц. Поскольку читатели «Гудка» жили в Советской России и, разумеется, знали о том, что происходит вокруг, то и нуждались они не столько в бытовом очерке повествовательно-информативного характера, сколько в быстром, оперативном отклике на конкретные события.

В связи с этим редакция «Гудка» широко привлекала к сотрудничеству железнодорожников, работающих на местах и хорошо осведомленных о жизни и быте своих коллег. В их задачу входило регулярно сообщать в «Гудок» обо всем, что требовало быстрой и действенной реакции. Как правило, эти сообщения в 2—3 строчки помещались на четвертой полосе газеты, но нередко занимали и 2—3 страницы. Вместо фамилий под ними указывался псевдоним рабкора, например — «Клевак», «Гвоздь», «Магнит», или даже его номер: «Рабкор № 1710» и т. д.

Псевдоним и номера, с одной стороны, должны были уберечь рабкоров от мести со стороны начальства (а о том, что такие случаи были, видно даже из булгаковского фельетона «Двуликий Чемс»), а с другой — создать ощущение всевидящего гудковского ока. Однако увлечение псевдонимами распространилось и на авторов фельетонов. Практически в каждом номере публиковались стихотворные фельетоны «Зубила» (Ю. Олеши), часто печатался «Эль. Эс.» или «Л. С.» (Л. Саянский) и т. д. Под разными подписями появлялись и фельетоны Булгакова. В. Лакшин отмечает: «Его (Булгакова.— *Л. Ф.*) статьи, рассказы, фельетоны, печатавшиеся часто без подписи или под псевдонимами М. Булл, Тускарора, Г. П. Ухов, Ф. С-ов, М. Неизвестный, Михаил, Эмма Б. и др., до сих пор в большей своей части не разысканы и не собраны. Булгакову как бы пришлось повторить судьбу Антоши Чехонте — с его плодовитостью, легкописанием

и не сразу пришедшей уверенностью в серьезном призвании своего таланта»[1].

М. Чудакова назвала еще два псевдонима Булгакова — «М. Б.» и «Ф. Скитайкин» (последний встречается в журнале «Бузотер»)[2]. В «Гудке» появляются и псевдонимы «Иван Бездомный», «М. Ол-Райт», единожды встречаются «Маг» и «Незнакомец»[3]. Вообще же вопрос атрибуции тех или иных текстов чрезвычайно сложен по ряду причин: во-первых, в «Гудке» выработался некий общий стиль фельетонов, что нередко приводит к обманчивому сходству между произведениями Булгакова и, скажем, Л. Саянского или В. Катаева, так что даже отдельные характерные образы или фразеологические обороты, встречающиеся в текстах, не всегда являются гарантией установленного авторства; во-вторых, газетный фельетон, как правило, невелик по объему, а чем текст короче, тем труднее уловимы в нем бесспорные приметы индивидуального стиля; в-третьих, иногда одним и тем же псевдонимом пользовались разные авторы, что получилось, например, с псевдонимом «Ол-Райт». Фельетоны, напечатанные под этим псевдонимом в журнале «Бузотер», принадлежат, по-видимому, другому лицу, так как стиль их во многом чужд булгаковскому.

Среди критериев, которыми руководствуются специалисты для раскрытия псевдонима, можно назвать следующие: 1) прижизненная публикация одного и того же текста или разных вариантов одного текста под разными подписями, одна из которых установлена бесспорно, а вторая нуждается в атрибуции. Так, скажем, фельетон «Летучий голландец», опубликованный в «Гудке» за подписью «Больной № 555 Михаил», позднее был включен писателем в его сборник «Смехач» № 15» (юмористическая иллюстрированная библиотека, илл. Радлова. Л., 1926). В тот же сборник вошли фельетоны «Ванькин-дурак», подписанный в журнале «Бузотер» псевдонимом «Ф. Скитайкин» и «Площадь на колесах. Дневник гениального гражданина Полосухина», впервые опубликованный в журнале «Заноза» под псевдонимом М. Ол-Райт; 2) в некоторых случаях помогают воспоминания современников и личные записи писателя; скажем, о своем псевдониме «Булл» Булгаков сообщил в письме к сестре Н. А. Булгаковой-Земской от 13 января 1922 года, а «М. Булл» подписал вложенный в то же письмо фельетон «Торговый ренессанс»; 3) выявление бесспорных индивидуаль-

---

[1] Лакшин В. О прозе Михаила Булгакова и о нем самом.— В кн.: Булгаков М. Избранная проза. М., 1966, с. 8.

[2] Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 276; Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова. Материалы для творческой биографии.— Записки Отдела рукописей ГБЛ, 1976, вып. 37, с. 31.

[3] Есть серьезные основания считать, что псевдонимом «Незнакомец» Булгаков подписывал свои фельетоны в журналах «Бузотер» и «Бич».

но-авторских стилистических особенностей; 4) установление особой роли данного псевдонима в дальнейшем творчестве писателя. Так, атрибуция заметок за подписью «Иван Бездомный» стала возможной лишь благодаря появлению самостоятельного персонажа в «Мастере и Маргарите», также писавшего под этим псевдонимом; 5) косвенным критерием для атрибуции является частота появления одного и того же псевдонима или его усеченных вариантов в одном и том же издании. Так, на протяжении января 1924 года в «Гудке» появляются фельетоны за подписями: «Михаил Б.», «Мих. Булгаков», «Мих. Б.», «Эм.», «М. Б.», в течение августа: «Михаил Б.», «М. Б.», «Эм.»; на протяжении сентября—октября 1924 года: «Эмма Б.», «Эм. Бе» и т. д.

Все эти сложности привели к тому, что, возможно, многие тексты, принадлежащие Булгакову, сегодня не узнаны нами, а другие атрибутируются условно. В этот том включены лишь бесспорно булгаковские рассказы и фельетоны и отобраны наиболее значимые и интересные.

Итак, что же отличало гудковские фельетоны Булгакова от его публикаций в «Накануне»? М. О. Чудакова четко сформулировала одну их принципиальную особенность: «В «Гудке» такого рода (то есть как в «Накануне».— *Л. Ф.*) описательный фельетон существовать не мог, поэтому там Булгаков целиком остается в русле фельетона обличительно-бытового»[1]. Многие фельетоны Булгакова представляли собой развернутую иллюстрацию какого-либо бытового конфликта, о котором информировал газету рабкор. Нередко строчки из письма рабкора становились своеобразным эпиграфом, а одним из способов создания фельетона—доведение сложившейся ситуации до логического конца. Именно так построены фельетоны «Чертовщина», «Кондуктор и член императорской фамилии», «По поводу битья жен» и др. В жанровом плане гудковские фельетоны Булгакова чрезвычайно разнообразны: есть среди них роман-фельетон («Залог любви»), маленький уголовный роман («Тайна несгораемого шкафа»), разговор («Развратник»), транспортный рассказ («Как школа провалилась в преисподнюю»), пьесы («Сильнодействующее средство», «Кулак бухгалтера», «Пожар» и др.), монолог («Беспокойная поездка»), дневник («Площадь на колесах», «Летучий голландец»), письма («Негритянское происшествие», «На чем люди сидят»), фантазия в прозе («Чемпион мира») и т. д. По сути дела, булгаковский фельетон имеет довольно расплывчатые жанровые формы и не всегда может быть четко отграничен, скажем, от сатирического рассказа. Л. Е. Кройчик справедливо отметила в нем «высокую степень беллетризации факта». «М. Булгаков во многих случаях успешно преодолевает эту кажущуюся несовместимость двух стихий—

---

[1] Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 259.

факта и вымысла,— пишет она.— И достигает этого фельетонист с помощью широкого использования приемов, характерных для обычной художественной прозы» [1]. Фельетоны-пьесы, фельетоны-романы и фельетоны в стихах печатали в «Гудке» и другие авторы, но, пожалуй, такого разнообразия, как у Булгакова, не было ни у кого. На фельетонном материале Булгаков словно разыгрывал этюды к серьезной прозе или драматургии, создаваемым иногда одновременно с газетной работой, иногда некоторое время спустя.

Выступая на II булгаковских чтениях в Ленинграде, Е. Кухта отметила драматургическую природу фельетонов Булгакова, отразившуюся не только в жанре фельетона-пьесы, но и в обилии диалогов, собственной речи персонажей и т. д.[2].

Было у Булгакова и немало фельетонов «на случай» с традиционными концовками-выводами, в которых высказывалось требование принять незамедлительные меры для устранения конфликта («Развратник», «Сильнодействующее средство») и т. д. Не все они сегодня читаются с интересом, многие любопытны лишь как одна из характеристик времени или как наглядная иллюстрация сути газетной поденщины. И все же нередко Булгакову удавалось выйти за рамки конкретного факта, создать обобщенный сатирический образ. Для его фельетонов характерно частое обращение к текстам русской и зарубежной классической литературы, обильное цитирование Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова, Полонского, Саши Черного, П. Ершова, Г. Гейне. И вместе с тем не менее часто встречаются цитаты из песен А. Вертинского, из популярных в 20-е годы песен и частушек, то есть из полуфольклорной, полуэстрадной песенной стихии, воплощающей в себе то близкие Булгакову, то, наоборот, раздражающие его ритмы времени. Цитировал Булгаков, как правило, по памяти, допуская неточности и ошибки, часто не называя автора. Чужие тексты были для него знаком культуры, впитанной с детства, или, наоборот, чуждой, навязанной извне. Вообще функция цитаты в литературном произведении существенно отличается от ее роли в научном труде. Она призвана, прежде всего, вызвать у читателя определенные ассоциации — полемические, пародийные или любые иные, создать ощущение связи времен или, напротив, ее разрыва. Когда пьяный месткомовец из фельетона «О пользе алкоголизма» читает собственный вариант стихотворения Я. Полонского «В альбом К. Ш.», сатирический эффект возникает от резкого несоответствия между неназванными, но хорошо

---

[1] Кройчик Л. Е. Булгаков — фельетонист «Гудка».— Вопросы журналистики. Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 1969, с. 112.

[2] Кухта Е. Сатирический театр фельетонов М. Булгакова в «Гудке».— В сб.: М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени, с. 248—250.

знакомыми проникновенными строчками, их диким, безвкусным искажением и самой ситуацией, в которой они произносятся. Изучение «чужого текста», включенного в фельетоны Булгакова, равно как и в другие его произведения, может стать одним из плодотворных путей восстановления круга чтения писателя.

Помимо «Накануне» и «Гудка» Булгаков сотрудничал во многих периодических изданиях, как московских, так и ленинградских. Назовем среди них журналы «Рупор», «Россия», «Красный журнал для всех», «Голос работника просвещения», «Смехач», «Заноза», «Бузотер»; газеты: «Красную газету» (Ленинград), «Рабочий», «Медицинский работник» и т. д. Наряду с фельетонами он публиковал в это время такие серьезные произведения, как «Ханский огонь», «Записки на манжетах», рассказы из цикла «Записки юного врача».

Талантливый писатель и поденную работу делал талантливо. Конечно, не все написанное им равнозначно и одинаково интересно, но собранные воедино рассказы и фельетоны 20-х годов имеют большую ценность,—они позволяют воссоздать образ времени. Коммунальные квартиры с их разноголосицей, красочное изобилие первой сельскохозяйственной выставки, одиночество измученного интеллигента, пишущего фельетон о своем ремесле фельетониста, толпы демонстрантов, распевающих частушки о лорде Керзоне, сытные обеды нуворишей и хамская вседозволенность новых бюрократов, звуки «Аиды» и «Риголетто», символизирующие связь с культурой прошлого, вне которой немыслима никакая иная культура, и неожиданные, непривычные для интеллигента традиционных вкусов, спектакли Мейерхольда. Весь этот мир живет, мучается, страдает, смеется, ломается и вновь обретает почву. В фельетонах Булгакова цитаты из Чехова и, мягко говоря, не вполне цензурная речь героев «Смуглявого матерщинника», тонкая авторская стилистика и намеренно стилизованные под подлинные, корявые, полуграмотные тексты, написанные от имени рабкоров. Со страниц фельетонов доносится до нас речь нэпманов и рабочих, присяжных поверенных и квартхозов. Многие жизненные впечатления тех лет отразились и в позднейших произведениях Булгакова, но при этом рассказы и фельетоны имеют и самостоятельное художественное значение. Многие из них—скажем, фельетоны о кооперации и кооператорах—воспринимаются, как написанные сегодня.

Личность и быт, личность и время, личность и история—тема эта проходит через все творчество Булгакова, от рассказов и фельетонов 20-х годов до романа «Мастер и Маргарита».

Рассказы и фельетоны, собранные в этом томе, расположены в хронологическом порядке. Во всех случаях, кроме оговоренных особо, текст печатается по первым публикациям.

В комментариях приводятся сведения о первых публикациях и прижизненных переизданиях рассказов и фельетонов.

НЕДЕЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Впервые — газ. «Коммунист» (Владикавказ), 1921, 1 апреля. Подпись «Михаил Булгаков». Текст печатается по изд.: Юность, 1974, № 7, с. 109—111. Публ. Л. Яновской.

Первый из известных нам фельетонов М. Булгакова. Неделя просвещения, вдохновившая Булгакова на фельетон, проходила 14—20 марта 1921 года, и Булгаков принимал в ней самое деятельное участие. В частности, он читал доклад перед красноармейской аудиторией, а потом два вечера подряд в «Первом советском театре» при полном зале шла его пьеса «Парижские коммунары» (см.: Яновская Л. Михаил Булгаков — фельетонист.— Юность, 1974, № 7, с. 109).

Стр. 211. *«Травиата»* — опера Дж. Верди.

Стр. 213. *Ломбард* — Б. А. Ломбард (1878—1960), известный тромбонист, оркестрант Харьковского оперного театра. В 1915 г. выступал в Киеве (см.: Яновская Л. «Куда я, туда и он со своим тромбоном».— Юность, 1975, № 8, с. 106).

ТОРГОВЫЙ РЕНЕССАНС

Впервые — журн. «Социологические исследования», 1988, № 1. Публ. Б. С. Мягкова.

Подпись: «М. Булл». Печатается по беловому автографу, хранящемуся в архиве М. А. Булгакова в ГБЛ (ф. 562, к. 1, ед. хр. 2).

13 января 1922 года Булгаков писал сестре, Надежде Афанасьевне Булгаковой-Земской:

«В этом письме посылаю тебе корреспонденцию «Торговый ренессанс». Я надеюсь, что ты не откажешь (взамен и я постараюсь быть полезным тебе в Москве) отправиться в любую из киевских газет по твоему вкусу (предпочтительно большую ежедневную) и предложить ее срочно.

Результаты могут быть следующие:

1) ее не примут, 2) ее примут, 3) примут и заинтересуются.

О первом случае говорить нечего. Если второе, получи по ставкам редакции гонорар и переведи его мне, удержав в свое пользование из него сумму, по твоему расчету необходимую тебе на почтовые и всякие иные расходы при корреспонденциях и делах со мной (полное твое усмотрение).

Если же 3, предложи меня в качестве столичного корреспондента, по каким угодно им вопросам или же для подвального художественного фельетона о Москве. Пусть вышлют приглашение и аванс. Скажи им, что я завед. хроникой в «Вестнике»,

профессиональный журналист. Если напечатают «Ренессанс», пришли заказной бандеролью два №. <...>

Сведения для киевской газеты:

Зав. хроникой «Вестника» журналист, б. секретарь Лито Главполитпросвета, подписываю псевдонимом Булл. Если же они завяжут со мной сношения, сообщи им адрес, имя, отчество и фамилию для денежных переводов и корреспонденции. Словом, как полагается.

Извини за неряшливое письмо.

Писал ночью, так, как и «Ренессанс». Накорябал на скорую руку черт знает что. Противно читать.

Переутомлен я до того, что дальше некуда» (Письма М. А. Булгакова к родным (1921—1922 гг.). Публ. Е. А. Земской.—Известия АН СССР. Сер. лит. и яз., 1976, т. 35, № 5, с. 463—464).

Стр. 217. *«Мюр и Мерилиз»*—первый в России универсальный магазин, был построен в 1909 г. по проекту архитектора Р. Клейна; ныне ЦУМ на ул. Петровке.

Нуланс Жозеф (1864—1939)—французский политический деятель и дипломат. В феврале 1922 г., в ходе подготовки Генуэзской конференции, в Париже «Общество французских интересов в России», под председательством Нуланса, выдвинуло требование не вести никаких переговоров с Советской Россией до признания ею царских долгов.

Лимон—миллион.

Стр. 218. *МПО*—Московское потребительское общество.

СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС

Впервые—журн. «Рупор», 1922, № 4. Подпись: «Михаил Булгаков».

Прототипами героев рассказа были Иван Павлович и Вера Федоровна Крешковы, упоминавшиеся как знакомые на Патриарших прудах в рассказе «Москва 20-х годов». «У них дома проводились спиритические сеансы, к которым Булгаков относился насмешливо. Татьяна Николаевна (Лаппа.—*Л. Ф.*) вспоминает, как однажды он уговорил ее: «Знаешь, давай сделаем сегодня у Крешковых спиритический сеанс!» Они распределили роли—Булгаков толкнет ее ногой, а она будет стучать по столику. Таких мистификаций было, видимо, несколько. Но полная ссора с Иваном Павловичем произошла после публикации рассказа «Спиритический сеанс» <...>, где тот узнал себя, свою жену, их домработницу» (Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 183).

Стр. 222. *Железком*—комитет лесозаготовок и оборудования для железных дорог.

МОСКВА КРАСНОКАМЕННАЯ

Впервые — газ. «Накануне», 1922, 30 июля. Подпись: «Булгаков Михаил».

Стр. 226. *ЦУС* — Центральное управление снабжения.

Стр. 227. *АРА* — ARA, сокр. от англ. American Relief Administration — Американская администрация помощи (1919—1923 гг.; руководитель Г. Гувер), которая была создана для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в 1-й мировой войне. В 1921 г. в связи с голодом в Поволжье деятельность АРА была разрешена в РСФСР.

Стр. 228. *Патриарха Тихххх-а-а-ана...* — См. коммент. к фельетону «Бенефис лорда Керзона», с. 720.

ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА

Впервые — «Литературное приложение» № 19 к газете «Накануне», 1922, 24 сентября. Подпись: «Михаил Булгаков».

При жизни писателя рассказ переиздан в газете «Бакинский рабочий», 1922, 9 октября и в сб.: Булгаков М. Дьяволиада. Рассказы. М., Недра, 1925; то же, 1926. Текст печатается по этому сборнику.

Стр. 230. Эпиграф — из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

Стр. 236. *Главкустпром* — Главное управление кустарной промышленности. *Пролеткульт* — «Пролетарская культура» (культурно-просветительная организация при Наркомпросе 1917—1932 гг.). *Наркомпрос* — Народный комиссариат просвещения.

№ 13.—ДОМ ЭЛЬПИТ-РАБКОММУНА

Впервые — Красный журнал для всех, 1922, № 2, декабрь. Подпись: «Мих. Булгаков».

При жизни писателя переиздавался в сб.: Булгаков М. Дьяволиада. Рассказы. М., Недра, 1925, то же, 1926. Вошел в сборник: Булгаков М. Роковые яйца. Рига, 1928. Текст печатается по сб. «Дьяволиада», 1926.

Речь идет о пятиэтажном доходном доме на Большой Садовой, 10, который московский миллионер Пигит выстроил в 1906 году. С 1921-го по лето 1924 года М. А. Булгаков с женой, Т. Н. Лаппа, жили в квартире № 50, описанной в этом рассказе, а затем переехали в квартиру № 34.

В первые послереволюционные годы из дома Пигита были «выселены классово чуждые элементы. Взамен исчезнувших жильцов появились новые — рабочие расположенной по соседству типографии. Одни расселились в опустевших помещениях, другие заняли комнаты в квартирах оставшихся. Оставшиеся — это интеллигенты из тех, кто либо сразу приняли революцию, либо постепенно осваивались с ней» (Левшин В. Садовая, 302-бис.— Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 172).

Этот дом «становится первым в Москве, а может быть и в стране, домом — рабочей коммуной. Управление, а частично и обслуживание его переходят в руки общественности» (там же).

Прототипом управляющего Бориса Самойловича Христи, по воспоминаниям В. Левшина, был караим Сакизчи, Нилушкина Егора — Никитушкин.

Стр. 243. *Sic transit gloria mundi (лат.)*.— Так проходит земная слава.

Стр. 246. *Пыляева Аннушка*.— Ср. в «Мастере и Маргарите»: Берлиоз попал под трамвай, поскользнувшись на подсолнечном масле, разлитом Аннушкой.

Стр. 248. *Серафим Саровский* (1759—1833) — монах, после пострижения удалившийся в Саровскую пустынь, причислен к святым. В начале XX в. имя С. Саровского стало широко известно в связи с нахождением его мощей.

СТОЛИЦА В БЛОКНОТЕ

Впервые — газ. «Накануне», 1922, 21 декабря (гл. I—II); 1923, 20 января (гл. III—V); 9 февраля (гл. V—VII); 1 марта (гл. VIII—XI). Подпись: «Михаил Булгаков».

Стр. 254. *Мюрже* Анри (1822—1861) — французский писатель. Его «Сцены из жизни богемы» стали основой для оперы Дж. Пуччини «Богема» (1895) и Р. Леонкавалло «Богема» (1897).

Стр. 255. *Фраже* — сплав, имитирующий серебро.

Стр. 257. *Опера Зимина*.—Оперный театр Зимина, частный театр, организованный в 1904 г. русским театральным деятелем Сергеем Ивановичем Зиминым. С 1917 г. Зимин работал в нем директором.

«Гугеноты» — опера Дж. Мейербера.

Стр. 258. *«Риголетто»* — опера Дж. Верди.

Стр. 259. *«Великодушный рогоносец»* — спектакль Вс. Мейерхольда (1922 г.) по пьесе Ф. Кроммелинка.

Татлин Владимир Евграфович (1885—1953) — советский живописец, график.

Лазаренко Виталий Ефимович (1890—1939)—клоун, сатирик, заслуженный артист РСФСР (1933).

Стр. 260. *Ярон* Григорий Маркович (1893—1963)—артист оперетты, народный артист РСФСР.

ЧАША ЖИЗНИ

Впервые—«Литературное приложение» № 33 к газете «Накануне», 1922, 31 декабря. Подпись: «Михаил Булгаков». Фельетон переиздан в «Новой вечерней газете» (Владивосток), 1923, 26 февраля (без подзаголовка). В архиве М. А. Булгакова на вырезке из владивостокской газеты рукой писателя указана ошибочная дата: 20 января.

Стр. 267. *Центросоюз*—Центральный союз потребительских обществ СССР.

В ШКОЛЕ ГОРОДКА III ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Впервые—журн. «Голос работника просвещения», 1923, № 4, с. 22—23. Подпись «М. Б.».

Стр. 270. *«Известно, что слоны в диковинку у нас»*—цитата из басни И. А. Крылова «Слон и Моська».

Стр. 272. *МОНО*—Московский отдел народного образования.

1-АЯ ДЕТСКАЯ КОММУНА

Впервые—журн. «Голос работника просвещения», 1923, № 5-6, с. 30—32. Подпись: «Михаил Булгаков».

Стр. 275. *«Вий»*—повесть Н. В. Гоголя.

СОРОК СОРОКОВ

Впервые—газ. «Накануне», 1923, 15 апреля. Подпись: «Булгаков Михаил».

Стр. 278. Эпиграф—неточная цитата из «Горя от ума» А. Грибоедова («А, батюшка, признайтесь, что едва // Где сыщется столица как Москва»).

Стр. 279. *На плоской крыше бывшего Нирензее...*—десятиэтажный дом в Большом Гнездниковском переулке, построенный в 1912 г. по проекту инженера Э. К. Нирензее.

В 1920-е гг. на первом и десятом этажах этого дома размещались редакции журналов и газет, в частности, московская редакция газеты «Накануне» (см. об этом: Мягков Б. Москва. По следам булгаковских героев.— Дружба, 1986, № 4, с. 117).

Стр. 282. *Радамес*— герой оперы Дж. Верди «Аида».

Стр. 283. *Незлобинский театр*— русский театр, созданный в Москве в 1909 г. антрепренером, режиссером и актером К. Н. Незлобиным. В 1917 г. преобразован в товарищество актеров, просуществовавшее до начала 20-х годов, а в 1922 г. слился с театром РСФСР 1-м и стал называться «Театром актера».

Стр. 284. *Тестов*— ресторан в Москве.

ПОД СТЕКЛЯННЫМ НЕБОМ

Впервые — газ. «Накануне», 1923, 24 апреля. Подпись: «Булгаков Михаил».

МОСКОВСКИЕ СЦЕНЫ

Впервые — «Литературное приложение» № 51 к газ. «Накануне», 1923, 6 мая. Подпись: «Булгаков Мих.». Переиздан в сб.: Булгаков М. Трактат о жилище. М.— Л., Земля и фабрика, 1926, с. 17—24, под названием «Четыре портрета».

В рассказе воспроизведена атмосфера квартиры Владимира Евгеньевича Коморского, бывшего помощника присяжного поверенного, и его жены Зинаиды Васильевны, с которыми Булгаков дружил. Он часто бывал у них дома в Малом Козихинском переулке, 12, кв. 12.

БЕНЕФИС ЛОРДА КЕРЗОНА

Впервые — газ. «Накануне», 1923, 19 мая.

Подпись: «Михаил Булгаков». Рассказ датирован 12 мая 1923 года.

Начало фельетона перекликается с началом второй части «Записок на манжетах» и фельетона «Сорок сороков» (с описанием предыдущего, осенью 1921 года, въезда Булгакова в Москву — тоже из Киева, с того же вокзала) (Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 258).

Стр. 295. *Керзон* Джордж Натаниел (1859—1925) — министр иностранных дел Великобритании в 1910—1924 гг. В 1923 г. направил Советскому правительству меморандум, содержавший ряд провокационных требований.

Цепляк Ян Гиацинтович — архиепископ, глава католической церкви в России. Выступил против декрета правительства об изъятии церковных ценностей в помощь голодающим. В газете «Известия» 21 марта 1923 г. было помещено сообщение: «*К делу архиепископа Цепляка.* Сегодня в 12 часов дня судебная коллегия Верховного суда республики, под председательством тов. Галкина, начинает слушанием дело архиепископа Цепляка и др. представителей петроградского католического духовенства, обвиняющихся в сопротивлении изъятию церковных ценностей и других преступлениях».

Тихон (Белавин Василий Иванович; 1865—1925) — патриарх Московский и всея Руси (с 1917 г.). За антисоветскую деятельность и, в частности, за сопротивление декрету об изъятии церковных ценностей в помощь голодающим в 1922 г. был привлечен к судебной ответственности. 5 мая 1923 г. Всероссийский Церковный Собор «принял резолюцию, в которой признает Тихона отступником от подлинных заветов Христа, предателем церкви, лишает на основании церковных канонов сана монашества и объявляет его возвращенным в мирское состояние» («Накануне», 1923, 8 мая). 28 июня 1923 г. в газете «Накануне» (и в других газетах) было опубликовано покаянное заявление Тихона, в котором он призвал верующих к сотрудничеству с советской властью.

Епископ Кентерберийский — глава англиканской церкви, примас Англии. 15 мая 1923 г. в «Гудке» помещено «Обращение Высшего Церковного Совета православной церкви к архиепископу Кентерберийскому» в ответ на меморандум Великобританского правительства Советскому Российскому правительству, в той его части, которая касалась положения религии в России.

Воровский Вацлав Вацлавович (1871—1923) — советский партийный деятель, был убит в 1923 г. белогвардейцем в Лозанне. *«Убийство Воровского».*—Точное название статьи — «Убийство в Лозанне советского представителя» (Известия, 1923, 12 мая).

Стр. 298. *Пилсудский Юзеф* (1867—1935) — с мая 1926 г. фактический диктатор Польши. В 1920 г. руководил военными действиями против Советской России.

Муссолини Бенито (1883—1945) — фашистский диктатор в Италии (1929—1943).

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ. СКОРЫЙ № 7 МОСКВА—ОДЕССА

Впервые — газ. «Накануне», 1923, 25 мая. Подпись: «Михаил Булгаков».

Очерк датирован: «апрель».

КОМАРОВСКОЕ ДЕЛО

Впервые — газ. «Накануне», 1923, 20 июня. Подпись: «Михаил Булгаков».

О Комаровском деле в то время было много статей. Дело Комарова-Петрова начало слушаться 6 июня 1923 г. в Москве в Политехническом музее под председательством П. А. Смирнова (Гудок, 1923, 7 июня), а 8 июня в газете «Известия» опубликовано сообщение о решении суда — Комаров-Петров и его жена приговорены к высшей мере наказания. Среди очерков на эту тему можно назвать «Ролл-Ройс или Доберман-пинчер? (В шутку о серьезном)», опубликованный в газете «Накануне» 16 июня 1923 г. под псевдонимом «Ф. Икс».

КИЕВ-ГОРОД

Впервые — газ. «Накануне», 1923, 6 июля. Подпись: «Михаил Булгаков».

В мае 1923 года Михаил Булгаков был в Киеве. Очерк «Киев-город» стал важным этапом в работе над романом «Белая гвардия».

Стр. 307. *Царский сад* — ныне Советский парк.

Депутат Бубликов — А. А. Бубликов, депутат Государственной думы от Пермской губернии. Он первым информировал киевских железнодорожников о свержении самодержавия. Телеграмма Бубликова была опубликована в газете «Киевская мысль» 3 марта 1917 г.

Аскольд и Дир — древнерусские князья, совместно правившие в Киеве. В 882 г. убиты князем Олегом. Похоронены в Киеве на правом берегу Днепра.

Стр. 308. *...по счету киевлян, у них было 18 переворотов.* — В архиве М. А. Булгакова хранится документ, составленный сестрой писателя Надеждой Афанасьевной Земской. Это «Хронология смены власти в Киеве в период 1917—1920 гг. Материалы для комментария к семейной переписке и к роману «Белая гвардия» (ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 562, к. 61, ед. хр. 6). Приводим документ полностью.

«1) март 1917 г. — Образован Совет рабочих депутатов с преобладанием меньшевиков, эсеров и бундовцев.

2) сентябрь 1917 г. Руководящая роль в Совете рабочих депутатов перешла к большевикам. Октябрь 1917 г. 28/X взят Арсенал, оружие переходит в руки рабочих. 29—30 октября осада юнкерских училищ («Они развалились в грохоте солдатской стрельбы»... «Белая гвардия», гл. 4).

3) ноябрь 11—13—17 года. Войска Временного правительства были разгромлены.

4) нoябрь 29 — 17 года. Власть захватила Центральная Украинская Рада.

5) Январь — 28 — 1918 года. Рабочие подняли восстание, продолжавшееся шесть дней и жестоко подавленное войсками Центр. Украин. Рады.

6) февраль 8 — 1918 г. В Киев вошли советские войска, и была установлена Советская власть. Рада бежала в Житомир.

7) февраль 12 — 18 г. Правительство Советской Украины переехало из Харькова в Киев. Рада обратилась за помощью к оккупационным войскам.

8) Март 1 — 18 г. Киев был захвачен германскими оккупационными войсками, восстановившими власть Цент. Украин. Рады.

9) апрель 29 — 18 г. Немецкие оккупанты поставили у власти своего ставленника — гетмана Павло Скоропадского. Выборы гетмана происходили в здании Киевского цирка (комедийность этой ситуации подчеркивает Мих. Булгаков — «Белая гвардия» — гл. 2-ая и 4-ая).

10) декабрь 1918 г. Под напором красных частей немцы очищают Украину. На Киев наступают петлюровские войска. Гетман бежит из Киева в ночь с 13-го на 14-ое декабря. В Киев входят петлюровцы. Власть захватила т. н. Директория (Петлюра — ставленник украинских буржуазных националистов при поддержке Антанты). На Украине — волна еврейских погромов.

11) февраль 6 — 1919 г. (правильная дата — 5 февраля.— *Л. Ф.*). Войска Директории были выбиты из Киева частями Красной Армии. Украин. красными частями командует Ник. Щорс.

12) с 6-го февраля по 31-ое августа 1919 года в Киеве Советская власть.

13) 31.VIII — 19 г. В Киев врываются деникинцы (части ген. Бредова). Белые занимают Киев по 16 декабря 1919 г.

14) с 16.XII — 1919 по 6 мая 1920 г. в Киеве Советская власть.

15) май 6 — 1920 г. Киев занят поляками (белополяками).

16) июнь 11 — 1920 г. Белополяки выбиты из Киева войсками Буденного, Ворошилова и др. С этого времени в Киеве прочно установилась Советская власть. Весь этот период отразился в переписке Над. Афан. Булгаковой-Земской с семьей (гл. обр. письма матери, Мих. Афан. и младшей сестры Елены Афан.)».

...с фельдмаршалом Эйхгорном...—Эйхгорн Герман фон (1848—1918) — германский генерал-фельдмаршал (1917). В 1917 — нач. 1918 г. командовал группой армий в Прибалтике и Белоруссии, с конца марта 1918 г.— группой армий «Киев», оккупировавшей Южную Белоруссию, Украину и юг России. 30 июля

1918 г. убит в Киеве Б. Донским по приговору партии левых эсеров.

Стр. 310. *...у бывш. Царской площади...*— Теперь площадь им. Ленинского комсомола.

Стр. 311. *«Коуту всерокомпама»*— КОЦТУ Всекомпома — (Всероссийского комитета помощи больным и раненым красноармейцам при ВЦИК Советов) Киевское отделение Центрального торгового управления (см. коммент. Т. Рогозовской к «Киев-городу».— Вечерний Киев, 1987, 23 декабря).

Стр. 312. *«Ара»*.— См. коммент. к фельетону «Москва краснокаменная» с. 716.

Стр. 313. *«Абрау-Дюрсо»*— марка шампанского.

...всякие Тютюники...— Тютюнник — главарь одной из банд, действовавших на Украине в 1919—1921 гг.

Три церкви.— В 20-е годы произошли большие изменения в церковной жизни страны. Часть консервативно настроенных священнослужителей во главе с патриархом Тихоном враждебно встретила советскую власть, оказала сопротивление реализации указа об изъятии церковных ценностей. Их объединение получило название «Старая церковь». В плане внутрицерковных дел «староцерковники» отстаивали ведущую роль монашества над белым духовенством. Группа «Живая церковь» (среди ее видных деятелей можно назвать владимирского митрополита Сергия и др.) определила в 1922 г. курс на примирение церкви с социальной революцией, Октябрьским переворотом, новой государственностью. Вскоре в результате внутрицерковных разногласий (споры шли о роли черного и белого духовенства в церковной жизни) из крайне левой «Живой церкви» выделилась более умеренная группа «Церковное возрождение», которая выступала за равноправие черного и белого духовенства, а не за безоговорочный примат белого. Ее возглавил епископ Антонин. По-видимому, для Булгакова в понятие «Живая церковь» укладывались обе группы как противостоящие «Старой церкви». Автокефальная церковь, возникшая на Украине, в решении внутрицерковных вопросов примыкала к «Живой церкви». Характерно, что так назывался и печатный орган автокефалистов, издававшийся в Киеве в 1922—1923 гг. Представители этой группы настаивали на автокефалии, то есть на административной самостоятельности украинской церкви и на введении украинского языка в богослужение. См. о трех церквах: Титлинов В. В. Новая церковь. Петроград — Москва, 1923; Флеровский П. Банкротство церкви.— Гудок, 1923, 22 февраля; В. О. Борьба трех «церквей» на Украине.— Известия, 1923, 29 марта; Автокефалия на Украине.— Живая церковь (Киев), 1922, № 1.

Стр. 315. *...черного бюста Карла Маркса...*— Памятник 20-х годов работы И. Чайкова. Находился на Думской площади, теперь пл. Октябрьской революции.

САМОЦВЕТНЫЙ БЫТ

Впервые — «Литературное приложение» № 61 к газ. «Накануне», 1923, 15 июля. Подпись: «М. Булгаков».

При жизни писателя фельетон переиздан в его сб.: «Смехач» № 15. «Юмористическая иллюстрированная библиотека». Илл. Н. Радлова. Л., 1926, с. 47—50.

САМОГОННОЕ ОЗЕРО

Впервые — газ. «Накануне», 1923, 29 июля. Подпись: «Мих. Булгаков». Фельетон датирован: «1923, июль».

При жизни писателя фельетон был переиздан в его сб.: Трактат о жилище. М.—Л., Земля и фабрика, 1926, с. 25—30.

Действие рассказа происходит в кв. 50 в доме на Большой Садовой, 10. См. коммент. к рассказу «№ 13.— Дом Эльпит-Рабкоммуна».

Т. Н. Лаппа вспоминала: «На другой стороне коридора посредине была кухня. По обе стороны ее жили вдова Горячева с сыном Мишкой — и она этого Мишку лупила я не знаю как, типографские рабочие — муж и жена, горькие пьяницы, самогонку пили» (Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 166—167).

Стр. 325. *...на Никитскую к сестре.*— Речь идет о Надежде Афанасьевне Земской, сестре писателя.

ШАНСОН Д'ЭТЭ

Впервые — газ. «Накануне», 1923, 16 августа. Подпись: «М. Булгаков».

Стр. 328. *«Ключи счастья»* — роман А. А. Вербицкой (1861—1928).

Стр. 329. *«Атлантида» Бенуа*— роман французского писателя Пьера Бенуа (1886-1962), написан в 1919 г., в русском переводе вышел в 1922 г.

ДЕНЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Впервые — газ. «Накануне», 1923, 2 сентября. Подпись: «Михаил Булгаков».

Стр. 331. *МОГЭС*— Московское объединение государственных электростанций.

Стр. 333. *РОНО*— районный отдел народного образования.

Губсоцвос— губернский подотдел социального воспитания.

Губоно— губернский отдел народного образования.

«Во Францию два гренадера...»— неточная цитата из баллады Г. Гейне «Гренадеры».

Стр. 334. *Напараули* (напареули)— виноградное вино.

ПСАЛОМ

Впервые— газ. «Накануне», 1923, 23 сентября. Подпись: «М. Булгаков».

При жизни писателя рассказ переиздан в сб.: Булгаков М. Трактат о жилище. М.—Л., Земля и фабрика, 1926, с. 11—16.

Т. Н. Лаппа вспоминала в связи с рассказом «Псалом» о быте квартиры № 50 на Большой Садовой, 10: «Вообще дом был знаменитый... Кого только в нашей квартире не было! По той стороне, где окна выходят на двор, жили так: хлебопек, мы, дальше Дуся— проститутка; к нам нередко стучали ночью: «Дуся, открой!» Я говорила: «Рядом!» Вообще же она была женщина скромная, шуму от нее не было; тут же и муж ее где-то был недалеко... Дальше жил начальник милиции с женой, довольно веселой дамочкой... Муж ее часто бывал в командировке; сынишка ее забегал к нам...» (Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 166).

По мнению В. Левшина, в рассказе описана драма, разыгравшаяся в кв. № 34 дома № 10 на Б. Садовой.

Стр. 336.— *Ку...куплю я себе туфли...*— неточная цитата из песни А. Вертинского «Это все, что от Вас осталось» (1918). У Вертинского:

Вот в субботу куплю собаку,
Буду петь по ночам псалом,
Закажу себе туфли к фраку...
Ничего. Как-нибудь... проживем.

(Сообщено М. Петровским.)

ЗОЛОТИСТЫЙ ГОРОД

Впервые— газ. «Накануне», 1923: гл. 1—4— 30 сентября, подпись: «М. Булгаков»; гл. 5—6— 6 октября, подпись: «Мих. Булгаков»; гл. 7—10— 12 октября, подпись: «Михаил Булгаков»; гл. 11—13— 14 октября, подпись: «М. Булгаков». Очерк датирован: «Москва, сентябрь».

Первая сельскохозяйственная выставка в СССР открылась в августе 1923 года в Москве, в Нескучном саду, на территории

нынешнего Парка культуры и отдыха им. А. М. Горького. Ее подготовка и деятельность широко освещались в советской печати и в газете «Накануне».

Эм. Миндлин в своих воспоминаниях описал комический эпизод, связанный с выплатой гонорара Булгакову за этот очерк: «Наступил день выплаты гонорара. Великодушие Калменса (зав. финансами московской редакции «Накануне».— *Л. Ф.*) не имело границ: он сам предложил Булгакову возместить производственные расходы: трамвай, билеты. Может быть, что-нибудь там еще, Михаил Афанасьевич?

Счет на производственные расходы у Михаила Афанасьевича был уже заготовлен. Но что это был за счет! Расходы по ознакомлению с национальными блюдами и напитками различных республик! Уж не помню, сколько там значилось обедов и ужинов, сколько легких и нелегких закусок и дегустаций вин! Всего ошеломительней было то, что весь этот гомерический счет на шашлыки, шурпу, люля-кебаб, на фрукты и вина был на двоих.

На Калменса страшно было смотреть. Он производил впечатление человека, которому остается мгновение до инфаркта. Белый как снег, скаредный наш Семен Николаевич Калменс, задыхаясь, спросил — почему же счет за недельное пирование на двух лиц? Не съедал же Михаил Афанасьевич каждого блюда по две порции!

Булгаков невозмутимо ответил:

— А извольте-с видеть, Семен Николаевич. Во-первых, без дамы я в ресторан не хожу. Во-вторых, у меня в фельетоне отмечено, какие блюда даме пришлись по вкусу. Как вам угодно, а произведенные мною производственные расходы прошу возместить.

И возместил!» (Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. М., Советский писатель, 1979, с. 146).

Стр. 341. *«Смычка»* — орган Первой сельскохозяйственной выставки в СССР, издаваемый главным выставочным комитетом. 10 августа 1923 г. вышел первый номер газеты.

Стр. 347. *Надия* (Надiя) (укр.) — надежда.

Стр. 351. *НКПС* — Народный комиссариат путей сообщения СССР.

Стр. 352. *Доброфлот* — Добровольное общество содействия флоту.

...за счет японской катастрофы... — В 1923 г. в Японии было разрушительное землетрясение.

Стр. 353. *Профессор, куцая куртка.* — «Профессор и «Куцая куртка» — прообраз пары «профессор Персиков и Рокк», которая всего через год возникнет в повести «Роковые яйца», а также Преображенского и Шарикова в «Собачьем сердце»

(Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 271). Прототипом профессора был аграрник А. Г. Дояренко.

Стр. 354. *Наркомзем*— Народный комиссариат земледелия.

БЕСПОКОЙНАЯ ПОЕЗДКА

Впервые — газ. «Гудок», 1923, 17 октября. Подпись: «Монолог записал Герасим Петрович Ухов».

Этот псевдоним появляется впервые и был использован Булгаковым еще дважды в сокращенном варианте: 1 и 22 ноября в «Гудке» появились фельетоны «Тайны мадридского двора» и «Как разбился Бузыгин», подписанные: «Г. П. Ухов». Не сразу заметили сотрудники «Гудка» его скрытый смысл — Гепеухов (от ГПУ).

Стр. 354. *Мальбрук в поход собрался...*— первые строки французской народной песни об английском полководце, герцоге Мальборо (1650—1722).

ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА

Впервые — газ. «Гудок», 1923, 1 ноября. Подпись: «Разговор подслушал Г. П. Ухов». (См. коммент. к фельетону «Беспокойная поездка»).

Стр. 359. *Эр-ка-ка*— Расценочно-конфликтная комиссия.

Эр-ка-и— Рабоче-крестьянская инспекция, Рабкрин (1920—1924 гг.).

КАК РАЗБИЛСЯ БУЗЫГИН

Впервые — газ. «Гудок», 1923, 22 ноября. Подпись: «Документы собрал Г. П. Ухов».

В фельетоне фамилия героя пишется по-разному: «Бузыгин» и «Бузыкин».

Стр. 361. *ПЧ*— начальник участка пути.

Хулио Хуренито— герой романа И. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников...» (1922).

Стр. 362. *Стрихнин*— название алкалоида. Сильный яд.

Стр. 363. *Иисус Навин*— библейский персонаж. В ветхозаветной традиции — помощник и преемник Моисея.

Румянцев-Задунайский— Петр Александрович (1725—1796), граф, генерал-фельдмаршал.

ЛЕСТНИЦА В РАЙ

Впервые — газ. «Гудок», 1923, 12 декабря. Подпись: «Ф. С-ов».

Стр. 365. *...«Азбуку коммунизма» желаю взять...* — «Азбука коммунизма» (1920) — одна из популярнейших в 20-е годы социологических работ Н. И. Бухарина (1888—1938).

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 3 января. Подпись: «Михаил Б.».

СЕРИЯ НОЛЬ ШЕСТЬ № 0660243

Впервые — газ. «Вечерняя Москва», 1924, 5 января. Подпись: «Мих. Булгаков».

СПЕКТАКЛЬ В ПЕТУШКАХ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 12 января. Подпись: «Мих. Б.».

ЧАСЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 27 января. Подпись: «М. Б.».

Стр. 377. *...на сером красное пятно — орден Знамени.* — Никаких правительственных наград Советской России и СССР В. И. Ленин не имел. Он был награжден орденом Труда Хорезмской республики в 1922 г., которая тогда не входила в состав Советской России, то есть эта награда является по современным меркам иностранной. Причем В. И. Ленин, судя по всему, не узнал о своем награждении. Между тем, прав и Булгаков, описавший орден Красного Знамени на пиджаке Ленина. «Свой орден прикрепил В. И. Ленину в Горках, уже после его кончины, управляющий делами Совнаркома Н. П. Горбунов» (Казаков А. Имел ли В. И. Ленин правительственные награды? — Аргументы и факты, 1987, № 45).

ВОСПОМИНАНИЕ...

Впервые — журн. «Железнодорожник», 1924, № 1, 2 (январь — февраль). Подпись: «Михаил Б.».

История написания рассказа связана с трудностями прописки Булгакова и его первой жены, Т. Н. Лаппа, в квартире

№ 50 на Большой Садовой, 10, где в это время жил Андрей Михайлович Земский, муж Надежды Афанасьевны Булгаковой. Сохранились воспоминания об этом Т. Н. Лаппа и первой московской машинистки М. А. Булгакова И. С. Раабен.

Т. Н. Лаппа: «И в домоуправлении были горькие пьяницы, они все ходили к нам, грозили выписать Андрея (Земского.— *Л. Ф.*) и нас не прописывали, хотели, видно, денег, а у нас не было. Прописали нас только тогда, когда Михаил написал Крупской. И она прислала в наш домком записку — «Прошу прописать...» (Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 167).

И. С. Раабен: «Он (Булгаков.— *Л. Ф.*) жил по каким-то знакомым, потом решил написать письмо Надежде Константиновне Крупской. Мы с ним письмо это вместе долго сочиняли. Когда оно уже было напечатано, он мне вдруг сказал: «Знаете, пожалуй, я его лучше перепишу от руки». И так и сделал. Он послал это письмо, и я помню, какой он довольный прибежал, когда Надежда Константиновна добилась для него большой 18-метровой комнаты где-то в районе Садовой» (Раабен И. В начале двадцатых.— Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 129).

ХАНСКИЙ ОГОНЬ

Впервые — Красный журнал для всех, 1924, № 2. Подпись: «М. Булгаков».

Сохранились воспоминания И. С. Овчинникова, заведовавшего в те годы четвертой полосой «Гудка», о том, как возник замысел рассказа, и о первой, видимо, его редакции. «Сам довольно искушенный новеллист, В. П. Катаев, сравнивая с О. Генри наших писателей, как-то пожаловался: «Пишут скучно, плохо, никакой выдумки. Прочитаешь два первых абзаца, а дальше можно не читать. Развязка разгадана. Рассказ просматривается насквозь до последней точки.

Задетый за живое, вдруг встревает другой наш новеллист — Булгаков:

— Клянусь и обещаю: напишу рассказ, и завязку не развяжете, пока не прочитаете последней строчки.

И написал! И, насколько помнится, даже напечатал! Название рассказа «Антонов огонь». Вот его канва.

Деревня бунтует. Революция. Помещик бросил усадьбу и сбежал. Батраки, дворня, ставши хозяевами экономии, живут как умеют. Водовоз Архип растер сапогом ногу. Начинается гангрена — антонов огонь. Срочно надо ехать за врачом, а лошади нет. Общая растерянность, тревога. А ночью в усадьбе пожар. Тайно вернулся ее владелец — князь Антон и спалил постройки. По авторскому замыслу пожар и был тот настоящий Антонов огонь, который дал заголовок рассказу. Но раскрывает-

ся это действительно только в последнем абзаце» (Овчинников И. С. В редакции «Гудка».— Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 140—141). Далее Овчинников сообщает о том, что сюжет о помещике-поджигателе когда-то им же был подсказан Булгакову.

Игра слов заимствована Булгаковым у Козьмы Пруткова. В стихотворении «Помещик и трава»: «Антонов есть огонь, но нет того закону, чтобы всегда огонь принадлежал Антону».

Публикуя рассказ в журнале «Наш современник» (1974, № 2), Л. Яновская отметила, что «Ханский огонь» по сюжету связан с задуманной М. Булгаковым в 1921 году, но не написанной пьесой, одним из персонажей которой должен был стать князь Ф. Юсупов. Материалы для драмы Булгаков собирал и в подмосковном имении Юсуповых — Архангельском, где к тому времени был уже государственный музей. Приметы Архангельского заметны и в рассказе «Ханский огонь».

Стр. 388. *Мессалина*— жена римского императора Клавдия (I в.), известная своим властолюбием, коварством и распущенностью. Имя ее стало нарицательным.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 15 марта. Подпись: «Михаил Б.».

Стр. 399. *«Науки юношей питают, отраду старцам подают»* — неточная цитата из «Оды на день восшествия на престол Елисаветы Петровны 1747 года» М. В. Ломоносова (ср.: «Науки юношей питают, // Отраду старым подают...»).

Стр. 401.— *Не боюся никого, кроме бога одного!..* — неточная цитата из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина.

ТОРГОВЫЙ ДОМ НА КОЛЕСАХ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 23 марта. Подпись: «Михаил».

БЕЛОБРЫСОВА КНИЖКА

Впервые — газ. «Накануне», 1924, 26 марта. Подпись: «Михаил Булгаков».

Стр. 405. *Эх, гори, сияй, моя звезда!..*— «Гори, гори, моя звезда», романс П. Булахова на стихи В. Чуевского.

Стр. 408. *Две гитары за стеной жалобно заныли...*— песенный вариант «Цыганской венгерки» А. Григорьева, музыка И. Васильева.

Стр. 409. *И на штыке у часового горит полночная луна...*— романс «Не слышно шуму городского...» на слова Ф. Глинки «Песня узника».

ПРОСВЕЩЕНИЕ С КРОВОПРОЛИТИЕМ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 29 марта. Подпись: «М. Ол-Райт».

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

Впервые — газ. «Накануне», в разделе «Литературная неделя», 1924, 20 апреля. В 1927 году М. А. Булгаков написал пьесу «Багровый остров», истоки которой можно найти в этом рассказе.

В тексте использованы имена героев произведений Р. Киплинга и Жюля Верна: *лорд Гленарван*— герой романа «Дети капитана Гранта», владелец яхты «Дункан»; *Паганель*— французский путешественник-географ, по ошибке оказавшийся на яхте «Дункан» («Дети капитана Гранта»); *капитан Гаттерас*— герой романа «Приключения капитана Гаттераса», совершивший путешествие к Северному полюсу; *Филеас Фогг*— герой романа «Вокруг света в восемьдесят дней», эксцентричный англичанин; *Мишель Ардан*— герой романов «С Земли до луны» и «Вокруг луны».

Как отметила Л. Косарева (Памир, 1988, № 7, с. 139), местонахождение Багрового острова, на котором разворачиваются события в повести, также может быть соотнесено с Жюлем Верном — в Тихом океане, «под 45-м градусом» находится Южный остров Новой Зеландии, где путешествие героев романа «Дети капитана Гранта» чуть было не закончилось трагедией.

Стр. 411. *Рики-Тики-Тави*— имя воинственного зверька мангуста из одноименного рассказа Р. Киплинга.

ПЛОЩАДЬ НА КОЛЕСАХ

Впервые — журн. «Заноза», 1924, № 9. Подпись: «М. Ол-Райт». При жизни писателя переиздан в сб.: Булгаков Михаил. «Смехач» № 15. Юмористическая иллюстрированная библиотека. Илл. Н. Радлова. Л., 1926.

ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 16 мая. Подпись: «М. Ол-Райт».

ПОВЕСИЛИ ЕГО ИЛИ НЕТ?

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 21 мая. Подпись: «Документы читал М. Ол-Райт».

В тексте встречается ряд железнодорожных сокращений, которыми злоупотребляли в «Гудке». Лишь некоторые сегодня поддаются расшифровке, например: *ДС* — начальник станции, *ШТ* — старший телеграфист, *ПЧ* — начальник участка пути.

МОСКВА 20-Х ГОДОВ

Впервые — газ. «Накануне», 1924, 27 мая («Вступление», «Вопрос о жилище»); 12 июня («О хорошей жизни»). Подпись: «Михаил Булгаков». В сокращенном виде при жизни писателя опубликован также под названием «Трактат о жилище», М., 1926.

Стр. 435. *Частная торгово-промышленная газета* — «Торгово-промышленный вестник», издававшийся кооперативным товариществом «Техносправ». Вышло всего 6 номеров газеты.

Из письма М. А. Булгакова Н. А. Земской от 1 декабря 1921 года: «Я заведываю хроникой «Торг-Пром. Вестн<ика>», и если сойду с ума, то именно из-за него. Представляешь, что значит пустить частную газету?! Во 2 № должна пойти статья Бориса (Б. М. Земского.— *Л. Ф.*). Об авиации в промышленности, о кубатуре, штабелях и т. под. и т. под. Я совершенно ошалел. А бумага!! А если мы не достанем объявлений? А хроника?!! А цена!! Целый день как в котле» (Письма М. А. Булгакова к родным (1921—1922 гг.). Публ. Е. А. Земской.— Известия АН СССР. Сер. лит. и яз., 1976, т. 35, № 5, с. 462).

На Патриарших прудах, у своих знакомых... — На ул. Малой Бронной, 32 жил Иван Павлович Крешков (см. об этом: Мягков Б. Москва. По следам булгаковских героев.— Дружба, 1986, № 4, с. 111).

Стр. 436. *«Тарзан»* — роман американского писателя Эдгара Райса Берроуза (1875—1950), написан в 1915 г., в русском переводе вышел в 1922 г.

Стр. 443. *Трудкнижку в три дня добыл...* — Трудовую книжку М. Булгаков получил 3 декабря 1921 г.

Стр. 444. *Зина* — Зинаида Васильевна Коморская; см. коммент., с. 719 наст. т.

РАССКАЗ МАКАРА ДЕВУШКИНА

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 11 июня. Подпись: «записал рассказ Михаил Б.».

Стр. 446. *Макар Девушкин* — главный герой романа Ф. М. Достоевского «Бедные люди».

САПОГИ-НЕВИДИМКИ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 15 июня. Подпись: «М. Б.».

Стр. 448. Эпиграф — цитата из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

Стр. 450. *ТПО* — транспортная потребительская кооперация.

ОХОТНИКИ ЗА ЧЕРЕПАМИ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 18 июня. Подпись: «М. Б.».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОКОЙНИКА

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 27 июня. Подпись: «М. Булгаков».

ЗАСЕДАНИЕ В ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНА

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 17 июля. Подпись: «М. Булгаков».

ГЛАВПОЛИТБОГОСЛУЖЕНИЕ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 24 июля. Подпись: «М. Б.».

Этот фельетон был ошибочно приписан В. П. Катаеву и включен в сборник его рассказов и фельетонов «Горох в стенку» (М., Советский писатель, 1963). Катаев говорил следующее: «Я думаю, что фельетон «Главполитбогослужение» принадлежит перу М. Булгакова и попал в мой сборник по ошибке, но все это было так давно, что сам уже не уверен. Во всяком случае, это не моя работа» (К у с т и н а Т. Из заметок о М. А. Булгакове-фельетонисте.— Русская филология. Сб. научных студенческих работ. Вып. 2. Тарту, 1967, с. 227).

КАК ШКОЛА ПРОВАЛИЛАСЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 1 августа. Подпись: «со слов Макара Девушкина записал Михаил Б.».

Стр. 461. *Макар Девушкин.*—См. коммент. к «Рассказу Макара Девушкина».

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ДЕСЯТНИК ЖЕНИЛСЯ?!

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 12 августа. Подпись: «со слов десятника записал Михаил Б.».

ПИВНОЙ РАССКАЗ

Впервые газ. «Гудок», 1924, 17 августа. Подпись: «Михаил Б.».

КАК, ИСТРЕБЛЯЯ ПЬЯНСТВО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТРАНСПОРТНИКОВ ИСТРЕБИЛ!

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 20 августа. Подпись: «М. Б.».

БРАЧНАЯ КАТАСТРОФА

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 23 августа. Подпись: «Эм.».

Стр. 468. *«Руль»* — эмигрантская газета антисоветской направленности, основанная в Берлине бывшими деятелями партии кадетов И. В. Гессеном, проф. А. И. Каминкой и В. Д. Набоковым в 1920 г.

Раковский Христиан Георгиевич (1872—1941) — болгарский социал-демократ, видный партийный и государственный деятель СССР, полпред СССР в Великобритании.

СОТРУДНИК С МАССОЙ, ИЛИ СВИНСТВО ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНИИ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 29 августа. Подпись: «Эм.».

ТРИ КОПЕЙКИ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 3 сентября. Подпись: «Михаил Булгаков».

Стр. 472. *МОПР*— Международная организация помощи борцам революции.

ЕГИПЕТСКАЯ МУМИЯ

Впервые — журн. «Смехач», 1924, № 16, 10 сентября. Подпись: «М. Булгаков». При жизни писателя включен в сб.: Булгаков Михаил. «Смехач» № 15. «Юмористическая иллюстрированная библиотека». Илл. Н. Радлова. Л., 1926, с. 55—59.

Стр. 474. *Стучка* — Петр Иванович (1865—1932) — советский государственный деятель, один из организаторов Коммунистической партии Латвии.

ИГРА ПРИРОДЫ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 13 сентября. Подпись: «Михаил Булгаков».

КОЛЫБЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СТАНЦИИ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 24 сентября. Подпись: «Михаил Б.».

Стр. 478. Эпиграфы из «Казачьей колыбельной песни» М. Ю. Лермонтова и неточная цитата из «Колыбельной» Саши Черного. («Спи, мой зайчик, спи, мой чиж,— // Мать уехала в Париж»).

РАССКАЗ ПРО ПОДЖИЛКИНА И КРУПУ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 1 октября. Подпись: «Михаил Булгаков».

БИБЛИФЕТЧИК

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 7 октября. Подпись: «Михаил Булгаков».

Стр. 481. *Азбука, сочинение товарища Бухарина...* — См. коммент. к рассказу «Лестница в рай», с. 728. наст. т.

Стр. 482. *Эрфуртская программа* — программа социал-демократической партии Германии, принятая в 1891 г.

Трехгорного — «Трехгорное» пиво.

ПО ГОЛОМУ ДЕЛУ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 11 октября. Подпись: «Ваш М. Б.».

СТЕНКА НА СТЕНКУ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 19 октября. Подпись: «Михаил Булгаков».

НОВЫЙ СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КНИГИ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 21 октября. Подпись: «Михаил Булгаков».

ПОВЕСТКА С ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 24 октября. Подпись: «М. Булгаков».

СМУГЛЯВЫЙ МАТЕРЩИННИК

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 28 октября. Подпись: «Письмо рабкора Пробоя списал Булгаков».

Стр. 489. Эпиграф — неточная цитата из «Конька-Горбунька» П. Ершова.

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Опубликован практически одновременно в журн. «Заноза», 1924, № 19 (октябрь); «Смехач», 1924, № 19 (октябрь). Подпись: «М. Булгаков». Текст печатается по журналу «Заноза».

ВОЙНА ВОДЫ С ЖЕЛЕЗОМ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 2 ноября. Подпись: «Михаил Булгаков».

Стр. 494. *По морям, по волнам...*—популярная песня послереволюционных лет «Ты, моряк, красивый сам собою», стихотворный текст которой заимствован из драмы В. Межевича «Артур, или Шестнадцать лет спустя» (1839).

РАССКАЗ РАБКОРА ПРО ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 11 ноября. Подпись: «Письмо рабкора списал М. Булгаков».

Стр. 495. *...в своих отчетах копаюсь...*—В газетном тексте ошибочно напечатано: покаюсь.

ГИБЕЛЬ ШУРКИ-УПОЛНОМОЧЕННОГО

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 16 ноября. Подпись: «Письмо рабкора списал М. Булгаков».

ЗВУКИ ПОЛЬКИ НЕЗЕМНОЙ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 19 ноября. Подпись: «Михаил Булгаков».

Стр. 497. *Нет, право... после каждого бала как будто грех какой сделал...*—неточная цитата из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

БАНАН И СИДАРАФ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 27 ноября. Подпись: «М».

Стр. 499.— *Какое правление в Турции?*—неточная цитата из рассказа А. П. Чехова «Экзамен на чин».

«РЕВИЗОР» С ВЫШИБАНИЕМ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 24 декабря. Подпись: «Михаил Булгаков».

ПО ТЕЛЕФОНУ

Впервые — газ. «Гудок», 1924, 30 декабря. Подпись: «Михаил Булгаков».

ЦЕЛИТЕЛЬ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 4 января. Подпись: «Михаил Булгаков».

АПТЕКА

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 7 января. Подпись: «М. Б.».

ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 9 января. Подпись: «Михаил Б.».

КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 11 января. Подпись: «М. Б.».

ГЕНИАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 15 января. Подпись: «М. Булгаков».

КОЛЛЕКЦИЯ ГНИЛЫХ ФАКТОВ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 17 января. Подпись: «Письмо списал М. Булгаков».

ЗАЛОГ ЛЮБВИ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 12 февраля. Подпись: «Михаил Булгаков».

ОНИ ХОЧУТЬ СВОЮ ОБРАЗОВАННОСТЬ ПОКАЗАТЬ...

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 15 февраля. Подпись: «М. Булгаков».

Стр. 520. *...и всегда говорят о непонятном!* — Название фельетона и эпиграф представляют собой разорванную на две части цитату из пьесы «Свадьба» А. П. Чехова (ср.: «Дашенька. Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном»).

Стр. 522. *Шкраб* — школьный работник, учитель.

ЧЕРТОВЩИНА

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 18 февраля. Подпись: «Михаил Булгаков».

Стр. 524. *«Кровь и песок»* — американский фильм (1922 г.).

Стр. 525. *«Индийская гробница»* — двухсерийный немецкий фильм (1921 г.). Сценарий Джоэ Мая и Фрица Ланга. Фильм широко рекламировался в газетах (см., напр.: Известия, 1923, 4 марта).

МАДМАЗЕЛЬ ЖАННА

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 25 февраля. Подпись: «Михаил Булгаков».

КОНДУКТОР И ЧЛЕН ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 27 февраля. Подпись: «Михаил Булгаков».

НЕУНЫВАЮЩИЕ БОДИСТКИ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 6 марта. Подпись: «М. Булгаков».

С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 10 марта. Подпись: «Михаил Б.».

Стр. 532. *Венявский* Генрих (1835—1880) — польский скрипач и композитор.

ПРАЗДНИК С СИФИЛИСОМ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 27 марта. Подпись: «Михаил».

БАНЩИЦА ИВАН

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 9 апреля. Подпись: «Михаил».

О ПОЛЬЗЕ АЛКОГОЛИЗМА

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 15 апреля. Подпись: «Из того же письма рабкора, Михаил».

Стр. 539. *Я — председатель! И если он — // Волна! А масса вы — Советская Россия...* — перефразированные строки из стихотворения Я. П. Полонского «В альбом К. Ш...». Ср.: «Писатель, если только он // Волна, а океан — Россия, // Не может быть не возмущен, // Когда возмущена стихия».

— *О чем шумите вы, народные витии?!* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России».

...как соляной столб. — По ветхозаветной легенде, жена Лота была превращена в соляной столб за то, что оглянулась на гибнущий город Содом, несмотря на запрет бога.

КАК БУТОН ЖЕНИЛСЯ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 28 апреля. Подпись: «Михаил».

Стр. 541. *Бутон.*—В пьесе М. Булгакова «Кабала святош» Бутон — слуга Мольера. Скрытый комизм названия фельетона состоит в том, что Бутон — кличка собаки М. Булгакова и Л. Белозерской.

А не думает ли барин жениться—неточная цитата из «Женитьбы» Н. В. Гоголя. Ср.: «...не хочет ли барин жениться?», «...не затевает ли, дескать, барин жениться?».

СМЫЧКОЙ ПО ЧЕРЕПУ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 27 мая. Подпись: «Михаил Булгаков».

УГРЫЗАЕМЫЙ ХВОСТ

Впервые — журн. «Бузотер», 1925, № 20. Подпись: «Тускарора».

Стр. 545. *МУУР*— Московское управление уголовного розыска.

ДВУЛИКИЙ ЧЕМС

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 2 июня. Подпись: «Михаил Б.».

Стр. 547. *ЧМС*— железнодорожное сокращение.

Стр. 549. *Народ безмолвствовал*— неточная цитата из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».

ЗАПОРОЖЦЫ ПИШУТ ПИСЬМО ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 3 июня. Подпись: «Михаил».

РАБОТА ДОСТИГАЕТ 30 ГРАДУСОВ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 4 июня. Подпись: «Михаил Б.».

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СВЯТЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 15 июля. Подпись: «Михаил».

ЧЕЛОВЕК С ГРАДУСНИКОМ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 16 июля. Подпись: «Михаил».

ПО ПОВОДУ БИТЬЯ ЖЕН

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 18 июля. Подпись: «Михаил».

НЕГРИТЯНСКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 25 июля. Подпись: «Михаил».

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ

Впервые — «Красная газета» (Ленинград), вечерний выпуск, 1925, 27 июля, 3 августа, 10 августа, 22 августа, 24 августа, 31 августа. Подпись: «М. Булгаков».

Л. Е. Белозерская вспоминала: «Мы купили путеводитель по Крыму д-ра Саркисова-Серазини. О Коктебеле было сказано, что природа там крайне бедная, унылая. Прогулки совершать некуда <...> Мы с М. А. посмеялись над беспристрастностью д-ра Саркисова-Серазини, и, несмотря на «напутствие» Коли Лямина, который говорил: «Ну куда вы едете? Крым — это сплошная пошлость. Одни кипарисы чего стоят!» — мы решили: едем все-таки к Волошину» (Белозерская Л. Е. Страницы жизни.— Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 202—203).

Стр. 566. *Жена*— Любовь Евгеньевна Белозерская.

Письмо.—Вероятно, речь идет о письме, а точнее — об открытке М. Волошина, полученной Булгаковым 1 июня 1925 г.

Стр. 575. *Рыков* Алексей Иванович (1881—1938) — председатель Народных Комиссаров.

Стр. 579. *Мажара*— большая крымская арба.

КОГДА МЕРТВЫЕ ВСТАЮТ ИЗ ГРОБОВ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 8 августа. Подпись: «Михаил».

КУЛАК БУХГАЛТЕРА

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 9 августа. Подпись: «Михаил».

Стр. 582. *«Заговор императрицы»* — пьеса А. Н. Толстого и П. Е. Щеголева.

КАК НА ТЕТКИНЫ ДЕНЬГИ МЕСТКОМ ПОДАРОК КУПИЛ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 14 августа. Подпись: «Михаил».

ПОЖАР

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 19 августа. Подзаголовок: «С натуры». Подпись: «Михаил».

Стр. 587. *«Бом, дин, дин-ли бом... Загорелся кошкин дом!»* — Источник текста — детский фольклор, так же как и стихотворной пьесы С. Я. Маршака «Кошкин дом».

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 2 сентября. Подпись: «Михаил». При жизни писателя фельетон переиздан в сб.: Булгаков Михаил. «Смехач» № 15. «Юмористическая иллюстрированная библиотека». Илл. Н. Радлова. Л., 1926, с. 30—33.

Стр. 590. *Славное море, священный Байкал!* — русская народная песня, фольклорная переделка стихотворения Д. Давыдова «Думы беглеца на Байкале», музыка Ю. Арнольди.

БЛАГИМ МАТОМ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 10 сентября. Подпись: «Михаил».

НЕ ТЕ БРЮКИ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 16 сентября. Подпись: «Михаил».

СТРАДАЛЕЦ ПАПАША

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 22 сентября. Подпись: «К подписям ихних жен свою подпись просит присоединить Эм.».

Стр. 594. *И за Сеню я, за кирпичики...* — «Кирпичики», популярная песня 20-х годов, аранжировка старинного русского вальса В. Кручинина на слова П. Германа.

МЕРТВЫЕ ХОДЯТ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 25 сентября. Подпись: «Эмма Б.».

Вариант этого фельетона «Живой труп» опубликован под псевдонимом «Незнакомец» в журнале «Бузотер», 1927, № 14, с. 8.

ДИНАМИТ!!!

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 30 сентября. Подпись: «Эмма Б.».

Стр. 597. *Иванов седьмой.* — Ср. с рассказом А. Чехова «Жалобная книга».

ГОРЕМЫКА ВСЕВОЛОД

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 1 октября. Подпись: «Эмма Б.».

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ВОДОЛЕЙ

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 16 октября. Подпись: «Эмма Б.».

Стр. 603. *Деес* — начальник станции (ДС).

«ВОДА ЖИЗНИ»

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 18 декабря. Подпись: «Незнакомец».

При жизни писателя вторично опубликован в сб.: Булгаков Михаил. «Смехач» № 15. «Юмористическая иллюстрированная библиотека». Илл. Н. Радлова. Л., 1926, с. 41—46.

ПАРШИВЫЙ ТИП

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 19 декабря. Подпись: «Михаил». При жизни писателя переиздан в сб.: Булгаков Михаил. «Смехач» № 15. «Юмористическая иллюстрированная библиотека». Илл. Н. Радлова. Л., 1926. с. 34—40.

ЧЕМПИОН МИРА

Впервые — газ. «Гудок», 1925, 25 декабря. Подпись: «Михаил».

ТАЙНА НЕСГОРАЕМОГО ШКАФА

Впервые — газ. «Гудок», 1926, 18 апреля. Подпись: «М. Неизвестный».

Стр. 616. *Безобразен труп ужасный...*—неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Утопленник».

МУЗЫКАЛЬНО-ВОКАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА

Впервые — газ. «Гудок», 1926, 28 мая. Подпись: «Михаил».

Стр. 621. *Ярон.*— См. коммент., с. 718 наст. тома.

Стр. 622. *Смирнов* Дмитрий Алексеевич (1882—1944) — певец (тенор). В начале 20-х годов уехал за границу, в 1926, 1928 гг. выступал в СССР.

РАДИО-ПЕТЯ

Впервые — газ. «Гудок», 1926, 4 июня. Подпись: «Михаил».

Стр. 624. *«По небу полуночи ангел летел...»* — из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ангел» (1839).

Стр. 625. *Расскажите вы ей, цветы мои...*—куплеты Зибеля из оперы Ш. Гуно «Фауст».

ПЬЯНЫЙ ПАРОВОЗ

Впервые — газ. «Гудок», 1926, 12 июня. Подпись: «Михаил».

Стр. 627. *ДСП*— железнодорожное сокращение: дежурный по станции; см. также коммент. к фельетону «Повесили его или нет?», с. 732 наст. т.

«РАЗВРАТНИК»

Впервые — газ. «Гудок», 1926, 14 июля. Подпись: «Михаил».

КОЛЕСО СУДЬБЫ

Впервые — газ. «Гудок», 1926, 3 августа. Подпись: «Михаил».

ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГОВ

Впервые — сб.: Булгаков Михаил. «Смехач» № 15. «Юмористическая иллюстрированная библиотека». Илл. Н. Радлова. Л., 1926, с. 5—14.

Стр. 635. *Ата-цвели уж давн-о!* — романс «Отцвели хризантемы» Харито на слова В. Шумского.

Стр. 636. *...разбойник и вор Комаров!* — См. коммент. к очерку «Комаровское дело».

Стр. 637. *Бенвенуто Челлини* — итальянский скульптор, ювелир, писатель (1500—1571).

Стр. 638. *И за Сеню я!*
За кирпичики
Полюбила кирпичный завод.

См. коммент. к рассказу «Страдалец папаша», с. 742.

Стр. 639. *Чинизелли* — фамилия известного семейства цирковых артистов и предпринимателей.

Стр. 640. *Марш Шуберта-Таузига.*—Польскому пианисту и композитору Карлу (Каролю) Таузигу (1841—1871) принадлежит фортепьянная транскрипция одного из «Военных маршей» Ф. Шуберта.

Что, сеньор мой,
Вдохновенье мне дано?
Как ваше мнение?!

Ария из оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник».

ЗОЛОТЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ФЕРАПОНТА ФЕРАПОНТОВИЧА КАПОРЦЕВА

Впервые — Булгаков Михаил. Сб. «Смехач», № 15. «Юмористическая иллюстрированная библиотека». Илл. Н. Радлова. Л., 1926, с. 15—26. Подпись «Михаил Булгаков».

Цикл сатирических миниатюр. Его вариант под названием «Золотые документы (из моей коллекции)» опубликован в газ. «Накануне» 6 апреля 1924 г. Отдельные главы публиковались самостоятельно: вариант главы «Брандмейстер Пожаров» под названием «Геркулесовы подвиги светлой памяти брандмейстера Назарова» под псевдонимом «Маг» — в газ. «Гудок», 1924, 19 февраля; «Несгораемый американский дом» — в «Красной газете» (Ленинград), вечерн. вып., 1925, 30 апреля; «Лжедмит-

рий Луначарский» — там же, 26 мая; вариант главы «Крокодил Иванович» под названием «Ванькин-дурак» — журн. «Бузотер», 1925, № 19, с. 2, под псевдонимом «Ф. Скитайкин».

Стр. 645. *Чуден Днепр при тихой погоде...*—из повести Н. В. Гоголя «Страшная месть».

Я УБИЛ

Впервые — журнал «Медицинский работник», 1926, № 44 (8 декабря), с. 13—15; № 45 (12 декабря), с. 14—16. Подпись: «Рассказ Михаила Булгакова». М. Булгаков был мобилизован петлюровцами и через несколько дней, в ночь на 3 февраля 1919 года бежал. (См.: Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова. М. Советский писатель, 1983, с. 36.)

Стр. 648. *«Валькирия»* — опера Р. Вагнера.

«Севильский цирюльник» — опера Дж. Россини.

Стр. 650. *Алексеевский спуск.*—Описан Андреевский спуск в Киеве.

БЫЛ МАЙ

Впервые — журн. «Аврора», 1978, № 3, публ. Л. Яновской.

Текст печатается по машинописному экземпляру, хранящемуся в архиве Булгакова (ОР ГБЛ, ф. 562, к. 5, ед. хр. 1).

К рассказу приложены пояснения Е. С. Булгаковой.

«Написано М. А. Булгаковым (продиктовано Е. С. Булгаковой) 17 мая 1934 г. сразу же после прихода домой в Нащокинский пер. из АОМСА (админ. отд. Моск. Сов.), куда мы были вызваны для получения заграничных паспортов, после того как М. А. написал просьбу о них на имя А. С. Енукидзе. 17.V по телефону некий т. Борисполец сказал М. А-чу, чтобы мы пришли, взяв с собой паспорта и фотокарточки для получения паспортов. В АОМСе он встретил нас очень любезно, подтвердил сказанное, дал анкеты для заполнения, сказал, что мы получим валюту. Перед ним на столе лежали два красных паспорта. Когда мы внизу заполняли анкеты, в комнату вошли двое: женщина и мужчина. Меня очень смешил М. А. во время заполнения анкеты, по своему обыкновению. Те пришедшие присматривались очень внимательно, как мы сообразили потом. Паспортов нам Борисполец не выдал, «паспортистка ушла»,— сказал. Перенес на 19-е. С 19-го на 20-е, и т. д. Через несколько дней мы перестали ходить. А потом, в начале июня, кажется 7-го, во МХАТе от Ивана Серг., который привез всем мхатовцам гору паспортов,—мы получили две маленькие бумажки — отказ. На улице М. А. стало плохо, я довела его до аптеки. Там

его уложили, дали капли. На улице стоял Безыменский около своей машины. «Ни за что не попрошу»,— подумала я. Подъехала свободная машина, и на ней отвезла Мишу. Потом он долго болел, у него появился страх пространства и смерти.

А эту главку он продиктовал мне 17 мая,— она должна была быть первой главой будущей книги путешествия. «Я не узник больше! — говорил Миша счастливо, крепко держа меня под руку на Цветном бульваре.— Придем домой, продиктую тебе первую главу...»

Комментируя рассказ, Л. Яновская отметила, что в центре данного произведения — шарж на пьесу Владимира Киршона «Суд», а упоминание о «раскаленной Испании» связано с испанскими очерками Михаила Кольцова и Ильи Эренбурга (см.: Аврора, 1978, № 3, с. 68).

Л. Фиалкова

СОДЕРЖАНИЕ

Булгаков М. А.

Б 90 Собрание сочинений. В 5-ти т. Т. 2. Дьяволиада; Роковые яйца; Собачье сердце; Рассказы; Фельетоны / Редкол.: Г. Гоц, А. Караганов, В. Лакшин и др. Подгот. текста и коммент. В. Гудковой и Л. Фиалковой.— М.: Худож. лит., 1989.— 751 с.

ISBN 5-280-00761-7 (Т. 2)

ISBN 5-280-00760-9

В том вошли повести М. Булгакова «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце» и избранные рассказы и фельетоны 1921—1934 годов.

Б $\frac{4702010201\text{-}342}{028(01)\text{-}89}$ Подписное **ББК 84Р7**

В альбоме использованы фотографии из личных и государственных архивов

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ

Собрание сочинений

Том второй

Редактор *Ч. Залилова*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Синицына*

Корректоры *Т. Сидорова, Н. Замятина*

ИБ № 5283

Сдано в набор 27.03.89. Подписано к печати 05.09.89. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Баскервиль». Печать высокая. Усл. печ. л. 39,48+нак.+вкл.=39,95. Усл. кр.-отт. 40,85. Уч.-изд. л. 39,6+нак.+вкл.=40,05. Тираж 400 000 экз. (2-ой завод 150 001—300 000 экз.). Изд. № II-3308. Заказ № 1095. Цена 6 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28



М. А. Булгаков. 1926, Москва

И. Файнзильберг, В. Катаев, М. Булгаков, Ю. Олеша, И. Уткин. 1930, Москва

Москва. Большая Садовая, 10. Дом, где М. А. Булгаков жил в 1921—1924 гг. *Фотография 1920-х годов*

М. А. Булгаков, Л. Е. Белозерская, Н. Н. Лямин, С. С. Топленинов.
1926, Крюково

Москва. Здание 2-го Госцирка на Большой Садовой ул. *Фотография начала 1920-х годов*



НАКАНУНЕ

Литературное приложение

СОДЕРЖАНИЕ:

Страница литературного приложения к газете «Накануне»

С. С. Топленинов, М. А. Булгаков, Н. Н. Лямин, Л. Е. Белозерская. 1926, Крюково

Москва. Ул. Остоженка. *Фотография 1920-х годов*



М. А. Булгаков. 1928, Москва

М. А. Булгаков (в центре) и Л. Е. Белозерская с артистами МХАТа. 1928, Москва, Сокольники




Обложка «Трактата о жилище»


М. А. Булгаков. 1928, Москва

Алеша Понсов, Л. Е. Белозерская, Д. П. Понсов, М. А. Булгаков, Н. Н. Лямин, И. Н. Никитинский. 1926, Крюково



М. А. Булгаков. Начало 1930-х годов



Обложка альманаха «Смехач»



Л. В. Баратов и М. А. Булгаков. 1928



М. А. Булгаков. Начало 1930-х годов



М. А. Булгаков. 1932, Москва

Москва. Тверская-Ямская ул. *Фотография 1920-х годов*